Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ❋❋❋

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

РАССКАЗЫ

●

ГО́РА

ПЕРЕВОД С БЕНГАЛЬСКОГО

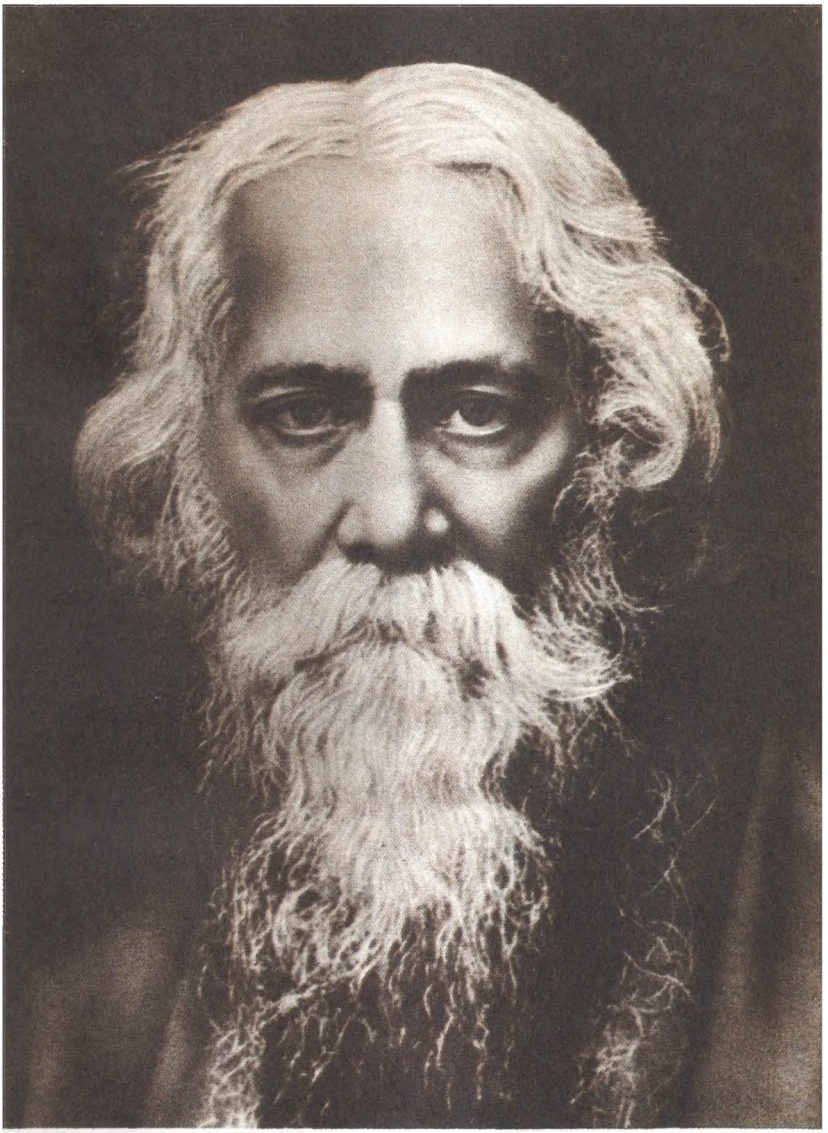
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1973

Вступительная статья
Э. Комарова

И(Инд)
Т13

Рисунки
Рабиндраната Тагора

7-4-4
Подп. изд.



РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Кабигуру — поэт-учитель — так назвали соотечественники Рабиндраната Тагора, как нельзя лучше определив самую суть его творчества. Слитые воедино художественное видение и философское осмысление позволили ему возрождать и нести в современный мир те, говоря словами А. М. Горького, «глубочайшие проникновения человеческого духа», которые Индия дала человечеству на протяжении веков. Но древние национальные начала гуманистической культуры оживали у Тагора и, преобразуясь, приобретали современное значение именно потому, что он вдохновлялся освободительными стремлениями и идеалами, которые рождала новая эпоха на его родине и во всем мире. Это и делало творчество Тагора ведущим проявлением художественного развития Индии и ее крупнейшим вкладом в мировую литературу XX века.

Когда в 1912 году в Англии вышла небольшая книжка стихов Тагора «Гитанджали» («Жертвенные песни»), положившая начало всемирной славе поэта,— уже в 1913 году ему первому среди литераторов Азии была присуждена Нобелевская премия,— мало кто за пределами Индии знал даже самое имя того из ее многочисленных народов, к которому принадлежал бенгальский поэт. Огромная Индия многим представлялась тогда чем-то относящимся лишь к сказочному прошлому человечества, какой-то далекой периферией современного мира. Между тем как раз в это время в борьбе за национальную свободу начиналось предсказанное еще К. Марксом возрождение «этой великой и интересной страны... которая является колыбелью наших языков, наших религий»;[1] это было время, которое В. И. Ленин тогда же, в 1913 году, назвал «пробуждением Азии», где «открылся новый источник величайших мировых бурь...», где «сотни миллионов забитого, одичавшего в средне-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 9, стр. 229.

вековом застое, населения проснулись к новой жизни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию»[1].

В Индии это начинавшееся национальное демократическое пробуждение вызвало к жизни литературный гений, по своим масштабам, по многогранности поистине равный титанам европейского Возрождения. Тагор — прежде всего поэт, но он также крупнейший индийский прозаик и драматург. Он композитор, чьи песни поют на его родине и по сей день, а две из них стали национальными гимнами Индии и Бангладеш. Он оригинальный живописец, в особенности портретист. Тагор — философ-моралист и политический публицист. Он педагог-просветитель.

Как художник Тагор глубоко интимен, нередко целиком погружен в себя, как мыслитель он прежде всего гражданственен. «Он не был политическим деятелем,— писал Джавахарлал Неру о Тагоре,— но он слишком близко принимал к сердцу судьбы индийского народа и слишком был предан его свободе, чтобы навсегда замкнуться в своей башне из слоновой кости со своими стихами и песнями... Вопреки обычному ходу развития, по мере того как он становился старше, он делался более радикальным в своих взглядах и воззрениях»[2]. В этой отмеченной Неру яркой особенности идейной эволюции Тагора отразилось прежде всего само бурное развитие общественной и духовной жизни Индии. Вместе с нею он шел вперед.

Творческий путь Тагора (1861—1941) берет свое начало на рубеже 70—80-х годов XIX века, когда Индия едва только выходила из средневековья, а английская колониальная власть в Индии казалась незыблемой, как незыблемым казался тогда большинству буржуазный строй в странах Запада, господствовавших над миром. Но какие огромные перемены суждено было увидеть поэту у себя на родине и в мире в последующие десятилетия! В Индии на его глазах из малочисленных и верхушечных объединений либерально-просветительского толка, из стихийных, разрозненных восстаний средневекового типа вырастало организованное и массовое национально-освободительное движение, и Тагор не дожил всего нескольких лет до его победы. Превращение национального движения в мощную народную силу во многом происходило под воздействием победы Великого Октября. Тагор, еще в молодые годы мечтавший не только о национальном, но и социальном раскрепощении своего народа, одним из первых в Индии приветствовал Советскую Россию. Он радовался достижениям социализма и до конца дней оставался другом нашей страны, которую он еще в 1918 году назвал «утренней звездой, возвещающей зарю новой эры». Таковы события и перемены, которые совершались на протяжении этой долгой жизни и,

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 145, т. 3, стр. 146.
[2] Джавахарлал Неру, Открытие Индии, М. 1955, стр. 365.

если говорить словами Неру, обращали «аристократа-художника в демократа, сочувствующего пролетариату».

Родина Тагора Бенгалия с ее главным городом Калькуттой еще в XIX веке стала центром начинавшегося национального пробуждения Индии. А в Бенгалии ведущую общественную роль играла семья Тагоров. Это были выходцы из древнего аристократического рода, принадлежавшие к высшей касте брахманов, крупные землевладельцы — заминдары, которые занимались также и коммерцией, особенно дед поэта Дварканат Тагор, наживший огромное состояние. Они же принадлежали к числу наиболее образованных людей тогдашней Калькутты. Сначала дед, а затем отец поэта, Дебендранат Тагор, руководили обществом «Брахмо Самадж» («Общество единого бога Брахмы»). Оно было основано в 1828 году зачинателем индийского просвещения и религиозным реформатором Рам Мохан Раем и явилось первой в Индии общественной организацией нового типа, хотя и носившей еще черты религиозного сообщества. Его участники стремились реформировать религию индуизма, истолковывая ее в рационалистическом и моралистическом духе, отвергали средневековые сословно-кастовые деления и семейно-бытовые обычаи. Дебендранат Тагор, прозванный за свою ученость «махарши» («великий мудрец»), настойчиво утверждал вслед за Рам Мохан Раем культурную самостоятельность индийцев, он выступал против их духовного порабощения, слепого преклонения перед всем западным, которое было выгодно английской власти и насаждалось колониальной школой. Юный Рабиндранат учился дома, и, возможно, решающую роль в его судьбе сыграло то, что по желанию отца обучение велось на бенгальском, а не на английском языке, как было принято в образованных бенгальских семьях. Он рос в атмосфере философских дискуссий у его отца, литературных и научных занятий старших братьев. Немало времени мальчик проводил и в одиночестве, когда рождались первые его стихи,— сочинять их он начал восьми лет. Его стихи и заметки о литературе стали печататься, когда ему исполнилось четырнадцать лет. А семнадцатилетнему поэту уже принадлежали два сборника лирических стихов. В 1877 году его послали изучать юриспруденцию в Англию, где он пробыл два года, занимаясь, однако, главным образом музыкой и литературой. Вернулся он на родину, так и не завершив юридического образования.

В 80-х годах Тагор становится общепризнанным поэтом Бенгалии. Он живет то в Калькутте, то в родовых имениях в деревне. Там ему открывается неповторимая красота бенгальской земли, залитой изумрудной зеленью рисовых полей и пальмовых рощ, искрящейся перламутровыми бликами бесчисленных речек и прудов, то ослепительно сияющей в лучах буйного тропического солнца, которое словно раство-

ряет голубизну неба, то окутанной бушующей пеленой теплых ливней, когда кажется, что небо и земля сливаются воедино. Он становится певцом Золотой Бенгалии, как издревле зовут свой край сами бенгальцы. В деревне он постигает народную жизнь Бенгалии, нечеловечески тяжкую долю крестьян. Поначалу Тагор видит в них, скорее, несчастных, всеми заброшенных детей, но уже недолго спустя он чувствует их тогда еще дремавшую, но грозную силу. Он взывает к совести помещиков, но также и предупреждает их, говоря, что они ходят «с динамитом в кармане». Он стремится как-то помочь своим крестьянам — основывает кооперативное общество в надежде освободить их от удушающей хватки ростовщиков. Еще в 1908 году Тагор предложил сугубо утопический тогда, но заглядывавший далеко в будущее план организации коллективного хозяйства крестьян. Он уже давно был знаком с социалистическими идеями. В 1893 году он в одной из своих статей популярно рассказал бенгальскому читателю о «социалистическом идеале», а в частном письме тогда же несколько меланхолически замечал: «Я не знаю, достижим ли социалистический идеал более равномерного распределения благ. Если нет, то воля провидения поистине жестока, а человек — несчастнейшее из созданий».

В 1901 году Тагор основал на свои средства школу и затем колледж в Шантиникетане, в 1921 году колледж был преобразован в университет «Вишвабхарати», получивший широкую известность в Индии и за ее пределами. Это свое начинание Тагор противопоставлял школьной политике английских властей, которая, как он писал, «насаждала раболепие».

Когда в 1905 году по улицам Калькутты впервые прошли демонстранты, требовавшие национальных прав, Тагор шел вместе с ними, а они пели его патриотические песни, в которых он возвеличивал Родину и призывал к единству бенгальцев. Являясь одним из идейных вдохновителей поднимавшегося освободительного движения, он тем не менее расходился во взглядах со многими политическими лидерами тех лет. Его не могла удовлетворить политика «петиций и просьб», которой еще с XIX века следовали умеренно-либеральные деятели, но Тагор не принимал и многие стороны возникавшего нового направления — радикального национализма, в котором освободительные устремления нередко сочетались с националистической ограниченностью и возвеличиванием патриархальной старины. Он считал, и не без оснований, что оба направления в тогдашнем национальном движении не ставили во главу угла заботу о социальном раскрепощении народных масс, об их просвещении. Однако собственная программа Тагора — программа «созидательной деятельности» — тогда была во многом либерально-утопичной, а его позиция в отношении межпартийной борьбы, неизбежной во всяком крупном общественном движении, не была свободна от инди-

видуализма «аристократа-художника», что отмечал Неру. Но здесь Тагору было свойственно и другое, ибо он требовал самоотверженности и честности. Недаром Ганди называл Тагора «великим часовым» совести.

Убежденный противник угнетения и эксплуатации, империализма, фашизма и всякой иной реакции, Тагор всегда был на стороне передовых сил. Уже семидесятилетним старцем он приехал в 1930 году в Советский Союз и написал свои знаменитые «Письма о России». Эта книга была запрещена британскими властями в Индии, потому что рассказ Тагора о первой стране социализма ставил перед индийцами вдохновляющий пример и звучал призывом к борьбе за свободу Индии. И как завещание великого индийского гуманиста своим соотечественникам, как основной общественно-политический вывод, к которому он пришел в итоге своей долгой жизни, прозвучали в 1938 году его слова: «Будущее наше — в умении объединить свои силы с теми силами на земле, которые жаждут положить конец эксплуатации человека человеком и наций нацией».

* * *

В поэтическом творчестве Тагора, при всем разнообразии его тематики, мотивов и настроений, легко обнаруживаются две главные и противоборствующие темы. Одна из них — это тема принятия жизни во всей ее полноте и наслаждения ею, неуемного восхищения красотой мира, высокого и вместе с тем очень лиричного прославления счастья любви и добрых человеческих чувств. Уже на склоне лет поэт говорил:

Я мира лик озаренный созерцал, не смыкая глаз,
Совершенству его дивясь.
Дыханье Лакшми из сада, где Вечная Красота,
Овевало мои уста.
Вселенной радость щедрую и вздохи ее скорбей
Я выразил флейтой моей.

(«Конец года», 1932)

Творчество Тагора было вызвано к жизни общественным и культурным подъемом, который наступал в Индии вопреки ее колониальному подчинению, когда тамошний феодализм и его идеология стали уходить в прошлое и началось пробуждение национального самосознания. Этот подъем закономерно нес в себе также и те начала, которые были свойственны европейскому Возрождению, хотя по своему идейному и социально-политическому содержанию он, естественно, был иным, поскольку совершался в другую эпоху мирового развития. Если же иметь в виду Тагора как творческую личность, то основу его мироощущения составили поистине возрожденческий гуманистический дух и

вместе с тем оптимизм просветителя. Вот почему Ганди назвал творения Тагора «одним из самых замечательных плодов», которые принесло движение, начатое Рам Мохан Раем.

Но тагоровское утверждение радости жизни, его вера в прогресс сталкивались с чудовищно тяжкой действительностью народной жизни его родины под изощренной в своем эксплуататорстве чужеземной властью. Он творил в стране, где деревни являли собою, по словам Ганди, «пятьсот тысяч навозных куч», где десятки миллионов людей были «выбиты из нормального течения жизни и производства»,— как писал один из индийских экономистов, современник и друг Тагора,— и становились жертвами голода, уносившего тысячи, а то и миллионы жизней,— «индийского голода», как издавна говорили в России. Свою пьесу «Фальгун», эту весеннюю сказку, воспевающую пробуждение и обновление, Тагор написал и поставил в Калькутте в 1916 году, чтобы собрать средства для помощи голодающим крестьянам.

И не удивительно, что наряду с возрожденчески радостным принятием жизни у Тагора сначала глухо и отдаленно, а затем все резче и настойчивее звучит иная тема — тема гражданского протеста и страдания, а порою слышны и ноты пессимизма. Вдохновенный певец красоты мира и счастья жить на свете — Тагор мог также сказать о себе, что в его песне «радость и горе живут переменно». В ходе идейной эволюции Тагора обе эти основные темы его творчества получали свое развитие, а радикализация гражданской позиции поэта сопровождалась усугублением реалистического начала в его творчестве.

Одна из наиболее характерных черт Тагора-поэта заключается в том, что поток его мыслей и чувств как бы следует в русле традиционных представлений о мире, исстари сложившихся в Индии, особенно в результате религиозно-реформаторских движений средневековья. Однако на самом деле Тагор вливает новое вино в старые мехи, и если это сказывается на вкусе вина, то и само оно с течением времени крепчает. Переход от юношеского романтизма, в котором влияние философской и поэтической традиции проявлялось весьма непосредственно, к творческой самостоятельности и человеческой зрелости может показать сопоставление двух его известных стихотворений, одно из которых — «Йог» — было написано, когда поэту было около двадцати лет, а другое — «Урваши» — примерно десять лет спустя. Следуя традиции, юный Тагор создает в стихотворении «Йог» иконографически стилизованный и в то же время романтически приподнятый образ духовного подвижника, величаво и одиноко стоящего над миром. Иное восприятие отражает образ богини Урваши, юной женщины, исполненной жизни и красоты, олицетворяющей «молодость мира». Тагор не побоится сказать:

Мысли отшельников — коврики для твоих лучезарных ног,
Перед твоими очами все три мира томимы тоской сладчайших тревог.

Поэт выходил «в мир» из «храма» юношеского романтизма, где традиция, ставившая дух над миром и требовавшая отрешенности, воспринималась как нечто непреложное. Теперь —

Настежь храм растворен! Звон наполнил мой храм —
Он открыт всем лучам, он открыт всем ветрам,
Грому, зовам дорог,—
И дремавший в нем бог
Влился в мощный поток, во вселенский поток!
Грудь открыл я мирам,
Мир — мой храм.

(«Храм»)

И в период творческой зрелости поэта, особенно в известном сборнике стихов «Гитанджали», написанных Тагором в пору его общественного одиночества, создаваемые им поэтические картины природы и сокровенных человеческих чувствований подчас словно окутаны дымкой религиозно-мистического настроения. Мир в них реален, но он существует не сам собою, а как бесконечно разнообразное проявление особого всепроникающего духовного начала. Это — отражение традиционных представлений, но они уже преобразованы поэтом и приняли у него своеобразный деистический характер. Духовное начало предстает у Тагора не как отдельно существующий верховный правитель и распорядитель мира, бог в собственном смысле. Это начало — сама жизнь, которой поэт придает сокровенно божественное значение. Понятия божества и жизни у него сливаются, переходят одно в другое, образуя то, что он называл «джибондебота», или «божество-жизнь». Это давало повод многим истолкователям творчества Тагора, особенно на Западе, усматривать в нем носителя мистического «света с Востока».

Между тем на деле в этой деистической оболочке — а она в дальнейшем все более истончалась — представало реалистическое и по существу диалектическое понимание Тагором бытия, жизни как единого в своем многообразии, бесконечно развивающегося процесса. С течением времени в раздумьях поэта-мыслителя и в его эмоциональном восприятии мир и жизнь представали все более явственно, освобождаясь от всякого налета потусторонности,— обволакивавшая их дымка мистического настроения ослабевала, убывала и исчезала. Это отчетливо проявилось в стихах из знаменитого сборника «Журавли» (1916). Рассказывая о своих мыслях и ощущениях, которые были исходными для философской лирики «Журавлей», Тагор писал: «Я был в Аллахабаде... жил там очень спокойно, а вечера проводил, сидя на террасе. Однажды я вдруг ощутил какое-то непрестанное биение во всем, что меня окружало. Это было поздним вечером, и меня неожиданно охватило чувство, что все кругом течет, куда-то стремится — невидимый поток творения, в котором звезды казались хлопьями пены. Я ощутил течение темного

вечера, озаренного сиянием звезд, и этот поток вечности глубоко захватил меня. Я почувствовал себя в самой его стремнине. Так я начал писать. А когда я начал, то одна вещь влекла за собой другую. Это было начало «Журавлей» — течение невидимого и неощутимого потока». Поэт словно проникает своим обостренным чувством, глубоким мысленным взором сквозь кажущуюся неподвижность мира и ощущает его вечное движение. И в этом непосредственном ощущении текущей жизни едва ли оставалось место для чего-либо иного, кроме ее самой. Он воспевает жизнь прежде всего как великое благо человека. Это и есть подлинный, а не потусторонний рай.

Ты знаешь, брат, где рай?..
. . . . . .
Рай воплощен в моем горячем теле,
В моей печали, в нежности, в веселье
В моей любви,
В моем стыде, в моем труде, в бушующей крови,
В волнах моих смертей, моих рождений,
В игре всех красок, всех цветов, в оттенках, в свете, в тени.
Он влился в песнь мою...

(«Рай»)

Если жизнь — великое благо человека, то человек — самое главное в жизни. Тагор настойчиво утверждает самостоятельность и значение человеческой личности, ее внутреннего мира как источника творческих сил. Человек не песчинка в океане бытия и не орудие воли божьей. Он сам творец, и если «джибондебота» — природа создает человека, то человек в своем творчестве идет дальше, и его творчеству нет конца.

Ты птице дал песню — поет она песню твою,
Больше отдать не под силу звончайшему соловью,
Ты голос мне дал, но я больше тебе отдаю —
Песню свою пою.

(«Беру — даю»)

Один из ведущих мотивов лирики Тагора — это поистине самозабвенное восхищение красотой мироздания, природы. В чем-то, скорее всего именно в психологическом настрое, оно восходит к мотивам растворения личности в самозабвенной любви к богу, которые свойственны средневековой индийской поэзии («бхакти»). Но у Тагора это прежде всего глубоко эмоциональное отношение человека к реальному миру природы, который восхищает поэта своей красотой и совершенством, влечет его своими тайнами, рождает у него ощущение единства в многообразии. В его восприятии природы, неизменно эмоциональном, и напряженный поиск, и счастье открытия, а самое главное — это бьющая ключом радость бытия и щемящее сознание быстротечности жизни.

Способность ощутить красоту мира он называет своим самым большим богатством. Дать другим глубже и полнее почувствовать красоту — это самый ценный дар, который он несет возлюбленной, всем людям.

Богатство мое в зарницах, мерцающих нощно и денно.
Оно возникает мгновенно, исчезает мгновенно.
У него названия нет, но запомни его приметы,—
Воздух вдруг запоет, зазвенят на ногах браслеты...

(«Подарок»)

Природа и человек у Тагора предстают в единстве прежде всего благодаря эмоциональному восприятию природы, что столь присуще самому поэту. С редким поэтическим проникновением в глубины восприятия Тагор показывает, как радостные чувства и переживания — душевный подъем любви, буйная игра жизненных сил юности, родительская нежность, радость творчества и познания — делают зрение человека более глубоким и острым. Они словно наделяют красотой окружающий мир, многое из того, что прежде казалось безжизненным и бесцветным,— «зажигают звезды». В страдании, душевном смятении мир является поэту безбрежным темным океаном — это «бесформенный мрак мироздания». Тагор раскрывает перед нами и своего рода «обратную связь» между ликом природы и человеческими переживаниями. Картина природы пробуждает воспоминания о пережитых чувствах, которые наполняли ее своим содержанием, несет отблеск былых переживаний, а вечность мира, вечное обновление жизни обращают мысли поэта к будущему. Так у Тагора возникает одна из его излюбленных мыслей-тем позднего периода его творчества: слияние былого с грядущим:

...Но канувшие мгновенья —
В шумящей твоей листве, дрожащей от дуновения
Весеннего ветра... И память моя оживает... Вдруг
Возникнут под лепет лиственный и юность, и давний друг.

Так, глядя друг другу в лицо, цепями цветов сплетены,
С грядущим сливают былое волшебные ночи весны.

(«Шал»)

Присущее поэзии Тагора то особое проникновение в глубины человеческих чувств, в котором художественное видение сочетается с философским осмыслением, интенсивно и полно проявляется в его любовной лирике. Это — совершенно исключительное как по чувству, так и по мысли вдохновенное славословие любви. Живой и непосредственный, то эмоционально напряженный, то утонченно лиричный, а иногда и совсем простой рассказ поэта о влюбленности и любовных переживаниях свободно поднимается до высокого философского обобщения, до постижения прекрасного.

Поэт умеет показать любовь как налетающий вихрь чувств, который сливает влюбленных воедино, срывая индивидуалистическую оболочку — «покровы души», и уносит за пределы повседневности.

Налетай, ураган, сокруши, оглуши.
Все одежды сорви, все покровы с души!
Пусть она обнаженной стоит, не стыдясь!
Раскачивай нас!
Я душу обрел, мы сегодня вдвоем.
Без боязни друг друга опять познаем.
В безумных объятиях слились мы сейчас.
Раскачивай нас!

(«На качелях»)

Но порою его любовная песнь — сама простота, хотя и затейливая, как деревенская частушка:

Называется деревня наша Кхонджона,
Называется речушка наша Онджона,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто — наша Ронджона.

(«Мы живем в одной деревне»)

Но есть общее в многообразной любовной лирике Тагора — это сознание бесценного дара любви, который для Тагора всегда нечто большее, чем сами любовные отношения двух людей. Он может сказать об этом просто и лирично:

Без близкого участия подруги,
Которая в те годы там жила,
Наверное, не знал бы я в округе
Ни озера, ни рощи, ни села.

(«Та женщина, что мне была мила...»)

А может и отчеканить свою мысль с мастерской афористичностью:

Одно всегда одно, и больше ничего,
А двое создают начало одного.

Эмоциональный подъем, присущий влюбленности, обостряет восприятие мира, любовь становится для поэта путем радостного его постижения, а счастливая иллюзия влюбленных, которым кажется, что время остановилось, переходит в сознание вечности самой жизни:

Где жизни теченье сливалось
С течением небытия,
Где время для нас обрывалось,
Однажды сошлись ты и я.
. . . . . .

Я понял, как звездная сила
Блеснула и сумрак сразила.
Как трепетно, неудержимо
Дыханье летит бытия,
Я понял, когда недвижимо
Сидели вдвоем ты и я.

(«Встреча»)

Любовь в восприятии Тагора — это сама человечность, естественная и прекрасная. И если в ранний период творчества поэта единение влюбленных, видящих мир «одними глазами»,— это прежде всего пьянящий своею радостью праздник, то в зрелые годы — это и животворный источник душевных сил человека «на самом трудном пути — на пути будней». Мрачный колорит неустроенных будней лишь подчеркивает мужество и стойкость влюбленных («Дорогая, нового рая мы создавать не станем...»). И словно молния, прорезающая затянутый тучами небосвод, вспыхивает неистребимый светоч любви, звучит ее торжествующий глас,— поэт повторяет, как символ веры, как заклинание:

Ты — есть, я — есть, мы — рядом!

Если рассматривать поэтическое творчество Тагора в целом, то создаваемая им картина мира предстает, скорее, обобщенной и возвышенной, нежели конкретной и повседневной, а высокая эмоциональная напряженность подчас словно бы поглощает оттенки чувств и настроений. Однако с годами поэт все настойчивей стремился к конкретности изображения, сохраняя свой характерный лирико-философский подход. Уже на склоне лет Тагор находит «связь былого с грядущим» не только среди полей и лесов,— он открывает ее повсюду... Школьный звонок в переулке, залитом жарою,— ему звучать для все новых и новых поколений,— становится для старого поэта таким же ярким символом вечного обновления жизни, как и весенняя листва, шумевшая в пору его юности.

Трамвай за окнами прогрохотал...
Теперь наш переулок шире стал.
Где тот разносчик старый?
Нет нынче спроса на его товары,
И хриплый крик
Растаял вдалеке. Прошли, как миг,
Десятки лет. Все миновало.
Но вновь звенит звонок в конце квартала.

(«Старая книга»)

Такие стихотворения-воспоминания занимают немалое место в творчестве старого поэта, а порою он сам называет их «игрой осколками минувшего». Но всплывающие в памяти видения прошлого почти неиз-

менно соотносятся с настоящим, которое Тагор рисует немногими, но очень выразительными штрихами, и в целом стихотворения-воспоминания создают подвижную картину жизни, характерную именно своей конкретностью. Они имеют и свое особое настроение, исполненное новыми для поэта мягкими переливами многообразных чувств.

Стремление к большей конкретности изображения, очевидно, не было только вопросом изменения стихотворного стиля, как не было оно вызвано только дорогими для старого человека воспоминаниями. Думается, что это стремление было обусловлено растущим интересом Тагора к повседневной жизни простых людей, более глубоким осознанием ее значимости, что отражало развитие реалистического начала и гуманистической направленности его творчества.

Порой он, кажется, даже впадает в крайности, отнюдь не чуждые этому исполненному жизненных сил, изведавшему острейшие переживания человеку, столь непохожему на стилизованный образ отрешенного и умиротворенного мудреца, который в свое время получил довольно широкое распространение. Поэт, прежде восставший против повседневности как воплощения стяжательской суеты, теперь видит в повседневности радостную и печальную, полную противоречий жизнь простых людей и стремится возвеличить ее. И вот даже Великая Ганга, которая символизирует национальную традицию — «течет из древних текстов прямо»,— теперь видится ему путником:

Идущим мимо радости и горя,
Что в придорожных домиках живут —
Так близко и далеко от него.

Отчужденной величавости Ганги он противопоставляет образ речки Копаи, — она вся входит в жизнь деревни, через которую протекает. Поэт хочет, чтобы таким же было его творчество, и это желание столь велико, что сам он считает свою поэзию именно такой:

Ритм Копаи похож необычайно
На ритм моих стихов.
Объединяет
И землю он и воду. Наполняет
Он музыкой часы дневных работ,
В незримом ритме том сантальский мальчик
Бредет лениво с луком и стрелою.
И в этом ритме движется телега,
Нагруженная сеном. И горшечник
На ярмарку идет, неся посуду
В корзинах двух, привязанных к шесту.
И за хозяйской тенью собачонка
Бежит в том ритме.
В нем учитель школьный,
Не заработавший трех рупий в месяц,

Идет устало,
Свой облезлый, старый,
Дырявый зонт раскрыв над головой.

(«Копаи»)

Обращение к повседневности не снижало эстетического идеала поэта и не изменяло его мировоззренческих позиций, но делало связь его творчества с действительностью глубже и естественнее. Вот то понимание красоты, которое явилось итогом долгой творческой жизни Тагора:

Красивое заключено в обычном,
Но все границы преодолевает.
Оно в необходимости свободно
И в преходящем остается вечным.

(«Свое жилище я переменил...»)

* * *

На протяжении всей жизни Тагор, называвший себя романтиком («этот мир романтик создал, и реального в нем нет»), искал и находил свой путь в реальный мир народной жизни, в тот мир, «что оборван, голоден и сир». Жестокая судьба родины неизменно и глубоко волновала поэта, он искал причины национального порабощения своего народа, пути его освобождения и возрождения. И если поначалу гражданская тема лишь отдельными прорывами вторгалась в поэтическое творчество Тагора, а протест против национального гнета и социального зла сочетался с просветительскими иллюзиями и надеждами на силу моралистической проповеди, то с течением времени социально-политическая проблематика широко переходит из его прозы и публицистики в поэзию, а также в его очень своеобразную драматургию, а гражданский протест становится бунтарским, перерастает в призыв к борьбе.

Тагор с самого начала решительно отвергал насаждавшееся колониальными правителями и получившее довольно широкое распространение в индийских либерально-буржуазных кругах представление о том, что английская власть якобы играет в Индии цивилизующую роль. Он ясно видит, что эта власть угнетательская и грабительская, оставляющая порабощенным ею лишь крохи со стола цивилизации.

Но Западом брошенные лоскуты
Нашей не могут прикрыть нищеты.

(«Мы драгоценности растеряли»)

Ты в униженье одет с хозяйского плеча
Перед одеждою такой и рубище — парча.

(«Чужая одежда»)

Тагора возмущает не только национальное порабощение своего народа, но и вся система колониального варварства и расизма. Он говорит об Африке:

Тенистая! За черным покрывалом
Не видел человеческого лика
Презренья мутный взор.
С колодками, с цепями ворвались
Ловцы людей, чьи когти крепче волчьих,
Чье низкое высокомерье глуше
Твоих для солнца недоступных джунглей.

(«В тот древний, исступленный век...»)

Восставая против чужеземного господства и колониального ограбления, которые принесла его родине буржуазная цивилизация Запада, и уже ощущая растущее зло буржуазности, утверждавшейся в самой Индии, Тагор в то же время выступил решительным противником националистической идеализации индийской патриархальщины. Само сохранение национального подчинения Индии он связывал с сохранением жестокого социального гнета, скверны разделения людей на касты, с вековой приниженностью народных масс. «Не хранит обид тот, кто часто бит...» — с глубокой болью, а порою и с отчаянием говорил он об этом.

Страна несчастная моя! К тем, что тобой оскорблены,
Сойди смиренно — пусть они тебе окажутся равны.
Кого, стопой своей поправ,
Лишила ты священных прав,
Те, что стоят перед тобой, твоих объятий лишены,
Пусть в унижении своем тебе окажутся равны.

(«Страна несчастная моя!»)

Через всю свою жизнь Тагор пронес страстное стремление к пробуждению народа, утверждению национального и человеческого достоинства простого человека своей родины, видя в этом путь к ее национальному освобождению. В 1901 году он писал:

Согнуты спины, плети суровы,
Души покорны, тяжки оковы.
Грязь, поруганье, обиды, срам,
Клонится гордость к чьим-то ногам.

О, ниспровергни нагроможденья
Рабства, позора и осквернения.
Дай наконец-то расправить грудь —
Утро, свободу, небо вдохнуть.

(«Родину бедную...»)

Но если в те времена, когда индийское освободительное движение делало лишь первые шаги, стремление поэта к свободе родины и раскре-

пощению ее народа представало именно мечтою, порою звучавшей и как мольба, то впоследствии мечта сменяется уверенностью, а мольба — призывом к молодежи «разбить алтарь рабства». Этот перелом виден уже в стихах книги «Журавли», вышедшей в годы первой мировой войны. Тагор тонко почувствовал назревание исторических перемен в мире и у себя на родине. И хотя поэт еще очень смутно представлял себе, в чем именно они будут заключаться, он горячо желал прихода новых светлых сил, которые разрушат старый мир. Тагор хотел быть с ними.

Сбрось прах веков и ржавь оков!
Мир засевай бессмертья семенами!
В грозовых тучах ярых молний рой,
Зеленым хмелем полон мир земной,
И ты возложишь на меня весной
Гирлянду бокула,— то близко время,
Приди, бессмертное земное племя!

(«Юное племя!»)

Призывая покончить со старым миром, Тагор часто обращается к образу «игры». Это один из излюбленных образов тагоровской поэзии вообще, но прежде поэт придавал ему во многом иной смысл. Сам по себе образ игры у Тагора восходит к индийским религиозно-философским представлениям, согласно которым видимый мир создается и разрушается в божественной игре творца. Еще в книге «Гитанджали» Тагор противопоставлял «игру» как свободное проявление творческих сил гнету окружавшей его повседневности. Но эта игра разрушения и созидания подчас представала у него не только свободной, но и бесцельной, даже бездумной,— отсюда частое в то время обращение поэта к игре детей. Теперь же в тагоровском образе игры все сильнее звучит призыв к целенаправленному разрушению старого ради создания нового, лучшего. Поэт хочет, чтобы это делалось смело и решительно.

Так играл я не раз.— Все новое, знаю,
Строят, вдребезги старое разбивая,
Путь потеряв, открывают неведомый,
Беды нам только кажутся бедами,
Знаю — из разорванных пут
Шутя для качелей веревки плетут.

(«Звук шагов»)

Мудростью и тонкой лиричностью веет от слов Тагора о грядущем поэте, чей приход Тагор встречает со спокойной уверенностью, которую дает ему сознание, что и он сам в чем-то принадлежит наступающему новому.

Ну что же? Я уйду, не ведая печали,
Чтоб новых, лучших дней напевы зазвучали
Ужели из цветов моей весны
Нельзя сплести венок поэту новизны?

(«Новый слушатель»)

Не следует, однако, думать, что призывы Тагора к разрушению старого мира, громко прозвучавшие в поздний период его творчества, свидетельствовали о переходе поэта на последовательные революционные позиции. Его социально-политические взгляды по-своему отразили развитие индийской общественной мысли в ходе национально-освободительного движения и именно в рамках последнего. Этапы этого развития, совершавшегося на протяжении долгой жизни поэта, и свойственные каждому из этих этапов представления не только сравнительно быстро сменялись, но и как бы наслаивались друг на друга.

Так и у Тагора призывы к революционному преобразованию, растущее сочувствие социализму сочетались с унаследованным моралистическим подходом к общественной жизни, включая идеи «ненасилия», которые Тагор, впрочем, не абсолютизировал, как Ганди. Но главное состояло именно в том движении вперед, которое было свойственно идейным исканиям великого индийского поэта. И если в книге «Журавли» призывы к свободе звучат еще отвлеченно, а подчас и моралистично, то в стихах книги «Завершения» Тагор говорит именно о борьбе за свободу, возвеличивает ее героев и мучеников, зовет к действию:

Кто отвоевал у горя
Свет и счастье, с мраком споря,
Тот в тюрьме познал свободу,
Внемля музыке цепей!

(«К узникам Бокши»)

По-новому осмысляет Тагор само понятие «свобода», которое всегда занимало большое место в его раздумиях. Если раньше, отвергая традиционное религиозное понимание освобождения как аскетической отрешенности от жизни, он видел утверждение свободы в принятии жизни, в ее освобождении от обветшалых порядков и догм средневековья и от алчного своекорыстия буржуазии, в достижении национальной самостоятельности, то теперь Тагор в свое понятие достижения свободы включает социально-политическое переустройство общества в интересах трудового народа, о котором он говорит:

Они поймут, что могут править сами.
С ликующими криками тогда:
«Да славятся орудия труда!» —
Они вольются в войско к Балараме —
И в опьяненье он всколеблет мир!

(«Колесница времени»)

В своих «Письмах о России» Тагор тоже использовал мифологический образ покровителя земледелия Баларамы Плугодержащего, называя его войском трудовой народ первой страны социализма.

* * *

Большинство своих рассказов и повестей, а также наиболее известные романы Тагор написал в период с конца 80-х годов прошлого века по второе десятилетие нынешнего века. Он — создатель жанра рассказа в индийской литературе, и при этом лучшие его рассказы стоят в одном ряду с классическими образцами мировой новеллы. Замечательное искусство Тагора-рассказчика — тонкое психологическое проникновение и поэтичность, сочетание обыденности и романтики, драматического и комического, мягкого лиризма с иронией и сарказмом — все это позволило ему изображать жизнь объемно, многогранно, в неизменном ее движении и смене красок, в игре «света и теней», как назвал он один из своих рассказов. Вот почему рассказ Тагора столь неоспоримо достоверен также и тогда, когда речь в нем идет, например, о романтических видениях, являющихся налоговому чиновнику, который ночует в заброшенном средневековом дворце («Голодные камни»), или когда сентиментальным рассказчиком становятся каменные ступени на берегу («О чем рассказал берег Ганги»), а изящная сказка превращается в обличительную аллегорию кастовой системы («Карточное королевство»). Художественное совершенство и глубокая гуманистическая направленность рассказов Тагора придают им непреходящее значение, хотя сами по себе идеи и общественные отношения, волновавшие писателя, его соотечественников и современников, как правило, являются для нас отзвуками не только отдаленного прошлого, но и своеобразных национальных условий его родины.

Особенно много рассказов Тагор написал в 90-х годах, когда он подолгу жил в деревне и близко узнал повседневную жизнь тогдашнего бенгальского общества. Фабулу большинства рассказов Тагора, как и его романов, составляют семейные отношения. Это имело свою историческую обусловленность. Бедна, ограниченна общественная жизнь страны, где во многом еще господствовала патриархальная социальная организация. Ее основная ячейка семья — большей частью едва ли не единственная арена жизни, где проявляются личные взаимоотношения людей, раскрываются личность, чувства. Тагор тонко улавливает их движения, проникает в их потаенные глубины, и поэтому ему удается показать большой смысл, казалось бы, скромных фактов жизни, открывать красоту в обыденных проявлениях человечности. Таков, например, один из лучших его рассказов — «Кабуливала», где непримечательная сама по себе история дружбы маленькой девочки из бенгаль-

ского дома с уличным торговцем-афганцем проникновенно раскрывает отцовское чувство и становится гимном ему.

Но семейно-бытовые отношения в первую очередь становились также и ареной тех личностных коллизий, в которых проявлялись более широкие общественные конфликты, когда начиналась ломка патриархальной структуры. Эти коллизии и привлекали главное внимание писателя. Всей мощью своего таланта он вел борьбу против калечивших судьбу человека вековых установлений и нравов, равно как и против сил чистогана, которые уже претендовали на господство над этой судьбой. Фактически именно сочетание средневековья с растущим буржуазным всевластием денег, скрепленное колониальным режимом, закономерно предстает у Тагора главным социальным злом, тяготевшим над его родиной. Он показывает, как феодально-помещичий произвол облачается в новые буржуазные одежды едва ли не так же, как многие его носители — в европейское платье, а нравы буржуазного чистогана прикрываются лицемерным благочестием. Это многоликое зло цветет особенно пышно, пока народ еще не пробудился, пока он еще безмолвствует.

Не удивительно поэтому, что реалистические картины бенгальской жизни в рассказах Тагора большей частью печальны, а нередко трагичны. Даже трагедия человека из народа выглядит в этих условиях чем-то заурядным, ибо в глазах «общества» и правителей страны он не человек, а некое существо низшего порядка, предназначенное для того, чтобы терпеть. В рассказе «Возвращение Кхокабабу», в сущности, созвучном тургеневскому «Муму», но при этом раскрывающем еще более глубокую приниженность человека, слуга Райчорон растит единственного сына только для того, чтобы отказаться от него в пользу хозяев и тем искупить свою оплошность, приведшую к гибели их ребенка. Райчорон поступает так совершенно добровольно, но это кончается для него точно тем же, чем кончается для тургеневского Герасима исполнение приказа помещицы. Тагор рассказал и о том, как беспощадно подавлялось любое сопротивление сильным мира сего — будь то помещик-заминдар или его управляющий, которые властвовали в деревне и творили свой суд и расправу с помощью суда официального («Несчастье маленького человека»), либо городской богач в Калькутте («Учитель»), а тем более всемогущая тогда власть английских правителей («Свет и тени»).

Тагор, по существу, впервые вводит в индийскую литературу тему «маленького человека» из так называемых средних слоев, жизнь которых в центре внимания писателя. И нужно сказать, что он подходит к этой теме по-своему — с надеждой. Несмотря на все свое одиночество и несчастность, маленький человек у Тагора отнюдь не только страдает, он уже начинает протестовать. Пусть в своем протесте он еще пред-

ставляется власть имущим всего лишь «хорохорящимся муравьем», пусть его попытки защитить справедливость и достоинство перед лицом колониального порабощения еще бессильны, но это уже предвестники назревающей борьбы «за азбучные права человека, за демократию». Перед таким человеком уже может открыться, пусть на мгновенье, проблеск счастья, или оно замаячит где-то в отдалении, ибо он способен на счастье. Так у Тагора из «маленького» человека вырастает новый человек. И недаром скромный деревенский священнослужитель, следуя исконному чувству справедливости, пытается ценою собственного разорения защитить беззащитного, а молодой учитель мечтает о подвигах Гарибальди, хотя время для них еще далеко не настало. Так Тагор своим творчеством утверждал тот демократический дух, который несло с собой поднимавшееся индийское национальное движение.

* * *

Если рассказы Тагора многогранно отобразили именно обыденную жизнь и быт бенгальцев, то наиболее известные романы писателя вводят нас прежде всего в идейную жизнь его родины, в те общественные, моральные и политические проблемы, которые ставила поднимавшаяся борьба за свободу.

К числу таких произведений Тагора относится и его крупнейший роман «Го́ра». Он был написан в 1907—1910 годах, сразу после, а отчасти, видимо, и во время событий, которыми ознаменовался подъем организованного национального движения в 1905—1907 годах. Это была кампания бойкота английских товаров, первые демонстрации и забастовки в наиболее крупных городах, первые выступления нелегальных организаций — «тайных обществ», которые призывали к восстанию против английской власти, но пытались действовать методами индивидуального террора. Идейные расхождения в национальном движении, возникшие в последней четверти XIX века, переросли теперь в борьбу между двумя его направлениями — либеральным и радикально-националистическим, что привело к расколу ведущей национальной организации — Индийского национального конгресса. Как уже говорилось, в это время Тагор отошел от прямого участия в политической жизни. И, вероятно, ее бурные противоречивые события, столкновения идейных и жизненных позиций их участников были слишком близки по времени, а главное, слишком новы для страны и для самого писателя, чтобы стать предметом его художественного исследования. Он обратится к ним позднее в романе «Дом и мир», вышедшем в 1916 году. Но они столь остро и глубоко волнуют Тагора, что он не может не откликнуться сразу же. Он делает это весьма своеобразно — обращается к идейной жизни той уже до конца пережитой эпохи, которая предшествовала

событиям 1905—1907 годов. Отвлекаясь от самих этих событий, он стремится обосновать свое отношение к боровшимся направлениям в национальном движении, дать свой ответ на некоторые принципиальные вопросы, волновавшие его участников.

Так появился роман «Гора», действие которого развертывается на рубеже 70—80-х годов XIX века. В это время перед бенгальским обществом уже вставали некоторые исходные проблемы рождающегося национального движения. Но они пока что обсуждались главным образом в абстрактно-теоретическом плане, когда дело еще далеко не дошло до сколько-нибудь крупных политических действий, и поэтому не становились объектом широкой политической борьбы. Это, несомненно, облегчало задачу писателя, поскольку в своем романе он рассматривал те «проклятые вопросы», которые продолжали волновать индийскую интеллигенцию в начале XX века, а во многом и позднее, в их простейшей, исходной форме, в своего рода «химически чистой» среде, без вмешательства «грубой» действительности самой политической борьбы. При таком подходе роман охватывал более узкую проблематику, а ответы писателя неизбежно оказывались в той или иной мере умозрительными, ибо события 1905—1907 годов уже внесли много своего, нового. Но столь велики были сила таланта Тагора, его проникновение в глубинные процессы жизни родины, что он сумел провидеть некоторые важные сдвиги в развитии освободительного движения, которые наступили в основном уже после событий 1905—1907 годов и отражали дальнейший подъем этого движения.

События обыденной жизни героев романа «Гора» в большой мере связаны с семейно-бытовыми отношениями, с вопросами любви и брака между людьми из разных религиозных общин, кстати, исходно близких между собою,— о браке между теми, кто исповедовал разные религии, распространенные в Индии,— индуизм, ислам, христианство,— фактически не могло быть и речи. Однако если в большинстве других прозаических произведений Тагора, а также индийских писателей, его предшественников и современников, семейно-бытовые отношения составляли главную тему, то в романе «Гора» они дают только своего рода событийную канву, да и то лишь отчасти. Главных героев этого романа волнует уже не только их личная судьба, но и судьбы родины, общественные проблемы, а конфликтное развитие их идейных и жизненных позиций во многом составляет самую фабулу романа. И роман «Гора» не столько социально-психологический, как принято называть ведущие произведения индийской художественной прозы XIX — начала XX века, сколько именно проблемный. Как таковой он явился новым словом в индийской литературе.

В центре романа — дискуссия между «брахмаистами» и «неоиндуистами»,— такую форму приняла в Бенгалии 70—80-х годов зарождав-

шаяся борьба двух основных направлений в тогдашнем национальном движении. Борьба эта вскоре проявилась и в других, относительно более развитых тогда областях Индии, особенно в Махараштре. По существу, общество «Брахмо Самадж» представляло в Бенгалии либеральное направление, складывавшееся еще в первой половине XIX века. Либеральные деятели и, в частности, брахмаисты выступали с критикой средневековых установлений и обычаев и добивались реформации индуизма. Последнее было закономерно, поскольку в Индии сохранялось то близкое к средневековью положение, когда религия еще обнимала все формы идеологии, а передовое общественное движение еще во многом представало как религиозно-реформаторское. Оно было направлено против ортодоксальной религии, ибо последняя освящала феодальные общественные порядки, кастовое деление и средневековые семейные обычаи. Вот почему в романе религиозные дискуссии занимают столь большое место, что было характерно для идейной жизни Бенгалии и Индии вплоть до начала XX века.

Лучшие представители либерального направления критиковали также и колониальные порядки в Индии. Однако они были далеки от требования национальной свободы. Идеализируя уже утвердившийся буржуазный строй на Западе, они надеялись, что английская власть будет способствовать преобразованию индийского общества на буржуазный лад. В конечном счете это объяснялось слабостью буржуазных элементов в Индии, их зависимостью от английской власти и оторванностью первых национальных организаций от народных масс, пробуждение которых еще не наступило. В этих условиях общество «Брахмо Самадж», носившее сугубо верхушечный характер, постепенно выродилось в своеобразную секту или общину, отгороженную своей реформированной религией от индуистов, так же как последние были отгорожены от него ортодоксальной религией. Многие брахмаисты слепо подражали всему западному, угодничали и перед английскими властями, как угодничали перед ними и многие другие представители верхов тогдашнего индийского общества независимо от вероисповедания, ибо это было выгодно. В романе «Гора» Тагор показывает именно сектантско-мещанское вырождение «Брахмо Самаджа», подчеркивая также, что и само это Общество стало вписываться в систему средневекового разделения индийцев на религиозные общины и касты. Он оставляет в стороне ту передовую роль, которую сыграло это Общество в лице своих лучших представителей, чья деятельность, при всей ее социально-исторической ограниченности, подготавливала условия для национального пробуждения.

Но Тагор столь же критичен и в отношении «неоиндуистов». Они представляли новое, весьма сложное идейное течение, которое возникло в последней четверти XIX века и по-своему отражало нарастание на-

ционального движения. Лучшие представители этого течения, зачастую являвшиеся в Бенгалии выходцами именно из брахманской, либеральной среды, но теперь идейно порывавшие с нею, стремились к активному сопротивлению английской власти, начинали ставить вопрос о необходимости пробуждения народных масс и их вовлечения в национальное движение. В то же время неоиндуисты националистически идеализировали патриархальный уклад жизни, усматривая в нем самобытность Индии. При этом среди проповедников «индуистского возрождения» было и немало таких, которые думали вовсе не о борьбе за национальную свободу, а о защите феодальных сословно-кастовых привилегий. В романе «Гора» Тагор показывал, что как попытки «неоиндуистов» идеализировать средневековые установления, так и верхушечная деятельность «Брахмо Самаджа» не соответствовали действительным нуждам народных масс. Он стремился привести читателя к выводу, что неоиндуистская идеализация средневековых религиозно-общинных и кастовых делений индийского общества, с одной стороны, и сектантская ограниченность брахманстов, с другой, а также и самая борьба этих течений между собой, превращавшаяся нередко в мелкие дрязги, препятствовали осуществлению национального единства. Роман «Гора» является горячей проповедью этого единства индийцев на основе социального раскрепощения народа — проповедью, вдохновленной национально-освободительными и демократическими устремлениями.

Главный герой, именем которого назван роман, юноша Гоурмохон, или, сокращенно, Гора, готов целиком посвятить себя делу свободы родины. Тагор возвеличивает самоотверженность Горы, показывая в нем формирующегося борца. Однако патриотизм Горы поначалу предстает именно в неоиндуистском облачении. Тагор стремится раскрыть причины этого. Здесь и «патриотизм из книг», не ведающий действительной жизни народных масс, задавленных средневековым социальным гнетом, и в то же время протест против национального угнетения и унижения, который, как показывает Тагор, в конечном счете приводит истинного патриота к народу. Здесь и надежды на историческую самобытность Индии: она — «страна особенная, у нее сила и правда», «перемены в Индии должны совершаться своим, индийским путем», здесь обращение к иррациональной «духовности», которая горделиво ставится над реальными потребностями жизни и ее противоречиями,— «на этом берегу нам жить, а не пахать», Индии «нужен брахман — познавший Высший Дух». Между тем на деле само обращение к «духовности», как и возвеличивание индийской самобытности, отражало иногда еще полуосознанное, а порою и вполне сознательное стремление уйти от реальных противоречий общественной жизни, которые все острее давали себя знать в ходе начинавшегося буржуазного развития страны. Это и надежды снять социальные противоречия одной лишь моралистической

проповедью, «миром и ладом», никого не обижая, чтобы тем самым обеспечить национальное объединение всех индийцев перед лицом чужеземного поработителя — «соединить песней свободы все слои нашего общества», как говорит Гора.

Такие стремления и надежды были свойственны и самому Тагору, особенно до и во время создания романа. Однако у Тагора они связывались не с идеализацией средневековых институтов, а, напротив, с устранением таковых, осуществленным, однако же, добровольно, путем моралистического убеждения. Это нашло отражение и в его романе.

Тагор весьма тонко показывает, что неоиндуизм Горы — передового человека своего времени — является лишь облачением его патриотизма, его демократических, по существу, стремлений, но таким облачением, которое должно быть сброшено, ибо не соответствует, противоречит им. Защищая идею каст, Гора принимает молодежь из всех каст, в том числе из низших, в свою спортивную школу,— такие школы, или, скорее, кружки, создавались также и в патриотических целях, для подготовки молодежи к будущей борьбе за свободу. Видя в индуизме своего рода национальное знамя — «религию народа, страны», ревностно выполняя индуистские религиозные обряды, «складывавшиеся в течение тысячелетий», сам Гора на деле отнюдь не религиозен. Он прямо говорит, что его помыслы обращены не к богу, а «в другую сторону» и что он, быть может, обошелся бы и без бога. Однако в общественном смысле атеизм еще представляется ему, как, видимо, и самому Тагору того времени, чем-то совершенно неприемлемым, даже чудовищным. Уж очень несподручно было бы проповедовать всеобщее национальное единение и устранение социальных противоречий путем морального совершенствования людей без религии вообще, без апелляции к Духу.

Соответственно речь у Тагора шла об отказе не от религии, а от религиозно-общинной исключительности, о превращении «веры в личное дело» и создании «сообщества людей самых разнообразных религиозных направлений», как об этом говорится в романе, то есть о секуляризации в буржуазно-демократическом смысле. В отличие, например, от основателя «Брахмо Самаджа» Рам Мохан Рая и его последователей, главное для Тагора совсем не религиозная реформация как таковая — не вопросы религиозной догматики, о которых спорили брахманисты-монотеисты с индуистами-политеистами и которые, как тонко почувствовал Тагор, фактически уже отступали на задний план.

Главное для Тагора — это предотвращение религиозной розни, которую использовали и активно разжигали колониальные правители. О последнем в романе прямо не говорится, но в нем упоминается об отсутствии вражды между индуистами и мусульманами в бенгальской деревне 70—80-х годов. Однако впоследствии, именно тогда, когда Тагор писал свой роман, началось резкое обострение индусско-мусульманских

отношений, что по своим масштабам и тяжким последствиям не шло ни в какое сравнение со спорами между индуистами и брахманистами. Разжигание индусско-мусульманской розни стало теперь генеральной линией колониальной политики «разделяй и властвуй» в Индии, причем колониальные власти активно использовали именно индуистское религиозное облачение тогдашнего радикального направления в национальном движении для противопоставления мусульман индусам и провоцирования религиозной вражды. Все это не могло не сказаться на постановке Тагором вопроса о взаимоотношениях между религиозными общинами и делало особенно актуальной для современников критику «индуистского возрождения» в романе «Гора».

Эту критику Тагор ведет в различных планах. Подчеркивая искренность таких людей, как Гора, связь их обращения к патриархальной старине с пробуждающимися патриотическими стремлениями, Тагор в то же время развенчивает идеализацию отживающего средневекового уклада. Он противопоставляет ей свой гуманистический и уже, по существу, демократический подход — утверждение самостоятельности и значимости человеческой личности, обращение к действительной жизни народных масс и требование их социального раскрепощения.

Главными носителями гуманистических начал в романе выступают приемная мать Горы Анондомойи, формально принадлежащая к индуистской общине, и немолодой уже участник «Брахмо Самаджа» Порешбабу. Они предстают в романе, равно как и другие его герои, именно живыми людьми, а отнюдь не аллегорическими образами. И в то же время, создавая эти два образа, Тагор явно, но уже по-своему, следовал традиционным индийским философским представлениям о путях постижения истины (в этих представлениях — божества) — чувством (преданностью) и умом (знанием). Повинуясь естественному материнскому чувству, Анондомойи, вопреки кастовым запретам, взяла мальчика-ирландца, чьи родители погибли, и воспитывала его как родного сына. Отвергнув веками установленные правила, она обретает человеческую самостоятельность и поддерживает ее в других. Тагор, таким образом, показывает, что обветшавшие общественные порядки, а особенно деление людей на общины и касты, не только противоречат естественной человечности, но и отступают перед нею, их следует не защищать, а устранять. «Человеческое сердце стоит вне касты»,— говорит Тагор устами Анондомойи. Пореш-бабу, воспитанный в лучших традициях «Брахмо Самаджа», отстаивает человечность на основе своей рациональной идейной убежденности, своего морально-философского подхода, согласно которому главное — это человек, его личные качества.

Именно по этому принципу Тагор противопоставляет персонажи своего романа. К Порешу и Анондомойи примыкают те представители молодого поколения, которые стремятся к новому, готовы отстаивать

свою личную самостоятельность, свое право на счастье,— Шучорита, Биной, Лолита. «Отцы» не только понимают «детей», но и помогают осуществлению их стремлений. И дело здесь идет отнюдь не только о браке Биноя и Лолиты, принадлежащих к разным общинам, но также об общественной деятельности, о праве на нее не только мужчины, но и женщины. Тагор показывает дочерей Порешa-бабу Шучориту и Лолиту духовно самостоятельными, сознающими свое человеческое достоинство. Это результат воспитания в духе передовых традиций «Брахмо Самаджа», впервые нашедший отражение в литературе. Совершенно новым в тогдашней бенгальской жизни, но уже закономерным было решение Шучориты посвятить себя не только семейной жизни, но и обществу.

Порешу и Анондомойи противостоят Кришнодоял и Хоримохини — люди того же поколения, но олицетворяющие старое, которое, однако, держится очень цепко. Когда Кришнодоял наживал состояние на службе у англичан, он отнюдь не заботился об индуистском благочестии и кастовых правилах, но к старости он превращается в их ревнителя. Так в традиционном образе отрешившегося от мира старца Тагор показывает ханжу. Как бы противоположную житейскую эволюцию претерпевает Хоримохини. В молодости она стала жертвой жесточайшего женского бесправия, и тогда отрешенность и благочестие остались для нее единственным прибежищем. Но стоило появиться надеждам на некоторое житейское благополучие, как она бросилась завоевывать его. не стесняясь в средствах и стараясь обратить себе на пользу те же обычаи и порядки, жертвой которых она некогда стала. То с лукавым задором и юмором, то со сдержанным пафосом обличения Тагор рисует целую галерею других персонажей. Здесь и брахмаистский и индуистский демагоги Харан и Обинаш, плутоватый, так сказать, бытовой индуист Мохим и мещанка Бародашундори из «Брахмо Самаджа» и прочие. Писатель обнажает своекорыстие, чем бы оно ни прикрывалось,— брахманистским реформаторством или индуистской ортодоксией. Его мишенью становится и политиканство, которое уже выходило на сцену и сплеталось в один клубок с домашними и общинными интригами, наполнявшими изрядно затхлую жизнь калькуттского «среднего класса».

В то же время писатель задумывается о наличии истинного и ложного в каждом из боровшихся направлений в национальном движении, о соотношении личных качеств человека и его общественной позиции, его принадлежности к «лагерю». Ответы Тагора на эти поставленные им вопросы во многом определялись его общим моралистическим подходом к общественным отношениям.

Отсюда утверждения в романе, что «самое ценное в человеке — это его духовные качества, а вовсе не убеждения». Отсюда желание Порешa-бабу, чтобы истина открывалась его «смиренному взору» и на собраниях

брахмаистов, и в храме индуистов. Однако у Тагора такой подход служил и вполне конкретной исторически обусловленной цели — достижению единства национального движения и преодолению общинно-кастовых делений в общественной жизни и в быту. Поэтому наряду с иллюзорным и утопическим он содержит нечто реальное и прогрессивное. На уровне семейно-бытовых отношений тагоровские ответы справедливы. Когда же дело шло о национальном движении, они справедливы уже только отчасти, поскольку, будучи объединяющим фактором, национальное движение в то же время развивалось именно через борьбу направлений и партий внутри него, отражавших стремления и интересы различных общественных классов и слоев, а в этой борьбе неизбежным было принятие определенной стороны, не говоря уже о борьбе против сил национального угнетения. Ответы Тагора вовсе не справедливы, когда речь идет о борьбе за преобразование общества, в которой сталкиваются классы и их интересы, и поэтому именно принадлежность человека к «лагерю» играет решающую роль. В Индии в то время, когда был написан роман, эта борьба только зарождалась, а ее задачи отступали на задний план перед задачами национального движения.

Но и в том, что касалось развития самого национального движения, моралистические иллюзии шли вразрез с изображенной Тагором действительностью. Не случайно Пореш, чья терпимость, доброта и благоразумие противопоставлены порывам Горы, статичен и активной общественной роли не играет. Именно Гора, человек действия, основанного на идейной убежденности и способный увлечь ею других, становится главным героем романа. Столь же закономерно, что ни Пореш, ни Анондомойи — носители моралистических идей самого Тагора — не участвуют в том обращении Горы к действительной жизни народа, которое главным образом и подготовило решающий сдвиг в его идейной позиции. Покинув царство абстрактных идей и дискуссий вокруг них, в котором живет Пореш, как жил в нем и сам Гора, оставив в стороне естественную для жизни Анондомойи семейно-бытовую сферу с ее проблемами, Гора выходит в жизнь народную и воочию убеждается, на какой гнет и разобщение обрекают простой народ те установления и порядки, которые он столь поднимал на щит как «свое», «национальное». Убеждается он и в том, что народ, пренебрегающий зачастую общинными делениями, куда умнее тех националистов, которые пытаются их защищать.

Прозрение Горы подготовлено всей логикой событий, однако Тагор прибегает также и к особому, «внешнему» приему, чтобы помочь своему герою в его прозрении. «С иронией чуть-чуть сатанинской,— писал Ромен Роллан,— Тагор предоставляет своему герою — вождю национализма, руководящему политикой и религией,— сделать открытие, что в его жилах течет кровь ирландца и что он приемыш, подобранный одной

сострадательной семьей индусов...» Гора, таким образом, узнает, что он не может быть правоверным индусом, ибо индусом не становятся, а родятся.

Когда Тагор писал свой роман, активный протест индийских патриотов против колониального гнета и даже обращение к народу, за очень редкими исключениями, сочетались у них с той или иной идеализацией старины, апелляцией к религии, и сорвать полностью эту оболочку, не погрешив против жизненной правды, тогда вряд ли можно было без того поворота судьбы, который Тагор уготовил своему герою. Но Тагор предвидел будущее. Действительно, сама жизнь страны освобождала патриотизм борцов за национальную свободу от религиозного облачения. Став массовым, национально-освободительное движение оставило позади оба боровшихся направления конца XIX — начала XX века. И хотя оно наследовало многое от предшествовавших этапов своего развития, вовлечение народных масс в антиимпериалистическую борьбу открывало путь новому — борьбе за социальные преобразования. Индия, как и Азия в целом, начинала вновь обретать активную роль в мировом историческом процессе. И недаром Тагор в своем давнем романе говорил о связи Индии «с грядущими мировыми потрясениями». Так великий поэт Индии возвещал начало ее нового века.

Э. КОМАРОВ

III

Light leaves no footprints upon the sky,
It knows how to vanish and therefore remains for ever.

The sea writes in foam the cry of its waves,
and in despair wipes the script again and again

We gather materials for our pleasure from outside

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «КАРТИНЫ И ПЕСНИ» («ЧХОБИ О ГАН»)

1883

ЙОГ

Величав и одинок, руки простирает йог,
Глядя на восток.
На закате — лунный рог, море плещется у ног,
Небосвод глубок.

Перед йогом — меркнет мгла, свет исходит от чела,
На лице — покой.
Чуть решается дохнуть на его нагую грудь
Ветерок морской.

Широко простор открыт. Посреди миров стоит
Одинокий йог.
Он огромен и косматый, волны робкие дрожат,
Лишь коснутся ног.

Нерушима тишина, мир объят пучиной сна,
Но незаглушим
Голос моря,— он поет, славя солнечный восход
Гулом громовым.

Йог один на берегу. Волны тают на бегу...
И в душе его
Необъятный океан, даль, ушедшая в туман,
За предел всего.

Йог, молчание храня, стережет рожденье дня,
Далью окружен.
За его спиною ночь тихо уплывает прочь,
Погружаясь в сон.

Там — небесная река — Ганга мчит сквозь облака
Звездный свой поток.
Там — темнеющий закат, здесь — сиянием объят
Неподвижный йог.

Словно светом божества, озарилась голова
Солнечным огнем.
А на западе, вдали, угасает ночь земли
Пред возникшим днем.

Над бескрайностью зыбей яркой россыпью лучей
Запылал восход.
Тайны величавей нет, чем сияющий рассвет
Над лазурью вод.

Вся морская глубина света теплого полна,
Смотрит на восток,—
Разогнав туман густой, рдеет лотос золотой,
Огненный цветок.

И светлы и горячи, обоймут его лучи
Весь земной предел.
Поднял руку йог-всевед и стихи священных вед
Медленно запел.

ИЗ КНИГИ «ДИЕЗЫ И БЕМОЛИ» («КОРИ О КОМОЛ»)

1886

ПОЦЕЛУЙ

Чутко внемлют уста устам любимым.
Два одержимых сердца друг друга пьют.
Две любви, два желанья, подобны двум пилигримам,
Безоглядно покинули пустынный дом,
К слиянию губ идут они неторным путем.
Две волны, два желанья друг к другу льнут,
Две взметенные страсти жаждут и ждут.
Встреча двух существ — в устах, на границе тела —
Песнь свою любовь начертала тут,
Письмена поцелуя тут напечатлела.
Дом влюбленных сердец теперь не пуст.
Губы сияющие на гирлянды цветов похожи.
О, свиданье светлое алчных уст,
Две улыбки, горящие на брачном ложе!

ПЛЕННЫЙ

Подруга, освободи! Объятья свои расплети,
Вином своих поцелуев не пои страстотерпца!
Я ветер, в тюрьме цветов рыдающий взаперти,—
Сердце раскрепости, выпусти пленное сердце!
Где небо? Где свет рассвета? Как бесконечна ночь!
Ты распустила волосы — меня ты задушишь ими.
Я погружен в тебя — мне ничем не помочь,
Я вижу только тебя, твое лишь я слышу имя.

Касаются рук моих беспокойные пальцы твои,
Взлетают пальцы твои, сеть для меня сплетая.
На небо вновь и вновь я гляжу в забытьи,
Мне улыбкою вечной отвечает луна седая.
Подруга, освободи, внемли смиренным мольбам —
И сердце мое свободное сам я тебе отдам.

ИЗ КНИГИ «ОБРАЗ ЛЮБИМОЙ» («МАНОШИ»)
1890

УСТАЛОСТЬ

Ночь. Полнолунье. Ветра нежная легкокрылость.
Неба светлы края.
Если б, как сонные очи, медленно вдруг закрылась
Усталая жизнь моя!

Яркой луне навстречу в сумраке розоватом
Два раскрыты окна.
Стрелки часов не дремлют... Ганга течет куда-то
В темных объятьях сна.

Лодочник о Вриндаване поет, погруженный в мысли,—
Сердце его зажглось,
Вспомнив о жизни вечной, и на ресницах повисли
Капли внезапных слез...

Сон увлекает душу в бездну, где ночь слепая
Черной зальет волной,—
Так же от ветра гаснут светильники, утопая
В Ганге, во тьме ночной...

ИЗ КНИГИ «ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ» («ШОНАР ТОРИ»)

1893

ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ

Хлещет ливень, и мрак небеса заволок.
Я стою у реки. О, как я одинок!
Мой урожай был к сроку сжат,
У ног моих снопы лежат.
Река размыла перекат,
Блещет стремнины клинок.
Хлещет ливень. Я жду. Я до нитки промок.

Я один на пустынном прибрежном лугу.
Что на том берегу — разглядеть не могу.
Чуть вырисовывает мгла
Штрихи деревьев у села,
А хижины заволокла.
Здесь, на этом пустом берегу,
Ни души. Я один на прибрежном лугу.

Чу! Над бездной реки чья-то песня слышна!
Я узнал эту песню! Все ближе она.
Над лодкой парус распростерт,
Он реет, он полетом горд.
Бессильно бьется в твердый борт
Речная волна.
Эта песнь мне знакома! Все ближе она!

Друг мой, в какой направляешься край?
Погоди! Прошу тебя — не уплывай!
Хотя б на миг причаль! Постой!
Возьми мой урожай с собой!

Потом отчалишь в край любой.
Только мой золотой урожай
Ты в ладью забери. Хочешь — людям отдай!

Все возьми. Все тебе до зерна отдаю.
Погляди, нагрузили мы лодку твою.
Я здесь трудился столько дней!
На ниве я стою своей,
Ни колоска теперь на ней.
Я один у причала стою.
Ты возьми и меня в золотую ладью!

Места нет, места нет, слишком лодка мала,
Много места поклажа моя заняла.
Наш край безмолвен, а над ним
Клубятся тучи, словно дым.
Над полем я стою пустым,
Все я отдал дотла.
Далеко золотая ладья уплыла.

«ХИНГ, ТИНГ, ЧХОТ!»

(Сновиденье)

Раджа Хобучондро в раздумья свои погружен:
Приснился радже среди ночи таинственный сон.
Увидел он трех обезьянок... Да, именно трех!
Усердно они выбирали и щелкали блох.
Когтями своими — едва шевельнется раджа —
Царапали больно лицо его, тонко визжа.
Но вот в изголовье внезапно сменил обезьян
Неведомо как очутившийся рядом цыган.
К радже наклонившись, он вымолвил: «Птица летит!»
Над самым лицом его громко заплакал навзрыд
И вдруг, подавив Хобучондро безвольный протест,
Раджу посадил на высокий и гнущийся шест...
И старая, старая женщина, жутко смеясь,
Ступни Хобучондро внизу щекотать принялась.
Брыкая ногами, от страха всем телом дрожа,
Кричал: «Помогите!» — и бился, как птица, раджа.
Никто не являлся спасти Хобучондро, и вот
Цыган прошептал ему в ухо слова: «Хинг, тинг, чхот!»

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Шесть дней не смыкали сыны добродетели глаз,
Все царство сидело и думало, не шевелясь.
Мужи молодые с почтенными старцами в ряд
Молчали, вперив в беспредельность задумчивый взгляд.
У пандита местного — ворох нетронутых дел,
Забросил занятья ученый, иссох, побледнел.
Он мыслил, в персты шевелюру густую забрав.
Не бегали дети, отстали от шумных забав.
Все женщины даже,— и это, видать, неспроста,—
Казалось, всерьез и надолго сомкнули уста.
И жены, и дети, и мысли могучей мужи
Пытались проникнуть во смысл сновиденья раджи.
Тяжелая дума на каждом из ищущих лиц.
Затылки и шеи, понуро склоненные ниц,
Как будто бы там, под землею, скрывался ответ,
Как будто за трапезу сели, а трапезы нет.
Лишь изредка слышались вздохи, да чей-нибудь рот
Исторгнет задумчивым возгласом вдруг: «Хинг, тинг,
чхот!»

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Шло время. И вещего сна Хобучондро лучи
Достигли пределов Магадхи, Кошалы, Канчи.
Отвсюду стекались сюда мировые умы,
Чтоб тайну виденья великого вырвать из тьмы.
Прославленный отпрыск певца Калидасы — и тот
Покинул Уджайни по манию слов: «Хинг, тинг, чхот!»
Пришельцы потели, барахтаясь в книжной пыли,
Чихали, сопели и враз головами трясли.
И шрути и шмрити они извлекали на свет
И даже в пуранах желанный искали ответ.
Один порывался полезть за разгадкой в словарь,
А этот пытался осмыслить украдкой букварь.
Рябили здесь знак анусвара и висарга знак —

Все тщетно: ответ мудрецам не давался никак.
В унынье, со лбов вытирая струящийся пот,
Мыслители хрипло шептали слова: «Хинг, тинг, чхот!»

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

А время бесплодно тянулось. И день наступил,
Когда Хобучондро, теряя терпенье, спросил:
«Найдется ли в царстве неверных такой эрудит,
Что мне сновидения смысл до конца прояснит?»
Вот греки явились, и грянула музыка вдруг.
Заполнили звуки большое пространство вокруг.
Глаза голубые и золото рыжих волос,
Одежда и лица — все было курьезным до слез.
Без всяких вступлений они заявили: «Мы тут
Вам выделить можем всего лишь семнадцать минут.
Быстрей задавайте вопросы — и дело пойдет».
И все, кто их слышал, вскричали одно: «Хинг, тинг,
чхот!»

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Пришельцам рассказано было о чуде ночном,
И лица язычников вспыхнули гневным огнем.
По левой ладони ударил их правый кулак,
И молвили греки: «Здесь шутят над нами, никак?»
Потом оказался какой-то француз впереди;
Слегка поклонившись и руки сложив на груди,
С учтивой улыбкой, как будто прощенья моля,
Сказал: «Сновиденье достойно и впрямь короля!
Не скрою: не каждому видеть такое дано,
Но кажется мне, что... значенья оно лишено.
Хоть я понимаю, что сон этот видел король,
Но в смысле какого-то смысла мне мыслится ноль.
Пускай «Хинг, тинг, чхот» пронеслось в голове короля —
В нем тайны не больше, чем в самом простом
«тра-ля-ля».

Но пусть меня правильно общество ваше поймет:
Мне было приятно услышать от вас: «Хинг, тинг, чхот».

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Француз замолчал, и поднялся неистовый крик:
«Прочь, рыжий бездельник, глупец, негодяй, еретик!
Сон — форма мышленья — и только, доказывал ты.
Да это грабеж! Мы не стерпим такой клеветы.
Глубокою верой известен наш мудрый народ.
Неверный, ты хочешь принизить слова: «Хинг, тинг, чхот».
Нет, набожность наша не внемлет бессовестной лжи!»
Дрожащий от гнева послышался голос раджи:
«Сажай, Гобучондро, безбожников между шипов,
Свяжи их веревками крепче да выпусти псов!»
Приказ был исполнен. Был суд над неверными крут.
Безумцев не стало. Прошло лишь семнадцать минут.
Покой воцарился, промчалась лихая гроза,
Умильные слезы застлали ученым глаза.
Их взоры витали за гранью небесных высот,
И, руки воздев, возопили они: «Хинг, тинг, чхот!»

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

И вот из Гаура явился отшельник-мудрец.
Шептали вокруг, что теперь-то догадкам конец,
Что знает он многое. Бритой была голова,
Одежды его наготу прикрывали едва.
Был худ он настолько, что мог бы сойти и за труп,
Но голос его оказался как тысяча труб.
Манерам его изумился ученый синклит:
Ни слова привета не вымолвил сей эрудит.
Его попросили назвать свое имя и дом —
Тогда и раздался в ответ оглушительный гром.
Спросил он: «Чему разъяснение должен я дать?»
Ученые, все как один, закричали опять:

Мол, пусть объяснение гость из Гаура найдет
И сну Хобучондро, и тайным словам: «Хинг, тинг, чхот».

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Когда потонул в тишине перезвон голосов,
Гортанная речь зазвучала на много часов:
«Доступны рассудку идея и фабула сна,
Привычная форма виденья предельно ясна:
Три глаза у Шивы, три века, субстанции три,
Природы и личности силы столкнулись внутри,
А именно: здесь разделенье, движение, связь
С явлением Шивы последняя оборвалась.
Отталкиванье, тяготенье, пуруша, пракрити,
Распад, единение атомов, если хотите,
Причина и следствие... Если же дальше пойдем,
То мысль, совершенство, энергию тут же найдем.
По трем направленьям развитье триады идет,
А это, иными словами, и есть «Хинг, тинг, чхот».

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Отшельник умолк, и послышались крики: «Прекрасно!
Все просто и мудро, и каждое слово так ясно!»
Как тучи на небе, пред истинной силой ума
Рассеялась тайны виденья угрюмая тьма.
Раджа Хобучондро, вздохнув облегченно, привстал
И тощего гостя короной своей увенчал.
Придавленный ею, бенгалец держался едва,
То влево, то вправо клонилась его голова...
Волненья забылись. Настал долгожданный покой.
И вновь забавляются дети веселой игрой,
И ожило царство — за трубки взялись старики,
Все женщины вмиг развязали свои языки,
И тайной не мучился больше счастливый народ,
Постигший разгадку таинственных слов: «Хинг, тинг, чхот».

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

Вы слышали, братья, как мудро толкуются сны?
От тьмы заблуждений теперь мы отречься должны.
Молвой о реальности мира того не проймешь,
Кто верит, что в правде самой заключается ложь;
Кто знает: все сущее — только иллюзия, бред;
Ничто — вот реальность, а прочего попросту нет!
И если секрет сновидения слишком уж прост,
Разумный к нему, не стесняясь, приделает хвост,
Сумеет понятное тонко туманом облечь...
Не лучше ли, братья, и нам позевать да прилечь,
Поскольку, надеюсь, понятно теперь и для вас,
Что мир наш — иллюзия, если смотреть без прикрас,
И лишь сновидения правдою можно назвать,
А правде другой не приказано существовать.

Воистину так!
Сновиденье подобно амрите.
Рассказу поэта —
Певца из Гаура — внемлите.

ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ

Пропыленный, косматый безумец идет,
Он жаждет в пути камень пробный найти.
Губы сжав, шагает вперед и вперед,
Он бесплотен, как дух, безмолвен и глух.
Лишь глаза не погасли. Горят в ночи,
Словно два светляка, словно два уголька,
Каждый камень ощупывают их лучи.
К тем, кто бедно одет, в людях жалости нет,
Не накормят, не пустят тебя на порог.
Ты в пыли, в грязи — ни о чем не проси,
Кто к тебе снизойдет? Ты нищ и убог!
Сколько бед и невзгод! Но скиталец бредет,
Гордится свободою и нищетой.
Он всегда презирал благородный металл,
Пробный камень дороже казны золотой.

Море вздыбилось, море скитальцу грозит,
На пути, как стена, вырастает волна,
Глядит, не мигая, бездонный зенит,
Хохочут ветра, и с утра до утра
Море злобно смеется оскалом волны.
Над сверканьем вод утром солнце встает,
Вечерами всплывает светильник луны.
Стихнет шторм — и тогда что-то шепчет вода;
Океану поручено тайну беречь,
Но поведать он рад, где скрывается клад.
О! Когда б могли мы понять его речь!
Не томясь, не скорбя, он поет для себя,
Увлеченный пеньем, забыл обо всем.
Люди шли — кто куда, прошли — ни следа.
Странник ищет камень и ночью и днем.

По преданью, возник в незапамятный год
Первой звездочки свет (так золота след
На поверхности пробного камня сверкнет).
И один за другим к прибрежьям седым
Любопытные боги и духи пришли,
Поглядели на дно — в пучине черно;
Стояли в молчанье, склонясь до земли;
Тих был моря напев. Тогда, осмелев,
В пучину они погрузились — и вмиг
Устремились ко дну, возмутив глубину,
Взбаламутили вечный подводный тайник,
А из пены густой, блистая красой,
Лакшми вышла — богиня с ясным челом.
Здесь, у пенистых вод, нынче путник бредет,
Пробный камень ищет и ночью и днем.

Он устал, но встает и шагает опять.
Сколько минуло лет! Камня пробного нет,
Нет надежды — осталась привычка искать.
Так всю ночь напролет птица друга зовет,
Но навеки покинута, вечно одна,
Не умолкнет и днем, тоскует по нем,
Нет надежды — и все же поет она.
Океаном века правят боль и тоска,
Он кого-то зовет — не зная, кого.
В пустынный простор он объятья простер,
Вечный поиск — предназначенье его.

Мир в движенье всегда — звезд кочуют стада,
Вечно ищут кого-то в скитанье своем,
Так над пеной морской, забыв про покой,
Странник ищет камень и ночью и днем.

Как-то встречный мальчишка кричит: «Постой!
Где ты цепь эту взял? Сверкает металл!
Опоясан ты цепью, видать, золотой!»
И тот — потрясен: явь или сон?
Золото?.. Цепь ведь железной была!
Он ощупал ее — золотое литье!
Странное дело! Как цепь тяжела!
Мутным стал взор, руки путник простер
И, рыдая, упал на дорогу, во прах.
Труден был путь. Тот миг не вернуть,
Когда камень заветный держал он в руках!
Брел ночь он и день, трогал каждый кремень,
Не глядя, прикладывал к цепи своей.
Как тут горю помочь? Отбросил он прочь
Пробный камень — один меж сотен камней!

Солнце сонно садится над ясной водой,
Позолочен простор, весь в огне кругозор.
Снится тихому вечеру сон золотой.
Человек изнемог, но бредет на восток,
Снова ищет он то, что, найдя, не нашел.
Изможден, изнурен, сутулится он,
Сердце высохло, словно поверженный ствол.
Тропы тянутся вспять, ни души не видать,
Тропы тянутся из ничего в никуда.
Пути далеки, бескрайни пески,
Ночь окутала мир, ни пути, ни следа.
Быть полжизни в пути, мысля: «Только б найти!»
На миг прикоснуться, не зная о том!
И полжизни опять тому же отдать,—
Пробный камень разыскивать ночью и днем.

ДВЕ ПТИЦЫ

Пленница в клетке жила золоченой,
Вольная птица — в глуши лесной,
Не знали друг друга, судьбой разлученные,

И вот повстречались они весной.
«Умчимся,— лесная птица вскричала,—
Будем вдвоем в небесах кружить!»
«Останься,— ей пленница отвечала,—
Будем вдвоем в этой клетке жить!»
Лесная птица сказала: «Нет!
Я в клетке и дня прожить не могу!»
Ответила пленница ей: «Увы!
А я в небесах кружить не могу!»

Тысячи песен чудесных знала
Та, что в лесах провела весну,
Песней заученной отвечала
Та, что с рожденья жила в плену.
«Спой,— попросила лесная птица,—
Как на зеленой ветке поют!»
«Спой,— возразила ручная птица,—
Как в золоченой клетке поют!»
Лесная птица сказала: «Нет!
Чужих я песен не признаю!»
Ответила пленница ей: «Увы!
А как я лесную песню спою?»

«Смотри, как небо лучисто, ясно,
Зарей залито со всех сторон!»
«А в клетке так чисто и безопасно,
Она закрыта со всех сторон!»
«Мы будем резвиться в небе огромном,
Мы в облака улетим вдвоем!»
«Останься! Здесь, в уголке укромном,
Мы счастье безоблачное найдем!»
Лесная птица сказала: «Нет!
В клетке нельзя ни летать, ни петь!»
Ответила пленница ей: «Увы!
А можно ли на облаках сидеть?»

Родными друг другу они казались,
Лишь прутьями клетки разделены,
Клювами нежно они касались,
Сердцем к сердцу устремлены,
Горестно крыльями трепетали,
Но не могли друг друга обнять,
Жалобно звали и щебетали,
Но не могли друг друга понять...

Лесная птица сказала: «Нет!
Страшно в неволе остаться мне!»
Ответила пленница ей: «Увы!
Нет сил у меня летать в вышине!..»

НА КАЧЕЛЯХ

Буду играть со своею душой. Без устали льет
Ливень всю ночь напролет.
Плачет небо. Тревожна ночная пора.
Мы будем сегодня играть до утра.
Утлый мой плот в этом празднестве диком плывет.
На жизнь и на смерть игра идет
Всю ночь напролет.

Взвихрены воздух и воды. Стихия, грозна ты сейчас!
Раскачивай нас!
И ветры качают во весь размах,
Как тысячи якшей, хохочут впотьмах,
Ветры безумствуют, ветры ревут, разъярясь.
Буря, разгул твой и небо и землю потряс.
Раскачивай нас!

Душа замирает, сегодня душе не до сна,
В смятенье она,
Робко прижалась ко мне, чуть дыша.
Чувствую я, как трепещет душа.
Сердце дрожит — как близко душа, как нежна!
В страхе сегодня она, восторгом полна,
Трепещет она.

Я убаюкивал душу, я усыпить ее смог
И чутко стерег.
В цветах, на супружеском ложе моем,
Была душа со мною вдвоем.
Я от печалей упрятал ее и тревог,
Я заточил ее в тайный, укромный чертог
И нежно берег.

Губы, глаза целовал я душе моей, милой моей
Все нежней и нежней,

На грудь мне склонилась ее голова,
Шептал я ей лучшие в мире слова.
Лучшее все я дарил ей: бери и владей!
В лунные ночи я песни наигрывал ей
И пел все нежней.

Ласки пресытили душу, усталую сон охватил,
Лишил ее сил,
Гроза бы ее разбудить не могла,
Ей стала гирлянда цветов тяжела,
Спутались ночи и дни, полумрак наступил,
Стала душа безразличной, остыл ее пыл,
Проснуться нет сил.

Я заласкал мою душу, увяла она взаперти.
Как ей жизнь обрести?
Светильники свадебной ночи чадят,
Стою, озираясь, тревожен мой взгляд,
Вянут в гирляндах цветы, больше им не цвести.
Все, что отверг я — мечтатель! — в начале пути,
Хочу обрести.

Пусть же сегодня игра на жизнь и на смерть идет
Всю ночь напролет.
На гибельных этих качелях вдвоем,
Держась за канаты, в полете замрем.
Пусть ураган нас толкает вперед,
Пусть продолжается этот безумный полет
Ночь напролет.

Раскачивай нас!
Раскачивай нас!
Буйствуй, стихия! Качни еще раз!
Вновь подруга со мной, не свожу с нее глаз,
Разбудил ее бури неистовый глас.
Бьется кровь моя, пламень ее не погас.
Буря в сердце моем с непогодой слилась,
А у подруги коса расплелась,
Гирлянда цветов развилась, ткань покрывала взвилась,
Браслеты звенящие сотрясает неистовый пляс,
Раскачивай нас!

Налетай, ураган, сокруши, оглуши.
Все одежды сорви, все покровы с души!
Пусть она обнаженной стоит, не стыдясь!
Раскачивай нас!

Я душу обрел, мы сегодня вдвоем.
Без боязни друг друга опять познаем.
В безумных объятьях сплелись мы сейчас.
Раскачивай нас!
Пусть безумцам откроется мир без прикрас!
Раскачивай нас!

ИЗ КНИГИ «ПЕСТРОЕ» («ЧИТРА»)
1895

УРВАШИ

Не мать, не жена, всех родивших и всех родившихся краше!
Отрада небесного сада, Урваши!
Вечер накинет на землю усталую свою золотую полу,
Но ты не затеплишь светильник в углу;
Когда ночь совершит полкруга,
Не подойдешь, с опущенным взором, подруга,
Шагом стыдливым к постели супруга,—
Заря нагая и нежная!
Ты — безмятежная!

Саморожденный, без завязи, цвет неземного растенья,
Урваши!
Скоро ль твое цветенье, Урваши?
Ты в утро вселенной возникла из моря, из пены курчавой,—
Чаша амриты в правой, а в левой — чаша с отравой.
У влажных ног небесами дарованной
Океан разволнованный
Змеей притих зачарованной.
Жасмина цветок белоснежный, богов любимица вечная!
Ты — безупречная!

Молодость мира! Чьей уродилась ты дочкой, Урваши?
Где проросла непорочной цветочной почкой, Урваши?
В чьем доме, в каком обиталище темного дна
Самоцветами и жемчугами играла одна?
Лился ли свет драгоценных камней над люлькой твоей
из коралла,
Убаюкана морем, ты веки свои закрывала,—
Но во вселенной явилась в красе небывалой,

Очнувшаяся, прозревшая,
Дивно-созревшая!

От века возлюбленная вселенной, Урваши!
С красотой несравненной, Урваши!
Мысли отшельников — коврики для твоих лучезарных ног,
Перед очами твоими все три мира томимы тоской
сладчайших тревог.
Ароматами веет пьянящими ветер, тобой упоенный.
Как шмель, насосавшийся меду, бродит поэт опьяненный,—
В очарованном сердце с песнью неугомонной.
Но тебя уже нет,— в звоне браслетов исчезла в легкой
одежде своей
Ты, что молний быстрей!

Когда перед взором богов самозабвенно ты пляшешь
Волной разыгравшеюся, Урваши,
Море вторит тебе, и оно свою гладь взволновало,
Колышутся, зыблясь, хлеба — золотое земли покрывало.
С твоего ожерелия сыплются звезды, и нет им конца,—
Смертные смотрят — замирают сердца,
Отливает кровь от лица.
У окоема рвется твой пояс, повязь потайная,
Необычайная!

В небесах, позлащенных восходом, ты сияешь, Заря-
Урваши!
Сверкаешь, улыбкой весь мир одаря, Урваши!
Омыто слезами вселенной тело твое искони,
Кровью сердец три мира обагрили твои ступни.
В лотос, таящий все сладострастные мира тревоги,
Ты погрузила подобные лотосам ноги.
В струях влажных волос, ты блещешь в земном чертоге,
Ты, для кого не бывало на свете весов,
О спутница снов!

О не знающая сострадания! Ты рыдания слышишь наши?
Без тебя, страдая, рыдая, мы томимся, глухая Урваши!
Из сонных, бездонных глубин, как на рассвете века,
В покрове из мокрых волос вернешься ль в мир человека?
В первых лучах заревых, на виду у вселенной целой,
Будет ли каплями слез струиться тело?
Возникнешь ли вновь, чтобы море запело,

Славя тебя полнозвучною песней,
Всех песен чудесней?

Месяц восторга угас, не вернется держащая чаши.
О закатившаяся Урваши!
Ныне, увы, и дыханье весны, ее нежные звуки
Слиты со вздохом вечной разлуки.
В ночь полнолунья, когда лишь улыбки кругом,
Память играет на флейте в унынье немом;
Слезы мы льем,—
Но вдруг мелькнет среди слез надежда, едва постижимая,—
О ты, неудержимая!

ИЗ КНИГИ «СБОР УРОЖАЯ» («ЧОЙТАЛИ»)
1896

ЖИЗНЬ ДРАГОЦЕННА

Знаю — виденью этому однажды конец придет.
На веки мои тяжелые последний сон упадет.
А ночь, как всегда, наступит, и в ярких лучах сиять
В проснувшуюся вселенную утро придет опять.
Жизни игра продолжится, шумная, как всегда,
Под каждую крышу явится радость или беда.
Сегодня с такими мыслями гляжу я на мир земной,
Жадное любопытство сегодня владеет мной.
Нигде ничего ничтожного не видят глаза мои,
Кажется мне бесценною каждая пядь земли.
Сердцу любые малости дороги и нужны,
Душе — бесполезной самой — нет все равно цены!
Мне нужно все, что имел я, и все, чего не имел,
И что отвергал когда-то, что видеть я не умел.

ПЕРЕПРАВА

Через реку людей перевозит паром.
Кто — из дома, а кто возвращается в дом.
Две знакомых деревни по двум берегам.
От зари до зари все в движении там.
Сколько в мире крушений, столкновений и бед,
Сколько помнит история с незапамятных лет,
Сколько золота, крови, сколько попранных прав,
Сколько новых корон порассыпалось в прах!
Бесконечные смены стремлений сулят

То амриту сладчайшую, то убийственный яд.
Ну а здесь — их названья известны навряд —
Только две деревушки друг на друга глядят.
Ходит изо дня в день через реку паром.
Кто — из дома, а кто возвращается в дом.

МЕТАФОРА

Когда одолеть преграды у реки не хватает сил,
Затягивает пеленою стоячую воду ил.
Когда предрассудков ветхих повсюду встает стена,
Застывшей и равнодушной делается страна.
Тропа, по которой ходят, остается торной тропой,
Не пропадет она, сорной не зарастет травой.
Кодексы мантр закрыли, преградили стране пути.
Теченье остановилось. Некуда ей идти.

ЧУЖАЯ ОДЕЖДА

Ты кто, скажи? И почему чужой одежде рад?
Тебе не стыдно ли терпеть весь этот маскарад?
Добро хозяйское тебе не давит разве плеч?
Как оскорблением таким ты можешь пренебречь?
«Эй, нищий! Береги меня,— твердит тебе пиджак,—
Я шкуры собственной твоей дороже как-никак!»
Когда достоинства в душе у человека нет,
Его легко изобличит одежды черный цвет.
А шляпа жалкая твоя не исказит твой вид?
Народной гордости она в тебе не оскорбит,
Твердя: «Ничтожность головы твоей, что я топчу,
Великодушием своим свести на нет хочу»?
Ты в унижение одет с хозяйского плеча.
Перед одеждою такой и рубище — парча!

ЗАСУХА

Рассказывают, что когда-то, ради женской любви,
Спустились боги на землю, оставив дела свои.
Миновало то время. Сегодня, в бойшакха лютый зной.
В дни рек пересохших и поля, опаленного засухой злой,

Молит крестьянка жалобно, с неба глаз не сводя,
Исступленно молит, отчаянно: «Пошли хоть каплю
дождя!»
С надеждою и волнением, напрасной веры полна,
В дали тоскливым взглядом всматривается она.
Но дождь не приходит. Ветра безжалостная рука
Разгоняет нетерпеливо последние облака.
Языком своим солнце вылизывает последний след
синевы.
В Калиюга, в наш век железный, постарели боги, увы!
Былые очарованья уже не волнуют их.
Доходят женские просьбы теперь до мужчин одних.

Я ПЛЫВУ ПО РЕКЕ...

Управляет лодкой моей легчайший из ветерков.
Впереди горизонт белеет пеной утренних облаков.
Река от влажных муссонов полноводна и широка.
Словно сытый ребенок, безмятежная спит река.
По берегам безмолвие зеленых рисовых нив,
Мир, подобно беременной женщине, медлителен и лепив.
Почему так спокойно сегодня на земле и воде?
Лодок нет, берега пустынны, почему ни души нигде?
Одинокая в этом мире, пряча печальный взгляд,
Смерть — знакомая старая — облачилась в прекрасный
наряд:
В волосах ее спрятались белоснежные облака,
На высоком челе сияет бледный отсвет издалека.
Что-то грустное напевает, еле слышное в тишине,
Обольщает меня, смущает беспокойное сердце мне.

ИЗ КНИГИ «КРУПИЦЫ» («КОНИКА»)
1899

* * *

Верхушка говорила с похвальбою:
«Моя обитель — небо голубое.
А ты, о корень, житель подземелья».
Но корень возмутился: «Пустомеля!
Как ты смешна мне со своею спесью:
Не я ль тебя вздымаю к поднебесью?»

* * *

Напомнила мошне тугой сума многострадальная:
«Не забывай, что мы с тобой родня, хотя и дальняя!»
«Будь ты полна, как я, сума,— мошна ей в тот же миг,—
Ты позабыла бы сама всех нищих горемык».

* * *

Керосиновая лампа гордо заявила плошке:
«Называть себя сестрою не позволю мелкой сошке».
Но едва луна успела в темном небе воцариться,
Низко поклонилась лампа: «Милости прошу, сестрица».

* * *

В расщелине стены, среди ночной прохлады,
Расцвел цветок. Ничьи не радовал он взгляды.
Его, безродного, убожеством корят,
А солнце говорит: «Как поживаешь, брат?»

* * *

«О, подлая земля!» — бранился червь в досаде,
Поэт разгневался: «Молчи ты, бога ради!
Пока земля тебя кормить не перестала,
Ругать ее тебе — ничтожный — не пристало!»

* * *

«Кем бы, о манго, мечтало ты стать?» — «Хоть на миг
Я превратиться мечтало бы в сладкий тростник».
«Что ты нам скажешь на это, о сладкий тростник?»
«Манго душистым мечтал бы я стать хоть на миг».

* * *

Самое хорошее все твердит: «О лучшее!
Где твое святилище — отвечай, не мучая».
Отвечает лучшее, каждый раз лукавистей:
«Знай, что обретаюсь я только в черной зависти».

* * *

Ракета хвасталась: «Как я смела!
Чело звезды я пеплом замела».
Поэт сказал: «Не торжествуй победу:
Твой пепел за тобой летит по следу».

* * *

Увидев паденье звезды, рассмеялась лампада:
«Свалилась гордячка несносная... Так ей и надо!»
А ночь говорит ей: «Что ж, смейся, пока не погасла.
Ты, верно, забыла, что скоро кончается масло».

* * *

Нос издевался над ухом: «Лишенное нюха,
Серьги носить — вот и все, что умеешь ты, ухо!»
Ухо ему: «Ты не внемлешь разумным речам.
Только и знаешь ты, нос, что храпеть по ночам».

* * *

Стрела говорила тяжелой дубине:
«Напрасно ты так предаешься гордыне!
Проламывать головы ты мастерица,
Но грудь не пронзишь ты, могу поручиться».

* * *

Высокомерия полна тростинка:
Ей озеру дарована росинка.

* * *

«Кто ты, не раскрывающая рта?» —
Негромко вопрошает доброта.
И отвечает взор, чью лучезарность
Не помрачить слезам: «Я благодарность».

* * *

Откликается эхо на все, что услышит кругом:
Оказаться оно не желает ничьим должником.

* * *

Величья не достигший человек
Великого не умалит вовек.

* * *

«Не буду вытаскивать грязь»,—
Рыбацкая сеть зареклась.
Но молвил хозяин сурово:
«Тогда не получишь улова».

* * *

Перед ошибками захлопываем дверь.
В смятенье истина: «Как я войду теперь?»

* * *

Повернетесь вы или свернетесь в клубок —
Левым так и останется левый ваш бок.

* * *

«Ну и худа ты!» — глумилась дубина над тростью.
«Ну и толста ты!» — ей трость отвечала со злостью.

* * *

О пыль! Лишая чистоты,
Пятнаешь не себя ли ты?

* * *

Сетует милость: «Напрасны благие деяния».
А доброта говорит: «Я не жду воздаяния».

* * *

Сияньем луна затопляет наш мир необъятный
И лишь для себя сохраняет все темные пятна.

* * *

Достойный спокойно идет с недостойным бок о бок,
А средний бредет стороною, запуган и робок.

* * *

Время сказало: «Я мир созидаю, что полон красы».
«Мы же тебя созидаем, о время»,— сказали часы.

* * *

Властитель бескрайней страны говорит: «Я законы издам —
И волею царской своей, наконец, справедливость создам».
«Меня не создать,— говорит справедливость,— как мир, я древна,
В твоих же законах, о царь, справедливости нет и зерна».

* * *

Туче хвалы возносила пустыня:
«Чем отплачу за твою благостыню?»
Туча ответила шелестом струй:
«Счастье даренья мне вечно даруй!»

* * *

«Меня презирают,— туман
говорит,— оттого что я рядом.
А тучи — вдали и весь мир
озирают презрительным взглядом».
«Нет, дело не в этом,— поэт
отвечает,— пойми, о туман,
Что тучи даруют нам дождь —
ты же только ввергаешь в обман».

* * *

Сказали ладони, что сложены чашей,
Хулителям: «Знайте, смирение наше —
И в том, что мы полною мерой берем,
И в том, что мы полною мерой даем».

* * *

«И для чего существуешь ты, море,— без трав и без нив?
Пляшешь себе на безбрежном просторе...» — «Да, нрав мой ленив.
Все же гнушаться — запомни навеки — не следует мной:
Если б не я — кто б высасывал реки из груди земной».

* * *

Хотя с появлением солнца луна
Величье свое и теряет сполна,
Она говорит, не печалясь ничуть:
«Склонюсь пред светилом взошедшим — и в путь».

* * *

Слово промолвило грустно: «О дело!
Совестно мне, что я так пустотело».
Дело сказало: «Ну нет, без сомненья,
Рядом со мною ты полно значенья».

* * *

«Кто, смелый, сумеет продолжить мое начинанье?» —
Воскликнуло солнце, скрываясь в вечернем тумане.
Безмолвствовал мир. Лишь дрожанием тусклого света
Ответила плошка: «Владыка! Я сделаю это».

* * *

Ночами: «Вернись, о солнце!» — ты молишь с тоскою слезною,
Но солнце не возвратится — и напрасно сияние звездное.

* * *

Нашептывал берег, склонясь к быстрине:
«Все счастье мое — на другой стороне».
И слышалось с той стороны, на лугу:
«Все счастье мое — на другом берегу».

* * *

«О плод! О плод! — кричит цветок.
Скажи, где ты живешь, дружок?»
«Ну что ж,— смеется плод,— смотри:
Я у тебя живу внутри».

* * *

«О, как я прозрачна! — вода зажурчала в стакане.—
Ты, темное море, со мной не сравнишься в сверканье».
Речь маленькой истины для пониманья легка.
В великом безмолвии истина, что велика.

* * *

«Как мне понять, о море, речь твою?»
«Один вопрос я вечно задаю».
«Что значит, о гора, твое молчанье?»
«Значение его — в неотвечанье».

* * *

Стрела ликовала: «Вольна я, как птица.
А лук — мой хозяин — в неволе томится».
Но лук усмехнулся: «Запомни, стрела:
Ты волю в неволе моей обрела».

* * *

Проснулся малютка-цветок. И внезапно возник
Весь мир перед ним — как огромный прекрасный
цветник.
И так он вселенной сказал, изумленно моргая:
«Пока я живу, поживи-ка и ты, дорогая».

* * *

Хвала и хула обратились к поэту:
«Кто друг твой, кто враг твой — скажи по секрету».
«Вы обе — и это совсем не секрет —
Друзья и враги мне»,— ответил поэт.

* * *

«Мы с пламенем братья»,— похвастался дым от костра.
Зола похвалилась: «Ему я родная сестра».
Сказал светлячок, утомленный пустым хвастовством:
«Я пламени ближе, хоть с ним и не связан родством».

* * *

Кругом разносилось моление флейты:
«Звучанье в меня, о дыхание, влей ты».
Но воздуха тихо шепнула струя:
«Звучаньем тебя наполняю не я».

* * *

Тайком все кусты и деревья собой наполняет ночь.
Бутоны она раскрывает — и удаляется прочь.
Цветы говорят, проснувшись: «Мы утренние цветы».
А утро шумит в подтверждение мнимой их правоты.

* * *

Сон говорит: «О реальность!
Я волен, ничем не стеснен».
«Вот почему,— отвечает
реальность,— ты ложен, о сон».
Сон говорит: «О реальность!
Ты связана множеством пут».
«Вот почему,— отвечает
реальность,— меня так зовут».

* * *

Промолвило солнце, услышав хулу и проклятья:
«Скажите, что делать, чтоб всем угодить без изъятья».
«Покинь небеса,— посоветовал бог не без желчи,—
И дело себе подыщи по возможности мельче».

* * *

Как веко и глаз неразлучны друг с другом,
Сплелись воедино работа с досугом.

* * *

Хочешь все поменять, но напрасны старания:
Остается все точно таким же, как ранее.
Если горести все уничтожишь ты — вскорости
Обратятся недавние радости в горести.

* * *

Смерть угрожает: «Сына я похищу».
Вор угрожает: «Твой карман очищу».
«Честь отберу»,— грозит подлец отпетый.
Но кто отнимет радость у поэта?

* * *

Дождем иссеченный, жасмин простонал: «Погибаю!
Стрелою сразила меня чья-то злоба слепая».
Весь мир орошает дождя животворная влага,
Но кой для кого обращается в худо и благо.

* * *

«Не ты ли,— спросил я однажды судьбину,—
Толкаешь меня так безжалостно в спину?»
Она прохрипела с усмешкою злою:
«Тебя погоняет твое же былое».

* * *

Земля говорила: «Весь день, дотемна,
Я взорам людским представала одна.
А ночью, когда я исчезла, во мраке
Зажглись мироздания яркие знаки».

* * *

Земля — чаровница. Она уверяла сначала:
«Любовь нас обоих на веки веков повенчала».
Когда же итоги я стал подбивать понемногу,
Сказала она: «Не пора ли, мой милый, в дорогу?»

* * *

Вселенная так рассуждала: «Поверьте,
О счастье и горе, рожденье и смерти
Всегда я толкую правдиво, понятно,
Но вы понимаете суть их превратно».

* * *

С началом запальчиво спорил конец.
«Я всякому делу,— кричал он,— венец!»
«Да, верно,— начало ему отвечало,—
Однако я все начинаю сначала».

* * *

Ночь целовала уста уходящего дня
И повторяла: «Я смерть, но не бойся меня.
Ниспосылая опять и опять возрожденья,
Буду тебя обновлять, о дряхлеющий день, я».

* * *

Нет, ты не пустота, о смерть! Иначе
Погиб бы мир в стенаниях и плаче.
Исполнена великой доброты,
Баюкаешь весь мир в объятьях ты.

* * *

Хвалился зрением великолепным глаз,
Но горько зарыдал, как только свет погас.
И свету молвил он, забыв о похвальбе:
«Тебя я вижу лишь благодаря тебе».

* * *

Я лишь малая капелька света, что еле видна.
Все мерещится мне, будто я существую одна.
Но когда опускается веко, я вижу, за мной,
Изначальный, извечный, таишься ты, мрак смоляной.

* * *

Цветок промолвил: «Я увял, звезда».
А та: «Я закатилась навсегда».
Цветок небесный и цветок из чащи
Лежат в корзине ночи уходящей.

СУД

Так начал брахман: «В дом ко мне,
В покой уединенный,
Ворвался вор к моей жене,
Нарушил он законы.
Его связал я. Как мне быть?
Как наказать его сурово?»
Подумал царь, сказал: «Убить!» —
Всего одно лишь слово.

Гонец примчался: «Тот злодей,
Из ревности убитый,—
Принадлежит к семье твоей,
Твой отпрыск родовитый.
Велел я брахмана схватить.
Как наказать его сурово?»
И царь сказал: «Освободить!» —
Всего одно лишь слово.

ГИБЕЛЬ ПЕСНИ

Встал и запел молодой Кашинатх,
вкрадчивым голосом зал наполняя.
Семь безупречных мелодий-тонов —
семиголосная певчая стая.
Звук — то, как острый, пронзающий меч,
в танце кружась, оглушит на мгновенье,
То, услаждая напевностью слух,
мягко меняет свое направленье;
Вот паутинку из трелей плетет,
рвет ее легким движеньем гортани...
С благоговеньем внимая певцу,
слушатели затаили дыханье.

Лишь Протап Рай, престарелый раджа,
внемлет певцу равнодушно и вяло.
Можно ль мелодии эти сравнить
с песнями друга его — Борджолала!
Много их с детства запомнил раджа
и привязался к певцу поневоле:
Песни о тучах в дождливые дни,
песни весеннего праздника Холи...
Песню «Агомони» пел Борджолал
осенью, в праздник веселый Биджойа.
Песни... От них трепетала душа,
было волненье в них, счастье покоя.
Знал он напевы прошедших времен,
помнил немало пастушеских песен.

Слушать его приходили друзья,
вечно был зал переполнен и тесен.
Своды его оглашало не раз
свадебных пиршеств ночное веселье.
Слуг многочисленных красный наряд...
Сотни светильников ярко горели.
Вот он — жених со смущенным лицом,
весь в украшеньях, в камнях драгоценных,
Тут же друзья награждают его
градом насмешек и шуток отменных.
Сев перед ним, Борджолал запевал
песню приличного случаю лада...
Все это вспомнилось ныне радже,
душу наполнили грусть и отрада.
Песнь Кашинатха не греет раджу,
отклика в сердце его не находит.
Как ни старайся певец молодой —
старое с нынешним дружбы не водит.

Песня пропета. Молчит Кашинатх,
зал благодарный застыл, ожидая.
Смотрит с надеждой на друга раджа,
взором, улыбкой его ободряя.
На ухо шепчет ему: «Борджолал,
это ль искусство великое пенья?
Спой, остад-джи, настоящую песнь,
спой, покажи нам былое уменье.
Трель Кашинатха — пустая игра,
будто охотится кошка за птицей.
Прежние песни забыты, увы,
спой же, не дай им навеки забыться!»
Старец поднялся, по залу прошел,
всем поклонился и сел посредине.
Яркий тюрбан на седой голове,
руки на старом лежат тамбурине.
Вот голова опустилась на грудь,
медленно-медленно веки смежились,
Звуки мелодии «имонколлян»
над головами людей заструились.
Птичкой, попавшею в бурю, дрожит
старческий голос певца Борджолала:
Сил не хватает, чтоб вырваться ввысь,
глохнет в просторах огромного зала.

«Громче! — раджа наклонился к певцу,—
слава почтенному мастеру, слава!..»

В зале не слушают, нет тишины,
слышатся возгласы слева и справа.
Этот — зевает, тот — к двери идет,
третий — слугу посылает за паном.
«Жарко сегодня!» — «Эй, где мой табак?»
«Очень уж душно!» —« Домой не пора нам?»
Шумно... Теряется голос певца
утлой лодчонкою в бурной стремнине.
Видно, как пальцы дрожат старика
на стародавнем его тамбурине.
Сердце — мелодии светлый родник —
сдавлено камнем людского презренья,
Честь господина певцу дорога,
дорого только радже его пенье.
Вот потерялась из песни строка,
Старец в волненье строфу повторяет,
Краска стыда заливает лицо,
снова поет он и вновь забывает...
Вот уж мелодия только звучит,
ритм поломался, слова позабыты.
Голос, дрожащий огнем на ветру,
вдруг оборвался... Заплакал навзрыд он,
Голову на тамбурин опустил,
телом бессильный, лишившийся речи.
Катятся жемчугом слезы из глаз,
мелко дрожат стариковские плечи.
Песню забыл он и, словно дитя,
вдруг зарыдал от обиды и горя...
Гладит рукою певца Протап Рай
и утешает с любовью во взоре.
«Встань, поскорее отсюда уйдем!..»
За руки взявшись, шагнули из круга
И на глазах многоглазой толпы
вышли из зала два преданных друга.

Борджо с поклоном сказал: «Господин,
трудно найти нам теперь пониманье,
Новые песни у новых людей,
немногочисленно наше собранье.
Ты в нем остался да я, а другим

мир наш совсем уже не интересен.
Новых в наш круг ты теперь не зови...
Нет у певца одинокого песен.
Где, господин, единение двух —
там же и песня всегда возникает.
Кто-то один — поет ее вслух,
кто-то другой — в душе напевает.
Только на берег волна набежит —
Слышим прибоя мы рокот и ропот,
Вздрогнет от ветра таинственный лес —
листьев послышится шорох и шепот.
Прежде, чем в мире рождается звук,
объединятся две разных стихии,
Песнь не возникнет нигде без любви,
места ей нет, где собрались глухие».

ИЗ КНИГИ «ФАНТАЗИИ» («КОЛПОНА»)
1900

БОГ ЛЮБВИ

ДО СОЖЖЕНИЯ

Однажды сошел ты на землю, о воплотившийся бог!
Весь в цветах ты проезжал по дороге.
Знамя твое колыхал ветра медлительный вздох,
Встречные девушки кланялись в ноги.
Цветами осыпали юноши путь пред тобой,
Жены цветы приносили в подолах,
Из бокуловых чащ плыл аромат хмельной,
Солнце сияло в сердцах веселых.
Девушки собирались в храме твоем по ночам,
И священных светильников пламя горело.
Клали тайком бутоны в твой опустевший колчан,
Когда ты расходовал стрелы.
Задумчивый юный поэт у храма слагал свой напев,
На ви́не бряцал вдохновенно,
К нему приближались олени, прислушивались, осмелев,
Тигры внимали смиренно.
Когда ты с улыбкой брал свой гибкий разящий лук,
Пощады просила невинная дева,
Но любопытство ее превозмогало испуг,
И трогала стрелы твои, о бог Камадева!
Когда ты, благоухая в объятьях блаженного сна,
Лежал на ложе зеленом,
Хитростью разбудить тебя старалась она,—
Ножные браслеты звенели призывным звоном.

Когда красавицу в чаще ты видел, незримый стрелок,
Вонзалось ей в сердце цветочное жало,
Она кувшин роняла в Джамуну, в быстрый поток,
И странная боль ее поражала.
С улыбкой ты к ней подплывал в быстром своем челноке,
Смущалась она и, покорно
В поток погружась, забавлялась, плескалась в реке,
Бровь изгибая, смеялась задорно.
Снова пьянящая ночь, снова восходит луна.
Мадхоби нежный цветок закрывает вежды.
Красавица косы плетет, под деревом села она,
Легки, как ветер, ее одежды.
Кулик печальный супругу зовет на прибрежье глухом,
Их разделяет речное теченье.
Влюбленная девушка милой подруге тайком
Свои поверяет мученья.
Мадана, бог наш, явись, заново плоть обрети,
В гирлянде явись благовонной,
Не задувая светильник, к брачным чертогам приди,
Дай радость чете влюбленной.
Молнией появись, приди, о улыбчивый бог,
Девушкам счастье даруя,
Наши дома озари и касаньем божественных ног
Оживи нашу землю святую.

ПОСЛЕ СОЖЖЕНИЯ

Испепелив Камадеву, что ты содеял, о Шива?
Прах бога рассеял над ширью земли!
Слышится в стонах ветра Маданы голос тоскливый,
Слезы его с небес потекли.
Рыданья богини Рати небеса оглашают и землю,
Все рыдает, о милости Шиву моля.
Месяц фальгун приходит, и, чьему-то веленью внемля,
Вздрогнув, сознанье теряет земля.
Кто скажет, чья боль звучит, чей трепет прошел
по струнам,
Чья отзывается в сердце беда?
Нет, ни за что не понять сегодня девушкам юным,
Куда их влекут стихии, куда!
О чем бормочет листва в кронах лесных исполинов?
О чем жужжит, пролетая, пчела?

О ком тоскует подсолнух, лик золотой запрокинув?
Куда речная вода потекла?
Что там луна серебрит? Чье там сброшенное одеянье?
Чьи глаза отражает небес синева?
Чей ослепительный лик в солнечном тонет сиянье?
Под чьими шагами шуршит трава?
В тревожном дыханье цветов чьи запахи ныне живы?
Они, как лианы, душу мою оплели.
Испепелив Камадеву, что ты содеял, о Шива!
Прах бога рассеял над ширью земли!

ИНДИЯ-ЛАКШМИ

О ты, чарующая людей,
Ты, о земля, сияющая в блеске солнца лучей,
великая Мать матерей,
Долы, омытые Индом шумящим, ветром —
лесные, дрожащие чащи,
С Гималайскою в небо летящей снежной короной своей;
В небе твоем солнце взошло впервые, впервые леса
услышали веды святые,
Впервые звучали легенды, песни живые, в домах твоих
и в лесах, в просторах полей;
Ты — вечно богатство цветущее наше, народам
дающая полную чашу,
Ты — Джамна и Ганга, нет краше, привольней, ты —
жизни нектар, молоко матерей!

ИЗ КНИГИ «МГНОВЕНИЕ» («КХОНИКА»)
1900

ПЬЯНЫЙ

О пьяные, в беспамятстве хмельном
Идете, двери распахнув рывком,
Вы все спускаете за ночь одну,
С пустым домой идете кошельком.
Пророчества презрев, идете в путь
Наперекор календарям, приметам,
Плутаете по свету без дорог,
Пустых деяний груз таща при этом;
Вы парус подставляете под шквал,
Канат перерубая рулевой.
Готов я, братья, ваш обет принять
Пьянеть и — в пекло головой!

Копил я мудрость столько долгих лет,
Упорно постигал добро и зло,
Я в сердце столько рухляди скопил,
Что стало сердцу слишком тяжело.
О, сколько я убил ночей и дней
В трезвейшей изо всех людских компаний!
Я видел много — стал глазами слаб,
Я стал седым и дряхлым от познаний.
Мой груз пустой, весь нищий мой багаж
Пускай развеет ветер штормовой.
Я понял, братья, счастье лишь в одном:
Пьянеть и — в пекло головой!

О, распрямись, сомнений кривизна!
О буйный хмель, сбивай меня с пути!

Вы, демоны, должны меня схватить
И от защиты Лакшми унести!
Есть семьянины, тружеников тьма,
Их мирный век достойно будет прожит,
На свете есть большие богачи,
Встречаются — помельче. Кто как может!
Пускай они как жили — впредь живут.
Неси меня, гони, о шквал шальной!
Я все постиг — занятье лучше всех:
Пьянеть и — в пекло головой!

Отныне я, клянусь, заброшу все,—
Досужий, трезвый разум в том числе,
Теории, премудрости наук
И все понятья о добре и зле.
Я памяти сосуд опустошу,
Навек забуду и печаль и горе,
Стремлюсь я к морю пенного вина,
Я смех омою в этом зыбком море.
Пускай, достоинство с меня сорвав,
Меня уносит ураган хмельной!
Клянусь идти по ложному пути:
Пьянеть и — в пекло головой!

МЫ ЖИВЕМ В ОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

В той же я живу деревне, что она.
Только в этом повезло нам — мне и ей.
Лишь зальется свистом дрозд у их жилья —
Сердце в пляс пойдет тотчас в груди моей.
Пара выращенных милою ягнят
Под ветлой у нас пасется поутру;
Если, изгородь сломав, заходят в сад,
Я, лаская, на колени их беру.
Называется деревня наша Кхонджопа,
Называется речушка наша Онджопа,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто — наша Ронджона.

Мы живем почти что рядом: я вон там,
Тут она,— нас разделяет только луг.
Их лесок покинув, может в рощу к нам
Рой пчелиный залететь с гуденьем вдруг.

Розы те, что в час молитв очередной
В воду с гхата их бросают богу в дар,
Прибивает к гхату нашему волной;
Зачастую из квартала их весной
Продавать несут цветы на наш базар.
Называется деревня наша Кхонджона,
Называется речушка наша Онджона,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто — наша Ронджона.

К той деревне подошли со всех сторон
Рощи манго и зеленые поля.
По весне у них на поле всходит лен,
Подымается на нашем — конопля.
Если звезды над жилищем их взошли,
То над нашим дует южный ветерок,
Если ливни гнут их пальмы до земли,
То у нас цветет кадамбовый цветок.
Называется деревня наша Кхонджона,
Называется речушка наша Онджона,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто — наша Ронджона.

ДВА БЕРЕГА

Я люблю мой песчаный берег,
Где одинокой осенью
Аисты гнезда вьют,
Где цветы белоснежно цветут
И стаи гусей из холодных стран
Зимой находят приют.
Здесь на ласковом солнце греются
Черепах ленивых стада.
Вечерами рыбачьи лодки
Приплывают сюда...
Я люблю свой песчаный берег,
Где одинокой осенью
Аисты гнезда вьют.

Ты любишь лесные заросли
На своем берегу —

Там, где ветвей сплетенье,
Где колышутся зыбкие тени,
Где юркая змейка тропинки
Огибает стволы на бегу,
А над нею бамбук
Машет сотней зеленых рук,
И вокруг полутьмы прохлада,
И тишина вокруг...
Там на рассвете и к вечеру,
Пройдя через рощи тенистые,
Собираются женщины возле пристани,
И дети до темноты
По воде пускают плоты...
Ты любишь лесные заросли
На своем берегу —
Там, где ветвей сплетенье,
Где колышутся зыбкие тени.

А между нами река струится —
Между тобой и мной —
И берегам бесконечную песню
Напевает своей волной.
Я лежу на песке
На своем берегу пустынном.
Ты на своей стороне
Рощей прохладной прошла к реке
С кувшином.
Мы долго слушаем песню речную
С тобою вдвоем.
Ты на своем берегу слышишь песню иную,
Чем я на моем...
Между нами река струится —
Между тобой и мной —
И берегам бесконечную песню
Напевает своей волной.

ИЗ КНИГИ «ДАРЫ» («НОЙБЕДДО»)
1901

* * *

Природой завладевает сегодня покой осенний.
Небо, поля и полдень словно в оцепененье.
И тишина над миром в усталости и бессилье
Простерла до горизонта зеленоватые крылья.
Река не поет сегодня, окутанная туманом,
Не чертит своих узоров на берегу песчаном.
Словно глаза зажмурив, греются в отдаленье
Под золотистым солнцем дремлющие селенья.
Но слышу в молчанье этом, но слышу в природе всей,
В травах густых, в просторах, в путанице ветвей,
Слышу в крови горячей, питающей плоть мою,
В солнце, планетах, звездах, в потустороннем краю,—
Атомов слышу танец! О всеблагой, предвечный —
Ты окружен отовсюду радостью бесконечной.

* * *

Бьют, угрожают, копья нацеля.
Я сбросил браслеты и ожерелья.
Дай мне, наставник, меткие стрелы,
Да будет рука моя твердой и смелой.
Любовь твоя в этот суровый час
Пусть превратится в грозный приказ.
Силы мои обновив, утроив,
Даруй мне славу и честь героев.
Даруй страданий плащ и покров
И ожерелья ран и рубцов!

Раба недостойного благослови
В битвах, в дерзаньях, в вере, в любви.
Какой бы очам ни открылся край —
В свободе и мужестве укрепляй.

* * *

Родину бедную, всеблагой,
От вечного страха избавь, укрой.
Страхи терзают ее, нахлынув.
Слабый страшится всех властелинов.
Слезы стыда сердце прожгли,
Честь распростерта в прахе, в пыли.
Согнуты спины, плети суровы,
Души покорны, тяжки оковы.
Грязь, поруганье, обиды, срам,
Клонится гордость к чьим-то ногам.

О, ниспровергни нагроможденья
Рабства, позора и осквернênья.
Дай наконец-то расправить грудь —
Утро, свободу, небо вдохнуть.

* * *

Мы на задворках далеких где-то
В разрушенном доме, лишенном света.
Под взорами мрачных, враждебных глаз
Мы трепетали, всего страшась.
По мановенью властелина
Идем за толпой, сгибая спину.
Слышим приказы, пугаясь тени,
Созданной в собственном воображенье.
В доме угрюмом томит впотьмах
Наши сердца бесконечный страх.
Сами себя, отдавшись бессилью,
Делаем прахом, ничтожной пылью.
Словно сироты, мы бредем
Без правды, без бога в мире чужом.

* * *

Лишь вольного утра взор светло-синий
Внезапно сверкнет на белой вершине,
Пронзающей неба свод голубой —
Пусть, родина, голос раздастся твой,
Утра победного повторив
Первую песню, первый призыв.
В светлых одеждах, свершив омовенье,
Жарко молись, преклонив колени:
«Благость, приди же, о неба дочь,
Демонов злых изгоняя прочь!»
Тогда вознесется твой свет великий,
Как перл драгоценный, в чертог владыки.
Кроткая, чистая до конца —
Стань украшеньем его венца!

* * *

Где души бестрепетны, где чело
Всегда приподнято и светло;
Где всю вселенную стены оград
На узкие улицы не дробят,
На комнаты, лестницы и дворы;
Где речи свободны, сердца щедры;
Где вдохновеньям дано цвести,
Где раскрываются все пути;

Где предрассудков мертвая мгла
Порывы и чувства не оплела;
Где правду не делят, где ты один
И мыслей и радостей властелин,—
От долгого, тяжкого сна наконец
Ты Индию там разбуди, отец!

* * *

Люблю, о всевышний, синие дали,
Небо безоблачное Бенгалии,
Эти просторы и свет без тени,
Струящийся, словно тихое пенье;
Девичий стан, над рекой склоненный,
Браслетов ритмичные перезвоны.

Эту любовь, тенистым шатром
Укрывшую нежно мой мирный дом,
Приют, утонувший в счастье, в любви,
В небе, в закате,— благослови!

Но только услышу твой призыв,—
Всех покидая и все забыв,
Ради тебя — на скорбь и беду,
На подвиг, на битву, на смерть пойду.

ИЗ КНИГИ «ЕЕ ПАМЯТИ» («ШОРОН»)
1903

* * *

Подруга, нет тебя ни дома, ни на гхате...
Плывешь ты в облике прекрасной Сарасвати
В столистном лотосе, и музыка звучит;
Желаний озеро у ног твоих молчит.
Ты отражением озарена вселенной.
Нет более преград красе всесовершенной,
Весь мир вокруг нее. Восторженно слиясь
Со светом истинным, теперь вкушаешь связь
С весельем всех миров. Звенят твои запястья,
Сверкают женственно и излучают счастье.
Твоя любовь жива в сердцах у смертных жен,
Твой благородный дух в их душах отражен.
Вселенский образ твой, источник благодати,
Обрел внутри меня лик Лакшми-Сарасвати.

* * *

Нисходит полумрак и синим краем сари
Окутывает мир в его грязи и гари,—
Дом развалившийся, одежды рваной срам.
О, пусть, подобная спокойным вечерам,
Скорбь о тебе сойдет в мой бедный дух и мглою
Всю жизнь окутает с ее тоской былою,
Когда влачился я, изношен, хил и хром.
О, пусть она в душе, сливая зло с добром,

Мне начертает круг для золотой печали.
Желаний в сердце нет, волненья замолчали...
Да не предамся вновь глухому мятежу,—
Все бывшее ушло... Туда я отхожу,
Где пламя ровное в светильнике свиданья,
Где вечно радостен владыка мироздапья.

ИЗ КНИГИ «ПОСВЯЩЕНИЯ» («УТШОРГО»)
1903

* * *

Я, как безумный, по лесам кружу.
Как мускусный олень, не нахожу
Покоя, запахом своим гонимый.
О, ночь фальгуна! — все несется мимо:
И южный ветер, и весны дурман.
Какая цель меня во мгле манила?..
К чему стремлюсь — безумье и обман,
А что само дается, мне не мило.

И вырвалось желанье из груди.
То мечется далеко впереди,
То вырастает неотвязным стражем,
То кружит вкруг меня ночным миражем.
Теперь весь мир моим желаньем пьян,
А я не помню, что меня пьянило...
К чему стремлюсь — безумье и обман,
А что само дается, мне не мило.

Увы, моя свирель сошла с ума:
Сама рыдает, буйствует сама,
Сошли с ума неистовые звуки.
Я их ловлю, протягиваю руки...
Но мерный строй безумному не дан.
По морю звуков мчусь я без кормила...
К чему стремлюсь — безумье и обман,
А что само дается, мне не мило.

* * *

Та женщина, что мне была мила,
Жила когда-то в этой деревеньке.
Тропа к озерной пристани вела,
К гнилым мосткам на шаткие ступеньки.

Названье этой дальней деревушки,
Быть может, знали жители одни.
Холодный ветер приносил с опушки
Землистый запах в пасмурные дни.

Такой порой росли его порывы,
Деревья в роще наклонялись вниз.
В грязи разжиженной дождями нивы
Захлебывался зеленевший рис.

Без близкого участия подруги,
Которая в те годы там жила,
Наверное, не знал бы я в округе
Ни озера, ни рощи, ни села.

Она меня водила к храму Шивы,
Тонувшему в густой лесной тени.
Благодаря знакомству с ней, я живо
Запомнил деревенские плетни.

Я б озера не знал, но эту заводь
Она переплывала поперек.
Она любила в этом месте плавать,
В песке следы ее проворных ног.

Поддерживая на плечах кувшины,
Плелись крестьянки с озера с водой.
С ней у дверей здоровались мужчины,
Когда шли мимо с поля слободой.

Она жила в окраинной слободке.
Как мало изменилось все вокруг!
Под свежим ветром парусные лодки,
Как встарь, скользят по озеру на юг.

Крестьяне ждут на берегу парома
И обсуждают сельские дела.
Мне переправа не была б знакома,
Когда б она здесь рядом не жила.

ДЕВОЧКА-СУПРУГА

Пылкий, снисходительный супруг!
Девочку — созданье молодое —
Называешь ты своей женою.
Во дворце твоем она охотно
Целый день резвится беззаботно.
Ты придешь к ней — девочка считает:
Создан ты для игр, как все вокруг,
Пылкий, снисходительный супруг!

Нет, ей долг хозяйки незнаком;
Волосы, одежды — в небреженье,
Непонятны стыд ей и смущенье.
Не себя, а куклу наряжает,
Дом песочный строит, разрушает
И в душе уверена, должно быть,
Что полезным занята трудом...
Нет, ей долг хозяйки незнаком.

Старшие ей часто говорят:
«Это — муж твой, это — божество.
Почитай и слушайся его».
Девочка испуганно внимает,
Как ей почитать тебя — не знает.
Думает порой, игру оставив:
«Непременно выполню подряд
Все, о чем мне взрослые твердят».

Вот на брачном ложе, средь цветов,
Обнимаешь ты ее влюбленно,

Но лежит она в забвенье сонном.
Ожерелье с ложа соскользнуло,
Множество мгновений зря минуло.
К твоему восторгу безучастна,
Спит она, не слышно нежных слов
Ей на брачном ложе средь цветов.

Только в дни, когда сгустится мрак,
В дни, когда всесильная природа
Вдруг пошлет ненастье, непогоду,—
Игры и забавы позабыты,
Сон нейдет, глаза ее открыты.
Девочка к тебе прижмется крепко,
Сердце задрожит тревожно так
В дни, когда сгустится грозный мрак.

Мы в душе тревожимся порой,
Как бы эта юная голубка
Не свершила пред тобой проступка.
Но смеешься ты великодушно,
Видимо, тебе совсем не скучно
Наблюдать, как этот несмышленыш
Увлечен веселою игрой...
Нет, мы зря тревожимся порой!

Ты уверен: день такой придет,
День, когда у стоп священных мужа
Домик игр ей станет вдруг ненужен.
Для тебя нарядится со тщаньем,
Будет ждать, терзаться опозданьем.
Твоего отсутствия минута
В вечность для нее перерастет...
Ты уверен: день такой придет!

Пылкий, снисходительный супруг!
Девочку, что занята игрою,
Ты уже назвал своей женою;
В комнате безлюдной для нее же
Пышное ты приготовил ложе,
И сосуды с медом золотые
Для нее расставил ты вокруг,
Пылкий, снисходительный супруг!

ПРИХОД

С работой покончено. Черная ночь.
Мы ждали весь день, нетерпеньем горя,
Когда же стемнело, подумали мы:
«Сегодня уже не дождемся царя».
Захлопнулись двери одна за другой,
В селе наконец наступает покой.
Но все ж кое-кто не сдавался, твердил:
«Приедет он, спать вы расходитесь зря!»
Промолвили мы, усмехнувшись: «Нет, нет,
Сегодня уже не дождемся царя!»

Нежданно послышался явственный стук.
Что это? И стар его слышит и мал.
Друг другу мы тихо сказали тогда:
«Наверное, ветер к нам в дверь постучал».
Погасли светильники в каждом окне,
Усталые, мы улеглись в тишине.
И все ж кое-кто не ложился, твердил:
«Как видно, гонец махараджи примчал!»
С усмешкою мы повторяли свое:
«Наверное, ветер к нам в дверь постучал».

Притихло селенье, нигде ни души,
И только на ложе забылись мы сном,
Как загрохотало вдали, и тогда
Сквозь дрему подумали мы — это гром.
Земля сотрясалась, дрожала вокруг,
Так тяжек был тот нарастающий звук.
И кто-то, в своей правоте убежден,
Сказал: «Это грохот колес за окном».
Но мы, пребывая еще в забытьи,
Сказали: «Нет, нет, это гром, это гром!»

И вдруг зазвучали литавры вдали,
Запели, безмолвию ночи грозя.
И кто-то вскричал: «Спать не время сейчас,
Вставайте, уж долее медлить нельзя!»
Вскочили мы. Сердце забило в набат,
И каждый был страхом внезапным объят.
Тогда кое-кто, торжествуя, сказал:
«Уж царское знамя мы видим, друзья».

Очнувшись от сна, мы воскликнули тут:
«И вправду нам долее медлить нельзя!»

Где все украшенья? Гирлянды? Огни?
Какое, скажите, без них торжество?
Приехал владыка в наши края,
Возможно ль не встретить достойно его?
О, стыд! Нанесен нашей чести урон!
Где место для праздничных сборищ? Где трон?
Друг другу шептал кое-кто на ушко:
Теперь причитанья уже ни к чему:
Придется с пустыми руками встречать
И гостя приветствовать в темном дому».

Трубите же в раковины, эгей!
Раскройте все двери навстречу ветрам!
Сегодня в ненастную черную ночь
Царь темного дома пожаловал к нам!
Гремит в небесах, надрывается гром,
И молнии быстрым сверкают огнем.
Постели убрав, украсьте дворы
И праздничный вид придайте домам!
Сегодня, сопутствуемый грозой,
Царь бедствий и мрака пожаловал к нам!

ИЗ КНИГИ «ЖЕРТВЕННЫЕ ПЕСНИ» («ГИТАНДЖАЛИ»)
1910

* * *

Заставь меня головой коснуться
Стоп твоих запыленных.
Тщеславье мое, гордыни безумство,
В слезах утопи соленых.
Стремясь возвыситься, я не вижу,
Что только позорю себя, опускаюсь ниже,
Отгораживаю себя, мечусь ежечасно
Среди сует обыденных.
Тщеславье мое, гордыни безумство,
В слезах утопи соленых.

Не помогай мне в моих деяниях,—
Я человек, не боле.
Через мое бытие земное
Выполни свою волю.
Молю тебя о покое конечном,
Раствори меня в блеске своем, в сиянии вечном,
Встань на лотос души моей
Стопами ног запыленных,
Тщеславье мое, гордыни безумство,
В слезах утопи соленых.

* * *

О, помоги расцвесть душе моей,
Сокрытый в глубине души,
В нее слепящий свет пролей,
Бесстрашие внуши,

Сомненья развей,
Тревогу утиши,
Ей красоту и чистоту и счастье дать спеши.
О, помоги расцвесть душе моей,
Сокрытый в глубине души.

О, если бы она
Свободу обрела!
Внеси спокойный лад
Во все мои дела.
У стоп твоих душа моя пусть отдохнет в тиши,
Дай радость ей, дай радость ей,
Дай радость ей.
О, помоги расцвесть душе моей,
Сокрытый в глубине души.

* * *

Молю, мой страх гони, гони,
Ко мне свой лик ты поверни.
Не видно мне со стороны,
Где то, что очи зреть должны.
Все помыслы тобой полны,
С улыбкой в сердце загляни.

О, молви, молви слово мне,
Ко мне приникни, обойми.
Свою десницу простерев,
Меня из праха подними.
Не мог понять я, что узнал,
Не мог найти я, что искал;
Улыбки лгут и слезы лгут,—
Все заблужденья проясни.

* * *

Сегодня душу у меня
Закрыла туч гряда,
Летит, летит моя душа
Неведомо куда,
И на струнах души моей
Удары молний все сильней,
И грома песнь гремит в груди,
Могуча и горда.

Сгущается, синея, мгла;
Она мой стан обволокла
И в тайники души моей
Проникла навсегда.

Мне пьяный ветер — друг сейчас,
Он бешено пустился в пляс
И с хохотом летит вперед,
Не ведая стыда.

ИЗ КНИГИ «ГИРЛЯНДА ПЕСЕН» («ГИТИМАЛЛО»)
1914

* * *

Подошел отдачи первый срок,
Жизнь была похожа на цветок,
Лепестков не счесть в его короне.
Щедрый, он нисколько не в уроне,
Отдавая ветру лепесток.

А сегодня, на исходе лет,
Лишнего в руках у жизни нет.
Клонится она покорно долу,
Словно в пору жатвы плод тяжелый,
Сердце чье переполняет сок.

* * *

В одеянье красивом пришел ты в мой час предзакатный.—
Привет мой тебе!
Озарил мою душу улыбкой своей благодатной,—
Привет мой тебе!
В этих кротко-безмолвных глубинах небес безмятежных
Привет мой тебе!
В этом дремлющем ветре, в его дуновениях нежных
Привет мой тебе!
На зеленом подоле усталой земли — в этот вечер
Привет мой тебе!
Под замершими звездами, под их беззвучные речи —
Привет мой тебе!
В этой тихой гостинице, труд завершив свой желанный,
Привет мой тебе!
Этой пышной вечерней гирляндою благоуханной
Привет мой тебе!

ИЗ КНИГИ «ПЕСНИ» («ГИТАЛИ»)
1914

* * *

Облако молвило: «В путь мне пора».
Ночь говорит: «Уходить я должна».
Море вздохнуло: «Вот берег.
Дальше не плещет волна».
Печаль прошептала: «Я след Его ног.
Пребуду безмолвною в мире тревог».
«Я» говорит: «Исчезаю.
Здравствуй, вечная тишина».

Вселенная шепчет: «Гирлянду почета
Сплела я тебе, не забудь!»
Небо сказало: «Сто тысяч светильников
Твой осветили путь».
Любовь сказала: «Из века в век
Я бодрствую ради тебя, человек».
Смерть говорит: «Ладьей твоей жизни
Правлю я лишь одна».

ИЗ КНИГИ «ЖУРАВЛИ» («БОЛАКА»)
1916

ВСЕУНИЧТОЖЕНИЕ

Везде царит последняя беда.
Весь мир она наполнила рыданьем,
Все затопила, как водой, страданьем.
И молния средь туч — как борозда.
На дальнем бреге смолкнуть гром не хочет,
Безумец дикий вновь и вновь хохочет,
Безудержно, не ведая стыда.
Везде царит последняя беда.

Разгулом смерти жизнь пьяна теперь,
Миг наступил — и ты себя проверь.
Дари ей все, отдай ей все подряд,
И не смотри в отчаянье назад,
И ничего уж больше не таи,
Склоняясь головою до земли.
Покоя не осталось и следа.
Везде царит последняя беда.

Дорогу должно выбрать нам сейчас:
У ложа твоего огонь погас,
В кромешном мраке затерялся дом,
Ворвалась буря внутрь, бушует в нем,
Строенье потрясает до основ.
Неужто ты не слышишь громкий зов
Твоей страны, плывущей в никуда?
Везде царит последняя беда.

Стыдись! И прекрати ненужный плач!
От ужаса лицо свое не прячь!

Не надвигай край сари на глаза.
Из-за чего в душе твоей гроза?
Еще твои ворота на запоре?
Ломай замок! Уйди! Исчезнут вскоре
И радости и скорби навсегда.
Везде царит последняя беда.

Ужель твой голос скроет ликованье?
Неужто в пляске, в грозном колыханье
Браслетам на ногах не зазвучать?
Игра, которой носишь ты печать,—
Сама судьба. Забудь, что было прежде!
В кроваво-красной приходи одежде.
Как ты пришла невестою тогда,
Везде, везде — последняя беда.

ТРУБА

Твоя труба лежит в пыли,
И не поднять мне глаз.
Стих ветер, свет погас вдали.
Пришел несчастья час!
Зовет борьба борцов на бой,
Певцам приказывает — пой!
Путь выбирай быстрее свой!
Повсюду ждет судьба.
Валяется в пыли густой
Бесстрашия труба.

Под вечер шел в молельню я,
Прижав цветы к груди.
Хотел от бури бытия
Надежный кров найти.
От ран на сердце — изнемог.
И думал, что настанет срок,
И смоет грязь с меня поток,
И стану чистым я...
Но поперек моих дорог
Легла труба твоя.

Свет вспыхнул, озарив алтарь,
Алтарь и темноту,

Гирлянду тубероз, как встарь,
Сейчас богам сплету.
Отныне давнюю войну
Окончу, встречу тишину.
Быть может, небу долг верну...
Но вновь зовет (в раба
В минуту превратив одну)
Безмолвная труба.

Волшебным камнем юных лет
Коснись меня скорей!
Пускай, ликуя, льет свой свет
Восторг души моей!
Грудь мрака черного пронзив,
Бросая в небеса призыв,
Бездонный ужас пробудив
В краю, что тьмой одет,
Пусть ратный пропоет мотив
Труба твоих побед!

И знаю, знаю я, что сон
От глаз моих уйдет.
В груди — как в месяце срабон —
Ревут потоки вод.
На зов мой кто-то прибежит,
Заплачет кто-нибудь навзрыд,
Ночное ложе задрожит —
Ужасная судьба!
Сегодня в радости звучит
Великая труба.

Покоя я хотел просить,
Нашел один позор.
Надень, чтоб тело все закрыть,
Доспехи с этих пор.
Пусть новый день грозит бедой,
Останусь я самим собой.
Пусть горя, данного тобой,
Наступит торжество.
И буду я навек с трубой
Бесстрашья твоего!

ПОРТРЕТ

Неужели ты — только портрет, всего лишь портрет?..
Разве холоден ты, как таинственный свет
Созвездий туманных,
Что в небесных плывут океанах
Век за веком своею дорогой ночной,
Окруженные тьмой?
Разве призрачен ты, как мерцанье далеких планет?
О портрет,
Неужели ты — только портрет?
Почему в этом вечном движенье светил
Ты один неподвижно застыл?..

О портрет, день и ночь с твоего полотна
Задумчиво смотрит она.
Ей с портрета дорогу к живым не найти —
Закрыты пути, забыты пути...
День и ночь среди нас, вечно с нами она,
Но меж нами и ею — глухая стена.
Нависла стена неподвижно и хмуро
Над узницей вечного онтохпура.
Колышется серого сари край.
Желтая пыль, как пух, мягка,
Взлетает вверх под рукой ветерка
И кружится в небе. Веселый май
Играет пылью, срывает со вдов
Скорбный вдовий покров.

Эта пыль, что в воздух взлетела,
Ласкает земли пробудившейся тело,
Для новой весны его украшая,
Для счастья, для урожая.
Пыль — реальна. Она — жива.
Жива и ты, молодая трава,
Что ковром разостлалась, ноги лаская.
И трава и пыль — в неустанном движенье.
Живы они, они — не тени,
Не безмолвные призраки, нет!

Лишь ты неподвижно застыл, портрет,
Потому что ты — только портрет...
А было время — ты знала к нам путь.

Ты шла по жизни. Дышала грудь.
Каждой частицей души и тела
Ты танцевала, смеялась, пела.
И каждая песня, что ты сочиняла,
Неповторимым ритмом звучала
И в ритм вселенной, как в море — река,
Влилась, свежа и легка.
Когда это было?
Неужто давно?
Где это время,
Где оно?..

Не на холсте, не в недвижном портрете,—
Нет! — с нами рядом, на белом свете,
В мире реальном, среди людей,
Жила ты в то утро жизни моей.
Ты солнечный мир на холсте рисовала
И кистью своей предо мной открывала
Высшую мудрость земли.
Мы рядом с тобою по жизни шли
Дорогой одной.
Но расстались мы.
Прервался твой путь под покровом тьмы.
Я дальше пошел. Все дальше вела
Меня дорога, вперед звала.
И я все шагал и шагал вперед
Средь света и счастья, средь бед и невзгод.
Я шел печальный, я шел счастливый,
Я видел света и тьмы приливы,
И полчища туч, дождем напоенных,
И ясное солнце в просторах бездонных.
Я видел все новые, новые дали,
Я видел — цветы свои краски сменяли,
Менялась погода, мелькали сроки,
На тысячи струй дробились потоки —
Дробились, струились, о жизни пели
И в колокольчики смерти звенели.
Я все вперед и вперед шагал,
Слушая песни, что ветер слагал.
Шагал, познавая мечты и тревоги,
Охваченный радостью дальней дороги...
А ты свернула. Сошла с пути.
Ты стоишь неподвижно, не в силах идти...

И пыль, и трава, и звезды, и луны серебристый
свет —
Все движется в мире бескрайнем. Но неподвижен
портрет.
...Нет, не верьте тому, что болтает поэт!
Нет! Ты — не только портрет!
Кто сказал, что ты неподвижно застыла,
Что линий портретных холодная сила
Связала, сковала твои черты,
Что в рыданьях безмолвных томишься ты?
Кто сказал, что ушла навсегда ты в чужие, немые
края?
Да ведь если бы свет твоего бытия
Померк навсегда,
Исчез и погас навсегда,—
Тогда б и река
Не играла волной,
Тогда б облака
Не летели сейчас надо мной,
Отражая закат золотой.
И если б в тот день,
Когда ты из жизни ушла,
Если б с собой и чудесных волос твоих тень
Ты с земли унесла,
Унесла без следа,—
Я знаю: тогда
Деревьев воздушные тени,
Что шепчутся в рощах, увитых мадхоби,
Ушли бы в мир сновидений...

Разве тебя я забыл?
Ты из жизни моей не ушла,
В сердце жизни моей гнездо ты свила —
Оттого я тебя и забыл —
Забыл, как частицу себя самого,
Забыл, как себя самого...
Я по лугу иду, погруженный в мечты,—
Замечаю ли я под ногами цветы?
Я в полуночный час по дороге бреду —
Замечаю ли в небе звезду?
Он со мною всегда — луч звезды голубой.
И дыханье цветов неразлучно со мной.
Потому я про звезды забыл, про цветы,

Что они неразлучны со мною, как ты.
Скажи: разве это — забвенье?..

На мир я сегодня смотрю — и вижу твой образ
весенний:
В нежной зелени трав — это ты зеленеешь,
В лазури небес — это ты голубеешь.
Не знает никто — и сам я не знаю! —
Что вместе с тобою я песни слагаю;
Твои мелодии в песнях моих,
Ты вдохновляешь мой стих.
Ты — поэт. И живешь ты в сердце поэта,
А не в холодных штрихах портрета.
Тебя на рассвете
Я встретил.
Потом потерял среди мрака ночного.
А потом — в темноте нашел тебя снова.
Увидел, обрел, как незримый рассвет.
Ты — не портрет!
Не портрет!

ПОДАРОК

О любимая, чем же тебя одарю,
Встречая зарю?
Не рассветною ль песней? Но солнце все горячей,
И заря угасает от жгучих его лучей.
Жаркий ветер повеял, колебля
Рдяный венчик ее на дрожащем стебле,
Лепестки осыпаются, ослабев,
Замирает напев.

О подруга, чего же ты ждешь от меня,
Подойдя к моей двери на склоне дня?
Какой подарок тебе вручу?
Не вечернюю ль эту свечу?
Но ее огонек еле-еле мерцает сквозь мглу
В одиноком моем углу.
Ты хотела бы людям сияющий свет нести,
Но чтоб выдержать ветер — где силы ему найти!
Он угаснет в пути.

Что ж тебе подарить?
Может быть, самоцветы, нанизанные на нить?
Но зачем же тебе терпеть мученье тенет,
Ожерелья гнет?
Скоро ль — нет, а настанет мгновение это,
Когда разорвется нить, рассыплются самоцветы,
И ладони твои
Их тяжелой струи
Не сумеют сдержать второпях,—
Мой подарок исчезнет в пыли, обратится в прах.
Не лучше ль, когда, не загадывая ни о чем,
Бродя одиноко в цветущем саду моем,
Затрепещешь ты от душистого дуновенья,
Замрешь на мгновенье,
И этот нечаянный дар живой
Будет навеки твой.
Блуждая в садах, мой прекрасный друг,
Очарованно глядя вокруг,
Ты заметишь вдруг,
Как выскользнет луч из вечерней зари,—
Посмотри на него, посмотри,—
Он коснется мечтаний твоих трепетом тайных чар...
Бери этот дар, мой нечаянный дар,
Бери...

Богатство мое в зарницах, мерцающих нощно
и денно.
Оно возникает мгновенно, исчезает мгновенно.
У него названия нет, но запомни его приметы,—
Воздух вдруг запоет, зазвенят на ногах браслеты...
Я и сам не знаю к сокровищнице пути,
Руками ее не взять, словам до нее не дойти.
Так возьми же сама, что сочтешь ты всего
желанней,
Всего чудесней,—
Тем дороже подарок, чем он нежданней,
Чем неизвестней,
Как дуновенье благоуханья,—
Цветок иль песня...

СУД

О мой Пресветлый!
Когда несметной,
Разгоряченною толпой,
Вздымая пыль клубами за собой,
Проходят нечестивцы мимо
И загрязняют лик прекрасный твой,
Душа скорбит, и боль неисцелима.
В слезах я говорю:
«Прекрасный мой!
Возьми свой жезл и стань судьей!»
Но что я зрю?

Врата суда открыты день и ночь,
Вершится суд всегда, и день и ночь,
Но даже первые лучи рассветов ясных
Не гасят блеска глаз кроваво-красных,
И даже лотосов благоуханье
Не заглушает смрадного дыханья,
А в сумерках, когда отшельник-вечер
Затеплит звезд бесчисленные свечи,
Семь Мудрецов взирают с высоты
На буйный бред в пыли бредущих мимо
Твоей непостижимой доброты;
Душа моя скорбит неудержимо!
Прекрасный мой,
В тиши лесной
Твой правый суд, и в птичьем пенье,
В жужжанье пчел и ветра дуновенье,
В цветах и в трепете листвы весенней,
Над берегом, лобзаемым волной.

О мой любимый!
Неукротимы
В безмерной алчности слепой,
Они крадутся за тобой,
На все готовы,
Чтобы похитить светлые покровы
И скрыть под ними сердца пустоту
И вожделений грязных наготу.
Они любовь попрали, истерзали,
Повергли в прах...
Нет сил терпеть, не вынести печали!

И я к тебе взываю, весь в слезах.
Я говорю: «Любимый мой!
Возьми не жезл, а меч и будь судьей!»
Но что я зрю?

Над злобой их ты слезы проливаешь,
Как мать детей, прощаешь,
Грудь подставляешь стрелам их мятежным,
На ненависть любовью отвечаешь,
На ярость — взором нежным.
О мой любимый!
Твой суд незримый
В любви, переборовшей все страданья,
И верности, не знающей сомненья,
И в дружбе, что прошла все испытанья,
В ночах разлуки, полных ожиданья,
И в трепетных рассветах возвращенья,
Омытых кроткими слезами всепрощенья.

О Рудра, повелитель грома!
Тупою жадностью влекомы,
В твой храм они вошли тайком,
Как воры в дом,
И завладели
Святыней, что хранилась там доселе.
Но с каждым часом ноша все тяжеле,
Гнетет их души тягостным ярмом,—
Они согнулись, сникли, ослабели...
И я, рыдая, говорю с мольбой:
«Прости их, Рудра мой!»
Но что я зрю?!

Снисходишь ты грозой необоримой,
Неудержимой,
Неправедное с них срываешь бремя,
Украденное в ветре развеваешь,
В прах повергаешь,
Карой их прощаешь...
О Рудра мой, ужель настало время?
Да, вижу я теперь: твое прощенье —
Гремящих молний мщенье,
Тьма светопреставленья,
Ливни крови...
Тем милостивей суд, чем он суровей!

ЖУРАВЛИ

Катит волны Джилам,— на излуке сверкнула река
Синей сталью кривого клинка;
И уже в темноте, как в ножнах, утопает.
День отхлынул, ночи прилив наступает,
Бижу лилии звезд на поверхности черной воды.
Горных кедров ряды
Спят на склонах крутых. Мир сковала дремота,
Дали сонные, кажется, шепчут мне что-то,
Только слов не пойму,
Уплывают невнятные звуки во тьму.

Вдруг родился в поднебесных просторах —
Шорох,
А потом
Вихрь стремительный в небе пустом.
Это крылья безумные, крылья, от счастья хмельные,
Хохочут, ликуют, как пляска стихии,
Изумляют они небеса и просторы земли.
Журавли, журавли!
Словно девы небес этот вихрь пронесли,
Немоту разорвали,
Потрясли молчаливые дали.
Горные кедры, трава —
Все проснулось,
Едва
Вихря дыханье к земле прикоснулось.

Шумом крыльев наполнилась мгла,
В сердце мертвого сна ожила
Затаенная страсть к быстроте. Даже кручи
Пожелали взлететь, заклубиться, как тучи.
Машут ветви, деревья трепещут вдали,
Корни силятся вырвать из черной земли.
Им лететь бы за шумом воскрылий,
Новые дали они бы открыли.
Вздымаются волны тоски.
Небеса далеки, высоки.
Крылья, крылья, могучие, птичьи!
В самом сердце вселенной услышал ваш клич я:
«Не сюда, не сюда! Дальше, дальше! Вперед!»

Журавли, куда же вас крылья несут?
Вы разбили безмолвья сосуд.
В молчании вод, небосклона и суши
Мои чуткие уши
Слышат шум беспокойный крыла.
И трава подняла
Свои крылья зеленые к выси просторной.
Где-то там, под землей, встрепенулись набухшие зерна.
Сотни, тысячи зерен готовы к полету давно,
Бьется птицей любое зерно.
Вижу: рвутся в просторы
Горы,
Расправляют зеленые крылья леса,
В неизвестность стремятся они, в небеса.
Перед светом рыдающим тьма отступила,
Лишь взмахнули крылами ночные светила.

Голосов человеческих слышу я хор,—
По незримой дороге стремятся в простор,
От неведомой давности к новым векам пролетая.
Крики кочующей стаи
Услышал я в сердце моем.
Птицы в полете и ночью и днем.
Устремляясь от берега к берегу, птица
То сквозь мрак, то сквозь даль голубую промчится.
Дружных крыльев напев в мирозданье плывет:
«Не сюда, не сюда! Дальше, дальше! Вперед!»

НОВЫЙ ГОД

Старого года усталая ночь,
Странник, ушла она, дряхлая, прочь!
Путь, как лучи, озаряют призывы —
Грозные песни великого Шивы.
И по дороге уносится вдаль,
Словно напев заунывный, печаль,
Словно блуждающий в поисках света
Голос поющего песню аскета.

Странник, твой жребий по-прежнему строг:
Ноги ступают по пыли дорог,
С места срывает тебя ураган,
Крутит тебя средь неведомых стран.
Должен все время ты быть одинок,
Не для тебя — на окне огонек.
Не для тебя — слезы преданных глаз.
Буря повсюду. Бьет гибели час.
Ночь привечает раскатами грома.
Ласки шипов — на тропе незнакомой,
Иль незаметной змеи капюшон.
Брань ты услышишь, как праздничный звон.
Так ты шагаешь все дальше — счастливый
Благословеньем великого Шивы...

Все, что теряешь,— то дар лишь судьбе.
Если ты просишь бессмертья себе,
Знай,— что не счастье оно, не покой,
Даже не отдых обыденный твой.
В час, когда смерть к тебе грозно придет,
Всюду получишь ты славу, почет.
Нового года благие порывы —
Благословенье великого Шивы.
Странник, не бойся, не бойся: в ненастье
Ты под защитой богини несчастья.

Старого года усталая ночь,
Странник, ушла она, дряхлая, прочь.
Ожесточенья пришли времена.
Пусть упадет над тобою стена,
Пусть опрокинется чаша вина.
Нового года не слышно движенье.
Руку его ты возьми на мгновенье,
В сердце — его ты почуешь биенье.
Странник, все время идущий вперед,
Старая почь пусть скорее пройдет!

* * *

За веком век терпеливо ждали
Земные глубины, воздушные дали —
И вот он сегодня расцвел на рассвете,
Цветок мадхоби, прорвавший сети
Тысячелетней незримой вуали,
Которой от нас это чудо скрывали.
Думы мои, мечты и речи
Сквозь время стремятся кому-то навстречу,
Чтобы улыбкой в какой-то вечер
Озарить кого-то, когда-то, где-то,
В чьем-то саду, весною, летом...
Этой надеждой, мечтою этой
Сердце мое согрето.

ИЗ КНИГИ «БЕГЛЯНКА» («ПОЛАТОКА»)
1918

СМУГЛЯНКА

Под вечер я вижу нередко:
За ржавой решеткой сидит Нондорани — соседка,
Одна в тоске,
Как лодка у высохшей речки на жарком песке.

Росла, подрастала,
Невестою стала,
И в доме тревога: когда ж, наконец,
Найдется жених, озабочен отец;
Наверно, дела ее плохи,
Когда, словно волны, над нею расходятся вздохи.

Я в доме напротив, внизу, в пансионе считаю недели,
В колледже экзамен столкнул еле-еле —
Как лодку шестом...
На жизнь зарабатывал тяжким трудом:
На дню по два раза уроки давал,
И поздно ложился, и рано вставал,
А ел что придется и вполживота,
Вконец опостылела мне нищета!
Пороги колледжа я стал обивать,
Просил, умолял их без платы принять,
А думал когда-то полцарства и дочку раджи получить,
Казалось, судьба мне хотела казну золотую вручить
И тайную силу, с которой я перевернул бы весь свет —
Да нет!
В заботы уйдя с головой, не угадывал я,
Что в новой Бенгалии сила, надежда моя.

Судьба иногда злую шутку играет,
И в клетке для мойны павлина плясать заставляет,
Ломаются перья о прутья, и стелется пух по железу —
Какой же сухарь сочинил эту пьесу?
На этой земле, где свободны леса, где грозы гремят в барабан,
Куда ни посмотришь — обман,
На что ни посмотришь — ограда,
И сердце не радо.
Верчусь без работы, гляжу без улыбки, совсем я зачах,
От зноя и голода еле держусь на ногах,
Валюсь тяжело на топчан, проклиная в душе все и всех,
Лежу на полу, а глаза устремляются вверх,
И вижу в квадрате проема —
Сидит Нондорани, смуглянка из ближнего дома,
Как будто бы черная туча в полуденный зной
Прохладно висит надо мной.
А взгляд —
Вечерний жасминовый сад,
Безмолвная полночь, луна на ущербе,
И темные воды в прибрежной пещере,
И робкий ручей,
Бегущий в долину из горных ключей,
Она, словно птица, не слышит себя и не знает,
Пока ее трель среди звезд замирает,
И смотрит в глубокое небо глазами,
Наполненными голубыми слезами.

А помню: когда-то в тени под баньяном, как все деревенские дети,
Любил я играть на бамбуковой флейте,
Об этом забыл я, но вдруг
Однажды проснулся в душе моей сладостный звук.
На время каникул разъехались все, у кого есть семья,
Остался лишь я,
Обычно я под вечер флейту забытую брал,
И дул осторожно, и пальцами перебирал.
И вижу вверху Нондорани, смуглянку из ближнего дома,
В квадрате проема,
В котором мерцает ночными слезами
Душа ее — черная тайна под черными небесами...
И грустно сидит Нондорани часами,
И друг, приютившийся в темной каморке души,
Беседует с нею в вечерней тиши.

Вот так же и флейта — забвенье мое;
хоть стены и толстые, но
Едва заиграет — и настежь окно,
Звучание песни простой
Стирало преграду меж ею и мной,
И в мире теней — лишь в стране ее звука —
Два друга нашли и узнали друг друга,
Немое рыданье и плач бессловесный, войдя в ее узкое горло,
Раскрылись в молитве — печально и гордо,
Лишь в тихих мелодиях флейты могли мы судьбу облегчить
И то получить, что возможно,— и то, что нельзя, получить.

ЗАБЛУДИЛАСЬ

Стояла ночь.
По лестнице моя малютка дочь
Спускалась, слыша голоса подруг.
Она пугалась темноты вокруг,
Ступала осторожно, чуть живая,
Светильник краем сари прикрывая.

Весенней ночью я на крыше был,
Глядел на небо, полное светил.
Внезапно ветер детский плач принес,
Я вниз сбежал — узнать причину слез.
И вижу, в этот поздний час,
В руках у дочки огонек погас.
Я спрашиваю: «Бами, что случилось?»
Она в ответ: «Я заблудилась».

И вновь весна, и выхожу опять
В тиши ночной на крыше постоять.
И чудится: небесными тропами
Проходит девочка, точь-в-точь как наша Бами,
Светильник синим сари заслоня.
О, только б ветер не задул огня!
О, только б не остановилась
Она, крича: «Я заблудилась!»

ИЗ КНИГИ «МАЛЫШ БХОЛАНАТХ» («ШИШУ БХОЛАНАТХ»)

1922

ПАЛЬМИРА

На одной ноге стоит она,
Кроной выше всех вознесена.
Кажется: еще одно усилье —
И пальмира тучи просверлит,
Унесется высоко, в зенит.
Только как же обрести ей крылья?

Широки округлые листы...
Вот оно — свершение мечты.
В самом деле, чем не крылья это?
Вмиг расправит их над головой
И покинет дом родимый свой.
Улететь отныне нет запрета.

Попросилась на простор душа,
Листья мчат, качаясь и шурша,
Или это чудится пальмире?
Вот она взлетает в вышину,
Миновала звезды и луну,
Небо все бездоннее и шире.

Но стихает ветер, и тотчас
Листья поникают, чуть шепчась,
Снова у себя пальмира дома.
Все же мать-земля всего родней,
Снова, как и прежде, дорог ей
Этот уголок земли знакомый.

ВОСПОМИНАНЬЕ

Я никогда не вспоминаю мать,
И лишь порой, когда я выбегаю
На улицу — с мальчишками играть,
Какая-то мелодия внезапно
Овладевает мной, не знаю где родясь,
И кажется мне, словно это мама
Вошла ко мне, с моей игрой слилась.
Она, качая колыбель мою,
Быть может, эту песню напевала,
Но все ушло, и мамы больше нет,
И песни маминой не стало.

Я никогда не вспоминаю мать.
Но в месяце ашшин, средь зарослей жасмина
Как только начинает рассветать,
И влажен ветер, пахнущий цветами,
И тихо плещется волна,
В моей душе встают воспоминанья,
И мне является она.
А верно, мама часто приносила
Цветы, чтоб вознести моления богам;
Не оттого ль благоуханье мамы
Я слышу всякий раз, входя во храм?

Я никогда не вспоминаю мать.
Но, глядя из окошка спальной
На мир, который взором не обнять,
На синеву небес, я чувствую, что снова
В мои глаза глядит она
Внимательным и нежным взглядом,
Как в золотые времена,
Когда, меня сажая на колени,
Она смотрела мне в глаза.
И взор ее тогда во мне запечатлелся,
И от меня закрыл он небеса.

ИЗ КНИГИ «ВЕЧЕРНИЕ МЕЛОДИИ» («ПУРОБИ»)
1925

БЛАГОДАРНЫЙ

«Не забуду»,— сказал я глазам твоим, полным слез.
Прости, если забуду. Столько осыпалось роз
После того поцелуя, столько весен минуло,
Столько раз увядали цветы парула,
Чтобы вновь расцвести, а голуби в знойный час
Прилетали сюда, чтобы вновь улететь,— столько раз...
Взгляд твоих черных очей
Первой любви посланье в душе моей
Запечатлел... Но на каждом слове твоем
И свет возникал, и тени скользили — день за днем,
И столько закатов слова твои покрывали
Золотом забытья, и столько ночей, что едва ли
Я счесть их могу,— писали по строчкам твоим
Что-то свое, понятное только им.
Рисуя, как дети,— и вкось и вкривь,— сменялись
мгновенья.
Не распутать, не разорвать эту сеть забвенья,—
Я бессилен, если оно овладеет мной...
Если ту весну я забуду этой весной
И светильник печали сюда не смогу донести,
Если пламя угаснет — прости.

Но знаю, что ты когда-то была.
Тогда и возникли песни, и не было им числа,
Они и сегодня звучат еще... В миг единый
Солнечный свет мне их подсказал, зазвенела ви́на,
И все это — взгляд твой... Я больше не встречу его,
Но в сердце моем осталось твое волшебство,—

Этот дивный мир и сегодня озаряет душу мою,
Безотчетную радость чашею полной пью.
Прости, если забуду... Но ты позвала меня
Сердцем когда-то. Во имя этого дня
Прощаю судьбе все горести, все печали,
Все, чем терзала, забыв, что было вначале,
Прощаю, что счастье мое обернулось бедой,
Что от жаждущих губ моих чашу с водой
Судьба отняла, и обманывала, и лишала силы,
И груженую лодку возле причала топила —
Все прощаю... А ты, ты уходишь в далекую даль.
Вспоминая твой облик, погружается вечер в печаль.
Жизнь без друга в дому опустевшем не радостна,
не светла.
Больше всего благодарен тебе, что ты была.

БЫТЬ МОЖЕТ...

Прости, если я, преисполнясь гордыни,
Поверю пригрезившейся картине:
Семнадцатилетняя — в еще не пришедшие времена —
Ты читаешь стихи мои в одиночестве у окна,
А в небе плывет луна.
Безмолвие ночи трепещет в ритмах стиха,
Былая мелодия льется, нежна и тиха,
И радость, быть может, блеснула в глубине девических глаз,
И, может быть, ты шепнула: «Если б он жил сейчас,
Меня он любил бы, наверно, и тосковал обо мне...»
А может быть, говоришь ты: «Он не вернется, нет,
Но лишь для него этой ночью горит одинокий свет
В моем окне».

ВСТРЕЧА

Где жизни теченье сливалось
С течением небытия,
Где время для нас обрывалось,
Однажды сошлись ты и я.

А нынче каким океаном
Плыву я к неведомым странам?
Мне челн одинокий — жилище,
И волны бьют в утлое днище.
Плыву и плыву, вспоминая:
Где низкого неба края
Срезает граница земная,
Однажды сошлись ты и я.

Бок о бок сидели мы двое,
И я, в забытьи наяву,
Постиг, чье дыханье живое
Колеблет густую траву
И радостью проникновенной
Пронзает глубины вселенной.
Я понял, как звездная сила
Блеснула и сумрак сразила.
Как трепетно, неудержимо
Дыханье летит бытия,
Я понял, когда недвижимо
Сидели вдвоем ты и я.

Мы в небо глядели. Вовеки,
Сдавалось, нам рук не разнять,
Ни разу не дрогнули веки,
Уста замыкала печать.
Я понял, что слова граница
В груди мирозданья таится,
Где — в самой его сердцевине —
Богиня играет на ви́не.
Я понял ее сопричастье
К причинам того забытья,
Когда от щемящего счастья
Рыдали вдвоем ты и я.

Я понял, как ветру фальгуна
Губительно пламя свое.
Заря улыбается юно,
Стирая себя самое.
Как в море вливаются реки,
Чтоб там затеряться навеки,
Как ночь в состязанье с рассветом
Стремится погибнуть при этом,

Как молния самозабвенно
В себя мечет стрел острия,
Я понял, когда дерзновенно
Играли вдвоем ты и я.

УТРО

Как золотистый пахучий мед,
Этот утренний час течет.
Я пью его медленно, он тягучею влагой струится,
И песня безмолвна моя, как утомленная птица.
В центре лотоса-неба молчаливой пчелой
Я вкушаю душистый покой
И роняю секунды лениво в рассветный поток,
Смакуя неторопливо каждый глоток.
Щедро к цветам и деревьям я сердце простер,
Туда, где юный росток, как клинок, остер,
Сердце земли пронзая, зеленый вздымает костер.
Я слышу, как сердце мое, дыханье земли вобрав,
До краев наполняется ароматами трав,
Как вся трепещет душа моя,
Как в ней рокочет поток бытия,
В себя вбирая и свет и прах,
Качая и жизнь и смерть в своих неизбывных волнах.
Я слышу: в моей крови деревья ведут разговоры,
В моей крови перекликаются птичьи хоры,
Ропот вселенной, рожденье дня...
Океаном весь мир омывает меня,
И безмолвный напев мне слышится в том океане,
И небо струит мне в глаза синеву расстояний...

ЦВЕТОК ДАЛЕКИХ ЗЕМЕЛЬ

О чужеземный цветок, над лепестками склоняясь
твоими,
Я спросил твое имя.
Ты вместо ответа качнул головой.
Я понял тогда: вопрос неуместен мой.
Но ты улыбнулся, цветок, и улыбка твоя
Мне сказала, что мы друзья.

О чужеземный цветок, тебя к груди прижимая,
Я спросил: «Из какого ты края?
Какая земля твою красоту взрастила?»
«Не знаю»,— ответил ты тихо с улыбкою милой.
Я понял тогда, что важно другое:
Важно, чье сердце живет и владеет тобою,
Важно, чья грудь согревает тебя.
В любящем сердце, цветок, отчизна твоя.

О чужеземный цветок, я шепнул, наклонясь над тобой:
«На каком языке говоришь ты? Скорее открой,
На наречье каком мы можем с тобой объясниться?»
В ответ лепестки твои дрогнули, словно ресницы,
Ты улыбнулся, качнулась опять голова,
Зашепталась вокруг листва.
Я понял тогда, что понятней и внятней стократ
Наречий любых твой безмолвный язык — аромат.

О чужеземный цветок, склонясь над твоим стебельком,
Я спросил на рассвете: «Тебе я знаком?»
Ты тряхнул головой и улыбнулся в ответ.
Я понял тогда, что неважно, знаком я тебе или нет.
И сказал я: «Цветок, тобою душа полна.
Прикосновеньям твоим власть надо мною дана,
Ты в мое сердце радости льешь поток,
О чужеземный цветок!»

О чужеземный цветок,
Когда я тебе говорю: «Будешь ли помнить меня?» —
Ты улыбаешься, голову молча клоня,
И я понимаю, что значит твой молчаливый ответ:
Мысли твои за мною помчатся вслед.
Я скоро уеду, но буду из дальних краев
Твои посещать мечты.
Я знаю, цветок, меня не забудешь ты.

ИЗ КНИГИ «ПИСЬМЕНА» («ЛЕКХОН»)

1927

* * *

Мои письмена отцветают мгновенно,
На куст придорожный похожи:
Прохожий увидит его непременно —
И тут же забудет прохожий.

* * *

Не нужно мотыльку считать года,
Мгновения считает он всегда,—
Вот почему у мотылька так много времени!

* * *

Сон — дерево. На дне его дупла
Свила гнездо моих мечтаний птица
И в то гнездо обрывки принесла
Всего того, чем шумный день томится.

* * *

Тяжелыми делами груженная ладья,
Того гляди, утонет в пучине бытия,
Но песни нагрузил я легчайшими словами,—
Быть может, не утонут и долго будут с вами!

* * *

Весна свои цветы, свои листы
Вручает ветру, что шумит в садах...
Беспечная, иль позабыла ты
О будущих плодах!

* * *

Слова мои в крыльях своих обрели
Движенья исток и тепло.
Взлетели — и быстро исчезли вдали,
И сразу им стало светло.

* * *

Дерево залюбовалось строгой
Тенью собственной своей.
Собственная,— а поди потрогай,
Приласкай или развей!

* * *

Избавясь от оков земного сна,
Свободу радость обретает,
И, чтобы ярче расцвести, она
По листьям трепетно взлетает.

* * *

Бездонный, темный океан ночной.
По глади легких вод
Притихший день, как пузырек цветной,
В безбрежности плывет.

* * *

Подарок робкий мой надеяться не может,
Что он отыщет путь к душе какой-нибудь,
Но доброта твоя, быть может, мне поможет
И душу перед ним захочет распахнуть.

* * *

На пыльной земле, как ребенок, рисует
картины весна;
Потом их стирает, уходит,— их больше
не помнит она.

* * *

Дети возле храма, в день весенний,
Что ни миг становятся шумней.
Бог не внемлет голосам молений,
Смотрит на игру детей.

* * *

Небо охватило землю светлыми руками,
Но само вдали тоскует,— там, за облаками.

* * *

Далекое приблизилось. Гляди же:
Пройдут года — и дальше станет даль, а нам покажется,
что ближе!

* * *

Гора, за облака
Воздев чело,
Не знает, что река
Чиста, смиренна.
Любовь реки робка,
Ей тяжело,
Но смотрит свысока
Гора надменно.

* * *

Пуская лодки облаков, природа
Играет светотенью небосвода.
Не так ли, веселясь, играют дети
Среди смеющегося утра года?

* * *

Хочет бог, чтобы воздвигли храм
Из любви и состраданья,
Что же люди, кланяясь богам,
Строят каменные зданья?

* * *

Когда, цветок напоминая, поблекнет ранняя заря,
Как зрелый плод, зардеет солнце, великолепие даря.

* * *

Эта ночь, как невеста в разлуке,
Краем сари закрыла свой лик,
Будто ждет в нетерпенье и муке,
Чтоб жених — светоч утра — возник.

* * *

Подул попутный ветерок,
а якорь в тине без движенья,
И места не найдет челнок,
куда деваться от смущенья.

* * *

Тень сберегла воспоминанья света,—
И мы картиной называем это.

* * *

Я сижу один. Закат погас.
В дверь души́ стучатся в поздний час
Путники, окутанные тьмой:
Неосуществлённые надежды
С болью возвращаются домой.

* * *

Перо летуньи выпало, бесславно
Лежит, зарывшись в прах.
Ну, кто поверит, что оно недавно
Парило в небесах!

* * *

Опасностями, яростью стихии
Ты манишь, океан, сердца людские,
Твои рассказы, полные тревоги,
Им обещают дерзкие дороги.

* * *

Все новые пути у солнца неустанного,
Оно, рождая свет, само родится заново.

* * *

Я господом ценим, когда
Работу делаю свою,
Я господом любим, когда
Всем сердцем песню я пою.

* * *

Тебе я в дар принес
Одну из свежих роз,
Тебе же нужен весь цветник живой.
Ну что ж, возьми, он твой.

* * *

Как видно, сбилась ты, весна, с пути прямого,
Ко мне пришла не в срок.
Но раз уж ты пришла,— на старой ветке снова
Пусть расцветет цветок.

* * *

Когда для розы вспыхнул солнца свет,
Она возликовала.
«Тебе верна я до скончанья лет»,—
Сказала — и увяла.

* * *

Следов полета моего
Теперь никто на небе не найдет.
Но я летал, я помню свой полет!

* * *

Листок цветку поведал в роще сонной,
Что страстно в свет влюбилась тень.
Цветок узнал о скромнице влюбленной
И улыбается весь день.

* * *

Горящую средь звездного чертога,
Из ярких звезд ее извлек
И с неба нам принес улыбку бога
Недолговечный светлячок.

* * *

Хотя густой туман вершину зажал в смертельное кольцо,
Полно величья, как и прежде, ее суровое лицо.

* * *

Безмолвно горы смотрят на просторы
Небес, что на вершины их легли.
Недвижные, как бы являют горы
Застывшее волнение земли.

* * *

Ты подарила мне цветок, и в руку
Мне шип вонзился, тонок и жесток,
Но с благодарностью, скрывая муку,
Я принял в дар цветок.

* * *

Сияет правда ярче всех красот,
Когда свой голос в песне узнает.

* * *

Ограничен пузырь водяной сам собой,
Исчезает, не зная о пене морской.

* * *

В светильнике нашей разлуки и ночью и днем
Пусть память о встрече горит негасимым огнем.

* * *

Сойдет на землю тьма ночная —
И облака заплачут,
Наверное, не понимая,
Что сами солнце прячут.

* * *

Прося подаянья, стоит у дверей
В одежде отшельника бог:
То весть, что сильнее ты стал и мудрей,
Явилась к тебе на порог!

* * *

Флейта смотрит на дорогу, музыканта ожидая,
Музыкант блуждает, ищет: где же флейта золотая?

* * *

Цветку жасмина чужда кручина, что невелик,
Но сам не знает, что украшает собой цветник,
И не страдает от заточенья сама весна,
Хоть в оболочку его цветенья заключена.

* * *

Цветы похожи на слова,
И окружает, как безмолвье мира,
Их безглагольная листва.

* * *

Вечер покой обретает, себя не виня,
Если проступки прощает прошедшего дня.

* * *

Свободою любовь единство утвердила.
Оковами соединяет сила.

* * *

Большому дереву дано
Жить на земле давно,
Но все, что видело оно,
Мгновению равно.

* * *

Ничто так много зла не создает,
Как добронравных бескорыстный гнет.

* * *

О любовь, если злые обиды
прощаешь ты снова и снова,—
То караешь сурово.
О прекрасная, если покорно,
безмолвно встречаешь удары,—
Я страшусь твоей кары!

* * *

Даже в смерти божий мир обретает обновленье,
Даже продолжая жить, гибнет дьявола творенье!

* * *

Ты видишь, как мечется в мире пустом бессильная новая страсть?
В гнездо опустевшее старой любви уже ей вовек не попасть.

* * *

Когда все чампы мира шумят всей мощью лиственной,
Я слышу голос чампы извечной и единственной.

* * *

Для росинки солнце наших дней —
Только точка, что пылает в ней.

* * *

Я плату за свои труды беру день изо дня,
Но требует любовь: «Плати всей жизнью за меня!»

* * *

Всегда понятны свету извечной тьмы глаголы,
Но чужд ему туман тяжелый.

* * *

Поэту-страннику сказал цветок чужого края:
«Ужель страна, где я живу, тебе, поэт, чужая?»

* * *

Чтобы лотос припаскать в пруду,
Время бабочка нашла.
Все двенадцать месяцев в году
Над цветком жужжит пчела.
Это утро ослепила майя:
Колдовскою нитью обвила,
В плен чудесный увела.

* * *

Чем выше ложное и бренное мы ценим,
Тем больше смерть для нас становится мученьем.

* * *

Недаром истине мила ее граница:
С прекрасным только там она способна слиться.

* * *

В пленительной пляске прекрасного краски
дарует нам Шива,—
В блистанье весны, где травы нежны,
где зыблется нива.

Звенит его пляска, живет его ласка,
земля, в твоей плоти,
В твоих семенах, в твоих письменах,
в мечтах и работе.

* * *

Хотя все двери ты запрешь,— уйдет
То, что уйти должно,
Но только бедствиями свой уход
Сопроводит оно.

* * *

Как поэт, собою недовольный,
Пишет море допоздна,
Пишет пеной, что сказали волны,—
И смывает письмена.

* * *

Кораблик мой бумажный, по прихоти игры,
Везет мои игрушки — мечты былой поры.
Когда он к вам причалит в предутренней тиши,
Его себе возьмите по прихоти души.

* * *

Чем безутешней жизни внешней утраты, боль обид,
Тем ярче внутренний светильник пускай в душе горит.

* * *

Столепестковый лотос —
Сокрылся день во мраке небосвода.
Но с новым словом, с упованьем новым,
С дерзаньем новым и сияньем новым
Он выйдет на́ берег восхода.

* * *

Жасмин, взглянув на солнце в день погожий,
Сказал душистым языком:
«Когда же наконец я стану тоже
Таким большим цветком!»

* * *

Цветок увял и так решил: «Беда,
Весна ушла из мира навсегда!»

* * *

Шипы — моя вина, прощенья нет вине,
Но виноваты ли цветы перед людьми?
Пускай мои шипы останутся при мне,
А ты цветок возьми.

* * *

Для богача дворец — как жадный демон Ра́ху,
И, связан по рукам, богач подвержен страху,
А в доме бедняка не думают о злате,
И руки бедняка свободны для объятий.

* * *

Мечта горы — летать; несбыточен полет,
Но в виде облака мечта ее плывет.

* * *

«Послушай,— утренней звезде
Промолвила луна.—
Когда редеет мрак везде,
Но даль еще темна,
Зачем с улыбкой озорной
Ты светишь средь небес?
Иль день взошел? Иль мрак ночной
Уже совсем исчез?
Родившись между светом дня
И сумраком ночным,
Сбиваешь с толку ты меня
Сияньем своим».

* * *

Непутевое облако самонадеянно
Тратит золото утра, и вечером поздним,
Разорясь, обнищав, уплывает рассеянно.

* * *

Все звезды я считал, не уставая,—
Пока считал, прошла пора ночная;
Все, что искал я,— потерял сполна.
Пойми: тогда желанное добудешь,
Когда пустым и жадным ты не будешь...
Кто в силах море вычерпать до дна?

* * *

Ты прав, когда плохое отвергаешь,—
Все без остатка, незнакомый с жалостью,
Но почему же ты пренебрегаешь
Хорошим,— даже самой малой малостью?

* * *

Обычай неба не таков,
Чтобы в силки поймать луну:
Она сама, и без силков,
Ликует у него в плену.

* * *

Не тем себя сиянье возвеличило,
Что светит в беспредельной высоте,
А тем, что добровольно ограничило
Себя росинкой на листе.

* * *

Одно — всегда одно, и больше ничего,
А двое создают начало одного.

* * *

Различья будешь признавать,—
найдешь единство на земле,
Различья будешь истреблять,—
в огромном возрастут числе.

* * *

Только тот, чьи глаза могут розы увидеть весной,—
Пусть заметит шипы только тот, не другой, не иной!

* * *

Шел от чужих дверей, познав потери,
Тот, кто хорошее творил,
А тот, кто пламенно любил, все двери
Своей любовью отворил.

* * *

Подвластно дело человеку,— известно мудрецам.
Но человек, подвластный делу,— да это стыд и срам!

* * *

Мы поняли, что жизни цену лишь смерти придает печать,
Вот почему ценою жизни бессмертье мы хотим познать.

* * *

Если самого себя станешь выше головой,
Голову склони к себе, чтобы стать самим собой.

* * *

Любовь он превратил в игру, в торговлю, в шутовство,
Но издали она глядит на выверты его.

* * *

Бессмертье — истина, исполненная света,
И постоянно смерть доказывает это.

ИЗ КНИГИ «МОХУА»
(«МОХУА»)
1929

МУЖЕСТВЕННАЯ

Иль женщинам нельзя вести борьбу,
Ковать свою судьбу?
Иль там, на небе,
Решен наш жребий?
Должна ль я на краю дороги
Стоять смиренно и в тревоге
Ждать счастья на пути,
Как дара неба... Иль самой мне счастья не найти?
Хочу стремиться
За ним в погоню, как на колеснице,
Взнуздав неукротимого коня.
Я верю: ждет меня
Сокровище, которое, как чудо,
Себя не пощадив, добуду.

Не робость девичья, браслетами звеня,
А мужество любви пусть поведет меня.
И смело я возьму венок мой брачный,
Не сможет сумрак тенью мрачной
Затмить счастливый миг.
Хочу я, чтоб избранник мой постиг
Во мне — не робость униженья,
А гордость самоуваженья,
И перед ним тогда
Откину я покров ненужного стыда.
Мы встретимся на берегу морском,
И грохот волн обрушится, как гром,—
Чтоб небо зазвучало.

Скажу, с лица откинув покрывало:
«Навек ты мой!»
От крыльев птиц раздастся шум глухой.
На запад, обгоняя ветер,
Вдаль птицы полетят при звездном свете.

Творец, о, не лиши меня ты дара речи,
Пусть музыка души звенит во мне при встрече.
Пусть будет в высший миг и наше слово
Все высшее в нас выразить готово,
Пусть льется речь потоком
Прозрачным и глубоким,
И пусть поймет любимый
Все, что и для меня невыразимо,
Пусть из души поток словесный хлынет
И, прозвучав, в безмолвии застынет.

МОХУА

Полаша горделивый вид
Меня не привлечет.
Ашока слава, бокула почет,
Поэт, устанешь славить ты
И малоти и моллики цветы.
О Мохуа, по-деревенски просто
Зовешься ты, но по осанке, росту
Ты так же величава и горда,
Как женщина труда,
И деревом моим любимым
С достоинством неколебимым
Стоишь в лесу ты, устремив
Высоко к небу свой порыв.
Средь пальм и зарослей баньяна
Ты утром рано
С приветом солнцу шлешь поклон.
Темнеет, хмурясь, небосклон,
В лесу тревожен шум ветвей,
И завывает жгучий суховей,
Но от него спешат укрыться
В твоей листве, как гости, птицы.

В дни засухи по диким тропам
Голодным скопом
Лесные звери тихо бродят
И подаяние твое находят.
Строга, сурова,
Ты, как отшельник, претерпеть готова
Лишения и горести одни,—
Но видел я тебя в другие дни,
Как трепетно в цветенье ты встречала
Весны начало,
Наполнив чашечки цветов вином
Для пчел, гудящих радостно кругом,
И дев лесных, копивших сок цветочный
Для пляски под луной полночной.
В тебе живительный источник сил,
О, как в стволе он тайно накопил
Такой пленительный весенний пыл?
И я шепчу тебе наедине,
Что имя «Мохуа» я дам моей жене.

УСЛАДА ВЗОРА

К благодеянью тайной тягой
Душа ее наполнена, как влагой
Насыщены густые тучи
Для утоленья жажды жгучей.
Ашарха месяца томление под стать
Ее душе, дары стремящейся отдать.
Она — шатер ветвистого тамала,
Гостеприимство, из-под покрывала
Глядящее с порога:
Не приведет ли путника дорога?
Ресницы опустив, она постелет ложе,
Чтоб отдохнул измученный прохожий.
Сама — как водоем прохладный, цветом схожий
С вороньим оком;
В таком пруду глубоком
Лучами поглощенными всегда
Пронизана спокойная вода.
Однако черные бутоны глаз
Бывали затуманены не раз
Слезами, что веселью, как страданью,

Порой сопутствуют, являясь данью
Душевной божеству.
Ее «Усладой Взора» назову.

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

Из одинокого окна
Ей в полдень даль видна
Как на ладони.
Ни облачка на светлом небосклоне.
За полем рисовым — широкая река
Блестит среди густого тростника.
За нею пелена зеленой полумглы,
Где пальм кокосовых высокие стволы,
Деревья хлебные, горбатый джам.
Житье-бытье другой деревни там
Проходит, как бы в отчужденье:
Людей неведомых рожденье,
Их смерть, их праздники, их будни.
На крыше, с книгой, пополудни
Она сидит. Не собранные сзади,
Свободно ей на грудь скользнули пряди.
Душа ее блуждает где-то,
Оплакивая вымысел поэта.
Сказанье о герое
Находит в ней сочувствие живое,
И с тем, кого не видела, в разлуке
Она тоскует. В полнолунье звуки
Унылой песни лодочника к ней
Доносятся сперва сильней,
Затем слабее, словно дальний зов,
С челна, плывущего меж сонных берегов,
И слезы беспричинные из глаз
Струятся в этот час,
И пробуждаются в ней смутные желанья.
Из глубины веков ей слышатся преданья.
О, как, должно быть, сладко в темноте
Писать письмо на пальмовом листе
Пером, обмокнутым в настой печали!
«Мечтательницы» имя мы ей дали.

ИЗВАЯНЬЕ

Нет спору, эта женщина — творенье
Той силы, чье бессмертное прозренье,
Чья вековечная игра
Столь нескончаемо цветиста и пестра,—
Того умельца,
Что насекомых тельца
И крылья бабочек разглядывал веками
И вдруг мудреными украсил письменами.
Но это тело —
Творца отдохновенье, а не дело,
Забава праздности минутной, дань мгновенью,
Когда он был охвачен ленью
И, в одиночестве, вечернею порой
Увлекся облаков причудливой игрой...
Осенних рек излучины; красу
И негу пылкую в гранатовом лесу
В бойшакхе месяце, то юное презренье,
С каким на полдень и его горенье,
Высокомерия полна,
Бросает беглый взор она;
В срабоне месяце, на дне разлива — глянец
Плывущих водорослей, их подводный танец,
А в магхе месяце — дрожащую листву
Смоковниц и росой омытую траву;
Надменность плавную, с какой при первом громе
Павлины расправляют хвост в истоме,—
Все это взял за образец,
Красавице давая жизнь, творец.
Но радужной окраски пузыри
Переливаются — и ничего внутри.
Души никак я не найду:
Все — внешнее, все — на виду.
Рассудок неглубокий, без раздумья,
Без остроумья.
Ей неизвестно чувство ожиданья.
Утраты не приносят ей страданья.
Она подарки с легкостью берет
И так же забывает в свой черед.
Как сгусток радости вселенской,
Она явилась в оболочке женской.

Сара́свати, богиня, наобум,
Бездумно лепеча, в нее вдохнула ум.
Не потому ли дух ее и плоть —
Земли щепоть,
Что вмешана в бессмертное питье?
Я «Изваяньем» назову ее.

ИЗ КНИГИ «ГОЛОС ЛЕСА» («БОНОБАНИ»)
1931

ЛИАНА САПФИРНАЯ

Это месяц-красавец фальгун,— это ног его легкие звоны...
Не звенят ли браслетам в ответ на лиане сапфирной бутоны?
Небу невмочь замыкать уста,
Небо измучила немота,—
Плеснулось оно лазурью, тревогой весны обуяно,
Полнит небесной струей голубые фиалы лиана.

Тенью на дальней скале безмолвье легло голубое,
Ищет, жаждет оно воплотиться в марево зноя,
Канув в безбрежную гладь,
В море свой лик угадать.
Гроздьями нежных цветов ветвей разрешилось молчанье,
Непостижимая тайна в их ровном раскрылась качанье.

Перед свиданием затрепетавшее женщины тело
Сжимало синее сари и речь, задыхаясь, немела,—
Но стали несказанные слова
Беспредельны, как синева.
Небесной радости свет, сквозь голубые туманы,
Затрепетал синевой в бутонах сапфирной лианы.

Это — на голос скитальца ответил путник безвестный,
Лиана познала себя в своей лазури небесной.
Везде, вблизи и вдали,
Зацветают джуй, шефали.
О, сколько сладостных слов у ашшина, срабона, фальгуна!..
Цветов имена мою душу любовью наполнили юной.

Кто золотому чампаку шлет отзвук звонкоголосый?
Кому аромат нагкешора струится в смольные косы?
Во влажных, черных глазах —
Жасмин в дождевых слезах.
Розовый пыл олеандра в бряцанье браслетов стозвонных,
В кадамбе с красной пыльцой — отраженье томлений бессонных.

Сапфирная, ты низошла посланницей дальнего мира.
Твой голос звонок и чист, как чаша неба — сапфира,
В потоке непостоянства,
Вне времени, вне пространства,
Ты — голос бога, весна, его голубая причуда,—
Скажи, незнакомка-весна, зачем ты явилась, откуда?

Зачем и откуда? — вопросом встречаю твое новоселье,
Тебе с беспричинной любовью плету из цветов ожерелье.
Воздушные волны струят
Весенний цветов аромат,
И тени манговых рощ дрожат от пчелиного гуда.
Пестрые крылья раскрыл мотылек... Зачем он, откуда?

Как знать — зачем и откуда? Цветы, деревья и травы...
Пред гордой их красотой и восторги души величавы!
Полуденный ветер весенний
Завел в древесные сени
Павлина, и я, изумленный, смотрю на кружки изумруда,
И думаю, и говорю: кто ты? Зачем и откуда?

Робок наш ум и окован, привычки — что облако пыли.
Чужды чудес изумленья, глаза в безразличье застыли.
Что видит разум? — Застой.
Мир дряхлеет пустой.
Но ты обновленье души, весна, ты явила нам чудо.
Любуюсь тобой и тихонько шепчу — зачем и откуда?

Где я поныне живу? Я — гость, я в далеком пределе,—
Твоя голубая краса звучит мне в сельской свирели.
Пусть завершается год,
И в темной одежде идет
Чойтро... Скоро ты наземь уронишь листву,— но покуда
Чудной цветешь красотой. Зачем ты пришла и откуда?

ИЗ КНИГИ «ЗАВЕРШЕНИЕ» («ПОРИШЕШ»)

1932

УЗНИКАМ БОКШИ

Перед гордым светом солнца полон мрак ночной стыда.
Птица в клетке, но для песни нет темницы никогда.
Из отверстья водомета
Устремляясь для полета,
Свет зари благословляет полоненная вода.

Дурги мощь в себе почуяв, из земли, в заветный срок
С жаркой вестью о свободе пробивается росток.
В людях — та же мощь богини:
Пусть умрете вы,— отныне
Вы бессмертия людского созидаете чертог.

Вы сказали: «Влагу жизни мы испили, став сильней:
Мы бессмертье обретаем, жизнью жертвуя своей.
Кто отвоевал у горя
Свет и счастье, с мраком споря,
Тот в тюрьме познал свободу, внемля музыке цепей!»

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Прошедшее встает в моей душе опять,—
Мне двадцать пять:
Давно то было — тридцать лет назад...
Я вижу вновь тот самый дом и сад.
Сюда приехал я закатною порою
На краткий срок. Я помню: за горою

Пылало солнце, полнос огня,
Над соснами лицо свое склоня.
На скаты гор ложились тени сосен,
А в облаках вершин темнела просинь.
В день изо дня
Знакомый шум шагов приветствовал меня:
То почтальон являлся длинноногий
На гравием усыпанной дороге:
Он точен был всегда... Как быстро пролетели
Вслед за неделями недели!

Как в давние года, пылает солнце снова
Над рощею сосновой,
И тени вечера звенят, как в те года,
У скал, где горная волнуется вода,
И снова за звездой звезда,
Как в те года,
Молитвы шепчет горному отрогу.
И только на мою дорогу,
Теперь, когда я жизнью утомлен,
Не вышел почтальон.
Но все же почему поверил я надежде?
Сегодня, как и прежде,
На почту, за три мили, без нужды
Пошел я, обогнув сады.
Колеблясь, полчаса я пробродил вокруг.
К почтовым служащим, решившись вдруг,
Я подошел, спросил: «Есть почта мне?» В ответ
Услышал: «Нет».
Задумавшись, в тоске неясной и немой
Я повернул домой.
Когда же к своему приблизился я дому,
Печальному, пустому,
И трепетала в сумраке листва,
Какой-то женщины услышал я слова,—
Сказала спутнику (а в голосе — тревога):
«Будь завтра непременно, ради бога».
Вечерний сумрак скрыл обоих скоро,
Оставив мне обрывок разговора.
Я боль в своей душе почувствовал опять,
Как в те года, когда мне было двадцать пять,
Когда, как песня звезд, мятежно и влюбленно
Шаги звенели почтальона.

ОЖИДАНИЕ

Словно страж у дверей твоего сновиденья,
Дожидался я солнца, считая мгновенья.
Я сидел и смотрел на тебя в тишине,
И сияла звезда предрассветная мне.
Так саньяси ночною порой неустанно
Смотрит с берега в темный простор океана.
Ветер стих. Просыпается солнце вдали,
Чтобы снова лучами коснуться земли;
И отшельник, исполненный благоговенья,
Жаждет этого первого прикосновенья.

Распускается, первых дождавшись лучей,
Нежным трепетом губ, теплым блеском очей,
Словно чампак, улыбка твоя золотая.
Я сорвать ее жажду, томясь и мечтая.

УДИВЛЕНИЕ

Я проснулся. За окном мрак ночной исчез.
Мир раскрылся, как цветок. Чудо из чудес.
Поражен я! Сколько звезд и материков
Не оставило следа. Сколько лет, веков
Пролетело. Где герой, наводивший страх?
Только тень его живет в сказках и стихах,
Сам истлел давным-давно... Не сочтешь племен,
Возводивших на костях стройный лес колонн.
Возникали города. Где они? Зола.
В смерче гибельном времен мне на лоб легла
Метка — солнца ранний луч, светлый знак небес.
Я проснулся. Вот оно — чудо из чудес.

Пред собранием светил встал я в полный рост,
Гималаи предо мной, семь небесных звезд —
Семь великих Мудрецов. Вот и океан,
Там, где Рудра — грозный бог, от веселья пьян,
Пляшет шумно в брызгах волн... Вот и древний ствол.
Я столетий письмена на коре прочел.
Столько рухнуло при нем тронов, что не счесть.
Как-то этот исполин разрешил мне сесть
Под своей густой листвой... И безмолвный звон
Донесло к моим ушам колесо времен.

ВОСТОК

О, пробудись, Восток седой!
Сокрылся ты во тьме густой
Извечной, бесконечной ночи.
Но сон твой с каждым днем короче,
Исчезнет он с рассветною звездой.
О, пробудись, Восток седой!

Поет сверчок, звенит цикада,—
Нам песен их ночных не надо!
Лишь свету утра сердце радо,
Сверканью, шуму жизни молодой.
О, пробудись, Восток седой!

Я верю: ты воспряпешь снова
От одного живого слова!
Мир, засверкав светло и ново,
Оденется одеждой золотой.
О, пробудись, Восток седой!

Чтоб солнце дней твоих сияло,
Сбрось мертвой спячки покрывало
И гордо жить начни сначала,
Отвергнув неподвижность и застой.
О, пробудись, Восток седой!

Ты слышишь? Век взывает новый:
«Открой мне дверь, сорви оковы!
Пусть, озарив твой лик суровый,
Взметнется пламя вольности святой!»
О, пробудись, Восток седой!

Все громче новизны призывы,
Как будто рог не молкнет Шивы.
Прими же в руки дар счастливый —
Цветы, что блещут юной чистотой...
О, пробудись, Восток седой!

ИЗ КНИГИ «САД ПЕСЕН» («ГИТОБИТАН»)
1932

ИЗ ЦИКЛА «МОЛЕНИЕ»

* * *

Мелодию дай, приобщи к песнопенью, учитель.
Мелодия надобна мне! Я — смиренный проситель.
Небесная Ганга, восход золотой усвоили этой мелодии строй
И петь научились, подслушав тебя, вдохновитель.
Отправлюсь я, душу наполнив мелодией вечной,
Туда, где царит разногласье и шум бесконечный.
В людской крутоверти, среди суеты, разлада, сумятицы
и тесноты,
Ты сам испытай мою ви́ну, великий ценитель!

* * *

Я коврик мелодии здесь разостлал:
О путник, тебе — постоянный привал!
На зов пробудившейся птицы плывешь на пароме
денницы
Туда, где волна омывает причал.
Побудь на заре у дверей при утренней песне моей!
Сегодня с рассвета надвинулись тучи на лес,
Слезами наполнив глаза голубые небес.
У пальмовой рощи, в тумане, стоишь ты в другом одеянье,
О, не удаляйся украдкой! Хоть сколько-нибудь
В сырой полумгле моей пасмурной песни побудь!

* * *

Я бесконечен. Своим ты играешь созданьем:
Опустошаешь — и вновь наполняешь дыханьем.
Сколько со мной, незатейливой флейтой своей,
Ты исходил берегов, и холмов, и полей;
Сколько напевов сыграл ты на ней!
С кем поделюсь ликованьем?

Сладостно сердцу от прикосновенья святого.
Плещет восторг через край, и рождается слово.
То, что вмещается в горсточке малой моей,—
Дар нескончаемый, длящийся множество дней.
Сколько, о, сколько веков из ладони твоей
Брать буду снова и снова?

* * *

Подобно потокам сарабóна, пусть льется и нощно и денно
На грудь и лицо мне мелодия песни твоей вдохновенной.
Пусть утром в глаза мне струится со светом востока,
А ночью пускай мне вливается в душу глубоко.
На счастье, на горести жизни, на все, что минутно и тленно,
Подобно потокам сарабона, пусть льется и нощно и денно.
Пусть ветви, где цвет не цветет и не вяжется завязь,
От ветра с дождем зашумят, пробудясь и расправясь.
На все, что во мне одряхлело, угасло для жизни,
Потоком своей животворной мелодии брызни!
На жажду, на голод, на все, что мгновенно и бренно,
Подобно потокам сарабона, пусть льется и нощно и денно.

* * *

Богатству и прислужников гурьбе
Не рад я, всей душой стремясь к тебе.
Ты знаешь подноготную мою:
Когда я счастлив или слезы лью —
Я забываю о своей судьбе,
Создатель, всей душой стремясь к тебе.

Доколе мне на голове таскать
Гордыни бремя, себялюбья кладь?
Порвать богатства путы на себе
Желал бы я, душой стремясь к тебе.

Возьми богатство,— разреши от уз!
Сними с души моей тяжелый груз.
Когда ты снизойдешь к моей мольбе,
Все обрету в тебе — стремясь к тебе.

* * *

Высится, грохочет колесница.
В небе знамя реет и лоснится.
Вот Он! За канат хватайтесь дружно.
И тяните, что есть сил, натужно.
Полно прохлаждаться по углам!
Место вам — в толпе тысячелицей.
Отрешись от всех забот вчерашних,
Маловажных дел и дрязг домашних.
Эй, тяни душой и телом бренным,
Бытием не дорожа презренным,
Через города, леса, холмы,
Днем — и от заката до денницы.
Громыхают, лязгают колеса,
Будят гул в груди разноголосый.
Кровь твоя бушует крутовертью.
Это — песни торжество над смертью.
Вереница помыслов твоих
В день грядущий разве не стремится?

* * *

По ночам под звуки флейты бродят звездные стада,
Ты коров своих, незримый, в небесах пасешь всегда.
Светоносные коровы озаряют сад плодовый,
Меж цветами и плодами разбредаясь кто куда.
На рассвете убегают, лишь клубится пыль вдогон.
Ты их музыкой вечерней возвращаешь в свой загон.
Разбрестись я дал желаньям, и мечтам, и упованьям.
О пастух, придет мой вечер — соберешь ли их тогда?

ИЗ ЦИКЛА «РОДИНА»

* * *

О Мать-Бенгалия! Край золотой!
Твой небосвод в душе поет свой гимн святой.
Меня пьянит весной рощ манговых цветенье.
Я твой, навеки твой!
Осенних нив убор блистает красотой.

Чарует взор сиянье зорь, узор теней.
Цветет покров твоих лугов, твоих полей.
О Мать, из уст твоих нектаром льется пенье.
Я твой, навеки твой!
Когда печальна ты — и я скорблю с тобой.

Я рос вдали от гроз, и в играх дни текли.
В моей крови — настой твоей благой земли.
Светильник ты зажжешь, когда сгустятся тени.
Я твой, навеки твой!
Я вновь бегу к тебе, в свой дом родной!

Среди холмов — стада коров.
Живет народ у тихих вод, в тени лесов.
Не знают лени мирные селенья.
Я твой, навеки твой!
Мне друг — любой пастух, и пахарь — брат родной.

Я пред тобой опять с мольбой простерт, о Мать.
От ног твоих священный прах дозволь мне взять!
К твоим стопам дары сложу в сыновнем рвенье.
Я твой, навеки твой!
Я шею не стяну заморскою петлей!

* * *

Пусть Бенгалии земля, воды, воздух и поля
Благодатны будут, благодатны, боже!
Пусть Бенгалии дома, рынки, нивы, закрома
Изобильны будут, изобильны, боже!

Пусть бенгальцев упованья, мысли, речи и желанья
Справедливы будут, справедливы, боже!
Пусть бенгальцев всех сердца бьются в лад — и до конца
В единенье будут, в единенье, боже!

ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБОВЬ»

* * *

Будешь, нет ли ты обо мне вспоминать,— даже мысли такой не таю.
Но у двери твоей опять и опять почему-то песню пою.
Дни бегут, и, пока суждено идти, подхожу, только встречу тебя на пути,
Чтоб взглянуть как-нибудь на согретую счастьем улыбку твою.
И поэтому я пою.

Все цветы весны за весною вслед осыпаются пестрым дождем.
Станут прахом летучим — и вот их нет, не узнали они ни о чем.
День за днем пройдет, догорит заход, ви́на песню свою прервет...
Но, пока живу: все я жду — наяву ты мою посетишь ладью.

И поэтому я пою.

* * *

Возьми, возьми же меня и сделай своею ви́ной;
Да подчинятся руке умелой се́рдца глубины!
Я — в нежных лотосах — ладонях, вот — струны, тронь их,
Чтоб ви́на сердца в твой слух проникла до сердцевины,
Порой веселью, порою горю послушно вторя;
Чтоб смолкла тотчас, едва ты бросишь ее безвинно.
Никто не знает, какою вестью воскреснет песня,
Когда, ликуя, вольется в небо, в поток единый.

* * *

Из тьмы я пришел, где шумят дожди. Ты сейчас одна взаперти.
Под сводами храма твоего путника приюти!
С дальних троп, из лесных глубин принес я тебе жасмин,
Дерзко мечтая: захочешь его в волосы ты вплести.

Медленно побреду назад в сумрак, полный звона цикад,
Ни слова не произнесу, только флейту к губам поднесу,
Песню мою — мой прощальный дар — посылая тебе с пути.

* * *

В ви́не твоей были песни, в корзине моей — цветы.
Тот же качал нас ветер, сорвавшийся с высоты.
Никто не знал, что за волны мутят небосвод безмолвный.
Пристал челнок твоих песен к причалу моей мечты.
В тот памятный день казалось: чтоб в лад твоим
песням звенеть,
В душе моей будут вечно цветы распускаться впредь.
Но песнь сорвала́сь с причала, и к ночи цветов не стало,—
Ошибся кто-то в фальгуне средь радостной суеты.

ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЕНА ГОДА»

* * *

Под обаяньем лунных чар мечты кружат в просторе,
Летят, летят, летят ко мне, как птицы из-за моря,
В напевах света и теней уносят в даль минувших дней,
«Приди, приди, приди»,— зовут, напевам вторя.
Зовут к виденьям давних лет, к ночам весны моей,
И друга ищут там, где свет мерцает средь теней,
Где боль, не узнанная мной, печаль моей поры иной,
Сквозь слезы шепчет: «Горе, горе, горе!»

* * *

Приди сюда, вода ключа, приди сюда, плеща, журча.
Из камня вырвись навсегда, приди, вода, журча, плеща.
В могуществе сквозной волны, явись из темной глубины,
Отрадная, приди, журча, плеща.
Тебя зовет все горячей блистанье солнечных лучей.
Ты с ними заведи игру, смиряй жару, журчи звончей.
Их жгучий золотой напев встречай, волною зашумев.
Прохладная, приди, журча, плеща.
И свищет ветер и поет, тебя он ищет и зовет:

«Приди, приди!» И ты приди, ты с ветром игры заведи,—
В мридáнг стучать он будет, мчась, а ты в ладоши бить, смеясь.
Зыбучая, приди, журча, плеща.
Злой дух пустыни здесь витал, злой дух тебя заколдовал,
Запрятал в каменный подвал, в немую тьму замуровал.
Скорей темницу сокруши, на свет явиться поспеши.
Могучая, приди, журча, плеща.

* * *

Из тучи — грохот барабана, могучий рокот непрестанный...
Волна глухого гула мне сердце всколыхнула,
Его биенье в громе потонуло.
Таилась боль в душе, как в бездне,— чем горестней,
тем бессловесней,
Но ветер влажный пролетел, и лес протяжно зашумел,
И скорбь моя вдруг зазвучала песней.

* * *

Над рощей в огненном цвету проходят тучи синей тенью.
Как в танце, гнутся на ветру затрепетавшие растенья.
В лесную чащу уходя, дрожит блистание дождя.
Душа, разлукою томясь, куда-то рвется в нетерпенье,—
И журавли над океаном куда-то мчатся караваном,—
Их крылья борются с туманом, вздымая волны ураганом,
И кто-то, сквозь трезвон цикад, мне в сердце входит
наугад,
Ступая по тоске моей украдкою, как сновиденье.

* * *

Во двор срабона входят тучи, стремительно темнеет высь,
Прими, душа, их путь летучий, в неведомое устремись,
Лети, лети в простор бескрайний, стань соучастницею тайны,
С земным теплом, родным углом расстаться не страшись,
Пусть в сердце боль твоя пылает холодной молнии огнем,
Молись, душа, всеразрушенью, заклятьями рождая гром.
К тайнице тайн причастна будь и, с грозами свершая путь,
В рыданьях ночи светопреставленья — закончись, завершись.

* * *

О туча, в тайнице укромной несущая мглу и дожди,—
Всей нежностью — темной, огромной — ты сердце мое услади!
Вершину горы освежая, тенями сады окружая,
Во мглу небосвод погружая, громами затишье буди.
О туча, промчись над рекой, что плещется жалобным плачем,
Там роща томится тоской, объята цветеньем горячим.
Изжаждавшихся утоляя, зарницами путь осветляя,
Приди, о приди, умоляю, в горящую душу приди!

* * *

Рухнул грохот огромного дóмору, ночь смятеньем объята.
Инжирная роща под ветром дрожит на краю небоската.
Лепет речной, трепет лесной, шелест ручья в темноте ночной
Сливаются в гул отдаленный, в напев саньяси-срабона.
Желто-красным цветением рощ в упоении дышит мгновенный ветер.
Блещет молний изломанный луч,— некий демон, свиреп и могуч,
Бешено пляшет, ломится спьяну в капище туч.

* * *

Что-то от легких касаний, что-то от смутных слов,—
Так возникают напевы,— отклик на дальний зов.
Чáмпак средь чащи весенней, полáш в пыланье цветенья —
Подскажут мне звуки и краски,— путь вдохновенья таков.
Всплеском мгновенным возникнет что-то,
Виденья в душе — без числа, без счета,
А что-то ушло, отзвенев,— не уловишь напев.
Так сменяет минуту минута — чеканный звон бубенцов.

ИЗ КНИГИ «СНОВА» («ПУНОШЧО»)
1932

КОПАИ

Лениво ум мой по теченью Падмы
Блуждает.
На песчаном берегу,
Далеком, обнаженном, равнодушном
К живущему и страждущему миру,
Деревья одинокие собрались
Вкруг хижины разрушенной... Бамбук...
Да манговое дерево... Да старый
Баньян, такой же древний, как она.
За хижиною пруд. Горчицы поле.
Индиговой фактории остатки,
Где день и ночь шумят деревья джхау;
На этом берегу,
Таком же хмуром,
Раджбоншей поселение.
Их козы
Пасутся тут же... А с холма взирают
Базара гофрированные крыши.
И кажется, объят поселок страхом
От леденящей близости реки.

Она течет из древних текстов прямо.
И Ганги кровь священную несет
По венам гордо.
От домов поселка
На расстоянье держится. Как будто
Она не видит их. Не узнает!
О, как ее манеры величавы.

Они иль с одинокою вершиной,
Иль с одиноким зовом моря схожи.
Так схожи, что невольно вспомнил я,
Как здесь однажды в лодке задремал
В ночном уединенье
Под созвездьем
Медведицы Большой.
Проснулся же я с утренней звездою...
И эти волны
Бежали равнодушно мимо края
Моих ночей и дней. Точь-в-точь как путник,
Идущий мимо радости и горя,
Что в придорожных домиках живут,
Так близко и далеко от него.

И вот, прощаясь с юностью, вернулся
Я вновь сюда,
На старую равнину,

Тут в зелени укрылась деревушка
Санталов. Тут бежит со мною рядом
Речушка Копаи,
Соседка с детских лет.
Ей не хватает древности и славы.
Зато она свое простое имя
Смешала с громкой болтовнею женщин.
И здесь, между водой и берегами,
Нет разногласия.
Любовь к деревне
От берега до берега слышна.
Здесь конопля над самою волною.
Кивают головой побеги риса.
А там, где с речкой
Встретилась дорога,
Вода великодушно уступает
Прохожим путь, чтоб вброд переходили
Прозрачный и болтливый ручеек.
Над полем вознеслась высоко пальма.
На берегу теснятся манго, джам.

Язык реки — язык простого дома,
А не ученых речь.
Волну и берег

Объединяет общий ритм. И речка
Богатствам не завидует земным.
О, как она изящна, извиваясь
Среди теней и света!
Как в ладоши
Умеет хлопать! Как гибка, упруга
Бывает в дождь! Она не уступает
Танцующим девчонкам деревенским,
Что выпили немножечко вина.
Но и тогда речушка не выходит
Из берегов, чтоб затопить окрестность,
А лишь стремительным движеньем юбки
Бьет в берег и со смехом вдаль бежит.
По осени становится прозрачной
Ее вода и отмели виднее.
Но бедность не стыдит ее.
В богатстве
Она была не наглой,
И унизить
Теперь ее бессильна нищета.
И потому она всегда прекрасна,
Как девушка — и радостная в танце
И грустная, с усталостью во взоре,
С усталою улыбкой на устах.
Ритм Копаи похож необычайно
На ритм моих стихов.
Объединяет
И землю он и воду. Наполняет
Он музыкой часы дневных работ.
В незримом ритме том сантальский мальчик
Бредет лениво с луком и стрелою.
И в этом ритме движется телега,
Нагруженная сеном. И горшечник
На ярмарку идет, неся посуду
В корзинах двух, привязанных к шесту.
И за хозяйской тенью собачонка
Бежит в том ритме.
В нем учитель школьный,
Не заработавший трех рупий в месяц,
Идет устало,
Свой облезлый, старый,
Дырявый зонт раскрыв над головой.

КХОАИ

На западе сад, лес, поле
Слились в одну фиолетовую полоску.
Посередине — скрытое в зарослях
Манго, джама, пальм и тамаринда
Сантальское селение.
Вьется длинная дорога без тени,
Словно цветная кайма по краю зеленого сари.
Неожиданно поднялись одиночные,
Отбившиеся от рощи пальмы.
Они словно вехи на пути не знающей, куда идти,
Неопределенности.
Без предела — зеленая накидка земли,
На северной ее стороне — надрез.
Почва разрушилась,
Появилась
Застывшая зыбь красного гравия.
Кое-где тронутая ржавчиной земля,
Похожая на голову Махишасуры.
Наша планета Земля
В одном из своих уголков
Ударами дождя
Построила безымянные игрушечные горы,
У подножья которых течет
Безымянная игрушечная река.
Осенью на западном крае неба
В скоротечном великолепии заката
Сталкиваются, схватываются, борются различные
цвета.
Над серыми игрушечными
Горами и рекою
Я увидел великолепие заката,
Которое так редко бывает в конце дня
На берегу этого моря из красного гравия,
Над голыми холмами цвета
Запекшейся крови,
Что похожи на гневные брови Рудры,
Несущего гибель всеобщую.

С западного края неба
Мчались яростные бури
С развевающимися стягами цвета охры,

Словно отряд маратхской конницы.
Шаловые и тиковые деревья
Тряслись и раскачивались,
Деревья джхау сгибались,
Бамбуковые заросли стенали,
Банановые сады были подвергнуты опустошенью.
При виде гравия, серого в дни ненастья,
Под рыдающим небом
Мне показалось:
На красном море поднялся шторм,
Высоко взлетают и падают брызги.

Я приходил сюда в детстве,—
Здесь, в пещерах и в ущельях,
У звенящего родника, я выдумывал тайны,
Я громоздил камни друг на друга,
Я играл среди безлюдного полдня,
Один.

С тех пор прошло много дней.
Подобно роднику над камнем,
Надо мной протекло много лет.
Я мечтал возвести
Под этим небом, там, где оканчивается
разрушенная земля,
Символ деянья,
Подобно тому как в детстве
Строил из камней крепость.
Вот шаловый лес, вот одинокая пальма.
А вот единенье алой земли
С зеленым полем.
Где те, с кем я смотрел когда-то на это,
С кем мы сливались взорами и душами
Под песни дождей и под мои песни о дожде?
Кто-то еще жив, кто-то уже ушел.

Когда окончатся мои труды и дни,
Полночная звезда позовет меня
С вон того края неба.
А потом?
Потом останется с северного края
Эта душераздирающая краснота земли,

А с южного края — пашня.
На поле у восточного края
Будут пастись коровы.
По дороге, что идет через красную землю,
Крестьяне будут ходить на рынок за покупками,
А на западном краю неба
Останется нарисованной одна
Фиолетовая полоска.

ФЛЕЙТА

Узкий переулок.
Дом двухэтажный.
Внизу, за решеткой — окно,
Двери — прямо на улицу,
Стены в мутных подтеках,
Обветшалые и облупленные.
Над дверью пришпилен ярлык
С ликом Ганеши,
Покровителя всех начинаний.
В этой комнате я живу и плачу за нее.
Здесь же ящерица обитает,
От меня отличаясь лишь тем,
Что всегда обеспечена пищей.

Я — младший клерк в конторе.
Двадцать пять рупий — жалованье.
Столуюсь я в доме Дотто —
Даю уроки их сыну.
А вечера коротаю
На вокзале — и мне
Не надо платить за свет.
Шипенье паровика,
Рев гудка,
Толкотня пассажиров,
Клики кули...
Но бьют часы —
Десять тридцать.
Домой...
Тьма. Тишина. Одиночество.

На берегу Дхалешвари, в деревне, тетка живет,
У ее деверя — дочка.
Была назначена свадьба,
Благоприятный час
Был избран — но я сбежал
Именно в этот час,
Спас девушку — и себя...
Она не вошла в мой дом,
Но в душу мою вошла.
Даккское сари на ней,
На лбу, у пробора — киноварь...

Дожди, дожди... Надо
Тратиться на трамвай.
А тут еще вычеты, вычеты...
В переулке гниют
Манго объедки, рыбьи жабры,
Дохлая кошка и прочая дрянь.
Дырявый мой зонтик похож
На жалованье, изрешеченное
Вычетами.
Одежда моя конторская —
Словно душа вишнуита,
Открыта для всех впечатлений.
Темная тень ненастья,
Как зверь в западню, попадает
В мою угрюмую комнату.
Кажется, небытием
По рукам и ногам я скован.

Канто-бабу живет на углу.
Тщательная прическа,
Выразительные глаза.
Он прихотлив и нежен.
Обожает игру на флейте.
И в мерзости переулка нашего
Иногда — средь ночи поникшей,
Иногда — во мгле предрассветной
Возникают внезапные звуки...
А то — на закате, вечером,
Небеса обнимая,
Вековая печаль разлуки
Вдруг запоет протяжно.

И начинает казаться
Нелепостью, бредом пьяного
Переулок этот зловонный.
И кажется — разницы нет
Меж мною, клерком Хориподом,
И падишахом Акбаром.
И в струях грустящей флейты
Влекутся к единому раю
Мой зонтик — и зонт царя...

Но это — мираж.
А там,
Где эта песня — действительность,
Там,
В бесконечных мгновениях вечера,
Тамал расстилает тени
На берегу Дхалешвари.
И во дворе — она.
Даккское сари на ней.
На лбу, у пробора — киноварь.

ЧИСТЫЙ

Рамананда сан высокий носит,
Молится, весь день постится строго,
Вечером тхакуру носит яства,
И тогда лишь пост его закончен,
И в душе его — тхакура милость.

Был когда-то в храме пышный праздник.
Прибыл сам раджа с своею рани,
Пандиты пришли из стран далеких,
Разных сект служители явились,
Разные их украшали знаки.
Вечером, закончив омовенье,
Рамананда дар поднес тхакуру.
Но не сходит божество к святому,
И в тот день он не вкушает пищи.

Так два вечера случалось в храме,
И совсем иссохло сердце гуру.
И сказал он, лбом земли коснувшись:

«Чем, тхакур, перед тобой я грешен?»
Тот сказал: «В раю мой дом единый
Или в тех, пред кем мой храм закрыли?
Вот на ком мое благословенье.
С той водой, которой я коснулся,—
В жилах их течет вода святая.
Униженье их меня задело,
Все, что ты принес сюда,— нечисто».

«Но ведь нужно сохранять обычай»,—
Поглядел на бога Рамананда.
Грозно очи божества сверкнули,
И сказал он: «В мир, что мною создан,
Во дворе, где все на свете — гости,
Хочешь ты теперь забор поставить
И мои владенья ограничить,—
Ну и дерзок!»
И воскликнул гуру: «Завтра утром
Стану я таким же, как другие».

И уже давно настала полночь,
Звезды в небе млели в созерцанье,
Вдруг проснулся гуру и услышал:
«Час настал, вставай, исполни клятву».
Приложив ладонь к ладони, гуру
Отвечал: «Еще ведь ночь повсюду,
Даль темна, в безмолвье дремлют птицы.
Я хочу еще дождаться утра».
Бог сказал: «За ночью ль идет утро?
Как душа проснулась и услышал
Слово божье ты — тогда и утро.
Поскорее свой обет исполни».

Рамананда вышел на дорогу,
В небесах над ним сияла Дхрува.
Город он прошел, прошел деревню,
У реки посередине поля
Тело мертвое чандал сжигает.
И чандала обнял Рамананда.
Тот испуганно сказал: «Не надо.
Господин, мое занятье низко,
Ты меня преступником не делай».
Гуру отвечал: «Я мертв душою

И поэтому тебя не видел,
И поэтому лишь ты мне нужен,
А иначе мертвых не хоронят».

И отправился опять в дорогу.
Щебетали утренние птицы.
В блеске утреннем звезда исчезла.
Гуру видит: мусульманин сидя
Ткани ткет и песнь поет чуть слышно.
Рамананда рядом опустился
И его за плечи нежно обнял.
Тот ему промолвил, потрясенный:
«Господин, я — веры мусульманской,
Я же ткач, мое занятье низко».
Гуру отвечал: «Тебя не знал я,
И душа моя была нагая,
И была она грязна от пыли.
Ты подай мне чистую одежду,
Я оденусь, и уйдет позор мой».

Тут ученики догнали гуру
И сказали: «Что вы натворили?»
Он в ответ им: «Отыскал я бога
В месте, где он мною был потерян».
На небо уже всходило солнце
И лицо святого озаряло.

КРАСИЛЬЩИЦА

Шóнкорлал — пандит, славный ученостью.
Остер его ум,
Словно клюв ястребиный.
Молнией
В споре разят его доводы,
В пух и прах разбивая противников...
Однажды
Ньяяк явился в царский дворец
Из южных сторон.
Диспут назначен: ждет победителя грамота.
Вызов принял Шонкур — и вдруг замечает:
Грязен тюрбан.
Надо идти к красильщику.

Красильщик Джошим
Живет у края цветочного поля, за кустами хны.
Дочь у него Амина, семнадцати лет.
Песни поет весь день,
Краски разводит.
Косы красной нитью украшены.
Накидка — цвета корицы.
Сари — небесного цвета.
Красит ткани отец.
Раствор Амина готовит.
Подошел к красильщику Шонкор — и говорит:
«Перекрась мой тюрбан.
Я приглашен во дворец».

Амина присела на корточки.
Тюрбан стирает в канаве, под смоковницей.
В воде играют лучи весны.
А поодаль
Голубь воркует — в манговой роще.
Наконец окончена стирка.
Разостлав тюрбан,
Надпись увидела красильщица
В одном уголке:
«Твои стопы — на челе моем, о Вседержитель».
Долго думала девушка.
А голубь все ворковал на манговой ветке.
Сбегала домой Амина.
Цветную нить принесла она.
И вышила еще строку:
«Потому и нет тебя в сердце моем,
о Вседержитель».

Минули дни.
Снова приходит Шонкор.
Спрашивает:
«Кто вышил эти слова на тюрбане?»
Испуганный,
В поклоне склонился Джошим:
«О господин,
Прости мою дочь.
Разумом она еще малый ребенок.
Иди ко двору.
Может быть, надписи ее не поймут».

«Красильщица,— молвил Шонкор,—
По тропе, что ты вышила,
Стопы Всевышнего
В сердце сошли с моего чела,
Обвитого витками гордыни;
Потерял я путь во дворец
Отныне».

ЗОЛОТО ЛЮБВИ

Робидаш — метельщик, пыль метущий,
Одинок и на дороге шумной,
Оттого что все его обходят,
Чтоб не осквернуться.

Омовенье кончил Рамананда,
В храм он шествует дорогой этой,
И метельщик, ставши на колени,
Лбом своим коснулся жаркой пыли.
«Друг, кто ты?» — приветно молвил гуру.
И в ответ он слышит: «Прах я жалкий,
Ты же, гуру, облако на небе.
И поток любви твоей, пролившись,
Заставляет петь пыльцу немую
В лепестках цветочных».
Обнимает гуру Робидаша
И ему любовь свою дарует;
И в душе метельщика внезапно,
Словно в роще, веет ветер песни.

Властвовала Джхали над Читором.
Царственного слуха песнь коснулась —
Сразу все иное ей постыло.
При решенье дел ее домашних
Стала эта рани часто плакать.
И куда ее девалась гордость?
Вот как у метельщика простого
Рани научилась вере в Вишну.

Но дворцовый жрец ей строго молвил:
«Как тебе не стыдно, махарани!

Робидаш рожден в нечистой касте,
Прах метет он по дорогам пыльным,
Ты ж ему, как гуру, поклонилась.
Никнет голова моя седая
Здесь, в твоем столь нечестивом царстве».

«О святой отец! — сказала рани.—
Тысячи узлов обыкновенья
День и ночь ты только вяжешь крепко,—
А как золото любви возникло,
Ты его и не заметил вовсе.
Пусть в пыли дорожной мой учитель —
Подобрал он золото во прахе,
Чистою любовью он гордится.
Ты суров, жесток и тверд как камень.
Мне же надо золота живого,
Пыли дар я радостно приемлю».

ЗАВЕРШЕНИЕ ОМОВЕНИЯ

Недвижи́м был гуру Рамананда
В водах Ганги, обратясь к востоку.
Вот волны коснулся луч волшебный,
Ветер утра заплескал в потоке.
Гуру Рамананда прямо смотрит
На всходящее, как роза, солнце.
Про себя он говорит: «О боже,
Ты в душе моей не проявился!
Подыми свою завесу, боже!»

Солнце поднялось уже над рощей,
Забелел на быстрых лодках парус,
И по небу ярко-золотому
Цапли полетели над болотом.
Омовенье гуру не кончалось.
Ученик спросил: «Зачем так долго?
Час богослужения проходит».
Рамананда юноше ответил:
«Не настало очищенье, сын мой.
Воды Ганги — далеко от сердца».
И подумал ученик: «Что это?»

Луг горчичный залит ярким солнцем.
Свой товар цветочница проносит,
И молочница идет с кувшином.
Душу гуру что-то осенило;
И тотчас же вышел из воды он
И направился сквозь рощу джхау
И сквозь щебетанье шумных птиц.
Ученик спросил: «Куда идешь ты?
Там ведь нет жилища благородных».
«Омовенье я иду закончить».

За песчаной отмелью селенье.
В улочку селенья входит гуру.
Тень куста от листьев тамаринда,
А по веткам обезьяны скачут.
Там жилье сапожника Бхаджона.
Запах кожи издалека слышен.
И кружит по небу злобный коршун.
Кость грызет собака у дороги.
Молвил ученик: «Что это, боже?»
И, нахмурясь, за селом остался.

И сапожник поклонился гуру,
Осквернить боясь его касаньем.
Гуру поднял ласково Бхаджона
И к груди прижал его сердечно.
Тут Бхаджон смущенно всполошился:
«Что вы совершили, повелитель?
Вашей святости коснулась скверна».
Но ему ответил Рамананда:
«Шел я к Ганге, обойдя селенье,
Потому-то с Тем, кто очищает,
Мне сегодня не было слиянья.
А теперь в телах обоих наших
Очищающий поток пролился.
Днем не мог я поклониться богу
И сказал: «Во мне — твое сиянье».
Почему же то, что не случилось,
Вдруг произошло теперь так явно
У обоих нас в одно мгновенье?
В храм ходить уже не нужно больше».

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

С тех пор, как в чашу смерти Иисус,
Незваных ради, привлеченных шумом,
Бессмертье положил своей души,
Уж миновало много сотен лет.
Сегодня он спустился ненадолго
Из вечного жилища в бренный мир
И увидал порок, что ранил прежде:
Надменный дротик и кинжал лукавый,
Свирепая изогнутая сабля.
Сегодня быстро лезвия их точат
Об камень, прочь отбрасывая искры,
На фабриках огромных, полных дыма.

И самая ужасная стрела
В руках убийц недавно засверкала,
И жрец на ней свое поставил имя —
Ногтями на железе нацарапал.
Тогда Христос прижал к груди ладони,
Он понял: нет конца мгновеньям смерти,
Кует наука много новых копий,
Они ему вонзаются в суставы,
И люди, что тогда его убили,
Безмолвно притаясь во мраке храма,
Сегодня вновь во множестве родились.
С амвона слышен голос их молитвы,
И так они бойцов-убийц сзывают,
Крича им: «Убивайте! Убивайте!»
Сын человеческий воскликнул в небо:
«О боже правый! Бог людей, скажи мне,
Почто, почто оставил ты меня?»

ПАЛОМНИЧЕСТВО

1

Как долго длится ночь?
Ответа нет.
Во мгле веков слепое время кружит.
Неведом путь, дорога неизвестна.
И у подножья гор такая тьма,

Словно в глазницах мертвого ракшаса,
И груды облаков закрыли небо,
И чернота в пещерах и лощинах,
Как будто ночь разорвана на части.
На горизонте огненное буйство.
Быть может, это око злой планеты?
Иль голода предвечного язык?
Кругом предметы — словно бред тифозный,
Зарывшиеся в пыль остатки жизни:
То мощная разрушенная арка,
То мост забытый над рекой безводной,
Алтарь в змеиных норах, храм без бога
И лестница, что в пустоту ведет.
Вдруг в воздухе раздался грозный гул.
То ль рев воды, брега ущелья рвущей?
Иль мантра к Шиве, что шадхок бормочет,
В бездумной пляске бешено кружась?
Иль гибнет лес, охваченный пожаром?
И в этом реве тайный ручеек
Неясные сквозь шум приносит звуки;
И он — поток той лавы, что вулканом
Извергнута; в нем низкая молва,
И шепот зависти, и резкий смех.
А люди там — истории листки,
Снуют туда-сюда.
От факельного света и от тени
Татуировка ужаса на лицах.
Вдруг, беспричинным схвачен подозреньем,
Безумец бьет соседа своего;
И тут и там уже бушует ссора,
И женщина какая-то рыдает
И шепчет: «Наш несчастный сын погиб».
И, в сладострастье утонув, другая
Бормочет: «Все на этом свете — вздор».

2

Сидит недвижно на вершине горной
В безмолвье белом тот, кто предан богу.
Взгляд зоркий в небе ищет света луч.
Чернеют тучи, филины кричат,
Но он вещает: «Не пугайтесь, братья,
И помните, что человек велик».

А те — лишь силе изначальной верят
И праведность зовут самообманом.
И, получив удар, кричат: «Где брат наш?»
И слышится в ответ: «С тобою рядом».
Во тьме не видят. Спорят: «Эта речь —
Одно притворство, чтоб себя утешить.
И человек бороться будет вечно
За право обладать пустым виденьем
В усеянной колючками пустыне».

3

Светлеет небо.
Звезда рассвета на востоке блещет,
Земля вздохнула вздохом облегченья,
Листва лесов волнами заходила,
На ветках птицы сладостно запели.
И предводитель рек: «Настало время!»
Какое время?
Время выступать,
Движения, паломничества время.
И вот сидят и думают они.
Смысл слов его — для них остался темен,
По-своему его постигнул каждый.
Коснулось утро глубины земной,
И корни бытия пришли в движенье.
Откуда-то донесся слабый голос,
И на ухо он людям стал шептать:
«Пришла пора пуститься в путь — к успеху!»
И это слово в горле у толпы
Движенье обрело в порыве мощном;
Мужчины к небу обратили взор,
Ладони у чела сложили жены,
Обрадовались, засмеялись дети.
Украсил луч сандаловым узором
Чело ведущего, и все вскричали:
«О брат наш, почитаем мы тебя!»

4

Паломники сходились отовсюду —
Чрез горы, море, по степям бескрайним;
Из той страны, где Нил, и той, где Ганга;

С Тибета — плоскогорья ледяного,
Из сдавленных стенами городов,
Путь прорубая сквозь леса густые.
Тот — на коне был, на слоне — другой,
Кто — в колеснице под роскошным стягом.
Жрецы читали разные молитвы,
Прошел раджа с вооруженной свитой
Под неумолчный гулкий гром литавр,
Монах буддийский в рубище явился,
Пришли, сияя золотом, вельможи,
И, оттолкнув учителя проворно,
Явился легким шагом ученик.
А женщин сколько — дев и матерей,
На блюдах их сандал, питье в кувшинах.
Блудницы там, их голоса крикливы,
Наряды поражают пестротой.
Идут, идут хромые и слепые
И те святоши, что святым торгуют
И бога на базаре продают.
Успех — вот их кумир! Их речь темна.
В великом имени запрятав алчность,
Оправдывают речь ценой огромной.
Грабеж бесстыдный, жадность тел нечистых
Заманивают мнимым раем всех.

5

Путь беспощадный камнями усеян.
Но предводитель шел, за ним другие.
Старик и мальчик; и сосущий землю,
И тот, кто за бесценок пашет землю.
Изранил кто-то ноги и устал;
Другой разгневан; кто-то весь в сомненьях.
Считают каждый шаг. Когда ж конец?
Но предводитель только песнь поет.
Их брови хмуры, нет пути назад.
Движенье человеческого кома
И тень надежды их влекут вперед.
Спят мало и почти не отдыхают,
Друг друга обогнать они хотят,
Боится каждый оказаться лишним.
А день идет за днем.

Даль уступает место новой дали.
Неведомое тайным знаком манит.
И все суровей выраженья лиц.
И все грознее, все сильней упреки.

6

Настала ночь.
Постлали все циновки у баньяна.
Погас светильник от порыва ветра.
Густы потемки — непрогляден сон.
И вдруг один в толпе людей встает,
На вожака указывает пальцем
И говорит: «Ты, лжец, нас обманул!»
Упрек, из уст в уста перелетая,
Сгущался. Брань мужчин, проклятья жен
Гремели, а один из смельчаков
Ударил вожака с огромной силой
(Лицо его скрывалось в темноте).
И все они вставали, чтоб ударить.
К земле припала жизнь, утратив тело.
Оцепенела ночь — тиха, безмолвна.
Источник где-то близко рокотал,
И в воздухе жил нежный дух жасмина.

7

Наполнил души путников испуг.
Рыдают жены. Им кричат: «Молчите!»
Залаявшего пса огладил хлыст,
И смолкнул лай.
Ночь тянется, не хочет уходить,
И спор о преступленье все острее.
Кто говорит, кто плачет, кто орет.
Уже кинжал готов покинуть ножны,
Но в это время тьма небес ослабла.
Заря, светлея, разлилась по небу,
Паломники внезапно замолчали.
Как пальцем указательным коснулся
Луч солнечный кровавого чела,
И во весь голос зарыдали жены,

Ладонями мужья закрыли лица.
И кто-то убежать хотел, но тщетно —
Цепь преступленья связывала с жертвой.
Слышны вопросы: «Кто нам путь укажет?»
И старец из страны восточной молвил:
«Тот и укажет путь, кого убили».
Все головы понуро опустились.
И старец снова рек: «Его отвергли,
В сомнении и гневе погубили,
Теперь его в любви мы возродим.
Он смертью возродился в нашей жизни.
Он — величайший, победивший смерть!»
Тогда все встали и запели хором:
«Хвала тебе, о победивший смерть!»

8

И юноши вдруг стали старших звать:
«Отправимся же в путь — к любви и силе!»
И много тысяч голосов вскричало:
«Мир этот завоюем и иной».
Уже не цель ведет их, а порыв.
Движенье общей воли смерть осилит.
Сомнений нет, пред ними ясный путь.
И нет уже усталости в ногах.
Душа убитого внутри их и вокруг:
Ведь он победу одержал над смертью,
Перешагнув уже границу жизни.
Идут полями, где посев окончен,
И вдоль хранилищ, где лежит зерно.
Идут по той земле неплодородной,
Где ждут их те, что худы, как скелеты.
Идут по многолюдным городам.
Идут они по местности пустынной,
Где прошлое в своей померкло славе.
Мимо домов — разрушенных, несчастных,
Что, кажется, глумятся над жильцами.
Влачится время жгучего бойшакха.
Под вечер вызывают звездочета:
«Не арка ли вон там надежды нашей?»
«Нет, то закат окрасил облака».
И юный голос раздается: «Братья,

Сквозь ночь должны мы пробиваться к свету!»
Они идут во тьме.
Дорога словно помогает им.
Пыль направляет их, ступней касаясь.
Безмолвно звезды говорят: «Идите!»
И слышен глас убитого: «Не медлить!»

9

В лесной листве, забрызганной росой,
Заря лучами первыми сверкнула.
И звездочет промолвил: «Мы пришли».
До горизонта с двух сторон дороги
Шевелятся колосья в мягком ветре —
Ответ земли небесному посланью.
Из горного села в село у речки
Поток людей струится, как обычно.
Гончарный круг вращается, гремя.
Несет дрова на рынок дровосек.
Пастух на поле выгоняет стадо.
К реке кувшины девушки приносят.
Но где оплот раджи? Где рудники?
Где книги мантр, в которых смерть и мука?
Ученый молвил: «В знаках нет ошибки,
Сюда вели и здесь остановились».
Так он сказал и голову склонил
И к роднику затем сошел с дороги.
Вода из родника течет, как свет,
Как утра песнь, в которой смех и слезы.
И хижина невдалеке, меж пальм,
Окружена недвижностью стоит.
Поэт к порогу с берегов нездешних
Пришел и просит: «Мать, открой мне дверь!»

10

Луч солнца тронул запертую дверь.
И люди все почуяли в себе
Слова рожденья: «Мать, открой мне дверь!»
И дверь открылась.

Мать на траве сидит, в руках — младенец,
Словно в руках зари — звезда рассвета.
Коснулось солнце головы младенца.
Коснулся струн поэт и песнь запел:
«Да славится родившийся, бессмертный».

Все слышавшие стали на колени:
Раджа и нищий, праведник и грешник,
Глупец и мудрый. И провозгласили:
«Да славится родившийся, бессмертный!»

ИЗ КНИГИ «ПЕСТРОЕ» («БИЧИТРИТО»)
1933

ПОРАЖЕНИЕ

Сияющая ночь
Мрак, словно чадор, сбрасывает прочь.
Он падает у ног баньяна,
Там, где поток струится неустанно.
При ярком свете дня скупой цветок
Благоухание в душе своей берег.
А ночью нет сомнений и преград,
И аромат свой всем дарить он рад.

С лесной опушки
Приносит ветер пение кукушки.
И мнится: хочет выразить она
Все, чем душа ее полна.
И я подумал: не удержишь слова,
Что рвется из-под темного покрова;
Сегодня узник, из своей темницы
Освободясь, умчится.

Когда пришла она,
В окно струила свет луна
Сквозь ветви дерева густые.
Подумал: отыщу слова простые.
Скажу: «Взгляни в глаза и позови
Безмолвным зовом истинной любви!
Еще молитвы на читали люди,
И нет еще святой воды в сосуде;
Сегодня мы с тобой
Навеки будем связаны судьбой...»

Она сердито
Сказала, что команда их побита.
Да, да, у Форта, на Майдане,
Проиграно, увы, соревнованье.
Подчеркивали все ее движенья
Обиду, гнев и горечь пораженья.
И вновь, и вновь она негодовала...

А за окном кукушка куковала.

ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНЯЯ ОКТАВА» («ШЕШ ШОПТОК»)

1935

* * *

Сыплется благостный дождь на равнину!
Тучи, спустившись, касаются пальм,
Зыблются трепетно темные воды.
Душу мою тоже дождь освежает,
Если приходит по зову.

Был я в краях чужеземных.
Месяц срабон там не время дождей,
С зовом души моей он не согласен.
Он не свершил омовенья
В сердце моем.

Там я не видел круговорота
Синих туч, приносящих влагу.
Засуха там истощала землю.
Только ведь влага приносит деревьям
Силу могучего роста.
Каждый год постоянно
Роспись от капель дождя на стволах остается.

Радость дождя ежегодно
Также в мою сердцевину
Свежие соки вливает.
Так ежегодно
Новый слой краски ложится
На дерево жизни.
Так ежегодно печаткою перстня
Тайный свой знак Художник
Ставит на сердце мое.

Перед окном я сидел одиноко,
Тихо часы проходили,
Дар свой оставили перед порогом,
В тайной сокровищнице души
Много скопилось забытых мгновений.

В радуге многоцветной искусства
Все существо мое
С тайным душевным богатством
Перед божественным взглядом когда-то
Сможет ли полно раскрыться?

Все существо мое в жизни стремилось
К мигу полного проявленья,
Словно звезда над зарею вечерней,
Проблеск рассвета над ночью,— оно говорило:
«Миг проявленья, явись!»

Явится миг проявленья, и я
Сам себя вдруг в своем свете увижу,—
Женщина так вот себя постигает,
В жизни замужней себя проявляя;
Если любовь у нее воцарилась в душе,
Носит несчастье она, как ожерелье,
Бедную жизнь украшает своим благородством,
Даже и смерть не лишает ее совершенства.

* * *

При встрече
Мы с ней переглянулись.
Я был так молод,
Она меня спросила:
«Кого ты ищешь?»

Я ей ответил:
«Поэт вселенной из своей поэмы бесконечной
Одну строку зачем-то вырвал
И плыть ее пустил
В поток земного ветра,
Где аромат цветов плывет
И звуки флейты.
Строка кружит, ища строку созвучную другую,

И поисков безмолвное жужжанье
Звучит в ее пчелиных крыльях».

Она молчала,
Смотрела в сторону куда-то.
Мне стало грустно,
И я спросил: «О чем ты думаешь?»

И, обрывая лепестки, она сказала:
«А как узнаешь ты — нашел иль нет
Среди бесчисленных мельканий
Ее созвучную одну?»

Я ей ответил:
«То, что ищу
В раздвоенной неполной жизни —
Большая тайна,
Она откроется сама собой,
Откликнувшись необычайно,
И тайну я узнаю —
Созвучие с душой другого».

Она молчала.
На смуглой нежной шее
Блеснуло тоненькое ожерелье,
Как будто облачка слегка коснулся
Осенний бледный луч.
В ее глазах мелькала
Какая-то растерянность, боязнь,
Что кто-то навсегда уйдет, ей не открывшись.
Она стояла неподвижно
В тревоге — и не знала,
На что решиться.

Я встретился с ней на краю дороги
В широкий мир,
Я ждал
Желанной встречи...
Она ушла,

* * *

Мерцал светильник медный на подставке,
Фитиль соломинкой в нем подправляли.
Узорный светлый пол блестел,
Как будто сделан из слоновой кости,
А на полу расстелены циновки.
Мы, дети, кучкой собрались в углу
При тусклом свете.

Вошел старик Мохон Шордар,
Лицо его с дубленой темной кожей,
Окрашенные волосы завиты,
Навыкате глаза.
От дряхлости все тело дряблым стало,
И ноги, руки — длинные костяшки,
А голос или зычный, или тихий.
Мы любим страшные его рассказы.
Вот он садится между нами
И начинает свой рассказ о Рогхо.
Мы слушаем, оцепенев, чуть дышим,
И все у нас колышется в душе,
Как ветви джхау в южном ветре.

Перед окном открытым в переулке
Столб с газовым зажженным фонарем
Стоял, как одноглазый призрак,
С угла на темной улице раздался
Певучий выкрик продавца жасминов.
А рядом во дворе
Залаяла собака.
Пробили в колокол у входа — девять.
Мы тихо слушаем рассказ о Рогхо.

У сына Тотторотно в доме праздник —
Ему давали шнур священный;
И Рогхо передал с гонцом:
«Одним «Прими поклон» не обойдешься,
Не думай о расходах».
И Рогхо написал, чтобы правитель
Пять тысяч рупий выдал на расходы.
Вдова налог радже не уплатила,
И дом ее к продаже был назначен.

К правителю в дом заявился Рогхо,
Сполна за долг вдовы с ним рассчитался,
Сказал: «Ты грабил многих бедняков,
Так пусть им хоть немного станет легче».

Однажды в полночь
С добычей Рогхо возвращался,
Шел к узкой длинной лодке
В тени смоковницы на берегу.
Тут он услышал —
В деревне, в доме том, где свадьба,— плач.
Жених повздорил и невесту бросил,
К ногам его отца упал с мольбой
Отец невесты,— в этот миг с дороги
Из зарослей бамбуковых густых
Раздался клич: «Ре-ре... ре-ре... ре-ре...» —
И звезды в небе
Как будто вздрогнули.
Все знают, это грозно кличет
Разбойник Рогхо.
И с женихом богатый паланкин
Носильщики в испуге уронили.
Тут прибежала мать невесты
И с плачем умоляла в темноте:
«Сынок, спаси честь дочери моей!»
Встал Рогхо, как посланец бога Ямы,
Из паланкина вытряс жениха,
Отцу его отвесил оплеуху,
И тот упал на землю оглушенный.

Вновь в доме раковина заиграла,
И женщины встречают жениха.
Вот Рогхо сам с разбойничьею шайкой;
Как привиденья в ночь женитьбы Шивы,
Тела умащены, полуобнажены,
А лица в саже.
Сыграли свадьбу,
Кончалась третья стража ночи.
Разбойник, уходя, сказал невесте:
«Сестра моя,
Коль вновь тебя обидят,
То вспомни Рогху».

Пришло столетье новое, иное,
И детвора теперь
При свете электрическом читает
В газетах сообщенья о разбоях.
А вечера прослушиванья сказок
Ушли из мира
С воспоминаньем нашим
И со светильником погасшим.

ИЗ КНИГИ «ДОРОГА» («БИТХИКА»)
1935

ПРИГЛАШЕНИЕ

Вспоминаю: однажды стихами простыми
Я воспел тебя, милой назвал я моею.
До тех пор у тебя, как у всех, было имя,—
Я пишу, а назвать твое имя не смею.

Ты велишь мне писать изощренные строки,
Но моей простодушной поэмы страницы
У дверей твоих просят, отбросив упреки,
Чтоб твои — хоть на миг — задрожали ресницы.

Лишь одно мне достаточно вымолвить слово,—
Ты приходишь и смотришь внимательным взглядом.
Если даже уйдешь,— возвратишься ты снова,
Знаю, сядешь со мною, мечта моя, рядом.

В сари — чайную розу — ты бедра закутай,
Приоткрой свои локоны передо мною,
Ты обрадуй меня долгожданной минутой
И откинь от щеки сари с узкой каймою.

Непокорные кудри трепещут лукаво
И ложатся на лоб все нежней и нежнее,
А движение черного локона справа
Совпадает с изгибом сверкающей шеи.

Днем сплетенный из ютхи венок благовонный
Расцветет ввечеру от тепла твоей кожи.
В этом запахе весточку слышит влюбленный,—
Ту, что сердцу милее всего и дороже.

Все же я упрекну тебя: серьги-рубины,
Что похожи на жаркие капельки крови,
Мой подарок,— ты несколько дней, без причины,
Забываешь надеть... Ты не хмурь свои брови,

Я скажу и другие слова,— не в обиду,
Не для рифм, и на музыку их не положим.
С виду это пустяк, но пустяк только с виду,
Пренебречь пустяками такими не можем.

В наше время не внемлют рифмованным стонам,—
Что нам древний светильник и ви́на поэта?
Лучше ты принеси на подносе плетеном
Манго — эти плоды цвета и солнца и лета.

Прозаический пир мы сегодня устроим,
Не нужна нам теперь со стихами тетрадка.
И писателю тоже приятно, не скроем,
Чтоб во рту у него было вкусно и сладко.

Речь груба? В духе времени грубость такая,
А иной выражается даже почище!
Только неба посланец, крылами сверкая,—
В этом ты мне поверь,— не нуждается в пище!

То, что я говорю,— не порок и не шутка,
Это — веское, в сердце рожденное слово.
Надо прямо сказать: наполненье желудка
Есть и нашей духовной отрады основа.

Наслаждения большего нет мне на свете,
Чем смотреть, как прелестные руки проворно
Преподносят отменные кушанья эти —
Рыбный плов или шо́ндеш, полезный бесспорно.

Но в глазах твоих вижу хитринку недаром:
Ты считаешь, что мне для того лишь и нужен
Весь набор поэтических средств, чтобы с жаром,
Чтобы с пафосом я заказал себе ужин.

Что же, пусть на меня ты посмотришь с насмешкой,
Пусть блаженства еды не познаю, бедняга,—
Приходи и с пустыми руками, не мешкай,
Ибо руки твои — это счастье и благо.

Приходи же! Пусть ветра дыханье живое
Прилетит, словно весть, что ко мне ты стремишься,
Пусть в вечерние сумерки встретятся двое,
Пусть глядят на них звезды сквозь ветви сириса.

А когда ты уйдешь — торопиться не надо,—
Ты венок свой оставь мне из ютхи чудесной,
Чтобы музыка в сердце влилáсь, как отрада,
Чтобы стали созвучия зрелою песней.

Я пишу — и ко мне мысль приходит благая:
На конверте должны превратиться чернила
В чье-то имя. Но в чье? И сижу я, вздыхая,—
О, когда это было, когда это было!

Начинают мне вечер и сад вспоминаться.
Ты в бассейне. Звезда в той воде заблестела.
Ты красива, тебе еще только шестнадцать,
В полосатое сари ты кутаешь тело.

За ушами цветы мне сверкают, белея;
Меж бровями — пунцовая точка; и сзади
Вижу, как вовлекается нежная шея
В эти шелковые, в эти черные пряди.

Там, где тени косые, ты коврик на крыше
Расстилаешь и влажною тканью на блюде
Покрываешь венок из цветов. Стало тише.
Но о чем ты мечтаешь в безмолвье, в безлюдье?

Тот же самый поэт написал тебе снова.
Вечер в доме пустом. На стене перед взором
Возникает картина из теней былого.
Тишина. Лишь часы занялись разговором.

Вот полрупии в ящике дальнем забыты;
Вот листочек из книги расходов... Не знаю,
Где тебя отыскать, где следы твои скрыты,
Но письмо-приглашенье тебе сочиняю.

Помню: шерсти клубок у тебя на коленях.
Ты сидишь у окна. Ждешь кого-то. Надежда
Засветилась в глазах твоих юных, весенних,
И на землю свободно спустилась одежда.

Загорелись лучи на другой половине,
А на первой — на крыше — сгущаются тени.
Тонко чамели пахнут в китайском кувшине,
Все полно аромата цветов и растений.

В ящик это письмо положу и ответа
Ждать не буду, но только из мира забвенья
Подойди ко мне сзади, и, вместо привета,
Ты глаза мне руками закрой на мгновенье.

Я хочу, чтоб твои зазвенели запястья,
Чтоб волос твоих запах я чувствовал снова,
Подари ты мне ночь сновиденья и счастья,
Подари ты мне день созерцанья живого!

Никогда не разрушится связь между нами,—
Не проникнет в нее, не поймет посторонний,
Что мы связаны светом, волшебными днями
И ладонью, в моей трепетавшей ладони.

СКУПАЯ ДОБРОТА

В твоих глазах я вижу вперемежку
То нежность, то лукавую усмешку.
Я слышу песнь в молчании твоем.
В моей душе смешались свет и тени,
И радости и горе — в вечной смене.
Мы так близки и далеки вдвоем.

Порой меня ты подвергаешь пыткам,
Но, сжалившись, божественным напитком
По капле мне даруешь доброту...
Все, что даешь, ты отберешь, быть может,
В твоем пиру мне сердце голод гложет —
Как от него спасенье обрету?

О моллика! О нежный цвет фальгуна!
Твое вино — в дыханье ночи лунной.
Тебе, скажи, не южный ветер друг?
Богатством он наполнил лес пустынный
И запахов незримой паутиной
Окутал мир, простершийся вокруг.

А я сейчас — как дуновенье стужи.
Твержу мольбу, всегда одну и ту же.
С сухих ветвей осыпалась листва.
Мой взор туманят слезы, закипая;
И доброта мне жертвует скупая
Два-три цветка, раскрывшихся едва.

Все то, о чем душа моя мечтала,
Безжалостная буря разметала.
Пускай навек останусь одинок —
Рукой судьбы мне послана награда:
Два-три цветка всего. Им сердце радо,
Но мало их, чтобы сплести венок.

ДЕОДАР

Деодар, раздается твой голос в тиши,
Мантрой жизни звучит он в безмолвье души.
Эта жизнь в продолжение тысяч веков
Не могла сокрушить каменистых оков,
Где-то в мертвой твердыне таилась.
В час, когда твоя жизнь зародилась,
Торжество покоренного ею огня
Приоткрыло страницу грядущего дня —
Столкновений и войн бесконечный черед,
Повседневную битву житейских забот.
Разгорается страстный огонь бытия,
И в груди извивается, будто змея,
Этот жгучий язык разгоранья —
Истерзавшие душу желанья.
Неподвижен зеленый твой лик;
И в покое своем ты велик.
Что за роль ты играешь в театре времен?
Кровью сердца живого внесен
В величайшее действо твой образ нетленный.
Жизнь и смерть — лицедеи на сцене вселенной,—
И бесстрашье в дороге, лишающей сил.

Кто мог знать, что без устали ты возносил
Стяг, отважно стремящийся в бой,
Стяг, одетый красивой и нежной листвой?

Кто мог знать, что впервые звучанью тех слов,
За рожденье которых отдать я готов
Жизнь свою, добывая их день изо дня,—
В ветре прошлых веков научил ты меня,
Одаряя безмолвною мантрою их,
Что таится в шуршании веток твоих?
Ты — владыка в короне зеленой,
И к тебе обращаю поклоны.

В МЕСЯЦЕ АШШИН

Небо сегодня так ясно и сине.
Утро, как чампак в цвету, золотисто.
В этом, быть может, последнем ашшине
Сердце овеяно радостью чистой.
В ветре трепещутся, плещутся листья.
Грустно вздыхает цветок облетелый.
В роще жасминовой — все голосистей —
Птицы поют, отвлекая от дела.
В пору такую осеннюю в сказке
Юный царевич уходит из дома.
Он отправляется, чуждый опаски,
В путь неизведанный, в путь незнакомый.
Передо мною мелькают виденья
Мира, где небыль мешается с былью.
Дали бескрайние светом и тенью
Полный смятенья мой дух затопили.
И говорю я: «О друг мой желанный!
В путь отправляюсь, печалью объятый.
Переплыву я моря-океаны,
Клад отыщу в стороне тридевятой».
Вот и весна, отодвинув засовы,
В двери вошла — и ушла неприметно.
Пусто в жилище моем — и на зовы
Лишь откликается бокул приветно.
С ясного неба, сияньем одеты,
Мысли нисходят — лазурной тропою.
«Друг мой, навеки потерянный, где ты?
Час наступил — я иду за тобою».

ИЗ КНИГИ «ЧАЩА ЛИСТЬЕВ» («ПОТРОПУТ»)
1936

* * *

Неприкасаемые... Не дозволено им и молиться,—
Священнослужитель у дверей — таких не допустит
В дом божества.
Бога ищет везде и повсюду находит их светлая,
Простодушная вера:
За оградами сел,
В звездах небесных,
В лесу, на цветущей прогалине,
В глубокой печали
Встреч и разлук, всех любимых и любящих...
Не для отверженных общенье с божественным,
Установленное, обусловленное,
В четырех стенах, за наглухо замкнутой дверью.
Не раз бывал я свидетелем
Молений их одиноких
При восходящем солнце,
Над водами Падмы, готовой размыть не колеблясь
Древние камни святилища.
Видел: с ви́ной бредут они, вослед за своим напевом,
Ищут братьев по духу на пустынных нутях.

Я — поэт, я — их касты.
Я — отверженный, мантры — не для меня.
Тому, что несу божеству моему,
Вход запретен в его тюрьму.
Вот вышел из храма служитель бога,
Ухмыляется мне:
«Бога увидел?»
А я в ответ: «Нет...»
Удивляется: «Или не знаешь дороги?»
«Нет...»

«И ни к какой не причастен касте?»
«Нет...»

Годы прошли.
И вот размышляю:
«В кого же я верую?
Молюсь — кому?..»

В того, быть может, чье имя
Слышал в сторонних устах,
Вычитывал в книгах священных,
Разноязычных и разноплеменных?
Оправдать свой выбор упорствовал
Святыми молитвами,—
Но жизнью не смог оправдать.
Я — отверженный, я мантр не шепчу.
Мантра моя от замкнутой двери святилища
К земному ушла окоему,
За любые ограды,
К звездам небесным,
В лес, к цветущим прогалинам,
По терниям скорбной дороги
Встреч и разлук, всех любимых и любящих.
Был я ребенком, когда впервые
Затрепетала грудь
Мантрой земли в ее первом цветенье,
Мантрой, полною света.
В саду
Взорам явилась моим кокосовых пальм бахрома,
Когда я сидел одиноко
На стене развалившейся, мхом приодетой.
Излилась, горяча, из предвечного жизни ключа
Света струя, крови моей
Даровала биенье божественной тайны,
Чуть внятная шевельнулась память
О сроках, отошедших в неведомое.
То было мерцание существа моего, еще не обретшего плоти,
Растворенного в жаре прадревнего солнца.
На осеннее жнивье любуясь,
В круговращении собственной крови
Я улавливал света бесшумную поступь,—

Задолго до дня воплощения
Следовал он за мной.
Изумленно ширилась мысль в беспредельном потоке,
Сознавая,
Что ныне в свете творенья,
В том самом свете я пробужден,
Где лет и веков миллиарды
Дремала мне предстоящая жизнь.
Каждодневно моленье само собой завершалось
В радости бодрствованья моего.
Я — отверженный, мантр не шепчу,
Не знаю, к кому несется, куда
Молитва моя, от святых обрядов отрекшаяся.

Ребенком я жил без друзей.
Одинокие дни мои
Устремлялись взорами вдаль.
В семье распорядка строгого не было.
Ни присмотра за мной, ни заботы.
Обыденная жизнь текла, не зная запретов.
Крепкой оградой обнесены соседей дома,
Ладно построены, кишат людьми,
А я поглядывал издали,
Как всякий народ дорогой торной бредет.
Я — отрешенный, к касте я не причастен.
Они же законы блюдут, для них я — не человек.
Привольно мне было играть на всех перекрестках,—
А те обходили ребенка,
Краем одежды лицо прикрывали,
Для своего божества наилучшие брали цветы,
Согласно с законом,
Моему божеству оставляя
Лишь те — иные, простые,
Что солнцем одним лишь признаны.
Я отвержен людьми.
Но жажду я — человека,
Того, в чьей прихожей
Нет стражей, нет стен.
Вне скопищ людских моему одиночеству
Обрел я попутчиков.
Они внесли в величайший век
Свет, меч, мысль.
Подвижники, страха не знающие, одолевающие смерть,

Эти — свои, каста моя — их каста, мой род — их род.
Их чистотой дух мой предвечный очищен.
Стезя их — правды стезя, их моления — свету,
Бессмертье — их достояние.
Замкнутый в круг, утратил я человека,
Снова обрел, круг разорвав.
Я — ладонь к ладони — сказал:
«О ты, человек человеков, вечности чадо!
Избавь нас от гордости
В круге замкнувшихся, с кастовым знаком на лбу.
О человек! Я тебя увидал на другом берегу
С берега мрака.
Я — благословенный,
Отверженный я, непричастный к кастам».

И явилась в лесную пустыню мою
Женщина — сладостный образ самой любви!
Песню мою одарила напевом,
Ритмом — танец,
Упоила амритой грезу.
Хмельна и вольна, хлынула в сердце волна,—
Затоплен паводком голос души,
Уста онемели.
А женщина из-под сени древесной
Наблюдала смущенное, удрученное
Мое лицо.
Приблизилась быстро, рядом со мною присела,
В обе ладони руки мои заключила, сказала:
«Не знаешь, кто я, не знаю, кто ты.
Дивно:
Как по сей день мы друг друга не знали?»
Я ответил: «Построим же мост
Меж двоими, друг друга не знающими!
То воля сердца вселенной».
Я полюбил.
Два потока любви заструились:
Один опоясал любимую нежностью,—
Так омывает деревню
Мелководная, всем знакомая с детства
Текущая тихо река,—
Спокойные воды
В берегах невысоких
Моей повседневной любви.

В засушливую пору мелела,
Становясь говорливой, когда наступали дожди.
Порой в волнах колыхала она
Образ женщины самой обычной,
Тускнеющей под покрывалом забот и сует.
А порой бывала насмешлива
И обидеть могла.
Теченье другое моей любви
Вело к океану.
Там, из глубин морских,
Величавая выплыла женщина,
Воплощенье моих созерцаний,
Которым нет предела,
По край наполнила душу мою и слово мое;
Затеплила в недрах моего одиночества
Вечной разлуки светильник.
Я созерцал сияющий лик Красоты
В паводке вешних цветов,
В листве древесной трепещущей,
Струящейся искрами света,
Внимал рокотанью ее ситары,
Любовался пляскою света и тени
На сцене годичных смен,
В смене их покрывал разноцветных.

Я видел ее, где слагается летопись мира,
Рядом с творцом, по левую руку его.
Видел, как смрадным прикосновением
Красоту оскорбляет низменность зверя,
Струился тогда
У Рудрани из третьего ока
Огонь разрушительный,
Испепеляя приют потаенный зла.
В песне моей, что ни день, накоплялась
Первая тайна творения — света от света,
И последняя тайна творения — бессмертье любви.
Я — отверженный, я мантр не шепчу.
Ныне молепье вне стен храмовых
Завершено.
Оно зародилось в мире богов,
Ныне отдано — миру людей,
Душе, сияющей в высях небесных,
Брату по духу — в радости духа.

* * *

В тот древний, исступленный век,
Когда творец хулил свое творенье
И созданное рушил,
В тот день, когда утратил он терпенье,
Своею дланью грозный Океан
Тебя отторг, о Африка, от груди
Земли восточной.
Густого леса бдительная стража
Твою темницу стерегла.
Ты на досуге одиноком
Копила тайны чащ непроходимых,
Читала письмена воды, земли и неба,—
И волшебство природы
В душе незрячей мантру пробудило.
Ты, заслонив лицо уродливой личиной,
Над ужасом смеялась,
И, страх стремясь преодолеть,
Ожесточала дух величественным бредом,
Обрядом-пляской разрушенья
Под барабанный гром.

Тенистая! За черным покрывалом
Не видел человеческого лика
Презренья мутный взор.
С колодками, с цепями ворвались
Ловцы людей, чьи когти крепче волчьих,
Чье низкое высокомерье глуше
Твоих для солнца недоступных джунглей.
В наряде городском белесый варвар,
Как зверь, бесстыдно алчность обнажил.
Плыл по тропам лесным беззвучный голос горя,
Пыль впитывала кровь твою и слезы.
Навеки мерзкой грязи комья
Из-под сапог бандитских — оскорбленьем
Запечатлели летопись твою.

А за́ морем, в их городах и селах,
Воскресный звон колоколов
Предвечному добру гудел хваленья,
Младенцы прыгали в руках у матерей,
И славили поэты Красоту.

Сейчас, когда в закатном небе
За горло схвачен бурей вечер тихий
И из пещер повылезло зверье,
Конец всему предвозвещая воем,
Явись, поэт, на рубеже веков
И, подойдя к порогу оскорбленной,
Скажи: «Прости!»
Пусть этим чистым словом разрешится
Твой, варвар, бред!

ИЗ КНИГИ «ШАМОЛИ»
(«ШАМОЛИ»)
1936

ЦВЕТОК ТАМАРИНДА

Нет, я не много накопил сокровищ
За эту жизнь.
Они мне редко доставались.
Потерь я больше ведал, чем находок.
С протянутой рукою не стоял.
А в этом самом мире —
Оно цвело, сокровище, подобно
Красавице, простушке деревенской,
Закрыв лицо, презрев к себе презренье,—
Спокойный тамариндовый цветок.

Земля бедна, и дерево не в силах
Подняться в полный рост.
Его одетые листвою ветви
К земле приникли. Можно ли подумать,
Что к старости приблизилось оно?
Вблизи расцвел лимон. Нарядно рядом
Осыпан чампак множеством цветов.
Канчон цветет в углу. И посвященный
Цветам благоуханным курчи
Сарасвати обет свой соблюдает.
Мне ясен их язык. Не раз для разговора
Я позван ими был.
А только что мой слух
Почувствовал неясный шепот, слышный
Из-под опущенного покрывала. Вижу —
Из хижинки, на ветке тамаринда,
Глядит нераспустившийся цветок,

И нежно светится,
И нежно пахнет,
И вьются письмена по лепесткам.

Уже давно живет при нашем доме
Старинный тамаринд, знакомый с детства.
Как божество стоит он, как хранитель
Северо-западного края неба.
Он — как слуга, прижившийся в семье.
Он сверстник прадедов,
Свидетель многих
Рождений и поминок в этом доме,
Ученый брахман нашего семейства.
Кто им владел в прошедших поколеньях?
Пожалуй, было больше
Имен опавших, чем опавших листьев.
О многих — память
Такая ж тень, как тень под тамариндом.
Здесь, у его корней, была конюшня,
Где стук копыт тревожил помещенье
Под черепичной крышей.
Но век езды на лошадях давно уж
С покрикиваньем конюхов остался
На берегу былого, вдалеке.
Умолкло ржание.
Картины века
Уже сверкают красками иными,
А борода, расчесанная гордо
Сардаром-кучером, с его походкой важной
Со всею пышной роскошью тех дней,
Навеки удалилась за кулисы,
Где декораций свалено старье.

В лучистом солнце, утром, к десяти
Ждала коляска здесь, у тамаринда,
И отправлялась в школу каждый день
С бессильной неохотой мальчугана,
Сквозь уличную шумную толпу.
И мальчуган теперь уже не тот —
Лицом, душой и положеньем в мире.
А тамаринд все тот же. Он молчит,
В себя ушедший, в самосозерцанье,
Не поводя и бровью на людей
С их вечно переменчивой судьбою.

Мне вспомнился один из дней.
Шел дождь
От сумерек всю ночь, не затихая.
А утром — мутно,
Как в глазах безумца.
Ослепшая, без цели, бьется буря
Огромной птицей в клетке мирозданья
Крылами о невидимые прутья.
Вся улица заполнена водою.
Двор затопило.
Стоя на веранде,
Я вижу — с гневом смотрит в небо
Верхушка тамаринда, как отшельник,
Руками веток небо обличая.
Молчат дома, они остолбенели,
У них нет речи, чтоб ответить словом
На злодеяния небес.
И только
В движеньях листьев тамаринда было
Разгневанное восклицанье, было
Проклятье дерзкое — среди оцепеневших
Кирпичных стен, он представлял один
На кругозоре, бледном от дождя,
Великий лес.

Сменялись весны веснами иными —
В почете были бокул и ашок.
Казалось мне, что тамаринд — привратник
Наружных врат весны — царя времен.
И кто бы мог в то время догадаться,
Что под корою грубой великана
Таится нежность красоты?
Все помнят,
Как он надменен в пышном тронном зале
Дворца весны.
В его цветах сегодня мне представлен
Гандхарва Читраратха — колесничий,
Что Арджуну, сражаясь, победил.
Теперь один, вполголоса и втайне,
Поет он песню в райских кущах Индры.
О, если б я, поэт, тогда — подросток,
Постигнуть мог в какое-то мгновенье,
Как этот старец молодостью пьян,—

Я, может быть,
Однажды, юным утром,
Встревоженным жужжанием пчелы,
Сорвал бы грозди нежные цветов
И пальцами дрожащими подвесил
На радостно зардевшееся ухо,
Ты знаешь — чье.
И если б ты: «Как звать цветок?» — спросила,
Я бы ответил:
«Теплый отблеск солнца
Сейчас упал тебе на подбородок.
Найди ему какое-нибудь имя —
Я назову тем именем цветок».

ШАМОЛИ

О Шамоли!
В срабон, в дождливый месяц,
Твой подведенный черным взор подобен
Раздумью на ресницах молчаливой
Бенгальской девушки.

Твоя земля сегодня
Стихи травы слагает
Зеленой речью
В ответ на дождевую речь небес.
Твой лес оделся в облака́ листвы,
Взывают к облакам деревья, руки по́дняв:
«О вы,
Взнуздавшие восточный ветер,
Помедлите, о вы!»

Под придорожным деревом твое жилище,
О Шамоли,
Кочевница, отвергнутая всеми.
Разрушив свой шалаш, ты в беззаботный путь
Выходишь налегке, мгновенно обеднев.
Влюбленного в тебя
Не связываешь ты — пола с полою брачной.
И, выходя из спальни первой ночи,
Он даже не оглянется на дверь.

Я хижину для нас слепил из глины,
С надеждой быть с тобой наедине
За слабой, ненадежною оградой.
В то утро пели птицы.
Они не строят клеток.
Гнездо — что вить, что покидать — легко им.
Весною — здесь, порой дождей — в лесу.

Недавно, на рассвете вместе с ветром
Захлопали в ладоши листья леса.
Сегодня — пляска,
Завтра — в пыль листвой.
Они на то не жалуются даже.
Они — глашатаи в весеннем царстве.
Сегодня — трудятся, а завтра — прочь!

Все эти дни шел разговор с тобою
Лицом к лицу.
С глазу на глаз сегодня ты сказала:
«Пора! Бросай жилье и уходи!»
А я не создал прочных стен.
Я — камнем
Не выложил своей мольбы у входа.
На зыбкой почве хижину поставил,
На оползне, размытом половодьем,
Ее совсем разрушит вскоре месяц
Дождей — сорбон.
И я уйду.
День расставания меня не ранит,
И будет петь, хвостом качая, птица дронго
Над хижиной разрушенной моей.
О Шамоли! Одну и ту же песню
Выводит твоя флейта,
Что в первый, что в последний день.

ИЗ КНИГИ «КОНЕЧНОЕ» («ПРАНТИК»)
1937

* * *

Один за другим погасают на сцене огни.
Зала — как сон, чьи видения стерлись;
Пусто, темно. Знак подала тишина
Строгим перстом. Спокойна душа; и наряд мой,
Перед началом спектакля казавшийся сутью
Образа, в зале пустом бессмысленным стал.
Красками, блестками, всяческой мишурою
Приукрашал я себя, толпе угождая.
Сразу стерлись они — и меня поразила
Вся полнота невидимой сути моей.
Так очертанья земли при скончании дня
Смутно сливаются в час погребенья заката,
И открывается небо, прозрачное небо
В звездном сиянье, собою самим изумленное.

* * *

В тот день, когда из недр исчезновенья
Мое сознанье вырвалось, я бурей
Был поражен, очнулся в дымном пекле
У кратера вулкана. Ревом, свистом
Он оскорблял несчастный род людской.
Гром, жар и смрад... Самоубийство века!
Век прокаженный! Пьяный бред бесстыдства,
А рядом скряга-робость прижимает
Скарб осторожности к иссохшей груди.
Вдруг заревет — и тут же тихим визгом
Уже спешит покорность изъявить.

Хозяева могучих государств
По кабинетам издают приказы
Сквозь зубы, нехотя. А птицы зла
Слетаются с прибрежий Вайтарани,
Железных крыльев рев терзает небо.
Упиться кровью жаждут. О судья,
Кому престолом вечность, дай мне сил,
Чтоб молниями слов сразить я смог
Женоубийц, детоубийц — и пусть
Навек мое проклятье бьется в пульсе
Самих себя стыдящихся преданий,
Когда наш век, ничтожный пленник страха,
Испустит дух, задохшись под золою
От своего же смертного костра.

ИЗ КНИГИ «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ» («ШЕНДЖУТИ»)
1938

НОВОЕ ВРЕМЯ

Все припев старинной песни помнят и поныне:
«Справа — Ганга, слева — Ганга, отмель — посредине».
Движет всем Владыка танца: в вечном обновленье —
Водопад имен, обрядов, песен, поколений.
Те, что в юности вдохнули правду этих слов,—
Были созданы иначе, из других основ.
Каждый знал — его светильник по волнам плывет,
Приносил дары богине у священных вод.
Робость тусклая царила в думах и в сердцах.
Смерть пугала, жизнь пугала, мучил вечный страх.
То владыки самодурство, то врагов набег,
Ожидал землетрясений робкий человек.
И к реке ходить опасно темною тропой —
Где-то воры притаились, грех, беда, разбой.
Сказки слушали, где много самых дивных дел,—
Как от гнева злой богини праведник сгорел...

Из пустых семейных распрей в деревнях тогда
Вырастала, распаляясь, грозная вражда.
И плелась коварных козней и обманов сеть,
Чтобы сильному быстрее слабых одолеть.
Побежденный изгонялся, после долгих ссор,
И другие забирали дом его и двор.
Кроме бога, кто поможет, защитит в беде?
И прибежища иного не было нигде.
Мысли робкие бессильны. Человек притих...
И хозяйка опускала взоры при чужих.
Черным очи обводила, а на лбу — пятно.

Зажигать пора светильник,— в комнате темно.
Молит землю, небо, воды: «Защитите нас!»
Ждет напасти неизбежной каждый день и час.
Чтоб дитя в живых осталось, нужно колдовство:
Кровью жертвенных животных мажет лоб его.
Осторожная походка, боязливый взгляд,—
Как узнать, откуда беды ей теперь грозят?
Ночью грабят на дорогах и в лесах густых,
И грозят ее семейству козни духов злых.
Всюду видит преступлений и грехов печать
И от ужаса не может головы поднять...
Долетает чей-то голос, мрак тревожа синий:
«Справа — Ганга, слева — Ганга, отмель — посредине».

А река плескалась так же, льнула к берегам...
Как светильники, скользили звезды по волнам.
И купцов теснились лодки около базара,
И во мгле рассветной весел слышались удары.
В мире тихо и спокойно, но заря близка,—
Розовея, озарялся парус рыбака.
На закате все стихало, словно обессилев,
Только трепет доносился журавлиных крыльев.
День прошел, гребцы устали, ужинать пора.
У опушки — темный берег и огонь костра.
Тишину успокоенья лишь порой шакал
Где-то в зарослях прибрежных воем нарушал.

Но и это все исчезло, мир земной покинув.
Не осталось грозных судей, стражей, властелинов.
Одряхлевшие ученья давят грузом тяжким.
В дальний путь теперь не едут с буйволом в упряжке.
Неизбежна в книге жизни новая страница,—
Всем обычаям и судьбам надо обновиться.
Все исчезнут властелины, грозные владыки,
Но останется таким же плеск реки великой.
Приплывет рыбак на лодке и купец заезжий,—
И такой же будет парус, всплески весел те же.
И такие же деревья будут у реки,—
К ним опять привяжут лодки на ночь рыбаки.

И споют в иных столетьях так же, как и ныне:
«Справа — Ганга, слева — Ганга, отмель — посредине».

Однажды к причалу
Ладью мою ветром весенним примчало,
И голос окликнул меня молодой:
«А кто ты такой?
Далеко ль плывешь или нет?»
«Кто знает!» — сказал я в ответ.

Вдруг волны вскипели и лодку мою закачали,
И песню запел я о юности, скорби, печали.
Услышав, как песню пою,
Какие-то девушки, юноши в лодку мою
Бросали цветок за цветком:
«Мы друга в тебе узнаем!»
О, ласка души человечьей!
О, первые встречи!

Потом успокоился бурный прилив,
И волны уснули, застыв.
Кукушка запела устало,—
Быть может, о дне отлетевшем она вспоминала...
Уже по течению вниз
Цветы золотистые вдаль унеслись,
Качаясь на волнах реки,
Как будто клочки,
Обрывки ненужных уже приглашений
На пиршество ночи весенней.

С могучим отливом не споря,
Уносится лодка в безбрежное море.
И новое время, и юность иная
Спросили меня, окликая:
«Кто это по зеркалу вод
Стремительно к звездам вечерним плывет?»
И снова, ударив по струнам,
Пою незнакомым и юным:
«Что имя мое? Только звук.
Я просто ваш друг».
Бессильны названья и речи...
Последние встречи!

ИЗ КНИГИ «НЕБЕСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК» («АКАШ ПРОДИП»)

1939

НЕВЕСТА

Я вспоминаю: бабушка не раз
Мне напевала древний сказ.
«Под тенью манго,— пелось в той былине,—
Невеста едет в паланкине.
Браслеты на ногах, на шее ожерелье,
В глазах — веселье».

С тех пор старинный сказ в душе моей живет,—
Он возвестил мне женщины приход,
Любви полубезумное начало,
И сердце мальчика сильнее застучало...
Когда природа в сумерки одета,
Когда сливаются в боренье тьмы и света
И явь, и вымысел, и ночь, и день,
Мне женщины видна таинственная тень.
«Невеста едет»,— песнь звенит, и сердце бьется,
А в сердце кровь, как путь невесты, вьется,
В конце пути — томление свирели,
Стремление к какой-то смутной цели.
Отбросив здравый смысл и с вымыслом дружа,
То замирая, то дрожа,
Не молкнет сердце, слившись воедино
С носильщиками паланкина:
Путь долог, и нельзя им отдохнуть,
И никогда не кончится их путь.

Так время шло, и о невесте
Повсюду слышались мне вести:

То красноватая листва ашока
О ней мне шелестела издалека,
То в месяце срабон шумел мне дождь о ней,
То пел о ней, блуждая много дней,
Усталый путник, жаждущий участья,—
Звенели на ногах ее запястья
На рубеже мечты, и так была нежна
Та музыка, и я вставал от сна.
Я видел в полуяви, в полусказке
Восход: полоски краски
У женщины прекрасной на ногах,
Ко мне спешившей в красных облаках.
Она ко мне из вымысла взывала,
Мне ласковые имена давала.
Я вздрагивал. Она иль не она?
Однажды вся душа была потрясена:
В одно волшебное мгновенье
Я чье-то ощутил прикосновенье.
Спросил я,— и слова затрепетали:
«Скажи мне, ты не та ли,
Которая сюда, где жизнь шумна, светла,
Из мрака вымысла пришла?»
«Я ею послана,— услышал я ответ,—
Она осталась там, где видимого нет,
Она к тебе стремится постоянно.
И там, где в глубине полночного тумана
Далеких звезд сверкают письмена,—
Там рядом ваши имена.
В былые времена, что позабыты ныне,
Отправилась к тебе невеста в паланкине.
Она блуждает много лет
Среди планет.
И у нее браслеты на ногах,
А шея в жемчугах».

БАРАБАНЯТ В БАРАБАНЫ У ЗАПРУД

Возле гхата на Бамунмара-пруду,
Под пакуром, у деревни на виду,
Там, где сходится с землею небосвод,
У лилово-золотых его ворот,

Прародительница свой ковер цветной,
С необъятный шар земной величиной,
Ровно в полдень из засохших трав плетет.
Звук оттуда, гром неясный, все растет.
Он в ушах воспоминаний преломлен,
В сонных солнечных лучах таится он:
«Барабанят в барабаны у запруд,
За разбойника красотку выдают».

Страшен смысл недоброй песни прошлых лет.
От него остался только бледный след.
Боль мне в сердце не вонзает острие,
Время стерло, обесцветило ее.
По тропе любовной выйдя на разбой,
Дерзкий вор умчал красавицу с собой.
Листьев высохших преданье то мертвей.
От давным-давно минувших черных дней
Только кратких две строки дошли до нас,
Только пепел слов — костер давно погас.
Сокол ветра налетел на них, и вот
Это мертвое былое вновь живет.
Взмах крыла — и он уже ворвался в лаз
Между строками, где мысль оборвалась.
Пляшут в воздухе мелодии клочки,
Всплески песни, что вместила две строки.
Явь туманом застилается, и сон
Будто дымной пеленою затенен.
Току крови вновь гремит созвучно тут:
«Барабанят в барабаны у запруд...»

Сквозь бамбук идет вразвалку старый слон,
Колокольчиков нашейных слышен звон...

Бледный свет зари вечерней льется в грудь,
Прочь уносит он раздумий грустных муть.
Вдруг кольнуло что-то в сердце, в глубине,
Неприютно с той минуты стало мне.
Боль дремоту как рукою с глаз смела.
«Где чернушка та из нашего села,
Что в корзинах приносила часто нам
Зерна жареного риса, фрукты — джам,
Манго сладкие — дешевый все товар?
Добавлял три лишних аны я ей в дар».

Тут послышался слепой старухи крик
(Выжимает масло муж ее — старик).
Внучку их увел какой-то лиходей.
Зло нанес он старикам, всех зол лютей.
Сообщил сейчас мне сторож новость ту:
«Загубил,— сказал,— разбойник красоту».
Вера в светлое развеяна, как пыль.
Эта сердце раздирающая быль
Заслонила старый сказ минувших лет.
Раскатилось в небесах: «Возмездья нет!»
В рифму с прошлым этот день ложится, лют:
«Барабанят в барабаны у запруд...»

Сквозь бамбук идет вразвалку старый слон.
Колокольчиков нашейных слышен звон.

ИЗ КНИГИ «НОВОРОЖДЕННЫЙ» («НОБОДЖАТОК»)
1940

ХИНДУСТАН

Стон Хиндустана
Слышу я постоянно,
С детства на запад влечет меня тихий зов:
Там судьба нашей Индии пляшет среди погребальных костров;
Издревле во все времена
Исступленно плясала она.
Издавна в Агре и Дели
Кричали стервятники жадные и ножные браслеты звенели,
Там руки веков воздвигнуть сумели
Из камня, покрытого пеной резьбы,
Дворец до небес — насмешку судьбы.
Там по путям неудач и удач
Летят колесницы встречные вскачь;
И сложный, по пыли петляющий след
Рисует знаки счастья и бед.
Там армии новые, что ни час,
Обрывают неконченый древний рассказ
И переиначивают конец.
Там в каждую хижину, в каждый дворец
Разбойничьи банды заходят впотьмах,
Они порождают горе и страх,
Они меж собой воюют за власть
И пищу у нищих не брезгают красть.
Им от огней драгоценных камней
Кажутся ночи светлее дней.

Хозяин и раб порадели о том,
Чтоб страна обратилась в игорный дом,—
Сегодня она от края до края —
Одна могила сплошная.
И тот, кто сразил, и тот, кто сражен,
Конец положили бесславью и славе прошедших времен.
У мощи былой переломаны ноги. Прежним мечтам и
виденьям верна,
Лежит в обмелевшей Джамуне она,
И речь ее еле слышна:
«Новые тени сгустились, закат угас,
Это ушедшего века последний час».

ИЗ КНИГИ «САНАЙ» («ШОНАЙ»)
1940

ПЕРЕЕЗД

Пора мне уезжать.
Подобен полдень раненой ноге,
Завернутой в бинты.
Брожу, брожу, задумчиво стою,
Сижу, облокотясь о стол,
На лестницу гляжу.
В просторах синих стая голубей
За кругом чертит круг.
Я вижу надпись. Красный карандаш
Почти что год назад
На стенке начертал:
«Был. К сожаленью, не застал. Ушел.
Второе декабря».
Я с этой надписи всегда стирала пыль,
Сегодня же и надпись я сотру.
Вот промокательной бумаги лист,
На нем каракули, рисунки и слова,
Сложив, его кладу я в чемодан.
Не хочется мне вещи собирать,
Бездумно на полу сижу
И, опахало взяв,
Усталая, обмахиваюсь им.
Я в ящике стола
Нашла сухую розу и листы.
Гляжу и думаю. О чем?
Так, ни о чем.
Так близко Фаридпур. Там Обинаш живет.
Он предан мне,

И это очень кстати в день,
Когда мне помощь так нужна.
Его я не успела пригласить,
Он сам пришел.
Он счастлив мне помочь.
И стать носильщиком ради меня готов.
Он вмиг засучивает рукава,
Увязывает накрепко узлы.
В газету старую духи он завернул,
В чулок дырявый сунул нашатырь.
Он в чемодан кладет
Ручное зеркало, и масло для волос,
И пилку для ногтей,
И мыльницу, и щеточки, и крем.
Разбросанные сари издают
Чуть слышный аромат:
У каждого — свои и запах и судьба.
Он складывает, расправляет их,
На это он
Потратил битый час.
Он туфли оглядел
И тщательно обтер своей полой,
Подул,
Смахнул воображаемую пыль.
Картины снял с гвоздей,
И фотографию одну
Он вытер рукавом.
Вдруг я заметила, как он
В карман нагрудный положил тайком
Какое-то письмо.
И улыбнулась я, вздохнув.
Ковер, подаренный семь лет назад,
Он бережно свернул
И прислонил к стене.

На сердце камень грусти лег.
С утра не причесалась я. Зачем?
Забыла сари брошкой заколоть
И за письмом письмо
Рву на клочки.
Обрывки на полу. Их подметет
Лишь ветер жаркий месяца бойшакх.
Пришел наш старый почтальон,

И новый адрес я с тоской ему пишу.
Разносчик рыбу за окном пронес,
Я вздрогнула и поняла —
Сегодня рыба ни к чему.
Автомобиль знакомо прогудел
И за угол свернул.
Одиннадцать часов.

Пустая комната.
У голых стен отсутствующий взгляд,
Глядят в ничто.
А Обинаш по лестнице сошел
С моими чемоданами к такси,
И я услышала в дверях
Его последние слова:
«Ты напиши мне как-нибудь».
И рассердилась я,
Сама не зная почему.

НЕВОЗМОЖНОЕ

Одиночество? — Что это значит? Проходят года,
Ты в безлюдье идешь, сам не зная зачем и куда.
Гонит месяц срабон над лесною листвой облака,
Сердце ночи разрезала молния взмахом клинка,
Слышу: плещется Варуни, мчится поток ее в ночь.
Мне душа говорит: невозможное не превозмочь.

Сколько раз непогожею ночью в объятьях моих
Засыпала любимая, слушая ливень и стих.
Лес шумел, растревоженный всхлипом небесной струи,
Тело с духом сливалось, рождались желанья мои,
Драгоценные чувства дала мне дождливая ночь.
Но душа говорит: невозможное не превозмочь.

Ухожу в темноту, по размокшей дороге бредя,
И в крови моей слышится долгая песня дождя.
Сладкий запах жасмина порывистый ветер принес,
Запах дерева малоти, запах девических кос:
В косах милой цветы эти пахли вот так же, точь-в-точь.
Но душа говорит: невозможное не превозмочь.

Погруженный в раздумье, куда-то бреду наугад,
На дороге моей чей-то дом. Вижу: окна горят.
Слышу звуки ситары, мелодию песни простой.
Это песня моя, орошенная теплой слезой,
Это слава моя, это грусть, отошедшая прочь.
Но душа говорит: новозможное не превозмочь.

ИЗ КНИГИ «ПРИКОВАННЫЙ К ПОСТЕЛИ» («РОГОШОДЖАЙ»)

1940

* * *

Когда к выздоровленью наконец
Мне жизнь свое прислала приглашенье,
В тот незабвенный и недавний день
Она так щедро подарила мне
Способность мир по-новому узреть.
И золотом затопленное небо —
Как коврик созерцанья
Отшельника всевышнего.
И сокровенный изначальный миг,
Времен исток,
Открылся предо мной.
И я постигнул, что мое рожденье
Нанизано на нить рождений прежних;
И словно солнца семицветный свет,—
Так зрелище в одном себе хранит
Поток других, невидимых творений.

* * *

Когда в сетях невыносимых мук
Беспомощным я вижу человека,
Я и представить даже не могу,
Что для него возможно утешенье;
Но под влияньем собственных страстей
Я корень этой муки знаю,
Хоть в этом знанье утешенья нет.
Коль мне известно,
Что истина высокая таится

За волей человеческой души,
Что радостей и мук она превыше,
Я начинаю понимать, что люди,
Той истиной питающие души,—
Цель высочайшая всего творенья.
Они — одни они,
И, кроме них,— никто.
А те другие,
Что в плену
Обыденных привязанностей тонут,
Подобны тени —
И мнимы муки их,
И радость их обманна.
А боль их ран, хоть и неумолима,
С мгновеньем каждым меркнет,
В истории следа не оставляя.

* * *

Когда тебя во сне моем не вижу,
Мне чудится, что шепчет заклинанья
Земля, чтобы исчезнуть под ногами.
И за пустое небо уцепиться,
Поднявши руки, в ужасе хочу я.
В испуге просыпаюсь я и вижу,
Как шерсть прядешь ты, низко наклонившись,
Со мною рядом неподвижно сидя,
Собой являя весь покой творенья.

ИЗ КНИГИ «ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ» («АРОГГО»)
1941

* * *

Бьют часы вдалеке.
Грохот города, оглушающий небо,
Отошел от меня.
В зное месяца магха из дальних пределов памяти
Беспричинно возникло виденье.

Проселок бежит вдоль реки,
Нанизывая деревеньки.
Вековая смоковница...
Люди сидят в ожиданье парома
Рядом с товарами, что несут на базар.
Под железною крышей амбаров —
Кувшины с душистою патокой.
На запах ее бегут деревенские псы и облизывают кувшины.
Роятся мухи.
Посреди дороги носом в землю уперлась арба,
Груженная джутом.
Орут грузчики, таская кипу за кипой
В склад.
Распряженные буйволы
Пощипывают траву на зеленой обочине
И колотят себя по бокам опахалом хвоста.
Ссыпано в кучу горчичное семя,
Ожидает, когда и его упрячут в амбар.
К гхату причалил рыбачий челнок,
Жена рыбака к бедру прижала корзину.
Распластался коршун над головой.

Челны перекупщика уткнулись в пологий берег.
Рыбак, опутан лучами солнца, на крыше плетет сеть.
Ухватившись за шею буйвола,
Крестьянин плывет через реку.
А над ближней рощей вздымается храм,
Сияющий в утреннем солнце.
По невидимой грани полей мчится поезд,
И все уменьшается, все уменьшается,
Оставляя на груди ветров черточку звука,
Дымный след волоча за собой —
Длинный стяг покорителя расстояний.

И еще невзначай вспоминаю: было это давно,
В полуночный час.
К берегу Ганги причалена лодка.
Водная гладь — в лунном свете.
По берегам черные вырезы затаившегося леса,
Меж деревьев — пламя светильников.
Я очнулся внезапно.
В молчаливый ночной небосвод
Устремляется песнь — молодой слышится голос.
Уносится стройная лодка в волнах отлива
И вдруг исчезает.
Лес, затаившийся по берегам, вдруг прохватывает
ознобом.
Образ ночи, увенчанной лунной короной,
Безмолвно покоится на ковре потревоженных
сновидений.

Западный берег Ганги, жилье на окраине города.
Бесконечно длинная отмель
Словно подчеркивает пустоту оголенного неба.
По сжатому просу ходят коровы;
Деревенский мальчишка
Хлыстом отгоняет козла от бахчи.
А там — крестьянка с корзиной на бедре
Собирает овощи.
Порой у кромки реки
Истомленные лодочники проходят, сгибаясь под бечевой,
И всё — и потом весь день ни души на реке и на суше.
Вблизи, в одичавшем саду, возвышается дерево чампак.
Под огромным молитвенным нимом — скамейки,
Густа и торжественна его венценосная тень.

По ночам там спят журавли.
Вода с наливного колеса,
Журча, убегает по желобу,—
Напоить кукурузное поле.
Женщина крутит домашнюю мельницу,
На руках ее медные браслеты.
Монотонное трение жернова наполняет звуками полдень.

Это все мимолетно увидено,
Мимоходом услышано
И находится где-то на грани сознанья.
Забытые образы
Порождают в сердце боль разлучения с жизнью
Под бой отдаленных часов.

* * *

Одиноко сижу у окна, у края конечного мира,
В синеве горизонта зрение ловит звук бесконечности,
Свет переплетается с тенью,
Предлагая приятную дружбу дерева сирис.
А в душе отдается: «Недалеко, совсем недалеко!»
Лента дороги ускользает за гребень закатной горы.
Стою у входа в постоялый двор вечера.
Вспыхивает в отдаленье
Крыша храма — место последнего странствования.
От подножья его летит песнь окончания дня,
С ее восходящим и нисходящим мотивом связано все прекрасное
в этом моем пребывании,
Она прикасалась к душе в дни моих долгих скитаний,
Привнося в нее звук полноты.
В душе отдается: «Недалеко, совсем недалеко!»

* * *

В сфере необъятного творенья
На протяженье неизмеримых времен
Бушуют фейерверочные игры
Солнц и планет.
Пришел и я из вечности незримой
С мельчайшей искоркой
И занял точку во времени и протяжении.

Едва я начал уходить со сцены,
Угас светильник,
Померкла сущность звездных игр,
И обветшала обстановка пьесы,
Где представляли радость и печаль.
Я увидал: актеры и актерки,
Уйдя со сцены,
Сбрасывают пестрое тряпье.
Я увидал:
Там, за кулисами из омертвевших звезд,
Царь танца застыл в одиночестве.

ИЗ КНИГИ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» («ДЖОНМОДИНЕ»)

1941

* * *

Слышу: гремит барабан боевой,
Время больших перемен наступило —
Век настает грозовой.
Новой главы развернулись страницы:
Мир на дурные деяния силы растратить стремится,
Несправедливость спешит воцариться,
Это грядущего вестник пришел,—
Каждое зло превращается в тысячу зол.
Скупости камни сдвигает поток полноводный,
Нищей земли изменяет он облик бесплодный,
Мертвых песков размывает слежавшийся слой,
Прочь их сметает бурливой волной.
Гниль унося с побережий,
Место спешит он расчистить для поросли свежей,
А истощенное поле пытается всходы рождать,
Как параличный, пытающийся бормотать.
Пусть омертвелые души
Могут еще показаться живыми снаружи,—
Хоть и трудны времена,
В их закромах до сих пор не иссякли запасы зерна.
Но наступает расплата,— потоки ее грозовые
Сносят солому их кровель, врываются к ним в кладовые,
Рушатся градом смертельных ударов, жестоких вестей,
Болью пронизывают до костей.
Гибель нахлынула, все на пути разрушая —
Новое поле готовит для будущего урожая.

В этой проверке, в горниле мучительных дней
Станет ясней,
Что из наследия дряхлого в прах превратится,
Что сохранится.
Время под глянцем увидеть, где прячутся гниль и обман,
Вот почему загремел боевой барабан,

ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ» («ШЕШ ЛЕКХА»)

1941

* * *

Океан покоя великого впереди,
В путь далекий, о кормчий, ладью мою поведи.
Вечным спутником стань мне, о кормчий мой,
В час отплытья мне лоно свое открой.
Будет с нами сиянье Дхрува-звезды
В нескончаемом нашем пути.

О свободу дарующий, в странствии вечном, от зла
Ты прощением и милосердьем меня огради.

Пусть же с бренной землею расторгнется связь,
Чтоб в объятья вселенной упасть,
Чтоб вступила душа моя, не страшась,
В Неизвестное, что ожидает ее впереди.

* * *

Вот человек великий рождается к жизни новой,
Холодок по телу, трепет восторга повсюду,
В каждой травинке, растущей из праха земного,
В мире богов гулко раковина затрубила,
В мире людей загремели литавры победно,—
Наступил миг рожденья великий.
В прах рассыпался мрак новолунья.
Пали крепости тьмы.
На вершине горы рассветной
Звучит напутствия слово:

«Смелее, смелее,— к жизни новой».
«Слава, слава рождению человека!» —
Звучит в небесах громово.

* * *

Этот день моего рождения станет мне днем разлук.
Я хочу, чтобы каждый, кто настоящий друг,
Прикоснулся руками своими к рукам моим.
Дар прощальный бренного мира, знак того, что любим,
Унесу я — последнее благословенье людей,
Унесу я — последнюю милость жизни земной моей.
Я суму свою опустошил до дна,
Роздал все, собираясь в путь.
Если сегодня в ответный дар
Мне достанется что-нибудь —
Немного прощенья, немного любви,
Все возьму, отправляясь в последний путь,
На последнее празднество, на последнем плоту,
Отплывая в беззвучную темноту.

ИЗ КНИГИ «ИСКРЫ» («СПХУЛИНГО»)
1945

* * *

С зарею с берега ночного
примчалось утреннее слово.
И мир проснулся освеженный,
оградой света окруженный.

* * *

Ради пищи на́ поле
люди плугом пишут каракули
и выводят их острием пера
ради добра,
пищи духовной ради
в тетради.

На небе облака
рисуют письмена
и, столько написав,
не ставят имена.

* * *

Безмолвно меркнет под землей
небесный свет,
но обращается весной
в чудесный цвет.

* * *

Цветок красоту свою
не сознает:
что легко получил,
легко отдает.

* * *

Царит извечно темнота,
в своих покоях заперта,
а ты глаза на мир открой —
и вечный день перед тобой.

* * *

Я пришел, надеждой себя озарив,
и ушел, любовью своей одарив.

* * *

«Иди ко мне»,— поет
рассветная звезда.
И ей светильник внял:
угаснул
навсегда.

* * *

«Купим слова! Купим слова!» — вопят
на базаре словес.
Бегут продавать и стар и млад
словеса на вес.
Коли есть в душе твоей слово, брат,
не тащи его в шумный торговый ряд,
а в молчанье прячь под навес.

* * *

Не всем доступен лотос меж брегами,
среди опасной синевы.
Но всем доступна под ногами
услужливость простой травы.

* * *

Говорит звезда: «Зажгу свет, замерцаю,
а рассею мглу или нет —
не знаю».

* * *

Туча, созвездья прикрыв,
думает, что победила.
Тучу развеял порыв
ветра, но вечны светила.

* * *

Как скопить, что́ взять,
кто даст, что́ даст,—
твердим сто раз
кто во что горазд.
А что отдать
в свой смертный час,—
подумал ли
любой из нас?

* * *

Поэму пишут ливни летних дней
в листве древесной.
Слетит листва — и вместе с ней
весь прах словесный.

* * *

Все загражденья на пути хожденья,
запутанные тропы, заблужденья
терзают нас во дни блужданья.
Но с каждым шагом крепче натяженье
на струнах ви́ны расстоянья.
И если ритм страдания творит
ту радость, что превыше бед стоит,—
тогда родится песнопенье.

* * *

Чтоб в настоящем свете
увидеть зло возросшее,
глядите в лучшем свете —
увидите хорошее.

* * *

Смотрит морская волна
на солнце в зените:
«Эй, кто-нибудь, этот шарик
ко мне притяните!»

* * *

Звезды что-то шепчут ночью
на́ ухо друг другу.
Их слова цветут потом
по́ лесу и лугу.

* * *

Мятущиеся души берегов — две разделенные пустыни,
и море — песнь бездонной боли — посредине.

* * *

Следя игру земли,
дитя — звезда зари —
случайно заблудилось
одно в ночной дали.
Заря его зовет,
спасая от скитанья.
И падает в сиянье
сокровище сиянья.

* * *

Ты не справился даже с тем,
что досталось само собой.
Как ты справишься, получив
все, желаемое тобой?

* * *

Старых времен перо в руки берем,
пишем в тетради новых времен старым пером.
Юный поэт ночной порой, не смыкая глаз,
имя свое пишет по-разному тысячу раз;
Старое с новым пытаясь словом соединять,
пишет каляки и размаляки в эту тетрадь.

* * *

Пускай, купаясь в аромате,
очнется утренний цветок.
Да будет счастлив на закате
его плода сладчайший сок.

* * *

Радость любви
малый миг снится.
Горе любви
целый век длится.

* * *

Большое дело само несет
свой тяжкий груз,
большое горе в себе самом
смиряет грусть,
а мелких дел, потерь, обид
так груз тяжел,
что надрывается душа
от этих зол.

* * *

Пройдя за много дней по множеству дорог,
по множеству округ со множеством тревог,
я разглядел и горные вершины,
и океанские пучины,
но я не разглядел близ хижины моей
того, что сто́ит гор или морей:
росинки малой на цветке,
сверкающей невдалеке.

* * *

Ветер спросил: «Лотос, скажи,
в чем твоя суть тайная?»
Лотос сказал: «В том моя суть,
что для себя — тайна я».

* * *

Всевышний уважал меня,
покуда бунтовать я мог,
когда ж я пал к его ногам,
он мною пренебрег.

* * *

В час радостной встречи
скажи — почему
катятся слезы
по лицу твоему,
а в день расставанья,
когда плачут сердца,
я видел улыбку
твоего лица.

* * *

Мгновенье улетает
бесследно, навсегда,
но и оно мечтает
не кануть без следа.

* * *

Жизнь, которую можно
со смертью соизмерить,
в этом мире бессмертном
побеждает смерть.

* * *

Вход и выход — в те же самые ворота,
знаешь ли про это ты, слепой?
Если преграждают путь ухода,
путь для входа заперт пред тобой.

* * *

Не удается труженику
выуживать жемчужинку
в му́ке.
До времени лежит она
и вдруг неожиданно
дается в руки.

* * *

Корень думает: «Я умен,
как глупа ветка с листьями,
перегной — это хорошо,
а лучи — это бессмысленно».

* * *

Напрасно нищий по́ миру
с пустой сумой бредет.
Когда всего себя раздаст,
все для себя он обретет.

* * *

Войну, где восстает на брата брат,
всевышний проклянет стократ.

* * *

С улыбкою рассветная звезда
вписала, радостью согрета,
в последнюю страницу тьмы
приветственную песнь рассвета.

РАССКАЗЫ

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ БЕРЕГ ГАНГИ

Если бы события отпечатывались на камне, сколько старых историй прочли бы вы на каждой моей ступеньке!

Хотите послушать рассказ о прошлом? Сядьте ко мне на ступеньки и прислушайтесь внимательно к журчанию воды — вы услышите повесть о давно минувших днях.

Мне все вспоминается одна история... Стоял тогда такой же точно день, как и сегодня. До начала месяца ашшин оставалось совсем немного. С утра дул нежный прохладный ветерок, легким трепетом пробегал по молодым листочкам, вдыхая новую жизнь в оживающую после летнего зноя природу.

Полноводная Ганга! Всего четыре мои ступеньки остались над водой. Разлившаяся река, будто нежная подруга, ласкала своей волной берег. Она дошла уже до манговой рощи, где под деревьями росли кочу. У поворота реки возвышались над водой груды давно готовых к обжигу кирпичей. Покачивались на высокой воде утреннего прилива рыбачьи лодки, привязанные к стволам акаций. Волны прилива, юные, непокорные, с плеском бились о борта лодок, шаловливо заигрывали с ними, ласково и задорно трепали их за уши-уключины.

На Гангу лило свои лучи утреннее солнце. Оно — будто червонное золото, будто яркий цветок чампа. Ни в какое другое время не увидите вы такого сияния, такой игры света! Вот лучи восходящего светила упали на отмель, на заросли камыша, который только что выбросил нежные белые метелки.

Пришли рыбаки и с возгласами: «Рам, Рам!» — стали отвязывать лодки. Эти лодки казались мне гордыми лебедями, в радостном порыве устремившимися к голубому небу. Расправив паруса, словно крылья, уносились они в солнечную даль.

Как всегда в свой обычный час, господин Бхоттачарджо с двумя кувшинами в руках идет совершать омовение. Пришли по воду девушки.

Все это было так недавно, будто вчера,— хотя вам, конечно, может показаться, что это происходило давным-давно. Мои дни легко уплывают по Ганге, играя в ее волнах, сам же я всегда неподвижен и только провожаю их глазами, поэтому времени я не замечаю. Каждый день свет моих дней и тень моих ночей падают на поверхность Ганги и каждый день стираются с нее без следа. Поэтому, хоть я с виду и стар, сердце мое всегда остается молодым. Мох прошлого не закрывает от меня солнца. Порой приплывет откуда-нибудь кусочек водоросли, пристанет ненадолго к моим ступеням, и вскоре опять его уносит течением. Разумеется, и на мне есть следы старости. В моих многочисленных трещинах, которых не касается вода Ганги, растут лианы и водоросли. Свидетели моих лет, они нежно оберегают прошлое от разрушительной силы времени, сохраняя память об этом прошлом всегда молодой, вечно юной. Но с каждым днем вода Ганги отступает все дальше и дальше, обнажая мои ступени, с каждым днем все дальше и дальше уходит от меня молодость...

Вот, закутавшись в намаболи и поеживаясь от холода, возвращается домой после омовения старуха Чоккроборти. Она перебирает четки и бормочет молитвы. А ведь в те времена, о которых я собираюсь рассказать, ее бабушка была совсем маленькой девочкой. Она очень любила, приходя к Ганге, пускать на воду листики алоэ. Справа от меня был тогда водоворот; попав в него, листик начинал кружиться, а девочка ставила на землю кувшин и с интересом наблюдала за ним. Прошло немного времени, девочка выросла, и вот вижу, пришла за водой уже со своей маленькой дочкой. Потом и у дочки появились детишки, они шалили на берегу и брызгались водой, а она, как некогда и ее мать, останавливала их и говорила, что это нехорошо. В такие минуты я вспоминал, как их бабушка в свое время пускала кораблики из алоэ, и умилялся.

Но что же это я? Говорю и говорю все время не то, о чем хотел рассказать. Начнешь об одном, а в памяти тут же всплывает другое. Воспоминания приходят и уходят, и я не в силах их удержать. Но одна история, подобно игрушечной лодочке, попавшей в водоворот, возвращается ко мне неизменно. Она кружится возле меня со всем своим грузом событий и, кажется, вот-вот утонет. Она так же мала, как та лодочка из листика алоэ, в которой не было ничего, кроме двух цветочков. И если

бы сердобольная девочка заметила, что эта лодочка тонет, она бы лишь грустно вздохнула и пошла домой.

Видите, рядом с храмом стоит сарай Гоншаи, а у сарая — забор. Когда-то на этом месте (забора тогда еще не было) росла акация. Вокруг нее раз в неделю устраивали ярмарку. В те времена Гоншаи еще не жили здесь. И там, где стоит сейчас их молельня, был только навес из пальмовых листьев.

А вот посмотрите на эту раскидистую смоковницу. Ее корни, словно руки с длинными, жесткими пальцами, зажали в кулак мое разбитое каменное сердце, опутали и пронизали меня насквозь. Тогда это дерево было всего лишь маленьким прутиком. Но оно росло очень быстро, радуя взор молодыми, ярко-зелеными листочками. Неверная, дрожащая тень от них весь день танцевала на моем теле, а у моей груди, будто нежные детские пальчики, вились молодые корни. Сердце сжималось от боли, если кто-нибудь срывал хоть один листочек.

Лет мне в ту пору было немало, но выглядел я прямым и стройным. А теперь я совсем согнулся, стал горбатым, как святой мудрец Аштавакра. Будто глубокие морщины, покрыли меня тысячи трещин, в недра мои забрались лягушки и проводят там в спячке долгую зиму. Тогда же я не был таким. Только с левой стороны, там, где у меня недоставало двух кирпичей, свила гнездо ласточка. Проснувшись чуть свет, она начинала деловито суетиться в своем жилье, а потом, задорно пошевелив раздвоенным, как у рыбы, хвостиком, с песней взлетала в небо. «Значит, скоро придет Кушум»,— размышлял я.

Девушку, о которой я расскажу вам сейчас, подруги звали Кушум. Пожалуй, это и было ее настоящее имя. Когда на воду падала тень Кушум, мне страстно хотелось удержать ее, навсегда запечатлеть на своем камне — столько в ней было очарования. Мох на мне замирал от счастья, когда на камень ступала ее нога и легонько позвякивали бубенчики на обнимавших ее ноги браслетах. Кушум не любила подолгу играть, болтать или смеяться, и все же ни у кого не было столько подруг, как у нее. Без Кушум девушкам становилось скучно. Одни называли ее Куши, другие — Кхуши, третьи — Раккуши, а мать звала Кушми. Кушум часто приходила к реке и садилась у самой воды. Она очень любила реку и тянулась к ней всем сердцем, как к самому близкому человеку.

Но вот Кушум исчезла. А однажды пришли к Ганге Бхубон и Шорно и стали плакать. Я узнал, что их Куши-Кхуши-Раккуши взяли в дом свекра. И еще услыхал, что там, где она теперь живет, нет Ганги. Все там другое: и люди, и дома, и

природа, а сама она, будто лотос, который пересадили в сухую землю.

Шло время, и я стал забывать Кушум. Миновал год. Девушки, приходившие к гхату, лишь изредка вспоминали о своей подруге. Но однажды вечером я вдруг ощутил прикосновение знакомых ног. Неужели Кушум? Ну конечно, она, только на ногах у нее уже не звенели браслеты. Ее ноги больше не пели. А раньше их прикосновение неизменно сопровождалось мелодичным звоном бубенчиков. Сегодня же, не услышав знакомых звуков, печально вздохнула вечерняя река да ветер жалобно застонал в манговой роще.

Кушум овдовела. Я узнал, что ее муж работал в чужой стране далеко от родины и им очень редко случалось бывать вместе. Получив известие о смерти мужа, Кушум в восемь лет стерла с пробора синдур, сняла с себя украшения и снова вернулась в родное село, на берег Ганги. Однако подруг своих она уже здесь не застала. Бхубон, Шорно, Омола вышли замуж и уехали к своим мужьям. Осталась одна только Шорот, но ходят слухи, что и ее в месяце огрохайон выдадут замуж. Кушум оказалась совершенно одна. Но теперь, когда, в молчании опустив на колени голову, она сидела на моих ступенях, мне казалось, будто волны Ганги протягивают к ней свои руки и зовут: «Куши! Кхуши! Раккуши!»

Как Ганга в начале сезона дождей становится день ото дня все полноводнее и глубже, так расцветали молодость и красота Кушум. Но за вдовьей одеждой и скорбным лицом люди не замечали ни юности Кушум, ни ее очарования. Никто не замечал также, что Кушум стала взрослой. Даже я. Она навечно запечатлелась в моей памяти девочкой. На ее ногах теперь уже не было браслетов, но, когда она подходила к реке, я столь же отчетливо, как когда-то, слышал их мелодичное позванивание... Незаметно пронеслось десять лет.

Последний день месяца бхадро был точь-в-точь такой, как сегодня. Ваши прабабушки, проснувшись утром, увидели такой же ласковый свет солнца, какой вы видите сейчас. Набросив на голову покрывала и взяв кувшины, они направились ко мне по воду — казалось, сияние упавших на мою грудь солнечных лучей стало еще ярче. То скрываясь за деревьями, то вновь появляясь, они шли и весело болтали о чем-то. Им и в голову не приходила мысль о вас, людях, которым суждено было явиться на свет через несколько поколений. Воображаю, как вам трудно представить себе, что когда-то и ваши бабушки забавлялись играми, что их окружал такой же точно мир, ка-

кой окружает вас, что у них, как и у вас, были свои радости и свои печали. Так вот, и им казалось непостижимым, что когда-то наступит такой же, как сегодня, осенний день, а их уже не будет в живых, и солнечная ласковая осень будет радовать других, а от их счастья и горя не останется и следа.

В тот день с утра дул легкий северный ветер, он срывал лепестки цветов акации, и они падали на омытые росою ступени. В это самое утро пришел к нам откуда-то молодой саньяси, высокий, светлокожий, прекрасный лицом и душой. И стал он жить в храме Шивы, который стоит передо мною.

О саньяси заговорила вся деревня. Девушки, отправляясь по воду, заходили в храм поклониться ему. С каждым днем народу к саньяси приходило все больше и больше.

Саньяси привлекал людей удивительной красотой и приветливостью; увидит ребенка — приласкает, посадит к себе на колени; встретит мать семейства — расспросит о домашних делах. И женщины вскоре прониклись к нему глубоким уважением. Да и мужчин приходило немало. Саньяси читал собравшимся у него жителям села «Бхагавату», разъяснял «Бхагавадгиту», рассказывал о шастрах. Народ шел к нему и за советом, и за лекарством, и за мантрами. А девушки, собравшись у реки, говорили, вздыхая: «Ах, какой он красивый! Будто сам великий Шива решил посетить свой храм».

По утрам перед восходом солнца саньяси входил в Гангу и, обратившись лицом к Венере, начинал читать нараспев свои молитвы. Тогда до меня уже не доносилось журчание воды. Мне слышался только его голос, и, пока я внимал ему, алело на востоке небо, окрашивались багрянцем облака. Темнота расступалась — так раскрывается бутон перед появлением цветка,— и в небе-озере, как цветок, распускалась заря.

Когда этот необыкновенный человек стоял в Ганге и молился, мне казалось, что слова его молитвы разрушают колдовство ночи, луна и звезды опускаются на западе, на востоке поднимается солнце — весь мир преображался по воле этого волшебника. Совершив омовение, саньяси выходил из Ганги,— он был подобен языку пламени священного костра: облик его был полон святости, с волос каплями стекала вода, и весь он будто сверкал в лучах восходящего светила.

Прошло еще несколько месяцев. Во время солнечного затмения в месяце чойтро толпы людей устремились к Ганге, для того чтобы совершить омовение. Около акации раскинулся большой базар. Люди приходили сюда и для того, чтобы уви-

деть саньяси. Из деревни, куда была выдана замуж Кушум, тоже пришло много девушек.

Саньяси с утра сидел на моих ступенях и молился. Тут и увидели его девушки. И вдруг одна из них, взглянув на саньяси, толкнула подругу и воскликнула:

— Послушай, да ведь это муж нашей Кушум!

— О, боже! И в самом деле он, младший брат из семьи Чатуджей,— отозвалась вторая девушка, слегка приподняв рукою край сари, закрывавший ее лицо.

А третья, которая не очень-то прятала лицо, сказала:

— Конечно, и лоб его, и нос, и глаза.

Четвертая же, вздохнув и даже не посмотрев в сторону саньяси, промолвила, набирая в кувшин воду:

— Ах, да что вы, его давно нет в живых. Разве оттуда возвращаются? Такая, видно, несчастная у Кушум судьба.

Потом одна из девушек проговорила:

— И подбородок у него не такой.

— Он был полнее,— сказала другая.

— И ростом меньше,— добавила третья.

На этом спор кончился.

Все в деревне уже видели саньяси, не видела его только Кушум. Она совсем перестала приходить ко мне, так как здесь собиралось слишком много народа. Но однажды поздним вечером, когда на небе взошла полная луна, она, наверно, вспомнила нашу старую дружбу.

В этот поздний час у гхата уже никого не было. Завели свою монотонную песню цикады. В храме только что пробил гонг, и его последние удары отдались эхом где-то на том берегу, в тенистом лесу, и замерли. Слабый ветерок едва шевелил листву. На меня падала тень сидящей на моих ступенях Кушум. Озаренная лунным светом, перед ней тихо несла свои воды светлая Ганга, а позади — в кустах, меж деревьев, под сенью храма, у порога полуразвалившегося домика, в пальмировой роще притаилась темнота. На ветвях дерева чхатим покачивались летучие мыши. Всхлипывала на куполе храма сова. Со стороны деревни доносился по временам плач шакалов.

В это время из храма неторопливо вышел саньяси. Он подошел к гхату, спустился на несколько ступенек и, увидев одиноко сидящую женщину, хотел было повернуть обратно. Но в этот момент Кушум подняла голову и обернулась. С головы девушки упал край сари, и лицо ее озарилось лунным светом. В этот миг оно было подобно лотосу, устремившему свои лепестки к луне. На мгновение их взгляды встретились. Каза-

лось, они узнали друг друга, как будто были знакомы в ином рождении.

Где-то над головой закричала сова. Кушум вздрогнула, натянула на голову сари и, припав к ногам саньяси, совершила пронам.

— Как тебя зовут? — спросил саньяси, благословляя ее.

— Кушум,— ответила девушка.

После этого она медленно направилась к своему дому, который находился совсем рядом. А саньяси долго еще сидел на моих ступенях. И, лишь когда луна склонилась к западу и тень саньяси уже ложилась прямо перед ним, он встал и направился к храму.

С этого времени Кушум каждый день приходила к саньяси и простиралась перед ним ниц. Если саньяси объяснял шастры, она, стоя где-нибудь в сторонке, внимательно слушала его. Окончив молитву, саньяси звал Кушум и рассказывал ей священные сказания. Не знаю, все ли понимала Кушум, но только слушала она его с благоговейным вниманием. Она точно и беспрекословно следовала всем его наставлениям. Кушум свято выполняла обряд служения богу, с большим усердием убирала в храме, приносила в дар божеству цветы, мыла храм водой из священной Ганги.

Каждое слово саньяси западало ей глубоко в душу. Постепенно взору ее открылся неведомый доселе мир, а душа распахнулась навстречу новой жизни. Она увидела и услышала то, о чем раньше не имела даже понятия. Тень печали не омрачала больше ее лица. Когда по утрам она в благоговении припадала к ногам саньяси, то казалась омытым росою цветком, принесенным в дар богу. Девушка вся светилась тихой радостью.

Был конец зимы, и вечерами с юга дул теплый ветер. Небо стало по-весеннему голубым. В деревне после долгого зимнего перерыва вновь заиграла флейта и полились звуки песен. Гребцы оставили свои весла и, пустив лодки по течению, запели гимн Кришне. В неуемной радости перекликались друг с другом птицы. Пришла весна!

Весенний ветер вдохнул в мое каменное сердце молодость, мои лианы наполнялись радостью, ощущением юности, и каждый день на них появлялись все новые и новые пышные цветы. Все это время я не видел Кушум. Она перестала ходить в храм, не приходила к реке и не встречалась с саньяси.

Я никак не мог понять, что случилось. Но вот как-то вечером они снова встретились на моих ступенях.

— Пробху, вы звали меня? — спросила Кушум, опустив голову.

— Звал. Скажи мне, что случилось? Ты совсем забыла всевышнего?

Кушум молчала.

— Открой мне свою душу.

Кушум слегка отвернулась и промолвила:

— Пробху, я грешная и потому не могу, как прежде, служить богу.

— Кушум,— очень ласково проговорил саньяси,— я чувствую, что тебя тяготит что-то.

Кушум вздрогнула,— может быть, у нее мелькнула мысль, что он сам обо всем догадался? Глаза девушки наполнились слезами, она бессильно опустилась на ступеньки к ногам саньяси и, закрыв лицо краем сари, разрыдалась.

— Скажи мне, что тебя тревожит,— проговорил саньяси, немного отодвигаясь,— я укажу тебе путь к покою.

— Я скажу, раз вы приказываете. Я не сумею рассказать все так, как нужно, но вы, я думаю, и так все знаете.— В голосе Кушум звучали беспредельная преданность и почитание. Она то запиналась от волнения, то совсем умолкала.

— Пробху, я поклонялась, как богу, одному человеку. Я молилась на него, и этой радостью почитания было переполнено все мое сердце. Но однажды ночью мне приснилось, будто он — хозяин моего сердца, будто он сидит со мною под деревом бокул, держит мою руку в своей и говорит мне слова любви. И я не видела в этом ничего странного, ничего невозможного. Я проснулась, но чары сна не исчезли. Когда на следующий день я увидела этого человека, то смотрела на него уже по-другому. Из головы у меня не шел тот сон. Полная страха, я старалась быть подальше от этого человека, но сон неотступно преследовал меня. С тех пор в моем сердце нет покоя, нет светлой радости, нет благочестия.

Когда Кушум говорила все это, вытирая катившиеся по щекам слезы, я смотрел на саньяси: он собрал все свои силы, чтобы подавить охватившие его чувства.

— Ты должна сказать, кого ты видела во сне,— проговорил саньяси, когда Кушум кончила исповедь.

— Не могу,— ответила Кушум, молитвенно сложив руки.

— От этого зависит твое счастье. Скажи мне, не таясь, кто он?

Кушум изо всех сил сжала свои нежные руки.

— Я непременно должна сказать это? — спросила она с мольбой.

— Да, непременно.

— Пробху, это ты! — воскликнула Кушум и, теряя сознание, упала на мои холодные колени. Саньяси словно окаменел.

Когда Кушум пришла в себя, саньяси медленно проговорил:

— Ты всегда следовала моим советам и на этот раз должна выполнить то, что я скажу тебе. Мы не должны больше видеться, и я сегодня же уйду отсюда. Забудь меня. Обещаешь?

Кушум встала и, посмотрев в лицо саньяси, сказала:

— Пробху, будет так, как ты хочешь.

— Тогда прощай!

Кушум не вымолвила больше ни слова, только простерлась перед ним ниц и, взяв прах от его ног, возложила себе на голову.

— Он приказал забыть его,— проговорила Кушум и с этими словами медленно вошла в Гангу.

Девушка выросла у этой реки, кто же, если не Ганга, протянет Кушум руку помощи в трудный для нее час? Луна зашла за облака, и все вокруг окутал мрак. Послышался всплеск. Что случилось? Я не мог ничего понять. Подул ветер, словно желая погасить даже звезды, чтобы никто ничего не видел.

Никогда больше не придет Кушум посидеть у меня на коленях, она закончила свои земные игры. Она ушла навсегда, и я не знаю куда.

1884

СОСТЯЗАНИЕ

1

Царевну звали Опораджита. Шекхор, придворный поэт раджи Удойнарайона, никогда не видел ее. Однако всякий раз, когда поэт сочинял новые стихи и декламировал их в присутствии раджи и всего двора, голос поэта возносился настолько, что его могли слышать невидимые слушательницы, находившиеся за окнами верхних этажей огромного дворца. Он как бы пытался послать свое поэтическое вдохновение в какой-то недосягаемый звездный мир, где среди множества светил в не-

зримом величии блистала неведомая счастливая звезда его жизни.

Иногда Шекхору казалось, что он видит ее тень, иногда до его слуха долетал мелодичный звон браслетов. Он сидел, погруженный в думы: «Что это за ножки, на которых золотые браслеты поют так стройно песню?! Какое счастье, какая милость, что эти две бело-розовые женские ножки касаются земли!» Поэт снова и снова возвращался к этим ногам, мысленно падал ниц перед ними и под мелодию, которую вызванивали обнимавшие их браслеты, слагал свои песни.

Преданным сердцем поэт чувствовал, чья была это тень, кому принадлежали браслеты с таким нежным звоном.

Отправляясь на омовение, Монджори, служанка царевны, непременно проходила мимо дома Шекхора и всякий раз одним-двумя словами перебрасывалась с поэтом. А утром или к вечеру, когда на улице было мало народу, заходила даже посидеть к нему в хижину. Ей вовсе не надо было так часто ходить к месту омовения. А если бы даже и возникла такая необходимость, то уж совсем непонятно, почему именно в это время она надевала самое нарядное сари, а в мочки ушей продевала бутоны цветов манго.

Люди посмеивались, перешептывались. И не без оснований. Шекхор чувствовал особенную радость, когда видел в своем доме Монджори, и не старался скрывать этого.

Ее звали Монджори, что значит «бутон». Для простого смертного это имя как имя; но Шекхор и к нему добавлял немного поэзии, называя ее Весенний Бутон, Блистательный Божественный Бутон. Слыша это, люди говорили: «Ну, пропал бедняга!»

То, о чем поговаривал народ, дошло до царя.

Весть о чувствах поэта доставила радже большое удовольствие. Он начал подшучивать, Шекхор отвечал тоже шутками.

Улыбаясь, раджа спрашивал:

— Неужели у шмеля только и дел, что петь при дворе Весны?

Поэт отвечал:

— Нет, почему же?! Он еще лакомится нектаром с бутонов.

Все смеялись. Наверное, в отдаленных внутренних покоях и Опораджита время от времени подшучивала над Монджори. Но это не вызывало неудовольствия у служанки.

Вот так и проходит жизнь человека, в которой правда переплетается с вымыслом: что-то от творца, что-то от самого человека, а что-то и от людей, которые его окружают. Жизнь —

это сочетание различных противоположностей: естественного и неестественного, вымышленного и действительного.

Только песни, которые слагал поэт, были истинными, сама жизнь отражалась в них. В песнях его говорилось о Радхе и Кришне — извечных мужчине и женщине, об извечном горе и извечной радости. В них поэт рассказывал правду о самом себе. И каждый — от раджи Оморапура до последнего бедняка — сердцем своим ощущал, что эти песни искренни. Их пели все. Как только всходила луна и начинал дуть легкий южный ветерок, тотчас же со всех концов страны — из садов и рощ, с дорог и лодок, доносились песни поэта. Его славе не было границ.

Шло время. Поэт слагал стихи, раджа слушал их, приближенные восторгались, Монджори ходила на омовения... В окнах отдаленных покоев время от времени мелькала тень, а иногда оттуда доносился нежный звон браслетов.

2

Но вот однажды во дворце появился Пундорик — поэт из Декана, ему не было равных. Он приветствовал раджу хвалебной песнью, которая ритмом своим напоминала прыжки тигра. На долгом пути из Декана он победил всех придворных поэтов и наконец появился в Оморапуре.

Раджа с большим почтением встретил его:

— Входи, входи и песню пой.

— Дай бой, дай бой! — самодовольно ответил Пундорик.

Нужно было поддержать честь раджи и принять бой, но у Шекхора не было четкого представления о том, что такое бой в поэзии. Волнение и тревога охватили его. Всю ночь он провел без сна. Перед глазами его стояло огромное крепкое тело прославленного Пундорика, его острый, как у ястреба, нос, гордо поднятая голова.

Утром с замиранием сердца Шекхор вступил на «поле боя». Едва взошло солнце, как место состязания двух поэтов заполнили толпы народа. Стоял невообразимый шум. Жизнь в городе замерла.

С огромным трудом изобразив улыбку радости на лице, поэт Шекхор приветствовал своего соперника Пундорика. Тот лишь пренебрежительным кивком головы ответил на его приветствие и, взглянув на своих поклонников, улыбнулся.

Шекхор на мгновение задержал свой взор на окнах отдаленных покоев и понял — сегодня черные горящие, как

звезды, нетерпеливые глаза бросают оттуда сотни любопытных взглядов. И Шекхор помолился своей богине Победы, устремившись всей душой туда, к отдаленным покоям. Он мысленно произнес: «Если сегодня я одержу победу, о богиня, о Опораджита, о Непобедимая, это, значит, твое имя помогло мне!»

Заиграли трубы, забили барабаны, с возгласами: «Победа, победа!» — все поднялись. В светлых одеждах появился раджа Удойнарайон. Медленно, подобно белому облаку, плывущему по небу тихим осенним утром, подошел он к трону.

Пундорик поднялся и приблизился к трону. Толпа замерла.

Приняв гордую позу и запрокинув голову, великан Пундорик начал читать стихи в честь Удойнарайона. Огромный зал был тесен для его голоса — словно волны морские, ударялся он с глухим рокотом о колонны и своды. Уже один этот голос заставлял всех присутствующих трепетать. Какое мастерство, какое искусство! Сколько строк, восхваляющих самое имя Удойнарайона, сколько поэтических построений из букв, составляющих имя раджи! Сколько ритмов, сколько аллитераций!

Пундорик умолк, но зал словно оцепенел: он все еще был полон звуками его голоса и немого восторга тысяч сердец. Пришедшие сюда из отдаленных мест пандиты вскинули вверх правую руку и восторженно восклицали: «Браво! Браво!»

В этот момент раджа взглянул на Шекхора. Поэт ответил ему взглядом, полным преданности, любви, почитания; но во взгляде этом сквозили обида и печальная робость. Поэт медленно поднялся. Вот так же, наверное, смотрела Сита на своего мужа Раму, стоя перед его троном, когда тот, желая доставить удовольствие толпе, хотел во второй раз подвергнуть ее испытанию огнем.

Взгляд поэта словно говорил радже: «Я твой! Ты можешь испытать меня, если тебе угодно, можешь заставить меня вступить в единоборство со всей вселенной, но...» И он опустил глаза.

Пундорик походил на льва. Шекхор — на оленя, затравленного охотниками. Совсем юный, стыдливый, как женщина, с бледным лбом, хрупкий — он, казалось, затрепещет и зазвучит всем своим телом, как струна ви́ны, стоит лишь коснуться его.

Не поднимая головы, Шекхор начал декламировать. Повидимому, никто и не услышал первых строк его стихотворения. Но вот он медленно поднял голову. Под его взором, казалось, таяли люди и каменные стены дворца: они исчезали в да-

леком прошлом. Приятный и чистый голос дрожал, поднимался вверх, как яркое пламя огня. Сначала поэт говорил о предках раджи, принадлежащих к солнечной династии; затем поведал о войнах и походах, о героизме и жертвах, о множестве великих дел и довел историю раджи до настоящих времен. Наконец, поэт остановил свой взор на радже и воплотил в словах и стихах огромную невысказанную любовь всех подданных. Перед теми, кто сейчас слушал его, возник образ этой любви. Казалось, со всех сторон, из отдаленных мест и окраин, хлынул поток чувств тысяч подданных и переполнил великим гимном этот древний дворец дедов и прадедов раджи. Они как бы коснулись каждого камня, обняли его, поцеловали; затем, полные любви и преданности, поднялись вверх, к окнам внутренних покоев, коснулись ног божественной красавицы и, возвратившись оттуда, в величайшей радости закружились около раджи. Наконец Шекхор сказал:

— О махараджа! Слова мои несовершенны, я признаю, но кто сравнится со мною в любви и преданности?

Поэт сел, дрожа всем телом. Тогда, обливаясь слезами, подданные начали потрясать зал возгласами: «Слава! Слава!»

Пундорик снова встал, надменной улыбкой презрев восхищение толпы. Громовым голосом, полным высокомерия, он спросил:

— Что может быть выше слова?

Все мгновенно смолкли.

Тогда он в различных стихах продемонстрировал удивительную ученость. Приводя доводы из вед, шастр и других священных книг, он начал доказывать, что выше всего на свете — слово. Слово есть истина, слово есть знание. Брахма, Вишну, Шива подчиняются слову. Поэтому слово — выше их. У Брахмы четыре рта, и он не может высказать всего; у Шивы пять ртов, и, не найдя конца словам, он ищет их, погрузившись в молчаливое созерцание.

Так, из множества доводов и изречений из шастр он воздвигнул для слова трон, поднявшийся выше звездных миров, водворил слово на вершины земного и неземного царств. И снова громовым голосом он спросил:

— Что может быть выше слова?!

Исполненный гордости, он огляделся вокруг. Никто не ответил ему. Пундорик медленно сел. Пандиты воскликнули: «Браво! Браво! Слава! Слава!» Раджа был поражен, а Шекхор почувствовал себя совсем ничтожным перед такой ученостью. Так окончился первый день состязания.

3

На следующий день Шекхор спел чудесную мелодию, будто в священных рощах Вриндавана зазвучала флейта Кришны. Пастушки — будущие подруги его сердца — еще не знают, кто играет и откуда доносятся эти волшебные звуки. Казалось, они летят с юга; но вот флейта зазвучала на севере, на вершинах Говардхана; затем почудилось, что кто-то стоит на востоке, там, где восходит солнце, и зовет к себе; в следующий миг звуки полились уже с запада: кто-то рыдал в разлуке. Казалось, звуки флейты доносятся с каждой волны Джамуны, с каждой звезды небосвода. Наконец флейта зазвучала повсюду: в рощах, на дорогах и спусках к реке, в цветах и плодах, на воде и на суше, вверху и внизу. Никто не мог понять того, что говорит флейта. Никто не мог решить, что хочет сказать сердце в ответ флейте. Только на глаза набегали слезы, и душа трепетала в стремлении к прекрасной неземной жизни.

Забыв о слушателях, о радже, забыв о себе и противнике, о славе и бесславии, о победе и поражении, забыв обо всем, Шекхор стоял один в безлюдной роще собственной души и пел песню этой флейты. В мыслях его был только идеальный неземной образ. В ушах звучали лишь браслеты на нежных ногах. Поэт смолк. Он словно лишился сознания. Беспредельная нежность и огромное всепоглощающее чувство разлуки, казалось, заполнили собой весь дворец. Никто не в силах был произнести ни слова похвалы.

Но вот все немного успокоились, и перед троном снова встал Пундорик. Он спросил:

— Что такое Радха? Что такое Кришна? — и посмотрел на всех окружающих. Затем, взглянув на своих поклонников, великан усмехнулся и снова спросил: — Что такое Радха? Что такое Кришна? — И сам стал отвечать на свой вопрос, блистая необычайной ученостью.

Он показал, какое множество значений имеют слова «радха» и «кришна». «Радха»,— сказал он,— символ божества, «кришна» — система умосозерцания, а «вриндаван» — не что иное, как точка, находящаяся между бровями. Пундорик ничего не забыл: артерию с левой стороны спинного хребта, спинной нерв, трубчатую вену, пуповину, сердце, ноздри. Он показал, какое множество значений имеют слоги «ра» и «дха», сколько самых различных значений может иметь каждая буква — от «к» до «а» — в слове «кришна», и начал перечислять

их. «Кришна», мол, означает жертву, приносимую огню, а «радха» — огонь. Он утверждал, что «кришна» — священное писание, а «радха» — философская система. Затем он заявил, что «кришна» — это обучение, а «радха» — наставление; «радха» — спор, ответ и возражение, а «кришна» — вывод, заключение и победа. Сказав это, он посмотрел на раджу и пандитов. Затем со злой усмешкой взглянул на Шекхора и сел.

Раджа был очарован необыкновенными способностями деканского поэта, удивлению пандитов не было границ. В новых и новых толкованиях слов «радха» и «кришна» совершенно исчезли песня флейты, шум Джамуны, величие любви; словно кто-то стер с земли зеленые краски весны и залепил ее всю священным кизяком почитаемых коров. Шекхору все песни, которые он сочинял до сих пор, показались ничтожными перед величием Пундорика. Он не мог больше петь их. Так окончился второй день состязания.

4

На третий день Пундорик продемонстрировал свое удивительное искусство манипуляции словами. Он делал различные словесные построения, блистая употреблением всякого рода синонимов, эпитетов, аллитераций, афоризмов, загадок. Приводил цитаты из разного рода сочинений и писаний. Он поразил всех своим умением пользоваться приемами риторики и знанием законов фонетики и морфологии.

Слова и художественные приемы в стихах Шекхора были совсем простыми. Люди употребляли их повседневно, в радости и горе, в праздник и в будни. Теперь всем было ясно, что Шекхор не обладает каким-то особенным мастерством,— будь у них время, они тоже могли бы сочинять, и не делают этого лишь потому, что не привыкли, не имеют свободного времени или просто не хотят. Слова в его стихах простые и привычные. Они ничему не учат, не обогащают. А то, что они услышали сегодня,— удивительно, в том, что слышали вчера, есть глубокие мысли и много поучительного. Перед ученостью и мастерством Пундорика их собственный поэт казался совсем заурядным человеком, мальчишкой.

Рыба ударом хвоста создает скрытое течение в воде, лотос на поверхности водоема чувствует каждый удар — так и Шекхор ощутил сердцем настроение людей, окружавших его.

Сегодня последний день состязания, сегодня будет решено, кто победил, а кто потерпел поражение. Раджа бросил взгляд на своего поэта, словно хотел сказать: «Сегодня нельзя не ответить. Ты должен приложить все усилия».

Шекхор устало поднялся.

— О богиня Сарасвати! — воскликнул он.— О белорукая! Если ты сегодня покинула свои божественные покои и присутствовала здесь, на арене битвы, скажи, какая судьба ожидает тех, кто почитает тебя, поклоняется твоим стопам, жаждет напитка бессмертия?

Он сказал это очень печально, глядя на окна царских покоев, словно там, потупив взор, стояла сама белорукая Сарасвати.

Тогда Пундорик громко рассмеялся и быстро сочинил каламбур из четырех последних букв в слове «шекхор». Он сказал:

— Что общего между лотосом и ослом?[1] И какие плоды пожала упомянутая персона, столь усердно занимающаяся стихами и песнями? К тому же обитель Сарасвати, как известно,— лотос. С разрешения махараджи, я хотел бы спросить, в чем провинилась богиня, за что оскорбили ее, заставив воссесть на осла.

Пандиты громко рассмеялись, услышав этот каламбур. Глядя на них, начали смеяться все присутствующие, хотя многие из них не поняли насмешки Пундорика.

Ожидая достойного ответа, раджа снова и снова поднимал взор на Шекхора. Он торопил его, пронзая острым, причиняющим нестерпимую боль взглядом. Но Шекхор не обращал на это внимания и продолжал неподвижно сидеть.

Тогда рассерженный раджа спустился с трона и, сняв с себя жемчужное ожерелье, надел его на Пундорика.

— Слава! Слава! — закричали все присутствующие.

Из отдаленных покоев на мгновение донесся звон браслетов,— услышав его, Шекхор тотчас же поднялся и медленно вышел из зала.

5

Черная, безлунная ночь. Южный ветер, щедрый друг всей вселенной, проникает через открытые окна, неся запах цветов.

Шекхор снял книги с полки, грудой положил их перед собой. Затем отобрал свои сочинения — обильные плоды много-

---

[1] Пундорик — лотос; кхор — осел *(бенг.)*.

дневного труда. Многие из своих стихотворений он почти забыл. Поэт начал листать страницы и читать отдельные строки. Сегодня все это казалось ему незначительным.

Горько вздохнув, он сказал:

— И это плоды всей жизни! Несколько слов, размеров, рифм!

Сегодня он не увидел в стихах никакой красоты, не нашел в них вечной радости жизни. Ни отзвука песен вселенной, ни глубокого проявления своей собственной души не ощутил он в них. Он отбрасывал все, что попадало под руку, как отталкивает больной всякую пищу. Дружба с раджей, слава, порывы души, мечты — все в эту темную ночь казалось ему пустым и ничтожным.

Поэт начал рвать свои сочинения и бросать их в огонь. Вдруг его осенило. Горько усмехаясь, он проговорил:

— Великие раджи приносят коня в жертву огню, а я приношу в жертву свою поэзию.

Но он тут же понял, что сравнение неуместно. «Коня приносят в жертву в честь победы, а я потерпел поражение. Уж лучше бы я раньше отдал стихи мои богу огня!»

И он одну за другой сжег свои книги. Когда пламя ярко вспыхнуло, поэт вскинул вверх руки и, потрясая ими, воскликнул:

— Отдал тебе, тебе, тебе, о прекрасное пламя! Я все отдал тебе и сегодня приношу последнюю жертву. Долго ты, в ком воплотилась богиня-волшебница, горело в моей груди! Будь я из золота, я засиял бы. Но, богиня, я всего лишь ничтожная травинка — и потому превратился сегодня в пепел!

Была поздняя ночь. Шекхор распахнул все окна. Еще вечером собрал он в саду свои любимые цветы, все белые — жасмин, бел и гандхарадж. Он положил их пучками на чистое ложе. В четырех углах комнаты зажег светильники.

Затем он смешал ядовитый сок растения с медом, выпил. Лицо его было спокойно. Поэт медленно подошел к ложу, лег. Тело замерло, глаза закрылись.

Зазвенели браслеты. Вместе с южным ветром в комнату проник нежный запах женских волос.

Не открывая глаз, поэт воскликнул:

— О богиня, прошло так много времени! Неужели ты смилостивилась к своему почитателю? Неужели наконец навестила меня?

И он услышал мягкий, ласковый голос:

— Поэт, я пришла.

Шекхор вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стояла прекрасная юная девушка.

Он не мог ясно различить ее черты — приближающаяся смерть затуманивала глаза. Ему лишь почудилось, что в предсмертный час на него пристально смотрит та, чей призрачный образ жил в его сердце.

— Я Опораджита,— сказала девушка.

Поэт собрал все свои силы и приподнялся.

— Раджа поступил несправедливо. Победил ты, поэт. И я пришла отдать тебе гирлянду победы.

С этими словами Опораджита сняла с себя гирлянду из цветов, которую она сплела собственными руками, и надела ее на Шекхора. Сраженный смертью, поэт упал на ложе.

1892

КАБУЛИВАЛА

Моя маленькая пятилетняя дочка Мини минуты не могла посидеть спокойно. Едва ей исполнился год, она уже научилась говорить, и с тех пор, если только не спала, была просто не в состоянии молчать. Мать часто бранила ее за это, и тогда Мини умолкала, но я не мог так поступать с ней. Молчание Мини казалось мне настолько противоестественным, что долго я его не выдерживал, поэтому со мной девочка беседовала особенно охотно.

Как-то утром сел я было за семнадцатую главу моей повести. Но тут вошла Мини и начала:

— Папа, наш сторож Рамдоял называет ворону — каува! [1] Он ведь ничего не знает, правда?

Я хотел объяснить ей, что в разных языках все вещи называются по-разному, но она тут же стала болтать о другом:

— Знаешь, папа, Бхола говорит, что на небе слон выливает из хобота воду и от этого идет дождь. И как это Бхола могла такое сказать?! Ей бы только болтать. День и ночь болтает! — И, не ожидая, пока я выскажу свое мнение на этот счет, вдруг спросила: — Папа, а кто тебе мама?

«Свояченица»,— хотел было я сказать, но решил не шутить.

---

[1] К а у в а — ворона *(хинди)*.

— Иди поиграй с Бхолой, Мини. Я сейчас занят.

Но она не ушла, а села у моих ног, возле письменного стола, и быстро, быстро стала нараспев приговаривать «агдум-багдум», похлопывая в такт по коленям. А в это время в моей семнадцатой главе Протапшинхо вместе с Канчонмалой темной ночью прыгнул в воду из высокого окна темницы.

Окна моего кабинета выходили на улицу. Вдруг Мини бросила свое «агдум-багдум», подбежала к окну и закричала:

— Кабуливала, эй, кабуливала!

По дороге усталой походкой шел высокий афганец. Одет он был в широкое грязное платье, на голове — чалма, за плечами — мешок, а в руках — штук пять коробов с виноградом. Трудно предположить, какие мысли зародились в головке моей проказницы, когда она позвала его. Я же подумал: «Вот теперь явится это злосчастье с мешком за плечами, и моя семнадцатая глава так и останется незаконченной».

Но когда афганец обернулся на зов Мини и, широко улыбаясь, направился к нашему дому, она со всех ног бросилась на женскую половину. Мини была убеждена, что в мешке у афганца можно обнаружить двух-трех таких же ребятишек, как она, стоит только немного порыться в нем.

Афганец подошел к дому и с улыбкой поклонился мне. Я подумал, что, хотя положение Протапшинхо и Канчонмалы весьма критическое, мне все же следует что-нибудь купить у человека, раз уж его позвали.

Я купил у него немного фруктов. Потом мы побеседовали. Поделились своими соображениями насчет политики Абдур Рахмана, русских, англичан.

Наконец он поднялся, собираясь уходить, и спросил:

— Бабу, а куда убежала твоя дочка?

Я решил рассеять напрасные страхи Мини и позвал ее. Но, прижимаясь ко мне, трусишка подозрительно глядела на афганца и его мешок.

Рохмот достал из мешка горсть кишмиша и сухих абрикосов и протянул ей, но она не взяла угощения, еще подозрительнее посмотрела на него и крепче прижалась к моим коленям. Так состоялось их первое знакомство.

Как-то утром спустя несколько дней я вышел по своим делам из дому. Моя дочурка сидела на скамейке возле двери и оживленно болтала о чем-то. И рядом, на земле, я увидел того афганца; он с улыбкой слушал ее, вставляя время от времени свои замечания на ломаном бенгальском языке. За весь пятилетний жизненный опыт Мини еще не случалось иметь такого

терпеливого слушателя, не считая отца. Тут я заметил, что подол ее полон кишмиша и миндаля.

— Зачем ты ей дал это? Больше не делай так,— сказал я афганцу и, вынув из кармана полрупии, протянул ему. Он не смутился, взял деньги и опустил их в мешок.

Вернувшись домой, я увидел, что эти полрупии подняли шум на целую рупию.

Мать Мини держала в руке белый блестящий кружочек и строго спрашивала девочку:

— Где ты взяла эти деньги?

— Кабуливала дал.

— Как ты посмела их взять?

Мини готова была расплакаться.

— Я не брала, он сам дал.

Спасая Мини от грозящей беды, я увел ее из комнаты.

Оказалось, это была не вторая встреча Мини с афганцем. Все это время он приходил почти ежедневно и взятками в виде миндаля и фисташек завоевал ее маленькое жадное сердечко.

Я узнал, что у них были свои забавы и шутки. Так, едва завидев Рохмота, Мини, смеясь, спрашивала его:

— Кабуливала, а кабуливала, что у тебя в мешке?

— Сло-он,— смешно гнусавил Рохмот.

Шутка была немудреная, но обоим становилось весело. Да я и сам радовался, слушая в осенние утра простодушный смех этих двух детей — взрослого и совсем ребенка.

Было у них еще одно развлечение. Рохмот говорил Мини:

— Смотри, малышка, никогда не ходи в дом свекра.

В бенгальских семьях девочки с самых ранних лет приучаются к словам «дом свекра», но мы, люди до некоторой степени современные, не знакомили Мини с этим понятием. Поэтому она не могла уразуметь просьбы Рохмота. Однако не в характере девочки было молчать, когда ее о чем-нибудь спрашивали, и она, в свою очередь, интересовалась:

— А ты пойдешь в дом свекра?

— Я его изобью,— грозил Рохмот воображаемому свекру увесистым кулаком. И, представляя себе, в какое смешное положение попадет незнакомое ей существо, называемое свекром, Мини звонко смеялась.

Осень. Чудесная пора! Цари древности в это время года отправлялись покорять мир. Мне никогда не приходилось выезжать из Калькутты, и я приучил себя мысленно бродить по вселенной. Словно узник, прикованный цепями, я постоянно тосковал по вольному миру. Стоило мне услышать название какой-ни-

будь страны, как я в мыслях своих переносился туда; стоило повстречать чужестранца, и в воображении моем возникала хижина у реки среди гор и лесов, рисовались картины радостной и привольной жизни.

Но я так привык ко всему, что меня окружало! Казалось, обрушится весь мой небольшой мир, если я покину свой угол. Вот и теперь беседы с афганцем, которые мы вели по утрам в моем маленьком кабинете, вполне заменяли мне путешествия. Низким раскатистым голосом на нескладном бенгальском языке рассказывал он о своей стране; и перед моими глазами, как в калейдоскопе, возникали высокие, почти неприступные горы, бурые, обожженные солнцем; меж волнами этих громад протянулась узкая пустынная дорога, медленно движется по ней караван верблюдов, купцы в тюрбанах и проводники — кто на верблюде, кто пешком, одни с копьями, у других старинные кремневые ружья.

Мать Мини боялась всего на свете. Услышит шум на улице, и уже ей кажется, что на наш дом нападают толпы пьяных бродяг. Всю жизнь (правда, не очень долгую) ей мерещились воры, разбойники, пьяницы, змеи и тигры, ядовитые насекомые, тараканы и солдаты и еще малярия, не менее опасный враг.

Тревожили мать Мини также частые посещения Рохмота. Не раз просила она меня получше присматривать за ним. Я смеялся над ее подозрениями, но она не уступала.

— Разве не похищают детей? Разве в Афганистане нет рабства? Разве не может этот великан афганец украсть ребенка?

Я соглашался с ней, но говорил, что в данном случае страхи ее совершенно напрасны. Однако убедить ее было трудно. И все же я не мог запретить Рохмоту приходить к нам.

Каждый год в средине месяца магх Рохмот отправлялся на родину. К этому времени он спешил собрать все долги. У него не оставалось ни одной свободной минуты, но он никогда не забывал заглянуть к Мини. Во время этих встреч оба они принимали вид заговорщиков. Если Рохмот почему-либо не мог прийти утром, он заходил вечером. Бывало, увидишь при сумеречном освещении комнаты высоченную фигуру в длинной рубахе и широких штанах, всю увешанную мешками, и в самом деле становится не по себе. Но прибегала Мини, смеясь и крича: «Кабуливала, а кабуливала!», начинались бесхитростные шутки, веселый смех, и на сердце у меня становилось светлее.

Однажды утром я сидел в своем кабинете за корректурой. Последние зимние дни выдались особенно холодными, стояла настоящая стужа. Через окно в комнату падали лучи солнца и

ложились под стол мне на ноги. Мягкое тепло их приятно согревало.

Было около восьми часов. Почти все люди, которые еще на заре, повязав голову шарфом, вышли на утреннюю прогулку, уже вернулись домой.

Вдруг на улице послышался шум. Я посмотрел в окно и увидел, как двое стражников ведут связанного Рохмота. За ними бежала толпа любопытных ребятишек. На одежде Рохмота были следы крови, а в руках у одного из стражников — окровавленный нож. Я вышел из дому, остановил стражника и спросил, что случилось.

Сначала от него, а затем и от самого Рохмота я узнал, что наш сосед задолжал Рохмоту за рампурскую шаль, но потом отказался от своего долга. Разгорелась ссора, во время которой Рохмот всадил в лгуна нож. И вот теперь он шел и ругал лжеца на чем свет стоит.

В это время из дому выбежала Мини.

— Кабуливала, эй, кабуливала!

Мгновенно лицо Рохмота расцвело радостной улыбкой. Сегодня за плечами у него не было мешка, поэтому между ними не могло произойти обычного разговора. Мини лишь спросила:

— Ты пойдешь в дом свекра?

— Да, да. Как раз туда я и иду! — засмеялся Рохмот.

Но ответ его не рассмешил Мини. Тогда Рохмот сказал, показывая взглядом на свои руки:

— Я бы побил свекра, да вот руки связаны.

Рохмота обвинили в убийстве и на несколько лет посадили в тюрьму.

За обычными, повседневными делами я забыл о нем и ни разу не вспомнил, что все это время Рохмот, свободный житель гор, томится за решеткой.

А поведение Мини (это приходится признать и ее отцу), непостоянной Мини, было просто позорно. Она легко забыла своего старого друга, сменив его на конюха Ноби. Но чем старше она становилась, тем чаще друзей заменяли подруги. Теперь ее нельзя было увидеть даже в комнате отца. Мы отдалились друг от друга.

Минуло несколько лет. Снова наступила осень. Пришла пора выдавать Мини замуж. Свадьбу решили сыграть во время праздника Дурги. Вместе с обитательницей Кайласы радость моя должна была покинуть родительский дом, погрузив его во мрак, и уйти к мужу.

Утро занялось прекрасное. Умытое дождями, солнце сияло, как расплавленное золото. Даже грязным, облупившимся домишкам, которые теснились в переулках Калькутты, его лучи придавали особую прелесть.

Уже с рассветом в доме зазвучала флейта. Казалось, стоны ее вырываются из моей груди. Печальная мелодия и боль предстоящей разлуки заслонили собою весь мир, так чудесно озаренный лучами осеннего солнца. Да... сегодня Мини выходит замуж.

С самого утра дом был полон шума, говора, одни приходили, другие уходили. Во дворе строили навес из бамбука. Звенели люстры, которыми украшали все комнаты и веранду.

Я сидел у себя в кабинете и просматривал счета, когда вошел Рохмот.

Сначала я не узнал его. Мешка за плечами не было, длинные волосы острижены, не чувствовалось в нем и былой бодрости. Только улыбка осталась прежней.

— О, это ты, Рохмот? Откуда ты явился?

— Вчера вечером меня выпустили из тюрьмы.

Сердце мое болезненно сжалось. Я никогда раньше не видел так близко убийц, и мне не хотелось, чтобы в такой счастливый день этот человек был среди нас.

— Сегодня мы все заняты, Рохмот. Мне некогда разговаривать с тобой.

Он тотчас повернулся и пошел из комнаты, но в дверях остановился и нерешительно спросил:

— А можно мне повидать девочку?

Рохмот, очевидно, думал, что Мини все такая же, как раньше. Казалось, он даже ждал, что она сейчас вбежит с криком: «Кабуливала, эй, кабуливала!» — и все будет так, как во время их прежних веселых встреч. В память о старой дружбе он даже захватил корзинку винограда и немного кишмиша и миндаля, завернутых в бумагу. Наверно, выпросил все это у приятеля-земляка,— своего-то у него ничего теперь не было.

— Сегодня все в доме заняты,— повторил я.

Ответ мой, видно, огорчил Рохмота. Он постоял некоторое время молча, пристально глядя на меня, и наконец произнес:

— Салам, бабу!

На душе у меня стало как-то нехорошо. Я хотел позвать его, как вдруг он сам вернулся.

— Вот виноград и немного кишмиша с миндалем. Это для девочки. Отдайте ей.

Я взял фрукты и хотел заплатить ему, но он схватил меня за руку.

— Вы очень добры. Я всегда буду помнить это. Но не надо денег... Бабу, у меня дома такая же девочка, как у тебя... Я приносил немного сладостей твоей дочке, а думал о своей... Я не торговать приходил...

Он сунул руку в складки своей широкой одежды, вытащил грязную бумажку и, бережно развернув ее, положил передо мною на стол.

Я увидел отпечаток маленькой детской руки. Это была не фотография, не портрет, нет, это был просто отпечаток руки, намазанной сажей. Каждый год Рохмот приходил в Калькутту торговать фруктами и всегда носил на груди этот листок. Ему казалось, будто нежное прикосновение детской ручки согревает его страдающую душу.

На глаза у меня навернулись слезы. Я забыл, что он — торговец фруктами из Кабула, а я — потомок благородного бенгальского рода. Я понял, что мы равны, что он такой же отец, как и я.

Отпечаток руки маленькой жительницы гор напомнил мне о моей Мини. Я тотчас приказал позвать ее из внутренних комнат. Там запротестовали, но я ничего не хотел слушать. Одетая в красное шелковое сари, как и подобало невесте, с сандаловыми знаками на лбу, Мини стыдливо подошла ко мне.

Увидев ее, афганец растерялся. Он совсем иначе представлял себе их встречу после стольких лет разлуки. Наконец он улыбнулся и спросил:

— Маленькая, ты идешь в дом свекра?

Теперь Мини понимала значение этих слов. Она не ответила на вопрос Рохмота, как бывало раньше, а смутилась, покраснела и отвернулась. Я вспомнил первую встречу Мини с афганцем, и мне стало грустно.

Когда Мини ушла, Рохмот, тяжело вздохнув, опустился на пол. Он вдруг ясно понял, что и его девочка за эти годы выросла, что и ему предстоит новая встреча и он не увидит свою дочку такой, какой оставил. Кто знает, что произошло за эти восемь лет!

Мягко светило осеннее утреннее солнце. Пела флейта. Рохмот сидел здесь, в одном из переулков Калькутты, и видел перед собой пустынные горы Афганистана.

Я дал ему денег.

— Возвращайся домой, Рохмот, и пусть твоя радостная встреча с дочерью принесет счастье моей Мини.

Мне пришлось несколько урезать расходы на празднество. Я не смог зажечь столько электрических ламп, сколько хотел, не пригласил оркестра. Женщины выражали неудовольствие. Зато праздник в моем доме был озарен светом счастья.

1892

СВЕТ И ТЕНИ

1

Вчера весь день шел дождь. Сегодня дождь перестал, и кажется, будто солнце и разорванные облака попеременно водят длинной кистью по полям почти зрелого раннего риса. От прикосновения света широкое зеленое полотно вспыхивает яркой белизною, но уже в следующее мгновение все покрывается густой тенью.

На небесной сцене всего два актера — облако и солнце, каждый из них исполняет свою роль, но не счесть, в скольких местах и сколько пьес разыгрывается одновременно на сцене земли.

Там, где над небольшой пьеской из жизни мы подняли занавес, у края деревенской дороги стоит дом, окруженный ветхой оградой. Только в одной из его комнат, той, что выходит на улицу, стены кирпичные. В остальных — стены глиняные. С улицы сквозь оконную решетку видно, что на кушетке сидит полуобнаженный юноша, он погружен в чтение книги, которую держит в правой руке, в левой у него пальмовый лист: время от времени он обмахивается им, спасаясь от зноя и мошкары.

Перед окнами прохаживается девочка в полосатом сари, она ест сливы, которые одну за другой вынимает из поднятого края сари. По выражению ее лица видно, что она хорошо знакома с юношей, который сидит на кушетке с книгой; ей хочется любым способом привлечь его внимание и своим молчаливым пренебрежением дать ему почувствовать, что сегодня она всецело занята сливами и не замечает его.

Но, к несчастью, прилежный молодой человек близорук, и молчаливое пренебрежение девочки не оказывает на него никакого действия. Девочка, вероятно, знает об этом, потому через некоторое время перестает ходить взад-вперед и начинает пригоршнями бросать сливы в окно. Когда имеешь дело со слепым, трудно сохранить чувство собственного достоинства!

Вот несколько слив будто случайно стукнулись о деревянную дверь, молодой человек поднял голову. Хитрая девочка догадалась об этом и с удвоенным вниманием принялась выбирать спелые сливы. Молодой человек прищурился и, присмотревшись, узнал девочку; он отложил книгу, подошел к окну и, улыбаясь, позвал:

— Гирибала!

Но Гирибала сосредоточенно перебирала сливы и, поглощенная этим занятием, стала медленно удаляться от дома.

Близорукому юноше нетрудно было понять, что это наказание за какое-то неумышленно совершенное им преступление. Он выбежал на улицу:

— Эй, Гирибала, что ж, сегодня мне слив не будет?

Не обращая на него внимания, Гирибала взяла сливу, внимательно ее обследовала и с невозмутимым видом отправила в рот.

Эти сливы были из сада Гирибалы и являлись ежедневной данью юноше. Кто знает, может быть, сегодня Гирибала забыла об этом, во всяком случае, ее поведение ясно говорило о том, что сегодня угощать юношу она не собирается. Но зачем же тогда она ест сливы под чужим окном? Молодой человек подошел к девочке и взял ее за руку. Изогнувшись, Гирибала попыталась высвободить руку, но тут у нее из глаз брызнули слезы, и, бросив сливы на землю, она вырвалась и убежала.

К вечеру игра солнца и облаков прекратилась, белые пушистые тучки собрались на краю неба, и лучи заходящего солнца заблестели на листьях деревьев, на поверхности пруда, на каждой частице умытой дождями природы. И снова перед решетчатыми окнами ходит та же девочка, а в комнате сидит все тот же молодой человек. Однако теперь у девочки в сари нет слив, а в руке у юноши нет книги. Впрочем, произошли и некоторые другие, более значительные изменения.

Трудно сказать, с какой целью разгуливает девочка на этот раз. Но, кажется, ей вовсе не хочется завязать разговор с юношей, сидящим в комнате. Скорее она пришла посмотреть, не пустили ли ростки сливы, брошенные ею утром.

Ростки не появились главным образом потому, что теперь сливы лежали на кушетке перед юношей, и, когда девочка, время от времени наклоняясь, разыскивала какие-то невидимые, воображаемые предметы, юноша, смеясь про себя, с серьезным видом выбирал сливы одну за другой и усердно их уничтожал. Но вот несколько косточек, как будто случайно, упали около девочки и даже ударили ее по ногам. Гирибала поняла, что

юноша мстит ей за ее пренебрежение. Но разве это хорошо! Разве не жестокость — создавать препятствия на ее таком трудном пути, в то время как она, подавив всю гордость своего маленького сердца, искала предлога, чтобы помириться. Пришла, чтобы уступить ему! Кровь прилила к щекам девочки, она стала думать, под каким бы предлогом убежать, но в это время юноша вышел из дому и взял ее за руку.

Так же, как утром, девочка попыталась вырвать руку, но теперь она не плакала. Наоборот, покраснев и спрятав голову за спину своего притеснителя, она вдруг громко рассмеялась, а потом, словно подчинившись его силе, вошла в дом, будто пленница в темницу.

Как на небе обычна игра солнца и облаков — так естественна и непостоянна игра этих двух существ на земле. Но так же, как игра солнца и облаков необычна, пожалуй, это даже не игра, а подобие игры, так и коротенькая история этих двух неизвестных людей в праздный осенний день не похожа на сотни происшествий, случающихся в человеческом обществе, хотя кажется точно такой же. Тот древний великий невидимый бог, который с невозмутимым ликом сплетает с вечностью вечность, в те памятные утро и вечер заронил в смех и слезы девочки семена счастья и горя на всю жизнь. Тем не менее эта беспричинная обида казалась совершенно непонятной не только зрителям, но и главному герою пьесы — вышеупомянутому юноше. Нелегко было понять, почему девочка то сердится, то проявляет бесконечную нежность, то увеличивает ежедневные приношения, то вообще прекращает их. Сегодня она пускает в ход все свое воображение, ум и способности, стараясь доставить юноше удовольствие, а завтра призывает на помощь всю свою силу и твердость, чтобы уязвить его. Если девочка не в силах причинить ему неприятность, настойчивость ее увеличивается вдвое, когда же ей это удается, твердость ее разбивается на сотни кусочков, растворяется в слезах, превращаясь в поток бесконечной нежности.

Первая незначительная история этой маленькой игры солнца и облака коротко излагается в следующей главе.

2

Все жители деревни разделены на враждебные группы. Они ведут интриги друг против друга и выращивают сахарный тростник, пишут ложные доносы и торгуют джутом. Своими

чувствами и литературой занимаются только Шошибхушон и Гирибала.

Их дружба ни у кого не вызывает удивления или любопытства, потому что Гирибале всего десять лет, а Шошибхушон недавно получил звание магистра искусств и бакалавра прав. Они соседи.

Отец Гирибалы, Хоркумар, когда-то арендовал землю в родной деревне, но потом впал в нужду, распродал все, что у него было, и поступил служить наибом к своему заминдару, который сам никогда в деревне не жил. Деревня Хоркумара входила в округ, где он собирал арендную плату, так что переселяться ему не пришлось.

Получив звание магистра искусств, Шошибхушон выдержал экзамен и по юриспруденции, но никаким делом не занялся. Он ни с кем особенно не сближался, а если встречался с людьми или бывал на собраниях, то не произносил и двух слов. Из-за близорукости он никого не узнавал и вечно щурился, а люди считают это признаком высокомерия.

Если человек живет одиноко, погруженный в собственные мысли, в таком людском море, как Калькутта, это придает ему особую значительность, но в деревне подобное поведение расценивается совсем иначе.

Когда все усилия заставить Шошибхушона работать ни к чему не привели, отец привез его в деревню и поручил ему следить за хозяйством. Шошибхушону пришлось выслушать немало насмешек и упреков от деревенских жителей. И этому была своя причина: Шошибхушон любил покой, тишину и потому не хотел жениться, а обремененные дочерьми родители видели в его нежелании нестерпимый эгоизм, который никак не могли ему простить.

Однако, чем сильнее надоедали Шошибхушону, тем большим домоседом он становился. Обычно он сидел на кушетке в одной из угловых комнат, а вокруг него были разбросаны английские книги, которые он читал, когда вздумается. В этом, собственно, и заключалась его работа. А хозяйство, думал он, и без него как-нибудь обойдется.

Как мы уже говорили, единственным человеком, с которым юноша поддерживал отношения, была Гирибала.

Братья Гирибалы учились в школе и часто, вернувшись домой, спрашивали свою глупую сестренку о том, какой формы земля или что больше: земля или солнце. Когда же она давала неверные ответы, они с презрением поправляли ее. Очевидность противоречит тому, что солнце больше земли, но стоило Гири-

бале высказать свои соображения на этот счет, как братья с еще большим презрением заявляли:

— Какая умная! Так в книге написано, а ты...

Услышав, что так написано в книге, пораженная Гирибала умолкала,— больше ей не требовалось никаких доказательств.

Ей очень хотелось самой научиться читать. Иногда она садилась в своей комнате, брала книгу, раскрывала ее, начинала бормотать, делая вид, что читает, и быстро листала страницы.

Маленькие непонятные черные буквы стояли рядами, как стража у ворот в таинственный мир, подняв над головой значки для «и», «ой» и «р», и не отвечали ни на один вопрос Гирибалы. «Котхамала» не говорила изнывающей от любопытства девочке ни слова из своих сказок о тигре и шакале, осле и лошади, а «Акхенмончжори» со своими историями смотрела на нее так, словно дала обет молчания.

Гирибала попросила братьев поучить ее читать, но они и слышать об этом не хотели. А Шошибхушон помог ей.

Вначале Шошибхушон был для Гирибалы таким же непонятным и таинственным, как «Котхамала» и «Акхенмончжори». В маленькой комнате с железными решетками на окнах, окруженный книгами, сидел юноша. Гирибала стояла на улице и, ухватившись за решетку, с изумлением смотрела на этого необыкновенного, погруженного в чтение человека; судя по количеству книг, которые лежали возле юноши, он был намного ученее ее братьев. А это казалось совершенно непостижимым. Гирибала нисколько не сомневалась в том, что Шошибхушон с начала до конца прочел «Котхамалу» и другие самые важные на свете книги. Шошибхушон переворачивал страницу за страницей, а Гирибала стояла неподвижно, тщетно стараясь определить границы его знаний.

В конце концов близорукий Шошибхушон обратил внимание на девочку. Однажды он раскрыл книгу в ярком переплете и сказал ей:

— Гирибала, иди, я покажу тебе картинки!

Гирибала тотчас убежала.

Но на следующий день она снова надела полосатое сари, пришла к окну и с тем же молчаливым вниманием стала наблюдать за юношей. Шошибхушон опять позвал ее, и опять она, тряхнув косичками, убежала.

Так завязалось их знакомство, но необходимо специальное историческое исследование, чтобы рассказать, как это знакомство перешло в дружбу, когда девочка наконец оторвалась от

решетки, вошла в комнату Шошибхушона и заняла место на его кушетке среди груды книг.

Шошибхушон учил Гирибалу не только читать, но и писать. Все, однако, стали бы смеяться, если бы узнали, что, кроме этого, он переводил своей маленькой ученице произведения великих поэтов и спрашивал ее мнение о них. Понимала ли что-нибудь девочка — известно одному всевышнему, но, без сомнения, ей это нравилось. Смешивая понятное с непонятным, ее детское воображение создавало прекрасные картины. Молча, широко раскрыв глаза, она внимательно слушала юношу, время от времени задавала совершенно неуместные вопросы или делала свои замечания. Шошибхушон никогда не мешал этому, ему доставляло большое удовольствие выслушивать мнение маленького критика о великих произведениях. Во всей деревне эта девочка была единственным человеком, который понимал его.

Когда Гирибала познакомилась с Шошибхушоном, ей было восемь лет, теперь ей уже десять. За два года она выучила английскую и бенгальскую азбуки и прочла несколько начальных книжек. Что же касается Шошибхушона, то эти два года жизни в деревне он не мог пожаловаться на одиночество.

3

Отношения между отцом Гирибалы, Хоркумаром, и Шошибхушоном складывались неблагоприятно. Сначала Хоркумар приходил к Шошибхушону — этому магистру и бакалавру — советовался по поводу различных тяжб и судебных процессов, но бакалавр не заинтересовался ими и не постеснялся признаться управляющему в своем невежестве по части юриспруденции. Тот решил, что это только отговорка. Так прошло около двух лет.

И вот однажды появилась необходимость усмирить одного непокорного арендатора. Наиб стал приставать к Шошибхушону с вопросами относительно жалобы, которую он собирался подать на арендатора за различные проступки, совершенные им в разных местах. Шошибхушон не только не дал ему никакого совета, но спокойно и решительно сказал Хоркумару несколько таких слов, которые никак не могли показаться тому лестными!

Хоркумар не выиграл ни одной тяжбы, затеянной против арендатора. Он был твердо уверен, что Шошибхушон помогал его противнику. И наиб дал себе слово выжить юношу из деревни.

По полю Шошибхушона стали бродить коровы, кто-то под-

жигал его бобы, с ним начали спорить о границах его участка, арендаторы стали задерживать арендную плату и даже собирались подать на него ложный донос; дело дошло до того, что пошли слухи, будто Шошибхушона изобьют, если он выйдет как-нибудь вечером на улицу, а ночью подожгут его дом.

В конце концов миролюбивый, спокойный Шошибхушон решил перебраться в Калькутту.

Он уже совсем было собрался ехать, когда в деревню прибыл окружной судья. Его посыльные, слуги, полицейские, собаки, лошади, конюхи взбудоражили всю деревню.

Дети, как стая шакалов, следующая за тигром, с любопытством и страхом толпились возле дома, в котором остановился судья.

Господин наиб, запоминая, как обычно, расходы, связанные с оказанием гостеприимства, снабжал судью курами, яйцами, маслом, молоком. Господин наиб старательно поставлял окружному судье пищу в размерах, значительно превышающих потребности, но когда однажды утром пришел подметальщик судьи и потребовал для собаки сахиба четыре сера масла, Хоркумар не выдержал. «Если собака сахиба и может без угрызений совести переварить масла намного больше, чем местные собаки, все же такое количество нежного продукта вредно для ее здоровья»,— сказал он подметальщику и не дал масла.

Подметальщик пожаловался своему господину, сказал, что он пошел к наибу узнать, где можно достать для собаки мяса, но наиб на глазах у всех прогнал его прочь за то, что он низшей касты, и пренебрежительно отозвался о самом сахибе.

Кастовая гордость брахманов, естественно, невыносима для сахибов, а тут еще наиб осмелился оскорбить его подметальщика, этого судья уж никак не мог стерпеть и тотчас отдал приказ: «Позвать управляющего!»

Весь дрожа, повторяя про себя имя Дурги, Хоркумар явился к дому сахиба. Вышел судья.

— Почему ты прогнал моего подметальщика? — громко спросил он по-бенгальски с английским акцентом.

Хоркумар, сложив руки, торопливо сообщил сахибу, что он никогда не мог бы позволить себе такой наглости; правда, вначале, заботясь о благе четвероногого, он вежливо отказался дать масла для собаки, но потом послал людей собрать те четыре сера, которые просил подметальщик.

Сахиб спросил, кого и куда он послал. Хоркумар немедля назвал первые пришедшие ему в голову имена. Сахиб приказал своим людям выяснить, правда ли это, а наиба задержал у себя.

После полудня посланные вернулись и сообщили, что никто никуда не ходил. У судьи не оставалось никакого сомнения в том, что все слова наиба ложь и что подметальщик сказал правду.

— А ну-ка возьми его за ухо да заставь обежать вокруг дома! — гневно крикнул судья подметальщику.

Тот, не теряя времени, на глазах у любопытных, столпившихся возле дома, выполнил приказ сахиба.

Весть о случившемся немедленно разнеслась по всей деревне. Придя домой, оскорбленный Хоркумар не мог даже есть и как мертвый повалился на постель.

Из-за его должности у него было много врагов, и это происшествие доставило им большую радость. Но когда обо всем узнал Шошибхушон, собравшийся в то время ехать в Калькутту, он пришел в негодование. Всю ночь юноша не мог заснуть.

На следующее утро он явился к Хоркумару. Тот схватил Шошибхушона за руку и в волнении заплакал.

— Судью нужно привлечь к ответственности за оскорбление. Я буду твоим защитником.

Услыхав, что нужно подать в суд на самого сахиба судью, наиб испугался. Но Шошибхушон не отступал.

Хоркумар попросил дать ему время на размышление. Но когда он узнал, что слух о его унижении распространился уже повсюду и что враги его ликуют, он решился и пришел за помощью к Шошибхушону.

— Бабу, я слышал, ты собираешься ехать в Калькутту. Не делай этого. Когда в деревне есть такой человек, как ты, мы чувствуем себя гораздо смелее. Во всяком случае, ты должен помочь мне смыть это оскорбление.

4

И вот, тот самый Шошибхушон, который вечно прятался от людей, сегодня сам явился в суд. Выслушав Шошибхушона, судья позвал его в свою комнату и очень почтительно предложил:

— Шоши-бабу, не лучше ли потихоньку уладить это дело?

Прищурившись, Шошибхушон внимательно посмотрел своими близорукими глазами на переплет лежавшего на столе Свода законов.

— Я не могу дать такой совет моему клиенту. Он был оскорблен публично. Как же это можно «уладить потихоньку»?

После недолгого разговора сахиб понял, что этого молчаливого и близорукого человека нелегко переубедить.

— Олл райт[1], бабу, посмотрим, что из этого выйдет!

Назначив день судебного разбирательства, судья вышел из комнаты.

Между тем окружной судья написал заминдару:

«Твой наиб оскорбил моего слугу и тем самым проявил непочтение ко мне. Надеюсь, ты примешь соответствующие меры».

Заминдар потребовал Хоркумара к себе, и тот рассказал ему все, что произошло. Заминдар страшно разгневался.

— Почему ты немедленно, без разговоров не дал подметальщику четыре сера масла? Ты что, разорился бы от этого?

Хоркумар не мог не согласиться, что это не нанесло бы его состоянию никакого ущерба, и, признав свою вину, добавил:

— Видно, звезды мне не благоприятствовали, поэтому я и совершил такую глупость.

— А кто тебе посоветовал подать жалобу на сахиба?

— Ваша милость! Я не хотел жаловаться. Это Шоши из нашей деревни. У него нет никакой судебной практики, и мальчишка сам, без моего согласия, затеял этот скандал.

Заминдар очень рассердился на Шошибхушона: этот новоиспеченный адвокат-бездельник готов на любую авантюру, только бы добиться известности! И заминдар приказал наибу немедленно умилостивить и местного и окружного судью и прекратить тяжбу.

Взяв с собой в качестве подарка фрукты, Хоркумар явился к окружному судье и заявил ему, что подавать на сахиба жалобу совершенно не в его характере. Это безусый молокосос-адвокат из их деревни по имени Шошибхушон, не сказав ему ни слова, позволил себе такую наглую выходку. Сахиб был возмущен поведением Шошибхушона и вполне удовлетворен извинениями наиба. Он сказал, что учинил ему наказание под влиянием гнева и теперь сожалеет об этом. Сахиб недавно с отличием выдержал экзамен по бенгальскому языку и теперь разговаривал с простыми людьми высоким стилем.

Наиб ответил, что он совсем не обижен,— ведь бывает же, что родители, рассердившись, наказывают детей, но потом снова обнимают и ласкают их!

Оделив подарками слуг окружного судьи, Хоркумар отправился к местному судье. Узнав о наглости Шошибхушона, судья сказал:

---

[1] Хорошо *(англ.)*.

— Я тоже был удивлен. Я всегда знал наиба-бабу как умного человека, и вдруг мне сообщают, что он не согласен уладить это дело и затевает тяжбу. Я ушам своим не поверил! Но теперь мне все понятно.

Под конец судья спросил наиба, не является ли Шоши членом Конгресса. Хоркумар, не моргнув глазом, ответил: «Да».

Сахибу, у которого был весьма своеобразный склад ума, стало ясно, что все это — дело рук Конгресса. Агенты Конгресса только и ищут случая как-нибудь спровоцировать скандал, а потом напечатать об этом в «Амрита базар» и начать перебранку с правительством. Он считал индийское правительство очень слабым и в душе осуждал его за то, что оно не дало в его руки власти, достаточной для того, чтобы одним ударом расправиться со всеми заговорщиками. А имя конгрессиста Шошибхушона судья запомнил.

5

Когда в мире происходят большие события, то и маленькие дела, словно жаждущие влаги растения, протягивают корешки, не упуская случая заявить о своих правах.

Пока Шошибхушон был занят делом Хоркумара, извлекал из пухлых томов законы, мысленно репетировал свою речь, вызывал свидетелей на перекрестный допрос, а потом, дрожа от волнения и обливаясь потом, представлял себя на открытом судебном процессе перед лицом огромной толпы зрителей и заранее наслаждался своим полным триумфом в сражении,— его маленькая ученица каждый день приходила в определенное время к дверям его дома, держа в руке истрепанный учебник, исписанную чернилами тетрадку и захватив с собой то фрукты, то цветы из своего сада, то сладости из кокосового ореха или маринад из кладовки матери, то ароматные, особо приготовленные специи.

В первые дни Шошибхушон рассеянно перелистывал страницы большой, мрачной книги без картинок, и Гирибале было совершенно ясно, что он читает ее без всякого интереса. Прежде, что бы он ни читал, он все старался объяснить Гирибале. Почему же теперь в этой толстой черной книге нет ни одного слова для нее! Неужели потому лишь, что эта книга такая большая, а она, Гирибала, совсем маленькая!

Сначала, чтобы привлечь внимание учителя, Гирибала пела, писала и во весь голос читала написанное, раскачиваясь при этом из стороны в сторону,— никакого результата. Она очень сердилась в душе на толстую черную книгу. Эта книга представлялась ей безобразным, злым, безжалостным существом. Каждая непонятная страница в ней казалась Гирибале лицом дурного человека, который смотрел на нее с немым презрением за то, что она маленькая. Если бы какой-нибудь вор украл эту книгу, она утащила бы из кладовой матери все сладости, чтобы наградить его. С какими только молитвами не обращалась она ко всевышнему, чтобы он уничтожил эту книгу. Но боги не услышали ее, и я не вижу никакой необходимости приводить здесь эти молитвы.

Тогда огорченная девочка решила несколько дней не ходить к учителю. Но однажды, чтобы выяснить, как это подействовало на Шошибхушона, Гирибала под каким-то предлогом прошла мимо его дома и украдкой заглянула в окно: Шошибхушон стоял посреди комнаты и, размахивая руками, обращался к железным прутьям решетки с речью на иностранном языке. Вероятно, он хотел испробовать на этом железе, удастся ли ему растопить сердце судьи. Знавший жизнь только по книгам, Шошибхушон думал, что если в прежние времена Демосфен, Цицерон, Бёрк, Шеридан и другие ораторы совершали чудеса своими речами, стрелами своих слов поражали несправедливость, обличали насилие, ниспровергали гордыню, то и в наш век, век торгашей, в этом нет ничего невозможного. Стоя в своем маленьком ветхом домишке в небольшой деревеньке, он представлял себе, как перед лицом всего мира пристыдит этого опьяненного властью высокомерного англичанина и заставит его раскаяться. Смеялись ли боги в небесах, слушая его, или слезы лились из их божественных глаз — никто не знает.

Поэтому он так и не заметил Гирибалу в тот день, слив у девочки тоже не было,— она разочаровалась в их действии. Теперь, если Шошибхушон с самым безобидным видом спрашивал: «Гири, сегодня слив не будет?» — ей казалось, что он смеется над ней, и девочка, коротко ответив: «Уходи»,— убегала. Итак, поскольку у нее не было слив, ей пришлось прибегнуть к хитрости. Внезапно она устремила взгляд вдаль и громко закричала:

— Шорно, подожди, я сейчас приду!

Читатель может подумать, что эта фраза относилась к какой-нибудь подруге, которая шла поодаль, но читательницы легко догадаются, что там никого не было, а тот, кому предна-

значались эти слова, находился рядом. Но, увы, слепой человек не понял этой хитрости. Шошибхушон не то чтобы не слышал слов девочки, он просто не понял их смысла. Он думал, что девочка собирается поиграть с подругой, и не хотел ее отвлекать, потому что в тот день он искал острые стрелы для некоторых сердец. Но как стрелы, пущенные маленькой рукой девочки, не попали по назначению, так не достигли цели и стрелы ученого человека,— читатели уже знают об этом.

У слив есть преимущество: если бросить подряд пять штук, одна непременно попадет в цель. Но сколь воображаемой ни была бы Шорно, оставаться на месте уже невозможно, когда крикнешь: «Я сейчас приду». Иначе, естественно, возникнут подозрения относительно существования Шорно. Поэтому Гирибале пришлось немедленно уйти. Но тем не менее по ее походке нельзя было заметить той радости, которая появляется при искреннем желании встретиться с подругой. Гирибала как будто старалась, не оглядываясь назад, почувствовать, идет кто-нибудь за ней или нет. Когда же поняла, что сзади никого нет, она, все еще надеясь на что-то, обернулась и, ничего не увидев, в отчаянии и досаде разорвала на мелкие кусочки и выбросила на дорогу растрепанный учебник, а вместе с ним и последнюю надежду. Если бы она могла вернуть Шошибхушону все знания, полученные от него, она швырнула бы их к нему под окно так же, как сливы. Девочка твердо решила, что, прежде чем она снова увидится с Шошибхушоном, она забудет все, чему он ее выучил. Он будет ее спрашивать, а она не сможет ответить ни на один вопрос. Ни на один, ни на один! Тогда он поймет!

Глаза Гирибалы наполнились слезами. Мысль о том, как огорчится Шошибхушон, когда узнает, что она все забыла, несколько успокоила ее измученное сердце, но, подумав о будущем несчастной Гирибалы, ставшей невеждой по вине Шошибхушона, она преисполнилась жалости к самой себе.

По небу плыли тучи — в сезон дождей такие тучи можно видеть каждый день.

Спрятавшись за деревом у края дороги, Гирибала плакала от обиды. Сколько девочек ежедневно проливают такие беспричинные слезы! В них нет ничего примечательного.

6

Для читателей не тайна, почему юридические изыскания и ораторские упражнения Шошибхушона оказались напрасными: жалоба, поданная на имя судьи, неожиданно была взята обрат-

но. Хоркумар был назначен почетным судьей своего округа. Теперь, надев грязный чапкан и замасленный тюрбан, он часто отправлялся в суд, не забывая, однако, подойти и поклониться сахибам.

Через несколько дней над черной толстой книгой Шошибхушона начало сбываться проклятие Гирибалы — она была переселена в темный угол и, преданная забвению, покрылась слоем пыли. Но где же Гирибала, где та девочка, которая обрадовалась бы такому невниманию к книге?

В тот день, когда Шошибхушон закрыл Свод законов, он наконец заметил, что Гирибала исчезла. Постепенно он припомнил всю историю этих нескольких дней. Он вспомнил, как однажды солнечным утром Гирибала принесла в сари еще влажные от дождя новогодние цветы бокула, а он даже не взглянул на нее и продолжал читать. Она вначале растерялась, но потом вытащила из края сари иголку с ниткой и, склонив голову, стала делать гирлянду, нанизывая один цветок за другим; делала она это очень медленно, но наконец все же кончила. Наступил вечер, Гирибале пора было идти домой, а Шошибхушон все еще не отрывался от книги. Опечаленная девочка положила гирлянду на кушетку и ушла. Юноша догадался, что с каждым днем ее самолюбие страдало все больше, поэтому она перестала даже заходить к нему и лишь иногда проходила по дороге мимо его дома; наконец она совсем перестала появляться, с тех пор прошло уже несколько дней. Самолюбие девочки не могло выдержать столь длительного испытания. Шошибхушон глубоко вздохнул и как потерянный прислонился к стене. Теперь, когда не было его маленькой ученицы, у него пропал всякий интерес к чтению. Он брал книгу, прочитывал две-три страницы и клал ее на место, начинал писать, но, поминутно вздрагивая, смотрел на дорогу, словно ждал кого-то, и бросал начатое.

Потом Шошибхушон испугался, не заболела ли Гирибала. Но, осторожно наведя справки, он узнал, что его беспокойство напрасно: Гирибале теперь нельзя выходить из дому — скоро ее свадьба.

Утром, на следующий день после того, как Гирибала разорвала учебник и бросила его на грязную деревенскую дорогу, она торопливо вышла из дому, завернув в край сари сладости. Не спавший из-за жары всю ночь Хоркумар с самого рассвета сидел во дворе, обнаженный до пояса, и курил.

— Ты куда? — спросил он Гири.

— К Шоши-даде.

— Нечего ходить к Шоши-даде, иди в дом.

Он начал ругать ее: взрослая девица, скоро пора переселяться к свекру, а стыда не знает! С тех пор ей запретили выходить на улицу. Теперь у нее уже больше не было возможности сломить свою гордость. Сгущенный манговый сок, маринованный лимон были возвращены на прежнее место. Начались дожди, отцвели цветы бокула, спелые гуавы висели на деревьях, расклеванные птицами зрелые сливы усеяли землю. Увы, растрепанного учебника больше не было!

7

В тот день, когда пела флейта на свадьбе Гирибалы, не приглашенный на празднество Шошибхушон плыл в лодке по направлению к Калькутте.

С тех пор как Хоркумар взял обратно свою жалобу, он возненавидел Шоши. Он был убежден, что тот его презирает. Он видел тысячи воображаемых признаков этого на лице Шошибхушона, в выражении глаз, во всем его поведении. Ему казалось, что все жители деревни давно забыли о его позоре, только один Шошибхушон помнит, и наиб не смел взглянуть в глаза юноше. При встречах с ним Хоркумару становилось неловко, но в то же время он злился на Шошибхушона. И Хоркумар дал себе слово выжить Шоши из деревни.

Заставить такого человека покинуть свой дом нетрудно. И цель господина наиба вскоре была достигнута. Однажды утром Шоши погрузил в лодку книги и несколько железных сундуков. Ту единственную нить, которая связывала его с деревней, разорвала сегодняшняя свадьба. Он не представлял себе раньше, как крепко эта нежная нить обвилась вокруг его сердца. Когда лодка отчалила от берега и вершины знакомых деревьев стали скрываться вдали, а звуки праздничной музыки доносились все слабее, сердце его вдруг переполнилось слезами, что-то сдавило горло, жилки на висках учащенно забились, и весь мир расплылся перед ним обманчивым миражем.

Дул сильный встречный ветер, поэтому лодка, хотя и плыла по течению, продвигалась вперед очень медленно. В это время на реке произошло событие, прервавшее путешествие Шошибхушона.

Недавно открылась новая пароходная линия, соединяющая железнодорожную станцию с соседним округом. Шумно вращая колесами и вздымая волны, вверх по реке шел пароход. На нем находились молодой сахиб — управляющий новой линией —

и несколько пассажиров. Среди пассажиров были земляки Шошибхушона из его деревни.

Какой-то торговый баркас пытался обогнать пароход и то нагонял его, то снова отставал. Лодочник все больше входил в азарт. Над первым парусом он поставил второй, над вторым — третий, маленький. Под напором ветра длинная мачта гнулась вперед, разрезаемые лодкой высокие волны с плеском бились о ее борта, и баркас несся, как конь, закусивший удила. В одном месте, где река делала небольшой поворот, баркас бросился наперерез пароходу и обогнал его. Облокотившись о перила, сахиб с интересом следил за этим состязанием. Когда скорость баркаса достигла предела и он на несколько локтей обогнал пароход, сахиб вдруг поднял ружье и, прицелившись в надувшийся парус, выстрелил. Мгновенно парус разорвался, и баркас перевернулся. Пароход исчез за поворотом реки.

Трудно сказать, почему сахиб это сделал. Мы, бенгальцы, не можем понять, что доставляет радость англичанам. Может быть, он не мог перенести победы индийского баркаса; или зрелище мгновенно разрываемого в клочья большого вздувшегося паруса доставило ему жестокое наслаждение; возможно, было какое-то дьявольское удовольствие в том, чтобы сразу оборвать игру бойкого суденышка, сделав в нем несколько дырок,— не знаю. Но несомненно одно: англичанин был твердо уверен, что эта его шутка пройдет ему безнаказанно, так как считал, что и хозяин баркаса, и его команда, собственно говоря, не люди.

Когда сахиб выстрелил и баркас перевернулся, Шошибхушон был рядом с местом происшествия и все видел. Он поспешно подплыл к перевернувшемуся баркасу и подобрал лодочника и гребцов. Не удалось спасти только одного человека — он находился в момент крушения под навесом и растирал пряности.

Кровь закипела в жилах Шошибхушона. Правосудие движется чрезвычайно медленно — оно как большая и сложная машина; взвешивая все «за» и «против», оно собирает доказательства и с полным равнодушием налагает наказания, в нем не бьется человеческое сердце. Но Шошибхушону казалось, что разделять наказание и гнев так же неестественно, как отделять насыщение от голода и удовлетворение от желания. Есть много преступлений, которые требуют немедленного вмешательства, в противном случае свидетеля преступления ждет возмездие всеведущего бога, который живет в его собственной душе. Тогда бывает мучительно стыдно тешить себя надеждой на правосудие. Но и машина правосудия, и пароход увозили управляющего все дальше от Шошибхушона. Не знаю, выиграло ли от этого

события общество, но «индийскую меланхолию» Шошибхушона оно, без сомнения, лишь укрепило.

Шоши вернулся со спасенными в деревню. Баркас вез джут. Шошибхушон послал людей вытащить груз и предложил лодочнику подать жалобу на управляющего.

Лодочник не соглашался.

— Баркас потонул, что ж мне теперь самого себя топить? — спрашивал он.— Во-первых, надо будет платить, потом — не есть, не спать, не работать и все время проводить в суде, да, кроме того, один только всевышний знает, чем все это кончится.

Но в конце концов, когда он узнал, что Шошибхушон сам адвокат и все расходы берет на себя, что все факты налицо и потому суд непременно вынесет решение возместить ущерб, он согласился. Однако односельчане Шошибхушона, ехавшие на пароходе, ни за что не соглашались быть свидетелями. Они говорили Шошибхушону:

— Господин, мы ничего не видели, мы были на другой стороне парохода, из-за шума машины и плеска воды там не было слышно выстрела.

Проклиная в душе соотечественников, Шошибхушон сам подал жалобу на управляющего.

В свидетелях не оказалось никакой надобности. Управляющий признался, что он действительно выстрелил. Он сказал, что увидел в небе стаю журавлей и прицелился в них. Пароход шел полным ходом и в момент выстрела был уже не в том месте, где река делает поворот. Следовательно, управляющий не мог знать, ворону ли он убил, журавля подстрелил или баркас потопил. В воздухе и на земле столько добычи для охотника, что ни один умный человек не станет тратить пулю — хотя бы она стоила четверть пайсы — на «дерти рэг», то есть грязную тряпку.

Сахиб был оправдан и, попыхивая сигарой, отправился в клуб играть в вист. Труп человека, растиравшего пряности, нашли выброшенным на берег в девяти милях от места происшествия. С разбитым сердцем вернулся Шошибхушон в свою деревню.

В тот день, когда он возвратился, для Гирибалы была приготовлена лодка, чтобы отвезти ее в дом свекра. Хотя никто не приглашал Шошибхушона, он все же побрел на берег. Около пристани стояла толпа, он не пошел туда, а прошел дальше. Когда лодка отчалила и проплыла перед ним, он на мгновение увидел невесту, которая сидела, низко опустив голову, лицо ее было скрыто покрывалом. Долгое время Гирибала лелеяла на-

дежду, что перед отъездом ей как-нибудь удастся встретиться с Шошибхушоном, но теперь ей и в голову не могло прийти, что ее учитель стоит на берегу, совсем недалеко, и смотрит на нее. Девочка ни разу не подняла глаз, только беззвучно плакала, и слезы текли по ее щекам.

Лодка уплывала все дальше и дальше и наконец совсем скрылась из виду. Лучи утреннего солнца засверкали на воде; рядом, в ветвях мангового дерева, громко пела свою бесконечную песню папийя; перевозчик снова стал ездить от одного берега к другому, забирая груз и людей; женщины, которые пришли к пристани за водой, громко обсуждали отъезд Гири в дом свекра. Шошибхушон снял очки, вытер навернувшиеся на глаза слезы и побрел в свой домик с железными решетками на окнах, стоящий на краю дороги. Вдруг ему показалось, что он слышит голос Гирибалы: «Шоши-дада!» Где она, где? Нигде ее нет! Ни в доме, ни на дороге, ни в деревне — только в его переполненном слезами сердце.

8

Шошибхушон снова собрал свои вещи и отправился в Калькутту. Дел у него в Калькутте никаких не было, спешить ему туда, собственно, было незачем, поэтому он решил отправиться не по железной дороге, а по реке.

Сезон дождей был в самом разгаре. Бенгалия, словно сетью, покрылась тысячами извилистых потоков. Сосуды страны наполнились кровью, повсюду буйно разрослись юные лианы, травы, кустарники, рис, джут, сахарный тростник.

В узких извилистых протоках, по которым скользила лодка Шошибхушона, вода сровнялась с берегами. Луга, а местами и поля были затоплены. Вода вплотную подступала к деревенским изгородям, зарослям бамбука и манговым садам, казалось, небесные девы стремятся напоить корни деревьев всей Бенгалии.

Когда Шошибхушон начал свое путешествие, омытые дождями деревья весело блестели в лучах солнца, но вскоре собрались тучи и пошел дождь. Куда ни взглянешь — везде все уныло и грязно. Как коровы во время половодья стоят в узких, грязных, окруженных водой загонах и, жалобно глядя, терпеливо мокнут под струями дождя, так и Бенгалия молчаливо и грустно мокла в непроходимых, залитых топкой грязью джунглях. В это время года крестьяне выходят на улицу, надев на

голову току; женщины, ежась от дождя и холодного ветра, спешат по хозяйственным делам из дома в дом или, осторожно ступая по скользкой дороге, промокнув насквозь, несут воду с реки, а оставшиеся дома мужчины сидят у дверей и курят; они выходят лишь в крайних случаях, обернув чадор вокруг бедер, взяв в руки туфли и раскрыв зонт над головой,— давать зонт слабой женщине не в обычаях этой славной страны, то сжигаемой солнцем, то заливаемой дождями.

Дождь не ослабевал. Шошибхушону надоело сидеть в лодке, забившись под навес, и он решил дальше ехать поездом. Он причалил к берегу в том месте, где одна река впадает в другую, привязал лодку и пошел искать чего-нибудь съестного.

Когда хромой попадает в яму, виновата в этом не только яма, но и сам хромой, которого будто тянет в яму. В тот день Шошибхушон доказал это.

В месте слияния двух рек рыбаки поставили большую сеть, привязав ее к прибрежному бамбуку. Лишь в одном месте остался проход для лодок. Рыбаки с давних пор ловили рыбу таким способом и платили за это соответствующий налог. На беду, старшему полицейскому чиновнику вдруг понадобилось плыть именно этим путем. Заметив его лодку, рыбаки стали кричать полицейскому, чтобы он объехал сеть. Но лодочник сахиба не привык считаться ни с какими препятствиями, созданными людьми, и направил лодку прямо на сеть, сеть опустилась и пропустила лодку, но весло застряло. Чтобы вытащить его, потребовалось бы совсем немного времени и усилий.

Но сахиб вышел из себя и приказал остановить лодку. Выражение лица у сахиба было такое, что рыбаки разбежались кто куда. Сахиб приказал своим гребцам уничтожить сеть, которая стоила не менее семисот рупий, и они тут же разрезали ее на мелкие кусочки.

Сорвав таким образом свой гнев, сахиб потребовал привести к себе рыбаков. Полицейский не нашел никого из убежавших и задержал первых попавшихся ему на глаза четырех человек. Сложив руки, они умоляли сахиба отпустить их, уверяя, что ничего не знают. Но полицейский начальник приказал взять их с собой. В это время Шошибхушон, не успев даже застегнуть рубашку и шлепая туфлями, запыхавшись, подбежал к лодке сахиба и дрожащим голосом проговорил:

— Вы не имели права портить сеть и издеваться над людьми!

Начальник что-то грубо ответил ему на языке хинди. В тот же момент Шошибхушон прыгнул с высокого берега в лодку,

бросился на сахиба и принялся колотить его, как мальчишка, как сумасшедший.

Что произошло потом, он не помнит. Очнулся он в полицейском участке, и вряд ли нужно говорить, что то обращение, которому он там подвергся, не принесло ему ни морального удовлетворения, ни физического облегчения.

9

Отец Шошибхушона нанял адвоката и прежде всего взял сына на поруки. После этого начались хлопоты, связанные с судебной тяжбой.

Рыбаки, которым принадлежала сеть, уничтоженная сахибом, жили в том же округе, что и Шошибхушон, и были подвластны тому же заминдару. Когда с кем-нибудь из них случалось несчастье, они приходили к Шоши за советами. Те, кого задержал сахиб, тоже были знакомы Шошибхушону.

Когда Шоши позвал их и попросил быть свидетелями на суде, они очень испугались: у каждого из них семья, дети, где им искать спасения, если они поссорятся с полицией? Голова на плечах ведь одна! Убыток они понесли, это верно, тут уж ничего не поделаешь, но зачем им на горе себе выступать свидетелями?

— Господин, из-за тебя мы попали в большую беду,— говорили они, но после долгих уговоров все же согласились сказать на суде всю правду.

Когда Хоркумар отправился как-то по делам в суд и зашел поклониться сахибам, англичанин-полицейский, смеясь, сказал ему:

— Наиб-бабу, я слышал, твои арендаторы собираются давать ложные показания против полиции?

Наиб испугался:

— Как, да разве это возможно! До чего же обнаглели эти грязные нищие!

Вскоре из газет стало известно, что на суде адвокат не сумел защитить Шошибхушона.

Рыбаки один за другим заявили, что сахиб сеть не резал, а только подозвал их к лодке и записал имена.

Но это еще не все! Несколько односельчан Шошибхушона показали, что они в то время как раз ехали с женихом на свадьбу и собственными глазами видели, как Шошибхушон ни с того ни с сего набросился на охрану сахиба.

Шошибхушон признал, что, после того как ему нанесли оскорбление, он вошел в лодку и ударил англичанина. Но главной причиной было то, что сахиб разрезал сеть и арестовал невинных рыбаков.

При таких условиях нельзя было считать несправедливым приговор, вынесенный Шошибхушону. Приговор был суров, так как Шошибхушон обвинялся в нескольких преступлениях: побои, незаконное вторжение в лодку, сопротивление законным действиям полиции. Имелись неопровержимые доказательства всего этого.

Пришлось Шошибхушону оставить свои любимые книги в маленьком домике и пять лет провести в тюрьме. Его отец хотел подать апелляцию, но Шошибхушон этому решительно воспротивился:

— Я рад, что иду в тюрьму. Железные цепи хоть не лгут, а «свобода» обманула меня, бросила в беду. К тому же в тюрьме не столько лжецов и неблагодарных, как на воле, хотя бы потому, что там меньше места.

10

Вскоре после того, как Шошибхушон был заключен в тюрьму, умер его отец. Больше у него никого не осталось. Правда, был еще брат, но он давно уже работал в Центральных провинциях: там он построил себе дом, обзавелся семьей и возвращаться на родину не собирался. Все имущество, оставшееся после отца Шошибхушона, захватил при помощи различных уловок и ухищрений наиб Хоркумар.

Видно, судьбе было угодно, чтобы в тюрьме Шошибхушон перенес больше страданий, чем другие заключенные. И все же долгие пять лет прошли.

Снова наступил период дождей. Исхудавший, с опустошенным сердцем, вышел Шошибхушон из тюрьмы. Он получил свободу. Кроме нее, за стенами тюрьмы у него ничего и никого не было. Бездомному, одинокому, выброшенному из общества Шошибхушону большой мир показался бесприютной пустыней.

Он стоял и размышлял, как ему связать разорванную нить жизни, с чего начать. Внезапно перед ним остановился большой экипаж, запряженный парой лошадей. Вышедший из него слуга спросил:

— Ваше имя Шошибхушон-бабу?

— Да.

Слуга распахнул дверцу экипажа и вытянулся, ожидая, пока он сядет.

— Куда вы меня повезете? — спросил изумленный Шошибхушон.

— Вас приглашает мой хозяин.

Любопытство прохожих было Шошибхушону невыносимо, поэтому, не вступая со слугой в дальнейшие разговоры, он сел в карету. «Конечно, здесь какое-то недоразумение,— думал он,— но ведь надо же куда-нибудь идти. Может быть, эта ошибка и будет началом моей новой жизни».

И в тот день облака играли с солнцем; а на тянувшихся вдоль дороги затопленных дождями темно-зеленых рисовых полях сменялись свет и тени. Около базара стояла старая колесница, неподалеку от нее, у бакалейной лавки, несколько нищих вишнуитов пели под аккомпанемент гупиджонтры и барабана:

О, явись передо мною,
о, явись мне, явись!
В истомившееся сердце,
о, вернись же, вернись!

Экипаж двигался, и песня доносилась уже издалека:

О жестокий мой и ласковый,
вернись поскорей,
Освежающий, как тучка,
в сердце влагу пролей!

Слова песни слышались все слабее и неразборчивее,— их уже нельзя было понять. Но ритм ее взволновал Шошибхушона, и он продолжал напевать про себя, придумывая строфу за строфой, словно не в силах оборвать песню.

Счастье вечное и горе,
подойди, улыбнись.
Ты — мучение и радость,
о, вернись же, вернись!

Ты — желанная навеки —
в сердце вновь поселись.
Ты — любимая навеки,—
о, вернись же, вернись!

О неверная и вечная,
в объятья приди,
Дай очам тебя увидеть,
дай прижать к груди.

О, войди в мой дом и в грезы,
о, наполни мне жизнь!
О, верни мне смех и слезы,
о, вернись же, вернись!

Стань любовью и обманом,
стань гордыней моей,
Свет пролей, верни мне память,
о, вернись же скорей!

Стань моей заботой, верой
и стремлением ввысь,
Будь мне жизнью, будь мне смертью,
но вернись же, вернись!

Карета въехала в обнесенный оградой сад и остановилась перед двухэтажным домом. Шошибхушон перестал петь.

Не спрашивая ни о чем, он последовал за слугой.

В комнате, куда он вошел, вдоль стен стояли застекленные шкафы с рядами книг в разноцветных переплетах. При виде их Шошибхушону показалось, что он еще раз обрел свободу. Эти красивые книги с золотым тиснением казались ему знакомыми воротами, украшенными драгоценными камнями, за которыми скрывался мир счастья.

На столе лежали какие-то предметы. Наклонившись, близорукий Шошибхушон увидел сломанную грифельную доску и на ней — несколько старых тетрадок, истрепанный «Дхарапат», «Котхамалу» и «Махабхарату» Каширама Даша.

На деревянной рамке грифельной доски большими буквами было написано почерком Шошибхушона: «Гирибала Деби». Это же имя было написано его почерком на тетрадях и книгах.

Шошибхушон понял, куда он попал. Сердце его учащенно забилось. Он посмотрел в окно, и ему почудилось, будто он снова видит маленький с решетками на окнах дом, выбитую деревенскую дорогу и маленькую девочку в полосатом сари... Шошибхушон вспомнил свою спокойную, безмятежную жизнь.

В той счастливой жизни не было ничего необыкновенного или исключительного: в незаметной работе, в маленьком счастье шли дни за днями, и среди незначительных событий его жизни на фоне его собственных занятий особенно выделялась маленькая ученица. Одинокая жизнь в домике на краю дороги, этот покой, это маленькое счастье, это маленькое личико маленькой девочки — все снова засияло перед ним, как недоступная, несбыточная мечта. Картины и воспоминания тех дней, сливаясь со светом сегодняшнего хмурого утра и нежным мотивом вишнуитской песни, звучали в его душе прекрасным, сияю-

щим напевом. Печальное, гордое личико обиженной девочки, стоящей посреди грязной узкой дороги, пролегающей в джунглях, встало перед его глазами, как прекрасный образ, созданный самим богом. Снова послышались жалобные звуки песни, и ему показалось, будто на лице деревенской девочки отразилось безысходное горе всего мира. Закрыв лицо руками, Шошибхушон забылся в воспоминаниях о тех днях.

Послышались легкие шаги. Молодой человек поднял голову. Перед ним, держа на серебряном подносе фрукты и сладости, в молчаливом ожидании стояла Гирибала, одетая в белое вдовье сари без всяких украшений. Она опустилась перед Шошибхушоном на колени, низко склонив голову.

Когда вдова поднялась и с любовью посмотрела на измученного, исхудавшего Шошибхушона, слезы наполнили ее глаза и потекли по щекам.

Шошибхушон хотел задать ей обычный вопрос о здоровье, но не мог вымолвить ни слова. Комок подступил к горлу,— невыплаканные слезы и невысказанные слова застыли в сердце...

Толпа нищих паломников остановилась перед домом и запела, повторяя снова и снова:

Вернись о, вернись!

1894

ГОЛОДНЫЕ КАМНИ

Мы — один мой родственник и я — познакомились с ним в поезде, возвращаясь в Калькутту после праздника Пуджи, проведенного нами в странствиях по стране. По одежде мы сначала приняли его за мусульманина из западных провинций, однако его манера говорить окончательно поставила нас в тупик. Он так уверенно рассуждал буквально обо всем на свете, что казалось, будто Владыка мира, прежде чем решить что-то, обязательно советовался с ним. До сих пор мы жили в блаженном неведении относительно потрясающих событий, творящихся в мире, ничего не знали о том, что русские продвинулись далеко вперед, что англичане втайне вынашивают очень серьезные политические планы, что неурядицы среди местных шейхов достигли критической точки. Но наш новый знакомый сказал с проницательной усмешкой:

— На земле и в небесах есть много вещей, друг Горацио, о которых не сообщается в ваших газетах.

Мы редко встречались с людьми не своего круга, и потому эрудиция этого человека произвела на нас потрясающее впечатление. По малейшему поводу он ссылался на научные данные, цитировал веды или вдруг начинал читать персидские стихи, а так как мы не претендовали на ученость и не обладали достаточным знанием вед и персидского языка, то наше уважение к нему все возрастало. Мой родственник, теософ, даже пришел к убеждению, что наш спутник связан с потусторонним миром, что «магические силы», или «царство духов», или «астральные тела», или еще что-то в этом роде тайно внушают ему мысли. Самое обыкновенное замечание этого необыкновенного человека он выслушивал с восхищением и глубоким почтением и записывал, стараясь сделать это незаметно. Мне кажется, однако, что таинственная личность все заметила и была весьма довольна впечатлением, которое ей удалось произвести.

Мы приехали на узловую станцию, где нам предстояла пересадка, и в ожидании поезда вошли в вокзал. Была половина одиннадцатого вечера. Нам сообщили, что на линии что-то произошло и поезд значительно опоздает. Я решил расстелить на столе одеяло и немного вздремнуть. Но в это время наш необыкновенный спутник снова начал рассказывать очередную историю. Само собой разумеется, в ту ночь мне так и не удалось заснуть.

...Когда, не поладив с администрацией, я оставил свою должность в Джунагоре и приехал на службу к низаму в Хайдерабад, я был молод, здоров, и поэтому меня назначили на должность сборщика хлопкового налога в Бариче.

Барич — очень красивое место. У подножья гор, среди густых лесов, извиваясь, словно искусная танцовщица, шумно и быстро течет по своему каменистому ложу река Шуста (искаверканное санскритское название Сваччхатойа). Полтораста ступеней ведут наверх к обрывистой площадке, и там, у подножья горы, одиноко стоит дворец из белого мрамора; поблизости нет никакого жилья; хлопковый рынок и сама деревня Барич отсюда далеко.

Приблизительно двести пятьдесят лет тому назад шах Махмуд Второй выстроил дворец в этом безлюдном месте для своих увеселений. Тогда в купальнях били фонтаны из розовой воды, в тихих залах, охлаждаемых водяными брызгами, на прохладных мраморных скамьях сидели молоденькие персианки, распустив перед купаньем волосы, подставляя под прозрачные

струи фонтанов свои нежные, как лепестки цветов, ножки: под аккомпанемент ситар они пели газели о своих виноградниках.

Теперь эти фонтаны умолкли; не слышно больше песен; изящные ножки красавиц не ступают легко по белоснежному мрамору. Теперь этот большой и очень пустынный дом — пристанище таких, как я, томящихся в одиночестве холостяков, сборщиков налогов. Старый конторский служащий Керим Хан предостерегал меня от ночлега в этом дворце. Он сказал, что если я хочу, то могу проводить в нем хоть весь день, но ни в коем случае не оставаться на ночь. Я только рассмеялся в ответ. Слуги тоже заявили, что согласны работать здесь только до наступления темноты, но на ночь оставаться не будут. «Что ж, будь по-вашему»,— ответил я. У этого дома была такая слава, что даже воры не решились бы войти в него ночью.

В первое время тишина, царившая в этом заброшенном мраморном дворце, угнетала меня, как ночной кошмар, и я старался по возможности не бывать там днем; возвращался поздно вечером усталый, ложился в постель и немедленно засыпал.

Но не прошло и недели, как неизъяснимое очарование этого места стало оказывать на меня свое действие. Мне трудно описать ощущение, которое я испытывал, еще труднее заставить поверить в него других, но мне казалось, что прекрасное здание — это живой организм, который медленно, но неотвратимо всасывает меня, стараясь растворить без остатка.

Вполне возможно, что этот процесс начался сразу же, как я поселился во дворце, но я отчетливо помню день, когда я впервые почувствовал, что творится со мной.

В начале лета крупных торговых сделок не бывает, и мне было нечем занять себя. Как-то, незадолго до захода солнца, я сидел в кресле внизу, около дворцовой лестницы. Шуста обмелела, и широкая отмель у противоположного берега играла сейчас всеми оттенками закатных красок; у моих ног так и сверкали камешки, устилавшие дно прозрачной речки. Не было ни малейшего ветерка. Неподвижный воздух был пропитан крепким ароматом лесной базилики, мяты и аниса, доносившимся с ближайших холмов.

Но лишь только солнце скрылось за горными вершинами, над сценой дня словно опустилась большая темная завеса,— обступившие со всех сторон горы не позволяли затянуться свиданию света и мрака. Мне захотелось покататься верхом, но едва я поднялся с кресла, как на лестнице послышались шаги. Я обернулся — никого!

Решив, что это обман чувств, я снова уселся на прежнее место, и тотчас же опять послышались шаги,— казалось, вниз по лестнице бежало несколько человек. Радостное возбуждение, к которому непонятным образом примешивался страх, охватило меня. На лестнице никого не было, но мне казалось, что я вижу толпу веселых девушек, бегущих вниз по лестнице купаться к Шусте. Торжественная тишина царила в долине, на реке, в пустынном дворце, и в то же время мне казалось, что я прекрасно слышу веселый, звонкий, похожий на журчание ручейка смех купальщиц, которые, обгоняя друг друга, пробегали мимо. Они словно не замечали меня,— я был для них так же невидим, как и они для меня. Река по-прежнему оставалась спокойной, но я отчетливо представлял себе, как волнуется прозрачная вода от девичьих рук, украшенных звенящими браслетами, как плещутся и обливают друг друга девушки, как высоко в небо миллионами жемчугов взлетают брызги под ударами ног купальщиц.

Меня охватило непонятное волнение: было ли это чувство страха, или радости, или любопытства — не знаю. Мне страстно захотелось увидеть все это воочию. Я напряженно всматривался в темноту, но ничего не видел. Мне казалось, стоит как следует прислушаться, и я пойму их разговор, но, сколько я ни напрягал слух, не слышал ничего, кроме стрекотанья лесных кузнечиков. Казалось, темная, веками сотканная завеса скрывала от меня происходящее, я со страхом приподнял уголок ее и заглянул внутрь — туда, где кипела какая-то другая жизнь, но густой мрак мешал мне ее увидеть.

Вдруг сильный порыв ветра всколыхнул душный, тяжелый воздух, по спокойной поверхности реки побежали, закурчавились, словно волосы русалки, легкие волны; и утонувший в вечерней мгле лес зашумел, как бы очнувшись от дурного сна. Я не знаю, что это было — сон или явь, но внезапно невидимый мираж, отразивший кусочек давным-давно исчезнувшей жизни, растаял как дым. Призрачные создания, которые, беззвучно хохоча, не касаясь мраморных ступенек, пробежали мимо меня купаться, не прошли обратно, на ходу выжимая воду из своей одежды. Подобно аромату цветка, они исчезли, подхваченные первым дуновением ветерка.

И тут на меня напал страх — не решила ли муза поэзии воспользоваться моим одиночеством и завладеть мной? Эта шаловливая богиня вознамерилась, очевидно, погубить меня — скромного труженика, зарабатывающего хлеб свой сбором хлопкового налога. Я решил, что мне необходимо хорошенько по-

есть,— ведь именно голодный желудок порождает все неизлечимые болезни. Я позвал повара и велел ему приготовить одно очень жирное и пряное могольское блюдо.

Наутро все происшедшее представилось мне чрезвычайно забавным. В веселом расположении духа надел я пробковый шлем, какие носят англичане, сел в коляску, взял в руки вожжи и тронул лошадей. Коляска с грохотом покатилась по дороге — я отправился по своим делам. В тот день мне предстояло написать отчет о работе за три месяца, поэтому я думал вернуться поздно. Но не успел наступить вечер, как меня неудержимо потянуло домой. Почему? Я и сам не понимал, но чувствовал, что больше задерживаться нельзя, что меня ждут. Не закончив отчета, я нахлобучил шлем на голову и покатил в своей громыхающей коляске по безлюдной, мрачной дороге, огражденной с обеих сторон темными купами деревьев. Вскоре я подъехал к величественному безмолвному дворцу у подножья горы.

На первом этаже находилась огромная зала. Три ряда массивных колонн поддерживали ее расписной сводчатый потолок. Изнывая от одиночества, она день и ночь издавала горестные стоны. Сумерки только-только опустились на землю, и лампы еще не были зажжены. Толкнув дверь, я вошел в залу и тотчас почувствовал, что здесь поднялась суматоха; словно я помешал какому-то собранию и множество людей поднялось с места и разбегается кто куда: в двери, в окна, на веранду.

Не видя ничего, я стоял, охваченный смятением. Я был как в экстазе: словно невидимая рука приподнимала мои волосы, и запахи давно исчезнувших духов и ароматических масел щекотали ноздри. Я стоял в огромной темной зале между античными колоннами и слушал: на белый мрамор с шумом падали струи фонтанов, кто-то наигрывал на ситаре неведомую мне мелодию; звенели золотые браслеты на руках и ногах, слышались удары в медный колокол, откуда-то издалека доносилась дробь барабана, чуть дребезжали хрустальные подвески, с веранды в окна лилось пение соловья, сидящего в клетке, в саду кричала ручная цапля — все эти звуки сливались и звучали в моих ушах чудесной, неземной музыкой.

И вдруг мне начало мерещиться, что именно эта призрачная жизнь — непостижимая, недоступная разуму, сверхъестественная — и была единственной правдой на земле, а все остальное — просто игра воображения. То, что я — это я, старший сын своего покойного отца, сборщик хлопкового налога, зарабатывающий четыреста пятьдесят рупий в месяц, что на мне пробковый шлем, короткая куртка и что я езжу в коляске — показа-

лось мне такой смешной бессмыслицей, что я не выдержал и громко расхохотался в пустоту громадной безмолвной залы.

В это время в залу вошел мой слуга-мусульманин, неся зажженную лампу. Вполне возможно, он подумал, что я сошел с ума, не знаю, но я вдруг вспомнил, что я действительно некий «натх», старший сын некоего покойного «чондро», вспомнил я также, что дело поэтов решать, могут ли где-нибудь в этом или ином мире бить несуществующие фонтаны и звучать воображаемые ситары под невидимыми пальцами. Для меня же несомненно лишь то, что я собираю налог на хлопок в Бариче и зарабатываю четыреста пятьдесят рупий в месяц. Я весело рассмеялся, вспоминая странное наваждение, и уселся с газетой возле походного столика, на котором стояла керосиновая лампа.

Прочитав газету и поужинав, я лег на кровать в маленькой угловой комнате и погасил лампу. В открытое окно была видна яркая звездочка, мерцавшая высоко над темной, покрытой лесом, горой Орали. С высоты тысяч миллионов миль она пристально смотрела на уважаемого господина налогового сборщика, расположившегося на скверной походной кровати. Эта мысль позабавила меня, и скоро я незаметно уснул. Не знаю, сколько времени я проспал, но вдруг проснулся, словно меня кто-то толкнул, хотя вокруг по-прежнему стояла тишина и никого постороннего в комнате не было. Звезда, упорно смотревшая на меня, скрылась за темной горой, и сейчас в комнату робко, словно извиняясь за свое самовольное вторжение, лился слабый свет ущербной луны.

Я никого не видел, но ясно чувствовал, что кто-то осторожно трясет меня. Увидев, что я проснулся, мне не сказали ни слова, но поманили за собой унизанными кольцами пальчиками.

Я потихоньку встал. Хотя в этом громадном, пустом дворце, с замирающими звуками и оживающим эхом, не было ни одной человеческой души, кроме меня, я на каждом шагу замирал от страха, словно боялся разбудить кого-то. Большая часть комнат была всегда заперта, и я никогда не бывал в них.

Затаив дыхание, бесшумно ступая, шел я в ту ночь за своей невидимой проводницей, не зная, куда я иду. Сколько узких и темных переходов, торжественных молчаливых зал, сколько тесных потайных комнат миновали мы по пути!

Но хотя моя прекрасная провожатая оставалась невидимой, воображение ярко рисовало мне ее образ. Она была уроженкой Аравии, сквозь широкие воздушные рукава просвечивали ее крепкие, красивые, гладкие руки, тончайшая вуаль

ниспадала с шапочки и закрывала лицо, а за поясом торчал изогнутый нож.

Мне казалось, что сегодня на землю спустилась одна из сказочных ночей «Тысячи и одной ночи», мне чудилось, что я иду по узким неосвещенным улицам спящего Багдада на какое-то свидание и что на каждом шагу меня подстерегает опасность.

Неожиданно моя спутница остановилась перед темно-синим занавесом и пальцем указала вниз. Я ничего не увидел, и тем не менее от ужаса кровь застыла у меня в жилах. Мне представилось, что на полу перед занавесом, вытянув ноги и положив на колени обнаженный меч, дремлет свирепый африканский евнух в дорогом парчовом одеянии. Моя спутница легко перешагнула через его ноги и приподняла край занавеса.

Открылась часть комнаты, устланной персидским ковром. Я не видел ту, что сидела на тахте, только две изящные ножки в расшитых золотом туфельках, выглядывавшие из шальвар цвета шафрана, небрежно покоились на розовом бархате... На столе, на голубоватом хрустальном блюде, лежали яблоки, груши, апельсины и большая гроздь винограда, приготовленные, очевидно, для приема гостя, рядом стояли две пиалы и хрустальный графин с янтарным вином. От дурманящего аромата благовонных курений кружилась голова.

В ту минуту, когда я, трепеща от страха, собрался переступить через вытянутые ноги евнуха, он вздрогнул, и его меч со звоном упал на мраморный пол.

От страшного крика я подскочил и проснулся — оказалось, что я сижу на своей походной кровати, весь в холодном поту. Узкий серп месяца казался сейчас, в слабом свете занимающегося дня, совсем бледным, как измученный бессонной ночью больной,— а сумасшедший Мегер Али бегал, как всегда, по безлюдной утренней дороге и кричал: «Отойди, отойди!»

Так внезапно закончилась первая ночь моих арабских сказок, но их оставалась еще тысяча.

Между моими днями и ночами начался страшный разлад. Усталый, принимался я утром за работу, проклиная колдовские чары, опутывавшие мои ночи, но как только приходил вечер, дневные занятия и работа начинали казаться мне мелкими, фальшивыми и смешными.

С наступлением вечера я впадал в странное состояние. Я точно переносился на сотни лет назад и становился действующим лицом каких-то неведомых событий,— пиджак и узкие брюки делались совершенно неуместными, я надевал красную бархатную феску, широкую рубашку и расшитый шелком кам-

зол, накидывал длинный шелковый плащ, вспрыскивал цветной платок духами, бросал сигарету, брал вместо нее длинный изогнутый кальян, наполненный розовой водой, и садился в высокое кресло. Я как будто готовился к какому-то необыкновенному любовному свиданию.

Сгущалась темнота, и начиналась ночная жизнь, насыщенная чудесными происшествиями, описать которые у меня не хватает ни слов, ни умения. Мне казалось, что обрывки какой-то потрясающей романтической драмы, подхваченные порывом весеннего ветра, носятся по великолепным залам громадного дворца. Мне удавалось мельком взглянуть на некоторые из них, и в тщетной надежде соединить эти обрывки воедино, узнать эту драму я всю ночь метался из комнаты в комнату, из залы в залу.

В вихре неясных грез, среди ароматов курений, звуков ситар, в волнах воздуха, пропитанного душистой водяной пылью, словно всполох молнии, мелькал вдруг образ красавицы в широких шальварах шафранного цвета, в расшитых золотом туфлях с загнутыми кверху носками, в парчовой качули и красной шапочке с золотой бахромой, ниспадавшей на ее белый лоб.

Она сводила меня с ума. В поисках ее я каждую ночь бродил по сложному лабиринту переходов и комнат этого заколдованного призрачного царства — царства снов.

Иногда вечером, когда я, стоя перед большим зеркалом, освещенным двумя свечами, одевался так же тщательно, как Шах Джахан, рядом с моим отражением вдруг возникал образ молодой персианки. Быстрый поворот головки, нетерпеливый взгляд больших черных глаз, в котором таились с трудом сдерживаемая страсть и душевная боль, слова, трепещущие на красивых пунцовых губах, исполненные грации движения, вся ее фигура, тонкая, гибкая, как лиана,— ослепительная вспышка, в которой было все: и боль, и страсть, и восторг... улыбка, быстрый взгляд, сверканье драгоценных камней и шелка — и она исчезала. Порыв ветра, принесшего с гор лесные ароматы, гасил свечи, я бросал все, с наслаждением растягивался на кровати и закрывал глаза. Мне чудилось, что вместе с дуновением ветра, вместе со всеми запахами горы Орали пустынную темноту комнат наполняют ласки, поцелуи и прикосновения нежных рук; певучие голоса шептали что-то мне на ухо, чье-то благоуханное дыхание касалось моего лба, а у лица реяли, порой касаясь его, воздушные шарфы красавиц. Затем постепенно мне начинало казаться, что какая-то неведомая змея обвивает меня своими кольцами; кольца сжимались все сильнее и сильнее, я задыхал-

ся, сознание покидало меня и, наконец, я погружался в глубокий сон.

Однажды в полдень я решил проехаться верхом. Мне казалось, что кто-то умоляет меня не делать этого, но в тот день я не желал внимать никаким просьбам. Мой шлем и европейского покроя куртка висели на деревянной вешалке, я снял их и хотел было надеть, как вдруг, откуда ни возьмись, с гор налетел смерч, круживший речной песок и сухие ветки, вырвал одежду у меня из рук, подхватил и начал кружить по комнате. В эту минуту раздался взрыв хохота. Все громче и громче звучал веселый, переливчатый смех, а потом стал удаляться в ту сторону, где садилось солнце, и наконец затих.

Я так и не поехал верхом в тот день и с тех пор больше уже никогда не надевал свою смешную европейскую куртку и шлем.

В полночь я снова сидел на кровати и прислушивался: мне казалось, что я слышу отчаянные подавленные рыдания, как будто чей-то голос, доносившийся из-под кровати, из-под пола, из каменных подвалов огромного дворца, из самой черной сырой земли, жалобно умолял: «Спаси меня, разорви оковы глубоких снов и мучительных грез, посади меня на коня, прижми к своей груди и отвези через леса, горы и реки в свой солнечный дом! О, спаси меня!»

Кто я такой, чтобы сделать это? Как я могу спасти тебя? Кто эта гибнущая красавица, это воплощение любви и страсти, которую я должен вытащить из бешеного потока заколдованных снов? Откуда ты, создание небес? На берегу какого прохладного ручья, в тени какой финиковой рощи ты родилась? К какому кочевому племени принадлежал твой отец? Какой разбойник-бедуин оторвал тебя от груди матери, как полураскрывшийся бутон от ветки лесной лианы, вскочил с тобой на коня и быстрее ветра исчез в жарком мареве пустыни? В чьи владения, на какой рынок невольниц привез он тебя? Слуга какого падишаха заметил твою юную стыдливую нераспустившуюся красоту и, отсыпав пригоршню золота, увез тебя за море, посадил в позолоченный паланкин и послал в подарок своему повелителю в гарем? А дальше? Музыка саранги, звон браслетов, янтарное вино Шираза, сверкающее, как кинжал, огнем яда разливающееся в жилах, словно острый прищур глаз, приковывающее к месту. Какая безграничная роскошь и какое страшное рабство! С двух сторон невольницы машут опахалами, их запястья сверкают бриллиантами, у твоих ножек, обутых в расшитые жемчугом туфли, сам Шах-ин-Шах; у дверей с обнажен-

ным мечом в руках, как посланец Ямы, стоит стражник-абиссинец. А что было с тобой потом, цветок пустыни? Куда унесли тебя окропленные кровью волны безудержной роскоши, пенящиеся завистью и интригами? Выбросили ли они тебя на берег, где царствовала жестокая смерть, или высадили в стране еще более пышной роскоши?

Но тут сумасшедший Мегер Али снова закричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!» Я открыл глаза и увидел, что уже утро; слуга принес мне почту, с почтительным поклоном вошел повар и осведомился, что приготовить сегодня.

Я решил: хватит! Больше здесь оставаться нельзя. И в тот же день со всеми своими пожитками перебрался в контору. Конторский служащий старик Керим Хан слегка улыбнулся при виде меня. Это меня раздражило, но я не сказал ни слова и сел за работу.

По мере того как надвигался вечер, я становился все рассеяннее. Я чувствовал, что мне надо куда-то идти, что меня ждут. Проверка счетов на хлопок представлялась мне совершенно ненужным делом, и даже служба у низама казалась совсем никчемным занятием. Все, что жило настоящим, что суетилось, волновалось, добывало себе кусок хлеба, было в моих глазах незначительным, бессмысленным, нелепым.

Отбросив ручку и захлопнув бухгалтерскую книгу, я сел в коляску и уехал. С удивлением я отметил, что лошади сами остановились у ворот мраморного дворца как раз в ту минуту, как солнце скрылось за горой. Я быстро взбежал по лестнице и вошел в залу.

Все было тихо. Мрачные комнаты, казалось, сердито хмурились. Сердце мое наполнилось раскаянием, но кому высказать его, у кого просить прощения — я не знал. Безразличный ко всему на свете, бродил я по темным комнатам. Мне хотелось взять какой-нибудь музыкальный инструмент и под аккомпанемент его спеть, обращаясь к кому-то неизвестному: «О огонь! Та бабочка, которая пыталась улететь от тебя, снова вернулась, чтобы умереть. Прости ее на этот раз, опали ее крылья и прикажи своему пламени поглотить ее!»

Две слезы упали мне на лоб. Над вершиной Орали собрались грозные тучи. Темный лес и черная вода Шусты замерли в напряженном ожидании. И вот все содрогнулось: земля, вода, небо. Из далеких лесов с диким воем, ломая деревья и ощериваясь молниями, подобно безумцу, сорвавшемуся с цепи, налетел ураган. Захлопали двери в пустынных залах, и горестно застонала тишина...

Все слуги были в конторе, лампу некому было зажечь. И в этой кромешной тьме я почувствовал, что на ковре рядом с моей кроватью лежит женщина. Она судорожно рвала на себе волосы, по ее прекрасному белому лбу текла кровь, она то смеялась сухим, жутким смехом, то разражалась отчаянными, душераздирающими рыданиями, то начинала рвать на себе одежду и бить себя в обнаженную грудь. Ветер со свистом врывался в открытое окно, дождь захлестывал комнату и насквозь промочил ее одежду.

Всю ночь не утихала буря и не умолкали рыдания. С сердцем, разрывающимся от горя, бродил я по темным комнатам. Где та, которую я должен утешить? Кто она, кого постигло столь тяжелое горе? Что за причина такого безумного отчаяния?

— Отойди, отойди! — раздался крик сумасшедшего.— Все ложь, все ложь!

Уже рассвело, Мегер Али и в это страшное бурное утро, как всегда, бегал вокруг дворца, выкрикивая все те же слова. И вдруг меня осенила мысль,— наверное, когда-то Мегер Али, как и я, жил во дворце, и даже теперь, сойдя с ума, он по-прежнему находится во власти чар этого каменного чудовища и не может не являться сюда каждое утро.

Не обращая внимания на ливень, я кинулся к сумасшедшему.

— Мегер Али, о какой лжи ты говоришь?

Ничего не ответив, он оттолкнул меня и, дико завывая, стал кружить вокруг дворца, словно птица, притягиваемая неподвижным взглядом змеи. И как будто стараясь предостеречь себя, он снова и снова кричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!»

Под проливным дождем я побежал в контору и как вихрь ворвался в комнату Керима Хана.

— Расскажи мне, что все это значит? — закричал я.

И вот что рассказал мне старик.

Когда-то этот дворец был местом, где разыгрывались страшные человеческие драмы,— здесь бушевали страсти, пламя неудовлетворенных желаний жгло сердца и в зловещем огне непрестанных наслаждений сгорали человеческие души. Сколько проклятий слышали эти стены — проклятий тех, на чью долю выпали страдания, чьи надежды были разбиты, чья страстная любовь осталась безответной. Камни дворца впитали эти проклятия, и теперь, голодные и жаждущие, как чудовище, которому долго не давали есть, они жадно бросаются на каждого, осмелившегося приблизиться к ним. Из всех тех, кто пробыл здесь

три ночи, уцелел лишь Мегер Али, но и ему пришлось поплатиться за это рассудком.

— Неужели и мне нет спасения? — спросил я.

— Спасение есть,— ответил старик,— только достичь его нелегко. Я расскажу тебе, как это сделать, но прежде тебе надо узнать историю персидской рабыни, жившей когда-то в этом дворце наслаждений. Нет в мире истории более удивительной и более печальной...

Но тут пришли носильщики и сообщили, что поезд сейчас подойдет. Так скоро? Пока мы спешно собирали свои вещи, поезд подошел. Какой-то заспанный англичанин высунулся из окна вагона первого класса, пытаясь прочесть название станции. Увидев нашего знакомого, он тотчас же пригласил его к себе в купе. У нас были билеты во второй класс, и мы оказались лишенными возможности выяснить, кто был наш спутник, и услышать конец этой истории.

Я предположил, что он принял нас за дураков и решил посмеяться над нами и что все, что он рассказал, чистейший вымысел от начала до конца.

Мой родственник-теософ оказался другого мнения по этому вопросу, и в результате мы с ним поссорились на всю жизнь.

1895

НЕСЧАСТЬЕ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

На женскую половину дома наиба Гириша Бошу взяли новую служанку, по имени Пэри. Молодая девушка приехала издалека. Через несколько дней, заметив устремленные на нее недвусмысленные взгляды старика хозяина, она в слезах прибежала к хозяйке.

Жена управляющего посоветовала ей уйти от них.

— Дитя мое,— сказала она,— ты хорошая девушка, и здесь тебе оставаться не стоит.

Тайком от мужа она дала Пэри немного денег и распрощалась с ней.

Но уехать оказалось не так-то просто: денег у Пэри на обратный путь не хватало, и ей пришлось устроиться здесь же в деревне, в доме брахмана Хорихора Бхоттачарджо.

Рассудительные сыновья брахмана не одобрили поступка отца.

— Отец, зачем ты навлекаешь беду на наш дом? — говорили они.

— Беда сама постучалась к нам,— отвечал Хорихор,— не мог же я не впустить ее.

Вскоре наиб Гириш Бошу сам явился к брахману с низким поклоном.

— Почтенный Бхоттачарджо,— сказал он,— зачем ты сманил у меня служанку? Нам без нее очень трудно.

Хорихор сердито высказал ему в ответ все, что думал по этому поводу. Он уважал себя и не имел обыкновения кривить душой.

Наиб, мысленно сравнив его с хорохорившимся муравьем, ушел, церемонно взяв прах от ног брахмана.

Несколько дней спустя в дом Хорихора явилась полиция. Под подушкой жены Хорихора нашли серьги супруги управляющего. Служанку Пэри обвинили в воровстве и увезли в тюрьму. Что же касается Бхоттачарджо, то он пользовался слишком большим уважением в деревне, чтобы его можно было обвинить в укрывательстве краденого.

И опять, прощаясь, наиб церемонно взял прах от ног брахмана.

Брахман понял, что несчастная девушка пострадала из-за того, что он приютил ее. Сердце его обливалось кровью. А сыновья твердили, что нужно скорее продавать землю и уезжать в Калькутту.

— Здесь нам теперь не житье,— убеждали они отца.

Но Хорихор ответил:

— Как я могу бросить землю, доставшуюся мне в наследство? А беда настигнет везде: от судьбы не уйдешь.

Вскоре наиб попытался повысить и без того непомерно высокую арендную плату. Арендаторы запротестовали. Тогда управляющий доложил своему господину, что арендаторов подстрекает Хорихор. Разгневанный заминдар приказал расправиться с Бхоттачарджо любым способом.

И тогда управляющий снова появился в доме Хорихора и, снова взяв прах от его ног, заявил, что участок Хорихора вклинивается во владения заминдара и что ему придется оставить эту землю. Хорихор ответил, что земля эта — храмовый надел и принадлежит их семье испокон веков.

Тем не менее вскоре в суд поступило заявление о том, что участок, прилегающий к дому Хорихора, является собственностью заминдара. Узнав об этом, Хорихор заявил, что, видно, от земли ему придется отказаться.

— Я стар,— говорил он,— мне ли таскаться по судам.

Но теперь запротестовали сыновья:

— Если мы отдадим землю, то как же мы станем жить в нашем доме?

И вот, в надежде спасти дорогой сердцу дом предков, Хорихору пришлось пойти в суд. С трудом передвигая дрожащие ноги, поднялся брахман на свидетельскую трибуну.

Судья Нобогопал-бабу счел доводы старика основательными и прекратил дело. По этому случаю арендаторы Хорихора собрались было устроить в деревне праздник, но Хорихор поспешил отговорить их.

А немного погодя снова пришел наиб, с подчеркнутой почтительностью взял прах от ног Бхоттачарджо и... подал в суд апелляцию.

Адвокаты не хотели зря брать у Хорихора деньги. Они заверяли брахмана, что у него все шансы выиграть процесс. «Разве день может превратиться в ночь?!» — восклицали они. Хорихор успокоился и стал ждать, что будет. В один прекрасный день из конторы заминдара донесся барабанный бой. В доме управляющего заклали козла и началось празднование в честь богини Кали.

Что же произошло?

Бхоттачарджо сообщили, что во время пересмотра дела тяжбу выиграл заминдар.

Хорихор в отчаянии бросился к адвокату.

— Как же это случилось, Бошонто-бабу? Что теперь со мной будет?

Бошонто-бабу поведал Хорихору тайну превращения дня в ночь. Судья, который возглавляет сейчас апелляционный суд, когда-то враждовал с судьей Нобогопалом. В то время оба они занимали одинаковое положение, и этот судья ничем не мог насолить Нобогопалу. Но теперь, сделавшись старшим судьей, первое, что он сделал, это отменил решение Нобогопала и вынес совсем другой приговор. «Поэтому вы и проиграли»,— закончил адвокат.

— А нельзя ли подать апелляцию в Верховный суд? — спросил подавленный Хорихор. Но Бошонто-бабу сказал, что судья поставил под сомнение показания свидетелей Хорихора и признал истинными показания свидетелей заминдара. А в Верховном суде не станут разбираться в свидетельских показаниях.

— Что же мне теперь делать? — спросил старик со слезами на глазах.

— Делать нечего,— ответил адвокат.

На следующий день Гириш Бошу явился к брахману в сопровождении целой свиты и почтительно взял прах от его ног. Прощаясь, управляющий тяжко вздохнул и сказал:

— На все воля божья!

1901

ПРОЩАЛЬНАЯ НОЧЬ

1

— Тетя!

— Спи, Джотин, ночь уже.

— Ну, и пусть, не так уж много дней у меня осталось. Я велел Мони уехать... Забыл только, где теперь живет ее отец...

— В Ситарампуре.

— Да, верно, в Ситарампуре. Отошли туда Мони. Хватит ей за больным ухаживать. У самой здоровье слабое.

— Что ты! Разве согласится она оставить тебя в таком состоянии?!

— Да ведь врачи сказали, что она...

— Не знает, но и так видно. Помнишь, в тот день она без слез не могла слышать о поездке к отцу.

Говоря откровенно, тетя немного погрешила против истины. На самом деле вот какой разговор произошел у нее с Мони:

— Ты получила весточку из дому? Мне показалось, будто я видела здесь твоего старшего брата Онатха.

— Да, мама послала его сказать мне, что в следующую пятницу будет церемония первого кормления рисом моей младшей сестренки. Мне очень хотелось бы...

— Вот и хорошо, пошли золотое ожерелье, твоя мать будет рада.

— Но я хочу поехать туда сама. Я ни разу не видела сестренки!

— Неужели ты оставишь Джотина одного? Слышала, что сказал доктор?

— Сказал, что ничего опасного...

— Все равно, как ты можешь бросить сейчас Джотина?

— У меня три брата и одна-единственная сестра, очень славная девочка... Я слышала, что церемония будет торжественной... И если я не приеду, мама очень...

— Не мне судить твою мать, но я уверена, что отец твой рассердится, если ты уедешь от Джотина в такой момент.

— А ты напиши ему, что причин для беспокойства нет. И за время моего отъезда ничего...

— Уезжай, никому вреда от этого не будет, но уж если я стану писать твоему отцу, то напишу все как есть.

— Ладно, ладно... не пиши. Я поговорю с Джотином...

— Послушай, невестка, я много терпела, но попробуй скажи хоть слово Джотину. А отца тебе обмануть не удастся, он слишком хорошо тебя знает,— с этими словами тетя вышла.

Рассерженная, Мони бросилась на постель.

— Ты что надулась? — спросила, входя в комнату, подруга Мони из соседнего дома.

— Подумай только! Меня не пускают на церемонию первого кормления моей единственной сестры.

— Боже, о чем ты говоришь! Ведь твой муж тяжело болен!

— Но я ничем не могу ему помочь. В доме все молчат. У меня сердце разрывается от тоски. Не могу я так жить.

— Ведь ты добрая.

— Но я не могу притворяться, как все вы, и с грустным видом сидеть в углу, только бы обо мне плохо не подумали.

— Как же ты собираешься поступить?

— Уеду, никто меня не удержит.

— Что это ты так разошлась? Прощай, у меня дела.

2

Взволнованный разговором с тетей, Джотин чуть привстал и облокотился на подушку.

— Тетя, распахни окно и свет погаси,— попросил он.

Безмолвная ночь, как вечный странник, молча остановилась у дверей комнаты больного. Звезды — свидетели многих смертей — пристально вглядывались в лицо Джотина. И вот в этом бесконечном мраке перед Джотином всплыл образ его Мони. В ее больших глазах застыли крупные капли слез.

Джотин затих, и тетя успокоилась: ей показалось, будто он уснул. Но тут снова раздался его голос:

— Тетя! Вы все считали Мони непостоянной, чужой в нашем доме. Но...

— Я ошиблась, Джотин. Человека сразу не узнаешь.

— Тетя!

— Спи, Джотин.

— Не сердись. Дай мне хоть немного помечтать, поговорить.

— Ну хорошо, говори.

— Сколько нужно времени, чтобы человек познал самого себя? Как-то я подумал, что никто из нас не смог понять души Мони, и примирился с этой мыслью. А вы все тогда...

— Ты несправедлив, Джотин, я тоже примирилась.

— Душа — не ком земли, ее так просто не возьмешь. Я всегда знал, что Мони все еще не познала самое себя. Лишь когда на нее обрушится какое-нибудь несчастье, она...

— Ты прав, Джотин.

— Вот почему меня никогда не огорчало ее легкомыслие.

Тетя ничего не ответила, только подавила тяжелый вздох. Сколько раз Джотин проводил ночи на веранде и даже в дождь не уходил в комнату. Сколько раз, в отчаянии обхватив голову руками, он лежал на кровати, мечтая о том, чтобы Мони приласкала его. А в это время Мони с подругами собиралась в кино. Тетя помнит, как приходила обмахивать Джотина опахалом, а он в раздражении отсылал ее. Сколько было боли в этом раздражении! Ей не раз хотелось сказать Джотину: «Не оставляй для этой девушки слишком много места в своем сердце... Пусть она научится просить и пусть поплачет, не получив желаемого...» Но стоило ли об этом говорить, если Джотин все равно ее не поймет. Он создал в своем воображении храм женщины-божества, и богиней в этом храме стала Мони. Он никак не мог примириться с мыслью о том, что чаша любви в этом храме для него всегда пуста, что надежды его рухнули. И он горячо молился, совершал жертвоприношения, уповая на милость создателя.

— Ты думаешь, что я не могу быть счастлив с Мони,— снова заговорил Джотин,— поэтому сердишься на нее. Но счастье, оно — как звезды. Мрак не может их поглотить. Много ошибок совершил я в своей жизни, но разве сквозь них не пробились лучи счастья? Не знаю почему, но сегодня радость наполняет мою грудь.

Тетя стала нежно гладить лоб Джотина. В глазах ее стояли слезы, но темнота скрыла их.

— Как она будет жить, ведь она так еще молода!

— Ну и что? И мы в этом возрасте, уповая на бога, посвящали себя семье. Большего счастья я не знаю.

— Душа Мони только начала просыпаться, а я...

— Не думай об этом, Джотин. Если душа просыпается, это уже счастье.

Джотин вдруг вспомнил песню, которую давно еще слышал от одного бродячего певца:

О уснувшая душа!
Пробудись: пришел любимый.
Все темно кругом. Ни зги.
Только слышатся шаги —
И проходит счастье мимо.

— Который час?

— Скоро девять.

— Всего? А мне казалось, что уже два или три. Ночь для меня начинается с наступлением темноты. Но почему ты так хотела, чтобы я уснул?

— Потому что вчера ты вот так же разговаривал до глубокой ночи.

— А Мони спит?

— Нет, она должна еще приготовить тебе суп.

— Значит, все это Мони.

— Ну да, это все она готовит. Совсем умаялась.

— А я думал, что Мони...

— Нужда заставит — всему выучишься.

— Сегодня мне очень понравился рыбный суп. Я думал, это ты его приготовила.

— Что ты! Мони ничего не дает мне делать. Даже твои полотенца и салфетки сама стирает: знает, что ты не выносишь грязи. А заглянул бы ты в свою гостиную! Там все блестит. Она бы и здесь навела порядок, только я не разрешаю.

— Но здоровье Мони...

— Да, врачи не рекомендуют ей часто навещать больного. Она чересчур впечатлительна и, видя твои страдания, сама может заболеть.

— И она слушает тебя?

— Разумеется! Мони меня уважает. Правда, несколько раз в день я должна сообщать ей о твоем здоровье. Это моя новая обязанность.

Словно слезы в вечно печальных глазах, на небе заблестели звезды. Джотин прощался с жизнью. Смерть уже протянула к

нему из мрака свою щедрую руку, и Джотин с благодарностью и робкой надеждой вложил в нее свою, обессиленную болезнью.

Джотин вздохнул и беспокойно зашевелился.

— Тетя,— попросил он,— если Мони не спит...

— Сейчас позову, дорогой.

— Я задержу ее всего минут пять. Мне нужно сказать ей...

Тетя тяжело вздохнула и пошла за Мони. У Джотина взволнованно забилось сердце. Он никогда не умел разговаривать с Мони. Два инструмента не будут играть в унисон, если настроены на разный лад. Джотин часто страдал от зависти, глядя, как непринужденно болтает и смеется Мони с подругами. Но в этом Джотин винил себя — почему он не умеет говорить о всяких пустяках? И не то чтобы не умеет. Разве не беседует он с друзьями о вещах самых незначительных? Но мужчин интересует совсем не то, что женщин. О серьезных вещах человек может говорить долго, даже не замечая, слушает ли его собеседник. А вот разговор о пустяках необходимо поддерживать. Одна флейта может играть очень чисто, но стоит вступить второй, настроенной на другой лад, как тотчас же слышится фальшь. Выйдут, бывало, вечером Джотин и Мони на веранду, обменяются двумя-тремя словами и умолкают. И тогда кажется, будто само безмолвие вечера готово умереть со стыда. Джотин понимал, как хочется Мони убежать от него, как хочется ей, чтобы пришел еще кто-нибудь: втроем легче говорить.

Сейчас Джотин думал о том, как начать разговор с Мони. Но нужные выражения не приходили на ум, слова казались чересчур высокопарными. Джотин очень боялся, что те недолгие пять минут, которые Мони пробудет с ним, пройдут зря! А много ли осталось в его жизни таких мгновений?

3

— Ты куда-то собралась, невестка?

— В Ситарампур.

— С кем же ты поедешь?

— С Онатхом.

— Поезжай. Только не сегодня, прошу тебя. Можно ведь и завтра поехать.

— Но у меня уже есть билет.

— Купишь другой.

— А я не признаю ваших счастливых и несчастливых дней! Ничего не случится, если я уеду сегодня.

— Джотин хочет с тобой поговорить.

— Очень хорошо. У меня еще есть время. Сейчас пойду и скажу ему, что уезжаю.

— Ты не скажешь ему об этом.

— Ладно, не скажу. Но надеюсь, он не задержит меня. Церемония состоится завтра.

— Умоляю, послушайся меня хоть раз. Побудь сегодня с Джотином подольше.

— Не могу, поезд ждать не станет. Через десять минут за мной зайдет Онатх. До его прихода я могу побыть с Джотином.

— Нет, не надо. Уезжай так. О несчастная, тот, кому ты принесла столько горя, не сегодня-завтра умрет, но знай, этот день ты запомнишь на всю жизнь. Когда-нибудь ты поймешь, что есть на свете бог.

— Не проклинай меня!

— О, боже, и зачем только ты существуешь? Грехам нет конца. Я бессильна что-нибудь сделать.

Немного помедлив, тетя вошла в комнату больного в надежде, что тот уснул. Однако Джотин взволнованно приподнялся в постели.

— Знаешь, что случилось? — спросила она.

— Что? Мони не пришла? Почему так долго?

— Молоко, которое Мони кипятила для тебя, убежало. Мони расплакалась, и я не могла ее успокоить, как ни старалась. Ей очень стыдно, что из-за ее небрежности ты остался без молока. Я долго ее утешала, а потом уложила в постель. Пусть немного поспит.

У Джотина слегка защемило сердце, когда он узнал, что Мони не придет, но в то же время он был рад этому. Он боялся, что появление Мони разрушит его мечты о ней. Так уже не раз случалось, и сердце Джотина сжималось от жалости к той нежной Мони, которая жила в его воображении.

— Тетя!

— Да, дорогой?

— Я знаю, что дни мои сочтены, но не сокрушаюсь об этом. И ты не страдай.

— Не буду, дорогой, не буду. Я ведь знаю, что счастье можно обрести не только в земной жизни.

— Верь, тетя, смерть кажется мне сладостной.

Всматриваясь в темное небо, Джотин вдруг представил себе свою Мони, облаченную в одежды смерти. Она — воплоще-

ние вечной Юности, она — Жена, она — Мать, она — сама Красота, сама Доброта. Как будто богиня Лакшми в знак благословения щедрой рукой рассыпала над ее головой звезды. Ему казалось, будто ночь откинула свое покрывало и они впервые увидели друг друга, как во время свадьбы. Взгляд Мони озарил непроглядную тьму вечной любовью. Его жена, его маленькая Мони, сегодня владычица мира. Она восседает на звездном троне, там, где встречаются жизнь и смерть. Сложив молитвенно руки, Джотин подумал: «Наконец-то исчезло покрывало, разделявшее нас. Ты причинила мне много страданий. Но на этот раз, любимая, ты не обманешь моих надежд».

4

— Мне тяжко, тетя, но не так, как это обычно бывает. Кажется, будто страдания отделяются от меня. До сих пор они, как груженая лодка, были связаны с кораблем моей жизни, а сегодня эта связь оборвалась, и лодка унесла далеко в море все мои страдания. Я вижу эту лодку, но мне нет дела до нее. Вот уже два дня, как я не видел Мони.

— Положить тебе под спину еще подушку, Джотин?

— Мне кажется, что Мони тоже далеко от меня.

— Джотин, выпей гранатового сока, у тебя пересохло во рту.

— Вчера я написал завещание. Я не показывал его тебе?

— А зачем показывать?

— Я остался сиротой. Это ты вырастила меня. Поэтому я хотел...

— Как можешь ты так говорить? У меня ничего не было, кроме этого дома и кое-каких вещей. Все остальное нажил ты сам.

— Но этот дом...

— Да и он уже не мой. Ты столько всего здесь понастроил!

— В душе Мони тебя очень...

— Разве я этого не знаю? Ложись-ка спать.

— Я все завещал Мони, но что принадлежит тебе, твоим и останется, тетя, чтобы она никогда не могла тебя попрекнуть.

— Зачем же ты тогда об этом думаешь?

— Я всем обязан тебе, и, когда ты увидишь мое завещание, не подумай...

— Что ты, Джотин. Разве я такая злая? Если ты счастлив оттого, что завещаешь все Мони, то я счастлива вдвойне.

— Но и тебе я тоже...

— Послушай, Джотин, я могу рассердиться. Ты хочешь, чтобы деньги помогли мне забыть тебя.

— Ничего более ценного, чем деньги...

— Уже оставил, Джотин, много оставил. Ты заполнил собою мой пустой дом. Это счастье всей моей жизни, и больше мне ничего не нужно. Если даже я лишусь всего, то не стану роптать. Дом, имущество, лошадей, землю — все отдай Мони. Мне самой с этим не справиться.

— Ты скромна в своих желаниях, а Мони молода, поэтому...

— Не говори так, Джотин, не говори! Ты можешь оставить ей все богатство, но радости...

— Почему оно не принесет ей радости?

— Не принесет. Я знаю. Она вся высохнет от горя, свет будет ей не мил.

Джотин лежал молча, размышляя, видимо, над тем, правда это или неправда, счастье или горе, что после его смерти мир для Мони потеряет всякую прелесть. Звезды как будто шептали ему: «Все это правда. Мы наблюдаем уже тысячи лет, все в этом мире — суета, все — ложь».

С глубоким вздохом Джотин наконец промолвил:

— Мы не можем оставить после себя то, что имеет действительную ценность.

— Разве мало ты ей оставляешь, кроме денег и богатства? Неужели она не оценит этого? Пусть бог услышит мои молитвы, пусть вразумит ее.

— Дай мне еще сока. Я что-то не помню, приходила вчера Мони?

— Приходила, но ты спал. Она долго сидела у твоего изголовья и обмахивала тебя опахалом. Потом отнесла в стирку твое белье.

— Просто удивительно! Кажется, именно в это время мне снилось, будто Мони хочет войти в мою комнату и никак не может открыть дверь. По-моему, тетя, вы напрасно не пускаете ее сюда. Мони не перенесет моей неожиданной смерти, пусть лучше она видит, как я умираю.

— Дорогой, накрой шалью ноги, они у тебя совсем холодные.

— Не люблю, когда меня укрывают.

— А знаешь, Джотин, эту шаль связала для тебя Мони. Вязала по ночам и только вчера кончила.

Джотин взял шаль, слегка помял ее и подумал, что она та-

кая же мягкая и нежная, как душа Мони. Она ночами, думая о нем, вязала эту шаль, в нее она вложила всю свою любовь, к ней прикасались нежные пальцы Мони. И когда тетя укрыла его шалью, он представил себе, что это сама Мони, не смыкая глаз ночами, согревает его.

— Послушай, ведь Мони не умела вязать. Ей это не нравилось.

— Стоит только захотеть, быстро выучишься. Я показала ей, как это делается. Вначале у нее не получалось, то и дело спускались петли.

— Подумаешь, петли. Не на парижскую же выставку нам посылать эту шаль, а укрываться — и так сойдет.

Джотину было очень приятно, что Мони много раз ошибалась. Бедная беспомощная Мони не умеет вязать, но терпеливо работает каждую ночь. Картина, которую он представил себе, наполнила его сердце жалостью и нежностью. И он снова помял пальцами шаль.

— Где доктор, внизу?

— Да, Джотин. Он будет ночевать у нас.

— Пусть только не дает мне своих таблеток. От них еще хуже. Я все равно не сплю, так пусть голова будет ясной. Знаешь, тетя, мы поженились в двенадцатую ночь месяца бойшакх. Завтра как раз наступает эта ночь. Снова в небе зажгутся звезды. Мони, наверное, забыла об этом, я хочу ей напомнить. Пожалуйста, позови ее хоть на несколько минут. Почему ты замолчала? Доктор сказал, что я очень слаб и что... Но если я хоть немного поговорю с ней, мне не понадобится снотворное. Последние две ночи я не спал потому, что хотел излить перед ней душу. Не надо плакать, тетя. Никогда в жизни я не испытывал такого прилива душевных сил, как сейчас. Поэтому я и хочу видеть Мони. Может быть, сегодня мне удастся передать ей всю полноту чувств моего сердца. Мне так много надо ей сказать. Я давно собирался, но не мог, а теперь не хочу ждать ни секунды, позови ее. У меня осталось слишком мало времени. Перестань плакать, я не могу видеть твоих слез. До сих пор ты была так спокойна, что же случилось?

— О Джотин, я думала, что выплакала все слезы, но ошиблась. Я больше не в силах терпеть.

— Позови Мони. Я ей скажу, чтобы завтра ночью она...

— Иду, Джотин, иду. Шамбху будет около дверей, если тебе что-нибудь понадобится, позови его.

Тетя вошла в комнату Мони и села на пол.

— Приди, приди же,— запричитала она,— приди, чудовище. Выполни последнюю волю того, кто отдал тебе все. Он умирает, не убивай его раньше времени!

Джотин вздрогнул от шума шагов:

— Это ты, Мони?

— Нет, это я, Шамбху. Вы звали меня?

— Пойди позови свою госпожу.

— Кого?

— Госпожу.

— Она еще не вернулась.

— А где она?

— В Ситарампуре.

— Она уехала сегодня?

— Нет. Три дня назад.

На мгновенье Джотин почувствовал слабость во всем теле, в глазах потемнело. Он откинулся на подушки и сбросил лежавшую на его ногах шаль.

Наконец вернулась тетя. Джотин больше не заговаривал о Мони, и тетя решила, что он перестал о ней думать.

Вдруг он сказал:

— Помнишь, я рассказывал тебе сон, который видел недавно?

— Что же тебе снилось?

— Будто Мони хочет войти ко мне в комнату, но не может открыть дверь. Всю жизнь Мони стояла за дверью моего дома. Я много раз ее звал, но она не пришла.

Тетя ничего не ответила. «Мир иллюзий,— подумала она,— который я создала для Джотина, больше не существует. От несчастья не скроешься. Удара судьбы ложью не предотвратишь».

— Твою любовь я пронес через всю жизнь, она будет сопутствовать мне и в иной жизни. В своем следующем рождении ты будешь моей дочерью, вот увидишь, а я буду заботливым отцом.

— Значит, опять я стану девочкой? А может быть, мне лучше стать сыном?

— Нет. Ты войдешь в мой дом такой же красивой, какой была в детстве. Я даже представляю, как наряжу тебя.

— Хватит болтать, Джотин. Спи!

— И назову я тебя Лакшми-рани.

— Это имя устарело.

— Я знаю, но с тобой связана вся моя прошлая жизнь. И эту жизнь ты принесешь ко мне в дом.

— В твой дом я принесу заботы о моем замужестве, а этого мне бы не хотелось.

— Ты считаешь меня слабым? Хочешь оградить от забот?

— Я женщина, Джотин, слабая женщина, поэтому всю жизнь старалась оградить и тебя от забот. Но разве это в моих силах?

— Я многому научился в жизни, но ничего не успел сделать. В другой жизни я покажу, на что способен человек. Теперь я понял, что самосозерцание не что иное, как самообман.

— Зачем так говорить, Джотин? Себе ты ничего не взял, все отдал другим.

— Да, я с гордостью могу сказать, что никогда не пытался завоевать счастье силой. Довольствовался тем, что имел, и не желал чужого. Всю жизнь я чего-то ждал. И дождался лжи. Но, может быть, теперь правда смилостивится надо мной. Кто это, тетя, кто?

— Где, Джотин? Я ничего не слышу.

— Тетя! Пойди посмотри в той комнате, мне кажется...

— Нет, дорогой, там никого нет.

— Но я отчетливо...

— Успокойся, Джотин. Это пришел доктор.

— Когда вы с ним, он слишком много говорит. Вот уже несколько ночей он не смыкал глаз. Вы отдохните сегодня, а здесь посидит человек, которого я привел с собой.

— Нет, нет. Не уходи, тетя.

— Хорошо, я посижу здесь в углу.

— Сядь рядом со мной. Я буду держать твою руку. Этими руками ты меня вырастила, и пусть из этих рук бог возьмет меня.

— Хорошо, тетя останется, но при условии, что вы не будете разговаривать, господин Джотин. А сейчас пора принять лекарство.

— Пора? Это ложь. Уже поздно. А давать мне сейчас лекарство, значит, обманом утешать меня. Я не боюсь смерти. Здесь лечит сама смерть и докторам делать нечего. Скажи им, пусть уходят. Ты одна мне нужна, больше никто, никто.

— Вам вредно волноваться, господин Джотин.

— Тогда уходите и не волнуйте меня... Тетя, доктор ушел? Вот и хорошо. Садись сюда, на постель. Я положу голову тебе на колени.

— Ложись, мой дорогой, мой ненаглядный, поспи немного.

— Не заставляй меня спать. Если я усну, могу больше не проснуться. А мне надо бодрствовать. Ты слышишь шаги? Вот они ближе, ближе. Сейчас откроется дверь.

5

— Посмотри, Джотин, кто пришел. Ты только посмотри.

— Кто пришел? Сон?

— Не сон. Здесь Мони и ее отец.

— Кто ты?

— Разве ты не узнаешь? Это твоя Мони.

— Мони? Ей все же удалось открыть дверь?

— Удалось, мой дорогой, удалось.

— Тетя, не накрывай мне ноги шалью, не накрывай! Эта шаль — обман, ложь.

— Это не шаль, Джотин. Это жена склонилась к твоим ногам. Благослови ее... Не надо так плакать, невестка, у тебя еще будет для этого время... А сейчас лучше помолчи.

НЕЗНАКОМКА

1

Сейчас мне двадцать семь лет. Моя жизнь интересна не продолжительностью и даже не добродетелью, а одним событием, воспоминание о котором я бережно храню в памяти. Оно сыграло для меня такую же роль, какую играет пчела в жизни цветов.

История моя коротка, и я тоже буду краток. Те из читателей, кто осознал, что малое не значит маловажное, несомненно поймут меня.

Я только что сдал выпускные экзамены в колледже. Еще в детстве мой учитель имел все основания шутить надо мной, сравнивая меня то с цветком шимул, то с красивым, но несъедобным плодом макал, называть «прекрасным пустоцветом». Я очень обижался тогда, но с годами пришел к мысли, что, если б мне довелось начать жизнь сначала, я все же предпочел бы красивую внешность, даже при условии, что это будет вызывать насмешки учителя.

Какое-то время отец мой был беден. Потом, занимаясь адвокатурой, он разбогател, однако пожить в свое удовольствие ему так и не довелось. Лишь на смертном одре он впервые вздохнул с облегчением.

Когда отец умер, я был совсем маленьким. Мать одна воспитывала меня.

Она выросла в бедной семье, поэтому никак не могла привыкнуть к нашему богатству, да и мне не давала забыть о нем.

Меня очень баловали в детстве, и, кажется, именно поэтому я так и не стал взрослым. Даже сейчас я напоминаю младшего брата Ганеши, сидящего на коленях Аннапурны.

Надо сказать, что воспитывал меня дядя, хотя я был младше его всего лет на шесть. Как песок реки Пхалгу пропитан ее водой, так и дядя всецело был поглощен заботами о нашей семье. Все решал он один. И жил я очень беспечно.

Отцы, у которых дочери на выданье, должны согласиться, что женихом я был завидным. Я даже не курил. Говоря откровенно, быть паинькой не составляет особого труда, вот я и был им. Я обладал завидной способностью во всем следовать советам матери, впрочем, не следовать им я был просто не в силах. Я был готов в любой момент подчиниться власти женской половины дома, а для девушки, выбирающей себе жениха, это немаловажное обстоятельство.

Многие знатные семьи выражали желание породниться с нами. Но дядя (на земле он был главным доверенным лицом бога, вершившего мою судьбу) имел на этот счет свое особое мнение. Богатые невесты его не прельщали. Пусть, решил он, девушка войдет в наш дом с покорно опущенной головой. Но в то же время деньги были его кумиром. И дядя рассудил так: отец невесты вовсе не должен слыть богачом, главное, чтобы он дал солидное приданое и в любой момент согласился оказать нашей семье услугу. К тому же он не должен обижаться, если в нашем доме ему вместо кальяна подсунут дешевую хукку из кокосового ореха.

В это время в Калькутту приехал в отпуск мой друг Хориш, который работал в Каннуре. И я сразу потерял покой, потому что он сказал:

— Есть одна замечательная девушка.

Дело в том, что незадолго до его приезда я получил степень магистра искусств и мне предстояли бессрочные каникулы: сдавать экзамены больше не нужно, а искать работу, служить — незачем. Я не привык думать о себе, да и не хотел. Дома обо мне заботилась мать, а вне дома — дядя.

И в этой пустыне безделья возник мираж, заслонивший собою весь мир. Он возник в образе прекрасной девушки, созданной моим воображением. В небе мне чудились ее глаза, в дуновении ветерка — ее дыхание, а в шелесте листьев я ловил ее нежный шепот.

И вот, как я уже сказал, именно в это время приехал Хориш и сообщил: «Есть одна замечательная девушка...» Я задрожал, будто молодые листочки на весеннем ветру.

Хориш был человеком веселым и обладал способностью интересно рассказывать, к тому же сердце мое жаждало любви.

— Поговори с дядей,— попросил я друга.

Никто не умел развлекать так общество, как Хориш. Везде он пользовался успехом. Дядя, недолго побеседовав с ним, уже не хотел его отпускать. Разговор происходил в гостиной. Дядю интересовала не столько сама невеста, сколько дела ее отца. Оказалось, все обстоит так, как ему и хотелось. Некогда полная чаша богатства их семьи сейчас опустела, но на дне кое-что осталось. Не имея средств жить так, как того требовала честь рода, они покинули родные места и уехали на запад страны. Девушка — единственная дочь, и отец, конечно, без колебаний отдаст ей в приданое все, что осталось от былого богатства.

Дядю это вполне устраивало. Только одно его смущало — девушке уже исполнилось пятнадцать лет.

— Не пользуется ли их род дурной славой? — беспокоился он.

— Совсем нет,— заверил его Хориш.— Просто отец не может найти достойного жениха. Женихи сейчас очень поднялись в цене, к тому же семья их разорена. Отец ждал, ждал, а тем временем девочка выросла.

Как бы то ни было, речи Хориша возымели свое действие, и дядя смягчился.

Переговоры о свадьбе прошли без осложнений. Весь мир, простирающийся за пределами Калькутты, казался дяде частью Андаманских островов. Только однажды он по какому-то особому случаю ездил в Канагар. Будь мой дядя Ману, он не преминул бы издать закон, строжайше запрещающий переходить даже Ховрский мост.

Мне очень хотелось самому взглянуть на девушку, но о поездке я и заикнуться не посмел. Для благословения невесты решили послать моего двоюродного брата Бину. На его вкус и здравый смысл я мог вполне положиться.

— Недурна,— заявил он по возвращении.— Чистое золото!

Обычно Бину был сдержан в своих оценках. Там, где мы восклицали «превосходно», он говорил «сносно». И я понял, что мой брак не посеет вражды между богами Праджапати и Камадевой.

2

Само собой разумеется, что свадьба должна была состояться в Калькутте. Шомбхунатх-бабу, отец невесты, прибыл в Калькутту, как и обещал Хоришу, за три дня до свадьбы. Мы встретились с ним, и он меня благословил. Лет ему было сорок или чуть побольше, однако волосы у него оставались черными, лишь в усах нет-нет да и проглянет седина. Шомбхунатх-бабу сразу же обращал на себя внимание своей красивой внешностью. Полагаю, что и я ему понравился. Но понять, так ли это, было трудно,— Шомбхунатх-бабу был неразговорчив. Процедит несколько слов и молчит. Дядя же болтал без устали. Как бы невзначай он все время подчеркивал, что по богатству и положению мы не уступаем другим именитым семьям города.

Когда дядя умолкал на мгновение, Шомбхунатх-бабу вставлял свое «угу» или «да». Будь я на месте дяди, это, несомненно, охладило бы мой пыл, но дядюшку поведение гостя нисколько не смущало. Он решил, что Шомбхунатх-бабу человек робкий и вялый, что, впрочем, его очень обрадовало, так как излишнюю живость в родственниках невесты он отнюдь не считал достоинством. Когда Шомбхунатх собрался уходить, дядя небрежно простился с ним и даже не проводил его до экипажа.

О приданом договорились быстро. Дядя гордился своей исключительной ловкостью. Он не оставил никакой неясности. Все было оговорено: какая часть приданого будет дана деньгами, сколько будет украшений и даже какого качества должно быть золото. Я не принимал в этом никакого участия, понимая, что переговоры о приданом — главное, хоть и самое неприятное в свадебных приготовлениях, и зная, что дядя не даст себя надуть. Его удивительная практичность была предметом гордости нашей семьи. При любых обстоятельствах, когда речь шла об интересах нашей семьи, дядя неизменно одерживал победу — это был общепризнанный факт. Хоть мы и не нуждались в деньгах, а семья невесты находилась в стесненных обстоятельствах, все равно надо было настоять на своем,— таков был обычай нашей семьи, и до других нам дела не было.

Посылку пасты из корня куркумы в дом невесты обставили очень пышно. Потребовался бы специальный человек, чтобы точно сосчитать, сколько людей участвовало в шествии. Мать и

дядя посмеивались, мысленно прикидывая, сколько беспокойства доставят другой стороне угощение и подарки.

Наконец я отправился в дом невесты. Оркестр и певцы-любители производили такой шум, что казалось, будто слон с ревом топчет заросли лотосов богини музыки.

Я напоминал витрину ювелирного магазина. Будущий тесть должен был получить ясное представление о моей стоимости.

Дяде не понравился дом, где должна была состояться брачная церемония. В саду не хватало места для всех участников шествия, да и особых приготовлений не было заметно. К тому же Шомбхунатх-бабу был холоден в обращении, не казался смущенным и, как всегда, молчал. Скандал разразился бы в самом начале, если бы не друг Шомбхунатха — адвокат, огромный, очень смуглый и лысый, с чадором, обвязанным вокруг талии. Приветственно сложив руки, запинаясь от избытка чувств, он беспрерывно кланялся и улыбался всем, начиная от музыкантов и кончая родственниками жениха.

Не успел я расположиться с гостями в доме, как дядя вызвал Шомбхунатха в соседнюю комнату.

Не знаю, что там произошло, но вскоре Шомбхунатх вернулся и позвал меня.

— Пройдите сюда на минутку.

Почти у всех людей есть свои слабости. Дядя, например, всегда боялся, как бы его не обманули. И сейчас он решил проверить, не фальшивые ли драгоценности у невесты. Ведь после свадьбы думать об этом будет поздно. Тем более, что подарки жениху и приготовления к брачной церемонии оказались весьма скромными. Поэтому дядя привел с собой ювелира.

Войдя в комнату, я увидел, что дядя сидит на кушетке, а ювелир с весами и пробирным камнем расположился на полу.

— Ваш дядя хочет проверить, не обманули ли его,— обратился ко мне Шомбхунатх-бабу.— Что вы на это скажете?

Я молчал, опустив голову.

— А что его спрашивать? — возмутился дядя.— Будет так, как я решил!

— Это верно? — спросил отец невесты, в упор глядя на меня.— Будет, как решил ваш дядя? Вы не станете возражать?

Я печально покачал головой.

— Хорошо, тогда присядьте. Сейчас я сниму украшения с дочери и принесу сюда.

— Онупому нечего здесь делать,— сказал дядя.— Пусть идет к гостям.

— Нет,— возразил Шомбхунатх.— Пусть останется.

Шомбхунатх принес завернутые в полотенца украшения и положил их на кушетку перед дядей. Это были старинные фамильные драгоценности, массивные и тяжелые, не то что современные безделушки. Взяв одну из них, ювелир сказал:

— И смотреть нечего. Чистое золото. Такого сейчас ни за какие деньги не купишь.

С этими словами он взял браслет с изображением головы мифического чудовища и без труда согнул его.

Дядя вынул блокнот со списком обещанных за девушкой украшений. После проверки оказалось, что по ценности и весу они намного превосходят обещанное.

Среди украшений были серьги. Шомбхунатх передал их ювелиру и попросил посмотреть.

— Это английский сплав, в нем очень мало золота,— сказал ювелир.

— Возьмите их,— обратился Шомбхунатх к дяде и отдал серьги.

Эти серьги были подарком от нашей семьи невесте. Яркая краска залила лицо дяди. Ведь его не только лишили удовольствия поймать с поличным бедняка, но и самого поставили в неловкое положение.

— Иди к гостям, Онупом,— приказал он мне, нахмурившись.

— Погодите,— вмешался Шомбхунатх.— Я прикажу сейчас подать угощение.

— А как же смотрины? — воскликнул дядя.

— Не беспокойтесь. Идемте...

Этот робкий человек обладал огромной силой, и дяде пришлось подчиниться. Нельзя сказать, чтобы угощение было обильным, зато блюда были превосходно приготовлены, и все остались довольны.

Шомбхунатх и мне предложил поесть.

— Что же это такое? — заволновался дядя.— Как может жених есть до совершения свадебного обряда?

Оставив без внимания слова дяди, Шомбхунатх повернулся ко мне.

— А вы что скажете? Разве это предосудительно?

И на этот раз я не посмел ослушаться дяди.

— Я доставил вам много хлопот,— сказал тогда Шомбхунатх.— Мы не богаты и не сумели достойно принять вас, извините. Уже поздно, и я не хочу вас больше утруждать. Сейчас...

— Сейчас мы вернемся к гостям,— поспешно сказал дядя.

— Сейчас я прикажу подать вам экипаж...

— Вы шутите?

— Шутили вы, у меня же не было ни малейшего желания забавляться.

Глаза дяди округлились от изумления, он не мог вымолвить ни слова.

— Я не отдам дочь в семью, где считают, что я способен украсть драгоценности моей девочки.

Ко мне Шомбхунатх, видимо, не счел нужным обратиться, потому что получил все доказательства моей полной ничтожности.

Рассказывать, что произошло потом, у меня нет ни малейшего желания. Наши гости учинили разгром, побили фонари и гордо удалились.

Отзвучала музыка, исчезли свадебные слюдяные фонарики, лишь звезды скупо освещали дорогу, когда я возвращался домой.

3

Дома все были вне себя от гнева.

— Что за надменный тип отец невесты! Ему присущи все пороки нынешнего века, никто теперь не женится на его дочери!

Но Шомбхунатх не жаждал выдать дочь замуж.

Пожалуй, во всей Бенгалии не сыщешь жениха, которого бы отец невесты перед самой свадьбой выгнал из дому.

— По воле какой злой планеты запятнали позором такого богатого и достойного жениха, да еще в тот момент, когда гремела музыка и зажглись свадебные огни! — горестно причитали участники шествия, хлопая себя по лбу.— Свадьба не состоялась, а нас обманом заставили отведать угощений! Какая жалость, что нельзя вернуть их обратно!

— Я не прощу этого оскорбления,— горячился дядя, готовый поднять скандал.— Я буду жаловаться!

Но доброжелатели отговорили его от этого намерения, опасаясь, как бы мы не стали всеобщим посмешищем.

Трудно передать мой гнев. Я мечтал лишь о том, чтобы неожиданный поворот судьбы заставил Шомбхунатха униженно пасть к моим ногам и чтобы я мог отвергнуть его мольбы.

Но в сердце моем рядом с черным потоком ненависти струился светлый поток. Душа моя тянулась к той, незнакомой мне, девушке, и я не в силах был совладать с собой. Тогда нас разделяла только стена. Как описать мне ее, облаченную в алое сари, со знаками сандаловой пасты на лбу и краской стыда на

лице? Какие чувства переполняли тогда ее сердце? Волшебная лиана фантазии склонялась ко мне, предлагая свои весенние цветы. Ветер доносил их пряный аромат и шелест лепестков. Я уже готов был сделать один-единственный шаг к ней, как вдруг этот шаг оказался протяженностью в бесконечность.

Все эти вечера я ходил к Бину домой, чтобы расспросить его о девушке. Он был не многоречив, но каждое его слово, подобно искре, воспламеняло душу. Из разговора я понял, что девушка необыкновенно хороша. Я никогда не видел даже ее портрета и очень смутно представлял себе ее. И душа моя, будто призрак, печально вздыхая, бродила у стены брачной комнаты.

От Хориша я узнал, что девушке показали мою фотографию. Вполне возможно, что я ей понравился. Сердце нашептывало мне, что моя фотография хранится у нее в шкатулке. Может быть, запершись в комнате, она открывает заветную шкатулку, склоняется над портретом и волосы двумя черными струями сбегают ей на щеки. Услышав за дверью шаги, она быстро прячет портрет в свободный конец благоухающего сари.

Шли дни. Вот и год миновал. Дядя не решался больше заводить разговор о моей женитьбе. Мать решила повременить, пока все забудут о моем позоре, а затем снова попытаться женить меня.

Слыхал я, что руки моей бывшей невесты добивались женихи с положением, но она поклялась никогда не выходить замуж. Душа моя наполнилась ликованием. И я погрузился в мечты. В своем воображении я видел, что девушка забывает поесть и причесаться и день ото дня худеет. Отец с тревогой наблюдает за ней. И вот однажды он застает ее плачущей в своей комнате. «Что с тобой, дорогая?» — спрашивает он. «Ничего, папа»,— говорит девушка, торопливо утирая слезы. Но ведь она единственная и к тому же любимая дочь Шомбхунатха. Отец не может оставаться спокойным, когда дитя его увядает, будто во время засухи не успевший расцвести цветок. Смирившись, Шомбхунатх приходит к дверям нашего дома. Ну, а дальше? Черная ненависть, словно змея, притаилась в моей душе и, шипя, нашептывала мне: «Когда отовсюду съедутся на свадьбу гости, когда зажгутся огни, ты сбросишь с головы убор жениха и вместе с друзьями покинешь дом невесты». Но чувство, прозрачное, словно слеза, обернувшись чудесным лебедем, умоляло: «Отпусти меня, и я полечу, как некогда мчался в цветущий сад Дамаянти, и шепну твоей возлюбленной на ухо радостную весть». А что потом? Потом кончится темная ночь горя,

хлынет живительный дождь, и лицо моей любимой расцветет. По эту сторону стены останется весь мир, а в ту заветную комнату войдет только один человек. Тут мечты мои обрывались...

4

Мне остается рассказать совсем немного.

Я вез мать к святым местам, потому что дядя и на этот раз не решился переехать Ховрский мост. В дороге я вздремнул, но вагон трясло, и спал я беспокойно. На одной из станций я проснулся. Игра света и тени делала все похожим на сон. Только звезды на небе казались старыми знакомыми, а остальное, окутанное дымкой, было чужим. В тусклом свете фонарей окружающие предметы казались странными и далекими. Мать крепко спала. Купе едва освещала лампа под зеленым абажуром. Чемоданы, коробки и другие вещи, разбросанные по полу, тоже казались нереальными.

И вот в этом необычном мире, в тишине этой удивительной ночи, раздался голос:

— Скорее сюда, в этом вагоне есть место.

Мне почудилось, будто я слышу звуки песни. Чтобы понять, как сладостно звучит бенгальский язык в устах бенгальской девушки, нужно, как сейчас, забыть о времени и пространстве.

Но услышанный мною голос был каким-то особенным. Ничего подобного я никогда не слыхал!

По-моему, голос в человеке самое главное. По голосу вернее, чем по лицу, можно судить о душе. Я быстро открыл окно, взглянул, но никого не увидел. На темной платформе дежурный махнул фонарем, и поезд тронулся. Я так и остался у окна.

Я не знал, хороша ли собой та девушка, но сердцем чувствовал красоту ее души. Она как эта звездная ночь, окутавшая весь мир и в то же время недосягаемая. О голос незнакомки, в одно мгновение ты овладел моей душой. Ты чудо! Ты словно цветок, появившийся из самых недр нашего бурного времени, и никакие ураганы не заставят тебя задрожать, не отнимут твоей нежности.

В стуке колес я слышал песню. «Есть место, есть место»,— звучало, как припев. Что есть? Какое место? Нет никакого места! Никто никого не знает! Или незнание лишь туман, иллюзия? И если разорвать его путы, знакомство станет бесконечным. Неужели еще вчера я не знал о существовании сердца, чьей непередаваемой красотой полон ты, о чарующий голос:

«Есть место»,— как эхо, в душе отдалось.
Сдержать не могу закипающих слез.
Спешу, тороплюсь на призыв.

Я провел беспокойную ночь: на каждой станции выглядывал в окно,— боялся, что незнакомка сойдет и я не увижу ее.

На следующий день нам предстояло пересесть в другой поезд. Мы надеялись, что в вагоне первого класса будет немного народу. Но оказалось, что этот же поезд ждут солдаты с большим багажом. Какой-то генерал отправлялся в путешествие. О первом классе нечего было и мечтать. Положение осложнялось тем, что со мною была мать. Все вагоны были набиты битком. Мы ходили от двери к двери, но вдруг какая-то девушка из вагона второго класса крикнула:

— Садитесь к нам, есть место...

Я вздрогнул. Это был тот чудесный голос, тот же припев: «Есть место». Не мешкая ни секунды, мы с матерью влезли в вагон. Я даже не успел внести вещи. Такого беспомощного человека, как я, не сыщешь во всем мире! Но незнакомка не растерялась, она выхватила наш багаж из рук носильщика и втащила его в уже тронувшийся поезд. Правда, мой фотоаппарат так и остался на станции, но я о нем нисколько не жалею. Право, не знаю, как описать все, что произошло потом. В душе моей на всю жизнь запечатлелась картина того счастливого дня. Но с чего начать и чем кончить? Мне не хотелось бы рассказывать все по кусочкам. Наконец я увидел девушку, чей голос так меня поразил. Я взглянул на мать — она дремала. Незнакомке было лет шестнадцать, семнадцать. Держалась девушка очень непринужденно. Она вся будто светилась каким-то внутренним мягким светом, и в ней не было никакой скованности.

Это все, что я сохранил в памяти. Не помню, какого цвета было на ней сари. Ее одежда и украшения не бросались в глаза и не могли затмить ее безупречной красоты. Девушка была подобна нежной, едва распустившейся туберозе, своей красотой затмившей куст.

С девушкой ехали три маленькие девочки. Она без умолку болтала и смеялась с ними. Я держал в руках книгу, но не читал, а прислушивался к их разговору. То была милая детская болтовня. И что самое удивительное — с этими малышками взрослая девушка будто сама стала маленькой. У девушки было несколько книжек с картинками. Дети упросили ее почитать рассказ, который им особенно нравился. Они слушали его не раз. Но я понимал их настойчивость. Голос незнакомки, будто

прикосновение волшебной палочки, придавал каждому слову какой-то особый смысл. Да и все, к чему она прикасалась, оживало. И дети невольно поддались ее очарованию. Свет ее озарил и меня, и солнце моей жизни засияло ярче. Для меня незнакомка стала олицетворением бескрайнего неба и вечной неутомимой жизни.

На одной из станций девушка купила жареной чечевицы и вместе со своими маленькими спутницами, не смущаясь, принялась ее есть. Я очень стеснителен по природе и не смог попросить у девушки горсть чечевицы! Почему я не протянул руку и не признался в своем желании? Я очень раскаивался в своей робости.

В душе моей матери боролись противоречивые чувства. Ей не нравилось, что девушка без всякого стеснения ест при мужчине жареную чечевицу. Но в то же время что-то мешало ей осудить незнакомку. Наконец мать пришла к выводу, что девушка дурно воспитана. Ей очень хотелось заговорить со странной спутницей, но она не могла преодолеть своей привычки сторониться чужих людей.

В это время поезд подошел к станции. Здесь его ожидала большая группа лиц, которые должны были сопровождать генерала. Мест не было. И все эти люди столпились у нашего вагона. Моя мать замерла от страха, я тоже встревожился.

За несколько минут до отхода поезда дежурный по станции прикрепил карточки с написанными на них именами в изголовье наших полок.

— Эти места заказаны,— сказал он мне.— Вам придется перейти в другой вагон.

Я вскочил с излишней торопливостью.

— Мы не уйдем отсюда,— сказала на хинди незнакомка.

— Придется,— серьезно ответил дежурный, не удостоив вниманием взволнованную девушку, и позвал начальника станции — англичанина.

— Я очень сожалею, но...— обратился тот ко мне.

Я стал звать носильщика. Но незнакомка вскочила со своего места, глаза ее пылали от гнева.

— Вы останетесь! — негодующе воскликнула она. Затем обратилась по-английски к начальнику станции:

— Это неправда, места не заказаны!

Она сорвала карточки и, изорвав их, бросила на платформу.

В это время к нашему вагону подошел английский генерал. Он дал знак вестовому внести его багаж, но, заметив гневное лицо нашей спутницы и услышав ее слова, отозвал начальника

станции в сторону. О чем они говорили, не знаю. Но поезд был задержан: к нему прицепили еще один вагон. Девушка и дети снова принялись за жареную чечевицу, а я, сгорая от стыда, смотрел в окно.

Наконец поезд прибыл в Канпур. Девушка собрала вещи. Ее и детей встретил слуга, говоривший на хинди. Тогда моя мать не выдержала.

— Скажите мне ваше имя,— попросила она.

— Колени,— ответила девушка.

Мы с матерью вздрогнули.

— А ваш отец...

— Он врач, его зовут Шомбхунатх Сен.— Девушка вышла из вагона.

эпилог

Презрев запрещение дяди, ослушавшись мать, я приехал в Канпур. Я встретился с Колени и ее отцом. Моя покорность и мольбы смягчили сердце Шомбхунатха.

Но Колени сказала:

— Я не выйду замуж!

— Почему? — спросил я.

— Так велела мне мать...

Проклятье! Неужели и у нее есть дядя?

Но затем я понял: то была родина-мать. После расстроившейся свадьбы девушка дала обет посвятить свою жизнь женскому образованию.

Но я не впал в отчаяние. Голос незнакомки и по сей день звучит в моем сердце, словно призыв свыше. Он позвал меня в мир. Слова «есть место», которые я услышал впервые той темной ночью, стали припевом в песне моей жизни. Тогда мне было двадцать три года, сейчас — двадцать семь. Я не перестал верить, но порвал со своим дядей. Моя мать не смогла отказаться от меня — я был ее единственным сыном.

Вы думаете, я все еще надеюсь жениться на ней? Нет! Просто душой моей овладели слова «есть место» и вселяющий надежду нежный голос незнакомки. Конечно, место есть. Проходит год за годом, а я живу здесь, в Канпуре, вижусь с ней, слышу ее голос, помогаю в работе. И сердце подсказывает мне, что я завоевал место в ее жизни. О незнакомка, знакомство с тобой не имеет конца! И я доволен судьбою, я нашел свое место в этом мире.

ГОРА

РОМАН

ПЕРЕВОД

Глав первой — двадцать восьмой Е. АЛЕКСЕЕВОЙ

Глав двадцать девятой — тридцать девятой Е. СМИРНОВОЙ

Глав сороковой — семьдесят шестой и эпилога Б. КАРПУШКИНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Был разгар дождливого сезона, но в это душное и жаркое утро лучам солнца удалось прорвать тяжелые тучи, затягивавшие небо Калькутты, и ярким светом затопить улицы, по которым двигалась нескончаемая вереница повозок и экипажей. Без устали кричали торговцы. Над кухнями вились дымки: в каждом доме готовили завтрак и укладывали в маленькие корзиночки рыбу и овощи для тех, кто спешил в свою контору, суд, школу или колледж. Ослепительный золотой свет словно принес сегодня в этот безжалостный деловой город небывалую свежесть.

Бинойбхушон стоял на верхней веранде своего дома и смотрел вниз на снующих по улице людей. Заняться ему было нечем. Колледж он уже давно закончил, но пока еще нигде не работал. Иногда он, правда, принимал участие в организации собраний, сотрудничал в газетах, но это далеко не удовлетворяло его. И сегодня, пока он стоял на веранде, не зная, что предпринять, мысль о собственной неустроенности не переставала тревожить его.

На крыше соседнего дома перекрикивались о чем-то вороны. В углу веранды бодро чирикала воробьиная чета, устраивая свое гнездышко. Все это только усиливало неясное волнение в душе Биноя.

Неподалеку от дома перед лавочкой стоял бродячий певец в халате до пят и пел:

Неведомая птичка ко мне в клетку влетела.
Откуда взялась ты, певунья?

Цепями любви не сумел я сковать твои крылья.
Вспорхнув, ты исчезла в лазури безбрежной.

Биной подумал, что хорошо было бы позвать певца и записать песню о неведомой птице, но им овладела та самая лень, которая иногда мешает человеку в прохладные предутренние часы натянуть на себя соскользнувшее одеяло, и он не смог заставить себя пойти за нищим.

Песня так и осталась незаписанной, но напев ее еще долго звучал у него в ушах.

И вот тут-то как раз напротив его дома большая, запряженная парой карета налетела на извозчичью коляску. Не обращая внимания на то, что у коляски соскочило колесо, карета помчалась дальше. Биной выбежал на улицу и увидел, что возле накренившейся коляски стоит девушка лет семнадцати, а с подножки с трудом спускается на землю пожилой благообразный человек.

Биной помог ему и, заметив бледность, покрывшую его лицо, спросил:

— Вы не ушиблись?

— Нет, нет, ничего.

Старик попытался улыбнуться, но улыбки не получилось, казалось, он вот-вот потеряет сознание. Биной взял его под руку.

— Это мой дом, входите, пожалуйста,— обратился он к перепуганной девушке.

Старика уложили на постель. Осмотревшись по сторонам, девушка увидела в углу кувшин, налила в стакан воды и стала брызгать в лицо старику.

— Нельзя ли пригласить доктора? — спросила она.

Врач жил рядом, и Биной немедленно послал за ним слугу.

В комнате, куда принесли старика, на туалетном столике у стены стояли зеркало, флакон с душистым маслом, лежали гребенки и щетки. Биной не отрываясь смотрел на девушку в зеркало.

Биной с детских лет жил в Калькутте один и все свои познания о жизни и о людях черпал главным образом из книг. Ему никогда не приходилось встречаться с девушками своего круга, исключая ближайших родственниц.

И сейчас, глядя на прелестное личико, отражавшееся в зеркале, Биной был совершенно очарован. Юноша еще не умел разбираться во всех тонкостях женской красоты, но его поразила любовь, светившаяся во встревоженных глазах девушки. Словно новый мир, полный тепла и ласки, открылся Биною.

Немного погодя старик вздохнул, открыл глаза и позвал девушку. Сдерживая слезы, она еще ниже склонилась над ним и шепотом спросила:

— Тебе больно, отец?

— Где я? — Старик пытался приподняться, и Биной поспешил к нему на помощь.

— Не поднимайтесь, прошу вас, полежите,— сказал он.— Сейчас придет доктор.

Тут только старик припомнил все, что с ним произошло.

— Пустяки,— ответил он девушке,— немного болит голова, больше ничего.

В это время послышались шаги, и в комнату вошел доктор. Осмотрев пострадавшего, он сказал, что серьезного ничего нет, и посоветовал ему выпить горячего молока с коньяком. После ухода доктора старик забеспокоился, и дочь сразу поняла, в чем дело.

— Не волнуйся, отец. Мы приедем домой, и я тотчас же верну деньги и за доктора и за лекарство.

Девушка взглянула на Биноя. Какие у нее были изумительные глаза! Если бы его спросили, большие они или маленькие, черные или карие,— Биной не смог бы ответить. В них не было и следа смущения или нерешительности, они смотрели на него со спокойной уверенностью.

— Доктор ведь приходил всего на минуту, поэтому вы... я сам...

Биной не докончил фразы. Девушка только посмотрела на него, но он прекрасно понял, что деньги ему взять придется.

— Коньяк мне совершенно не нужен,— начал было старик, но дочь перебила его:

— Почему, отец? Ведь доктор сказал!

— У докторов привычка при всяком удобном случае прописывать коньяк. Выпью горячего молока, и все пройдет.

Он выпил молоко, и ему стало лучше.

— Ну вот, теперь можно идти,— сказал он Биною,— простите, что мы доставили вам столько хлопот...

Девушка повернулась к молодому человеку:

— Прошу вас, не могли бы вы послать слугу за извозчиком?

— Опять ты его беспокоишь? — запротестовал отец.— Ведь наш дом совсем рядом, прекрасно дойдем пешком.

— Нет, нет, отец. Тебе нельзя.

Старик покорился, и Биной сам сходил и позвал им извозчика. Садясь в коляску, старик спросил:

— Как ваше имя?

— Бинойбхушон Чоттопадхай.

— А мое Порешчондро Бхоттачарджо. Мы живем очень близко от вас, в доме номер семьдесят восемь по этой же ули-

це. Будем очень рады, если у вас найдется время заглянуть к нам.

Подняв на Биноя глаза, девушка безмолвно подтвердила приглашение. Биною очень хотелось проводить их до дому, но он не знал, удобно ли это, и продолжал стоять в нерешительности. Когда коляска тронулась, девушка сложила ладони и слегка наклонила голову, прощаясь с ним, но молодой человек так растерялся от неожиданности, что даже не ответил на ее поклон.

Вернувшись в дом, Биной в отчаянии начал ругать себя за эту оплошность.

Мысленно он снова в мельчайших подробностях переживал все, что произошло с момента появления девушки и ее отца вплоть до их отъезда, и ему казалось, что он вел себя не так, как следовало, и говорил не то, что нужно. О, сейчас он прекрасно знал, что надо было ему сказать в том или ином случае. Но... было уже поздно!

Поднявшись к себе в комнату, Биной увидел на кровати забытый девушкой платок — тот самый, которым она вытирала лицо отцу. Юноша поднял его. И снова в его душе зазвучала песня странствующего певца:

Неведомая птичка ко мне в клетку влетела...

Наступил полдень. Невыносимо жгло солнце. Число экипажей, направлявшихся в сторону деловой части города, все возрастало. А Биной по-прежнему не мог заставить себя взяться за какую-нибудь работу. Никогда в жизни не приходилось ему испытывать такой радости и вместе с тем такой боли. Его скромный домик, затерявшийся в громадном грязном городе, да и сам город показались ему вдруг сказочно прекрасным, волшебным царством, где возможно невозможное, где сбывается несбыточное, где красота побеждает безобразие. Палящие лучи, проникая сквозь напоенный влагою воздух месяца дождей, жгли ему мозг, пламенем разливались по жилам, легкой сияющей дымкой окутывали, скрывая от его глаз, все мелочи повседневной жизни, так досаждавшие ему. Биною захотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Но что? Ведь он показал себя самым обыкновенным, самым заурядным человеком. Жил он в невзрачном домишке, в комнатах его царил беспорядок, постельное белье давно не менялось. Обычно в вазах стояли цветы, но сегодня, как назло, не было ни цветочка. Все сходились на том, что Биной замечательно выступает на собраниях. Сомнений быть не могло, со временем он будет знаменитым оратором. Но сегодня он не вымолвил ни одного слова, которое убедило бы всех в его талантах...

«Эх, выскочить бы мне на улицу как раз в тот момент, когда карета налетела на коляску,— мечтал Биной,— схватить бы лошадей под уздцы и остановить...» И, представив себя в такой героической роли, Биной не удержался и посмотрел в зеркало.

Затем он выглянул в окно и вдруг увидел мальчика лет семи-восьми, который пытался разглядеть номер его дома.

— Здесь, здесь! Сюда! — Биной нисколько не сомневался, что мальчик ищет именно его. Шлепая туфлями, он быстро сбежал по лестнице, радостно схватил мальчугана за руку и ввел в дом.

— Меня послала к вам сестра.— И мальчик протянул ему конверт.

На конверте четким женским почерком было написано его имя. В конверте не было ничего, кроме нескольких рупий.

Мальчик повернулся, чтобы уйти, но Биной не хотел так быстро отпускать его и повел в свою комнату.

Чертами лица мальчик очень напоминал сестру, только был несколько смуглее. Биной ласково смотрел на него и чувствовал, как в душе его поднимаются нежность и любовь.

Мальчуган оказался очень любознательным. Войдя в комнату, он сразу же обратил внимание на портрет, висевший на стене.

— Кто это? — спросил он.

— Мой друг.

— Друг? А кто ваш друг?

Биной улыбнулся.

— Ты его не знаешь. Его зовут Гоурмохон, а я называю его просто Го́ра. Мы вместе учились.

— Вы и теперь учитесь? — расспрашивал мальчик.

— Нет, теперь я уже не учусь.

— Неужели вы уже все-все выучили?

Биной не удержался, чтобы не похвастаться:

— Да, я уже все выучил.

Пораженный мальчуган вздохнул. Вероятно, он подумал о том, как много испытаний ждет его впереди, прежде чем он достигнет тех же вершин премудрости.

— А тебя как зовут? — спросил, в свою очередь, Биной.

— Шотишчондро Мукхопадхай.

— Мукхопадхай? — удивился Биной.

Оказалось, что Пореш-бабу — не родной его отец, хотя и воспитывает их с сестрой с раннего детства. Сестру мальчика зовут Радхарани, но жене Пореша-бабу больше нравится имя Шучорита, поэтому теперь ее так и называют.

Биной и Шотиш быстро подружились, и когда мальчик собрался уходить, Биной остановил его:

— А ты не боишься идти один?

— Я всегда хожу один,— с гордостью ответил Шотиш.

— Я провожу тебя.

— Вот еще! Меня никто никогда не провожает.

Мальчик явно был обижен таким недоверием и начал рассказывать об удивительных происшествиях, случавшихся с ним, когда он ходил один. Он так и не понял, почему же все-таки Биной довел его почти до самых дверей их дома.

— Может, вы зайдете к нам?

Биною очень хотелось зайти, но он ответил:

— Нет, сегодня не могу, как-нибудь в другой раз.

Вернувшись домой, юноша достал из кармана конверт и принялся изучать его. Он так долго и так внимательно читал адрес, что скоро знал наизусть каждую буковку, каждую черточку. Затем осторожно положил конверт вместе с деньгами в шкатулку.

Можно было не сомневаться, что эти несколько рупий останутся неприкосновенными даже в самую трудную минуту его жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В дождливую пору вечера обычно бывают гнетущими: насыщенный влагой воздух словно тяжелеет, низкие рваные облака бесшумно плывут по темнеющему небу, и Калькутта становится похожей на громадного побитого пса, свернувшегося калачиком и положившего на хвост свою обиженную морду.

Дождь начался накануне вечером и моросил всю ночь, на улицах стояла непролазная грязь. Сейчас дождь перестал, но тяжелые, низко нависшие тучи не предвещали ничего хорошего. В такие дни одинаково не хочется ни сидеть дома, ни выходить на улицу. Вот почему два молодых человека вынесли плетеные кресла на еще мокрую от дождя плоскую крышу трехэтажного дома и расположились там.

Это были давние друзья. В раннем детстве, вернувшись из школы, они любили бегать взапуски по этой крыше; во время экзаменов в колледже как одержимые без конца шагали по ней из угла в угол, уткнувшись в учебники и бормоча себе под нос; в жару они обычно ужинали на крыше, а после ужина нередко засиживались здесь до глубокой ночи за разговорами, а порой тут же, на циновках, засыпали и спали до тех пор, пока их не

будило солнце. С тех пор как молодые люди окончили колледж, на этой же крыше раз в месяц устраивались собрания «Индусского Патриотического общества»: один из друзей был председателем этого Общества, другой секретарем.

Председателя звали Гоурмохон, но для родных и друзей он был просто Го́ра. Внешностью он резко отличался от окружающих. У него была очень светлая, без малейшего признака желтизны, кожа, за что кто-то из преподавателей колледжа прозвал его «Снежной Вершиной». Около шести футов ростом, с мощными плечами и кулаками, огромными, как лапы тигра, он к тому же обладал голосом таким сильным, чистым и глубоким, что люди невольно вздрагивали, заслышав его, и испуганно спрашивали: «Что это?» Черты лица Горы тоже были необыкновенно крупными и выразительными: широкие скулы, выдающийся вперед подбородок, большой выпуклый, почти безбровый лоб, тонкие, плотно стиснутые губы, над которыми торчал длинный, похожий на кривую саблю, нос, и небольшие острые и проницательные глаза. Казалось, что пристальный взгляд Горы всегда устремлен куда-то вдаль; это не мешало ему, однако, прекрасно замечать все, что делалось вокруг. Красивым назвать этого молодого человека было отнюдь нельзя, но невозможно было и не заметить его. Он невольно сразу же приковывал к себе внимание.

Его друг Биной был типичным молодым бенгальцем из хорошей семьи — скромным, но живым юношей. Врожденная мягкость и пытливый ум одухотворяли его красивое лицо. Он всегда хорошо учился и из года в год получал стипендию. Успехи же в занятиях Горы были много скромнее. У него не было ни усидчивости Биноя, ни его хорошей памяти, не обладал он и умением своего друга быстро, на лету, схватывать новое. На экзаменах главной его опорой бывал Биной.

— Послушай,— спрашивал Гора друга,— почему ты так набросился на Обинаша, когда он выступил в прошлый раз против брахмаистов? Ведь это выступление доказывает, что он вполне трезво смотрит на вещи.

— Вот как? — сказал Биной.— А меня удивляет, что ты находишь нужным спрашивать меня об этом.

— Ты несправедлив к нему. Невозможно требовать от общества доброжелательного отношения к тем своим членам, которые попирают его законы и обычаи и стараются переделать все на свой лад. Общество обязательно будет смотреть на таких людей с предубеждением, оно с недоверием встретит их попытки изменить все вокруг и не поймет их намерений, пусть самых благих. И в отказе общества покорно принимать «благо», кото-

рое ему навязывают, как раз и заключается та самая кара, которая неизбежно обрушивается на людей, решившихся пойти против общества, полагающего это «благо» злом. Это совершенно естественно.

— Может быть, это и естественно для человеческого общества,— возразил Биной,— но согласиться с тем, что раз естественно, значит, хорошо, я, извини меня, не могу.

— Оставим в покое вопрос, что хорошо и что нет,— вспылил Гора.— Хорошие люди в этом мире — исключение. Если найдется один-другой, и прекрасно. С остальных, на мой взгляд, хватит и того, чтобы они поступали согласно своей натуре. В противном случае прогресс был бы невозможен и вообще жить бы не стоило. Если у людей хватает «доблести» кичиться своей принадлежностью к брахмаистам, им следует мириться и с таким «несчастьем», как презрение небрахмаистов. Почему бы люди, придерживающиеся какого-то мнения, стали вдруг восхищаться тем, как кто-то горделиво проповедует противные им убеждения? Поверь мне, если бы они поступали так, это было бы очень печально.

— Я вовсе не отвергаю критики, направленной против общества, но когда она сосредоточивается на отдельных личностях...

— А что такое критика, направленная против общества? — перебил его Гора.— Пустые слова, больше ничего! Меня, кстати, интересует твое личное мнение. Ну скажи, вот ты, благородный человек, разве ты никогда никого не осуждал?

— Осуждал, даже часто, но теперь стыжусь этого.

— Нет, Биной, так не годится! — Гора сжал правую руку в кулак.— Совсем не годится.

Биной помолчал, а потом спросил:

— В чем дело? Почему это тебя так волнует?

— Потому что я вижу, что ты пошел по пути слабых.

— Слабых?! — Биной даже привскочил.— Ты же прекрасно знаешь, что если бы я захотел, то сейчас же мог бы пойти к Порешу-бабу. Они приглашали меня, но ведь я же не иду.

— Да, но в то же время это не перестает мучить тебя. Круглые сутки ты только и думаешь: «Я не пошел к ним, не пошел, не пошел!» Уж лучше пойди, и дело с концом!

— Значит, ты серьезно советуешь мне пойти?

— Нет,— ответил Гора, стукнув себя по колену.— Я не советую тебе идти. И я твердо убежден, что если ты все-таки туда пойдешь, то перекинешься на их сторону окончательно. На другой же день усядешься с ними есть за один стол, а потом

вступишь в «Брахмо Самадж» и превратишься в его воинствующего проповедника.

— Вот как?! Ну и что же будет дальше?

— Что будет дальше? Для человека, порвавшего с теми, кто составлял его мир, нет будущего! Ты, сын брахмана, готов забыть о всех правилах воздержания и чистоты,— значит, кончишь ты тем, что умрешь отверженным. Как рулевой, у которого разбит компас, ты потеряешь представление о том, где восток и где запад, начнешь думать, что вести корабль заданным курсом — это предрассудок и ограниченность, что куда лучше положиться на волю волн. Ну вот что, я не намерен пререкаться с тобой до бесконечности. Скажу одно — если тебе так уж невтерпеж идти к ним — иди; перестань только играть у нас на нервах, балансируя над пропастью.

Биной рассмеялся.

— Ну, знаешь, не все больные, объявленные безнадежными, умирают. Я не чувствую никаких признаков приближения смерти.

— Не чувствуешь?

— Нет.

— Ты не замечаешь, что у тебя слабеет пульс?

— Да нет же, он вполне нормален.

— И пища неверных не показалась бы тебе яствами богов, если бы ты получил ее из ручек некой прелестной девушки?

Биной смутился.

— Хватит, Гора, замолчи!

— Почему? Что ж тут обидного? Ведь она же не из тех скромниц, которые не позволяют даже солнечным лучам касаться своих нежных ручек. Если ты считаешь святотатством даже упоминание о пальчиках, которые, однако, может пожать каждый вошедший в их дом мужчина, то это верный признак гибели.

— Я преклоняюсь перед женщинами, Гора, и к тому же шастры...

— Пожалуйста, не ссылайся на шастры, говоря о подобного рода чувствах. Это не преклонение. Если я скажу, что это такое на самом деле, ты окончательно на меня разобидишься.

— Ты просто злишься,— пожал плечами Биной.

— В шастрах о женщине сказано: «Достойна поклонения вносящая свет в дом». Да, это так. Запомни только, что чувство, которое вызывают порой женщины в сердцах мужчин, носит другое название, хотя англичане и именуют его «поклонением».

— Послушай, Гора, можно ли с таким пренебрежением от-

носиться к замечательному чувству только потому, что иногда оно бывает омрачено?

— Вот что, Бину,— нетерпеливо прервал его Гора,— ты совершенно очевидно утратил способность рассуждать здраво, так доверься же мне и слушай: за всеми прекрасными словами, которые говорятся о женщине в английских книгах, скрывается самая обыкновенная страсть. Настоящая женщина, которая действительно достойна поклонения, это прежде всего Мать и безупречная хранительница семейного очага. Вынеси из дома трон преданной Лакшми, и в поклонении женщине невольно появится что-то оскорбительное. Чувство, которое, словно бабочку на огонь, влечет тебя к дому Пореша-бабу, называется по-английски «любовью». Смотри только не подражай англичанам и не делай культа из этого чувства!

Биной подскочил, словно его ударили.

— Хватит, Гора, замолчи! Это уж слишком!

— Почему слишком? Я даже не высказал до конца своей мысли. Именно потому, что мы не научились принимать отношения мужчины и женщины просто — такими, какие они есть,— нам и приходится порой поэтизировать их.

— Хорошо, допустим, иногда мы действительно склонны неправильно смотреть на отношения между мужчиной и женщиной, усложняем их и искажаем. Но разве в этом повинны только иностранцы? Пусть ложно то, что они утверждают, но разве так уж правы наши моралисты, проповедующие, что женщина — это зло? Для того чтобы спасти человека от этого всепоглощающего чувства, одни воспевают духовную сторону любви, всячески замалчивая любовь телесную, другие же, наоборот, стремятся подчеркнуть все скверное, что есть в страсти, и отрицают любовь вообще. По существу же, это просто разные точки зрения разных людей, и раз уж ты порицаешь одних, то не защищай и других.

— По-видимому, я ошибся в тебе,— с улыбкой заметил Гора.— Твое положение не так уж безнадежно. Раз ты способен философствовать, можешь спокойно влюбляться и дальше; но помни совет друга, желающего тебе добра: умей остановиться вовремя.

— Нет, ты просто сумасшедший! — воскликнул Биной.— Какая там любовь! Чтобы тебя успокоить, скажу: все, что я слышал о семье Пореша-бабу, внушает мне к ним большое уважение. Вероятно, поэтому меня так и тянет познакомиться с их жизнью.

— Пусть будет так! Смотри, однако, будь осторожен. Не

лучше ли постараться подавить в себе страсть к исследованиям зоологического мира. Ведь женщины принадлежат к семейству хищников, и слишком близкое знакомство с ними может стоить тебе головы.

— Слушай, Гора, у тебя есть один очень большой недостаток. Ты почему-то убежден, что силу, предназначавшуюся всем людям, всевышний отдал тебе одному, а мы так и остались беззащитными, слабыми существами.

Слова Биноя поразили Гору. В восторге он хлопнул его по спине.

— А ведь ты прав! Это действительно мой недостаток!

— О! — простонал Биной.— У тебя есть недостатки и похуже. Ты совершенно не в состоянии понять, какой удар может выдержать позвоночник человека.

В это время на крышу, задыхаясь, поднялся тучный человек. Это был сводный брат Горы Мохим.

— Гора!

— Что? — Юноша поспешно встал со стула.

— Я пришел узнать, не небо ли обрушилось на нашу крышу? Что тут происходит? Вероятно, вы уже освободили страну от рабства? Не берусь судить, как чувствуют себя англичане, которых вы, без сомнения, давно вытеснили в Индийский океан, а вот старшая невестка, милый Гора, лежит внизу с мигренью и очень страдает от твоего львиного рычания.

Мохим повернулся и осторожно пошел вниз.

Гора смутился, но вместе с тем он почувствовал и какое-то раздражение — то ли против самого себя, то ли еще против кого-то. Он помолчал, затем тихо, словно размышляя вслух, проговорил:

— На все-то я трачу гораздо больше сил, чем требуется, и никогда не думаю, что это может быть неприятно другим.

Биной подошел к Горе и ласково взял его за руку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гора и Биной собирались спуститься вниз, когда на крышу поднялась мать Горы. Биной приветствовал ее, взяв прах от ее ног.

Трудно было поверить, что Анондомойи — мать Горы. Это была стройная, очень изящная женщина, с виду лет сорока, не больше. Седина лишь слегка тронула ее волосы. Тонкие черты лица словно выточила рука искусного мастера. В глазах све-

тился ясный и острый ум. Она была значительно смуглее Горы. Все, кто встречался с Анондомойи, с удивлением отмечали, что она всегда надевала под сари плотно прилегающую кофточку. В то время, о котором я рассказываю, такие кофточки носили только молодые женщины, пожилые же считали, что эта мода идет от христиан, и отказывались следовать ей. Муж Анондомойи, Кришнодоял-бабу, работал в комиссариате. Анондомойи с юных лет жила с ним на западе, привыкла тщательно одеваться, и ей даже в голову не приходило, что это может считаться предосудительным.

Целый день Анондомойи хлопотала по хозяйству: чистила, скребла, мыла, готовила, шила, подсчитывала расходы, сушила одежду, принимала деятельное участие в жизни родственников и соседей, и вид у нее при этом был такой, словно свободного времени у нее более чем достаточно. Если же ей случалось прихворнуть, она не обращала на это никакого внимания. «Ничего со мной не случится,— говорила она обычно.— А без работы я жить не могу».

— Когда внизу слышен голос Горы,— сказала, входя, Анондомойи,— я уж знаю, что это пришел Бину. Сколько дней у нас было совсем тихо! Что случилось, мой мальчик, почему ты не приходил? Был нездоров?

— Нет, ма.— Биной почувствовал укор совести.— Во всем виноват дождь.

— Ну да, конечно,— вмешался Гора.— Кончится дождь, и Биной скажет, что виновато солнце. Очень удобно сваливать вину на стихии — они возражать не станут. Ну, а истинная причина остается на твоей совести, друг мой.

— Брось болтать ерунду, Гора,— запротестовал Биной.

— Правда, Гора,— поддержала Анондомойи Биноя,— не надо так говорить. Ведь человек не волен в своем настроении — иной раз ему хочется общества, а иной, наоборот, побыть одному. Нельзя требовать, чтобы все всегда были одинаковыми. Поэтому не будем спорить, а лучше пойдем вниз. Пойдем ко мне, Бину, я хочу угостить тебя кое-чем.

— Нет, ма, нельзя.— Гора решительно замотал головой.— Я не пущу Биноя к тебе.

— Но это же, в конце концов, смешно, Гора! Ведь тебя я не приглашаю. И твоего отца тоже — он теперь стал таким праведником, что ест лишь то, что сам себе приготовит. Ну, а Бину хороший мальчик, не фанатик, вроде тебя, так неужели ты будешь стараться держать и его?

— Да, и если понадобится, применю силу. До тех пор, пока

ты держишь у себя эту христианку Лочмию, есть у тебя в комнате никто не будет.

— О Гора, как ты можешь говорить так! Ты же сам всегда ел из ее рук... Ведь она вырастила тебя. Совсем еще недавно тебе все казалось безвкусным, если на столе не было соуса, приготовленного ею. А разве я забуду когда-нибудь, как она выходила тебя, когда ты в детстве болел оспой...

— Ну, назначь ей пенсию, купи землю, построй дом, сделай все что хочешь, но только не держи ее в доме.

— Ты думаешь, Гора, что за все можно заплатить деньгами? Ей не нужны ни земли, ни дом; она умрет вдали от тебя.

— Хорошо, раз ты так хочешь, пусть она остается. Но тогда Бину не будет есть у тебя. Нужно уважать закон, он не для того существует, чтобы его нарушали. Но мне странно, мать, что ты, дочь такого ученого человека, не соблюдаешь обычаев...

— О, было время, когда я соблюдала их,— прервала его Анондомойи.— Если бы ты знал, сколько слез мне пришлось пролить из-за этого... Жаль, что тебя не было тогда. Каждый день я молилась Шиве, а твой отец приходил и выбрасывал его изображение. В те дни я не у каждого брахмана приняла бы пищу из рук. И один бог знает, как часто приходилось мне голодать во время переездов с места на место — то в повозке, запряженной волами, то в почтовой карете, то в паланкине, то на верблюде! Ведь железных дорог тогда почти не было. Ты думаешь, легко было твоему отцу сломить меня? А его хозяева-англичане были очень довольны тем, что он берет с собой в служебные поездки жену. Его повысили по службе, дали ему постоянную должность при главной конторе. И вот теперь, состарившись и поднакопив денег, он неожиданно превратился в праведника! Но с меня хватит. Веру моих предков у меня вырвали с корнем, и неужели ты думаешь, что можно так просто, по капризу, заставить меня вернуться к прошлому?

— Оставим в покое предков — что им до всего этого? Но ради нас ты должна считаться с некоторыми вещами. Пусть ты не согласна с шастрами,— не забудь, что любовь тоже предъявляет к человеку свои требования.

— Ты зря тратишь на меня свое красноречие,— устало возразила Анондомойи.— Будто я не знаю, что такое требования любви? Разве могу я быть счастлива, зная, что нет согласия между мной и моими сыном и мужем? А ведь именно с той минуты, Гора, когда я впервые взяла тебя на руки, я порвала со всеми обычаями. Только прижав к груди ребенка, начинаешь понимать, что новорожденное дитя не может принадлежать ни

к какой касте. А поняв это, я постигла и другое — бог отнимет тебя у меня, если я буду презирать кого-нибудь только за то, что он христианин или человек низшей касты. Я молилась: пусть он останется со мной, пусть озарит светом мой дом, и я согласна буду принять пищу из чьих угодно рук.

При этих словах в душе Биноя вдруг шевельнулось смутное подозрение, он посмотрел на Анондомойи, потом на Гору, но тотчас же отогнал прочь возникшее было сомнение.

Гора, казалось, тоже слегка растерялся.

— Ма,— сказал он,— я не понимаю, как могла родиться у тебя такая мысль. Ведь и в тех семьях, где строго соблюдаются предписания шастр, дети тоже прекрасно вырастают. Кто внушил тебе, что в твоем случае требуется особая милость всевышнего?

— Тот, кто дал мне тебя, тот и внушил. Что я могла поделать? Вина тут была не моя. Милый ты мой сумасброд, просто и не знаю, смеяться мне или плакать, глядя на твои чудачества. Хватит, не будем больше говорить об этом. Итак, Биною запрещено идти ко мне?

— Пусти я его, он кинулся бы со всех ног,— усмехнулся Гора.— Он ведь к тому же и очень голодный. Только, ма, я не пущу его. Он сын брахмана и не имеет права забывать об этом ради каких-то лакомств. Ему еще придется от многого отречься и научиться умению во всем себя ограничивать, прежде чем он станет достойным своих славных предков. Так не сердись же на меня, ма, заклинаю тебя!

— Я сержусь? Откуда ты взял? Ты же сам не ведаешь, что творишь. Мне только грустно, что, вырастив и воспитав тебя, я... Во всяком случае, я не могу согласиться с твоим пониманием веры... А то, что ты не хочешь есть у меня в комнате, не беда. Ведь я могу видеть тебя утром и вечером, а больше мне ничего и не надо. Бину, не хмурься, дорогой. Я знаю, у тебя доброе сердце, ты думаешь, я огорчена,— нисколько. Как-нибудь в другой раз я приглашу тебя и угощу обедом, приготовленным руками настоящего брахмана. Не грусти, пожалуйста. Но хочу сказать вам сразу — сама я буду по-прежнему принимать пищу из рук Лочмии.

Анондомойи ушла. Некоторое время Биной стоял молча, потом медленно проговорил:

— Гора, по-моему, это уж слишком.

— Что?

— То, что ты сейчас наговорил.

— Ничуть. Я хочу лишь одного — чтобы все жили так, как

им положено. Потому что стоит поступиться самым малым, и в конце концов потеряешь все.

— Но ведь она — твоя мать!

— Я сам знаю, что такое мать. Разве мне нужно напоминать об этом? И она замечательная женщина. Но если я перестану чтить обычаи, в один прекрасный день я перестану относиться с уважением и к своей матери. Слушай, Биной, и запомни: наше сердце — еще не самая важная вещь на свете.

Биной помолчал, потом неуверенно заметил:

— Знаешь, Гора, сейчас, когда я слушал мать, мне показалось, она что-то недоговаривает... У нее на сердце есть какая-то тайна, которую она не может нам открыть, и это тяготит ее.

— Ах, Биной! — нетерпеливо воскликнул Гора.— Не давай волю воображению. Что пользы в этом — пустая трата времени, больше ничего.

— Ты никогда не обращаешь внимания на то, что делается вокруг тебя, считаешь воображением все, чего не видишь сам, и поэтому предпочитаешь вообще не говорить о таких вещах. Но уверяю тебя — мать тревожит какая-то мысль, она что-то скрывает, и это делает ее несчастной. Я не раз думал об этом. Гора, будь повнимательнее, постарайся понять, что она хочет сказать.

— Я достаточно внимательно прислушиваюсь к ней,— ответил Гора.— Если же начать копаться в скрытом смысле чьих-то слов, можно сильно ошибиться. Этого делать я не собираюсь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отвлеченные идеи могут быть очень хороши сами по себе, но они сразу теряют всю свою правильность и убедительность, как только дело коснется живых людей. Так, по крайней мере, было с Биноем, который в большинстве случаев поступал по велению сердца. Он мог горячо защищать какую-нибудь идею в споре, но когда приходило время действовать, прежде всего думал о человеке и о его чувствах. Поэтому трудно сказать, что именно заставляло Биноя соглашаться с принципами, которые проповедовал Гора,— принципы ли сами по себе или любовь к другу?

Темным дождливым вечером возвращаясь от Горы домой, Биной медленно брел по грязной улице. В душе его шла борьба — чувства не желали соглашаться с доводами разума. Биной очень легко воспринял мысль Горы, что современное общество — если оно хочет оградить себя от всевозможных ударов, яв-

ных и скрытых,— должно особенно свято блюсти все правила касты в отношении пищи, одежды и тому подобного. Он горячо спорил по этому поводу с людьми, придерживающимися противоположной точки зрения, и утверждал, что, если враг осадил крепость, нельзя обвинять в недостатке лояльности тех, кто жертвует жизнью, защищая все подступы, бойницы, ворота и даже щели в стенах.

И тем не менее Биной очень страдал от того, что Гора запретил ему ходить к Анондомойи.

Отца у Биноя не было, мать он тоже потерял рано. Дядя его жил в деревне. Биной учился в Калькутте и с детских лет привык жить один. Когда Гора привел его к себе в дом и познакомил с Анондомойи, Биной сразу же крепко привязался к ней и даже стал называть ее матерью. Сколько раз, бывало, приходил он к ней в комнату полакомиться. Сколько раз Гора шутя упрекал мать за то, что во время обеда она подкладывает Биною все лучшие кусочки. Биной знал, как беспокоилась Анондомойи, если несколько дней он не приходил к ним, знал, с каким нетерпением ждет она конца их собраний, чтобы усадить его рядом с собой и накормить любимыми лакомствами. Разве сможет Анондомойи примириться с тем, что Биной в страхе перед осуждением общества больше не будет есть у нее в комнате? Да он и сам не вынесет этого.

«Больше я не буду готовить для тебя, а приглашу хорошего повара-брахмана»,— снова и снова вспоминал Биной слова Анондомойи. Конечно, она сказала это в шутку, но сколько горечи было в ее словах.

Наконец Биной добрался до своего дома.

В пустом доме было темно, повсюду валялись газеты и книги. Биной чиркнул спичкой и зажег лампу,— стекло ее было захватано руками слуг, белая скатерть на письменном столе — вся в чернильных и масляных пятнах. Биной задыхался в этом доме. Одиночество и тоска особенно сильно давили его сегодня. Освобождение страны, сохранение устоев общества — все эти задачи казались ему расплывчатыми и фальшивыми. Насколько больше правды принесла с собой та «неведомая птица», которая однажды в ясное июльское утро подлетела к клетке и снова упорхнула... Но нет, он ни за что не будет вспоминать эту неведомую птицу. Ни за что! И, чтобы отвлечься, Биной стал думать о комнате, двери которой закрыл сегодня перед ним Гора.

Пол блестит чистотой, у стены застланная постель — она напоминает распростертое крыло белого лебедя; рядом на скамеечке горит масляный светильник. Анондомойи, конечно, си-

дит, низко склонившись над шитьем. У ног ее, на полу, устроилась Лочмия и без умолку болтает на ломаном бенгальском языке. Но мать почти не слушает ее. Когда Анондомойи чем-нибудь расстроена, она всегда берется за шитье. Биной представил себе ее спокойное сосредоточенное лицо.

«Пусть ее светлый образ всегда будет со мной и сохранит меня от всех несчастий! Пусть он станет для меня олицетворением родины, пусть вдохновляет меня на выполнение долга и укрепляет мои силы»,— подумал Биной и мысленно обратился к Анондомойи: «Мать, пища, приготовленная тобой,— амброзия, и никакие шастры не разубедят меня в этом».

В пустой комнате громко тикали часы. Биною становилось все больше не по себе. Он чувствовал, что не может оставаться здесь дольше. На стене возле лампы притаилась ящерица, она ловила москитов. Биной некоторое время наблюдал за ней, затем встал, взял зонт и вышел.

Он не представлял себе, что будет делать. Весьма возможно, что он просто пошел бы назад к Анондомойи, но внезапно он вспомнил, что сегодня воскресенье и, значит, в «Брахмо Самадже» выступает Кешоб-бабу. Биной решил пойти туда и уверенно зашагал по улице. Он знал, что проповедь Кешоба-бабу должна скоро кончиться, но это не остановило его.

Когда Биной подошел к дому, где происходило собрание, верующие уже начали расходиться. Раскрыв зонт, юноша остановился на углу. Вдруг он увидел, что из дома вышел Порешбабу. Лицо у него было спокойное, просветленное. Его сопровождали несколько членов семьи, но Биной видел только одно юное личико. На мгновение свет газового фонаря ярко осветил его, но тут послышался стук колес проезжающей кареты и видение исчезло, словно бескрайний океан мрака поглотил его.

Биной прочел много английских книг, но разве могли они заставить его изменить свои взгляды — взгляды молодого человека из хорошей бенгальской семьи? Он был твердо убежден, что, стремясь увидеть понравившуюся ему девушку, он тем самым оскорбляет ее. Эта мысль омрачила его радость, и постепенно отчаяние стало овладевать им. Ему казалось, что он погиб. Невзирая на разговор с Горой, несмотря на то, что такой поступок противоречил всем его понятиям, Биноя неудержимо тянуло пойти в дом, посещение которого запрещал обычай, не позволявший смотреть на женщину глазами любви.

В этот день Биной не пошел больше к Горе. Размышляя обо всем случившемся, он вернулся домой.

Назавтра он снова долго бродил по улицам, и когда, нако-

нец, подошел к знакомому дому, долгий дождливый день уже кончился и сумерки окутали город. В комнате Горы горел свет — он только что уселся за работу.

Не поднимая головы от лежавшего перед ним листа бумаги, Гора спросил:

— Ну что, Биной, как сегодня твое самочувствие?

Биной не ответил ему.

— Гора, я хочу спросить у тебя одну вещь,— медленно проговорил он.— Понятна ли тебе Индия? Как ты представляешь ее себе? Ведь ты день и ночь думаешь о ней, так скажи мне, какова она?

Гора бросил писать и некоторое время смотрел на Биноя своими проницательными глазами, потом отложил перо, откинулся на спинку кресла и сказал:

— Подобно тому как капитан, находящийся в плавании, день и ночь, каждую минуту, во время работы и во время отдыха, видит мысленно перед собой гавань, так и я вижу Индию.

— Но где же она, твоя Индия?

— Конечно, не в «Истории Индии» Маршмана,— она там, куда днем и ночью указывает стрелка этого компаса.— И Гора приложил руку к сердцу.

— И стрелка твоего компаса указывает на какую-нибудь определенную гавань?

— А ты думаешь нет?! — воскликнул Гора.— Я могу сбиться с курса, могу утонуть, но она — эта великая гавань — существует! Это — моя Индия. Богатая, полная знаний, веры. Она существует только во мне. А здесь вокруг царят ложь и обман! Эта твоя Калькутта с ее конторами, судами, кирпичными коробками домов, разве это Индия? — Говоря это, Гора не сводил глаз с Биноя. Тот сидел, задумавшись.— Там, где мы учимся,— продолжал Гора,— где бродим в поисках работы, где с десяти утра и до пяти вечера нас ждет лишь адский труд,— ее нет. И именно потому, что мы видим Индию, окутанную магической ложью, двести пятьдесят миллионов человек считают обман правдой, а безделье — делом. Жить в этой фантасмагории немыслимо! Мы задыхаемся. Ведь истинная, настоящая Индия только одна. И до тех пор, пока она не станет реальностью, наши умы и сердца не ощутят живительной влаги. Нужно отрешиться от лжи, от ложных знаний, фальшивых почестей и низменных соблазнов! Нужно направить корабль в открытую гавань! И если нам суждено разбиться — разобьемся! Суждено погибнуть — погибнем! Но образ подлинной Индии до последней минуты будет жить в моем сердце.

— В тебе говорит волнение или ты действительно так думаешь?

— Да, я так думаю,— прогремел Гора.

— А как быть тем, кто не может представить себе всего этого так, как представляешь ты?

Гора сжал кулаки.

— Мы должны заставить их увидеть. Это наша задача. Если люди не разбираются, где правда и где ложь, они способны увлечься иллюзиями. Раскрой перед каждым образ Индии во всей ее красоте и силе, и она покорит людей! Тогда нам не придется ходить от двери к двери, выпрашивая мизерные подачки. У нас не будет отбоя от людей, готовых отдать жизнь за счастье родины.

— В таком случае начни с меня и раскрой передо мной образ этой Индии или разреши встать в ряды тех, кто еще должен прозреть.

— Ты должен сам прийти к пониманию Индии,— ответил Гора.— Главное — это вера. Она поможет тебе найти радость в самых тяжелых испытаниях. А вот веры-то как раз и нет у наших модных «спасителей отечества». Потому-то они и не способны предъявить серьезные требования ни к себе, ни к другим. Если сам Кубера решит снизойти к их молитвам, вряд ли они осмелятся попросить у него что-нибудь, кроме придворного чина. У них нет веры, следовательно, нет и надежды.

— Но не все же люди одинаковы, Гора,— возразил Биной.— У тебя есть вера, у тебя есть внутренняя сила, вот почему тебе нелегко понять других. Мне нужно, чтобы ты поручил мне какое-нибудь дело, которое захватило бы меня всего без остатка. Иначе, пока я с тобой, мне кажется, что я все понял, но стоит мне остаться одному, и все опять становится неясным и расплывчатым.

— Ты просишь дела? Но сейчас у нас может быть только одна работа — внушать малодушным, колеблющимся такое же безусловное, горячее уважение ко всему индийскому, какое испытываем мы сами. Мы стыдились своей родины, и в результате яд рабства проник в наш мозг и отравил наши мысли. Каждый из нас обязан сделать все, что в его силах, чтобы исправить это зло, и тогда нам откроется широкое поле деятельности. Все, что мы делаем сейчас,— это стараемся подражать людям, о которых говорится в школьных учебниках. А разве это может увлечь по-настоящему! Таким путем мы никуда не придем и только растеряем в конце концов весь свой жар и энергию.

В это время в комнату медленно, вразвалку вошел Мохим

с трубкой в руке. Возвратившись из конторы, Мохим сначала обедал, а потом, набив рот бетелем и захватив с собой еще несколько пакетиков пана, отправлялся на улицу посидеть и покурить. Обычно там к нему присоединялись приятели, жившие по соседству. И они все вместе шли в гостиную играть в карты.

Как только Мохим вошел в комнату, Гора замолчал и поднялся с кресла. Попыхивая трубкой, Мохим проговорил:

— Заняты спасением Индии? Лучше бы ты, Гора, собственного брата спас.

Гора посмотрел на него.

— У нас в конторе появился новый начальник,— продолжал Мохим,— морда, как у бульдога, негодяй, каких мало! Всех бабу называет не иначе, как «Baboon»;[1] если у кого какое несчастье дома, не верит, орет: «Врешь!» — и не отпускает домой; никто из бенгальцев теперь не получает целиком жалованья, половину съедают штрафы. Так вот, недавно о нашем начальнике в газете появилась статья, и он считает, что это моя работа. Сказать правду, не так уж он далек от истины. Он грозится уволить меня, если я не напишу энергичного опровержения и не подпишусь под ним полным именем. Вы двое, краса и гордость университета, должны помочь мне сочинить это письмо. Оно должно быть пересыпано такими выражениями, как «беспристрастие и справедливость», «неизменное великодушие», «чуткий подход» и так далее.

Гора продолжал молча смотреть на брата, а Биной рассмеялся:

— Дада, как можно одним духом выпалить столько ложных утверждений?

— А что же, с мошенниками и поступают по-мошеннически. Я с англичанами давно имею дело и знаю их хорошо. Врут они здорово, этого у них не отнимешь. Если нужно, ни перед чем не остановятся. Когда кто-нибудь из них начинает врать, все остальные, как стая шакалов, воют в унисон, не то что наш брат — перекинется на чужую сторону и еще очень этим гордится. Нет, надувать их не грех, лишь бы не попасться.— И Мохим расхохотался. Биной тоже не мог сдержать улыбки.

— Вы думаете смутить их, бросая им правду в лицо,— продолжал Мохим.— Э, да если бы боги не наградили нас куриными мозгами, разве была бы наша страна в таком положении? Пора бы вам понять, что заокеанский громила не понурит стыдливо голову, если его застукают, когда он грабит квартиру. Наоборот,

[1] Обезьяна *(англ.)*.

он замахнется на вас же отмычкой в полном сознании своей невиновности. Разве неправда?

— Правда, что и говорить,— ответил Биной.

— Ну, а если вместо этого вы немного польстите ему — что совсем нетрудно — и скажете: «О, святой праведник! Пожалуйста, кинь нам что-нибудь из своей сумы, хотя бы щепотку пыли»,— то в этом случае, возможно, кое-какие вещи вы и получите обратно, и к тому же все обойдется тихо и мирно. Быть рассудительным и значит быть патриотом. Но мой брат изволит гневаться. С тех пор как он превратился в правоверного индуиста, он стал очень уважать меня, своего старшего брата, однако сегодня, я вижу, мои слова не производят на него должного впечатления. Но что прикажешь делать, Гора? Нужно сказать правду и о лжи. Так вот, Биной, я хочу, чтобы вы написали мне это письмо. Подожди здесь, я уже сделал кое-какие наброски, сейчас принесу.— И, посасывая трубку, Мохим вышел.

Гора повернулся к Биною:

— Бину, будь другом, пойди, займи его разговором и не пускай сюда, пока я не кончу свою работу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Анондомойи постучала в дверь молельной мужа.

— Ты слышишь меня? — сказала она.— Не бойся, я не войду. Только прошу тебя, когда кончишь молитву, зайди в мою комнату, мне надо поговорить с тобой. Я ведь знаю, раз уж в доме появился новый саньяси, значит, скоро я тебя не увижу. Пришлось идти с приглашением. Так не забудь же зайти, когда освободишься.

И Анондомойи снова вернулась к домашним делам.

Кришнодоял-бабу был темнолицый, среднего роста, полный человек. В лице его, почти сплошь заросшем густой седеющей бородой, приковывали внимание огромные яркие глаза. Он носил желтые шелковые одежды, деревянные сандалии и, подобно саньяси, никогда не расставался с медным кувшином. Он уже начал лысеть, но на затылке и висках волосы были еще густые и длинные, и Кришнодоял закладывал их в узел на макушке.

В прежние времена, живя на западе, он водил дружбу с солдатами-европейцами, так же, как они, ел мясо и с удовольствием пил вино. Тогда Кришнодоял считал мужественным поступком оскорбить первого встречного священнослужителя или вишнуита-саньяси. Не то было теперь. Теперь он стал ревност-

ным последователем религиозного учения правоверных. Он готов был учиться у каждого саньяси в надежде постигнуть новые пути, которые приблизили бы его к богу, ибо страстное желание Кришнодояла-бабу найти простейший способ спасения поистине не знало границ, так же как и его стремление овладеть таинственными магическими силами. Последнее время он усердно изучал тантры, и потому неожиданная встреча с буддийским священником особенно взволновала его.

Кришнодоялу-бабу было двадцать три года, когда от родов умерла его первая жена. Считая сына причиной смерти жены, он не захотел даже взглянуть на новорожденного и отдал его тестю, а сам, чувствуя отвращение ко всему земному, уехал на запад в Бенарес, где через полгода женился на Анондомойи — внучке известного пандита. Ему удалось устроиться на государственную службу, и он уехал в провинцию, оставив жену на попечение деда. Всякими правдами и неправдами он сумел завоевать благосклонность своих хозяев. Тем временем дед Анондомойи умер, и, так как она была сирота, Кришнодоялу пришлось взять жену к себе.

Во время сипайского восстания он помог скрыться двум высокопоставленным англичанам, за что был представлен к награде и получил в дар поместье. Вскоре после того, как восстание было подавлено, он оставил службу и вместе с новорожденным Горой вернулся в Бенарес. Горе не было еще и пяти лет, когда Кришнодоял переехал в Калькутту, забрал к себе старшего сына Мохима, воспитывавшегося в доме деда, и занялся его образованием.

Благодаря связям отца Мохим устроился на службу в государственное казначейство, где — как мы уже слышали — с большим рвением исполнял свои служебные обязанности.

Гора с детских лет был вожаком своих сверстников: сначала соседей, а потом товарищей по школе. Любимым его занятием и забавой было портить жизнь учителям. Став постарше, он с подъемом декламировал в студенческом клубе патриотические стихотворения «Кто хочет жить в неволе?» и «Там, где живут двести миллионов», выступал с речами на английском языке, возглавлял отряды юных революционеров. Едва успев вылупиться из яйца студенческих собраний, он уже начал кудахтать на собраниях взрослых, и это, надо сказать, очень забавляло Кришнодояла-бабу.

Постепенно Гора завоевывал все большую популярность, однако дома к нему по-прежнему серьезно никто не относился. Мохим как государственный служащий считал своим долгом

всячески издеваться над братом. Он называл его не иначе, как «Ура-патриот» или «Хориш Мукхерджи Второй», и дело у них нередко доходило чуть не до драки.

Ненависть Горы ко всему английскому очень тревожила Анондомойи, которая всеми силами старалась охладить его пыл, но безуспешно. Сын ее, казалось, только тогда и считал день прожитым не зря, когда ему удавалось затеять на улице ссору с англичанином.

Покоренный красноречием Кешоба-бабу, Гора начал увлекаться учением «Брахмо Самадж», и Кришнодоял, который приблизительно в это же время вдруг ударился в жесточайший пуризм, уже стал с неудовольствием посматривать, когда Гора переступал порог его комнаты. Кришнодоял отделил для себя часть дома и над дверью, которая вела туда, прибил доску с надписью: «Прибежище веры».

Все это возмущало Гору до глубины души. Он заявил, что глупые выходки отца противны ему, что он не собирается терпеть такого поведения, и едва не рассорился окончательно с Кришнодоялом. Анондомойи с трудом удалось помирить их.

К Кришнодоялу-бабу приходило много пандитов, и Гора при всяком удобном случае ввязывался с ними в спор. Впрочем, вряд ли можно было назвать это спором, потому что Гора высказывал свои мнения безапелляционно и с оскорбительной резкостью. Знания у большинства этих людей были весьма ограниченны, а жадность к деньгам — бескрайна. Справиться с Горой они не могли и боялись его как огня. Только один из них, Хорочондрэ Бидебагиш, сумел завоевать уважение молодого человека.

Кришнодоял пригласил Бидебагиша как знатока и толкователя веданты. Сначала Гора обошелся с ним так же высокомерно, как со всеми другими, но Бидебагиш скоро покорил его. Бидебагиш был не только прекрасно образованным человеком, он обладал к тому же и очень широким кругозором. Гора никогда не предполагал, чтобы у человека, который умел читать только санскритские книги, мог быть столь проницательный и светлый ум. Кроме того, Бидебагиш отличался такой снисходительностью и спокойствием, таким неизменным терпением и серьезностью, что Гора невольно становился сдержаннее в его присутствии. Под руководством Бидебагиша он начал знакомиться с философией веданты, а так как он не умел ничего делать наполовину, то скоро с головой ушел в ее изучение.

Как раз в это время один английский миссионер поместил в газете статью, в которой нападал на верования и общинные

отношения индуистов и приглашал начать с ним полемику. Гору эта статья привела в ярость. Неважно, что сам он, вызывая гнев своих противников, при всяком удобном случае резко критиковал шастры и обычаи индуистов,— с издевательством иностранца над индуистской общиной примириться он не мог. Миссионер задел его за живое.

И Гора принял вызов. Он не согласился ни с одним из выдвинутых англичанином положений. Между ними разгорелся спор, который продолжался до тех пор, пока редактор газеты не объявил, что прекращает полемику.

Но Гора уже вошел в азарт. Он начал работать над книгой «Индуизм» на английском языке, подкрепляя свои выводы аргументами и цитатами из шастр; в ней он старался доказать неоспоримое превосходство религии и общинного устройства индуизма над другими религиями и общинами.

Результат этой полемики был тот, что Гора постепенно переубедил самого себя. Теперь он говорил:

— Мы не должны позволять иноземцам судить нашу страну по своим законам. Мы должны иметь свои моральные стандарты и перестать оглядываться на иностранцев. Ни перед собой, ни перед другими не должны мы стыдиться обычаев, законов и веры страны, в которой родились. Мы должны поднять на щит все индийское и с гордостью нести его. Только так сможем мы защитить собственное достоинство и достоинство своей страны.

Гора начал совершать ритуальные омовения в Ганге, молиться в установленные часы, отрастил тики, стал очень строг в вопросах одежды и еды. Каждое утро он брал прах от ног родителей и при виде Мохима, которого прежде не стесняясь называл хамом и снобом, каждый раз почтительно вставал. Мохим не упускал случая поиздеваться над ним в ответ, но Гора все сносил молча.

Личный пример и статьи, которые писал Гора, сделали свое дело — молодежь стала группироваться вокруг него. Новое учение, казалось, предлагало им выход, освобождало от трудной внутренней борьбы и тяжелых раздумий.

— Теперь нам все равно, что о нас скажут. Какая разница — хорошие мы или плохие, цивилизованные или дикие,— говорили они со вздохом облегчения.— Мы хотим лишь одного — знать, что мы остаемся сами собой.

Однако, как ни странно, внезапная перемена в Горе не слишком-то обрадовала Кришнодояла. Напротив, однажды он даже позвал его к себе и сказал:

— Знаешь, сын мой, законы индуизма — вещь очень серьезная. Не каждому дано постичь всю глубину учения, созданного святыми. А если не понимаешь его полностью, то лучше не путить с ним. Ты ведь еще молод, и ты воспитывался на английских книгах. Твое увлечение «Брахмо Самаджем» было естественным, и я не только не сердился на тебя за это, а напротив, радовался. Но тот путь, на который ты вступил теперь,— не для тебя.

— Что ты говоришь, отец? — протестовал Гора.— Ведь я индуист! Пусть я не могу охватить всю глубину учения сейчас, пройдет немного времени, и я пойму его. И если даже я никогда не смогу постичь индуизм до конца, все равно я должен идти этим путем. Ведь то, что я родился на этот раз в семье брахмана,— награда за добрые дела, совершенные в одном из прежних моих воплощений. Ведь каждое новое мое рождение в лоне индуистской религии и индуистской общины приближает меня к конечной цели и в конце концов приведет к ней. Если же я вдруг собьюсь с правильного пути, мне придется потратить слишком много сил, чтобы вернуться обратно.

Но Кришнодоял только качал головой.

— Нет, сын мой, назвать себя индуистом еще не значит стать им. Легко стать мусульманином, всякий может быть христианином, но индуист — это совсем-совсем другое.

— Все это так. Но раз уж я родился индуистом, возможность стать им была дана мне, и, неотступно исполняя все требования религии, в конце концов чего-то я все-таки достигну.

— Я знаю, сын мой, что для того, чтобы убедить тебя, мало одних слов. По-своему ты, конечно, прав. Тот, кто отходит от предопределенной ему свыше религии, рано или поздно все равно вернется в ее лоно. Ничто не сможет помешать ему в этом. Такова воля всевышнего! А мы — мы только орудия его.

Кришнодоял с одинаковой готовностью принимал и карму и власть божью, учение о тождестве с божеством и поклонение божеству,— он не испытывал ни малейшей потребности примирить все эти противоречивые понятия.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Закончив молитву и совершив омовение, Кришнодоял, впервые за долгое время, зашел к Анондомойи. Разостлав на полу принесенную с собой циновку, он сел и сразу выпрямился, стараясь ни к чему не прикасаться, чтобы не осквернить себя.

— Ты вот все стремишься к самоусовершенствованию, а о

доме и о семье совсем не думаешь,— начала Анондомойи.— А я так боюсь за Гору.

— Почему? Чего ты боишься?

— Не знаю, как объяснить тебе, чего я боюсь, но мне кажется, что если он по-прежнему будет всю душу отдавать этому индуизму, то дело кончится плохо — может произойти большое несчастье. Ведь предупреждала я тебя: не возлагай на него священного шнура, но ты заявил, что это просто обряд и никакого значения он не имеет. А теперь что из этого получилось? Не знаю, как и когда ты сможешь положить конец его увлечению.

— Ну конечно, я же во всем и виноват. А кто заставил меня совершить эту ошибку? Это ты ни за что не хотела отдавать его. Правда, в те годы я и сам мало задумывался над вопросами благочестия. Теперь я ни за что не допустил бы этого.

— Что ты там ни говори,— возразила Анондомойи,— я никогда не соглашусь с тем, что поступила неправильно. Вспомни, чего я только не делала, чтобы иметь ребенка! Покупала амулеты, молилась день и ночь — и все напрасно. И вот приснился мне раз сон, будто я принесла в храм корзину белых цветов. Смотрю, а в корзине уже не цветы, а ребенок — беленький, сам как лепесток цветка. Словами не выразишь, что я почувствовала в ту минуту! Слезы брызнули из моих глаз, я протянула руки — сейчас возьму его, прижму к груди... и проснулась. А ровно через десять дней господь даровал мне Гору. Разве мыслимо было после всего этого отдать его кому-то. Наверно, когда-то в прошлой жизни я носила его и приняла много мук, потому-то он и был послан мне, чтобы назвать меня матерью. Вспомни, как он появился! Кругом лилась кровь, смерть грозила нам самим, и, когда в полночь прибежала та англичанка, ты отказался приютить ее: побоялся. Но я обманула тебя и спрятала ее в хлеву. В ту же ночь она родила мальчика и умерла. Если бы я не выходила его, разве он остался бы жив. А ты? Ты хотел отдать его священнику. Почему? Почему бы я отдала его священнику? Кто ему этот священник? Разве он спас малютку? Для меня это было чудо, такое же чудо, как если бы я родила его сама. Так знай же, что я отдам Гору только тому, кто дал мне его. Никому больше!

— Все это я знаю,— сказал Кришнодоял.— Но ведь и ты должна признать, что я никогда не вмешивался в воспитание твоего Горы. А не возложить на него священного шнура, раз уж мы выдали его за нашего сына, я не мог — что бы подумали в общине? Что сделано, то сделано. Мне кажется, теперь

нам нужно решить всего лишь два вопроса. По справедливости, все мое состояние должно перейти к Мохиму, поэтому...

— Кому нужно твое состояние? Оставляй все Мохиму, Гора и пайсы не возьмет. Он не мальчик, он хорошо образован и сам может себя прокормить. Зачем ему чужое богатство? Ну, а мне ничего не нужно, только бы Гора был жив и счастлив.

— Я вовсе не собираюсь лишать его всего. Я отдам ему поместье; со временем оно будет приносить до тысячи рупий в год. Гораздо сложнее второй вопрос — его женитьба. Что сделано, того уж не воротишь, но я никогда не пойду на то, чтобы женить его на девушке из дома брахмана. Можешь сердиться и обижаться на меня, но этого я не сделаю.

— Ты думаешь, раз уж я не кроплю непрестанно землю водой из Ганги, как ты, то, значит, я ни во что не верю! Почему бы я стала стремиться женить его на дочери брахмана или сердиться, узнав, что это невозможно?

— И это говоришь ты — дочь брахмана!

— Да, я дочь брахмана. И что дальше? Давно прошло то время, когда я гордилась этим. Помнишь, какой шум подняла твоя родня перед свадьбой Мохима из-за того, что я не соблюдаю всех обычаев правоверных. Тогда я даже предпочла отойти в сторонку и ни во что не вмешиваться. Почти все называют меня христианкой, да и кем еще только не называют. А я лишь отвечаю на это: разве христиане не люди? И если вы действительно такой великий, избранный богами народ, то почему же боги допустили, чтобы вы склонились сначала перед патанами, потом перед моголами, и наконец — перед англичанами?

— Ну, это долго рассказывать,— с легким раздражением сказал Кришнодоял,— ты женщина и не поймешь всего. Однако ты, надеюсь, понимаешь, что, поскольку общество существует, приходится и тебе с ним считаться.

— Этот вопрос меня очень мало волнует. Но я сознаю, что, вырастив Гору, как своего ребенка, я не могу сейчас начать прикидываться правоверной брахманкой — это будет оскорбительно не только для общества, но и для меня самой. Потому-то я никогда не делала тайны из того, что не соблюдаю обычаев, и спокойно сносила все упреки и злословие окружающих. И все-таки одну тайну я продолжаю хранить, и меня все время преследует страх — не постигнет ли меня за это кара всевышнего. Знаешь что, давай расскажем обо всем Горе. А там — будь что будет...

— Нет, нет,— заволновался Кришнодоял-бабу.— Пока я жив, этого не будет. Будто ты не знаешь Гору. Неизвестно, что

он выкинет, если узнает правду! А представляешь, как это примет община. Да разве только община? Еще неизвестно, как будет реагировать на это правительство... Правда, отец его погиб во время восстания и мать тоже умерла, но ведь, когда кончился мятеж, мы должны были сообщить о ребенке властям. Если все это сейчас всплывет наружу, прощай тогда мои религиозные занятия... Нет, нет! Даже представить себе трудно, какие несчастья могут свалиться на нас.

Анондомойи молчала, и немного погодя Кришнодоял снова заговорил:

— Что касается женитьбы Горы, то у меня есть одна мысль. Со мной вместе учился некий Пореш Бхоттачарджо. Он был инспектором школ, затем вышел на пенсию и поселился сейчас в Калькутте. Он убежденный брахмаист. Я слышал, что у него есть дочери. Надо познакомить Гору с Порешем, пусть он начнет бывать у него в доме. Кто знает, может быть, какая-нибудь девушка и приглянется ему, и тогда уж бог любви возьмет дело в свои руки.

— Чтобы Гора пошел в гости к брахмаисту? Миновали те дни...

И в это время раздался громоподобный голос Горы:

— Ма!

Он вошел в комнату, но, увидев Кришнодояла, удивленно остановился. Анондомойи поспешно подошла к нему и ласково спросила:

— Что такое, мой мальчик, в чем дело?

— Да нет, ничего, я потом...— Гора повернулся, намереваясь уйти, но Кришнодоял остановил его:

— Подожди, Гора, мне нужно сказать тебе кое-что. Недавно в Калькутту приехал один мой друг, брахмаист, он поселился в Хэдотоле...

— Пореш-бабу?

— Откуда ты его знаешь?

— Биной живет рядом с ними, он мне рассказывал.

— Я хочу, чтобы ты навестил их.

Гора подумал немного и, к удивлению Анондомойи, согласился.

— Хорошо, я зайду к ним завтра,— сказал он. Но затем, подумав еще, добавил: — Хотя нет, завтра я не смогу.

— Почему? — спросил Кришнодоял.

— Завтра я еду в Тривени.

— В Тривени? Это еще зачем?

— Там будет омовение по случаю затмения солнца.

— Я не понимаю, Гора,— вмешалась Анондомойи.— Ну зачем тебе понадобилось ехать для этого в Тривени? Как будто в Калькутте нет Ганги. Ты обязательно должен поступать не так, как все.

Ничего не ответив, Гора вышел из комнаты.

Он решил ехать в Тривени потому, что там собиралось много паломников. Теперь, отбросив прочь свои прежние колебания и предубеждения, он не хотел упускать ни одной возможности побыть вместе с людьми, почувствовать могучие волны жизни своей страны, услышать биение ее сердца. Ему хотелось слиться воедино со своим народом, сказать ему от всего сердца:

— Я принадлежу вам, а вы — мне!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Биной проснулся и увидел, что за ночь небо прояснилось, утро было чистое и сияющее, как улыбка младенца. Только два-три облака, белых и пушистых, медленно, словно в раздумье, плыли в вышине. Биной вышел на веранду. И невольно воспоминания о другом столь же чудесном солнечном утре нахлынули на него. Он стоял и улыбался, всматриваясь в даль, и вдруг увидел Пореша-бабу, который медленно шел по улице, опираясь на трость и держа за руку Шотиша. Заметив Биноя, Шотиш захлопал в ладоши и закричал:

— Биной-бабу! Биной-бабу!

Поднял голову и Пореш. Биной стремглав бросился вниз по лестнице и едва-едва успел встретить у входа в дом старика и мальчика.

Шотиш схватил Биноя за руку:

— Биной-бабу, вы ведь обещали прийти к нам, почему же до сих пор не пришли?

Биной ласково обнял мальчика за плечи и улыбнулся. Пореш осторожно прислонил трость к столу и уселся в кресло.

— Прямо и не знаю, что бы мы в тот раз делали, если б не вы,— сказал он.— Мы вам очень обязаны.

— Ну что вы,— смутился Биной,— я же ровным счетом ничего не сделал.

— Биной-бабу, а у вас нет собаки? — неожиданно спросил Шотиш.

— Собаки? — удивился Биной.— Нет, собаки у меня нет.

— А почему? Почему вы не заведете себе собаку?

— Да я никогда не задумывался над этим.

— Оказывается, Шотиш уже побывал у вас,— вмешался Пореш.— Воображаю, как он вам надоел своей болтовней. Он ведь может говорить без умолку. Сестра даже дала ему прозвище Бахтиар Хилджи [1].

— Ну, поболтать и я не прочь при случае,— ответил Биной.— Очевидно, тут мы сошлись характерами. Правда, Шотиш-бабу?

Но Шотиша, по-видимому, беспокоило, что прозвище может повредить ему в глазах Биноя, и он воскликнул:

— Так ведь это хорошо! Очень хорошо! Ведь Бахтиар Хилджи — герой! Разве он не завоевал Бенгалию?

— Когда-то завоевал,— улыбнулся Биной.— Сейчас он, правда, не воюет, а только разговаривает. Но он и разговором своим может покорить Бенгалию.

В таком духе беседа продолжалась довольно долго. Пореш-бабу больше слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь замечание, улыбаясь при этом своей доброй, светлой улыбкой. Перед уходом, уже поднимаясь с кресла, он сказал:

— Мы живем в доме номер семьдесят восемь, направо от вашего дома.

— Да он знает, где мы живем! — закричал Шотиш.— Прошлый раз он проводил меня до самых дверей!

Стыдиться этого не было никакой причины, но Биной смутился, словно его уличили в нехорошем поступке.

— Значит, вы знаете наш дом! В таком случае, если вы когда-нибудь...

— Конечно. Как только...— смущенно залепетал Биной.

— Мы ведь почти соседи,— уже прощаясь, сказал Пореш-бабу.— Но живем в Калькутте, так что не удивительно, что до сих пор не познакомились по-настоящему.

Биной вышел проводить Пореша-бабу и, пока старик с мальчиком не скрылись из вида, стоял у двери и смотрел им вслед. Пореш шел медленно, опираясь на палку, а рядом с ним, без умолку болтая, семенил Шотиш.

Биной думал о том, что еще никогда не встречал такого удивительного человека, как Пореш-бабу. Так и хочется взять прах от его ног! А какой чудесный мальчишка этот Шотиш! Вырастет, будет настоящим мужчиной — умным и честным!

---

[1] Игра слов: Бахтиар (Боктияр) — болтун *(бенг.)*, в Афганистане — имя собственное. Бахтиар Хилджи — афганский полководец, завоевавший в 1199—1200 гг. западную часть Бенгалии.

Как бы ни были хороши старик с мальчиком, но всех их положительных качеств едва ли было достаточно, чтобы объяснить этот внезапный прилив чувств любви и уважения. Однако Биной был так восторженно настроен, что ему отнюдь не требовалось длительного знакомства, чтобы наделить их всякими достоинствами.

«Совершенно очевидно, что не пойти к Порешу-бабу после этого будет просто невежливо»,— думал Биной. Но Индия Горы и его последователей грозно предостерегала: «Берегись! Ты не должен входить в этот дом!» На каждом шагу Индия! На каждом шагу запреты! Биной подчинялся им — подчинялся всегда, хотя сомнения нередко закрадывались ему в душу. Однако сегодня его обуял мятежный дух. Воплощением всевозможных запретов — вот чем представилась ему Индия!

Вошел слуга и доложил, что завтрак подан. Было уже за полдень, а Биной еще не совершил утреннего омовения! Но он решительно тряхнул головой:

— Я сейчас ухожу. Не жди меня с завтраком.

Взяв зонт, даже не накинув чадора, он вышел на улицу и направился прямо к дому Горы. Биной знал, что ежедневно, в полдень, Гора уходит работать в «Индусское Патриотическое общество», снимавшее дом на Амхартской улице,— там он писал вдохновляющие письма членам Общества, рассеянным по всей Бенгалии, там же собирались его почитатели, ловившие каждое его слово, и верные друзья, готовые поддержать его в любом деле.

Как он и предполагал, Гора уже отправился туда. Биной бегом пробежал через внутренние комнаты и ворвался к Анондомойи. Она только что села завтракать, а Лочмия прислуживала ей и обмахивала ее веером.

— Что случилось, Биной? — удивилась Анондомойи.— Что с тобой?

Юноша сел напротив нее.

— Ма, я страшно голоден,— ответил он.— Покорми меня, пожалуйста.

— Ах, какая досада! — Анондомойи очень расстроилась.— Повар-брахман только что ушел, а ты ведь...

— Ты думаешь, я пришел затем, чтобы есть брахманскую стряпню? Будто у меня у самого нет повара-брахмана? Разреши мне разделить твой завтрак, ма. Ведь я же знаю, что ничего вкуснее того, что ешь ты, на свете нет. Лочмия, дай мне воды, пожалуйста.

Лочмия принесла стакан воды, и Биной залпом выпил его.

Анондомойи взяла чистую тарелку, переложила на нее часть риса со своей тарелки и подала Биною. Юноша накинулся на еду с такой жадностью, будто несколько дней ничего в рот не брал.

Глядя на обрадованное, просветлевшее лицо Анондомойи, Биной почувствовал, что и ему становится легче на душе. Анондомойи взялась за шитье. В соседней комнате готовили катеху, и оттуда доносился аромат индийской акации. Биной растянулся на полу у ног Анондомойи, подперев рукой голову. Он забыл обо всем на свете и принялся радостно болтать с ней о том и о сем, совсем как в былые времена.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нарушив один запрет, Биной почувствовал, как мятежный дух с новой силой, охватывает его. По улице, распрощавшись с Анондомойи, он уже не шел, а летел, как по воздуху. Ему хотелось рассказать каждому встречному, что сегодня он наконец освободился от оков, которые носил так долго.

Он как раз подходил к дому номер семьдесят восемь, когда увидел идущего ему навстречу Пореша-бабу.

— Заходите, Биной-бабу, заходите! Мы будем очень рады,— ласково пригласил он Биноя и ввел молодого человека в гостиную.

В комнате стоял небольшой стол, у стола — диван и плетеное кресло. На одной стене висела цветная гравюра, изображавшая Христа, на другой — фотография Кешоба-бабу; на столе, придавленная тяжелым пресс-папье, лежала пачка газет. В углу комнаты стоял книжный шкаф, верхняя полка его была занята сочинениями Теодора Паркера; на шкафу стоял глобус в чехле.

Биной сел. При мысли о том, что в комнату в любую минуту может войти *она*, сердце его начало учащенно биться.

— По понедельникам Шучорита дает уроки дочери одного моего приятеля,— сказал Пореш,— ну, а Шотиш сопровождает ее, у них там есть мальчик — его ровесник. Я как раз возвращался домой после того, как проводил их. Задержись я немного, и не встретил бы вас...

Услышав это, Биной почувствовал одновременно и облегчение и разочарование. Но как бы то ни было, разговаривать с Порешем ему стало теперь значительно легче.

Скоро Биной рассказал Порешу-бабу все о себе. Расска-

зал, что он сирота, что его дядя и тетка живут в деревне, что учился он вместе со своими двоюродными братьями: старший из них стал адвокатом и сейчас работает в районном суде, а младший умер от холеры.

Дядя хочет, чтобы Биной попробовал свои силы на судейском поприще, но сам Биной не прилагает к этому никаких усилий и занимается разными не приносящими дохода делами.

Прошло около часа; оставаться дольше было невежливо, и Биной поднялся.

— Очень жаль, что я не повидался с моим другом Шотишем, передайте ему, что я приходил.

— Посидите еще немного, и вы их дождетесь. Они должны скоро вернуться.

Но Биной постеснялся воспользоваться этим предложением. Без сомнения, прояви хозяин больше настойчивости, он бы остался, но Пореш был человек сдержанный, уговаривать не любил, и юноше волей-неволей пришлось откланяться.

— Если у вас найдется время, заглядывайте к нам, мы будем очень рады,— сказал ему на прощанье Пореш.

Возвращаться домой Биною не хотелось — делать там ему было нечего. Правда, для газет он писал статьи, поражавшие всех хорошим английским языком, но в последние дни работа не шла ему на ум. Как только он садился за письменный стол, на него нападала рассеянность. Поэтому он без всякой определенной цели медленно побрел в противоположную от своего дома сторону.

Не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал детский голос:

— Биной-бабу! Биной-бабу!

Из извозчичьей коляски выглядывал Шотиш и махал ему рукой. В глубине коляски виднелся край сари и белый рукав блузки. Биной не сомневался, кто был этот второй пассажир.

Этикет запрещал ему проявлять повышенный интерес к этому второму пассажиру. Между тем Шотиш уже соскочил на мостовую, подбежал к нему и схватил за руку.

— Пойдемте к нам, Биной-бабу,— сказал он.

— Да я от вас и иду.

— Но ведь меня не было дома! Значит, вы должны вернуться.

Биной перестал сопротивляться, и, вводя пленника в дом, мальчик закричал:

— Отец, я привел Биноя-бабу обратно.

Старик, улыбаясь, вышел им навстречу:

— В крепкие руки вы попали, Биной-бабу. Не скоро вырветесь. Шотиш, позови сестру.

Биной вошел в комнату и сел, сердце его взволнованно билось.

— Да вы, я вижу, совсем задохнулись,— проговорил Пореш.— Ну и Шотиш — вот баловник!

Когда Шотиш и его сестра вошли в комнату, Биной прежде всего почувствовал нежный аромат и только потом услышал, как Пореш сказал:

— Радха, к нам пришел Биной-бабу. Ты ведь знакома с ним.

Биной быстро взглянул на нее. Шучорита слегка поклонилась и села в кресло напротив. На этот раз Биной не забыл ответить на ее приветствие.

— Биной-бабу проходил по улице,— сказала девушка.— Ну и, конечно, когда Шотиш увидел его, он не мог усидеть в коляске, спрыгнул и уцепился за него. Может быть, вы куда-нибудь спешили? — обратилась она к Биною.— Надеюсь, он не нарушил ваших планов?

Биной никак не ожидал, что Шучорита обратится прямо к нему, он растерялся и забормотал:

— Нет, нет, я никуда не спешил, никаких моих планов он не нарушил.

Шотиш потянул Шучориту за край сари:

— Диди, дай мне ключ. Я покажу Биною-бабу музыкальную шкатулку.

Шучорита рассмеялась:

— Ну, началось. Беда тому, с кем этот болтунишка подружится. Придется и шкатулку слушать, и многое другое вытерпеть! Биной-бабу, я должна предупредить вас, что это просто маленький вымогатель. Сомневаюсь, чтобы вы смогли удовлетворить все его требования.

Биной никак не мог заставить себя отвечать Шучорите в том же непринужденном тоне. Он во что бы то ни стало хотел скрыть свое смущенье, но все, что ему удалось, это пробормотать бессвязно:

— Нет, что вы... пожалуйста... я... мне это очень нравится.

Получив у сестры ключ, Шотиш принес ящик.

В музыкальной шкатулке под стеклянной крышкой волновалось голубое шелковое море, а по нему плыл игрушечный кораблик. Шотиш завел ключом шкатулку. Заиграла музыка, и в такт ей кораблик начал медленно покачиваться на волнах.

Не в силах сдержать восторг, мальчик переводил торжествующий взгляд с кораблика на Биноя и обратно.

Так, с помощью Шотиша Биной постепенно поборол свою застенчивость. Немного погодя он уже отваживался, разговаривая с Шучоритой, смотреть ей прямо в лицо.

Вдруг ни с того ни с сего Шотиш спросил:

— А вы когда-нибудь приведете к нам своего друга?

Естественно, что после этого Биноя спросили, кто этот друг. Семья Пореша-бабу недавно приехала в Калькутту и еще не слышала о Горе. Рассказывая о нем, Биной воодушевлялся с каждой минутой все больше и больше. Его похвалы Горе, казалось, не знали предела. Он рассказывал о том, как необыкновенно талантлив Гора, какое у него большое сердце и какая твердая воля. Сомнений быть не может, когда-нибудь его назовут одним из самых великих сынов Индии, его слава будет сиять в веках, как лучи полуденного солнца.

— Я уверен в этом,— заявил Биной.

Глаза его горели, смущение исчезло. Защищая идеи Горы, он даже осмелился вступить в спор с Порешем-бабу.

— Гора потому так уверенно приемлет в индуизме все от начала до конца, что у него великие цели. Для него в индуизме совершенно все — и малое и великое, все сливается в единой симфонии, едином величественном гимне. А мы не можем смотреть на Индию так, как он, видим ее разорванной на части, подходим к ней с чужеземными мерками и находим тысячи недостатков.

— Так вы, значит, оправдываете и кастовое деление? — спросила Шучорита. Она задала свой вопрос таким тоном, словно не допускала возможности никаких споров на этот счет.

— Я не оправдываю и не отвергаю кастового деления. Спросите меня, признаю ли я целесообразность руки? Я отвечу, смотря для чего. Если вы видите в ней часть тела, она целесообразна. Но, если вы собираетесь летать, она не заменит вам крыла, точно так же, как крыло не заменит вам руки, когда нужно взять что-то.

— Я говорю не об этом,— с горячностью возразила Шучорита.— Я спрашиваю только, признаете ли вы касты?

Если бы его собеседник был кто-то другой, Биной, не колеблясь, ответил бы: «Да, признаю». Но сегодня он не находил в себе нужной твердости. Трудно сказать, была ли причиной тому его природная застенчивость или же просто нежелание углубляться в разговор на эту тему. Но тут на помощь ему пришел Пореш-бабу. Желая остановить опасный спор, он сказал:

— Радха, пойди позови мать и всех остальных — я хочу познакомить с ними Биноя-бабу.

За Шучоритой вприпрыжку убежал и Шотиш. Вскоре Шучорита вернулась.

— Мать просит тебя и гостя пройти на верхнюю веранду,— сказала она, обращаясь к отцу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На верхней веранде стоял стол, покрытый белой скатертью, вокруг него — стулья. Вдоль карниза в горшочках пламенели цветы кротона, ярко-зеленая глянцевитая листва умытых дождями сириса и кришночуры закрывала веранду со стороны улицы. Лучи заходящего солнца мягко освещали ее.

На веранде никого не было. Через несколько минут, однако, появился Шотиш с небольшой белой собачонкой, которую звали Кхуде, и заставил ее продемонстрировать Биною все свои фокусы. Собака умела подавать лапку, кланяться и даже служить, если ей показывали печенье. Восхищение успехами Кхуде Шотиш полностью принимал на свой счет и был очень ими горд. Что же касается самой Кхуде, то ее, по-видимому, гораздо больше интересовало печенье.

Биной рассеянно слушал болтовню Шотиша. Из соседней комнаты доносился звонкий девичий смех и оживленные голоса, к которым иногда присоединялся и мужской голос. Непривычная обстановка волновала Биноя, вызывала в его душе умиленную нежность с легкой примесью зависти. До сих пор ему еще нигде и никогда не приходилось слышать такого беззаботного и радостного девичьего смеха. Сейчас он звучал совсем рядом за стеной и все же казался таким бесконечно далеким.

Но вот, в сопровождении трех дочерей и какого-то юноши, на веранде появилась жена Пореша-бабу.

Звали ее Бародашундори. Она была уже немолода, но, по всей видимости, очень следила за собой и любила принарядиться. В молодости Бародашундори жила в деревне, теперь же она старалась наверстать упущенное и не отставать от века. Она носила шуршащие шелковые сари, туфли на высоких каблуках, которые громко постукивали при ходьбе, и старательно подчеркивала свою принадлежность к «Брахмо Самаджу». Потому-то и Радхарани стала называться теперь Шучоритой.

Как-то раз, вернувшись из дальних странствий на родину,

свекор Бародашундори послал ей к празднику джамайшошти подарок. Пореша-бабу в то время не было дома — он уезжал по служебным делам,— и Бародашундори решила отослать подарок обратно, полагая этот обычай признаком дурного тона и выражением идолопоклонства. В то же время она считала, что носить чулки и шляпку так же обязательно, как выполнять брахмаистские ритуалы. Если ей случалось узнать, что в каком-то доме едят, сидя на полу, она приходила в ужас и говорила, что современное общество возвращается назад, к первобытному состоянию.

Старшую дочь Бародашундори звали Лабонне. Это была веселая, общительная девушка, любившая поболтать и посплетничать. У нее было круглое лицо, большие глаза и темный цвет кожи. Наряды мало интересовали Лабонне, но мать была тверда, и ей приходилось подчиняться. Она терпеть не могла высоких каблуков и все же должна была ходить на них. Также обязательны были белила и румяна, если она собиралась куда-нибудь в гости. Лабонне была довольно полная, а платья мать ей шила такие узкие, что девушка чувствовала себя в них тюком джута, только что вышедшим из-под пресса.

Полную противоположность сестре представляла средняя дочь Бародашундори — Лолита. Она была худощава, значительно выше Лабонне и смуглее ее. Лолита держалась очень независимо,— не отличалась разговорчивостью, хотя при случае была вполне способна сказать колкость или отпустить резкое замечание. Бародашундори в глубине души побаивалась ее и старалась не досаждать дочери чрезмерной опекой.

Младшей дочери, Лилé, еще не исполнилось и десяти лет. Подвижная и задорная, она вечно ссорилась и дралась с Шотишем. Вопрос, кому принадлежит Кхуде, так до сих пор и не был разрешен ими. Сказать правду, если бы они поинтересовались мнением самой Кхуде, то она вряд ли выбрала бы в хозяева кого-нибудь из них, хотя предпочтение, по всей вероятности, отдала бы все же Шотишу. С дрессировкой мальчика Кхуде мирилась легче, чем с бурными ласками девочки.

При появлении Бародашундори Биной встал и поклонился ей.

— Вот молодой человек, в доме которого мы тогда...— начал Пореш-бабу.

— О, вы были так любезны! Мы чрезвычайно обязаны вам! — с жаром воскликнула его жена.

Биной настолько смутился от такого проявления чувств, что не знал, что и ответить.

Его познакомили и с молодым человеком, который вслед за всеми появился на веранде. Его звали Шудхир. Он еще учился в колледже и сейчас готовился к экзаменам на степень бакалавра искусств. Юноша был довольно красив, со светлым цветом лица; небольшие усики украшали его верхнюю губу. Из-за близорукости ему приходилось носить очки. Он производил впечатление человека беспокойного — все время подшучивал над девушками и дразнил их. Девушки притворялись, что сердятся, но было очевидно, что они просто обойтись без него не могут. Шудхир охотно делал для них всякие покупки и всегда готов был сопровождать их в цирк, в зоологический сад или еще куда-нибудь. Биноя поразила простота в обращении Шудхира с девушками. Сначала он даже был несколько возмущен этим, но постепенно возмущение его улеглось, зато он стал испытывать чувство, похожее на ревность.

— Мне кажется, я видела вас несколько раз в Обществе,— заметила Бародашундори.

Биной почувствовал себя так, словно его уличили в некрасивом поступке, и смущенно пролепетал:

— Да, я иногда хожу слушать проповеди Кешоба-бабу.

— Вы, конечно, учитесь в колледже? — продолжала допрос Бародашундори.

— Нет, я уже не учусь.

— И до какого курса вы дошли?

— Я выдержал экзамены на степень магистра искусств...

Услышав это, Бародашундори прониклась должным уважением к своему юному собеседнику. Она тяжело вздохнула и посмотрела на Пореша:

— Если бы наш Мону был жив, он тоже получил бы степень магистра...

Ее старший сын, Мононранджон, умер, когда ему было десять лет, и с тех пор, всякий раз, как она слышала, что какой-нибудь юноша с честью выдержал трудный экзамен, или получил хорошее место, или написал хорошую книгу, или, наконец, сделал еще что-нибудь похвальное, ей начинало казаться, что, будь ее Мону жив, он, конечно, добился бы того же.

Но его не было с ней, и теперь главной своей задачей Бародашундори полагала демонстрацию современному обществу достоинств своих дочерей. Она обратила особое внимание Биноя на то, что ее дочери весьма прилежны и получили хорошее образование. Не скрыла она от него и мнения гувернантки-англичанки, очень высоко ставившей их ум и способности.

Биной узнал также, что, когда в школу на торжественный

акт вручения премий приехали губернатор с супругой, Лабонне была избрана из числа всех девочек, чтобы приветствовать их и преподнести цветы. Удостоился он услышать в передаче Бародашундори и те лестные замечания, которые сделала жена губернатора, обращаясь к девочке.

— Покажи нам вышивку, за которую ты получила приз,— закончила Бародашундори, обращаясь к Лабонне.

Вышитый шелком попугай был хорошо знаком всем родственникам и друзьям Бародашундори. Работу эту Лабонне закончила с большим трудом, потратив на нее уйму времени, да она никогда и не закончила бы ее, если бы не гувернантка, принимавшая во всем этом самое активное участие. Тем не менее церемония демонстрации попугая новым знакомым соблюдалась свято. Пореш пробовал было возражать, но, убедившись, что протесты его ни к чему не ведут, смирился.

Пока Биной ахал над попугаем и восхищался талантами Лабонне, в комнату вошел слуга и подал Порешу письмо.

Пореш прочитал письмо, и лицо его просияло от удовольствия.

— Проси господина сюда,— сказал он слуге.

— Кто это? — заинтересовалась Бародашундори.

— Мой друг детства, Кришнодоял, прислал своего сына познакомиться с нами.

Сердце Биноя вдруг замерло, и он побледнел. В следующее мгновение, однако, он сжал кулаки и выпрямился, словно ожидая нападения. Он был уверен, что Горе не понравится непринужденная атмосфера, царившая в этом доме, и он с предубеждением отнесется к семье Пореша-бабу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Расставив на подносе тарелочки со всякими сладостями, Шучорита передала поднос слуге, а сама поднялась наверх и вышла на веранду. В этот момент с противоположной стороны в дверях появился Гора. Его богатырский рост и белизна кожи невольно поразили всех присутствующих.

Знак касты, поставленный глиной из Ганги, красовался на лбу Горы. На нем было дхоти из грубой материи, рубашка с тесемками вместо пуговиц и широкий чадор, на ногах — деревенские туфли с загнутыми кверху носками. Всем своим видом Гора как бы бросал вызов современности. Биной никогда еще не видел приятеля в таком воинственном обличии.

Возмущение и бурное негодование против существующих порядков действительно кипели сегодня в душе Горы. И этому была своя причина.

Накануне утром он отправился на пароходе в Тривени, где по случаю затмения солнца должно было состояться массовое омовение. На каждой остановке на пароход садились все новые и новые группы паломников, главным образом женщины. Они лезли вперед, отпихивали друг друга, толкались. Началась давка, сходни были узкие, мокрые и скользкие, и несколько женщин свалилось в воду, а нескольких туда же нарочно столкнули матросы. В общей суматохе многие потеряли своих спутников. К тому же шел проливной дождь, и палуба, на которой расположились паломницы, была сплошь покрыта липкой грязью. Женщины промокли и устали. Глаза их выражали тревогу, мольбу и испуг. Они прекрасно понимали, что слабые, жалкие существа, подобные им, не могут рассчитывать на помощь со стороны капитана или матросов. С затравленным видом озирались они по сторонам и, казалось, боялись пошевельнуться. Один только Гора старался, насколько мог, облегчить их положение.

Наверху, на палубе первого класса, стояли, облокотившись о перила, англичанин и бенгалец в европейском костюме. Они курили сигары, смеялись и шутили, словно перед ними разыгрывали забавную комедию. Если какая-нибудь из паломниц падала в воду или просто растягивалась на палубе, англичанин начинал хохотать, а бенгалец тотчас же вторил ему.

Так они проплыли часть пути. Наконец Гора не выдержал. Поднявшись наверх, он крикнул:

— Замолчите! Что у вас, стыда нет?

Англичанин молча смерил его надменным взглядом, бенгалец же решил затеять с Горой спор.

— Стыд?! — воскликнул он.— Конечно, есть. Мне очень стыдно смотреть на этих безмозглых животных.

Гора задохнулся от ярости.

— Животные — это те, у кого нет сердца,— с пылающим лицом заявил он.

— Убирайся отсюда прочь. Здесь тебе не место! — вскипел бенгалец.— Это первый класс.

— Ты прав, мое место не с такими, как ты, мое место с ними. Но предупреждаю,— грозно сказал Гора,— лучше не заставляй меня снова подниматься сюда.

С этими словами, тяжело дыша, он повернулся и ушел. Англичанин сел в шезлонг, положил ноги на перила и погру-

зился в чтение романа. Его спутник, бенгалец, сделал несколько попыток возобновить разговор, но — безуспешно. Тогда, желая подчеркнуть, что его нельзя смешивать с этими жалкими простолюдинами, бенгалец подозвал слугу и попросил подать ему жареного цыпленка.

— В буфете есть только хлеб, масло и чай,— ответил слуга.

— Просто возмутительно — никакой заботы о пассажирах! — сказал по-английски бенгалец, обращаясь к своему спутнику.

Англичанин промолчал. В это время со стола упала газета, и бенгалец, вскочив с шезлонга, поднял ее, однако и тут англичанин не проронил ни слова и даже не поблагодарил его.

Когда пароход прибыл в Чандернагар, англичанин подошел к Горе и, приподняв шляпу, проговорил:

— Я очень сожалею о своем поведении, надеюсь, вы меня извините,— и быстро ушел.

Мысль о том, что интеллигентный бенгалец мог вместе с иностранцем высокомерно посмеиваться над своими несчастными соотечественниками, раскаленным железом жгла мозг Горы. Его до глубины души возмущало, что простой народ покорно терпит оскорбительное обращение и издевательства более удачливых своих соотечественников, что в своей забитости люди дошли до того, что считают такое обращение естественным и неизбежным. Гора знал, что истинной причиной этого является глубокое невежество его народа, и это причиняло ему нестерпимую боль. Но еще более его задевало поведение людей образованных, которые делали вид, что их не касается весь позор, вся оскорбительность такого положения, и даже слегка гордились своей относительной неприкосновенностью.

Гора хотел показать, как презирает он книжную премудрость и рабское подражание условностям,— с этой целью он и явился сегодня в дом брахмаиста с кастовым знаком из глины Ганги на лбу и в деревенских туфлях.

Биной понял, что сегодняшний костюм Горы означает вызов. При одной мысли о том, что может выкинуть Гора, сердце его испуганно сжалось, но он тут же взял себя в руки и приготовился к обороне.

Пока Бародашундори занимала разговором Биноя, Шотиш, предоставленный самому себе, забавлялся тем, что пускал волчок в углу веранды. Однако, увидев Гору, он забыл про игрушку, медленно подошел к Биною и, не сводя глаз с нового гостя, прошептал Биною на ухо:

— Это что, ваш друг?

— Да,— ответил Биной.

Встретившись взглядом с Биноем, Гора сделал вид, что не узнал его. Почтительно поздоровавшись с Порешем, он без малейшего смущения придвинул себе стул и сел подальше от стола, в стороне от всех. Что касается Бародашундори и девушек, то он вел себя так, словно не замечал их присутствия.

Неприятно пораженная такой невоспитанностью гостя, Бародашундори решила увести дочерей, но Пореш остановил ее:

— Это Гоурмохон, сын моего старого друга Кришнодояла.

Гора повернулся к ней и наклонил голову. Хотя Шучорита и слышала о Горе от Биноя, она не сразу поняла, что этот гость и есть его друг. С первого же взгляда она почувствовала к Горе острую неприязнь — не в обычаях и характере Шучориты было мириться с проявлением индуистского фанатизма среди европейски образованных людей.

Пореш стал расспрашивать Гору о друге своего детства Кришнодояле, а попутно и сам вспоминал разные случаи из их студенческой жизни.

— Мы тогда были неразлучны — два самых отчаянных еретика во всем колледже. Ничего не признавали — обедали в ресторанах, считали своим долгом есть пищу, приготовленную неправоверными. По вечерам часто отправлялись к Голдигхи отведать мусульманской кухни и сидели там до полуночи, рассуждая о том, как перестроить индуистскую общину.

— А каких взглядов придерживается ваш отец теперь? — поинтересовалась Бародашундори.

— Теперь он стал правоверным индуистом,— ответил Гора.

— И ему не стыдно?! — Бародашундори вспыхнула от негодования.

— Стыд — признак слабости,— усмехнулся Гора.— Есть люди, которые стыдятся даже своих отцов.

— Но ведь прежде он был брахмаистом? — продолжала Барода.

— Я тоже когда-то был им,— ответил Гора.

— А теперь вы поклоняетесь идолу?

— У меня нет оснований отвергать конкретное. Насмешками нельзя умалить его значения. А в тайну его до сих пор не смог проникнуть никто.

— Но ведь конкретная форма имеет границы,— мягко возразил Пореш.

— Если бы она этих границ не имела, вы бы не увидели

ее. Бесконечное нуждается в конкретном воплощении, чтобы стать видимым для всех. Мы не можем судить о том, чего не видим. Подобно тому как мысль облекается в слова, бесконечное проявляется в законченных формах.

Бародашундори покачала головой:

— Вы считаете, что конечное более совершенно, чем бесконечное?

— Какое значение может иметь то, что считаю я,— ответил Гора.— Существование конечного не зависит от моей воли. Если бы мы могли представить себе бесконечное, отпала бы необходимость в конечном.

Шучорите очень хотелось, чтобы кто-нибудь поставил на место этого зазнавшегося молодого человека и разбил его в споре. Молчание Биноя раздражало ее. Резкость Горы, его самоуверенный тон будили в ее душе желание не менее резко ответить ему. Но в это время слуга принес кипяток, и Шучорита занялась приготовлением чая. Биной изредка, украдкой, поглядывал на нее.

Хотя Биной придерживался приблизительно тех же взглядов на религию, что и его друг, ему было очень неприятно, что Гора, явившись незваным в дом брахмаиста, держится так вызывающе и неприязненно. Его восхищали спокойствие и выдержка Пореша, его благожелательность и беспристрастность, особенно в сравнении с враждебностью Горы.

«Так ли уж важно, каких взглядов придерживается человек,— думал юноша,— самое главное — это душевный покой и уверенность в себе. Не все ли равно, кто одержит верх в споре? Для человека имеет значение лишь та истина, к которой он пришел сам».

У Пореша была привычка закрывать вдруг во время разговора глаза, словно он хотел углубиться в себя и собраться с мыслями.

«Какое пленительное спокойствие выражают в такие минуты его черты, кажется, будто он черпает из неведомого источника истинную мудрость»,— думал Биной. Ему было больно, что Гора, по всей видимости, не испытывает должного почтения к этому достойному человеку и несдержан в разговоре с ним.

Разливая чай, Шучорита вопросительно взглянула на Пореша. Она не знала, кому из гостей можно предложить его. Бародa повернулась к Горе:

— Вы, вероятно, чая не пьете?

— Нет,— твердо ответил Гора.

— Почему? Боитесь нарушить законы касты?

— Да.

— Следовательно, вы признаете кастовое деление?

— Не я его создал, какое же право имею я признавать его или не признавать? А раз я считаю себя членом индуистской общины, то, значит, должен признавать и ее правила.

— И вы безусловно подчиняетесь всем требованиям общины?

— Отказываясь подчиняться общине, мы тем самым разрушаем ее.

— Что же произойдет, если она будет разрушена?

— Вы с таким же успехом могли бы спросить, что произойдет, если подрубить сук, на котором сидишь.

С трудом сдерживая раздражение, Шучорита проговорила:

— Ма, к чему этот бесполезный разговор? Оставь его! Он все равно не станет есть с нами.

Взгляд острых глаз Горы задержался на мгновенье на девушке. Шучорита повернулась к Биною и неуверенно спросила:

— А вы?..

Биной никогда в жизни не пил чая. Он давно уже перестал есть хлеб и печенье из мусульманских булочных, но сегодня он чувствовал себя не вправе отказаться от того, что ему предлагали. Он заставил себя прямо взглянуть в лицо Шучорите и сказал:

— Спасибо! Я выпью,— и посмотрел на приятеля. Гора усмехнулся.

Чай показался Биною горьким, но он выпил всю чашку.

«Какой славный этот Биной»,— подумала Бародашундори. Она отвернулась от Горы и сосредоточила все свое внимание на Биное. Заметив это, Пореш осторожно придвинул свое кресло поближе к Горе и заговорил с ним вполголоса.

В этот момент на улице послышались громкие выкрики продавца сладостей: «Жареные орехи, жареные орехи!» Лила радостно захлопала в ладоши. Но не успела она крикнуть: «Шудхир, позови его!» — как Шотиш уже бросился к перилам.

Тем временем на веранде появился еще один гость. Все называли его Пану-бабу, хотя настоящее его имя было Харанчондро Наг. В «Брахмо Самадже» он пользовался репутацией очень умного и высокообразованного человека.

Все в семье были уверены, что Пану-бабу собирается жениться на Шучорите, хотя ничего определенного между ними

еще не было сказано. Сомнений быть не могло — Шучорита очень нравилась Пану-бабу, и сестры и подруги частенько поддразнивали девушку.

Пану-бабу преподавал в школе. По понятиям Бародашундори, школьный учитель отнюдь не был завидной партией, и она не скрывала, что, воспылай он нежными чувствами к какой-нибудь из ее собственных дочерей, она была бы этим весьма недовольна. Будущие мужья ее дочерей должны были быть по меньшей мере подающими надежды помощниками судьи.

Когда Шучорита подала Харану чашку чаю, Лабонне, сидевшая поодаль, хихикнула, прикрыв рот рукой. От внимания Биноя это не ускользнуло. У него вообще проявилась вдруг незаурядная способность подмечать все, что делается вокруг, и быстро делать из этого свои выводы, хотя прежде он вовсе не отличался повышенной наблюдательностью.

Ему показалось величайшей несправедливостью, что Харан и Шудхир давно знакомы с этими девушками, что они близки этой семье и даже стали здесь предметом шуток и тайных намеков.

Появление Харана несколько ободрило Шучориту. Она надеялась, что теперь-то уж высокомерие Горы будет сломлено. Обычно словоохотливость Харана сильно раздражала ее, но сейчас она радостно приветствовала появление этого витии и с удовольствием подкрепляла его силы чаем и печеньем.

— Пану-бабу, позвольте познакомить вас...— начал Пореш.

— О, мы знакомы. Когда-то он был рьяным членом «Брахмо Самаджа».

И, не обращая больше внимания на Гору, Харан занялся чаем.

В то время из Англии на родину только что возвратилась первая группа юношей-бенгальцев, сдавших экзамены для поступления на государственную службу, и Шудхир рассказывал о приеме, который оказали одному из них.

— Как бы хорошо ни выдержали бенгальцы экзамены, толку от них все равно не будет,— заметил Харан.

И, чтобы доказать неспособность бенгальцев быть хорошими администраторами, он начал распространяться о недостатках и слабостях, присущих всем бенгальцам.

Гора побагровел. Стараясь насколько возможно контролировать свой голос, он сказал:

— Если это действительно ваше мнение, не понимаю, как вы можете спокойно сидеть за столом и пить чай.

Харан удивленно поднял брови:

— А что прикажете делать?

— Бороться с этими недостатками, искоренять их или уж... кончить жизнь самоубийством. Заявить, что твой народ ни на что не способен и ничего никогда не добьется!.. Да как у вас кусок не застрянет в горле?!

— Не вижу, почему я не могу сказать правду?

— Извините меня, но если бы вы искренне считали, что это так, вы никогда не могли бы говорить об этом с таким хладнокровием. В душе вы сознаете, что это неправда, так чего же не порассуждать на досуге! Но знайте, Харан-бабу: ложь — грех, клевета — еще больший грех, но нет греха страшнее, чем клевета на свой народ.

Харан дрожал от ярости.

— Вы, значит, ставите себя выше всех остальных? — продолжал Гора.— Считаете, что только вам дано право метать громы против своего народа, а мы все обязаны покорно выслушивать ваши обвинения, памятуя, что так завещано нам от предков?

Прекратить спор — значило признать свое поражение. Смириться с этим Харан не мог, и он начал со все возрастающим жаром доказывать никчемность бенгальцев. Он перечислил все дурные обычаи, господствующие в бенгальском обществе, и добавил:

— Пока с этим не будет покончено, народу рассчитывать не на что.

— Вы просто повторяете слова англичан, а сами знаете об этих обычаях только понаслышке,— презрительно сказал Гора.— Вот если бы вы так же горячо возмущались дурными обычаями англичан, тогда, конечно, вы имели бы право говорить...

Пореш попытался было переменить тему, но разъяренный Харан не унимался.

Солнце зашло, но в просветах туч на западе еще виднелось небо, пылавшее великолепными красками. И, несмотря на словесную бурю, бушевавшую вокруг, в душе Биноя звучала чудесная музыка.

Наступил час вечерней молитвы, и Пореш, оставив гостей, спустился в сад и сел на скамеечку под большим деревом.

Гора очень не понравился Бародашундори, но и Харан вызывал в ней не больше симпатии. Устав слушать их пререкания, она поднялась с кресла и обратилась к Биною:

— Пойдемте, посидим в гостиной, Биной-бабу.

Биною ничего не оставалось, как принять любезное приглашение Бародашундори и покинуть вслед за ней веранду. Дочерей Бародашундори тоже позвала с собой, а Шотиш, сообразив, что конца спору не предвидится, исчез еще раньше, прихватив с собой Кхуде и орехи, купленные у уличного разносчика.

Бародашундори решила воспользоваться случаем познакомить Биноя с талантами своих дочерей.

— Покажи Биною-бабу свой альбом, дорогая,— сказала она Лабонне.

Девушка уже привыкла, что новым знакомым обязательно демонстрируют ее альбом, и давно ждала этой просьбы. По правде сказать, затянувшийся спор вызывал у нее легкую досаду.

Когда Биной раскрыл альбом, его взору представились стихи Мура и Лонгфелло, переписанные по-английски ровным, четким, изящным почерком. Названия стихов и заглавные буквы украшали всевозможные виньетки и завитушки.

Биной был немало поражен и восхищен. В те дни немногие девушки могли похвастаться умением так красиво и правильно писать по-английски. Довольная впечатлением, произведенным на Биноя, Барода повернулась к средней дочери:

— Ну, а теперь послушаем, как декламирует Лолита.

— Нет, ма, пожалуйста, не надо... Я все забыла...— Девушка отошла к окну и стала смотреть на улицу.

Бародашундори шепотом пояснила Биною, что Лолита прекрасно все помнит, но что она очень застенчива и не любит выставлять напоказ свои знания. С ранних лет она такая, продолжала Бародашундори и в доказательство привела несколько случаев, свидетельствующих о необычайной одаренности Лолиты. Она добавила, что Лолита очень мужественна, слез от нее не дождешься — даже в детстве она никогда не плакала от ушибов — и вообще характером и умом пошла в отца.

Наступила очередь Лилы. Ее попросили прочесть стихотворение. Сначала она было застеснялась, но потом одним духом, без всякого выражения отбарабанила:

Twinkle, twinkle little star...[1]

Зная, что следующим номером в программе значится пение, Лолита вышла из комнаты.

---

[1] Мерцай, мерцай, маленькая звезда... (*англ.*).

На веранде между тем спор достиг апогея. Разозленный Харан от доводов перешел к прямым оскорблениям, и Шучорита, которую возмутило такое неумение владеть собой, решительно встала на сторону Горы, что, конечно, мало способствовало охлаждению пыла Харана-бабу.

Мрак за окном сгущался все больше и больше. Небо покрылось грозовыми тучами. Гортанные крики торговцев гирляндами из арабского жасмина доносились с улицы. В пышной зелени деревьев засветились огоньки светлячков, и густая черная тень легла на соседний водоем.

Закончив вечернюю молитву, Пореш поднялся на веранду. При виде его Гора и Харан слегка смутились. Гора встал:

— Уже поздно, я должен идти.

Попрощавшись с Бародашундори и ее дочерьми, Биной вышел на веранду.

— Приходи к нам, когда захочешь,— говорил Пореш Горе.— Кришнодоял был мне близок, как брат. Сейчас мы с ним разошлись в убеждениях. Мы не видимся и не пишем друг другу, но дружба юных лет не забывается — воспоминание о ней делает и тебя близким и дорогим мне. Да благословит тебя всевышний!

Ласковый, спокойный голос Пореша отрезвляюще подействовал на Гору. И если его первый поклон был почтителен только внешне, то сейчас он склонился перед стариком с искренним уважением. На Шучориту Гора и не взглянул — показать ей, что он заметил ее присутствие, было, по его понятиям, чрезвычайно невежливым. Биной низко поклонился Порешу, сложив ладони, попрощался с Шучоритой и, словно устыдившись своего поступка, поспешил вслед за Горой.

Желая избежать церемонии прощания, Харан прошел в гостиную и принялся перелистывать лежавший на столе сборник ведических гимнов. Однако лишь только Гора и Биной ушли, он сейчас же вернулся на веранду.

— Мне кажется,— сказал он, обращаясь к Порешу,— что вряд ли следует знакомить девушек со всеми, кто приходит к вам.

Гнев охватил Шучориту; не в силах сдержать его, она воскликнула:

— Но ведь если бы отец придерживался такого мнения, мы не познакомились бы и с вами!

— Я не имел в виду людей, принадлежащих к одному с вами Обществу,— возразил Харан.

— Вы хотите,— улыбнулся Пореш,— снова запереть женщин на их половине, ограничить их свободное общение пределами нашего Общества? Нет, я не согласен. Я считаю, что девушки должны встречаться с людьми самых различных взглядов, иначе у них никогда не будет широкого кругозора. Не понимаю, к чему такая разборчивость.

— Я вовсе не протестую против того, чтобы они встречались с людьми других взглядов,— ответил Харан.— Но ведь эти двое даже вести себя как следует не умеют в присутствии дам.

— Нет, нет, вы не правы,— возразил Пореш,— это вовсе не недостаток воспитания, а обыкновенная застенчивость, и они никогда от нее не избавятся, если не будут встречаться с девушками.

— Знайте, Пану-бабу,— резко вставила Шучорита,— что сегодня мне было стыдно за поведение человека нашего Общества!

Но в это время с криком «диди, диди!» вбежала Лила, схватила Шучориту за руку и утащила ее в комнату.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У Харана в тот день была особая причина стремиться выйти победителем из спора. Тем самым он хотел поднять свой престиж в глазах Шучориты. Сначала Шучорита тоже хотела этого. Но все пошло не так, как она думала. Хотя Шучорита и не разделяла взглядов Горы на религию и обычаи общества, но она не меньше его любила родину и страдала за свой народ. Обычно она никогда не вступала в разговоры, касающиеся общих проблем Индии, но на этот раз, когда Гора, возмущенный оскорбительными замечаниями Харана в адрес своих соотечественников, гневно обрушился на него, в ее душе поднялась горячая волна сочувствия Горе. Еще никто и никогда не говорил при ней о своей стране с такой страстью, с такой непоколебимой верой в нее.

Ей приходилось и раньше слышать недовольное брюзжание некоторых своих соотечественников по поводу своей страны и своего народа. Никто из них не верил в него искренне и не любил его глубоко. Однако это не мешало им произносить на собраниях громкие речи и читать патриотические стихи. Гора же вовсе не отвергал слабостей и недостатков своего народа, но он чувствовал его здоровый дух и испытывал к нему огромное ува-

жение. В Горе жила такая неистребимая вера в дремлющие силы народа, что его страстные выступления в защиту отечества каждый раз убеждали колеблющихся. Рядом с этой беспредельной, чистой любовью пренебрежительные высказывания Харана казались Шучорите просто оскорбительными. Время от времени, преодолев смущение, она горячо возражала ему.

Вот потому-то, когда после ухода Горы и Биноя Харан возобновил свои злобные нападки и обвинил молодых людей в невоспитанности и грубости, возмущенная Шучорита снова не могла не заступиться за них.

Отсюда еще не следовало, что неприязненные чувства, которые возбудил в ней Гора, окончательно исчезли. Ее коробило при воспоминании об утрированном деревенском наряде, в котором он явился к ним. И в то же время внутренне она понимала, что, подчеркивая таким образом свою ортодоксальность, он просто бросает всем вызов, что в его поведении не было простоты искреннего убеждения, что сомнения продолжают обуревать его — и что выставил он свое правоверие напоказ из чувства протеста, потому что был зол и хотел уязвить других.

О чем бы Шучорита ни разговаривала в тот вечер, что бы ни делала, где-то в уголке сердца она все время ощущала гложущую боль. Чтобы извлечь занозу, нужно точно знать место, где она находится; и вот, чтобы найти это место и избавиться от мучившей ее занозы, Шучорита и решила уединиться на веранде.

Она надеялась, что прохлада и темнота успокоят непрошеное волнение, но непонятная тяжесть в груди не проходила, ей хотелось плакать, а слез не было.

Что же заставило страдать Шучориту? Появление незнакомого юноши с тилаком на лбу? То, что доводы этого юноши остались неопровергнутыми, или то, что самомнения его так и не удалось сломить? Трудно было представить себе что-нибудь более нелепое. И вдруг Шучорита залилась краской стыда: действительная причина вдруг открылась ей. Добрых три часа сидела она напротив этого юноши, даже вмешивалась в спор, поддерживала его, а он не только не обратил на нее никакого внимания, но даже, прощаясь, сделал вид, что не видит ее. Сомнений быть не могло: именно это полнейшее пренебрежение с его стороны и уязвило ее так больно.

Поведение Горы нельзя было объяснить замешательством, вызванным непривычкой к женскому обществу. В этом случае в нем чувствовались бы те же робость и неуверенность, что и в Биное, а этого отнюдь не было.

Почему же все-таки Шучорита так остро воспринимала холодное безразличие Горы, почему она не могла с презрением выбросить мысль о нем из головы? Ей было мучительно стыдно, что она не сумела сдержаться и вмешивалась в разговор. Правда, один раз, когда в ответ на особенно возмутившее ее замечание Харана она высказалась с большой горячностью, Гора посмотрел на нее. В его взгляде не было и тени робости, но что именно выражал этот взгляд, сказать она не могла. Может быть, он подумал: где стыд у этой девушки и как она самонадеянна, если осмеливается вмешиваться в разговор мужчин!

Ну и пусть! И тем не менее тяжелое чувство не оставляло Шучориту. Она старалась не думать об этом вечере, вычеркнуть его из памяти и — не могла... В ней поднималось негодование. Она заставляла себя с пренебрежением думать об этом дерзком фанатике, но перед ее мысленным взором неотступно стояла гигантская фигура Горы, она видела его уверенные, бесстрашные глаза, слышала сильный голос, и проникнуться презрением к нему ей никак не удавалось.

Шучорита привыкла быть центром внимания, привыкла к тому, что ее любят, ею восхищаются. Но она вовсе не добивалась этого и спокойно относилась к похвалам окружающих. Почему же тогда ее так больно ранило непоколебимое равнодушие Горы? После долгих раздумий она наконец решила, что единственной причиной ее негодования было неосуществившееся желание видеть Гору разбитым в споре с Хараном.

Пока она, терзаясь своими думами, сидела на веранде, наступила ночь. В доме погасли огни — все легли спать. Щелкнул замок парадной двери — это слуга запер ее на ночь перед тем, как пойти спать самому. В этот момент на веранде появилась Лолита в одной сорочке. Не говоря ни слова, она прошла мимо сестры в угол веранды и остановилась у перил. Шучорита улыбнулась про себя, она поняла — Лолита обижена на нее: она обещала лечь спать сегодня в ее комнате и совсем забыла об этом. А Лолита не прощала забывчивости в отношении себя. С ее точки зрения, это был тяжкий грех. Однако она не собиралась и напоминать о данном ей обещании.

Она решила лечь в постель и виду не подавать, что чем-то расстроена. Но время шло, а обида все острее и острее мучила ее, и, наконец, не в силах дольше терпеть, Лолита встала и вышла на веранду, чтобы показать Шучорите, что она еще не спит.

Шучорита поднялась со стула, медленно подошла к Лолите и, обняв ее за плечи, проговорила:

— Лолита, дорогая, не сердись на меня.

— Сердиться? — Лолита сбросила руку Шучориты.— Я не сержусь. Зачем мне сердиться. Сиди, пожалуйста.

— Пойдем.— Шучорита потянула ее за руки.— Пойдем спать.

Но Лолита не двигалась с места, и в конце концов Шучорите пришлось почти насильно увести ее в комнату.

Только тут наконец Лолита спросила дрогнувшим голосом:

— Почему ты так долго не шла? Уже пробило одиннадцать, а я все ждала тебя. Ведь теперь ты сразу заснешь, и мы так и не поболтаем.

Шучорита прижала Лолиту к груди.

— Извини меня, дорогая,— сказала она.

Виновная раскаялась, и гнев Лолиты моментально испарился.

— О ком ты думала, пока сидела там? — мягко спросила она.— Неужели о Пану-бабу?

— Ну что ты! — отмахнулась от нее Шучорита.

Лолита не выносила Пану-бабу. В отличие от других сестер, она даже никогда не дразнила им Шучориту. При одной мысли о том, что он хочет жениться на Шучорите, она приходила в бешенство.

Помолчав немного, Лолита проговорила:

— А вот Биной-бабу очень славный. Правда, диди?

Есть основание предполагать, что за этим невинным вопросом крылось желание выяснить истинные мысли Шучориты.

— Ты права, Биной-бабу просто удивительно славный человек.

Это было сказано, однако, совсем не тем тоном, на который рассчитывала Лолита, и она продолжала свой допрос:

— Но что бы ты ни говорила, диди, Гоурмохон-бабу совершенно невыносим. И цвет лица у него ужасный, и черты такие грубые. И потом, он, по-моему, кроме себя, никого не признает. А ты как считаешь?

— На мой взгляд, он чересчур правоверен.

— Нет, нет, тут не только это! Ведь вот дядя тоже индуист, а он совсем другой. Этот же — я даже не могу сказать, какой он.

— Действительно, какой? — засмеялась Шучорита.

Она представила себе высокий белый лоб Горы с нарисованным на нем знаком касты, и снова в душе ее поднялось раздражение. Она понимала, что всем своим видом он как бы бросал им вызов, говорил: «Знайте, я не с вами». Нет, она успокоится, лишь ниспровергнув эту отчаянную гордыню.

Постепенно разговор их стал затихать, и девушки уснули. Глубокой ночью Шучорита проснулась. Шел проливной дождь. Через полог от москитов было видно, как вспыхивают в небе яркие молнии. Ночник, стоявший в углу, погас. Тишина, мрак, ливень — все это снова вызвало боль в сердце Шучориты. Она долго ворочалась с боку на бок, тщетно силясь заснуть, и с завистью посматривала на ровно дышавшую Лолиту. Наконец, рассердившись, встала с постели, подошла к двери, выходившей на веранду, и открыла ее. Порывы ветра обдавали ее дождевыми каплями. В памяти возникали картинки вчерашнего вечера. Она вдруг отчетливо увидела веранду, освещенную лучами заходящего солнца, и Гору с пылающим от гнева лицом, снова услышала его глубокий голос, который повторял: «Для вас они невежды, а для меня — мой народ, для вас это суеверие, а для меня — вера. Раз уж вы не любите своего народа, раз уж вы далеки от него, так не смейте и порицать его». На это Пану-бабу возразил: «Но ведь такая точка зрения исключает всякую возможность прогресса». — «Прогресса? Прогресс придет позже. Взаимная любовь и уважение куда важнее, чем прогресс. Перемены к лучшему придут сами собой, изнутри, после того как мы станем единым народом. Вы хотите держаться в сторонке и не понимаете, что тем самым разбиваете страну на тысячи кусков. Неужели же потому, что наша страна погрязла в суевериях, вы — люди свободомыслящие — имеете право смотреть на нее с холодным высокомерием? Я же... поверьте, у меня нет более страстного желания, чем желание всегда быть вместе со своим народом, не отделяться от него, даже ради того, чтобы подняться выше. Вот когда мы, наконец, действительно сольемся воедино, сама страна и всевышний решат, какие из наших обычаев сохранятся и какие исчезнут».— «Но ведь у нас слишком много как раз таких обычаев, которые мешают стране объединиться»,— отстаивал свою точку зрения Пану-бабу. «Так вы считаете, что сначала нужно искоренить все дурные обычаи, а уж потом объединяться? Но ведь это все равно что утверждать, будто нужно вычерпать море, для того чтобы потом перейти его,— возражал Гора.— Забудьте о гордости, смиритесь внутренне, соедините свою судьбу с судьбой народа,— только любовь поможет вам преодолеть все недостатки и пороки. В любой стране есть свои недостатки и свои пороки, но пока узы любви связывают людей, они им не страшны: рано или поздно эти пороки будут побеждены. Ферменты гниения всегда присутствуют в воздухе, однако, пока человек жив, никакого действия на него оказать они не могут: разлагаются лишь мертвые тела.

Так запомните же: попыток изменить наше общество мы не допустим ни от вас, ни со стороны иностранных миссионеров».— «Но почему?» — спросил тогда Пану-бабу. «Да потому же, почему мы покорно выслушиваем суровые наставления родителей и считаем унизительным для своего достоинства, когда с такими же наставлениями к нам обращается полицейский. Прежде сблизьтесь с народом, а потом уж приходите реформировать его — в противном случае даже хороший ваш совет может повредить ему».

Так фраза за фразой всплывал в памяти Шучориты весь этот разговор, и, неизвестно почему, прежняя боль все сильнее сжимала ей сердце. Под утро, вконец измученная, она снова улеглась в постель, прикрыла рукой глаза, стараясь забыться и уснуть. Но лицо и уши ее горели, противоречивые мысли продолжали бурлить в усталом мозгу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда Биной и Гора вышли на улицу, Биной попросил:

— Знаешь что, Гора,— иди помедленней. Ты вон какой длинноногий — мне за тобой не угнаться.

— Сейчас я хочу побыть один, мне нужно о многом подумать,— ответил Гора и быстро зашагал дальше.

Биной расстроился. Сегодня, вопреки своему обыкновению, он восстал против Горы, и теперь ему было бы легче, если бы Гора как следует отругал его за это. Буря разогнала бы тяжелые тучи, нависшие над их давней дружбой, освежила бы воздух, и он снова вздохнул бы полной грудью.

Однако это была не единственная причина, заставлявшая его страдать. Неожиданно появившись сегодня в доме Порешабабу, Гора застал там Биноя, который, по всей видимости, чувствовал себя легко и непринужденно, и, без сомнения, решил, что его друг — завсегдатай здесь. Ничего дурного в том, что Гора застал его в доме Пореша-бабу, конечно, не было. Биной считал для себя счастьем и большой удачей близкое знакомство с таким просвещенным семейством и недовольство Горы относил за счет его слепого фанатизма. Беспокоило его другое. От Биноя Гора знал, что тот никогда не был у Пореша-бабу. Встретив его там,— и особенно после того, как Бародашундори позвала Биноя в комнаты, чтобы похвастаться талантами своих дочерей, что, конечно, не укрылось от проницательных глаз Горы,— он, конечно, сделал свои выводы и пришел к заключе-

нию, что Биной лгал ему. И радость, которую принесло Биною знакомство с юными девушками, и благосклонное отношение к нему Бародашундори невольно омрачались тем, что Гора был явно настроен враждебно ко всей этой семье.

До этого дня ничто не мешало их дружбе. Разве только когда Гора увлекся учением «Брахмо Самадж», они немного — очень немного — отдалились друг от друга. Но это увлечение Горы быстро миновало. Для Биноя же, как мы уже говорили, идеи имели второстепенное значение. Как бы горячо ни отстаивал он свои взгляды, по-настоящему интересовали и привлекали его только люди. И вот теперь он боялся, что люди как раз и могут стать причиной его душевного разлада. С одной стороны, его неодолимо влекли теплота и радушие, царившие в доме Пореша-бабу. Ему никогда не приходилось ощущать такой радости бытия, как та, которую он пережил, находясь в гостях у них. Но с другой стороны, дружба с Горой была неотделимой частью его существования. Биной не мыслил своей жизни без дружбы с ним. До сих пор никому еще не удавалось овладеть сердцем Биноя так прочно, как владел им Гора. До сих пор вся жизнь Биноя проходила в чтении и философских спорах, в ссорах с Горой и в дружеских беседах с ним. В его сердце Гора царствовал безраздельно.

Что же касается Горы, то хотя у него и не было недостатка в почитателях, но единственным его другом был Биной. В характере Горы была одна странная особенность — он был в одно и то же время и очень общительным, и очень замкнутым человеком. По-настоящему близко он не сходился почти ни с кем из людей своего круга. Биной знал это, и сейчас, чувствуя, что новые знакомые произвели на него глубокое впечатление и что его неудержимо тянет познакомиться с ними еще ближе, он испытывал чувство вины перед Горой.

Биной сознавал, каким ничтожным должно было казаться Горе материнское тщеславие Бародашундори, демонстрировавшей Биною английские стихи, переписанные ее дочерьми, и их рукоделия. Действительно, все это было достаточно смешно, и радость, которую мать испытывала оттого, что ее дочери немного знают английский язык, что гувернантка-англичанка хвалила их, что они удостоились внимания жены губернатора, вызывала лишь жалость к ней. И несмотря на то, что Биной понимал все это, он не мог презирать ее так, как Гора. Ему все нравилось в этом доме. Например, когда Лабонне — красавица Лабонне — с гордостью показывала ему переписанные ею стихи Мура, Биной и сам почувствовал прилив гордости. Бародашун-

дори была очень далека от идеала современной женщины, хоть и прилагала все усилия, чтобы шагать в ногу с веком. Но Биною, который прекрасно видел всю тщетность ее потуг, Бародашундори нравилась. Его умиляли ее ничем не прикрытое тщеславие и претенциозность. Кому-нибудь дом, наполненный радостным девичьим смехом, где разливали чай, украшали вышивками стены, наслаждаясь в то же время чтением английских стихов, мог показаться совсем обыкновенным, но для Биноя он был удивительным. Никогда за всю его сознательную жизнь ничто не приносило ему большей радости, чем милый уют в семье Пореша. Он рисовал в своем воображении бесчисленные заманчивые картины, главными героинями которых были сами девушки с их нарядами и украшениями, с их шутками и забавами. Перед мальчиком, за чтением и теоретическими спорами не заметившим, как он вступил в юность, обыкновенный дом Пореша раскрылся новым и удивительным миром.

Биной признавал, что негодование Горы было вполне обоснованным. Впервые за все годы их дружбы между ними произошла действительно серьезная размолвка. И сейчас, идя домой унылой дождливой ночью, под небом, затянутым грозовыми тучами, прислушиваясь к редким раскатам грома, Биной ощущал на сердце страшную тяжесть. Ему казалось, что жизнь его вышла из привычной колеи и устремилась в каком-то новом направлении. Во мраке этой ночи их пути разошлись. Гора пошел одной дорогой, а он, Биной,— другой.

Угроза разрыва усиливает любовь. Сейчас, когда дружбе Биноя и Горы был нанесен первый серьезный удар, Биной понял, как крепко привязан он к Горе, как горячо любит его.

Биной пришел домой. Мрак, окутавший его жилище, показался ему особенно непроглядным, а безлюдный дом особенно пустым, и он совсем было собрался тотчас же пойти к Горе, но решил, что сегодня им будет трудно понять друг друга, и улегся спать.

Встав утром, Биной почувствовал себя легко и свободно. Вчерашние сомнения и тревоги показались ему совершенно беспочвенными. Почему, собственно, он решил, что дружба с Горой и знакомство с семьей Пореша несовместимы? Он даже улыбнулся при воспоминании о том, что пережил и передумал за ночь. Накинув на плечи чадор, Биной вышел из дому и быстро зашагал к Горе.

Гора в это время сидел внизу и читал газету. Из окна он видел, как Биной шел по улице, но, когда тот вошел в комнату,

он даже не поднял глаз. Биной подошел к другу и, не говоря ни слова, взял у него из рук газету.

— Ты, видимо, путаешь меня с кем-то другим,— заметил Гора холодно,— ведь я — Гоурмохон, индуист, у которого тьма всяких предрассудков.

— Нет, это ты путаешь меня с кем-то, я — Биной, человек с не меньшим количеством предрассудков,— друг этого самого Гоурмохона.

— Беда в том, что Гоурмохон неисправим: он не считает нужным извиняться перед кем бы то ни было за свои предрассудки.

— И Биной точно такой же. Только он избегает навязывать кому бы то ни было свои предрассудки.

Слово за слово, между друзьями завязался горячий спор, и соседям не потребовалось много времени, чтобы понять, что это встретились Гора с Биноем.

— Почему, когда я спросил тебя в прошлый раз, ты сказал, что никогда не был у Пореша-бабу?

— Потому что я никогда прежде и не бывал там. Вчера я первый раз переступил их порог.

— Что-то мне сдается, что ты, как Абхиманью — туда переступить порог сумеешь, а вот обратно вряд ли.

— Может быть. Такой уж у меня характер. Мне не легко расставаться с теми, кого я полюбил и к кому испытываю уважение. Тебе ведь должна быть знакома эта черта моего характера?

— Значит, ты собираешься продолжать свои посещения?

— Почему только я? Ты ведь не каменный, тоже можешь двигаться.

— Я могу пойти, но я вернусь,— сказал Гора,— а вот по некоторым признакам мне кажется, что ты предпочтешь остаться там навсегда. Кстати, как понравился тебе чай?

— Горьковат.

— Так зачем же...

— Если бы я отказался, горький осадок остался бы у кого-то еще.

— По-твоему, значит, в отношениях между людьми самое главное вежливость?

— Не всегда. Только, видишь ли, Гора, когда законы общества приходят в столкновение с велениями сердца...

Взбешенный Гора не дал Биною договорить.

— Сердца?! — прогремел он.— Ты не считаешься с обществом, поэтому его законы и вступают на каждом шагу в столк-

новение с твоим сердцем. Если бы ты сознавал, какие тяжелые последствия влечет за собой любой удар, нанесенный обществу, ты постыдился бы говорить о своем сердце. Тебе неприятна мысль, что ты можешь как-то обидеть дочерей Пореша, а мне больно при мысли, что из-за всякого пустяка ты, не задумываясь, готов оскорбить целое общество.

— Ну, знаешь, Гора,— запротестовал Биной.— Если общество видит оскорбление в том, что кто-то из его членов выпьет чашку чаю, это уж слишком. Оберегать страну от подобных оскорблений — значит ослаблять ее и делать неспособной к сопротивлению.

— Все эти доводы, милый мой, мне хорошо известны,— ответил Гора.— Я ведь не окончательный дурак. Но в данном случае они неуместны. Когда больной ребенок отказывается принимать лекарство, мать сама пьет его — хочет утешить дитя мыслью, что оба они страдают одинаково. Ее толкает на это любовь к ребенку. А когда этой любви нет, никакие доводы — пусть самые разумные — не убедят ребенка, потому что он не будет чувствовать внутренней связи с матерью. Чашка чаю — ерунда. Меня глубоко оскорбляет то, что ты так легко смотришь на свои обязанности по отношению к обществу. Не пить чая и огорчить дочерей Пореша-бабу — это еще не самое большое горе. Самое важное для нас теперь — духовно сблизиться со своим народом, а тогда будет очень просто решить вопрос — пить или не пить чай.

— Похоже на то, что мне долго придется ждать второй чашки.

— Не вижу, почему бы ждать этого пришлось долго,— ответил Гора.— Знаешь, Биной, я не понимаю, почему ты так настойчиво цепляешься за меня. По-моему, пришло время тебе покончить с нашей дружбой, а заодно и со всеми обычаями индуистской общины, которые тебя раздражают. Иначе ты можешь обидеть дочерей Пореша.

В эту минуту в комнату вошел Обинаш. Это был верный последователь Горы, слепо веривший каждому его слову. Беда только, что мысли Горы преломлялись в его ограниченном умишке, и, рассказывая о них всем и каждому, он умудрялся опошлить их до неузнаваемости. И тем не менее многие люди, не понимавшие Гору, отлично понимали Обинаша и не скупились на похвалы его выступлениям.

Обинаш сильно ревновал Гору к Биною. При каждом удобном случае он старался втянуть Биноя в спор. Доводы Обинаша были настолько бессмысленны, что Биной начинал злиться и

обрывал его. Но тут на сцену выходил Гора, что давало возможность Обинашу кичиться впоследствии тем, что Гора проповедует его идеи.

Чувствуя, что с приходом Обинаша шансы на примирение временно потеряны, Биной пошел наверх к Анондомойи, которая сидела перед открытой дверью кладовки и чистила овощи.

— Я давно уже слышу твой голос. Что это ты сегодня так рано? Ты успел поесть перед уходом из дома? — спросила она его.

В другое время Биной, конечно, ответил бы: «Нет, не успел»,— и с удовольствием позавтракал бы, тут же, усевшись на пол напротив нее. Но сейчас он сказал:

— Спасибо, ма, я не буду есть.

Биной не хотел давать Горе новых поводов для неудовольствия. Он сознавал, что друг еще не простил его окончательно, что натянутость в их отношениях до сих пор существует, и эта мысль по-настоящему угнетала его. Он молча вынул из кармана нож и стал помогать Анондомойи чистить картофель.

Минут через пятнадцать он снова спустился вниз и обнаружил, что Гора и Обинаш куда-то ушли. Он посидел немного в комнате Горы, почитал газету, рассеянно просмотрел объявления, наконец тяжело вздохнул, поднялся и пошел домой.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

После завтрака Биноя снова потянуло к Горе. Он никогда не счел бы унизительным для себя извиниться перед другом, сознавая свою вину. Но тут дело было вовсе не в его гордости. Он не мог допустить поругания их дружбы. Он чувствовал, правда, что, воспылав вдруг симпатией к Порешу, он проявил известную нелояльность к Горе. Биной ждал, что Гора высмеет его, может быть, отчитает, и этим все кончится. Но он не допускал и мысли, чтобы Гора мог оттолкнуть его. Он вышел на улицу и направился к дому Горы, но, не доходя нескольких шагов, повернул обратно: он боялся увидеть Гору, боялся, что дружба их снова может подвергнуться тяжелому испытанию.

Вернувшись домой, Биной решил написать другу письмо. Он уселся за стол, но письмо подвигалось туго, и, полагая, что виной тому загнувшийся внутрь кончик пера, он принялся старательно выправлять его. Но тут он услышал, что кто-то зовет его, и, положив перо, поспешно спустился вниз.

— Проходите, Мохим-дада, сюда, наверх,— пригласил он гостя.

Войдя в комнату, Мохим непринужденно расселся на постели Биноя и внимательно осмотрелся по сторонам.

— Вот что, Биной,— сказал он.— Если я до сих пор не заходил к тебе, то это не потому, что мне не хотелось взглянуть, как ты живешь, и не потому, что не знал твоего адреса. Беда в том, что вы, нынешние молодые люди, чересчур уж примерны — не дождешься, чтобы вы предложили гостю выкурить трубку или пожевать пана. Если бы не из ряда вон выходящее обстоятельство, я бы никогда...

Увидев, что Биной стал с беспокойством оглядываться по сторонам, он добавил:

— Ты, кажется, хочешь бежать покупать мне трубку? Умоляю тебя, не делай этого. Я как-нибудь переживу, если мне не придется некоторое время покурить, но предложить мне новую трубку, да еще бог знает как набитую, было бы с твоей стороны непростительной ошибкой.

Мохим взял лежавший на кровати веер и стал обмахиваться.

— Есть серьезная причина, почему я пожертвовал своим послеобеденным сном в воскресенье и пришел к тебе,— продолжал он.— Ты должен оказать мне одну услугу.

— Какую?

— Сперва обещай сделать то, о чем я тебя попрошу, тогда скажу.

— Если я смогу, я, конечно...

— Только ты один и можешь это сделать. Я ничего от тебя не требую, скажи только «да».

— Почему вы не хотите сказать прямо? Вы же прекрасно знаете — я для вас свой человек, и если в моих силах помочь вам, я никогда не откажу.

Мохим достал из кармана пакетик с паном, предложил немного Биною, остальное отправил себе в рот и продолжал:

— Ты знаешь мою Шошимукхи. Она очень недурна собой. К счастью, не в отца пошла. Ей скоро исполнится десять, пора позаботиться о женихе. Я иногда ночей не сплю, все одолевают мысли — боюсь, не досталась бы она какому-нибудь негодяю.

— Почему это вас так беспокоит? Ведь впереди еще много времени.

— Была бы у тебя дочь, понял бы почему,— со вздохом ответил Мохим.— Годы идут, а жених сам собой не появится. Вот я и тревожусь с каждым днем все больше и больше. Но если ты подашь мне надежду, я могу и подождать.

Биной растерялся.

— Но ведь я же никого не знаю,— пробормотал он.— Кроме вас, у меня в Калькутте, собственно, и знакомых-то нет. Но я постараюсь, разузнаю...

— Ты ведь хорошо знаешь Шошимукхи?

— Ну конечно! Еще бы! — рассмеялся Биной.— Прекрасная девочка!

— Так чего там разузнавать. Бери ее.

— Что вы! Что вы! — испугался Биной.

— Извини, если я поступил бестактно. Конечно, ваш род знатнее, но, право же, в наше время это не может служить препятствием для человека образованного.

— Ну что вы, тут вопрос вовсе не в том, чей род знатнее, просто я хочу сказать... Ведь она еще совсем малютка.

— Э, что ты! Да разве ей мало лет? Индусские девушки не англичанки — им не годится пренебрегать обычаями своего народа.

Не в характере Мохима было легко отпускать свою жертву. Не зная, как вырваться из его когтей, Биной в конце концов попросил:

— Дайте мне немного подумать.

— Да сколько угодно. Не думай, пожалуйста, что я пришел условиться насчет дня свадьбы.

— Я должен поговорить с родными...— начал было Биной.

— А то как же,— прервал его Мохим,— обязательно. Раз твой дядя жив, без его согласия ничего предпринимать нельзя.

Прикончив еще один пакетик пана, Мохим поднялся с таким видом, словно между ними все уже решено, и ушел.

Еще раньше Анондомойи намекнула как-то Биною на возможность его брака с Шошимукхи, но молодой человек пропустил ее слова мимо ушей. И хотя он и сегодня не усмотрел в этом предложении ничего заманчивого, все же он призадумался. Женившись на Шошимукхи, он станет членом семьи Горы, а оттолкнуть близкого родственника Горе будет не так-то легко. Английский обычай жениться по склонности сердца он считал нелепым, поэтому женитьба на Шошимукхе не представлялась ему чем-то невозможным. И во всяком случае, это был предлог пойти и поговорить с Горой, чему он был очень рад. В глубине души он надеялся, что Гора будет уговаривать его согласиться. Биной не сомневался, что, не получив от него определенного согласия, Мохим обязательно обратится к Горе за поддержкой.

Постепенно мрачное настроение Биноя рассеялось. Решив не откладывать в долгий ящик свиданья с Горой, он поспешно накинул чадор и вышел из дому. Но не успел он пройти и не-

сколько шагов, как услышал сзади себя крик: «Биной-бабу!» — и, оглянувшись, увидел Шотиша.

Вместе с Шотишем он снова вернулся домой. Шотиш достал из кармана узелок и сказал:

— Отгадайте, что это такое?

Биной назвал ряд совершенно невероятных вещей, как, например, «череп», «щенок» и так далее, пока, наконец, возмущенный его недогадливостью Шотиш не развязал узелок и не достал из него несколько оранжевых плодов.

— — Может быть, вы хоть теперь скажете мне, что это такое?

Биной выдавил из себя наудачу несколько названий, но в конце концов ему пришлось признаться в своем невежестве, и тогда Шотиш рассказал, что в Рангуне у них живет дядя, который и прислал его матери посылку с этими плодами, и что мать велела Шотишу отнести пять штук в подарок Биною.

В те дни в Калькутте мало кто видел эти бирманские плоды. Повертев манго в руках и пощупав их плотную кожуру, Биной осведомился:

— Шотиш-бабу, а как их есть?

Шотиш рассмеялся:

— Не вздумайте только сразу кусать, надо сперва очистить.

Незадолго перед тем Шотиш сам тщательно пытался откусить кусочек манго, чем немало насмешил мать и сестер. Сейчас он мог отыграться и с удовольствием подсмеивался над Биноем.

Они посмеялись немного, и затем Шотиш сказал:

— Биной-бабу, ма сказала, чтобы вы пришли к нам, если у вас есть время,— сегодня день рождения Лилы.

— Видишь ли, сегодня, к сожалению, я занят, мне надо идти в другое место.

— Куда?

— К моему другу.

— К тому самому?

— Да.

«К другу может, а к нам нет». Шотишу показалось это крайне нелогичным, тем более что друг этот ему чрезвычайно не понравился — на вид он был еще более суров, чем директор школы, и, уж конечно, был совершенно неспособен оценить всю прелесть музыкальной шкатулки. Шотишу было неприятно, что Биной может предпочесть общество этого человека, и он решительно заявил:

— Нет, Биной-бабу, вы должны пойти к нам.

Желание пойти к Порешу-бабу боролось в душе Биноя с сознанием долга по отношению к Горе. Он не хотел подвергать

новым испытаниям их пошатнувшуюся дружбу, твердо решив поставить ее превыше всего.

Однако понадобилось совсем немного времени, чтобы молодой человек капитулировал. Он взял мальчика за руку и направился к дому номер семьдесят восемь, несмотря на то, что в душе его боролись противоречивые чувства и он понимал, что делать этого не следует. Что там ни говори, а приятно знать, что о тебе помнят, да еще получить в подарок редкие фрукты, присланные из далекой Бирмы.

Уже в дверях они столкнулись с Пану-бабу и еще несколькими незнакомыми людьми, покидавшими дом после торжественного обеда в честь Лилы. Пану-бабу сделал вид, что не заметил Биноя.

В доме слышались громкий смех и беготня: Шудхир утащил у Лабонне ключ от ящика стола, где она хранила свой альбом. Среди стихотворений, которые переписала в него эта юная любительница поэзии, были и такие, которые легко могли стать объектом насмешек, и Шудхир грозил прочитать их вслух собравшимся. Когда Биной вошел в комнату, борьба за обладание альбомом была в самом разгаре. При его появлении Лабонне и все остальные мгновенно разбежались; вслед за всеми бросился и Шотиш, желавший непременно принять участие в веселой игре. Вскоре в комнату вошла Шучорита.

— Ма просит вас подождать немного, она сейчас придет. А отец уехал к Онатхо-бабу. Он тоже скоро вернется.

Чтобы рассеять смущение Биноя, она заговорила с ним о Горе.

— Ваш друг, наверное, больше никогда не придет к нам,— с улыбкой сказала она.

— Почему?

— Он, конечно, был неприятно поражен, увидев нас в обществе мужчин. Я уверена, что, по его понятиям, уважения заслуживают лишь те женщины, которые посвящают себя исключительно домашнему хозяйству.

Биной не знал, что ответить. Он и рад был бы протестовать, но как мог он солгать?

— Гора считает, что женщины должны отдавать все свое внимание дому, иначе они не смогут как следует выполнять свои обязанности,— уклончиво сказал он.

— В этом случае,— возразила Шучорита,— женщинам и мужчинам следует вообще строго разграничить свои обязанности. А то как бы не пострадали и дела, которыми заняты муж-

чины, поскольку какое-то участие в домашней жизни они все-таки принимают. А вы согласны со своим другом?

До сих пор взгляды Биноя на место и роль женщины в обществе ничуть не отличались от взглядов Горы. Он даже писал статьи на эту тему. Но трудно было ожидать, чтобы он признался в этом сейчас.

— Вам не кажется,— сказал он,— что в таких делах все мы рабы условностей? Мы не привыкли к женщинам, которых интересует что-то, помимо их прямых обязанностей, и, встретив такую женщину, испытываем обычно неприятное чувство. А для того, чтобы обосновать это чувство, стараемся убедить себя, что поведение ее неуместно, неприлично. Все дело в традициях, а доводы приводятся по большей части просто так, чтобы оправдать свою точку зрения.

— Наверно, ваш друг строго придерживается всех традиций?

— Это только кажется на первый взгляд. На самом деле он строго следует всем традициям вовсе не потому, что верит в их мудрость и превосходство. Просто он полагает, что неукоснительное соблюдение обычаев может приостановить разрушительный процесс, которому мы подвергаем наше общество, презирая все его законы. Он утверждает, что только понимание и знание всех обычаев страны, которые приходят вместе с уважением и любовью к ней, могут положить начало ее оздоровлению — так же, как это бывает с любым живым организмом.

— Но, если вы думаете, что оздоровление может прийти само собой, то почему этого не случилось до сих пор?

— Потому, что мы никогда не видели свою страну в целом, никогда не принимали своего народа целиком. Мы не презираем свой народ, но разве можно сказать, что мы уважаем его? Вернее всего мы его просто не замечаем. Откуда же ему черпать силы? Представьте себе больного, которого долгое время никак не лечили и не обращали на него никакого внимания, а потом вдруг, спохватившись, повезли в больницу, где врач, однако, отнесся к нему крайне равнодушно и, вместо того чтобы начать курс длительного и вдумчивого лечения, в нетерпении предложил целый ряд операций. Тогда как другой врач — мой друг — твердо заявил: «Нет, я не могу пойти на то, чтобы у человека, дорогого мне, бесконечными операциями отняли бы жизнь. Я категорически против какого бы то ни было хирургического вмешательства. Я буду применять стимулирующие средства, чтобы дать ему возможность окрепнуть, и тогда, если понадобится, он выдержит операцию, а может быть,

обойдется и без нее». Гора считает самым важным для нас сейчас — глубокое уважение к нашей родине. Без этого мы никогда не поймем ее как следует, а не поняв, можем принести ей вред, какими бы благими ни были наши намерения. Для того чтобы принести пользу, нужно знать, в чем заключается польза, и для того, чтобы узнать это, надо проявить максимум терпения. А для того, чтобы проявить терпение, нужно искренне любить.

Задавая Биною разные вопросы, вставляя свои замечания, Шучорита умело поддерживала разговор о Горе. А Биной говорил о нем с истинным воодушевлением. Никогда, кажется, речь его не изобиловала такими яркими примерами, никогда она не была так убедительна. Вряд ли даже Гора смог бы так же ярко и образно изложить свои взгляды. Биной и сам был поражен этим неожиданным приливом красноречия и остроумием своих доводов, и лицо его так и сияло от радости.

— Ведь шастры учат,— говорил он,— «познай самого себя». Истина в самопознании. Так поймите же: мой друг Гора — это и есть воплощенное самопознание Индии. Я не могу относиться к нему, как к человеку обыкновенному, заурядному. В то время как все мы распыляем свое внимание и увлекаемся всякими пустяками — мелочами, имеющими прелесть новизны, он один ясно видит перед собой цель и, невзирая ни на что, повторяет зычным голосом древнюю заповедь — «познай самого себя»!

В таком духе разговор мог продолжаться еще очень долго, потому что Шучорита слушала Биноя со жгучим интересом, но неожиданно из соседней комнаты донесся громкий голос Шотиша, декламировавшего:

Не говори в угрюмом раздраженье,
Что наша жизнь — мгновенный сон пустой...

Бедному Шотишу никогда не представлялось случая похвастаться перед знакомыми своими талантами. Нередко гости, изнывая от скуки, покорно слушали английские стишки в исполнении Лилы, но подобных же выступлений Шотиша Бародашундори отнюдь не поощряла, несмотря на то что дети соперничали буквально во всем. Главной целью жизни Шотиша было взять верх над заносчивой Лилой. Накануне ей удалось блеснуть своим умением перед Биноем, доказать же собственное превосходство Шотиш так и не смог, потому что никто не просил его об этом, а если бы он рискнул проявить инициативу, его быстро поставили бы на место. Поэтому сегодня он

решил продекламировать стихи в соседней комнате, как будто для своего удовольствия. Шучорита не могла сдержать улыбки, поняв его хитрость.

В это время в комнату влетела Лила. Косы так и прыгали у нее за спиной. Она обняла Шучориту и что-то зашептала ей на ухо. Шотиш моментально подскочил к ней и спросил:

— Ну-ка скажи, Лила, что такое «внимание»?

— Знаю, да не скажу.

— Ага, ага! Не знаешь, поэтому и не скажешь.

Биной притянул Шотиша к себе и, улыбаясь, спросил:

— А ты знаешь?

Шотиш гордо поднял голову:

— «Внимание» — значит «прилежание».

— А что такое «прилежание»? — поинтересовалась Шучорита.

Ну кто, кроме любимой сестры, может поставить человека в такое щекотливое положение! Шотиш сделал вид, что не слышал вопроса, и вприпрыжку выбежал из комнаты.

Отправляясь к Порешу, Биной твердо решил, что останется там недолго и пойдет к Горе. Сейчас, после разговора с Шучоритой, желание увидеться с другом еще более усилилось. Услышав, что часы бьют четыре, он торопливо поднялся с кресла.

— Как, вы уже уходите? — сказала Шучорита.— А ма хочет угостить вас чаем. Посидите еще немного, пожалуйста.

Просьба эта прозвучала для Биноя как приказание, и он тотчас же снова сел. В комнату вошла одетая в красивое шелковое платье Лабонне.

— Диди, все уже готово. Ма просит всех наверх, на веранду.

На веранде Биноя усадили за стол, и ему пришлось отведать всех яств, приготовленных хозяйкой дома. Затем Бародашундори развлекала его рассказами о характерах и наклонностях своих детей и поведала ему немало случаев из их жизни. Лолита увела Шучориту в комнату. Лабонне же уселась в кресло и, склонив голову, принялась вязать: кто-то сказал ей, что, когда она вяжет, ее изящные пальчики делают удивительно красивые движения. С тех пор стоило кому-нибудь прийти в гости, и она сразу же бралась за рукоделие, часто безо всякой на то надобности.

Уже стало смеркаться, когда вернулся Пореш, а так как день был воскресный, он предложил поехать в храм послушать проповедь.

— Может быть, и вы поедете с нами? — обратилась Бародашундори к Биною.

Отказаться было невозможно. Разделившись на две группы, все уселись в коляски и отправились в храм. После окончания проповеди, садясь в коляску, чтобы ехать домой, Шучорита вдруг воскликнула:

— Посмотрите, вон идет Гоурмохон-бабу!

Не могло быть никакого сомнения, что Гора видел их, однако он сделал вид, что ничего не заметил, и быстро прошел мимо. Биной был очень сконфужен этим невежливым поступком приятеля, но причину его поспешного исчезновения понял прекрасно. Гора увидел его среди этих людей. Радостное чувство, которое Биной испытывал все это время, мгновенно исчезло. Шучорита прочитала мысли молодого человека и поняла причину внезапной перемены в его настроении. Раздражение против Горы поднялось в ней с новой силой. Ее возмущало, что он может несправедливо судить такого верного друга, как Биной. Еще больше возмущало ее то, что он с такой нетерпимостью и предубеждением относится к брахмаистам. И ей больше, чем прежде, захотелось, чтобы кто-нибудь сумел поставить Гору на место.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Когда в полдень Гора сел обедать, Анондомойи осторожно попыталась коснуться вопроса, который мучил ее сегодня весь день.

— Сегодня утром приходил Биной,— вскользь сказала она.— Ты видел его?

Не поднимая головы от тарелки, Гора ответил:

— Видел.

Довольно долго они молчали. Затем Анондомойи снова заговорила:

— Я оставляла его, но он ушел, причем вид у него был ужасно расстроенный.

Гора ничего не ответил.

— Гора,— продолжала она,— я знаю, у него неладно на душе. Я никогда не видела его таким. Меня это очень тревожит.

Гора продолжал молча есть. Анондомойи очень любила Гору и, может, именно поэтому в душе побаивалась его: она никогда не докучала ему расспросами, если он сам не желал открыть ей своих мыслей. В другое время она замолчала бы, но тревога за Биноя заставила ее продолжать.

— Не сердись на меня, Гора, и выслушай внимательно. Один бог создал людей, но он не всем уготовил одинаковый путь. Биной всей душой любит тебя, он готов мириться с любыми твоими выходками и настроениями, но не насилуй его волю, не навязывай ему своих мыслей: ничего хорошего из этого не выйдет.

— Ма, дай мне еще молока, пожалуйста,— не отвечая ей, попросил Гора.

На этом разговор прекратился. Пообедав, Анондомойи села на кушетку и занялась шитьем. Лочмии очень хотелось посплетничать о безнравственном поведении одной из служанок, но вовлечь хозяйку в разговор ей не удалось, и она с горя уснула, свернувшись калачиком тут же на полу.

После обеда Гора принялся за свою корреспонденцию. Утром он ясно дал почувствовать Биною, как сердит на него. Гора не допускал и мысли, что Биной не придет к ним сегодня же, чтобы помириться с ним. Поэтому, занимаясь своим делом, он все время прислушивался: не раздадутся ли шаги друга.

Но наступил вечер, а Биной все не приходил. Гора бросил писать и только собрался встать из-за стола, как в комнату вошел Мохим.

— Ну, Гора, а что ты думаешь о замужестве Шошимукхи? — спросил он, усевшись в кресло.

Так как Гора никогда не задумывался над этим, ему ничего не оставалось делать, как хранить виноватое молчание.

Тут Мохим подробно изложил все, что он знал о состоянии рыночных цен и материальных затруднениях семьи, и предложил Горе найти выход из создавшегося положения. И так как Гора не знал, что и думать по этому вопросу, Мохим помог ему выбраться из тупика, указав, что единственный выход видит в браке Шошимукхи с Биноем. Нужды в таком длинном вступлении, конечно, не было, однако надо признаться, что Мохим, несмотря на свой обычный, снисходительный тон, в душе побаивался Горы, поэтому он предпочел повести беседу издалека.

Гора никогда не думал, что Биноя могут счесть подходящим женихом для его племянницы, тем более что оба друга решили не жениться и посвятить свою жизнь служению родине. Поэтому, выслушав Мохима, он спросил:

— Но захочет ли Биной вообще жениться?

— Вот он, ваш индуизм! — вспылил Мохим.— Носи хоть тысячу тики и кастовых знаков, а английский дух вытравить, видно, не так-то легко. Ты что, не знаешь, что по закону сын брахмана обязан жениться?

Мохим не пренебрегал обычаями, как это делали некоторые представители современной молодежи. Нельзя сказать, однако, чтобы он, подобно Горе, строго следовал всем заветам шастр. Он отнюдь не одобрял привычку ходить по ресторанам, но вместе с тем считал совершенно излишним для разумного, здравомыслящего человека то и дело цитировать священные тексты. Однако, твердо придерживаясь правила «в чужой монастырь со своим уставом не суйся», Мохим счел нужным в разговоре с Горой обратиться к шастрам.

Если бы это предложение было сделано несколько дней тому назад, Гора спокойно пропустил бы его мимо ушей, но сегодня он решил, что, может быть, над ним стоит и подумать. По крайней мере, благодаря этому у него будет предлог сразу же пойти к Биною. Поэтому после недолгого раздумья он сказал:

— Хорошо, я узнаю, что думает сам Биной по этому поводу.

— И узнавать нечего. Как ты ему посоветуешь, так он и будет думать. Тебе нужно только высказаться за это, и можно считать, что дело выгорело.

В тот же вечер Гора отправился к Биною.

Словно ураган, влетел он к нему, но Биноя дома не оказалось. Гора крикнул слугу и от него узнал, что Биной ушел в дом номер семьдесят восемь. Гора не верил своим ушам: Биной, его друг, из-за которого сегодня весь день он не знал покоя, ушел в гости, даже не вспомнив о нем! Ему безразлично, что с Горой — сердится он или страдает. Биноя это нимало не трогает и не волнует!

Жгучая ненависть к семейству Пореша, к «Брахмо Самаджу» наполнила сердце Горы. Вне себя от ярости он бросился к Порешу. Ему хотелось высказать напрямик этим людям, что он обо всем этом думает, и испортить им настроение — а уж заодно и Биною!

Но слуга Пореша сказал ему, что дома никого нет — все уехали на проповедь. Мгновение Гора колебался: может быть, Биной не поехал с ними? Может быть, он пошел к нему и сейчас сидит и ждет его?

Гора уже едва владел собой; со свойственной ему порывистостью он зашагал к храму и подошел к нему как раз в тот момент, когда Биной, следом за Бародашундори усаживался в коляску. На глазах у всех бесстыдно ехать в коляске с посторонними женщинами! Безумец! Попасться в ловушку! Так просто! Так легко! Вот как, значит, дружба для него совершенный пустяк?

Вихрем промчался Гора мимо Биноя, а тот сидел в углу коляски и молча смотрел на улицу.

Бародашундори, решив, что это проповедь произвела на него такое сильное впечатление, сидела молча, чтобы не вспугнуть его дум.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Вернувшись поздно вечером домой, Гора поднялся на крышу и начал шагать из угла в угол. Он злился на самого себя. Так бессмысленно провести воскресенье! Неужто он родился на свет только затем, чтобы ради привязанности к одному человеку пожертвовать всем своим делом? Нет, заставлять Биноя свернуть с пути, на который он вступил, значит попусту тратить время и душевные силы. Пусть он уйдет с дороги! В отказе от единственного друга видел Гора теперь истинное свое служение вере. И несколько раз с силой рассек рукою воздух, как бы разрубая все свои связи с Биноем.

В это время на крышу, с трудом переводя дыхание, поднялся Мохим.

— Не понимаю, раз уж у людей нет крыльев, чего ради они строят себе трехэтажные дома? — ворчал он.— Боги все равно не потерпят, чтобы простые смертные подобрались к их владениям на небе. Ты был у Биноя?

Избегая прямого ответа на вопрос, Гора сказал:

— Шошимукхи не выйдет замуж за Биноя.

— Почему? Разве он не согласен?

— Я не согласен.

— Что? — Мохим в отчаянии всплеснул руками.— Это что еще за новости! Ты не согласен! А позвольте узнать, почему?

— Рассчитывать на то, что Биной останется правоверным индуистом, чрезвычайно трудно, поэтому не к чему ему жениться на девушке из нашего дома.

— Ну, знаешь ли! — воскликнул Мохим.— Много фанатиков перевидал я на своем веку, но такого, как ты, пожалуй, никогда не встречал. Куда до тебя праведникам из Бенареса! Они довольствуются тем, что насаждают правоверие. А ты требуешь гарантий еще и на будущие времена. Скоро ты будешь требовать, чтобы человек совершал обряд очищения, если тебе приснится, что он стал христианином.

Они препирались довольно долго, и наконец Мохим заявил:

— Я свою дочь первому встречному мужлану не отдам, так и знай! А люди образованные всегда будут так или иначе

преступать шастры. Никуда ты от этого не спрячешься. Вот и спорь с ними, ссорься, издевайся над ними — непонятно только, зачем тебе понадобилось наказывать бедную девчонку и отнимать у нее жениха? Вечно у тебя все не как у людей.

Спустившись вниз, Мохим пошел прямо к Анондомойи.

— Мать,— сказал он,— повлияй на своего Гору.

— Что случилось? — встревожилась та.

— Я договорился с Биноем насчет его женитьбы на Шошимукхи. Гора тоже был согласен, но вдруг ему почудилось, что Биной недостаточно правоверен. У него, видите ли, обнаружились некоторые расхождения во взглядах с Парашарой и Ману! Ну и, конечно, Гора заупрямился. А ты сама знаешь, что это такое, когда он упрется. Пари держу, что, если бы нынешний Джанака обещал Ситу в награду тому, кто сломит упрямство твоего Горы, то тут сплоховал бы сам Рамачандра. Из всех, кто стоит ниже Парашары и Ману, Гора признает только тебя. Стоит тебе сказать свое веское слово, и будущее Шошимукхи обеспечено. Лучшего мужа для нее и желать нечего.

И Мохим передал ей во всех подробностях свой разговор с Горой. Анондомойи не на шутку встревожилась. Она поняла, что размолвка Горы и Биноя грозит перейти в настоящую ссору.

Анондомойи поднялась наверх, но на крыше уже никого не было. Гору она нашла в его комнате. Он читал, сидя в кресле и положив ноги на стул. Анондомойи придвинула кресло поближе и села. Гора тотчас же спустил ноги на пол, выпрямился и внимательно посмотрел на мать.

— Гора, любимый мой,— начала Анондомойи,— послушай меня и не ссорься с Биноем. В моем представлении вы двое — братья. Мысль о том, что пути ваши могут разойтись, очень тяжела мне.

— Но, если мой друг хочет отойти от меня, я не стану зря тратить время и бегать за ним.

— Гора, я не знаю, что произошло между вами, но если ты мог поверить тому, что Биной хочет отойти от тебя, некрепка же, значит, была и твоя дружба.

— Ма, у меня прямой характер, и тот, кто любит сидеть на двух стульях сразу, мне не товарищ. Свой стул я из-под него выдерну, и пусть при этом ушибется он или я сам — мне все равно.

— Да скажи же мне наконец, в чем дело. Неужели вся вина Биноя в том, что он ходит в дом к брахмаисту?

— Об этом долго рассказывать, ма.

— Пусть будет так, но меня, Гора, ты все же выслушай. Ты похваляешься своей твердостью, уверяешь, что своего не отдашь никому и никогда. Так почему же ты так легко решил расстаться с Биноем? Разве ты отпустил бы так просто Обинаша, если бы он захотел порвать с вами? Или Биной значит для тебя меньше других, потому что он твой друг?

Гора задумался. Слова Анондомойи словно открыли ему глаза. До этого он считал, что приносит дружбу в жертву долгу. А сейчас вдруг понял, что на деле произошло нечто прямо противоположное. Он так сильно мучил Биноя именно потому, что тот не хотел подчиниться ему во имя дружбы. Он считал, что узы дружбы обязывали Биноя к беспрекословной покорности, и почувствовал себя оскорбленным, потому что Биной восстал против этого.

Анондомойи поняла, что ее слова произвели впечатление, и, не сказав больше ни слова, поднялась с кресла. Неожиданно Гора тоже встал, схватил с вешалки чадор и накинул его на плечи.

— Куда ты? — спросила Анондомойи.

— К Биною.

— Ужин готов. Может быть, сначала поешь?

— Я приведу Биноя, и мы поужинаем вместе.

Анондомойи повернулась и пошла к двери, но, услышав чьи-то шаги на лестнице, остановилась.

— А вот и он сам! — воскликнула она.

В комнату вошел Биной. При виде его слезы блеснули в глазах Анондомойи. Ласково положив руку на плечо Биноя, она спросила:

— Надеюсь, ты еще не ужинал?

— Нет, ма.

— Тогда тебе придется поужинать с нами.

Биной взглянул на Гору.

— А ты, брат, легок на помине,— сказал тот.— Я ведь только что сказал матери, что иду к тебе.

У Анондомойи отлегло от сердца; быстрыми шагами она пошла по лестнице вниз.

Друзья уселись, но ни у одного из них не хватало смелости начать разговор о том, что действительно волновало обоих. Чтобы не молчать, Гора заговорил о пустяках:

— Знаешь, мы нашли хорошего учителя гимнастики для нашего спортивного клуба. Он прекрасно ведет занятия...

Они продолжали в том же духе, пока их не позвали вниз ужинать.

По разговору друзей за ужином Анондомойи поняла, что тучи, омрачившие горизонт их дружбы, еще не рассеялись. Поэтому, когда они кончили есть, она обратилась к гостю:

— Вот что, Биной, сейчас уже поздно, оставайся у нас ночевать, а я пошлю кого-нибудь к тебе на квартиру предупредить, что ты не придешь.

Биной вопросительно посмотрел на Гору и улыбнулся:

— Сытый человек подобен царю, и ему не пристало ходить пешком по улицам — посему я остаюсь здесь.

После ужина оба друга снова поднялись на крышу и улеглись на циновках.

Было начало бхадро. С неба струился слабый свет луны. Легкие, пушистые облака задумчиво наплывали на луну, мгновенно набрасывали на нее тончайший покров и потом снова медленно уплывали. Со всех сторон теснились крыши — высокие и низкие, просторные и совсем небольшие, они ряд за рядом уходили вдаль и вместе с купами деревьев, поднимавшихся там и тут, образовывали какую-то волшебную панораму, будто сотканную из света и теней.

Часы на храме пробили одиннадцать; последний раз предложив свой товар, замолкли продавцы льда; утих и шум уличного движения. Лишь слышно было порой, как бьет копытом о деревянный настил лошадь в конюшне соседнего дома, да еще где-то лениво лаяла собака. Долго никто из них не нарушал молчания. Наконец Биной заговорил. Сначала нерешительно, но затем все смелее и смелее высказывал он то, что накопилось у него в душе.

— Я очень много пережил и передумал за эти дни, Гора,— говорил он,— и должен поделиться с тобой своими чувствами и мыслями, хоть и знаю, что тебя этот вопрос интересует мало. Не берусь судить, плохо ли, хорошо ли то, что произошло со мной, знаю одно — я должен разобраться в себе; так просто отмахнуться от всего этого нельзя. Я прочел не одну книгу, посвященную этому чувству, и вообразил, что ничего неизвестного для меня тут быть не может. Знаешь, так же вот люди любуются фотографией прекрасного озера и думают, как чудесно было бы поплавать в нем, а я очутился в воде этого озера и понял, что плавать совсем не так легко.

После этого вступления Биной начал рассказывать Горе обо всем новом и изумительном, что вошло в его жизнь.

Время в его представлении перестало делиться на дни и ночи, уверял он, превратившись в нескончаемую вереницу сладостно томительных часов, оно обволакивало его и медленно

увлекало за собой; небо превратилось в чашу, наполненную дивным нектаром, словно пчелиные соты весной, когда их распирает от душистого меда. Взгляд его стал острее, внимательнее, все вокруг обрело вдруг новый смысл и интерес. Он и не подозревал прежде, что так страстно любит окружающий мир, не знал, что так чудесно небо, так удивителен солнечный свет, что даже незнакомые люди, непрестанным потоком движущиеся по улицам, могут казаться такими близкими и понятными. И ему захотелось сделать что-то хорошее для каждого человека, с которым сталкивала его жизнь, захотелось отдать все свои силы служению людям, как отдает все свое тепло миру вечное светило — солнце.

Слушая Биноя, трудно было догадаться, что он имеет в виду кого-то определенного. Внутренний такт не позволял ему назвать ту, что пробудила в нем эти чувства, или хотя бы намекнуть, что она существует. Он чувствовал себя виноватым, начав этот разговор. Он поступил бесцеремонно, непозволительно... Но как можно было противостоять соблазну открыться во всем сидевшему рядом другу, когда ночь так прекрасна и небо так спокойно и величественно-ласково.

Как она хороша! Сколько горделивой прелести в строгих линиях ее нежного лба! Каким умом, какой проникновенностью дышат тонкие черты ее лица! А как замечательно сияют глаза, когда в них расцветает улыбка и ясно отражаются вдруг сокровенные мысли, и как старается она притушить их сияние, опустив долу густые длинные ресницы. А руки! Сколько страстности в их движениях, им словно хочется как можно скорее осуществить каждый порыв ее нежной души. При ее появлении он каждый раз особенно остро ощущает радость бытия и свою молодость. Ему кажется, что волны счастья, нахлынув неведомо откуда, заливают его сердце. Как он рад, что на его долю выпало счастье испытать чувства, познать которые дано далеко не всем людям. Кто сказал, что это безумие? Это дурно? Ну, даже если и дурно,— пусть! Слишком поздно говорить об этом сейчас. Если его прибьет течением к берегу, прекрасно. А если течение вынесет его в открытое море или он погрузится на дно — ну что ж! Ему вовсе и не хочется, чтобы его спасали. Казалось, весь смысл его жизни теперь заключен в том, чтобы стряхнуть с себя все путы традиций и обычаев.

Гора слушал молча. Сколько раз и раньше сидели они вдвоем на этой самой крыше, когда все кругом спит. О чем только не говорили они в такие же тихие лунные ночи: о литературе, о человечестве, об общественном благе, о своих планах

на будущее, но никогда еще их разговор не касался таких сокровенных тем. Никогда еще Горе не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь с такой искренностью говорил о своих переживаниях. Никогда еще не открывались ему такие глубины человеческого сердца. Обычно он немного свысока относился к подобным излияниям, считая их блажью поэтов, но сегодня он был по-настоящему взволнован. Нет, не просто взволнован. Эта бурная вспышка чувств нашла отражение и в его душе, и мгновенный сладостный трепет охватил его. Будто завеса приподнялась вдруг над потаенным уголком сердца Горы, и волшебный луч осенней луны проник в него и развеял мрак, царивший там.

Они не заметили, как луна скрылась за крышами домов и вместо нее на востоке забрезжил неясный, мягкий, как сонная улыбка, рассвет. Когда наконец Биной освободился от тяжести, лежавшей у него на душе, ему стало немного стыдно. Помолчав, он сказал:

— Тебе, Гора, все это, вероятно, кажется мелким и недостойным внимания. Может быть, ты даже презираешь меня. Но что мне было делать? Я ведь никогда ничего не скрывал от тебя. Вот я и решил излить душу, а уж поймешь ты меня или нет, видно будет.

— Биной, я не стану утверждать, что мне понятны такого рода чувства. Да ты и сам всего лишь два дня назад мало что в них понимал. Не буду отрицать и того, что эта сторона жизни, несмотря на столь пылкие страсти, всегда казалась мне несколько мелкой. Но я готов допустить, что ошибался и что в действительности эти чувства далеко не так мелки. Может быть, они казались мне такими, потому что сам я еще не познал всей их силы и глубины. И уж, во всяком случае, отрицать чувства, которые так остро переживаешь ты, я не могу. Дело тут совсем не в этом. Просто человек должен отдавать всего себя без остатка делу, которому решил посвятить жизнь. Все остальное — пусть важное и нужное — должно отходить на второй план. Потому-то бог и одарил человека способностью по-разному смотреть на разные вещи. Мы должны поставить перед собой цель и безраздельно, беззаветно служить ей. Мы должны подавлять в себе желание объять и познать все: разбрасываясь, мы только отодвигаем достижение цели. Я не могу молиться у алтаря, где открылась истина тебе, этим я только изменю себе, своим идеалам. Человек сам должен избрать свой путь — тот или иной.

— Понимаю,— воскликнул юноша.— Путь Биноя или путь Горы, путь, который ведет к осуществлению желаний, и путь, идя по которому нужно отказаться от всех желаний...

— Обойдемся без эпиграмм, Биной,— нетерпеливо прервал его Гора.— Я прекрасно понимаю, что тебе открылась замечательная истина. Береги ее! Знай, что достигнуть своей цели можно, только стремясь к ней всеми помыслами, всеми силами. Иначе ты ничего не добьешься. У меня одно желание — пусть и та истина, к которой стремлюсь я, предстанет когда-нибудь передо мной с той же ясностью и четкостью. До сих пор ты довольствовался тем знанием любви, которое можно почерпнуть из книг. Мой патриотизм тоже вырос из книг. Теперь, на опыте познав любовь, ты понял, насколько это чувство выше и сильнее того, что ты читал о нем. Оно заслонило тебе весь мир, тебе некуда уйти от него. Настанет день, когда и моя любовь к родине получит такое же яркое воплощение, и тогда я с радостью пожертвую ради него всем — своим богатством, своей жизнью... Я буду готов отдать по капельке всю свою кровь, отдать глаза, руки, всего себя... Как чудесен, как прекрасен и светел будет истинный образ моей страны, с какой остротой я буду переживать ее страдания и ее радости, нестись вперед, отдавшись на волю бурному потоку ее, в котором сольются воедино и жизнь и смерть. Все это открылось мне, когда я слушал тебя. То новое, что вошло в твою жизнь, по-новому осветило и мою. Не знаю, буду ли я когда-нибудь способен понять твои чувства, но мне кажется, что благодаря тебе я впервые ясно понял сегодня, к чему именно стремлюсь я сам.

Гора встал с циновки и принялся ходить по крыше взад и вперед. Розовая полоска зари на востоке, казалось, возвещала ему что-то; он был взволнован до глубины души, словно до него донеслись слова вед, которые произносили в древние времена отшельники в лесной пу́стыни. Он замер, охваченный восторгом, и ему почудилось на мгновение, будто великолепный цветок лотоса раскрылся над его головой и нежные блестящие лепестки, ширясь и разрастаясь, закрыли все небо. Вся его жизнь, все его сознание, все его силы, казалось, растворились в блаженном созерцании этой совершенной красоты.

Очнувшись, он повернулся к Биною:

— Знай, Биной, что даже та любовь, которую испытываешь ты, должна расти и совершенствоваться. Ты не можешь остановиться на полпути. Когда-нибудь я покажу тебе, как велик и мудр тот, кто властно позвал меня к себе. Сегодня великая радость наполнила мое сердце. Я понял, что никогда не отдам тебя недостойному.

Биной встал с циновки и подошел к нему. Гора восторженно обнял его и прижал к груди.

— Биной, мы с тобой вместе до самой смерти, мы — одно целое, ничто и никогда не разлучит нас, никто не встанет между нами.

Сильное волнение Горы передалось и Биною. Он чувствовал, что подчиняется воле своего друга. Молча ходили они по крыше. На востоке все ярче и ярче разгоралась алая заря...

— Знай, Биной,— заговорил, наконец, Гора,— богиня, которой служу я, не придет ко мне воплощением красоты. Она там, где царят нищета и голод, страдания и унижения. В ее храме нет песен и цветов, на алтарь там льется человеческая кровь... Но я счастлив, я не встречу там никаких соблазнов. В ее храме нужно быть очень сильным, нужно быть стойким, быть готовым к самоотречению. В этом чувстве нет ничего сладостного, оно неотвратимо и неодолимо, оно жестоко и страшно и напоминает какой-то тяжкий стон, который ширится и растет и убивает чистые и тонкие звуки всех семи струн вины. И все же, когда я думаю о моей богине, сердце мое замирает — такую радость испытываю я, и мне кажется, что это чувство и есть настоящее человеческое счастье. Это — пляска жизни, это — стремление человека увидеть прекрасный образ нового в отблесках пламени жертвенного костра, сжигающего старое. На фоне кроваво-красного неба я вижу сияющее будущее моей страны, освобожденной от оков, я вижу его в свете разгорающейся зари. Послушай, это бьют барабаны в моем сердце!

И он приложил руку Биноя к своей груди.

— Гора,— сказал глубоко тронутый Биной,— я пойду с тобой до конца. Только прошу тебя — не давай мне сомневаться. Ведя меня, будь беспощаден, как сама судьба. У нас с тобой один путь, но у нас неравные силы.

— Да, по натуре мы разные люди,— ответил Гора,— но, познав высшую радость, мы не можем не стать одинаковыми. Братская любовь, которую испытываем мы друг к другу, окрепнет и свяжет нас навеки. А пока это не случится, нам не избежать размолвок и ссор. Они будут подстерегать нас на каждом шагу. Но настанет день, когда, позабыв все, что нас разъединяло, позабыв даже былую дружбу, мы встанем рядом плечом к плечу, объединенные единым порывом самоотречения, и в чистой радости этой минуты найдем смысл и высшую награду нашей дружбы.

— Да будет так! — сказал Биной, сжимая руку Горы.

— Но до тех пор тебе со многим придется мириться. Я должен быть деспотичен. Дружба ради дружбы не для нас. Мы не

оскверним ее, стараясь сохранить любою ценой. Но, если нашей дружбе суждено распасться при столкновении с тем, другим чувством — пусть распадается! Только выдержав все испытания, она поистине оправдает свое назначение.

В это время послышались шаги. Обернувшись, они увидели Анондомойи. Она подошла и взяла Гору и Биноя за руки:

— Идите, идите спать.

— Нет, ма, мы не заснем,— в один голос ответили оба.

— Прекрасно заснете.

Анондомойи почти насильно привела их в комнату, уложила рядом в постель, потом закрыла дверь и, сев у изголовья кровати, стала обмахивать веером.

— Ма,— улыбнулся Биной,— мы все равно не заснем.

— Неужели? Посмотрим! — ответила Анондомойи.— Во всяком случае, я отсюда не уйду, а то вы опять начнете разговаривать.

Когда Гора и Биной наконец уснули, Анондомойи осторожно вышла из комнаты. Спускаясь по лестнице, она столкнулась с Мохимом.

— Не ходи туда,— остановила она его.— Они всю ночь проговорили, я насилу уложила их.

— Ого! Вот это дружба! А ты не знаешь, говорили они о свадьбе?

— Не знаю.

— И когда они наконец проснутся? Надо думать, что они разрешили этот вопрос,— задумчиво сказал Мохим.— Со свадьбой нужно торопиться, как бы что-нибудь потом не помешало.

Анондомойи улыбнулась:

— Ну, если они поспят немного, это не помешает свадьбе. Рано или поздно, но они проснутся.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Ты как — собираешься выдавать замуж Шучориту или нет? — спросила Бародашундори Пореша.

Пореш-бабу по привычке спокойно погладил свою седую бороду, потом мягко спросил:

— А где жених?

— Как где? Ведь решено же, что она выйдет за Пану-бабу. По крайней мере, так думаем мы все... да и Шучорита сама этого не отрицает.

— Но я не уверен, что Пану-бабу нравится Радхарани.

— Ты прекрасно знаешь,— возразила его супруга,— что я терпеть не могу подобных разговоров. Мы всегда относились к ней, как к родной дочери, но это еще не причина, чтобы она бог знает что о себе воображала. Раз уж она приглянулась такому умному и благочестивому человеку, как Пану-бабу, то пренебрегать этим нельзя. Моя Лабонне намного красивее ее, что бы ты там ни говорил, но и она, без всякого сомнения, выйдет замуж за человека, которого выберем мы, и никогда нас не ослушается. Если же ты будешь по-прежнему поощрять тщеславие Шучориты, нелегко нам будет выдать ее замуж.

Пореш-бабу ничего не ответил. Он давно уже избегал споров с женой, тем более если речь шла о Шучорите.

Шучорите было семь лет, когда, после рождения Шотиша, умерла ее мать. Потеряв жену, их отец, Рамшорон Халдар, вступил в «Брахмо Самадж», но вскоре, устав от враждебных выходок своих соседей, ревностно соблюдавших законы индуизма, вынужден был покинуть родные места и переселился в Дакку, где поступил на службу в почтовую контору. Там он познакомился и подружился с Порешем. Шучорита сразу же привязалась к Порешу, а потом и полюбила его, как родного отца.

Внезапно Рамшорон умер. По завещанию все его состояние делилось на две равные части: одна — Шучорите, другая — Шотишу. Опекуном детей покойный назначил Пореша. Пореш забрал сирот к себе, и с тех пор Шотиш и Шучорита вошли в его семью.

Бародашундори очень не нравилось, когда кто-нибудь из членов семьи или их друзей оказывал Шучорите особое внимание. Но, как нарочно, девушка вызывала к себе симпатию и уважение у всех окружающих, даже собственные дочери Бародашундори часто ссорились между собой из-за места в сердце Шучориты, что, конечно, было особенно неприятно. Больше всего сердила Бародашундори средняя дочь, Лолита, которая обожала Шучориту и буквально не могла прожить без нее и часу.

Бародашундори мечтала дать дочерям лучшее по тому времени образование, и ее отнюдь не радовала мысль, что такое же образование может получить и Шучорита. Поэтому, когда пришло время отдавать девочек в школу, она стала с поразительной находчивостью изыскивать предлоги, как бы помешать этому.

Догадавшись о ее намерениях, Пореш взял Шучориту из школы и начал учить ее сам. Мало-помалу юная девушка стала для него настоящим другом. Он беседовал с ней на самые разнообразные темы, уезжая куда-нибудь надолго, всегда брал ее

с собой, а если отправлялся в далекое путешествие, аккуратно писал ей. Сколько интересного узнавала Шучорита из этих писем! Благодаря Порешу девушка была развита и серьезна не по летам, в ее манерах, во всем ее облике было столько достоинства, что к ней невольно относились, как к взрослой. Лабонне, в сущности, ровесница Шучориты, всегда держалась с ней, как младшая со старшей, да и сама Бародашундори не решалась принимать в отношении девушки покровительственный тон.

Читателям уже известно, что Харан-бабу был очень рьяным и деятельным членом «Брахмо Самаджа»; он преподавал в вечерней школе, редактировал студенческую газету и был секретарем комитета женского училища — словом, не знал ни минуты отдыха. Все полагали, что со временем Харан-бабу займет в «Брахмо Самадже» высокий пост. Стараниями прежних своих учеников он был известен и за пределами Общества как тонкий знаток английского языка и философских учений.

Все это вместе взятое создало ему известный ореол в глазах Шучориты, с большим уважением относившейся ко всем благочестивым брахмаистам, и она мечтала познакомиться с ним.

После переезда из Дакки в Калькутту долгожданное знакомство наконец состоялось. Более того, прошло совсем немного времени, и всем окружающим стало ясно, что девушка произвела на Харана-бабу большое впечатление. О своих чувствах он, конечно, не обмолвился ни словом, но с таким рвением принялся за устранение недостатков в ее образовании и воспитании, так горячо пропагандировал в ее присутствии идеи Общества и вообще прилагал столько усилий к тому, чтобы расширить ее кругозор, что все поняли: он хочет сделать из девушки достойную спутницу жизни. Однако это привело к тому, что благосклонность, с какой Бародашундори относилась к Харану-бабу прежде, исчезла безвозвратно, и она стала смотреть на него свысока, как смотрела бы на любого учителя.

Со стороны Шучориты было бы странно ожидать, что, покорив сердце столь выдающегося человека, она не почувствовала известной гордости — с примесью почтения, конечно.

Официального предложения сделано пока еще не было, но поскольку все вокруг считали, что оно не замедлит последовать, то и сама Шучорита стала смотреть на свой брак с Хараном как на дело решенное.

С удвоенной энергией взялась она за занятия, чтобы стать достойной человека, посвятившего свою жизнь процветанию «Брахмо Самаджа». Шучорите казалось, что ее жених не похож на остальных людей, что «Брахмо Самаджу» выпало большое

счастье иметь его в числе своих членов. Она верила, что он человек чрезвычайно образованный,— ведь прочел же он огромное количество книг,— и необычайно серьезный — не было такой научной теории, о которой он не мог бы поговорить, и притом весьма авторитетно. Даже к своей предстоящей свадьбе с Хараном она относилась не как к семейному событию, а как к делу исторической важности. Совместную жизнь с ним она представляла себе в виде крепости, сложенной из страха, благоговения и сознания тяжелой ответственности — крепости, предназначенной отнюдь не для счастливой жизни в ней, а для тяжелой, упорной борьбы.

Если бы свадьба Шучориты состоялась вскоре после их знакомства, все было бы прекрасно, по крайней мере, с точки зрения близких невесты. Но, на беду, Харан полагал, что ответственность, возложенная судьбой на его плечи, слишком велика, чтобы он мог жениться просто так, по сердечной склонности. Прежде чем совершить подобный шаг, он должен был проверить со всех сторон, в какой степени брак этот будет полезен «Брахмо Самаджу», и потому решил подвергнуть Шучориту испытанию.

Но, задавшись целью изучить чей-то характер, вы невольно даете и другому человеку возможность узнать все свои достоинства и недостатки. Поэтому Харан-бабу, ставший частым гостем в семье Пореша и принятый там просто как Пану-бабу (так его обычно называли близкие друзья и родственники), не мог долго оставаться для этой семьи только сокровищницей английской учености и кладезем метафизической премудрости, воплощением всех добродетелей «Брахмо Самаджа». Пореш-бабу и его домашние увидели в Харане обыкновенного человека, к которому они не испытывали больше безотчетного уважения и который мог вызывать и симпатию и антипатию.

Но удивительнее всего, что именно те качества Харана-бабу, которые на расстоянии внушали Шучорите трепетное почтение, теперь, при более близком знакомстве, неприятно поразили ее. То, что он, без малейшего смущения, определил себя опекуном и защитником всего справедливого, важного и хорошего, что было в «Брахмо Самадже», выставляло его, по ее мнению, в очень невыгодном свете.

Человек должен благоговеть перед истиной, испытывать перед ее лицом смирение. Превознося себя, напуская на себя важность, он только лишний раз подчеркивает свое ничтожество. Разница между Порешем-бабу и Хараном не могла не броситься в глаза Шучорите. Пореш-бабу всегда молча склонял

голову перед высокими идеями «Брахмо Самаджа» и смиренно растворял свое «я» в их глубине. Даже спокойствие, которым дышали черты лица Пореша, говорило о чистоте и благородстве его помыслов и стремлений. Не таков был Харан-бабу. Казалось, что в «Брахмо Самадже» его больше всего прельщала безапелляционность, с какой это ученье противопоставлялось всем другим, и он с особенным удовольствием принимал в разговоре не допускающий возражения и чрезвычайно самоуверенный тон. Шучорите же, воспитанной Порешем-бабу в духе отрицания религиозного изуверства, и этот тон, и фанатизм Харана казались оскорбляющими человеческое достоинство.

Харан-бабу полагал, что самоотверженное служение богу сделало его настолько ясновидящим, что он без труда может разбираться в хороших и дурных свойствах человеческой души. И поэтому он только и делал, что судил всех подряд. Обывателям свойственно судачить и сплетничать друг о друге, но когда под это не очень достойное занятие подводится религиозная основа и к мелочной зависти примешивается благочестивое рвение, то это приводит в конце концов к весьма нежелательным эксцессам в обществе. Мириться с этим Шучорита тоже никак не могла. Было бы ошибкой утверждать, что она не гордилась своей принадлежностью к брахмаистскому Обществу, но не могла согласиться она и с тем, что все сильные мира сего достигли вершин власти только благодаря вступлению в это Общество, тогда как люди маленькие и слабые именно потому и обижены судьбой, что они не брахмаисты, не слушают проповедей и не исполняют необходимых обрядов. Она часто спорила по этому поводу с Хараном-бабу.

Считая, что ему одному дано знать совершенно точно, что требуется для процветания брахмаистского Общества, Харан-бабу позволял себе оспаривать даже мнение Пореша, и это очень больно ранило Шучориту. В те времена в Бенгалии люди, получившие английское образование, не изучали «Бхагавадгиту», но Пореш познакомил с ней Шучориту; прочитал он с ней и почти всю «Махабхарату» Кали Шингхо. Харан очень не одобрял этого. Он предпочел бы, чтобы подобные книги были изгнаны из обихода брахмаистских семей. «Рамаяну», «Махабхарату» и «Бхагавадгиту» он считал сугубо индуистскими произведениями и сам никогда не читал их. Среди священных книг разных вероисповеданий Харан-бабу признавал одну лишь Библию, и то, что Пореш-бабу находил возможным соглашаться с точкой зрения небрахмаистов относительно священного писания других народов, а также в иных несущественных, по его мнению,

вопросах, служило для Харана-бабу источником непрестанного раздражения. Шучорита же не терпела, чтобы кто-то даже в мыслях критиковал ее названого отца. Нескрываемое высокомерие, с каким Харан-бабу позволял себе осуждать Пореша, сильно повредило ему во мнении Шучориты.

Так постепенно, под воздействием разных причин, звезда Харана-бабу в доме Пореша закатывалась все больше и больше. Даже Бародашундори, не уступавшая Харану в стремлении отгородить брахмаистское от небрахмаистского и неоднократно шокированная поведением мужа, перестала боготворить Харана-бабу и начала подмечать в нем тысячи недостатков.

Но хотя фанатизм Харана-бабу, его ограниченность и сухость все сильнее отталкивали от него Шучориту, брак их по-прежнему считался делом решенным.

Когда на ярмарке религиозных учений появляется человек, навесивший на себя ярлык с высокой ценой, постепенно и все окружающие соглашаются с этой оценкой и начинают верить в исключительные качества данного человека. А так как никто — и Пореш в том числе — не выражал сомнения в правильности оценки Хараном-бабу своих достоинств и так как все вокруг смотрели на него как на одного из будущих столпов «Брахмо Самаджа», то Пореш-бабу дал молчаливое согласие на этот брак. И если его и тревожило что-нибудь, то лишь вопрос — достойна ли Шучорита подобного супруга. Ему просто не приходила в голову мысль поинтересоваться, какие чувства испытывает к Харану сама Шучорита.

Так, поскольку никто не нашел нужным выяснить мнение Шучориты, она и сама привыкла к мысли, что ее сердечная склонность не имеет в этом деле никакого значения. Вместе со всеми остальными членами «Брахмо Самаджа» она считала, что в тот день, когда Харану-бабу будет угодно заявить, что он готов жениться на ней, ее священным долгом будет ответить немедленным согласием.

Так было до того самого дня, когда Шучорита, защищая Гору, обменялась с Хараном-бабу несколькими резкостями. И вот тут Пореш-бабу заколебался: ему показалось, что девушка недостаточно уважает Харана-бабу и что, может быть, существуют и более глубокие причины, оправдывающие столь неожиданную вспышку. Потому-то, когда Бародашундори заговорила с ним о свадьбе, он ответил ей далеко не с прежней покладистостью.

В тот же день Бародашундори, отозвав Шучориту в сторону, сказала ей:

— Ты знаешь, отец очень тревожится за тебя.

Шучорита страшно огорчилась. Мысль о том, что она — пусть даже невольно — могла расстроить Пореша-бабу, была ей невыносима. Побледнев, она спросила:

— Но что я сделала?

— Не знаю, дитя мое. Он почему-то вообразил, что тебе неприятен Пану-бабу. Все в «Брахмо Самадже» уверены, что ваша свадьба уже решена, и если ты теперь...

— Но почему отец мог подумать это, ма? — удивленно перебила ее Шучорита.— Я никогда никому не говорила об этом.

Шучорите было чему удивляться. Правда, манера держаться и речи Харана-бабу порой раздражали ее, но она никогда не думала, что это может послужить предлогом для отказа выйти за него замуж,— слишком уж хорошо внушили девушке, что ее личное счастье здесь не играет никакой роли.

И тут она припомнила, что как-то раз неосторожно высказала свое недовольство Хараном-бабу в присутствии Пореша. Ну конечно же, этим она и встревожила отца. Шучорита почувствовала раскаяние. Никогда раньше не позволяла она себе такой несдержанности и поклялась в душе, что не позволит и в будущем.

Появившись в доме Пореша после нескольких дней отсутствия, Харан-бабу не на шутку встревожился. До сих пор он считал, что Шучорита боготворит его. Правда, ему хотелось, чтобы боготворила она одного его, и никого больше; неуместное преклонение перед старым Порешем, на которого она чуть ли не молилась, несмотря на то, что ей неоднократно указывали на множество его недостатков, вовсе ему не нравилось. Харан-бабу в душе то смеялся над этим, то огорчался, но неизменно надеялся, что с течением времени и при благоприятных условиях ему удастся устремить это почитание в соответствующее русло.

Прежде Харан-бабу был твердо уверен в том, что внушает Шучорите благоговейное обожание, и потому считал своим долгом вникать во все мелочи ее жизни, следить за ее занятиями и поведением в обществе и делать наставления по любому поводу; при этом, однако, он никогда не касался их предстоящего брака. Теперь же, когда по двум-трем замечаниям, брошенным Шучоритой, он понял, что ничто не укрывается от ее зорких глаз, что она взвешивает и оценивает каждое его слово, каждый поступок, ему стало чрезвычайно трудно сохранять прежнее невозмутимое спокойствие.

В те редкие дни, когда ему удавалось увидеться с ней, Ха-

ран-бабу уже не мог держаться с былой снисходительностью. В том, как они разговаривали и вели себя, намечались определенные признаки надвигавшейся ссоры. Харан-бабу безо всякой причины придирался к Шучорите и без конца упрекал ее, а ее равнодушие повергало его в совершенное уныние. Он горько сожалел о своем потерянном авторитете.

При первых признаках охлаждения Шучориты Харан-бабу почувствовал, что ему становится трудно удержаться на пьедестале, поглядывая оттуда на девушку сверху вниз. Раньше, опасаясь, как бы кто не подумал, что он не уверен в любви Шучориты, он бывал у Пореша-бабу только раз в неделю и обращался с ней, как со своей ученицей. Но в последние дни что-то произошло с ним. Под самыми незначительными предлогами он стал заходить к Порешу каждый день, а то и по нескольку раз в день и прилагал все усилия, чтобы встречаться с Шучоритой и поговорить с ней. Все это позволяло Порешу-бабу наблюдать за молодыми людьми и еще более укрепило его подозрения.

И вот в один прекрасный день Бародашундори пригласила к себе в комнату Харана-бабу и сказала ему:

— Кстати, Пану-бабу, я со всех сторон слышу, что вы собираетесь жениться на нашей Шучорите, а сами вы храните на этот счет полное молчание. Если у вас действительно есть такое намерение, почему вы не находите нужным сказать об этом нам?

Дольше тянуть с предложением руки и сердца было невозможно. Харан-бабу чувствовал, что рисковать утратой Шучориты он не может. Первым долгом нужно было утвердить свои права на нее, а потом уж можно было заняться выяснением, насколько ценна будет ее помощь в делах «Брахмо Самаджа» и как сильно предана она ему самому.

— Но ведь это ясно и без слов,— ответил он Бародашундори.— Просто я хотел подождать, чтобы Шучорите исполнилось восемнадцать лет.

— Какой вы формалист! По-моему, вполне достаточно того, что она совершеннолетняя по нашим законам.

Наблюдая в этот вечер за Шучоритой, Пореш был крайне удивлен: давно уже она не встречала Харана-бабу с такой радостью, не оказывала ему такого внимания. Когда тот собрался уходить, она настояла, чтобы он посидел еще немного: ей хотелось показать ему новое рукоделие Лабонне.

Пореш-бабу успокоился, он решил, что ошибся, и даже посмеялся над собой,— видимо, влюбленные поссорились, а теперь помирились — все, как полагается.

Вечером, перед уходом, Харан-бабу официально попросил

руки Шучориты и сказал, что ему не хотелось бы откладывать свадьбу надолго.

Пореш-бабу удивился:

— Но ведь вы всегда утверждали, что ошибка жениться на девушках моложе восемнадцати лет. Вы даже писали об этом.

— Ну, это не может относиться к Шучорите,— объяснил Харан-бабу.— По своему умственному развитию она стоит неизмеримо выше своих сверстниц.

— Пусть так,— спокойно, но твердо возразил Пореш-бабу.— Но я считаю, Пану-бабу, что раз у вас нет особых причин спешить, вам не следует изменять в этом случае своим принципам. По-моему, лучше подождать до полного совершеннолетия Радхарани.

Смущенный тем, что его уличили в слабости характера, Харан-бабу поспешил согласиться:

— Вы совершенно правы; конечно, не следует. Все, что я хочу, это чтобы в самом непродолжительном времени состоялась наша официальная помолвка.

— А вот это, безусловно, прекрасная мысль!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Проспав часа три, Гора проснулся и увидел лежащего рядом Биноя. Сердце его переполнилось радостью; он почувствовал невероятное облегчение — такое чувство испытывает человек, потерявший во сне что-то очень дорогое, а потом убедившийся, что это ему всего лишь приснилось. Только теперь он понял, как искалечена была бы его жизнь, лишись он друга. Не в силах совладать с радостным возбуждением, охватившим его, он растолкал Биноя.

— А ну, вставай, пора за дело браться.

Каждое утро Гора навещал бедняков, живущих неподалеку от их дома. В его намерение отнюдь не входило поучать их или выступать в роли благотворителя, просто ему хотелось быть вместе с ними. По правде сказать, мало с кем из людей своего круга сходился он так близко, как с этими простыми людьми. Они называли Гору «дада», предлагали ему почетную трубку, и, боясь их обидеть и желая еще больше подчеркнуть свою близость к ним, он заставлял себя сделать несколько затяжек.

Самым рьяным почитателем Горы был двадцатидвухлетний Нондо, сын плотника. Он был непревзойденным игроком в крикет и вообще прекрасным спортсменом.

Гора организовал небольшой спортивный клуб для игры в крикет, где на равных началах состояли членами дети плотников и кузнецов и сыновья зажиточных родителей. И в этом клубе Нондо легко удерживал первенство во всех видах спорта. Кое-кому из студентов и молодых людей, не принадлежавших к рабочим семьям, это не нравилось, но Гора установил в клубе строгую дисциплину, и в конце концов они вынуждены были примириться с тем, что Нондо был избран капитаном команды.

На прошлой неделе Нондо уронил себе на ногу стамеску и вот уже несколько дней не приходил на тренировки. Все это время мысли Горы были заняты его ссорой с Биноем, и он даже не удосужился справиться о здоровье юноши. Поэтому сегодня они первым долгом отправились к старому плотнику.

Подходя к его дому, они услышали женский плач и причитания, доносившиеся из открытых дверей. Никого из мужчин дома не оказалось, но от лавочника, торговавшего по соседству, Гора узнал, что сегодня утром Нондо умер и что тело его уже унесли, чтобы предать сожжению.

Нондо умер! Такой здоровый и сильный, такой энергичный, благородный, совсем юный! Сегодня умер! Гора вдруг почувствовал, что тело его словно налилось какой-то тяжестью. Нондо был сыном простого плотника. Лишь для очень немногих его уход из жизни явится тяжелой утратой, да и они скоро утешатся. Гора же был совершенно потрясен этой непостижимой в своей жестокости и нелепости смертью...

Сосед рассказал им, что умер Нондо от столбняка. Отец был за то, чтобы позвать доктора, но мать и слышать об этом не хотела; она была уверена, что в ее сына всесился злой дух, и послала за знахарем. Всю ночь тот бормотал свои заклинания, жег Нондо каленым железом и вообще мучил его, как мог. В самом начале болезни юноша попросил сообщить о случившемся Горе, но мать испугалась, что Гора будет настаивать на приглашении доктора, и не послала за ним.

— Какое дикое невежество и как страшно оно наказано! — сказал Биной, когда они отошли от дома.

— Биной, не успокаивай себя тем, что все это тебя не касается, что ты можешь оставаться в стороне. Если бы ты имел ясное представление о том, как велико это невежество и какие ужасные последствия влечет оно за собой, ты не ограничился бы одним сожалением, чтобы потом обо всем забыть.

В пылу возбуждения Гора все более и более ускорял шаги, Биной молча шел рядом, стараясь не отставать от него.

— Народ во власти тьмы! Он опутан суевериями! Боги,

злые духи, привидения, святой четверг, високосный год — сколько причин для страха! Да и откуда народу знать, что человек способен овладеть силами природы? Так ли уж далеко ушли от него и мы сами? Что из того, что мы прочли несколько книг, разве можем мы, горстка людей, обладающих ничтожными знаниями, оградить себя от всеобщего невежества? До тех пор, пока весь народ не научится понимать закономерности явлений природы, до тех пор, пока пустые страхи будут преследовать его, не освободимся от них и мы, просвещенные люди.

— Хорошо, предположим, что мы, просвещенные люди, сумеем выпутаться из паутины страха и суеверий,— возразил Биной.— Но много ли нас? И, кроме того, мне кажется, что цель наша должна быть вовсе не в том, чтобы с помощью народа научиться преодолевать свой страх и получить право называться людьми просвещенными, а в том, чтобы помочь этому самому народу избавиться от невежества.

— Да, да! — воскликнул Гора, схватив Биноя за руку.— Это я и хотел сказать, но я вижу, что все вы, обуреваемые гордыней собственного превосходства, предпочитаете держаться в стороне от простых людей,— так ведь спокойней! Но имейте в виду, пока вы не поможете простому народу осознать благо, которое несет ему просвещение, вы и сами никогда полностью не осознаете этого. Когда в лодке есть течь, то, как бы велик ни был парус и какой бы сильный ни дул ветер, она не доплывет до берега.

Биной молча шел рядом. Немного погодя Гора снова заговорил:

— Нет, Биной, я не могу так просто примириться с тем, что произошло. Мысль о страданиях, которые причинил этот шарлатан моему Нондо, терзает меня. Для меня его мучения олицетворяют страдания всей нашей родины, всей Индии. Я не могу рассматривать его смерть как единичный случай, не имеющий большого значения.

Биной продолжал хранить глубокое молчание, и Гора вскипел:

— Биной, ведь я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь! Тебе кажется, что исправить все это невозможно и что много воды утечет, прежде чем можно будет что-нибудь сделать. Ты думаешь, что суеверия липкой паутиной опутали нашу страну и гнетущий страх громадной ледяной глыбой придавил ее душу; тебе кажется, что не найдется богатыря, который мог бы освободить ее. А я не допускаю и мысли, что это так! Допусти я такую мысль, и я не смог бы жить. Понимаешь? Какие бы

страшные несчастья ни выпадали на долю нашей родины, мы можем бороться с ними, можем избавить ее от них. Это в наших силах! Я твердо верю в это, иначе я просто не вынес бы всего отчаяния, мук, издевательств, какие вижу вокруг себя.

— А я для этого недостаточно мужествен,— сказал Биной.— Когда я вижу всю глубину невежества нашего народа, я невольно перестаю верить, что у меня хватит сил побороть это невежество.

— Да, тьма необъятна, и пламя светильника слабо, но я верю в это робкое пламя. Никогда я не соглашусь с тем, что невежество вечно — его постоянно, изнутри и снаружи, подтачивает сама жизнь, самый процесс познания окружающего мира, и как бы мало нас ни было, мы должны стоять на стороне прогресса. А уж если нам суждено погибнуть в неравной борьбе, то мы умрем, уверенные в грядущей победе света и разума. Разве не одно и то же — верить знахарю или бояться духов? Именно это чувство и лежит в основе пренебрежения настоящим лечением. Суеверия и знахарство в равной мере абсурдны и пагубны для нас. Я всегда говорил тебе, Биной: ни на мгновение не сомневайся в том, что освобождение придет. Невежество не вечно: англичане приковали нас к своему торговому кораблю не навсегда. Мы должны твердо помнить это и постоянно быть начеку. Ты довольствуешься смутной надеждой, что придет час, и борьба за освобождение Индии начнется. Я же настаиваю на том, что борьба уже началась и не затихает ни на минуту. И с нашей стороны было бы величайшим малодушием с бесстрастным спокойствием наблюдать за ее развитием.

— Знаешь, Гора,— ответил Биной,— я понял, в чем разница между тобой и нами. Тебя каждый раз с новой силой поражает все то скверное, что происходит в нашей стране, пусть даже такие вещи существуют испокон веков и все к ним давно привыкли. А мы обращаем на них так же мало внимания, как на воздух, которым дышим. Они не заставляют нас ни отчаиваться, ни радоваться. Наши дни проходят бесплодной чередой, и постепенно в их веренице мы перестали ощущать себя и свою связь с родиной.

Вдруг лицо Горы налилось кровью, вены на лбу вздулись. Сжав кулаки, он выбежал на середину улицы и бросился вдогонку за экипажем, запряженным парой, крича при этом громовым голосом, заставлявшим прохожих оборачиваться в испуге:

— Стой!

Но дородный, хорошо одетый господин, который правил ло-

шадьми, только оглянулся через плечо, еще раз взмахнул бичом и мгновенно скрылся из виду.

А произошло следующее: старик мусульманин, по всей вероятности, повар какого-нибудь англичанина, возвращался с базара, неся на голове корзину, в которой лежали фрукты, овощи, яйца, хлеб, масло и другие продукты. Он как раз переходил улицу, когда из-за угла показался экипаж. Сидевший в нем бабу крикнул старику, чтобы он убирался с дороги. Но тот был глуховат и чуть не угодил под колеса. Каким-то чудом старик спасся, но корзина его отлетела в сторону, и продукты рассыпались по мостовой. «Проклятая свинья»,— выругался бабу и, повернувшись на сиденье, взмахнул бичом. Бич со свистом рассек воздух, и тотчас же на лбу у старика вздулась кровавая полоса. «О, аллах!» — простонал повар и начал подбирать уцелевшие продукты и укладывать их в корзину.

Так и не догнав коляски, Гора возвратился назад и принялся помогать старику. Бедного повара очень смутило участие незнакомого господина.

— Что вы, бабу,— забормотал он,— зачем вы беспокоитесь, ведь это все равно уже никуда не годится.

Гора сознавал бесполезность своего вмешательства, понимал, что, вместо того чтобы помочь старику, он только смущает его. Но он хотел показать прохожим, что и среди богатых есть люди, готовые вступиться за человека, незаслуженно оскорбленного другим богатым, и загладить как-то его отвратительный поступок. Когда корзина наполнилась, Гора обратился к старику:

— Тебе будет слишком тяжело возместить убыток своему хозяину. Я дам тебе денег; только запомни, отец, аллах не простит тебе, что ты молча стерпел такое оскорбление.

— Аллах покарает виновного,— возразил мусульманин,— зачем ему наказывать меня?

— Тот, кто терпит зло,— ответил Гора,— виноват не меньше. Он — истинная причина всего зла, что творится на свете. Думаю, что ты не поймешь меня, но постарайся запомнить: быть набожным не значит быть покорным, религия не потворствует творящим зло. Ваш Мухаммед это отлично понимал, потому-то он никогда и не проповедовал смирения.

Идти к Горе было далеко, и они привели мусульманина к Биною. Войдя в дом, они поднялись в комнату, и Гора сразу же направился к письменному столу.

— Дай мне денег,— обратился он к Биною.

— Подожди минуту, я сейчас достану ключ.

Но пока Биной искал ключ, Гора в нетерпении дернул за ручку, сломал замок и выдвинул ящик.

Первое, что бросилось ему в глаза, была фотография всей семьи Пореша, которую Биной добыл при помощи своего приятеля Шотиша.

Гора дал старику денег и выпроводил его из дому. Он не сказал ни слова о фотографии. Промолчал и Биной, хотя ему было бы много приятнее, если бы Гора сказал, что он думает по этому поводу.

— Ну, я пошел,— сказал Гора.

— Вот это мне нравится! — воскликнул Биной.— Как это ты пошел? Ведь ма и меня звала обедать. Я тоже пойду.

Молодые люди вместе вышли на улицу, но всю дорогу Гора молчал. Фотография, которую он увидел в ящике письменного стола, напомнила ему о том, что сердце Биноя увлекло его на новый, чуждый Горе, жизненный путь. Смутная тревога за их дружбу, которая, подобно Ганге, меняла свое старое русло на новое, незримым грузом лежала где-то в глубине его сердца. Сегодня весь день ничто друзей не разделяло, одни и те же мысли были у них, но сейчас Гора вновь почувствовал: сохранить прежнего нельзя — Биной пошел своим путем.

Биной понимал, почему молчит его друг, но у него не хватало духу первым перешагнуть барьер отчужденности. Он знал, что вопрос, которым заняты сейчас мысли Горы, может послужить серьезным препятствием для их дружеских отношений в будущем.

Подойдя к дому, они увидели Мохима, поджидавшего их у дверей.

— Да что такое наконец с вами? — воскликнул Мохим.— Вчера не спали всю ночь. Я уж думал, не улеглись ли вы теперь где-нибудь на дороге поспать. Знаете, который теперь час? Торопись, Биной, ты ведь еще и омовения не совершал.

Отослав Биноя, Мохим повернулся к Горе и сказал:

— Вот что, Гора, я прошу тебя очень серьезно подумать над тем, что я тебе говорил. Ну хорошо, пусть Биной недостаточно правоверен на твой вкус, ну а где ты найдешь жениха лучше, скажи на милость! Ведь если жених правоверен, это еще не все. Хорошо бы, он еще был и образован в придачу. Правда, с точки зрения шастр, образование и благочестие — вещи не очень-то совместимые, а по-моему, такое сочетание вовсе не так уж плохо! Будь у тебя дочь, ты рассуждал бы так же.

— Ты прав, дада,— ответил Гора.— Я не думаю, чтобы Биной был против.

— Вы только послушайте его! — воскликнул Мохим.— Кто думает о Биное? Все дело в том, чтобы ты не был против. Попроси его разок, ничего больше мне и не надо. А уж если не выйдет, значит, не судьба.

— Ладно!

«Ну, теперь можно заказывать свадебное угощение»,— подумал Мохим.

Улучив удобный момент, Гора спросил Биноя:

— Дада все пристает ко мне с твоей женитьбой на Шошимукхи. Что ты скажешь на это?

— Сначала ты скажи мне свое мнение.

— Я считаю, что это было бы неплохо.

— Вот как! Но раньше ты думал иначе. Ведь как будто было решено, что оба мы никогда не женимся.

— Ну, а теперь будет решено, что ты женишься, а я нет.

— Почему? Разве впереди у нас разные цели? Я считал, что мы идем одной дорогой.

— Именно для того, чтобы пути наши не разошлись, я и советую тебе согласиться. Всевышний, отправляя людей в земное странствие, возлагает на их плечи далеко не одинаковую ношу — один сгибается под ее тяжестью, а другой идет налегке, и для того, чтобы обоих можно было запрячь в одно ярмо, нужно взвалить на второго добавочный груз. Вот навалятся на тебя тяготы семейной жизни, тогда, глядишь, и мы с тобой зашагаем в ногу.

Биной улыбнулся.

— Ладно,— сказал он.— Раз так, придется взвалить.

— А как насчет самой предполагаемой ноши? Возражений нет?

— Так ведь речь идет о том, чтобы уравнять нашу с тобой поклажу, ну а для этого годится все — вплоть до камней.

Биной сразу понял, почему Гора так стоит за этот брак. Очевидно, он боялся, что Биноя могут женить на одной из дочерей Пореша, и пытался спасти его. Догадавшись о подозрениях друга, Биной не мог не посмеяться в душе. Ему и на мгновение не приходила в голову мысль о такой свадьбе. Это было совершенно немыслимо! В то же время женитьба на Шошимукхи уничтожила бы основания для странных опасений Горы, и между ними снова восстановились бы нормальные, здоровые, дружеские отношения. Ну и потом, ведь никто не стал бы мешать ему ходить в дом Пореша. Взвесив все это, Биной легко согласился на брак с Шошимукхи.

После обеда друзья вознаградили себя долгим отдыхом за предыдущую бессонную ночь. Разговор на волнующие их темы не возобновлялся до самого вечера. Лишь когда ночные тени пали на землю и настала пора задушевных бесед, они вышли на крышу, и Биной, устремив взгляд в небо, сказал:

— Слушай, Гора, я хочу сказать тебе кое-что. Мне кажется, наша любовь к родине как-то однобока. Мы говорим об Индии, а видим всего лишь половину ее.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мы считаем ее страной мужчин и совершенно забываем о женщинах.

— Стало быть, ты придерживаешься точки зрения англичан и хотел бы, чтобы женщина сопутствовала тебе и в домашней и в общественной жизни, чтобы она неотступно сопровождала тебя повсюду, делила бы с тобой еду и труд, отдых и развлечения? Но в этом случае ее присутствие заслонит от тебя мужчин и твое мировоззрение так и останется однобоким.

— Нет, нет, не передергивай моих слов, пожалуйста. При чем тут точка зрения англичан или неангличан! Просто я хочу сказать, что, думая об Индии, мы очень мало внимания уделяем ее женщинам. Возьми хоть себя. Я утверждаю, что ты никогда не задумываешься над их судьбой — в твоем представлении Индия словно лишена женщин, а такое представление в корне неверно.

— С той минуты, как я сознательно взглянул на свою мать, она олицетворяет для меня всех женщин моей родины. Тогда же я понял, какую большую роль играют женщины в нашей жизни.

— Ты говоришь красивые слова, чтобы успокоить себя. Разве можно до конца понять женщину, сталкиваясь с ней только в домашних условиях? Если бы мы могли увидеть женщину за пределами семейного очага, Индия предстала бы перед нами во всей своей замечательной красоте. Мы увидели бы ту прекрасную страну, ради которой люди не задумываясь отдали бы жизнь. И уж во всяком случае, мы избавились бы наконец от ложного представления, что нашу страну населяют исключительно мужчины. Я знаю, стоит мне начать сравнивать наше общество с английским, и ты сразу же выходишь из себя. Этого я не хочу, точно так же как не хочу и утверждать, что знаю, в какой мере и каким образом могли бы проявить себя наши женщины в общественной жизни, не преступая границ приличий,— но я настаиваю, что, пока они будут оставаться в тени, понять всю правду о нашей стране мы не сможем, так же как

и не сможем отдать ей всю любовь и преданность, на которую способны.

— И эта истина открылась тебе сегодня?

— Да, сегодня, и внезапно. До сих пор у меня не было определенных мыслей на этот счет, и я очень счастлив, что все это наконец стало мне ясно. Ведь, относясь пренебрежительно к женщине, ограничивая ее интересы кухней, видя в ней только наложницу, мы тем самым ослабляем силы своей страны, точно так же, как в том случае, когда воздвигаем барьер между богатыми и бедными, когда презираем крестьян и ремесленников за их низкий труд, ограничиваем их узкой сферой занятий и делаем вид, что не замечаем их.

— Нет, Биной, ты не прав. Так же как сутки состоят из дня и ночи, так и общество состоит из мужчин и женщин. В обществе, где все идет нормально, женщину можно уподобить ночи; спокойно, не назойливо, незаметно исполняет она свои обязанности. Там же, где обстоятельства нарушают нормальное течение жизни, где ночь превращается в день и наоборот, теряется представление о времени, труд и легкомысленные похождения идут бок о бок. А к чему это приводит? Только к тому, что назначение ночи — покой, который она дарует, ее умиротворяющая сила — теряется; с каждым днем возрастает утомление, гаснет энергия, и человеку, чтобы поддержать свои силы, приходится прибегать к алкоголю. То же самое произойдет, если мы оторвем женщин от домашнего очага. Мы только помешаем их мирным занятиям, нарушим покой и счастье общества и заменим его нездоровым возбуждением. И тот, кто примет подобное возбуждение за прилив новых сил, сделает большую ошибку, ибо в конце концов оно приведет общество к гибели. Ведь силы, движущие обществом, состоят из двух элементов: явного и скрытого, возбуждающего и умиротворяющего, требовательного и самоограничивающего. Нарушать это равновесие нельзя, иначе огромная созидательная энергия общества пойдет на убыль, а это не принесет нам ничего хорошего. Мужчина олицетворяет элемент явный, хотя сказать, что он играет более важную роль, нельзя никак. Если же мы попытаемся выявить свои скрытые ресурсы в лице женщин, то это будет означать лишь, что вместо накопления сил мы стали растрачивать их и быстрыми шагами движемся навстречу банкротству... И я настаиваю: пусть на празднествах жертвоприношений присутствуют мужчины, а женщины лишь смотрят за тем, чтобы не иссякали яства и возлияния для этих празднеств. Только тогда наши жертвы не пропадут даром, и неважно, если женщина

останется при этом невидимой. Безумен тот, кто хочет заставить все свои силы действовать в одном направлении, для достижения одной цели,— идя таким путем, он может лишиться сразу всего.

— Гора, я не буду с тобой спорить, но знай, что ты меня ни в чем не убедил. Ведь основной вопрос...

— Знаешь что, Биной,— прервал его Гора,— если мы будем продолжать спор на эту тему, то в конце концов поссоримся по-настоящему. Я признаю, что вопрос о женщинах не заполняет моих мыслей так, как он с недавних пор заполняет твои. Поэтому все твои попытки заставить меня проникнуться к ним теми же чувствами, какими проникся ты, ни к чему не приведут. Давай же согласимся на том, что мы не согласны.

Гора не пожелал продолжать разговор, но семя, подхваченное ветром, в конце концов всегда падает на землю, а упав, обязательно прорастает. До сих пор Гора решительно исключал женщин из своих мыслей и ни на минуту не задумывался над тем, что благодаря этому что-то теряет, не чувствовал никакой пустоты. Горячность, с какой говорил о женщинах Биной, впервые заставила его осознать, что — никуда не денешься — женщинам отведена в обществе не такая уж маленькая роль. Но какая именно роль предназначена им, какое место занимают они по праву, сказать он не мог, и потому ему совсем не улыбался разговор на эту тему. Правильного решения он еще не нашел, не мог он, однако, согласиться и с доводами Биноя и потому предпочел пока не вдаваться в обсуждение этого вопроса.

Вечером, когда Биной уже собрался уходить домой, Анондомойи подозвала его к себе и спросила:

— Ну что, Биной, кажется, твоя свадьба с Шошимукхи уже решена?

Биной смущенно улыбнулся.

— Да, ма,— ответил он,— как же иначе, раз сватом выступил Гора.

— Что ж, Шошимукхи хорошая девушка,— сказала Анондомойи,— но вот что, Биной, не поступай опрометчиво. Я ведь тебя хорошо знаю: ты колебался, не зная, как поступить, и предпочел поскорее покончить с этим делом. У тебя есть еще время взвесить все «за» и «против». Ты же взрослый человек, помни, что, прежде чем решить такой важный вопрос, нужно спросить свое сердце.

Она ласково дотронулась до плеча Биноя. Юноша ничего не ответил и медленно вышел из комнаты.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

По дороге домой Биной продолжал размышлять над тем, что сказала ему Анондомойи. Он привык во всем — даже в мелочах — следовать ее совету, и сейчас тяжесть невольно легла ему на сердце. Всю ночь неприятное чувство не оставляло его.

Однако, проснувшись утром, Биной ощутил вдруг необычайную легкость — как будто, сполна заплатив долг, налагаемый на него дружбой, он освободился от всех обязательств. Ему казалось, что, добровольно возложив на себя пожизненные оковы в виде брака с Шошимукхи, он тем самым приобретал право скинуть некоторые другие путы. Гора был неправ, подозревая его в желании порвать с индуистами и взять в жены девушку из дома брахмаиста. Женитьба на Шошимукхи должна была рассеять эти подозрения. Поэтому, отбросив прежние колебания, он стал частым гостем в доме номер семьдесят восемь.

Биной легко сходился с теми, кто ему нравился. Поскольку он мог больше не мучиться из-за того, что подумает или скажет Гора, ему понадобилось очень немного времени, чтобы близко подружиться со всеми в доме Пореша-бабу и сделаться как бы членом его семьи. Даже Лолита, которая сначала относилась к нему с некоторой неприязнью, так как подозревала, что он нравится Шучорите, и та, убедившись, что сестра вовсе не выделяет его из числа других знакомых молодых людей, сменила гнев на милость и охотно согласилась с тем, что Биной-бабу удивительно милый.

Даже Харан-бабу не был настроен к нему враждебно,— напротив, он старательно подчеркивал тот факт, что Биной отнюдь не лишен хороших манер, давая понять, что с Горой дела обстоят в этом отношении весьма плачевно.

Чувствуя, что таково желание Шучориты, Биной никогда не вступал в споры с Хараном-бабу, поэтому за чайным столом теперь всегда царили мир и благодать.

Однако в отсутствие Харана-бабу Шучорита сама вызывала Биноя на откровенные беседы и заставляла его высказывать свои взгляды по разным социальным вопросам. У нее в голове не укладывалось, что такие образованные люди, как Гора и Биной, могут оправдывать отжившие суеверия, и она страстно хотела понять причину этого. Если бы она не знала, что представляют собой два друга, она была бы возмущена до глубины души их рассуждениями и с презрением отвернулась бы от них, но уже после первой встречи с Горой она поняла, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет отвернуться от него

с презрением. Поэтому при каждом удобном случае Шучорита снова и снова заводила с Биноем разговор о Горе. Ее интересовали убеждения Горы и его образ жизни. Она задавала Биною всякие вопросы и нередко спорила с ним — все для того, чтобы выведать как можно больше о его друге. Пореш же, веря, что знакомство с разными религиозными вероучениями очень расширяет кругозор, и зная, что Шучорита никогда не даст сбить себя с толку, не препятствовал подобным беседам.

Однажды Шучорита спросила Биноя:

— Скажите мне, Биной-бабу, Гора действительно признает кастовое деление или это лишь проявление его крайнего патриотизма?

— Но ведь признаете же вы лестницу? — спросил, в свою очередь, Биной.— Вы не возражаете, что одни ступеньки расположены над другими?

— Я признаю ее постольку, поскольку она дает мне возможность подниматься наверх. Иначе зачем она нужна? На ровном месте я обхожусь без нее.

— Совершенно верно. Так вот, наше общество напоминает лестницу, имеющую определенное назначение: помочь человеку подыматься все выше и выше, пока он не достигнет конечной цели. Если бы мы могли достигнуть этой конечной цели, не выходя за рамки общины или хотя бы за рамки здешней жизни, то, конечно, никакой необходимости в кастовом делении не было бы. Тогда каждый член общества стремился бы урвать для себя как можно больше за счет другого, совсем как это делается в Европе. Лишь сильные держались бы на поверхности, а слабые шли бы ко дну. Мы же хотим здесь, на земле, в рамках этого общества, преодолеть мирские привязанности и потому, естественно, не можем строить свои взаимоотношения на личной предприимчивости и конкуренции. Мы превращаем в культ высшее назначение человека на земле. Ведь в этом и заключается смысл кармы — достижение свободы. Итак, мирское существование человека, с одной стороны, и конечная цель его жизненного пути, с другой, легли в основу кастового деления нашего общества — деления, базирующегося на предопределенном свыше занятии человека.

— Боюсь, что я вас не совсем понимаю. Я хочу знать одно — считаете ли вы, что цель, которую, по вашим словам, преследует кастовое деление, достигнута и, следовательно, это деление оправдало себя?

— Убедиться воочию, что ваши попытки достичь какой-то цели действительно увенчались успехом, в этом мире не так-то

просто. Возьмем, например, идеи древнегреческих философов: в Греции в свое время они не получили соответствующего развития, но это еще не значит, что они были ошибочны или бессмысленны — постепенно в разных формах эти идеи находят свое воплощение в человеческом обществе. Кастовое деление, принятое в Индии, является очень серьезным экспериментом разрешения социального вопроса; опыт этот еще не закончен, и о том, как он проходит, может судить весь мир. Ничего более приемлемого не могла предложить в этом отношении и Европа,— вся история развития европейского общества — это непрерывная цепь борьбы, столкновений и интриг. Человечество еще увидит плоды решения, предложенного Индией. Не думайте, что, если мы — фанатики — исчезнем, исчезнет и эта извечная система. Нет, мы — индуисты — действительно ничтожная капля в море, но великий гений Индии подсказал величайшее решение, и до тех пор, пока результаты опыта не станут окончательно ясными, эта система будет существовать.

— Не сердитесь на меня,— смущенно прервала его Шучорита,— но, пожалуйста, скажите — вы действительно так думаете или только повторяете мысли Гоурмохона-бабу?

Биной улыбнулся:

— Сказать вам правду, непоколебимой уверенности Горы у меня нет. Когда я вижу людей, отверженных кастами, подвергающихся общественному остракизму, я начинаю сомневаться. Но Гора уверяет, что происходит это оттого, что мелочи заслоняют мне истинную суть дела. Он говорит, что нельзя судить о природе дерева по обломанным сучьям и высохшим листьям — это доказывает лишь умственную незрелость. Он не требует похвал обломанным сучьям, но просит, чтобы люди внимательно присмотрелись к самому дереву и постарались бы понять, ради чего оно растет.

— Бог с ними, с обломанными сучьями,— сказала Шучорита.— Но ведь есть еще и плоды. Так какие же плоды принесло кастовое деление нашей стране?

— То, что вы подразумеваете под плодами кастового деления, порождено не только им, это — результат условий жизни, существовавших и существующих в нашей стране. Если у вас шатается зуб и вы станете кусать им, вы почувствуете боль, но ведь это не будет означать, что все ваши зубы никуда не годятся. Виноват в этом будет один испорченный зуб. Обрушившиеся на нашу страну болезни и порожденная ими апатия не способствовали успеху идеи, выдвинутой Индией, а наоборот, исказили и дискредитировали ее. Однако все это не означает, что плоха

сама идея. Поэтому Гора и повторяет: «Чтобы избавиться от головной боли, предпочтительно не лишаться головы, а закалять организм».

— Хорошо,— не сдавалась Шучорита.— Значит, вы видите в брахмане человека, отмеченного печатью божества, и верите, что пыль с его ног очищает человека?

— А разве то, чему мы поклоняемся, не создано по большей части собственным нашим воображением? Ореол, которым люди окружают монарха, придуман ими самими. Он нужен им. А на деле монарх такой же человек, как и все. Только люди стараются оправдать в собственных глазах тот факт, что кто-то имеет над ними абсолютную власть, и потому наделяют монарха всякими сверхъестественными качествами и тем самым вынуждают и его самого держаться как существо высшего порядка. Примеры подобной надуманности в человеческих отношениях нередки. Отчего, например, мы возвели в такой культ почитание родителей? Ведь отнюдь не только из обычной сыновней привязанности. Отчего в большинстве семей старшие братья во всем уступают младшим? Отчего у нас старший брат пользуется особым почетом? Ведь в других странах этого нет. А представьте себе, что наше общество оказалось бы способным воспитывать брахманов настоящими людьми, соответствующими своему высокому назначению. Ведь это было бы очень важно. Нам нужны святые люди, и они будут посланы нам — надо только желать этого со всей страстностью, на какую способны наш ум и наше сердце. Ну, а допустив, чтобы нашими желаниями руководила глупость, мы всколыхнем в обществе все темные силы, которые обратят в свою пользу наше поклонение и будут процветать за наш счет.

— Но вы где-нибудь встречали таких святых людей?

— Они здесь, в Индии. Так же, как дерево скрыто в семечке, так и они — в духовных запросах нашей страны, в ее устремлениях. Одним странам нужны полководцы вроде Веллингтона, другим — ученые вроде Ньютона, третьим — миллионеры вроде Ротшильда, Индии же нужен брахман — человек, который не знает страха, который ненавидит алчность, побеждает страдания и не боится лишений, брахман, познавший Высшего Духа. Индии нужны стойкие, миролюбивые, независимые брахманы, и только в том случае, если они у нас будут, Индия обретет свободу. Нам нужен брахман и для того, чтобы соединить песней свободы все слои нашего общества. Брахманы нужны нам не для того, чтобы быть у нас поварами или заводить в нашем доме часы, а для того, чтобы пример их святого служения стал для

нас образцом поведения в обществе. И чем выше будет наш идеал брахмана, тем больше уважения будем испытывать мы к нему. Это почитание намного превосходит поклонение монарху — оно равносильно преклонению перед богом. И вот, когда брахманы завоюют такое уважение к себе, наша страна станет неуязвимой, никто не посмеет оскорбить ее. Мы не склоняем головы перед властелином и не подставляем шею под ярмо угнетателя. Но мы согнуты страхом, созданным нашим же воображением, запутываемся в сетях собственной алчности, становимся рабами собственной глупости. Так пусть же брахманы, неумолимые в требованиях к самим себе, освободят нас от этого страха, от этой алчности, от глупости! И нам вовсе не нужно, чтобы они были великими полководцами, прозорливыми дельцами, чтобы они добывали для нас какие-нибудь земные блага.

Молчавший до этого Пореш не вытерпел и вмешался в разговор.

— Я не могу утверждать, что знаю Индию,— медленно проговорил он,— и не знаю, обрела ли она то, к чему стремится, но, скажите мне, разве возможно возвращение к прошлому? Мне кажется, мы должны считаться с тем, осуществимо ли в настоящее время наше желание или нет. Какой прок хвататься за прошлое?

— Я тоже так думал и не раз говорил об этом,— ответил Биной.— Но Гора утверждает, что нельзя вычеркнуть прошлого, заявив, что оно отжило и никогда не вернется. Если наши представления не соответствуют нынешнему смятению умов, то это еще не значит, что они отсталые, ведь они — плоть от нашей индийской плоти. Гора говорит, что истина не умирает, и действительно, теперь только мы и начинаем чувствовать всю силу нашей индийской правды. И если вдруг родится некто, в кого поверят, за кем пойдут, то путь к источнику нашей силы откроется всем. Хранилище прошлого станет арсеналом настоящего. Неужели вы думаете, что Индии не суждено это счастливое рождение?

— Всё же рассуждения вашего друга,— возразила Шучорита,— вряд ли свойственны простым людям. Откуда же у вас такая уверенность, что вы говорите от имени всей Индии?

— Но ведь и восход солнца ученые объясняют не так, как простые люди, что, кстати сказать, нисколько не вредит самому солнцу. Людям же истинное понимание явлений природы приносит немалую пользу. Нам свойственно видеть истину частями, иногда упуская главное, а Гора обладает изумительной способностью соединять все эти детали в единое стройное целое; и

разве можем мы считать, что он заблуждается, а правы все те, кто не может увидеть истины в целом?

Шучорита молчала.

— Пожалуйста, не думайте,— продолжал Биной,— что Гора один из тех заурядных людей, для которых строгое соблюдение законов индуизма — источник особой гордости. Если бы вы видели его отца, Кришнодояла-бабу, вы поняли бы, какая между ними разница. Кришнодоял-бабу чрезвычайно обеспокоен, как бы ему не осквернить себя, он без конца раздевается и кропит себя водой из Ганги, он свято блюдет все обычаи, указанные в календаре. Он даже не решается доверить прекрасному повару-брахману приготовление пищи,— а вдруг этот брахман окажется недостаточно чистым! Гора не имеет права переступить порог его комнаты, и если Кришнодоялу-бабу приходится по делу зайти в покои жены, то потом он совершает обряд очищения. И день и ночь он настороже — как бы умышленно или неумышленно не совершить хоть малейшую оплошность в исполнении положенных обрядов. Он так же заботится о своем внешнем облике, как мрачный Шива с лунным серпом на голове. Тот, как известно, был с ног до головы осыпан пеплом, носил соответствующую одежду и соответствующую прическу. Гора не таков. Не то чтобы он не уважал законов индуизма, но он не может следовать им с таким фанатизмом. Для Горы важен внутренний смысл индуизма, самая суть его. И он вовсе не считает, что жизнь праведного индуиста нужно ограждать от всякого соприкосновения с грубой действительностью, словно это хрупкая безделушка.

— А у меня создалось впечатление, что он старается избежать даже малейшего соприкосновения с ней,— с улыбкой заметила Шучорита.

— О, это объясняется особенностями его характера,— пояснил Биной.— Если вы спросите Гору, признает ли он обычаи индуизма, он, не задумываясь, ответит: «Да, я признаю все обычаи: я верю, что каста может погибнуть от одного нечистого прикосновения и что внутренняя чистота может быть осквернена нечистой едой. Для меня это неопровержимая истина». Но я-то знаю, что все это простое упрямство, и ничего больше. Чем абсурднее кажутся слушателям его утверждения, тем с большим упорством он их отстаивает. А настаивает на безоговорочном исполнении всех правил он для того, чтобы, увидев, как он поступается мелочами, люди недалекие не начали бы пренебрегать тем, что действительно имеет значение, и еще чтобы не дать возможность противникам праздновать победу. Поэтому он не дает себе никаких поблажек даже в присутствии меня одного.

— Таких людей немало и среди членов «Брахмо Самаджа»,— заметил Пореш-бабу.— Они требуют полного отказа от индуизма, опасаясь, как бы их не заподозрили в снисходительном отношении и к его скверным обычаям. Такие люди не могут жить просто, они либо лицемерят, либо лгут, полагая, что истина бессильна и их задача всеми правдами и неправдами защищать ее. Тот, кто заявляет, что истина зависит от него, а не он от истины,— ханжа. Человек, который верит в силу истины, не кичится своей силой. Можно ненадолго усомниться в том или ином человеке — беда не велика,— но усомниться в истине нельзя ни на мгновение — это страшнее всего. Что касается меня, я молю бога об одном: пусть, где бы я ни был — на собраниях ли Общества брахмаистов или в храме индуистов,— истина всегда открывалась бы моему смиренному взору и ничто постороннее не могло бы отвлечь меня от созерцания ее.

Проговорив это, Пореш-бабу задумался; казалось, он погрузился в собственные мысли. Эти несколько фраз словно изменили всю атмосферу. И не потому, что он сказал что-то значительное, а потому, что от его слов на всех повеяло теплом и миром, которыми была проникнута вся его жизнь. Глаза Шучориты и Лолиты сияли нежностью и гордостью. Молчал и Биной. Он понимал, что Гора слишком подавляет всех вокруг себя, что спокойная и ясная уверенность, которая облекает мысль, слова и поступки истинных глашатаев истины, не дана ему. В словах Пореша-бабу он услышал подтверждение этому, и ему стало неприятно. Противоречивые чувства и прежде боролись в душе Биноя; он понимал, что в жизни общества бывают периоды, когда, охваченное брожением, оно приходит в столкновение с требованиями времен, и что в этих случаях ревнители истины теряют хладнокровие и начинают подгонять истину к обстоятельствам. И вот теперь, слушая Пореша-бабу, он невольно подумал, что такого рода поведение свойственно лишь заурядным людям. Но ведь нельзя же причислить Гору к таким людям.

Вечером, когда Шучорита уже легла в постель, Лолита пришла к ней в комнату и присела на край кровати. Шучорита догадывалась, какие мысли бродят в голове сестры. Она понимала, что та думает о Биное, и поэтому заговорила первая:

— А знаешь, Биной-бабу мне очень нравится.

— Ну еще бы, ведь он только и знает, что повторяет слова Гоурмохона-бабу,— заметила Лолита.

Шучорита отлично поняла намек, но, сделав невинный вид, ответила:

— А знаешь, ты права, мне очень приятно слышать мнение Гоурмохона-бабу в его изложении. Создается впечатление, что сам Гоурмохон-бабу говорит с тобой.

— А мне это ничуть не приятно,— наоборот, даже злит.

— Почему? — удивилась Шучорита.

— Гора, Гора и Гора! День и ночь один Гора! Может быть, друг Биноя-бабу и правда замечательный человек, ну а сам-то он что — разве не хороший?

Шучорита улыбнулась:

— Конечно, хороший! Я только не понимаю, чем ему может мешать восхищение Гоурмохоном-бабу?

— Да тем, что этот Гоурмохон-бабу так подавляет Биноя-бабу, что тот окончательно стушевывается. Будто паук держит муху. Меня злит паук, но я не чувствую уважения и к мухе.

Шучорита, которую забавляла горячность Лолиты, только рассмеялась в ответ.

— Ты вот смеешься, диди, а я тебе прямо скажу, я не потерпела бы, если бы меня кто-нибудь стал отодвигать на задний план. Возьми хоть себя — ведь ты же никогда не стараешься затмить меня своим умом и знаниями, хоть некоторые и думают так,— просто это не в твоем характере. За это я и люблю тебя. Это отец научил тебя быть такой, он тоже уважает чужие взгляды и никому не навязывает своих убеждений.

Шучорита и Лолита больше всех в семье любили Порешабабу. Достаточно было одной из них произнести слово «отец», и лица обеих расцветали.

— Как ты можешь приравнивать меня к отцу,— сказала Шучорита.— Но как бы там ни было, язык у Биноя-бабу подвешен хорошо.

— Как ты не понимаешь, что он и красноречив-то так именно потому, что высказывает не свои мысли. Если бы он говорил то, что думает сам, он никогда не употреблял бы таких напыщенных, избитых фраз. И тогда я слушала бы его с гораздо большим удовольствием.

— Но почему тебя это так возмущает? — спросила Шучорита.— Просто он настолько проникся мыслями Гоурмохонабабу, что они стали его собственными.

— Вот это-то и ужасно! Разве бог дал человеку ум для того, чтобы толковать чужие мысли, а язык, чтобы повторять чужие слова,— пусть даже они звучат великолепно? Кому нужны тогда все эти красивые речи?

— А почему ты не хочешь допустить, что Биной настолько

любит Гоурмохона-бабу, что совершенно искренне верит в правильность его мыслей?

— Нет, нет, нет,— вспыхнула Лолита.— Совсем он не верит! Просто он привык повиноваться Гоурмохону-бабу. Это рабство, а не любовь. Он пытается убедить себя и других, что у них одинаковые мысли; он глушит свои сомнения, чтобы не потерять уважения к Гоурмохону-бабу, потому что боится этого. Ведь хотя любовь и предполагает подчинение одного человека другому, невзирая на разницу в убеждениях, такое подчинение никогда не бывает слепым. С Биноем-бабу дело обстоит иначе — уважение к Гоурмохону вытекает из его любви к нему, только он не хочет в этом признаться. Ты не согласна со мной, диди? Ну скажи правду.

Но Шучорита думала о другом: ее интересовал только Гора, и она вовсе не стремилась понять внутренний мир Биноя. Поэтому, не отвечая прямо на вопрос Лолиты, она, в свою очередь, спросила:

— Допустим, что ты права, что же из этого следует?

— Я так хотела бы помочь ему освободиться от влияния друга, хотела бы, чтобы он стал самим собой.

— Ну что ж, попытайся.

— У меня ничего не выйдет, вот если ты возьмешься за это, у тебя это, конечно, получится.

Хотя Шучорита и сознавала в глубине души, что Биной неравнодушен к ней, она попробовала отделаться шуткой, однако Лолита не унималась.

— Единственно, что мне в нем нравится,— продолжала она,— это то, что, узнав тебя, он стал пробовать выйти из-под опеки Горы. Будь на его месте кто-нибудь другой, он, наверное, уже написал бы какой-нибудь пасквиль о нравах и обычаях девушек из «Брахмо Самаджа». Биной же по-прежнему искренне расположен к нам. Ты только посмотри, как он относится к тебе, какое почтение питает к отцу. Диди, мы должны помочь Биною-бабу стать самим собой! Это же невыносимо, что вся его жизнь посвящена проповеди взглядов Гоурмохона-бабу!

В эту минуту с криком «диди, диди!» в комнату вбежал Шотиш. Оказалось, что Биной брал его с собой в цирк, и, хотя было уже поздно, мальчик не мог не поделиться с сестрами своими впечатлениями — он первый раз в жизни был в цирке!

— Я оставлял Биноя-бабу ночевать у нас, но он проводил меня до дому и ушел, сказал, что придет завтра,— болтал мальчуган.— Диди, я говорил ему, пусть бы он и вас сводил как-нибудь в цирк.

— Ну и что же он ответил? — поинтересовалась Лолита.

— Он сказал, что девушки испугаются, когда увидят тигра. А я ну ничуточки не испугался.

И Шотиш с чувством мужского превосходства выпятил грудь.

— Ну еще бы! — сказала Лолита.— Храбрость твоего друга Биноя сразу бросается в глаза. Послушай, диди, давай заставим его пойти с нами в цирк.

— Завтра днем там будет представление,— сказал Шотиш.

— Вот и чудесно! Завтра и пойдем.

На следующее утро, как только появился Биной, Лолита заявила ему:

— Вы пришли вовремя, Биной-бабу. Идемте.

— Куда? — удивился Биной.

— В цирк, конечно,— ответила Лолита.

В цирк! На глазах у всех, днем идти с девушками в цирк! Биной растерялся.

— По всей вероятности, Гоурмохон-бабу будет очень этим недоволен? — спросила Лолита.

Биной насторожился, и когда Лолита добавила:

— Ведь у Гоурмохона-бабу, безусловно, свои взгляды насчет посещения цирка в компании с девушками? — он твердо ответил:

— Безусловно!

— Какие же? Расскажите нам. Я пойду позову диди, пусть и она послушает.

Биной почувствовал скрытое ехидство вопроса и улыбнулся.

— Почему вы смеетесь? — продолжала Лолита.— Вы вчера сказали Шотишу, что девушки боятся тигров. Может быть, и вы кого-нибудь боитесь?

После такого разговора Биною ничего не оставалось делать, как отправиться с девушками в цирк. И по пути туда его не оставляла мысль, что в глазах Лолиты и остальных девушек он, наверно, выглядит немного смешным из-за своего подчинения Горе.

Когда Биной снова пришел к ним, Лолита с самым невинным видом спросила его:

— А вы говорили Гоурмохону-бабу о том, что были с нами в цирке?

На этот раз ее вопрос больно задел Биноя.

— Нет, еще не говорил,— ответил он, краснея до ушей.

В это мгновение в комнату вбежала Лабонне.

— Пойдемте, Биной-бабу.

— Куда? — удивилась Лолита.— Опять в цирк?

— Ну, зачем же в цирк. Просто я хочу попросить Биноя-бабу нарисовать мне узоры в углах платка, который собираюсь вышивать. Биной-бабу так хорошо рисует!

И Лабонне увела Биноя.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Гора сидел, погруженный в свои обычные утренние занятия, когда в комнату неожиданно вошел Биной и безо всякого вступления заявил:

— А я на днях был в цирке с дочерьми Пореша-бабу.

— Слышал,— ответил Гора, продолжая писать.

— От кого? — удивился Биной.

— От Обинаша. Он тоже в тот день был в цирке.

И, не добавив ни слова, Гора углубился в работу. Мысль о том, что Горе все уже известно, и притом известно от Обинаша, который, уж конечно, не пожалел красок, рассказывая о таком событии, снова всколыхнула в Биное все его прежние сомнения и заставила внутренне сжаться. К тому же он вспомнил, что вчера долго не мог уснуть, потому что мысленно вел спор с Лолитой. «Она воображает, что я боюсь Горы, испытываю к нему те же чувства, что школьник к своему учителю. Как ошибаются люди в своих суждениях! Да, я уважаю Гору, потому что он замечательный человек, но понимать наши отношения так, как понимает их Лолита,— значит быть несправедливой и к нему, и ко мне. Я не мальчишка, и Гора не мой наставник, просто глупо приписывать нам такие роли».

Гора продолжал писать, а язвительные замечания Лолиты одно за другим вспоминались Биною, и выкинуть их из памяти он не мог.

В душе его закипело возмущение.

«Что ж плохого в том, что я ходил в цирк? — спрашивал он себя.— Кто такой Обинаш, чтобы обсуждать с Горой мое поведение? И вообще, зачем понадобилось Горе говорить обо мне с этим дураком? Разве Гора мой опекун? С какой стати я должен отдавать ему отчет в том, с кем я встречаюсь и куда хожу? Это оскорбительно для нашей дружбы!»

Биной не возмущался бы так, если бы не понял вдруг, что собственное его поведение было далеко не безупречным. Он словно хотел переложить на Гору вину за то, что пытался утаить от него некоторые события своей жизни. Обругай его Гора, они бы крупно поговорили, выяснили отношения, помирились, и все

было бы в порядке. Но Гора продолжал хранить торжественное молчание, как будто ему было дано право судить Биноя. И, вспоминая язвительные замечания Лолиты, Биной испытывал жгучую обиду.

В это время в комнату вошел Мохим с трубкой в руке. Открыв коробочку с паном, он протянул ее Биною.

— Ну, брат,— сказал он,— мы со своей стороны все решили и все одобрили. Теперь остается только получить согласие твоего дяди. Ты уже написал ему?

Напоминание о предстоящей свадьбе было сегодня особенно неприятно Биною, хоть он и понимал, что винить Мохима не в чем, поскольку он дал свое согласие и Гора сообщил об этом брату. Но сейчас ему казалось унизительным, что он согласился на этот брак. Ведь Анондомойи уговаривала его не спешить, и потом, ведь он не испытывал никаких чувств к невесте. Совершенно непонятно, каким образом вопрос о свадьбе оказался уже решенным. И не то чтобы Гора толкал его на это. И все же... За этим «все же» ему снова послышался насмешливый голосок Лолиты. Никто его не заставлял, никто не настаивал, просто долголетнее влияние Горы и тут сыграло свою роль. Ведь только любовь к Горе и природная мягкость и податливость были причиной беспрекословного подчинения Биноя своему другу. Из их дружбы ушло равенство. До сих пор Биной не замечал этого, теперь же он не мог не тревожиться. Дело дошло до того, что из чувства долга он обязан жениться на Шошимукхи!

— Нет,— ответил Биной Мохиму,— я еще не написал дяде.

— Собственно, я сам виноват в этом. Это моя обязанность, а вовсе не твоя. Скажи мне только его полное имя.

— К чему такая спешка,— возразил Биной.— Ведь месяцы ашшин и картик считаются неподходящими для свадеб. Можно, конечно, взять огрохайон, но нет... огрохайон считается в нашем роду несчастливым, и дядя никогда не позволит, чтобы свадьба или вообще какое-нибудь счастливое событие состоялось в этом месяце.

Мохим поставил трубку в угол и сказал:

— Ну, знаешь, Биной, если ты с такими предрассудками считаешься, то немногого же, значит, стоит все ваше хваленое современное образование. В этой несчастной стране и так уж почти невозможно выбрать в календаре счастливый день, а если еще каждая семья начнет выяснять, когда именно у нее произошло какое-нибудь несчастье, то что это будет?

— Почему же вы тогда соглашаетесь с тем, что ашшин и картик несчастливые месяцы?

— Я соглашаюсь? — вскричал Мохим.— Ничего подобного! Но что делать? В этой стране можно забыть бога, но попробуй-ка забудь, что связано с бхадро и ашшином, с четвергом и субботой, с новолунием и полнолунием,— не обрадуешься! И должен признаться, что я хоть и не очень-то верю во все это, но тем не менее чувствую, как мне становится не по себе, если день не благоприятствует делу. Воздух нашей страны заражен суевериями не меньше, чем малярией. Не могу избавиться от чувства страха и я.

— Ну, вот, а в нашем роду не могут избавиться от страха перед огрохайоном. Во всяком случае, дядя ни за что не согласится.

Таким образом, Биною удалось снова отсрочить окончательное решение, и Мохим, не зная, что еще предпринять, пошел к себе.

По тону Биноя Гора понял, что он колеблется. Последние дни Биной не показывался у них и, по-видимому, проводил все больше и больше времени у Пореша-бабу. А теперь он совершенно очевидно старался всеми способами оттянуть свадьбу. Мрачные предчувствия охватили Гору.

Его можно было сравнить с удавом, сжимающим кольца вокруг своей жертвы. Взявшись за дело, он уже не мог отступить, а когда чувствовал сопротивление или колебания противника, упорство его только возрастало.

И сейчас одолеваемый сомнениями Биной вызывал в Горе непреодолимое желание вцепиться в него.

Отложив перо, он поднял голову:

— Биной, раз уж ты дал слово брату, к чему все эти проволочки и оттяжки?

— То ли я дал слово, то ли меня заставили его дать,— вскипел вдруг Биной.

— Кто тебя заставил? — резким, холодным тоном спросил Гора, удивленный столь неожиданной вспышкой друга.

— Ты!

— Я?! Да мы с тобой и двух слов не сказали по этому поводу. И ты называешь это заставить?

Собственно говоря, подкрепить свое обвинение Биною было нечем; Гора сказал правду, они почти не говорили о свадьбе, и слова Горы вряд ли можно было истолковать как принуждение. И тем не менее в известном смысле был прав и Биной: по существу Гора заставил его согласиться на брак с Шошимукхи. Чем меньше улик против обвиняемого, тем раздражительнее становится обвинитель. Поэтому Биной возбужденно сказал:

— Заставить человека дать слово можно и без длинных разговоров.

— Можешь взять его обратно! — заорал Гора, вскакивая.— Оно не стоит того, чтобы я уговаривал тебя или заставлял согласиться!

— Дада! — позвал он громовым голосом Мохима, который был в соседней комнате.

Мохим поспешно вошел.

— Дада, разве я тебе не говорил с самого начала, что брак Биноя с Шошимукхи немыслим... что я не согласен на него...

— Еще бы не говорил,— не понимая, в чем дело, ответил Мохим.— От тебя еще и не того дождешься. Другой бы на твоем месте хоть немножко усилий приложил, чтобы выдать племянницу замуж.

— Так зачем же ты ссылался на меня, уговаривая Биноя дать слово?

— Я думал, так он скорее согласится, вот и все.

Кровь кинулась Горе в лицо.

— Не смейте путать меня в это! Я вам не сваха! У меня есть другие дела, поважнее,— прогремел он и вышел из комнаты.

Не успел бедняга Мохим опомниться, Биноя тоже след простыл, и ему ничего не осталось делать, как обратиться за утешением к трубке, стоявшей тут же в углу.

Биной и прежде не раз ссорился с Горой, но до такой бурной стычки дело у них еще не доходило — он был в ужасе от того, что наговорил. К тому времени, как он добрался домой, угрызения совести сделались просто нестерпимыми. Ему не хотелось ни есть, ни спать, из головы не выходила мысль об оскорблении, которое он ни с того ни с сего нанес Горе. Его особенно мучило то, что он незаслуженно, непонятно почему и зачем пытался взвалить всю вину на Гору. «Нехорошо, ох как нехорошо!» — повторял он про себя.

В тот же день, когда Анондомойи, пообедав, принялась за шитье, в ее комнате неожиданно появился Биной. От Мохима Анондомойи уже знала кое-что о случившемся, да и по выражению лица Горы за обедом она догадалась, что была буря.

— Ма, я нехорошо поступил,— чуть ли не с порога начал Биной.— То, что я наговорил сегодня Горе по поводу свадьбы с Шошимукхи, чистейший вздор.

— Не расстраивайся, Биной. Когда человек пытается подавить внутреннюю боль, такие вспышки неизбежны. Очень

хорошо, что все так случилось. Через два дня вы оба забудете об этой ссоре.

— Ма, я хочу сказать тебе — я согласен жениться на Шошимукхи.

— Смотри, милый Биной, как бы ты не напортил дела еще больше, стараясь поскорее уладить вашу ссору. Помни, что размолвка на несколько дней, а женитьба на всю жизнь.

Но Биной уже твердо решил, что ему делать. Он чувствовал, что не может пойти к Горе, поэтому направился к Мохиму и заявил ему, что никаких препятствий к свадьбе больше нет, что она может состояться в магхе и что он сам позаботится о том, чтобы дядя дал свое согласие.

— Ну, что ж, если так, можно устраивать помолвку. А?

— Конечно, только сперва посоветуйтесь с Горой.

— Что? Неужели опять советоваться с Горой? — застонал Мохим.

— Да, это необходимо.

— Что ж, если иначе нельзя, не о чем и говорить, только...

И он сунул себе в рот кусочек пана.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В этот вечер Мохим ничего не сказал Горе, но на следующее утро он пошел к брату. В душе он побаивался, что ему придется выдержать бурное объяснение, прежде чем он заручится согласием Горы на брак Шошимукхи и Биноя. Однако, к большому удивлению Мохима, едва он рассказал о вчерашнем посещении Биноя, о его готовности жениться и о настоятельной просьбе обсудить с Горой вопрос о помолвке, как Гора сейчас же выразил полное одобрение.

— Прекрасно,— сказал он.— Раз так, нечего откладывать помолвку.

— Сейчас ты говоришь «прекрасно», а потом тебе опять что-нибудь не понравится и ты начнешь возражать,— усомнился Мохим.

— Насколько я понимаю, вся эта нескладица вышла из-за моего ходатайства, а вовсе не из-за возражений.

— Ну, раз так, моя покорнейшая просьба, чтобы в будущем ты и не возражал и не ходатайствовал. Мне не нужны ни войска Кришны, ни его собственная поддержка. Обойдусь как-нибудь своими силами. Как я мог ожидать, что твое ходатайство будет иметь обратное действие? Скажи мне честно, ты хочешь, чтобы эта свадьба состоялась?

— Да, хочу.

— Вот и хорошо. Тогда не вмешивайся больше в это дело, ради всего святого.

Гора мог сердиться, мог в гневе наговорить много лишнего, однако это вовсе не означало, что из-за резкой вспышки он готов поступиться своими планами. Он хотел во что бы то ни стало удержать Биноя возле себя и потому не думал о своем оскорбленном самолюбии. Более того, он даже рад был вчерашней ссоре — он понимал, что именно благодаря ей Биной решился на брак с Шошимукхи, что, выйдя вчера из себя, он тем самым связал Биноя по рукам и по ногам. Гора стремился как можно скорее установить с другом родственные отношения — тесные родственные отношения, которые связали бы их на всю жизнь. Он чувствовал, что прежняя непосредственность и простота постепенно исчезают из их дружбы.

Гора сознавал также, что трудно будет сохранить власть над Биноем, если он не будет постоянно находиться с ним вместе, и что для того, чтобы оградить друга от вредного влияния, следует в первую очередь установить наблюдение в «зоне опасности».

«Нужно начать ходить в дом Пореша-бабу, только так я смогу предостеречь его от всяких безрассудств»,— решил Гора.

Вечером на следующий день после ссоры Гора отправился к Биною. Биной никак не ожидал его и даже не знал, радоваться ему или удивляться приходу друга. Еще более поразило его, что Гора сам начал разговор о дочерях Пореша-бабу, причем в его словах вовсе не чувствовалось былой враждебности. Чтобы вовлечь Биноя в разговор об этой семье, не требовалось особых усилий, и вскоре они уже оживленно говорили о своих новых знакомых. Биной рассказывал Горе о своих беседах с Шучоритой. Он не преминул отметить, что Шучорита всегда первая начинает разговор и что, хотя на словах она по-прежнему не согласна с их взглядами, в душе — так, по крайней мере, ему казалось — она начинает соглашаться с ними. Своим рассказом Биной надеялся возбудить в Горе острое любопытство.

— Когда я рассказал ей, как мать Нондо погубила своего сына, позвав к нему знахаря, и передал ей наш с тобой разговор,— вспоминал Биной,— она ответила: «Вот вы считаете, что круг обязанностей женщины должен быть ограничен домашним хозяйством, что ее дело стирать, убирать, готовить пищу, и больше ничего. Но, ставя ее в такое положение, вы сами создаете условия, притупляющие ее ум. Когда же она начинает верить в знахарей, вы возмущаетесь. Женщина, для которой

весь мир заключен в ее семье, никогда не сможет стать настоящим человеком; она всегда будет вам, мужчинам, помехой в большом деле, будет тянуть вас назад, вымещая на вас обиду за собственное невежество. Мать Нондо — результат ваших усилий. Это вы держали ее в таких условиях, и теперь, как бы ни старались вы просветить ее, вам это не удастся». Я пытался спорить,— продолжал Биной,— но, сказать по совести, без большого подъема, потому что в душе был согласен с ней. И все-таки с Шучоритой еще можно спорить, а вот с Лолитой — уволь. Я даже не осмеливаюсь возражать, когда она, подняв брови, говорит: «Вы полагаете, что всегда будете разрешать мировые проблемы, а мы обслуживать вас? Этого не будет! Мы должны заниматься тем же, чем занимаетесь вы, иначе мы так и останемся обузой для вас, а бы будете раздраженно твердить, что женщина — камень на вашем пути. Распахните двери перед женщиной, и вы увидите, что ни в каком деле она не будет вам помехой». Что можно возразить на это? Я больше помалкиваю. Она не часто вступает в разговор, но уж если скажет, приходится основательно подумать, прежде чем ответить. И знаешь, Гора, что ни говори, но мне кажется, нам не пойдет на пользу, если мы станем искусственно задерживать развитие наших женщин, вроде того, как это делают китайцы, бинтующие женщинам ноги, чтобы остановить их рост.

— Я никогда не выступал против образования женщин.

— Да, но ты считаешь, что им достаточно изучить третью часть «Облегченного чтения»?

— Хорошо, теперь мы начнем с первой части теории Смирения [1].

Весь день и весь вечер друзья провели вместе. Снова и снова возвращались они к разговору о дочерях Пореша.

По дороге домой Гора неотступно думал об этих девушках. Не смог он отогнать мысли о них, даже когда лег в постель, и долго лежал без сна, перебирая в памяти все новое, что узнал в этот вечер от Биноя.

Никогда еще не испытывал он такого смятения мыслей и чувств — ведь до сих пор ему и в голову не приходило задумываться над положением женщин, и вдруг сегодня Биной доказал ему, что этот вопрос тоже относится к числу мировых проблем, что его нужно так или иначе разрешить и что игнорировать дольше его невозможно.

---

[1] Здесь игра слов: по-бенгальски имя Биной означает «смирение», «покорность».— *Ред.*

Поэтому, когда на следующий день Биной предложил Горе пойти к Порешу-бабу, сказав: «Ты ведь давно у них не был. Пореш-бабу все время спрашивает про тебя»,— Гора сразу же согласился. И не только согласился — по тону его голоса Биной понял, что прежнее безразличие к этой семье сменилось у Горы живым интересом.

Вначале Шучорита и другие девушки ничуть не заинтересовали его, затем в душе его поднялась какая-то презрительная враждебность к ним, и только теперь на смену этим чувствам явилось любопытство. Ему хотелось понять, чем они так приворожили к себе Биноя.

Когда они пришли к Порешу, был уже вечер. В одной из комнат второго этажа горел свет. Харан читал Порешу свою новую статью, написанную по-английски. Впрочем, Пореш в данном случае являлся всего лишь средством к достижению цели, основная же цель была заставить познакомиться с этим произведением Шучориту и произвести на нее впечатление.

Шучорита сидела поодаль, веером защищая глаза от яркого света лампы. Со свойственной ей выдержкой она внимательно слушала Харана, но время от времени мысли ее начинали блуждать и внимание рассеивалось.

Когда вошедший слуга доложил о приходе Горы и Биноя, Шучорита вздрогнула и поднялась, чтобы выйти из комнаты, но Пореш-бабу остановил ее:

— Ты куда, Радха? Ведь это же свои — Биной и Гора.

Смущенная девушка снова села. И хотя она испытывала облегчение оттого, что кончилось, наконец, чтение скучной английской статьи, и радость оттого, что пришел Гора, ее немного тревожила предстоящая встреча Горы и Харана. Трудно сказать, чем была вызвана ее тревога — боязнью ли нового столкновения между ними или еще чем-то...

Приход Горы чрезвычайно раздражил Харана. Он едва поздоровался с ним и погрузился в мрачное молчание. Зато в Горе при виде Харана немедленно проснулся весь его боевой задор.

Бародашундори с дочерьми уехала в гости, условившись с мужем, что вечером он приедет за ними. Приход Биноя и Горы поставил Пореша в затруднительное положение, но задерживаться дольше он не мог и поэтому, шепнув Харану и Шучорите: «Вы пока развлекайте их, а я постараюсь поскорей вернуться»,— уехал.

Развлечение последовало незамедлительно — не прошло и нескольких минут, как Харан и Гора вступили в ожесточенный

словесный бой. Спорили же они вот о чем: еще в Дакке Порешбабу познакомился с судьей одного из прилегающих к Калькутте районов — англичанином Браунло. Сам Браунло и его супруга весьма благоволили к Порешу-бабу, потому что он не ограничивал свободы своей жены и дочерей и не держал их как пленниц на женской половине дома.

Не так давно Бародашундори была в гостях у миссис Браунло. И, как всегда, не преминула похвастаться необыкновенными успехами своих дочерей в области английской поэзии и литературы. Миссис Браунло — женщина восторженная и порывистая — тут же предложила Бародашундори, чтобы ее дочери подготовили небольшую пьеску и разыграли ее на вечере, в честь дня рождения судьи. Это событие ежегодно отмечалось не только большим приемом, но и чем-то вроде сельской ярмарки.

— В этом году обещали приехать губернатор и его супруга,— добавила она.

Бародашундори очень обрадовалась приглашению. Сегодня в доме их друзей должна была состояться репетиция, на которую она и повезла своих дочерей.

Харан-бабу спросил Гору, не поедет ли он на ярмарку, на что тот с излишней резкостью ответил: «Нет, не поеду»,— после чего между ними и вспыхнул горячий спор на тему об англичанах и бенгальцах и о трудностях, стоящих на пути к их сближению и дружбе.

— Во всем виноваты мы сами,— заявил Харан.— Со всеми своими глупейшими предрассудками и суевериями мы просто не заслуживаем того, чтобы англичане принимали нас в свое общество.

— Если мы действительно этого не заслуживаем, то нам должно быть очень стыдно добиваться, чтобы нас все-таки пустили в это общество,— усмехнулся Гора.

— Да, но к людям достойным англичане относятся с очень большим уважением, пример тому семья Пореша-бабу,— возразил Харан-бабу.

— Такого рода уважение только подчеркивает их высокомерное отношение к остальному народу и является в моих глазах не чем иным, как оскорблением.

Злость душила Харана, и Гора, искусно поддевая и подзадоривая его, скоро окончательно загнал противника в тупик.

Шучорита сидела напротив и из-за веера внимательно наблюдала за Горой; она слышала, что он говорит, но в смысл его слов не вникала. Если бы до ее сознания дошло, что она, не отрывая глаз, смотрит на молодого человека, Шучорита, навер-

ное, сгорела бы со стыда. Но она не замечала этого. Гора сидел напротив нее, он чуть наклонился вперед и положил на стол свои громадные кулаки; свет лампы падал на его большой светлый лоб. Он то презрительно смеялся, то сердито хмурился. Но за этой сменой выражений чувствовались внутреннее достоинство и спокойная уверенность человека, для которого спор отнюдь не был состязанием в красноречии и чьи взгляды сложились в результате долгих раздумий и наблюдений. Убеждением проникнут был не только его голос: выражение глаз, каждый жест, весь его облик свидетельствовали о том, что он глубоко уверен в своей правоте. С удивлением смотрела Шучорита на Гору. Ей казалось, она впервые увидела настоящего человека — человека, которого нельзя поставить на одну доску с другими людьми. Рядом с ним Харан-бабу выглядел совершенным ничтожеством: что-то смехотворное было в его фигуре, чертах лица, манерах, даже в одежде — и это раздражало Шучориту.

Она так часто говорила с Биноем о Горе, что в ее представлении он уже давно превратился в вождя партии, человека стойких убеждений, посвятившего себя служению родине. Но сейчас мысль о его общественных заслугах, о пользе, которую он принесет со временем своей стране, отступила в сторону, и ее взору явился просто человек. Подобно тому как луна вызывает морские приливы, не считаясь при этом ни с местом, ни с временем, так и Гора взволновал сегодня душу Шучориты, заставил ее забыть о благоразумии и хороших манерах и наполнил всю ее искрящейся беззаветной радостью. Первый раз в жизни внутренний мир человека открылся ей, она словно заглянула ему в душу — и, потрясенная, забыла о себе.

От Харана-бабу не ускользнуло напряженное внимание, с которым девушка слушала Гору, и это вовсе не способствовало убедительности и вескости его собственных аргументов. Наконец, не в состоянии более сдерживать себя, он встал и, обращаясь к Шучорите, как будто она была ему близкой родственницей, сказал:

— Шучорита, выйдем на минуту в ту комнату, мне нужно кое-что сказать тебе.

Шучорита вздрогнула, как от удара. Отношения девушки с Хараном-бабу были таковы, что он мог позволить себе говорить с ней в таком тоне, и в другое время она не обратила бы на это никакого внимания, но сегодня, в присутствии Горы и Биноя, его фамильярность оскорбила ее. Она не могла простить Харану взгляда, который бросил на нее Гора. Сначала девушка сделала вид, что не слышала слов Пану-бабу, но когда он по-

вторил уже с некоторым раздражением в голосе: «Ты слышишь, Шучорита? Мне нужно поговорить с тобой. Пойдем в ту комнату»,— она, не подымая головы, ответила:

— Скоро вернется отец. Подождем до его прихода.

Биной поднялся.

— Мы, наверное, вам мешаем,— сказал он,— да и нам уже пора.

— Нет, нет, Биной-бабу,— торопливо ответила девушка.— Пожалуйста, не уходите. Отец ведь просил вас дождаться его. Он сейчас вернется.

В голосе ее слышалась мольба. Так могла бы умолять о пощаде лань, которую готовились выпустить в лес навстречу охотнику с заряженным ружьем.

— У меня, к сожалению, нет времени. Я ухожу,— заявил Харан-бабу и стремглав выбежал из комнаты. В следующее мгновение он пожалел о своем опрометчивом поступке, но вернуться обратно было уже неудобно.

Шучорита сидела, низко опустив пылающее от стыда лицо, и тщетно старалась придумать тему для разговора. Вот когда Горе представилась возможность внимательно рассмотреть ее.

Где же заносчивость и развязность, которые он в мыслях всегда приписывал образованным девицам? У нее, вне всякого сомнения, было очень умное и живое лицо, но присущие девушке скромность и застенчивость чудесным образом смягчали его выражение и придавали ему нежное очарование. Как правильны были черты ее лица! Как чист и безоблачен лоб, ясный, словно просвет осеннего неба, сколько прелести в очертании ее губ, похожих на свежие розовые лепестки; они сомкнуты, но слова трепещут на них, готовые сорваться. До сих пор Гора еще никогда не видел вблизи одежду современных женщин и осуждал новую моду, по существу не зная ее. Сегодня же сари, поновому драпировавшее изящную фигурку Шучориты, показалось ему восхитительным. Одну руку она положила на стол. Эта рука, выглядывавшая из широкого, присборенного у запястья рукава блузки, словно несла Горе вдохновенный призыв ее нежного сердца.

Неярко горела настольная лампа, стоявшая рядом с Шучоритой. При ее мягком, спокойном освещении комната с затаившимися по углам тенями, с картинами на стенах, с удобной красивой мебелью приобрела вдруг в глазах Горы странное очарование, словно она стала уже не просто комнатой, а олицетворением домашнего очага и уюта, созданного прикосновением искусных и заботливых женских рук. Что-то теплое и живое кос-

нулось сердца Горы, и вслед за этим горячая волна прихлынула и сладкой истомой обволокла его сердце. Никогда еще не испытывал он подобного чувства.

Гора пристально смотрел на девушку. Вся она, начиная от небрежных завитков волос на висках и кончая каймой сари, касающегося пола, казалась ему воплощением новой, чрезвычайно важной для него истины; он не сводил с нее глаз, он видел ее всю, и в то же время ни одна черточка, ни одна деталь не ускользала от его внимательного взгляда.

Некоторое время после ухода Харана все смущенно молчали. Первым нарушил молчание Биной.

— Вы помните, о чем мы с вами говорили в прошлый раз? — обратился он к Шучорите.— Ну так вот, было время, когда я, как и многие другие, верил, что для нашей страны, для нашего общества, для нас самих нет никакой надежды, что мы никогда не достигнем совершеннолетия и Англия вечно будет нашим опекуном, что какие бы то ни было перемены к лучшему невозможны и что бороться против могущества англичан и против глубокого невежества нашего общества немыслимо. Большинство наших соотечественников и до сих пор продолжает так думать. Подобные мысли делают одних людей алчными, других — апатичными. Вот почему средний бенгалец ни о чем, кроме служебной карьеры, не думает, а у богатого весь смысл жизни заключается в том, чтобы добиваться от правительства всяких титулов и званий. У нас нет никаких перспектив — прожили день, и ладно... оттого мы и не строим никаких планов, да для этого у нас и нет никаких оснований. Одно время я серьезно подумывал поступить на государственную службу, воспользовавшись протекцией отца Горы, но Гора так на меня напустился, что я живо пришел в себя.

Заметив, что последние слова Биноя несколько удивили Шучориту, Гора сказал:

— Не подумайте, что я возражал потому, что был зол на правительство. Нет, дело в том, что люди, состоящие на государственной службе, очень часто приписывают себе власть, принадлежащую государству, начинают гордиться своим могуществом и образуют класс, который стоит особняком от всего остального населения. С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в этом. У меня есть родственник, помощник судьи, теперь он уже в отставке. Так вот, пока он еще работал в суде, окружной судья, англичанин, часто упрекал его: «Бабу, почему вы так часто выносите оправдательные приговоры?» На это он неизменно отвечал: «Для этого у меня есть веская причина, сахиб.

Для вас подсудимые, которых вы отправляете в тюрьму, немногим выше собак и кошек. А мне они братья». В те дни у нас было немало людей, которые решались говорить такие благородные слова, были и английские судьи, которые выслушивали и понимали их. Но с каждым днем лакейская ливрея все сильнее привлекает людей, и теперешний судья-бенгалец тоже смотрит на своих соотечественников, как на собак. На опыте доказано, что чем выше поднимается он как чиновник, тем ниже опускается как человек. Его опора — чужие, пришельцы, поэтому он невольно начинает смотреть сверху вниз на свой народ, а это неизбежно кончается тем, что он становится несправедливым по отношению к этому самому народу. Ни к чему хорошему это не ведет!

И Гора так ударил кулаком по столу, что в лампе заметался язычок пламени.

— Гора, этот стол не собственность правительства,— улыбнулся Биной,— а лампа принадлежит Порешу-бабу.

Гора громко расхохотался, и смех его разнесся по всему дому. Шучорита была удивлена и в то же время немало обрадована тем, что Гора понимает шутку и может по-детски, безудержно смеяться. В ее представлении люди, посвятившие себя великим идеям, были начисто лишены этого качества...

Гора говорил в этот день о многом, и хотя Шучорита слушала его молча, одобрение, которое он читал в ее глазах, все больше воодушевляло его.

— Мне хочется, чтобы вы запомнили одну вещь,— обратился он наконец непосредственно к Шучорите.— Глубоко заблуждаются люди, которые считают, что стать такими же сильными, как англичане, мы сможем лишь в том случае, если будем стараться уподобиться им буквально во всем. Такое подражание приведет нас к тому, что мы и от одних отстанем, и к другим не пристанем. Нужно помнить, что Индия — страна особенная: у нее своя сила и своя правда; она достигнет успеха и сохранит самобытность только в том случае, если пойдет собственным путем. Если мы, изучая английскую историю, не сумели понять этого, значит, мы ничему не научились. Я прошу вас: слейтесь с Индией, примите ее со всеми ее достоинствами и недостатками. Если вы натолкнетесь на уродливые стороны, старайтесь исправлять их своими силами. А главное, не полагайтесь на чужое мнение, постарайтесь увидеть своими глазами, понять, передумать, почувствовать себя частицей Индии. Вы никогда ничего не поймете, если будете настроены против нее, если, с детства проникшись христианскими идеями, предпо-

чтете смотреть на Индию со стороны. В этом случае вы лишь причините ей новые страдания и ничем не сумеете помочь.

Слова «я прошу» прозвучали в устах Горы, как приказ. В них заключалась такая сила, что согласия собеседника не требовалось. Сердце Шучориты учащенно билось; опустив голову, слушала она страстные слова молодого человека, обращенные к ней. Она не понимала, что, собственно, с ней происходит. Она никогда не думала, что «Индия» — это древний исполин, долго накапливавший силы в своем одиночестве, причудливо вплетающий свою особую нить в канву прошлой и будущей истории человечества. И только сегодня, слушая сильный, уверенный голос Горы, она вдруг поняла, как тонка и изящна эта нить и какими нерасторжимыми узами связывает она Индию с грядущими мировыми потрясениями. Внезапно ей открылись нелепость и убожество жизни тех индийцев, которые не сознают своей связи с этим гигантом и не готовы, если нужно, пожертвовать ради счастья Индии собой. Это неожиданное прозрение помогло ей побороть свою застенчивость.

— Я никогда прежде не думала об Индии так глубоко и так правильно,— просто сказала она.— Но мне хочется задать вам один вопрос — каково отношение между родиной и религией? Разве религия — это не пробудившийся Дух страны?

Для слуха Горы вопрос, заданный нежным голосом Шучориты, прозвучал музыкой. А выражение ее огромных глаз придало ему особенную прелесть.

— Пробудившийся Дух страны неизмеримо больше ее самой и все же проявляется в ней. Всевышний выразил свою вечную сущность в многообразии форм. И те, кто утверждают, что истина — едина и, следовательно, истинна только одна религия, упускают из вида ту истину, что истина безгранична. Именно благодаря существованию огромного множества разных религиозных учений, мы и в состоянии осознать все многообразие и всю безграничность верховного существа. Уверяю вас, можно увидеть солнце и через открытое окно Индии и для этого незачем переплывать океан и усаживаться у окна христианской церкви!

— Вы хотите сказать, что у Индии свой особый путь познания всевышнего? В чем же особенность этого пути?

— А вот в чем,— ответил Гора.— Все сходятся на том, что верховное существо, не обладая конкретной формой, проявляется в то же время в беспредельном множестве конкретных форм. Оно и в воде, и в земле, и в воздухе, и в огне, и в душе, и в со-

знании, и в любви. Оно в великом и в малом, в материальном и в духовном. Оно многолико и безлико, многообразно и едино. Немало мудрых людей пытались постичь его и проникнуть в его тайну. В некоторых странах бога стараются представить себе как нечто ограниченное и определенное. Такое стремление порой наблюдается и у нас в Индии, но мы никогда не утверждали, что наше представление единственно правильное. Никто из верующих Индии не станет опровергать того факта, что бог в своей бесконечности превосходит все представления о нем.

— Не станут опровергать просвещенные люди, а как насчет невежественных? — спросила Шучорита.

— В любой стране невежественные люди не понимают, что такое истина,— этого отрицать я не стану.

— Но разве у нас это непонимание не зашло дальше, чем в других странах?

— Возможно, но это происходит потому, что, стремясь всесторонне постичь сущность религии — ее материю и дух, ее внутреннее содержание и внешнюю сторону, ее плоть и душу,— кое-кто начинает отвергать духовное, признавая только материальное, и в своем невежестве приписывает этому материальному совершенно не присущие ему странные свойства. Мы не настолько глупы, чтобы отказаться от удивительных, разнообразных, вдохновенных путей, которыми шла Индия, пытаясь познать дух, плоть и дела того, кто воплощает истину во всех ее проявлениях,— будь то сфера конкретного или отвлеченного, материального или духовного, ощутимого или воображаемого — и предпочесть им ограниченный, схоластический эклектизм атеизма и теизма Европы восемнадцатого века. Вы, верно, думаете обо мне — этот человек хоть и выучил английский язык, но ничему не научился. Вам ведь с детских лет внушали совершенно другие понятия. Если же в вас когда-нибудь родится желание познать истинную природу Индии, постичь ее истинное назначение, если вы сумеете проникнуть в самую суть ее бытия, сквозь все предрассудки и уродства нынешней жизни, тогда... что я могу еще сказать... тогда в вас заговорит национальное чувство, и вы обретете свободу.

Шучорита сидела, задумавшись, и Гора продолжал:

— Не считайте меня фанатиком, и особенно из числа наших скороспелых ортодоксальных индуистов. Я вижу глубокую и величественную связь во всем том, что переживает и к чему стремится Индия; созерцание этого приводит меня в настоящий восторг, и я не чувствую ни малейшего смущения, сталкиваясь

с самыми нищими, самыми темными нашими соотечественниками. Не всем, увы, дано слышать этот великий зов Индии, но это не мешает мне ощущать свое неразрывное единство со всем народом ее, сознавать, что этот народ принадлежит мне, так же как я принадлежу ему. И я ни на секунду не сомневаюсь в том, что именно в народе постоянно проявляется таинственный, извечный дух Индии.

Мощный голос Горы, казалось, сотрясал весь дом.

Трудно было ожидать, что Шучорита поймет все, что хотел сказать Гора, но первые проблески неминуемого прозрения всегда воспринимаются остро, и сейчас, словно впервые осознав, что мир человека не ограничивается пределами его семьи или общины, она испытывала неясное болезненное чувство.

Больше на эту тему они не говорили — на лестнице послышались быстрые шаги и громкий девичий смех. Это вернулся Пореш-бабу с Бародашундори и девушками, и встретивший их Шудхир уже принялся за свои обычные шутки.

Войдя в комнату и увидев Гору, Лолита и Шотиш постарались умерить свое веселье, Лабонне же, не в силах сдержать смех, повернулась и стремглав кинулась вон из комнаты. Шотиш подбежал к Биною и начал что-то шептать ему на ухо, а Лолита пододвинула стул поближе к Шучорите и села, почти спрятавшись за ее спиной.

Следом за ними вошел Пореш-бабу.

— Меня немного задержали,— сказал он.— А Пану-бабу уже ушел, как я вижу...

Шучорита промолчала, и Биной ответил за нее:

— Да, он куда-то спешил.

— Нам тоже пора идти,— сказал Гора и, поднявшись с кресла, почтительно поклонился Порешу-бабу.

— Мне так и не удалось поговорить с вами сегодня. Заходите к нам, когда у вас будет время,— сказал Пореш, обращаясь к Горе.

Гора и Биной направились к выходу, но в этот момент в дверях показалась Бародашундори. Молодые люди поздоровались с ней.

— Как, вы уже уходите? — воскликнула она.

— Да,— коротко ответил Гора.

— Но вас, Биной-бабу, я не отпущу,— обратилась Бародашундори к юноше.— Оставайтесь обедать. Мне нужно поговорить с вами.

Шотиш подпрыгнул от радости и, схватив Биноя за руку, закричал:

— Да, ма, не отпускай Биноя-бабу, пусть он переночует у нас сегодня.

Видя, что Биной стоит в нерешительности, Бародашундори обратилась к Горе:

— Вы непременно хотите увести с собой Биноя-бабу? Разве он вам так уж нужен?

— Нет, что вы,— поспешно возразил Гора,— ты оставайся, Биной, а я пошел.

И он быстро вышел из комнаты.

Пока Бародашундори спрашивала у Горы разрешение Биною остаться, Биной не удержался и искоса взглянул на Лолиту. Девушка стояла отвернувшись, и на губах ее играла улыбка. И хотя Биной не мог сердиться на Лолиту за ее вечные поддразнивания, ему стало не по себе. Когда он вернулся к своему стулу и сел, Лолита заметила:

— А знаете, Биной-бабу, с вашей стороны было бы куда разумнее сбежать.

— Почему?

— Ма кое-что замышляет против вас. Для спектакля, который мы собираемся поставить на празднике у судьи, не хватает одного актера, и она твердо решила, что вы нас выручите.

— Силы небесные! — встревожился Биной.— Но ведь я же не смогу!

— Я так и сказала ма,— улыбнулась Лолита.— Я сказала, что ваш друг ни за что не позволит вам участвовать в этом спектакле.

Биной проглотил эту пилюлю.

— Мой друг здесь ни при чем,— возразил он,— во всех своих шести предыдущих жизнях я ни разу не играл на сцене,— зачем же выбирать именно меня?

— Вы, вероятно, думаете, что мы играли?

В это время в гостиную вернулась Бародашундори, и Лолита сказала ей:

— Я же тебе говорила, ма, что бесполезно просить Биноя-бабу принять участие в спектакле. Сначала нужно получить согласие его друга, и только потом...

— Но дело тут вовсе не в моем друге,— в полном отчаянии перебил ее Биной,— просто у меня нет никаких сценических способностей.

— О, пусть это вас не смущает,— успокоила его Бародашундори,— мы вам поможем. Неужели вы думаете, что эти девчонки сумеют играть, а вы нет? Это же просто смешно...

Все пути к отступлению были отрезаны.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На этот раз Гора изменил своей обычной стремительной походке. Очутившись на улице, он медленно, с рассеянным видом пошел к своему дому, но вскоре бессознательно свернул в сторону и побрел по направлению к Ганге. В те времена руки алчных торговцев еще не коснулись этих мест: рельсы железной дороги не безобразили берег реки, над водой не нависали пролеты мостов, и дымное дыхание шумного города не загрязняло неба. Казалось, волны реки доносили до пыльной, шумной Калькутты мир и тишину, царившие среди горных вершин далеких Гималаев.

Красотам природы еще никогда не удавалось привлечь внимание Горы. Занятый собственными мыслями, он не замечал ничего вокруг — ни земли, ни воды, ни неба,— ничего, что не имело непосредственного отношения к его деятельности.

Но сегодня красота бездонного темного неба, мерцавшего тысячами звезд, нашла путь к сердцу юноши, он увидел зеркальную гладь реки, в которой отражались огоньки стоявших у причала пароходов, заметил окутанные густым мраком деревья на противоположном берегу и всевидящее око Юпитера, спокойно взиравшего на всю эту картину сверху.

Сегодня величавое спокойствие природы словно овладело Горой. Ему казалось, что огромная ночь дышит в такт биению его сердца. До сих пор природа терпеливо ждала; но вот растворилась дверца в душе юноши, и она мгновенно захватила эту доверчиво распахнувшуюся, незащищенную крепость. Прежде он не нуждался в близости природы, для него существовал лишь его собственный мир, наполненный его мыслями, его делами. Что же произошло с ним сегодня? Что-то заставило его приблизиться к природе вплотную, новыми глазами взглянуть на нее, и в ответ он ощутил теплую ласку спокойной темной реки, ее погруженных в непроницаемый мрак берегов, необъятного черного неба и почувствовал, как открывается этой ласке его душа.

Из какого-то сада до него донесся аромат незнакомых цветов; словно дуновением легчайшего ветерка, коснулся он встревоженного сердца Горы; река манила его вдаль, в неведомые края, где можно отдохнуть от тяжких человеческих трудов, где на берегах безлюдных озер сплетают кроны деревья, осыпанные чудесными цветами, отбрасывающими таинственные тени, где так прекрасно небо, где дни подобны открытому взгляду наивных глаз, а ночи — теням, отброшенным стыдливо опущенными

ресницами. Волна нежности нахлынула на Гору, подняла, закружила и повлекла в извечные глубины чувств, неведомых ему до той поры. Ликование и боль охватили его. Сейчас, в эту осеннюю ночь, когда он в полной отрешенности стоял на берегу реки, всматриваясь в туманные звезды, прислушиваясь к неясным городским шумам, ему казалось, что он ощущает присутствие таинственной, неуловимой силы, которой подчинена вся вселенная. За то, что он так долго не признавал ее власти, природа отомстила ему, опутав своими волшебными сетями: неразрывными узами соединив с землею, водой, небом, оторвав от всего, что еще недавно составляло его жизнь.

Недоумевающий, взволнованный, Гора опустился на ступеньку безлюдной в этот час пристани. Снова и снова спрашивал он себя, чем вызваны эти внезапные чувства, что они дадут ему, какое место займут в его жизни, посвященной великой цели? Может быть, они враждебны ей? Может быть, с ними нужно бороться и победить?..

Гора с силой сжал кулаки, но в это мгновение вспомнил ласковый вопрошающий взгляд больших глаз, исполненных нежности и понимания, и ему показалось, что прекрасные легкие пальцы коснулись его руки. Несказанная радость пронзила его, все сомнения и колебания показались вдруг такими незначительными по сравнению с тем удивительным чувством, которое пережил он во мраке этой ночи. Он боялся вспугнуть его и продолжал сидеть на берегу — не шевелясь, не думая о том, что его ждут...

Когда поздно вечером Гора вернулся домой, Анондомойи спросила его:

— Почему ты так задержался, дорогой? Ужин давно уж остыл.

— Не знаю, ма, я долго сидел на набережной.

— Вместе с Биноем?

— Нет, я был один.

Анондомойи удивилась. Она не знала случая, чтобы Гора до глубокой ночи предавался мечтам, сидя на берегу Ганги. Такое раздумие отнюдь не было в его характере. Анондомойи внимательно наблюдала за ним, пока он ел, и по лицу Горы поняла, что он взволнован и чем-то обеспокоен.

— Я думала, что ты пошел к Биною,— сдержанно сказала она, помолчав немного.

— Нет, мы вместе с ним были у Пореша-бабу.

Ответ Горы насторожил Анондомойи, и немного погодя она решилась задать сыну еще один вопрос:

— Ты со всеми там познакомился?

— Со всеми, без исключения.

— Если я не ошибаюсь, девушки в этой семье решаются выходить к гостям?

— Да, и очень охотно.

В другое время в тоне Горы обязательно звучало бы раздражение, но теперь его не было, и это снова заставило Анондомойи задуматься.

Проснувшись на следующее утро, Гора, который обычно совершал омовение не теряя ни минуты, торопясь сразу же заняться своими дневными делами, на этот раз медлил. Он рассеянно подошел к окну, выходившему на восток, и, распахнув его, остановился. Переулок, где находился их дом, упирался в широкую улицу, на углу которой стояла школа. Вековой джам рос во дворе школы. Сейчас его листва была окутана тончайшей дымкой утреннего тумана, сквозь который неясно алело восходящее солнце. Гора стоял и смотрел на восход. Вот растаял туман, и яркие лучи солнечного света, подобно сверкающим штыкам, пронзили пышную крону дерева. Улицы оживали, наполняясь прохожими и шумом городского транспорта.

В конце переулка показались Обинаш и еще несколько студентов. Усилием воли Гора стряхнул оцепенение, охватившее его. «Нет, так нельзя!» — убежденно сказал он себе и выбежал из комнаты.

Он резко упрекал себя за то, что оказался не готов к приходу товарищей. Прежде подобной оплошности с ним не случалось. Этот, казалось бы, пустяк больно задел его самолюбие, и он твердо решил впредь не ходить в дом Пореша и постараться выбросить из головы все мысли об этой семье, даже если бы для этого потребовалось не видеться некоторое время с Биноем.

Приятели собрались к нему обсудить план задуманного похода. В конце концов было решено, что они пойдут по дороге вдоль берега Ганги, пойдут без денег, рассчитывая исключительно на радушие и отзывчивость людей, с которыми им доведется встретиться в пути.

Когда решение было окончательно принято, Гора пришел в восторг. Сильнейшая радость овладела им при мысли о том, что ему удастся сбросить с себя все оковы и вырваться на волю. Уже само сознание того, что они пускаются в рискованное предприятие, казалось, высвободило сердце из опутавших его тенет. Словно школьник, отпущенный на каникулы, Гора чуть ли не вприпрыжку выбежал из дому, чтобы сделать все необходимые приготовления к походу, повторяя снова и снова, что чувства,

охватившие его,— пустой обман и что истина заключается только в труде.

В это время к дому, бормоча молитвы, подходил Кришнодоял. На плечи у него был накинут чадор, испещренный именами богов, в руках он держал кувшин со священной водой Ганги. Гора чуть не столкнулся с ним и, смутившись, нагнулся, чтобы коснуться его ног в знак извинения.

— Оставь, оставь! — заторопился Кришнодоял и в замешательстве быстро отошел от Горы, прикосновение которого, до утренней молитвы, сводило на нет его омовение в Ганге.

Гора никогда не замечал, что отец старательно избегает именно его прикосновений. Он просто считал, что Кришнодоял в своей боязни осквернить доходит до крайности и старается избежать любых прикосновений. Ведь держал же он на расстоянии даже Анондомойи, как будто она была отверженной, и уклонялся от всяких контактов с Мохимом. Изо всех членов семьи он допускал к себе только дочь Мохима — Шошимукхи. Он заставлял ее заучивать санскритские тексты и посвящал в таинство разных обрядов.

Когда Кришнодоял отшатнулся от него, Гора только усмехнулся про себя: сказать правду, поведение отца постепенно привело к тому, что отношения их стали совсем далекими, и вся привязанность Горы сосредоточилась на матери, которую он считал необыкновенной женщиной, хоть и не одобрял ее вольного отношения к священным законам.

После завтрака Гора связал в небольшой узел смену белья, прикрепил его за спиной на манер английских туристов и отправился к матери.

— Ма, я хочу уйти на несколько дней. Отпусти меня, пожалуйста.

— Куда же ты идешь, милый?

— Я и сам еще не знаю.

— У тебя какие-нибудь дела?

— Не такие, которые мы обычно подразумеваем под этим словом. Поход сам по себе будет делом.

И так как Анондомойи ничего не ответила, он добавил:

— Ма, прошу тебя, не отказывай мне. Как будто ты меня не знаешь. Не бойся, я не сделаюсь саньяси и не стану бродягой. Ведь долго прожить без тебя я все равно не смогу. Ты же это знаешь...

Гора никогда прежде не говорил матери о своих чувствах к ней и сейчас немного смутился. Обрадованная Анондомойи

увидела его замешательство и поспешила прийти ему на помощь.

— Ты, конечно, идешь вместе с Биноем? — спросила она.

— Ну вот... ты считаешь, что без охраны Биноя твоего Гору обязательно похитят! Нет, ма, Биной не пойдет с нами. Я пойду один, вернусь цел и невредим и докажу на деле, что твоя слепая вера в Биноя не имеет под собой никаких оснований.

— Но ты будешь сообщать мне о себе?

— Приготовься к тому, что не буду,— тебе же будет приятнее, если ты все-таки получишь вдруг от меня весточку. Не беспокойся, никто не позарится на твоего Гору. Это только для тебя я такое сокровище. Ну, а если кого-нибудь соблазнит мой узелок, я преподнесу его в подарок и вернусь домой — жизнь за него отдавать я не собираюсь, можешь быть спокойна на этот счет.

Гора низко склонился и взял прах от ног матери. Она опустила ему на голову руку и потом приложила пальцы к губам. Отговаривать его она не стала. Анондомойи никогда ничего не запрещала только оттого, что была раздражена или из страха перед воображаемыми несчастиями. За свою жизнь она повстречала немало всяких трудностей и опасностей и неплохо знала мир, в котором жила. Она отнюдь не была труслива и, отпуская Гору, вовсе не боялась, что он попадет в беду. Однако еще накануне вечером она с тревогой поняла, что в душе ее сына произошел какой-то перелом. Она чувствовала, что внезапный уход Горы связан с этим.

Вскинув на спину узел, Гора вышел на улицу и почти сразу же столкнулся с Биноем, который бережно нес в руках две пунцовые розы.

— Ну, Биной,— засмеялся Гора,— на этот раз я на деле проверю, хорошая или плохая примета встреча с тобой.

— А что, ты разве отправляешься в странствие?

— Да.

— Куда?

— Пусть эхо ответит тебе «куда»,— с улыбкой сказал Гора.

— Ничего другого сказать ты мне не можешь?

— Нет. Иди к ма, от нее все узнаешь. А я пошел.

И он быстро зашагал.

Биной пошел на женскую половину дома, поклонился Анондомойи и положил розы к ее ногам.

— Откуда они у тебя? — спросила она, наклоняясь, чтобы поднять их.

Биной не ответил на ее вопрос.

— Как только у меня появляется что-нибудь прекрасное, мне в первую очередь хочется сложить это к твоим ногам, ма,— сказал он и добавил: — Но ты чем-то обеспокоена сегодня.

— Почему ты так решил? — спросила Анондомойи.

— Ты забыла предложить мне пан.

Когда Анондомойи исправила свою оплошность, они уселись рядом и принялись болтать. Никаких предположений, чем вызван внезапный уход Горы, сделать Биной не мог.

— Так вы, значит, вчера вместе были у Пореша-бабу? — спросила Анондомойи.

Биной во всех подробностях рассказал об их вчерашнем посещении, и Анондомойи выслушала его с глубоким вниманием.

Наконец Биной собрался идти домой.

— Ма, могу ли я взять назад розы, после того как ты дала им свое благословение? — спросил он.

Анондомойи рассмеялась и протянула ему цветы.

«Конечно, эти розы удостоились такого почета отнюдь не потому, что они красивы,— подумала она,— за их ботанической природой скрывается природа куда более серьезных вещей».

После ухода Биноя Анондомойи еще долго размышляла над тем, что она узнала от него, и усердно молила бога, чтобы он оградил Гору от всех несчастий и укрепил его дружбу с Биноем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

С этими цветами была связана целая история.

Накануне вечером, уже после того как Гора один ушел от Пореша-бабу, Биной, получив предложение принять участие в предстоящем спектакле, очутился перед трудной дилеммой. Лолита вовсе не была в восторге от этого представления и ко всей затее относилась весьма холодно, тем не менее она во что бы то ни стало хотела втянуть в нее и Биноя. Ее раздражал Гора, и она испытывала странное желание заставлять Биноя поступать наперекор ему. Она и сама не смогла бы ответить, почему ей так невыносима мысль, что Биной находится у Горы в подчинении. Как бы то ни было, она чувствовала что тогда только успокоится, когда вырвет Биноя из-под влияния его друга. По-

этому, когда Биной отказался принять участие в представлении, она, задорно тряхнув головой, спросила его:

— А что, собственно, дурного в этом спектакле?

— В спектакле, может быть, и нет ничего дурного,— ответил Биной.— Но мне не нравится то, что он состоится в доме судьи.

— Не нравится вам самому или еще кому-нибудь?

— Я не считал бы себя вправе говорить за кого-то еще,— сказал Биной,— чтобы повторять чужие мысли, нужно знать, что за ними кроется. Может быть, вам кажется это неправдоподобным, но я всегда говорю то, что думаю сам, хотя, случается, пользуюсь для этого чужими словами.

Лолита только усмехнулась и ничего не ответила. Немного погодя, однако, она снова обратилась к нему:

— Ваш друг Гора-бабу, наверно, думает, что отклонить приглашение судьи — большое геройство. Вероятно, он считает это одним из способов борьбы с англичанами?

— Право, не знаю, что думает по этому поводу мой друг,— вспыхнул Биной.— Про себя же скажу, что я действительно так считаю. Что же это, если не один из способов борьбы? Довольно трудно сохранять чувство собственного достоинства и в то же время униженно принимать приглашения тех, кто, поманив пальцем, думает, что оказал нам тем самым большую честь.

Лолита была горда по природе, и поэтому ответ Биноя ей очень понравился. Но так как ей не очень хотелось признавать свою неправоту, она принялась язвить и подтрунивать над Биноем.

В конце концов Биной сказал:

— К чему весь этот спор? Почему вы не скажете прямо: «Я хочу, чтобы вы участвовали в спектакле!» Тогда у меня хоть будет удовлетворение, что я поступился своими принципами ради того, чтобы исполнить вашу просьбу.

— Вот еще,— возразила Лолита,— и не подумаю! Если у вас действительно есть какие-то определенные принципы, с какой стати вы будете отказываться от них из-за меня... Конечно, в том случае, если они у вас действительно есть.

— Хорошо, пусть будет так! — сказал Биной.— Будем считать, что никаких определенных принципов у меня нет,— раз уж мне не разрешается поступиться ими ради вас. В таком случае позвольте мне заявить, что я признаю свое поражение в споре и соглашаюсь принять участие в спектакле.

В это время в комнату вошла Бародашундори. Биной тотчас же поднялся.

— Я готов участвовать в спектакле,— сказал он.— Скажите, пожалуйста, где я могу получить свою роль?

— Ну, на этот счет можете не тревожиться,— ответила очень довольная Бародашундори.— Мы все сделаем. Все, что от вас требуется, это аккуратно посещать репетиции.

— Прекрасно! Ну, а сейчас я попрощаюсь с вами.

— Нет, нет! Вы должны поужинать у нас.

— Сегодня я попросил бы вас отпустить меня.

— Нет, Биной-бабу,— настаивала Бародашундори,— это невозможно.

В конце концов Биной остался, но на этот раз он не чувствовал себя в доме Пореша-бабу легко и непринужденно, как прежде. Даже Шучорита казалась сегодня какой-то рассеянной и почти все время молчала. Она не принимала никакого участия в разговоре Лолиты и Биноя и, пока они спорили, встала и начала ходить из одного угла веранды в другой. Что-то явно нарушилось в гармонии их всегдашних отношений.

Уходя домой, Биной сказал вдруг ставшей серьезной Лолите:

— Ну и везет же мне — и побежденным себя признал, а улыбки от вас так и не заслужил!

Ничего не ответив, девушка повернулась и вышла.

Лолита никогда не плакала по пустякам, почему же сегодня слезы то и дело навертывались ей на глаза? Что случилось? Почему она, не щадя усилий, старалась уколоть Биноя и добилась лишь того, что ей самой стало больно и грустно?

Пока Биной отказывался, Лолита проявляла большую настойчивость, стремясь заставить его согласиться, но стоило молодому человеку изменить свое решение, как весь ее пыл моментально угас. Доводы, которые приводил он, вставали у нее в уме, и мысль о том, что они были, пожалуй, совершенно справедливыми, не переставала мучить ее.

«Как он мог согласиться только потому, что я попросила его об этом? — с тоской спрашивала она себя.— Что значит для него мое желание? Может быть, он сделал это просто из вежливости? Очень мне нужна его вежливость!»

Из-за чего же, собственно, мучилась она сейчас? Ведь она проявила максимум энергии, чтобы заставить Биноя участвовать в спектакле. Какое же право имела она злиться на него за то, что он уступил ей, пусть даже из вежливости? Лолита осыпала себя упреками, и со стороны могло показаться, что она придает всей этой истории слишком уж большое значение. Обыкновенно, если ее что-нибудь мучило, она сразу бежала за

сочувствием к Шучорите, но сегодня Лолита не пошла к сестре — не пошла потому, что сама не понимала толком, отчего так стучит ее сердце и к глазам подступают слезы.

На следующий день Шудхир преподнес Лабонне букет цветов, среди которых были две великолепные красные розы. Лолита взяла букет и вытащила из него розы.

— Что ты делаешь? — закричала Лабонне.

— Я не выношу, когда такие чудные цветы соединяют с другими. Смешанные букеты вообще варварство.

Лолита развязала букет и расставила цветы по разным вазам, а розы оставила себе.

— Диди, откуда ты взяла эти цветы? — закричал вбежавший Шотиш.

Но Лолита пропустила его вопрос мимо ушей и сама спросила мальчика:

— Ты не собираешься сегодня к своему приятелю?

До этой минуты Шотиш и не думал о Биное, но сейчас при одном упоминании о нем он так и запрыгал.

— Пойду, пойду, конечно, пойду!

Ему не терпелось скорей побежать к Биною, но Лолита удержала его.

— А что ты там делаешь?

— Мы разговариваем,— веско ответил Шотиш.

— Биной-бабу подарил тебе столько картинок,— продолжала Лолита, показывая головой,— пора бы и тебе отнести что-нибудь ему в подарок.

Биной вырезал из английских журналов картинки и приносил их Шотишу, а мальчик завел себе специальный альбом и наклеивал их туда. Ему так не терпелось поскорее заполнить альбом, что у него разгорались глаза на все картинки — даже в дорогих книгах,— и за эту жадность на его голову обрушивалось немало упреков от сестер.

Мысль о том, что в этом мире всякое даяние требует воздаяния, неприятно поразила Шотиша. Ему нелегко было расстаться с каким-нибудь из сокровищ, хранившихся в старой жестяной коробке. Лолиту позабавило встревоженное лицо мальчика, и, ласково потрепав его по щеке, она со смехом проговорила:

— Ладно, ладно, нечего так волноваться. Отнеси ему эти цветы, и дело с концом.

Обрадованный тем, как просто все разрешилось, Шотиш взял розы и немедленно отправился выполнять долг дружбы. Биноя он встретил на улице.

— Биной-бабу, Биной-бабу! — еще издали закричал маль-

чик. Он спрятал цветы под курточкой и, подбежав к своему другу, спросил:

— А ну угадайте, что я вам принес?

Когда же Биной, по обыкновению, угадать не смог, Шотиш достал розы.

— О, какая прелесть! Только, Шотиш-бабу, откуда ты их взял? Они ведь не твои! Как бы мне не угодить в полицию за укрывательство краденого!

Шотиш заколебался, цветы ведь и в самом деле были не его. Но, подумав, он ответил:

— Нет, почему? Мне эти розы дала Лолита-диди и сказала, чтобы я подарил их вам.

Все разъяснилось, и Биной простился с мальчиком, пообещав прийти к ним вечером.

Биной до сих пор остро чувствовал обиду, которую нанесла ему вчера вечером Лолита. Он почти никогда ни с кем не ссорился и не понимал, почему у кого-то может возникнуть желание говорить ему неприятности. Сначала он считал, что Лолита во всем подражает Шучорите, и не задумывался над ее отношением к нему, но с некоторых пор он стал испытывать к ней приблизительно то же чувство, какое испытывает слон к погонщику, вооруженному анкушем. Главной задачей Биноя стало всеми силами стараться умилостивить Лолиту и добиться хоть минуты покоя самому. Но вчера, даже после того как он вернулся домой и лег в постель, ее насмешливые, язвительные замечания продолжали звучать у него в ушах и долго не давали заснуть.

«Лолита считает, что я всего лишь тень Горы,— думал он.— Что я совершенно лишен собственного мнения, и за это она презирает меня. Но ведь это неправда, я вовсе не тень Горы!»

Мысленно Биной приводил массу доводов в доказательство своей самостоятельности, но беда в том, что это было совершенно бесполезно, ведь Лолита ни в чем прямо его не обвиняла и в споры с ним по этому поводу не вступала. Он очень многое мог бы сказать в свою защиту, но такого случая ему не представлялось — вот это-то и было самое обидное. И в довершение всего, даже когда он заявил, что считает себя побежденным в споре, Лолита не выказала никакой радости, чем окончательно расстроила Биноя.

«Неужели я действительно такое ничтожество»,— с горечью думал он.

И конечно, он был несказанно рад, узнав от Шотиша, что

цветы посланы ему Лолитой. Он понял, что они посланы как залог мира, в знак принятия его капитуляции.

Первой мыслью Биноя было отнести розы домой, но потом он подумал: «Нет, это цветы примирения, и я понесу их матери. Пусть она освятит их своим прикосновением».

Вечером того же дня Биной отправился в дом Пореша-бабу. Лолита проверяла, как Шотиш приготовил заданные в школе уроки.

— Красный цвет — цвет войны, цветы же примирения должны быть белыми,— сказал Биной, подходя к Лолите.

Лолита удивленно посмотрела на молодого человека, словно не понимая, о чем идет речь. Тогда Биной вынул из-под чадора букет белых олеандров и протянул их девушке.

— Как ни красивы ваши розы,— сказал он,— на их лепестках лежит алый отблеск гнева. Мои цветы не сравнятся с ними по красоте, но их скромный белый наряд олицетворяет покорность, а потому — прошу вас — соблаговолите принять их.

Лолита вспыхнула. Даже кончики ушей у нее покраснели.

— О каких моих цветах вы говорите?

Биной растерялся:

— Может быть, я ошибся. Шотиш-бабу, чьи цветы ты мне подарил?

— Как чьи? — обиженно ответил Шотиш.— Лолита-диди дала их мне и приказала отдать...

— Отдать кому? — настаивал Биной.

— Вам, конечно.

Лолита покраснела еще больше и толкнула Шотиша в спину.

— Вот глупый мальчишка,— сказала она.— Разве ты сам не хотел подарить Биною-бабу цветы, чтобы отблагодарить его за картинки?

— Да, но ведь это ты сказала, чтобы я отдал ему цветы,— оправдывался ничего не понимавший Шотиш.

Лолита чувствовала, что с каждой минутой запутывается все больше и больше. Конечно, Биной понял, что цветы послала ему она, понял он и то, что она ни за что не хотела признаться в этом.

— Хорошо,— сказал Биной.— Я уступаю — вы не посылали мне роз. Но все, что я сказал о своих цветах, остается в силе. Я дарю их вам в знак нашего примирения.

— Я не помню, чтобы мы с вами ссорились,— покачав головой, ответила Лолита.— И не понимаю, о каком примирении может идти речь?

— Выходит, что все это, с начала до конца, моя фантазия,— воскликнул Биной.— Ни ссоры, ни цветов, ни примирения — ничего этого не было. Хорошо же я обманулся — думал, что принял позолоту за чистое золото, а оказывается, и позолоты-то не было. Вы уговаривали меня принять участие...

— В этом случае вы ничуть не ошиблись,— прервала его Лолита.— Только при чем тут ссора? Почему вы вообразили, что, споря с вами, я преследовала тайную цель заставить вас выступить в этом спектакле. Вы согласились, и я этому рада — вот и все! Но если у вас были серьезные причины не хотеть этого, зачем было соглашаться на чьи бы то ни было уговоры?

С этими словами Лолита вышла из комнаты. Все получилось наоборот! Еще утром она твердо решила признаться Биною в том, что была неправа, и попросить его отказаться от участия в спектакле, но с самого начала все пошло шиворот-навыворот.

У Биноя же создалось впечатление, что Лолита не простила ему вчерашних возражений и сердится, думая, что — несмотря на свое согласие — в глубине души он по-прежнему настроен против спектакля. Биной был очень огорчен тем, что она приняла все это так близко к сердцу, и дал себе слово избегать в будущем всяких разговоров на этот счет, даже шутливых. Он решил, что приложит все силы к тому, чтобы сыграть свою роль хорошо и не дать повода упрекать себя в безразличном отношении к делу.

Шучорита с самого утра сидела одна у себя в комнате и пыталась читать английскую книгу под названием «По стопам Христа». Сегодня она не могла заставить себя заняться обычными делами. Она пыталась читать, но мысли ее то и дело устремлялись куда-то вдаль, буквы начинали расплываться перед глазами, и тогда, сердясь на свою рассеянность, девушка усилием воли принуждала себя с удвоенным вниманием браться за книгу.

Один раз Шучорите показалось, что она слышит голос Биноя-бабу. Она положила книгу на стол и совсем было собралась выйти в гостиную. Но в следующее мгновение, не желая самой себе сознаться в том, что книга интересует ее очень мало, она снова села и углубилась в чтение, заткнув уши, чтобы не слышать посторонних звуков.

В это время в комнату вошла Лолита. При виде ее расстроенного лица Шучорита воскликнула:

— Что с тобой?

Лолита резко тряхнула головой.

— Ничего.

— Ты где была все это время?

— Пришел Биной-бабу, он, кажется, хочет поговорить с тобой.

Шучорита не решилась спросить, пришел ли Биной один или нет. Конечно, если бы кто-нибудь пришел вместе с ним, Лолита сама сказала бы ей об этом... И все же подавить волнение она не могла. Как бы то ни было, долг гостеприимства нужно было выполнять прежде всего, а потому, отбросив колебания, она направилась в гостиную.

— А ты не пойдешь? — спросила она сестру, остановившись в дверях.

— Иди, иди,— нетерпеливо ответила Лолита.— Я приду после.

Войдя в гостиную, Шучорита застала там только Биноя, болтавшего с Шотишем.

— Отца нет дома, но он скоро вернется,— сказала она,— а ма повела Лабонне и Лилу к учителю, который помогает им разучивать роли. Одна Лолита дома. Ма просила, чтобы вы не уходили, не дождавшись ее. Вы тоже, наверно, будете сегодня репетировать?

— А разве вы не участвуете в спектакле?

— Ну, если все будут актерами, кому же быть зрителями? — пошутила Шучорита.

Бародашундори неизменно старалась отстранить Шучориту от участия во всякого рода светских развлечениях; так и сейчас она сделала все, чтобы не допустить девушку блеснуть своими талантами.

В другое время хозяйка и гость нашли бы достаточно тем для разговоров, но сегодня что-то мешало им, и беседа не клеилась. Шучорита вошла в гостиную с твердым намерением не заводить обычного разговора о Горе. Нелегко было заговорить о нем и Биною, раз уж — как ему казалось — Лолита, да, возможно, и все остальные в этом доме, считали его всего лишь слепым последователем своего друга.

И прежде случалось, что сначала приходил Биной, а потом уж Гора, поэтому и сегодня Шучорита все время была в каком-то напряженном ожидании. Она боялась прихода Горы и в то же время беспокоилась, что он может не прийти.

Обменявшись несколькими незначительными замечаниями, Шучорита и Биной умолкли. Чтобы заполнить как-то пустоту неловкого молчания, девушка взяла альбом Шотиша и стала указывать брату на недостатки в размещении картинок и в конце концов добилась того, что вывела мальчика из терпения.

Обиженный Шотиш заспорил с ней, а Биной печально смотрел на свои отвергнутые олеандры, так и оставшиеся лежать на столе, и думал: «Она должна была взять мой букет хотя бы из простой вежливости».

Послышались чьи-то шаги. Шучорита обернулась и, увидев входящего Харана-бабу, вздрогнула. Испугавшись, что ее волнение ни для кого не осталось тайной, она залилась краской. Харан-бабу уселся в кресло и обратился к Биною:

— Что же это не видно вашего Гору-бабу?

Биной рассердился на Харана за этот неуместный вопрос.

— А он вам нужен? — резко спросил он.

— Нет,— ответил Харан,— но вы ведь почти неразлучны. Потому я и спросил.

Это замечание еще больше раздражило Биноя, и, чтобы как-нибудь не выказать своего неудовольствия, он коротко ответил:

— Гора уехал из Калькутты.

— Отправился проповедовать, вероятно? — усмехнулся Харан.

Гнев Биноя все возрастал, но он сдержал себя и ничего не ответил. Внезапно Шучорита встала и молча направилась к дверям. Харан-бабу пошел было за ней, но не догнал и только крикнул ей вслед:

— Шучорита, мне нужно поговорить с вами.

— Я скверно себя чувствую,— ответила девушка, ушла и заперлась у себя в спальне.

Вскоре приехала Бародашундори. Она позвала Биноя в другую комнату, чтобы объяснить, что ему надлежит делать в предстоящем спектакле. Во время его отсутствия цветы исчезли со стола в гостиной. Лолита в этот вечер на репетицию так и не явилась. Не вышла из своей комнаты и Шучорита. До поздней ночи сидела она в одиночестве у окна и задумчиво смотрела в темноту ночи. Книга «По стопам Христа» раскрытая лежала у нее на коленях. Шучорите казалось, что перед ней, словно мираж, возникла какая-то неведомая прекрасная страна. Все в этой стране было незнакомо ей, ничто не напоминало прошлой жизни; огни, сиявшие там, подобные ярким четкам звезд во мраке ночи, наполняли ее душу благоговением, и ей казалось, что она очутилась на пороге разгадки тайны дальних миров.

«Как бессодержательна, как мелка, оказывается, была моя жизнь,— думала она,— то, что я считала непреложным, наполнилось вдруг сомнениями. То, что являлось предметом каждодневных забот, потеряло вдруг всякий смысл. Может быть, в

этой неведомой стране всякое знание действительно будет совершенным, всякий труд благородным, и истинное значение жизни наконец откроется мне. Кто подвел меня к таинственным вратам этой чудесной, загадочной, грозной страны? Почему так бьется мое сердце?.. И почему ноги отказываются служить мне, когда я хочу сделать шаг вперед?..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Благодаря репетициям Биною приходилось ежедневно бывать в доме Пореша-бабу. При его появлении Шучорита вскидывала на него глаза и сразу же углублялась в чтение или удалялась к себе. Хотя ей и было досадно, что Биной приходит один, она ни о чем его не спрашивала. Между тем дни шли, и ее обида на Гору становилась все сильнее. Ей казалось, что своим поведением в тот вечер он словно пообещал ей прийти еще раз.

Когда она узнала, что Гора совершенно неожиданно уехал из Калькутты неизвестно куда и зачем, она попыталась отнестись к этому равнодушно и забыть о нем, однако мысль о его внезапном исчезновении не давала ей покоя. Была ли она занята чем-то или просто так сидела с рассеянным видом, она постоянно ловила себя на мысли о нем.

После того разговора с Горой у Шучориты и мысли не было, что он может исчезнуть. Несмотря на то, что Гора и она по-прежнему расходились во взглядах, от нее не укрылось, что в тот вечер он отстаивал свои убеждения без прежнего воинственного задора. Шучорита вряд ли ясно поняла точку зрения Горы, но его самого она поняла очень хорошо. Ей стало ясно, что, каковы бы ни были его взгляды, он никогда не попытается умалить достоинства человека, унизить его и, наоборот, будет стремиться выделить все сильные стороны его души. Выскажи подобные взгляды кто-нибудь другой, и Шучорита ни за что не согласилась бы с ними, она рассердилась бы, сочла такого человека глупцом и, возможно, попыталась бы его переубедить. Но с Горой все было иначе. Его осанка, острый, проницательный ум, непоколебимая твердость убеждений, звучный, выразительный голос — все это придавало его словам особую силу и убедительность. В тот день Шучорита поняла, что человека, безоговорочно преданного своим идеалам, готового отдать за них жизнь, нельзя осуждать, как бы ни противоречили эти идеалы ее собственным убеждениям. Более того, она поняла, что такой человек заслуживает всяческого уважения и что она

обязана отнестись к нему с подчеркнутым уважением, даже если бы для этого потребовалось пренебречь мнением окружающих. Подобный образ мыслей был совершенно нов для нее, потому что, несмотря на пример спокойного, уравновешенного и терпимого Пореша, сама Шучорита отличалась крайней нетерпимостью к мнениям других. Виною тому был дух узкого сектантства, которым были проникнуты окружавшие ее с детства люди. В тот вечер она впервые поняла, что убеждения сами по себе не существуют, что они неотделимы от людей, и, поняв это, вдруг уловила таинственную природу чего-то очень значительного, без чего трудно понять жизнь. Теперь она уже не могла делить людей на тех, кто согласен с ее взглядами, и тех, кто с ними не согласен. Она поняла, что самое ценное в человеке — это его духовные качества, а вовсе не его убеждения.

И еще в тот вечер Шучорита почувствовала, что Горе приятно разговаривать с ней. Возможно, что его просто радовал удачный случай высказать свои мысли, а сама девушка к этому не имела ни малейшего отношения. Вполне вероятно, что люди не представляли для него никакой ценности, что, поглощенный своими идеями и устремлениями, он предпочитал держаться в стороне от них, и возможно, они были нужны ему только для проверки собственных мыслей.

Эти дни Шучорита особенно часто и много молилась и больше, чем когда-либо, ощущала потребность в поддержке Пореша-бабу. Однажды, когда он сидел в своей комнате и читал, она тихо вошла и села рядом с ним.

Пореш-бабу положил книгу на стол и спросил:

— Ты что, Радха, дорогая?

— Ничего, отец,— ответила девушка и начала перекладывать книги на столе, хотя они и так лежали в порядке. Немного погодя она спросила: — Отец, почему ты больше не занимаешься со мной?

Пореш-бабу ласково улыбнулся:

— Моя ученица выросла. Теперь ты сама можешь во всем разобраться.

— Нет, отец, я и теперь ничего, ничего не понимаю. Я хочу заниматься с тобой, как прежде.

— Хорошо,— согласился Пореш-бабу.— Давай начнем хоть завтра.

Шучорита опять помолчала, затем спросила:

— Отец, помнишь, что говорил тогда о кастовом делении Биной-бабу? Почему ты никогда ничего не рассказывал мне об этом?

— Родная, ты ведь знаешь, я всегда старался, чтобы вы научились думать самостоятельно, а не повторяли бы мои или еще чьи-нибудь мысли. Я считаю, что предлагать объяснения, прежде чем возникнет сам вопрос, все равно что кормить человека, не успевшего проголодаться,— все покажется ему несъедобным и невкусным. Но если ты захочешь спросить меня о чем-нибудь, задавай вопрос, и, как сумею, я всегда тебе на него отвечу.

— Ну так вот, скажи мне, почему мы осуждаем касты?

— Подумай сама: если кошка сидит рядом с тобой и ест, в этом не видят ничего дурного. Но если в это же время в комнату входит человек из другой касты, то считается, что пищу нужно выбрасывать. Как же можем мы мириться с кастовым делением, которое привело к такому презрению и оскорблению человека человеком? Как можем мы считать эти касты божественным установлением? Те, кто могут относиться с презрением к себе подобным, никогда не достигнут величия, потому что им неизбежно придется испытать на себе презрение других людей.

— Но ведь разложение, поразившее современное общество, породило множество всяких пороков,— возразила Шучорита, повторяя слова Горы.— Их отпечаток лежит на всем, что нас окружает. Так неужели же эти пороки могут заслонить от нас истину?

— Если бы я знал, в чем заключается эта истина, я мог бы ответить на твой вопрос,— со своим обычным спокойствием сказал Пореш.— Но я вижу лишь, что в моей стране создалось нетерпимое положение, когда один человек лютой ненавистью ненавидит другого, и что это разобщает и разделяет наш народ. Можно ли при таких условиях успокаивать себя рассуждениями о какой-то воображаемой истине?

И снова, как эхо, повторяя слова Горы, Шучорита возразила Порешу-бабу:

— Но разве абсолютное беспристрастие к людям не является высшим достижением нашего мироощущения?

— Беспристрастное отношение — это свойство ума, а никак не сердца. В беспристрастии нет места ни для любви, ни для ненависти, оно стоит выше склонности и предубеждения. Но ведь такое состояние лишает человеческое сердце всех его потребностей — оно чуждо ему. И в результате, несмотря на все эти прекрасные философские идеи, низшим кастам у нас не разрешен вход даже в храмы. А если равенство не соблюдается даже в местах поклонения богу, то не все ли равно, признана ли идея равенства нашей философией или нет?

Шучорита задумалась над словами отца, стараясь понять его. Наконец она сказала:

— Но, отец, почему ты не попытался объяснить все это Биною-бабу и его другу?

Пореш-бабу улыбнулся:

— Они не сознают этого вовсе не потому, что недостаточно понятливы, напротив, они слишком умны, чтобы желать понять: они предпочитают учить других. Но придет время, и у них явится желание познать все с точки зрения высшей правды, то есть справедливости, и тогда им не нужно будет обращаться за объяснением к твоему отцу. Теперь же, пока они смотрят на эти вещи с другой точки зрения, все, что бы я им ни сказал, будет совершенно бесполезно.

Хотя Шучорита слушала Гору с большим вниманием, согласиться с ним она не могла, и резкое расхождение в их взглядах очень огорчало ее и лишало внутреннего покоя. Сегодняшний разговор с Порешем-бабу разрешил сомнения, одолевавшие ее последние дни. Она не допускала и мысли, чтобы Гора, Биной — да и вообще кто бы то ни было — разбирались в чем-то лучше, чем Пореш-бабу. Больше того, она невольно начинала сердиться на тех, кто не соглашался с ним. Но теперь она уже не могла с прежним высокомерием отмахиваться и от того, что утверждал Гора, и это заставляло ее страдать. Потому-то она и испытывала последнее время постоянное желание укрыться под крылышком Пореша-бабу, как делала это в детстве. Она встала со стула, дошла до двери, но затем снова вернулась к Порешу-бабу и, положив руку на спинку его кресла, попросила:

— Отец, возьми меня с собой на вечернюю молитву.

— Конечно, дорогая моя,— сказал Пореш-бабу.

Шучорита поднялась к себе в комнату, закрыла дверь и села в кресло. Она призвала на помощь всю свою силу воли, стараясь прогнать из памяти то, что говорил ей Гора. Но вдруг перед ее мысленным взором встало его лицо, дышавшее такой непоколебимой верой в свою правоту, что она невольно подумала: «Ведь речи Горы — не просто слова. В них он сам. Они обрели форму, движение, обрели жизнь... В них живет его пламенная вера в свою родину и мучительная любовь к ней. Нельзя доказать ему неправоту его взглядов и успокоиться. За этими взглядами стоит человек, и притом человек незаурядный».

Разве могла она оттолкнуть, прогнать его? Тяжелая внутренняя борьба шла в душе Шучориты, и, не в силах справиться с собой, она вдруг горько расплакалась. Гора был причиной

того, что ей так трудно, так тяжело сейчас, но его это ничуть не трогало — не задумываясь он мог уехать куда-то и покинуть ее. Эта мысль причиняла Шучорите острую боль, признаться в которой ей было бы нестерпимо стыдно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Было решено, что Биной прочтет на празднике поэму Драйдена «Могущество музыки», а девушки в соответствующих костюмах будут показывать в это время живые картины. Затем с декламацией и пением выступят и сами девушки.

Бародашундори неоднократно заверяла Биноя, что «они» позаботятся о том, чтобы хорошо подготовить его к выступлению. Сама она, правда, с трудом объяснялась по-английски, но рассчитывала на помощь некоторых своих друзей, прекрасно владевших языком. Однако уже на первой репетиции Биной поразил всех знатоков своим произношением и умением выразительно декламировать и лишил тем самым Бароду удовольствия ставить себе в заслугу обучение «этого новичка». Теперь даже те, кто едва замечал Биноя прежде, почувствовали к нему уважение. Сам Харан-бабу предложил ему сотрудничать в своей газете, а Шудхир стал уговаривать Биноя давать уроки английского языка в студенческом кружке, членом которого состоял он сам.

Что же касается Лолиты, то она испытывала полное смятение чувств. Ей и приятно было, что Биной не нуждается ни в чьей помощи, и в то же время досадно. Она боялась, что Биной, почувствовав уверенность в своих силах, уже не захочет ничему учиться у них и возгордится. Чего хотела она от Биноя? Что могло вернуть ей утраченный душевный покой? На эти вопросы она и сама не могла бы дать ясного ответа. В конце концов, раздражение ее стало искать выхода во всяких мелких придирках, мишенью которых неизменно был Биной. Лолита хорошо сознавала, что несправедлива к Биною, что ведет себя невежливо; ее мучило это, и она старалась сдерживаться, но достаточно было самого незначительного повода, чтобы пробудить в ней дух противоречия и желание совершить нечто необъяснимое и неожиданное.

И если раньше она изводила Биноя, пока он не согласился принять участие в спектакле, то теперь она делала все, чтобы заставить его отказаться. Но разве мог Биной без всякой причины заявить о своем отказе выступить сейчас, когда до

спектакля оставалось совсем немного времени, и тем самым фактически сорвать его? Кроме того, неожиданно открыв в себе актерское дарование, он, по всей вероятности, и сам увлекся предстоящим выступлением.

Кончилось дело тем, что Лолита решила сама отказаться участвовать в спектакле.

Бародашундори хорошо знала свою среднюю дочь и не на шутку испугалась.

— Что случилось? Почему? — спросила она.

— Просто у меня ничего не получается,— ответила девушка.

Надо сказать, что с тех пор, как участники спектакля поняли, что Биной далеко не так неопытен, как предполагалось, Лолита ни за что не хотела декламировать в его присутствии и вообще отказалась репетировать со всеми.

— Я буду заниматься сама, отдельно,— заявила она. И хотя это было весьма неудобно для всех остальных, она твердо стояла на своем, так что в конце концов пришлось смириться и проводить репетиции без нее.

И вдруг теперь, в последнюю минуту, она вообще отказалась участвовать. Бародашундори пришла в ужас. Она знала, что никакие ее доводы и убеждения ни к чему не приведут, и решила обратиться за помощью к Порешу-бабу. Обычно Пореш-бабу в мелких вопросах предпочитал не вмешиваться в дела своих дочерей, но он дал слово судье и чувствовал себя в некотором роде ответственным перед ним. К тому же времени до праздника оставалось немного, и менять что-либо было уже поздно.

Пореш позвал Лолиту и, положив руку ей на голову, сказал:

— Знаешь, дорогая, будет нехорошо, если ты теперь откажешься.

— У меня ничего не выходит, отец,— со слезами в голосе проговорила девушка.— Я не способна к этому.

— Тебе не поставят в вину, если ты не сумеешь как следует прочитать стихи, но если ты совсем откажешься выступить, будет нехорошо.

Лолита слушала молча, опустив голову.

— Начатое дело, девочка моя, нужно доводить до конца. Нельзя бросать его только потому, что задето твое самолюбие. Долг выше самолюбия. Может быть, ты все-таки постараешься?

Девушка посмотрела на отца.

— Я постараюсь,— сказала она твердо.

В тот же вечер, собравшись с духом, Лолита пришла на репетицию и провела свою роль с большим подъемом. Казалось даже, что в голосе ее звучит вызов. Биной впервые услышал, как она декламирует, и был поражен чистотой и правильностью ее выговора и выразительной манерой чтения. Он был восхищен сверх всякого ожидания; Лолита уже давно кончила читать, а голос ее все еще звучал у него в ушах.

Хорошие декламаторы производят на слушателей совершенно особенное впечатление. Они как бы впитывают в себя все очарование стихотворения. И как цветы раскрываются на ветках деревьев, так и стихи оживают только в мастерском исполнении чтеца, овладевшего их внутренним богатством.

С этой минуты Лолита стала в глазах Биноя как бы воплощением поэзии. До сих пор, беспрестанно отпуская язвительные шуточки и колкие замечания в адрес Биноя, она умудрялась держать его в состоянии постоянного раздражения, и, подобно тому как человек, у которого что-то болит, невольно думает о больном месте, Биной, представляя себе Лолиту, первым долгом вспоминал ее резкие выпады и ехидные усмешки. Его мысли о ней невольно ограничивались желанием понять, что вынудило ее сказать то-то или поступить так-то; и чем непонятнее было ее недовольство, тем сильнее мучился он, пытаясь найти разгадку. Он просыпался с мыслью о том, в каком настроении найдет сегодня Лолиту. Об этом же он думал каждый раз, подходя к дому Пореша. Если она была настроена милостиво, он облегченно вздыхал, но тут же перед ним возникала новая — и совершенно, очевидно, непосильная — задача, как бы продлить хорошее расположение ее духа.

Вот почему, после всех душевных волнений, декламация Лолиты произвела на Биноя такое сильное впечатление. Он был странно тронут и взволнован и в растерянности не находил слов, чтобы выразить ей свое восхищение. Но он и не осмелился бы обратиться к самой Лолите. В том, что его похвала обрадует ее, он отнюдь не был уверен, как не уверен был и в том, что к ней можно подходить с общей меркой,— похоже было, что нельзя,— и нельзя именно потому, что мерка эта была общей!.. Поэтому Биной отправился к Бародашундори и перед ней излил свой восторг, после чего Барода прониклась еще большим уважением к его уму и проницательности.

Но и на Лолиту собственный успех оказал удивительное действие. Едва она убедилась в своих силах, почувствовала, что уверенно ведет по волнам свой корабль, преодолевая трудности, как все ее раздражение против Биноя моментально

улеглось и желание мучить его исчезло бесследно. С этих пор она с большим увлечением начала готовиться к предстоящему спектаклю. Репетиции постепенно все больше и больше сближали ее с Биноем, и дело дошло до того, что она уже начала обращаться к нему за советом и поддержкой.

Перемена в отношении к нему Лолиты чудесным образом подействовала на Биноя. Он чувствовал, будто камень свалился у него с плеч. Его тянуло к Анондомойи, которая так хорошо понимала его шутки и мальчишеские выходки. В голове то и дело возникали новые мысли, которыми ему очень хотелось бы поделиться с Шучоритой, но последнее время они почти не виделись. Если представлялась возможность поболтать с Лолитой, он с радостью пользовался ею, но держал себя с девушкой по-прежнему настороженно, зная, как критически относится она к нему и к Горе. Поэтому в их разговоре не было простоты и непринужденности.

Лолита иногда спрашивала его:

— Почему вы всегда говорите книжными фразами?

— Я до сих пор только и делал, что читал книги,— отвечал Биной,—и, по-видимому, эти фразы навек отпечатались у меня в мозгу.

— А вы не старайтесь подбирать красивые выражения, говорите то, что думаете. Вы так витиевато выражаетесь, что невольно начинаешь сомневаться, свои ли вы высказываете мысли.

Теперь, прежде чем поделиться какими-нибудь мыслями с Лолитой, Биной внимательно проверял себя, стараясь упростить и сократить чересчур закругленные и цветистые фразы. И если случайная метафора все же срывалась у него при этом, ему становилось неловко.

Сама Лолита так и сияла, словно рассеялись наконец тяжелые тучи, омрачавшие ее небосклон. Перемена, происшедшая с дочерью, изумила даже Бародашундори. Лолита больше не спорила из-за всякого пустяка, как бывало прежде, и с охотой принималась за любое дело. У нее постоянно рождались блестящие идеи, как сделать предстоящий спектакль еще интереснее, и изобретательности ее, казалось, не было предела.

Но тут пыл ее пришел в столкновение с житейской расчетливостью Бародашундори, которую восторженная предприимчивость дочери и связанные с нею расходы смущали, кажется, не меньше, чем прежняя ее строптивость. Однако она не решалась нанести удар разыгравшемуся воображению дочери; Лолита всегда целиком отдавалась захватившей ее мысли, но,

стоило ей натолкнуться на противодействие, и она мгновенно потухала и теряла всякий интерес к начатому.

Часто случалось, что Лолита, вся во власти нового увлечения, прибегала к Шучорите, чтобы поделиться с ней своими планами и надеждами, но хотя Шучорита смеялась и шутила с ней, Лолита чувствовала в сестре какую-то отчужденность и в конце концов уходила к себе разочарованная и обиженная.

И вот как-то раз Лолита пошла к Порешу-бабу и сказала ему:

— Отец, почему Шучорита-диди сидит у себя и читает книги, пока мы все заняты этим спектаклем? Ведь это несправедливо! Она тоже должна выступить вместе с нами.

Пореш-бабу и сам уже заметил, что последнее время Шучорита стала отдаляться от своих сестер и подруг, и опасался, что такое настроение не полезно для молоденькой девушки. Слушая Лолиту, Пореш-бабу снова подумал о том, что необходимо заставить Шучориту принять участие в готовящемся развлечении, иначе как бы привычка замыкаться в себе не укоренилась в ней.

— Почему ты не поговоришь об этом с матерью? — сказал он Лолите.

— С ма я, конечно, могу поговорить, но вот убеждать Шучи-диди придется тебе, никого другого она не послушает.

Пореш-бабу, не медля, поговорил с Шучоритой и был приятно удивлен, когда она без всяких возражений согласилась с ним и сразу энергично взялась за дело.

Лишь только Шучорита покинула свое уединение, Биной постарался возобновить с ней прежние дружеские отношения, но это оказалось невозможным. Он не узнавал прежней Шучориты. Отсутствующий взгляд, рассеянное выражение лица удерживали Биноя на почтительном расстоянии; навязываться ей он не решался. Ее манеры и прежде были сдержанны и холодноваты, теперь же она стала держаться еще более неприступно, даже когда участвовала в репетициях вместе со всеми. Она послушно исполняла все, что от нее требовалось, и сразу же уходила.

Вначале отчужденность Шучориты болезненно задевала Биноя, человека общительного, которому трудно было мириться с безразличием тех, кто ему нравился. В свое время Шучорита уделяла ему так много внимания! А теперь вдруг, неизвестно почему, перестала даже замечать его! Биною было больно. Но как только он понял, что поведение Шучориты обижает не только его, но и Лолиту, он тотчас же успокоился, а его

дружба с Лолитой укрепилась еще больше. Биной не хотел давать Шучорите повода избегать себя и все же сам отошел от нее, заставив таким образом и девушку постепенно отдалиться.

Отсутствие Горы дало возможность Биною очень близко сойтись с семьей Пореша-бабу. С каждым днем он чувствовал себя все проще в их обществе и, становясь самим собой, вызывал все большую симпатию к себе и с их стороны. Это новое для него чувство ничем не ограниченной свободы радовало его. Так обстояли дела, когда он почувствовал, что Шучорита постепенно отдаляется от него. В другое время потеря ее дружбы явилась бы тяжелым ударом для молодого человека, но теперь он перенес это легко. Удивительно было и то, что и Лолита, отлично видя, как изменилась Шучорита к Биною, вовсе не огорчилась этим, как можно было бы ожидать. Впрочем, вполне возможно, она была слишком увлечена подготовкой к спектаклю и своей декламацией.

Узнав, что Шучорита тоже принимает участие в спектакле, Харан-бабу вдруг почувствовал к нему большой интерес. Он решил сам выступить и предложил прочитать отрывок из «Потерянного рая», а в качестве пролога к декламации стихов Драйдена сделать небольшой доклад на тему о власти музыки над человеком. Предложение Харана очень не понравилось Бародашундори, не обрадовало оно и Лолиту. Но Харан-бабу уже успел написать об этом судье и получить согласие. Так что, когда Лолита попробовала намекнуть, что судья, возможно, будет не очень доволен тем, что спектакль затянется, Харан-бабу с торжествующим видом достал из кармана благодарственное письмо судьи и пресек таким образом дальнейшие возражения.

Никто не знал, когда вернется Гора. Шучорита дала себе слово не думать о нем, но каждое утро она просыпалась с надеждой, что именно этот день будет днем его возвращения.

И вот как раз, когда она особенно остро чувствовала и безразличие Горы, и свою собственную растерянность и страстно искала выхода из создавшегося положения, Харан-бабу снова обратился к Порешу с покорнейшей просьбой официально объявить о его помолвке с Шучоритой.

— Но ведь вам придется еще долго ждать свадьбы,— возразил Пореш.— Разумно ли так спешить, связывая себя словом?

— Мне кажется, для нас обоих было бы полезно, если бы какое-то время мы могли привыкать друг к другу,— настаивал Харан.— Такое духовное общение было бы весьма благотворным для нас, как переходная ступень от простого знакомства к

супружеской жизни, как союз без обязанностей, без отягчающего чувства долга.

— Обо всем этом лучше было бы спросить Шучориту,— предложил Пореш-бабу.

— Но ведь она уже дала свое согласие раньше,— настаивал Харан.

Однако Пореш-бабу питал кое-какие сомнения относительно истинных чувств девушки и, позвав ее к себе, сообщил о предложении Харана-бабу.

В том состоянии, в каком находилась Шучорита, ей было безразлично, за что ухватиться, лишь бы дать покой своим взбаламученным чувствам, поэтому она согласилась без всяких колебаний и с такой готовностью, что все сомнения Пореша рассеялись. Он еще раз напомнил ей об обязательствах, которые налагает официальная помолвка, но, когда и это на нее никак не подействовало, сказал, что в таком случае день помолвки будет назначен сразу после праздника у судьи Браунло.

Некоторое время после этого разговора Шучорита испытывала большое облегчение, словно мысли ее вырвались из страшного плена. Твердо решив посвятить жизнь после замужества служению делу «Брахмо Самаджа», она стала усиленно готовиться к этому. Она взяла себе за правило ежедневно читать вместе с Хараном английские книги по вопросам религии, чтобы проникнуться его идеями и суметь впоследствии приспособить к ним свою жизнь, и при мысли о трудной и далеко не приятной задаче, которую она сама поставила перед собой, Шучорита чувствовала даже некоторое воодушевление.

Последнее время она не читала газеты, редактором которой был Харан-бабу, но через несколько дней после разговора с Порешем ей принесли свежий, только что из-под пресса номер, специально посланный, очевидно, самим редактором.

Шучорита взяла газету к себе в комнату и уселась в кресло с твердым намерением прочитать ее всю от начала до конца и, как подобает преданной ученице, безоговорочно принять все поучения, которые заключались в ней.

Но вместо этого она, как корабль, несущийся на всех парусах, наскочила вдруг на риф. В газете была помещена статья под названием «Маньяки прошлого», содержавшая ожесточенные нападки на тех современников, которые упрямо продолжают жить прошлым. Нельзя сказать, чтобы доводы автора были неубедительны. Шучорита и сама с удовольствием воспользовалась бы такими аргументами, защищая свою точку зрения. Но лишь только она прочла статью, ей сразу же стало

ясно, что мишенью для этих нападок был Гора. Правда, имя его не упоминалось и никаких ссылок на его статьи не было, и все же сомнений быть не могло. Подобно тому как солдат стремится, чтобы каждая пуля, посланная им, сражала врага, автор статьи со злобной радостью заботился только о том, чтобы каждое слово наносило рану невидимому противнику.

Самый тон статьи произвел отталкивающее впечатление на Шучориту. Она готова была в пух и прах разнести все доводы, приводившиеся в ней.

«Если бы Гоурмохон захотел,— думала она,— он бы камня на камне не оставил от всего этого «произведения». И снова перед ее мысленным взором предстало одухотворенное лицо Горы, и в ушах зазвучал его могучий бас. В сравнении с необыкновенной выразительностью этого лица и этого голоса сама статья и ее автор показались вдруг Шучорите такими жалкими и пошлыми, что она не выдержала и швырнула газету на пол.

Спустившись вниз в гостиную, девушка впервые после долгого перерыва сама подсела к Биною и завела с ним разговор.

— Да, а как насчет газет с вашими статьями и статьями вашего друга? — спросила она между прочим.— Ведь вы же обещали принести их мне почитать.

Биной не сказал Шучорите, что, смущенный происшедшей в ней переменой, он не решался исполнить свое обещание. Он только ответил:

— Я уже подобрал все газеты и завтра же принесу их вам.

На следующий день Биной явился к Шучорите с охапкой журналов и газет. Шучорита взяла их, но читать не стала, а сложила все в ящик стола. Не взялась же она сразу за чтение именно потому, что ей не терпелось сделать это. Она хотела прежде всего успокоить свое непокорное сердце, удержать его на правильном пути и заставить признать, что неоспоримая власть над ним принадлежит Харану-бабу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В воскресенье утром Биной отправился к Анондомойи. Анондомойи была занята приготовлением пана. Рядом с ней сидела Шошимукхи и крошила орехи бетеля, складывая их в аккуратные кучки. Как только Биной вошел в комнату, Шошимукхи вскочила, рассыпав по полу лежавшие у нее в подоле орехи, и выбежала из комнаты. Анондомойи улыбнулась.

У Биноя был дар легко сходиться с людьми. С Шошимукхи они были большими друзьями и очень любили подшучивать друг над другом. Девочка придумала прятать туфли Биноя и возвращала их только после обещания рассказать сказку. В отместку Биной рассказывал действительные события из жизни Шоши, сильно приукрашивая их всякими небылицами. Возмущенная его коварством, девочка обвиняла рассказчика в клевете, отчаянно спорила, стараясь перекричать его, и в конце концов спасалась бегством. Иногда она пыталась отплатить ему тем же и придумывала нелепую историю из его жизни, но в области фантазии ей было нелегко тягаться с Биноем.

Несмотря на это, стоило Биною прийти, как Шошимукхи немедленно бросала свои занятия и со всех ног бежала к нему играть. Когда она уж слишком надоедала Биною, Анондомойи приходилось ее останавливать, однако справедливость требует сказать, что обвинять в этом одну Шоши было нельзя — Биной напрашивался на неприятности сам, и очень охотно.

И вот теперь эта самая Шошимукхи сконфузилась при виде Биноя и убежала из комнаты. Анондомойи, правда, улыбнулась, но улыбка вышла невеселая. Да и Биной был так смущен этим, казалось бы, пустячным эпизодом, что некоторое время сидел молча. У него словно открылись глаза, и он понял, насколько неестественны, в сущности, были эти новые отношения с Шошимукхи. Давая согласие жениться на ней, он думал только о дружбе с Горой и совершенно упускал из виду, что у брака есть еще и другие, не менее важные стороны. Ведь он неоднократно писал статьи о том, что брак в Индии имеет общественное, а никак не личное значение, и не допускал и мысли, что к женитьбе можно подходить с точки зрения своей симпатии или антипатии. И только сегодня, когда смущенная Шошимукхи убежала, едва завидев своего предполагаемого жениха, Биной вдруг ясно представил себе, во что выльются их будущие отношения.

Впервые он совершенно отчетливо понял, что, безвольно следуя за Горой, зашел слишком далеко, и почувствовал досаду на друга. Горько упрекал Биной и себя самого. Тут он вспомнил, что Анондомойи с самого начала была против этой свадьбы, и сердце его наполнилось чувством глубокого уважения к ней, смешанного с восхищением и признательностью.

Анондомойи догадалась, что творится на душе у Биноя, и, чтобы отвлечь его от неприятных мыслей, сказала:

— Биной, я вчера получила письмо от Горы.

— Что он пишет? — рассеянно спросил молодой человек.

— О себе немного, все письмо о том, как тяжело живется у нас в Индии бедным людям. Он очень подробно описывает злоупотребления судьи в деревне Гхошпур.

Чувствуя, что в душе его поднимается раздражение против Горы, Биной вдруг вспылил:

— Гора всегда видит соломинку в чужом глазу. А вот когда мы сами ежедневно поступаем со своими соотечественниками и несправедливо и жестоко, он не только смотрит на это снисходительно, но даже еще называет такие поступки добродетельными.

Понимая, что горячая защита Биноем противников Горы объясняется его желанием излить свою досаду, Анондомойи улыбнулась.

— Ты вот смеешься, ма, удивляешься, наверно, почему это я вдруг так разозлился? Я скажу тебе почему. Недавно Шудхир пригласил меня в гости к одному своему приятелю, который живет за городом. Не успели мы отъехать от Калькутты, как хлынул дождь, и когда мы сошли на своей остановке, нашим глазам представилась такая картина: на перроне, раскрыв над головой большой зонт, стоял одетый по-европейски бенгалец и смотрел, как выходит из вагона его жена. Она держала на руках ребенка и кутала его своей шалью; самой же ей укрыться было нечем, и она, дрожа от холода и смущения, буквально сжалась в комок, а ее муж невозмутимо стоял под своим зонтиком, во всеуслышание отчитывая ее за что-то,— причем никто на станции не находил, по-видимому, в этом ничего необычного. В этот миг я подумал, что во всей Бенгалии не отыщется ни одной женщины, ни богатой, ни бедной, которая была бы как следует защищена от дождя и солнца. И я поклялся никогда не повторять ложь о том, что мы боготворим наших женщин и преклоняемся перед ними. Мы называем нашу страну «Мать-родина», но если мы не видим проявления ее женственного величия в женщинах, не видим в них полнокровного и яркого проявления ее разума и воли, ее щедрого служения делу, если мы не можем отрешиться от привычки видеть наших матерей и жен поглощенными домашними заботами, ограниченными, слабыми и безвольными, мы никогда не поймем, в чем же сила нашей родины.

И, внезапно устыдившись своего порыва, Биной обычным тоном добавил:

— Ма, ты, конечно, думаешь, что, по своему обыкновению, я решил прочитать тебе лекцию? Может быть, я и правда излишне пристрастен к громким словам и пышным фразам, но

только не сейчас. До сих пор я как-то не понимал, какое большое значение имеют женщины для судьбы каждой страны! Не понимал и не задумывался над этим... Ну, хватит, что-то я уж очень разболтался, ма. Я так много говорю, что никто не верит, будто я высказываю собственные мысли. Постараюсь в будущем больше помалкивать.

И Биной, волнение которого еще не совсем улеглось, ушел так же внезапно, как появился. Немного погодя Анондомойи позвала Мохима и сказала ему:

— Вот что, сынок, брак Биноя с нашей Шошимукхи не состоится.

— Почему? Ты что-нибудь имеешь против?

— Да, я против, потому что все равно из этого ничего не выйдет...

— Гора согласен, Биной согласен, а ты говоришь, что ничего не выйдет. Но, конечно, если начнешь возражать ты, Биной никогда не женится, в этом я уверен.

— Я лучше тебя знаю Биноя.

— Может быть, даже лучше, чем Гора?

— Да, и лучше, чем Гора. Я обдумала все и поняла, что своего согласия на этот брак дать я не смогу.

— Посмотрим, что скажет Гора, когда вернется.

— Мохим, послушай меня. Если ты будешь настаивать, неприятностей не миновать, уверяю тебя. Я не хочу, чтобы Гора снова поднимал этот вопрос и разговаривал с Биноем.

— Ладно, там видно будет,— ответил Мохим и, положив в рот кусочек пана, вышел из комнаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Вместе с Горой в поход отправились четыре его приятеля: Обинаш, Мотилал, Бошонто и Ромапоти. Но Гора, беспощадный и неутомимый в своем энтузиазме, оказался трудным товарищем, и через несколько дней Обинаш и Бошонто под предлогом нездоровья вернулись обратно в Калькутту. Что же касается Мотилала и Ромапоти, то только горячая преданность Горе не позволила им последовать примеру своих товарищей и оставить учителя одного. Но чего только не пришлось им претерпеть из-за своей верности! Дорога совершенно не утомляла Гору и не наскучивала ему, он мог оставаться в пути сколько угодно. Так же подолгу мог он жить в домах крестьян, с удо-

вольствием предлагавших кров странствующим брахманам,— пусть даже дома их были убоги и лишены всяких удобств. Послушать Гору сходились обычно все соседи и с большой неохотой отпускали его дальше.

Гора впервые видел, что представляла собой Индия, лежавшая за пределами богатого и просвещенного калькуттского общества. Деревня потрясла его своей разобщенностью, бессилием, темнотой; огромная и инертная, она совершенно не сознавала своей мощи и была безразлична к собственному благополучию. Какая страшная пропасть общинных предрассудков разделяла жителей деревенек, лежавших всего лишь в нескольких крошах одна от другой. Сколько воображаемых, ими самими созданных преград мешало им принимать участие в жизни страны, в жизни всего мира! Какими значительными представлялись им самые обыденные мелочи и нерушимыми все без исключения обычаи старины. Если бы не эта возможность своими глазами увидеть жизнь сельской Индии, Гора никогда не поверил бы, что люди, населявшие ее, так погрязли в косности, в убожестве, что они так потрясающе безвольны.

Однажды в деревне, где остановился Гора, случился пожар. Гора был поражен полнейшей неспособностью крестьян объединить свои усилия даже перед лицом такого страшного бедствия. Все перепуталось: люди бегали взад и вперед, суетились, кричали, плакали, но никому не приходило в голову установить хоть какой-то порядок. Ни колодцев, ни каких-либо других источников воды поблизости не было: воду для домашних нужд женщины приносили издалека. Но никому — даже зажиточным крестьянам — не приходила в голову мысль построить водохранилище и облегчить себе повседневную жизнь. Пожары случались и раньше, но все смотрели на них, как на наказание, посланное свыше, и не принимали никаких мер для их предотвращения. Им и в голову не приходило, что можно устроить так, чтобы вода была под рукой. Гора начинал понимать всю нелепость своих патриотических выступлений перед людьми, чье сознание, опутанное темными предрассудками, не реагировало даже на насущнейшие потребности.

Но больше всего удивляло Гору то, что Мотилал и Ромапоти не только не возмущались всем этим, но, наоборот, считали, по-видимому, совершенно неуместным его возмущение. Они полагали, что простые люди привыкли жить так и легко переносят то, что сами они сочли бы тяжкими лишениями. Его стремление сделать что-нибудь для улучшения жизни крестьян было в их глазах чистейшей воды сентиментальностью.

Для Горы же зрелище страшного гнета невежества, апатии и нищеты, тяготевшего равно и над богатыми и над бедными, над людьми просвещенными и темными и на каждом шагу задерживавшего их движение вперед, было источником постоянных мучений.

Вскоре Мотилал получил из дому какое-то неприятное известие и распрощался со своими спутниками. С Горой теперь остался один Ромапоти.

Как-то раз молодые люди пришли в мусульманскую деревню, расположенную на берегу реки. В поисках крова они обошли все селение, но нашли в нем только один дом, в котором жил индуист. Это был сельский цирюльник. Он почтительно предложил брахманам гостеприимство, но, войдя к нему в дом, они увидели среди прочих обитателей мальчика-мусульманина, приемыша цирюльника. Это чрезвычайно возмутило правоверного Ромапоти. Да и Гора тоже начал было отчитывать старика за его отступничество от законов индуизма, но тот возразил ему:

— А какая же разница, господин? Мы говорим «хари», а они «аллах», только и всего.

Между тем солнце поднялось высоко и жгло немилосердно. Река была далеко, чтобы добраться до нее, нужно было долго идти по раскаленному песку. Ромапоти мучила жажда.

— Где бы достать питьевой воды, пригодной для правоверных индуистов? — обратился он к Горе.

Во дворе был небольшой колодец, но пить воду из колодца отступника-индуиста Ромапоти не мог и продолжал сидеть с потемневшим от жажды лицом.

— А есть ли родители у этого мальчика? — спросил Гора старика.

— Родители-то у него есть; и мать и отец живы, но можно считать, что он сирота.

— Как так? — удивился Гора.

Тут-то цирюльник и рассказал историю появления у них мальчика.

Владелец земли, на которой стояла их деревня, отдал ее в аренду под плантации индиго, и плантаторы-англичане вечно оспаривали право крестьян возделывать плодородную землю вдоль берега реки. Все другие деревни уже давно уступили плантаторам, и только гхошпурцы все еще сопротивлялись, не желая уходить с насиженных мест. Все здешние жители — мусульмане, и глава их общины Фарусардар никого не боялся. За время этой распри Фарусардара уже два раза сажали в

тюрьму за сопротивление полиции, и он был доведен до такой нищеты, что семье его почти нечего было есть. Но он и слышать не хотел о том, чтобы покориться.

В этом году крестьяне успели снять первый урожай с плодородной наносной земли. Но недавно, месяца полтора назад, в деревню нагрянул англичанин-управляющий с бандой вооруженных дубинками людей и отобрал у крестьян весь урожай. Вот тогда-то, защищая своих односельчан, Фарусардар так ударил палкой управляющего по руке, что ее пришлось ампутировать. В этих краях и не слыхивали до сих пор о таких вещах...

С самого того дня полиция не перестает бушевать здесь. Полицейские совершают налеты то на одну, то на другую деревню, грабят, насилуют... спасения от них нет. Фарусардара и многих других бросили в тюрьму. Большинство жителей Гхошпура бежало. Особенно трудно семье Фару. Есть нечего, единственная одежда изорвалась в клочья, так что и на улицу показаться не в чем. Этот мальчик Гамиз — сын Фару, он всегда был привязан к жене цирюльника, называл ее «тетя». Ну и, конечно, узнав, что мальчик прямо с голоду помирает, она забрала его к себе.

Инспектор полиции со своим отрядом расположился в нескольких крошах от деревни. Никто не знает ни дня, ни часа, когда они могут нагрянуть в деревню и что они могут натворить здесь. Вчера, например, полицейские заявились к старому Назиму, соседу цирюльника. Шурин Назима пришел из другого округа навестить сестру. Полицейский инспектор увидел его и говорит: «А это что за драчун? Вишь, как грудь выпятил!» И ни с того ни с сего как хватит его дубинкой по лицу — разбил в кровь, вышиб зубы. Сестра увидела, что сделал этот зверь, бросилась к брату на помощь, но полицейские и ее избили. Прежде полицейские никогда не решались так бесчинствовать, но теперь, когда все здоровые мужчины или арестованы, или бежали из деревни, они знают, что могут безнаказанно расправляться со всеми, и окончательно распоясались. И никто не может сказать, долго ли они еще будут наводить ужас на всю округу...

Гора слушал рассказ цирюльника с напряженным вниманием. Ромапоти же, не в силах больше терпеть жажду, прервал старика на полуслове:

— А не живет ли тут поблизости кто-нибудь из индуистов?

— В конторе индиговой фабрики живет индуист — сборщик ренты, Мадхоб Чаттерджи. Это полтора кроша отсюда.

— А что он за человек? — спросил Гора.

— Дьявольское отродье — вот он кто! — ответил цирюльник.— Зверь, а не человек! Но зато стелет так уж мягко, дальше некуда. Полицейского инспектора поит, кормит, всячески ублажает, а денежки на это с нас сдерет, да еще и разницу в карман положит.

— Пошли, Гора,— снова нетерпеливо прервал его Ромапоти.— Я больше не могу...

Терпение его окончательно лопнуло при виде того, как жена цирюльника подвела этого паршивого мальчишку-мусульманина к колодцу и начала мыть, выливая на него кувшин за кувшином. Ромапоти так расстроился, что больше ни минуты не желал оставаться в этом доме.

Уходя, Гора спросил старика:

— Почему же ты остаешься в деревне, несмотря на все безобразия, которые творятся здесь? У тебя разве нигде нет родственников?

— Я всю свою жизнь прожил здесь, господин,— объяснил цирюльник,—к соседям привык. Я здесь единственный цирюльник-индуист, землю я не пашу, так что англичанам до меня дела нет. Ну, а потом, в деревне ведь никого из мужчин не осталось, если и я уйду, женщины умрут со страху.

— Ну, хорошо, мы пошли,— сказал Гора.— Но я еще вернусь, после того, как поем.

В голодном, изнемогающем от жажды Ромапоти весь этот бесконечный рассказ о притеснениях вызвал лишь бурное негодование против строптивых крестьян, которые сами были виноваты во всех несчастьях, обрушившихся на них.

«Упрямые безумцы! На кого руку подняли! — думал он.— До чего же доходит нахальство и глупость этих негодяев! Вот и получили по заслугам. Крестьяне вечно всем недовольны, и долг властей проучить их как следует. Должны слушаться, когда им хозяева приказывают. Не послушали — вот и результат! К чему привел их дурацкий мусульманский гонор?»

Одним словом, симпатии Ромапоти были целиком на стороне англичан.

Всю дорогу, шагая по раскаленному полуденным солнцем песку, Гора не произнес ни слова. Когда наконец из-за развесистых деревьев показалась крыша фабричной конторы, он вдруг остановился и сказал:

— Ты иди, Ромапоти, и постарайся достать себе еды, а я вернусь назад к цирюльнику.

— Что ты! — вскричал Ромапоти.— Разве ты не хочешь есть? Пойдем к этому брахману Чаттерджи, поедим у него, а потом иди к цирюльнику, если тебе так надо.

— Не беспокойся, я о себе позабочусь, а ты поешь и возвращайся в Калькутту. Думаю, что мне придется пробыть в Гхошпуре несколько дней, ты этого не выдержишь.

У Ромапоти на лбу выступил холодный пот. Он не верил своим ушам. Как мог Гора, благочестивый индуист, сказать, что он собирается ночевать в доме нечестивого. Может быть, он помешался? Или решил уморить себя голодом? Но у Ромапоти не было времени для размышлений: каждая минута казалась ему вечностью, и уговаривать его воспользоваться случаем и уехать в Калькутту долго не пришлось.

Простившись со своим спутником, Гора пошел обратно. Некоторое время Ромапоти стоял и смотрел ему вслед: высокий, крупный Гора шагал по пустынному берегу, и рядом с ним по горячему песку шагала его короткая тень. Каким одиноким казался он в эту минуту!

Гора страдал от жажды и голода, но чем больше думал он о том, что, соблюдая чистоту своей касты, он по правилам должен был бы воспользоваться гостеприимством бессовестного негодяя Чаттерджи, тем непереносимее становилась для него эта мысль. Лицо его пылало, глаза покраснели, голова раскалывалась от возмущенных дум...

«Какой непростительный грех совершаем мы, рассматривая чистоту касты как нечто внешнее. Неужели я сохранил бы эту чистоту, приняв угощение в доме человека, который притесняет и мучает мусульман, и, наоборот, осквернил бы свою касту, разделив еду с человеком, который не только страдал наравне с этими мусульманами, но еще и приютил мусульманского мальчика, рискуя прослыть нечестивым? Нет, что бы там ни говорили, согласиться с этим я не могу».

Цирюльник очень удивился, увидев, что Гора возвратился один. Как только молодой человек вошел во двор старика, он первым делом тщательно вымыл кувшин, достал из колодца воды и напился.

— Если у тебя есть немного рису, дай мне, пожалуйста, я сварю себе,— попросил он затем хозяина дома.

Старик поспешно принес все, что нужно, и Гора занялся приготовлением пищи. Поев, он сказал:

— Я поживу у тебя несколько дней.

Старик страшно взволновался, услышав это; он умоляюще сложил руки и сказал:

— Для меня было бы большим счастьем, если бы вы снизошли до этого. Но, бабу, мой дом находится под надзором полиции, и если они найдут вас здесь, трудно сказать, чем все это может кончиться.

— При мне полиция не посмеет никого тронуть... а если посмеет, то я сумею защитить тебя.

— Нет, нет,— умолял цирюльник.— Прошу вас, не делайте этого. Если за меня вступитесь вы, то я пропал. Ведь эти разбойники подумают, что я вас нарочно позвал к себе, чтобы иметь свидетеля против них. До сих пор мне удавалось держаться незаметно, но стоит мне попасться им на глаза, и житья здесь мне не будет. А если я уйду, то и всей деревне конец...

Гора вырос в городе, и ему было трудно понять, чего так боится старик. Он всегда воображал, что если твердо стоять за правду, то зло в конце концов будет обязательно побеждено. Чувство долга не позволяло ему покинуть на произвол судьбы беспомощных людей, попавших в беду. Но старик опустился перед ним на колени и слезно молил его:

— Господин, я понимаю, какая честь для меня, что вы, брахман, пожелали провести несколько дней у меня в доме,— то, что я прошу вас удалиться, очень нехорошо с моей стороны. Но я вижу, что вы действительно жалеете нас, только поэтому я и осмеливаюсь сказать вам: если вы, живя у меня в доме, попробуете заступиться за нас, полиция расправится со мною, лишь только вы уйдете.

Гора, рассерженный тем, что он принял за беспричинную трусость цирюльника, в тот же день к вечеру покинул деревню. Он даже испытывал отвращение при мысли, что ел в доме этого негодного вероотступника. Усталый и расстроенный, пришел он вечером в контору фабрики. Ромапоти там уже не было — он не теряя времени сразу же после обеда отправился в Калькутту.

Мадхоб Чаттерджи встретил Гору чрезвычайно почтительно и пригласил остановиться у него. Но Гора, все еще во власти своих гневных мыслей, резко сказал:

— Я у вас даже воды не напьюсь.

Изумленный Мадхоб осведомился о причине, и тут Гора обрушился на него с упреками, обвиняя в возмутительном поведении по отношению к крестьянам и в притеснении их. Сесть он наотрез отказался.

Тут же в конторе, развалившись на кушетке, сидел полицейский инспектор и курил трубку. Услышав запальчивые слова Горы, он выпрямился и грубо вмешался в разговор:

— А ты кто такой? Откуда взялся?

— А? Насколько я понимаю, это полицейский инспектор,— сказал Гора, не отвечая на вопрос,— твое поведение в Гхошпуре мне известно. Так вот, если ты не поостережешься...

— То что будет? Ты отдашь приказ перевешать всех нас? — с издевкой спросил инспектор и повернулся к своему приятелю.— Здорового наглеца удалось нам, кажется, зацапать. Я было думал, что это нищий, но ты только в глаза ему погляди!.. А? Эй, сержант!

Встревоженный Мадхоб поспешно подошел к полицейскому и, коснувшись его руки, сказал:

— Не горячись, инспектор! Ведь это благородный господин. Не надо его оскорблять.

— Хорош благородный! — вскипел полицейский.— Кто ему дал право набрасываться на тебя с руганью. Зачем он явился? Оскорблять нас, что ли?

— Но ведь в его словах есть доля истины,— елейным голосом возразил Мадхоб,— так чего уж тут сердиться? Я в наказание за грехи свои оказался на побегушках у англичан. Куда уж дальше идти? Ну, а разве это такое уж оскорбление — не в обиду тебе будь сказано — назвать полицейского инспектора дьявольским отродьем. Тигры затем и созданы, чтобы убивать и пожирать добычу, и никто не восхвалит их кротости. Ничего не поделаешь — каждый зарабатывает кусок хлеба как умеет.

Никто никогда не видел, чтобы Мадхоб вышел из себя, разве что это было ему на руку. Как угадаешь, кто может оказаться впоследствии полезным, а кто может наделать тебе гадостей. Поэтому он всегда взвешивал все «за» и «против», прежде чем оскорбить или обидеть кого-нибудь, и терпеть не мог зря тратить энергию.

— Вот что, господин,— сказал инспектор, обращаясь к Горе.— Мы сюда приехали по распоряжению губернатора и делаем то, что нам приказано. И, если вы хотите путаться не в свое дело, то неприятностей не оберетесь. Ручаюсь вам...

Гора молча вышел из комнаты. Мадхоб торопливо последовал за ним.

— То, что вы говорили, господин, сущая правда. Грязная у нас работа, ничего не скажешь. А уж что до этого мерзавца-инспектора, так с ним и сидеть-то рядом грех. Но теперь уж недолго мне терпеть. Поднакоплю денег дочери на приданое, а потом мы с женой поселимся в Бенаресе и посвятим себя служению богу. Мне и самому все это не знаю как надоело. Иногда просто руки на себя готов наложить... Но где же вы собираетесь ночевать сегодня? Оставайтесь у меня, поужинайте, вы-

спитесь. Я вас устрою отдельно, даже тень этого разбойника не падет на вас.

Судьба наделила Гору завидным аппетитом, к тому же весь этот злополучный день он почти ничего не ел и был очень голоден. Однако возмущение его еще не улеглось, и он ни за что не мог бы остаться здесь.

— У меня неотложное дело,— сказал он Мадхобу.

— Разрешите мне хоть послать слугу с фонарем, чтобы он проводил вас,— настаивал тот.

Но Гора, не слушая его, быстро зашагал прочь.

Вернувшись в дом, Мадхоб сказал инспектору:

— А этот человек, вероятно, важная птица. На твоем месте я сразу же послал бы кого-нибудь к судье.

— Зачем?

— Предупредить его, что в наших краях появился какой-то бабу, который, по-видимому, собирает свидетелей по этому делу против полиции.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Судья Браунло совершал свою ежедневную вечернюю прогулку по берегу реки; его сопровождал Харан. Немного поодаль за ними следовала коляска — в ней ехала жена судьи с дочерьми Пореша-бабу.

Мистер Браунло снисходил до того, что устраивал иногда небольшие приемы, на которые приглашал наиболее уважаемых из своих знакомых бенгальцев, он же раздавал всегда награды на торжественном акте в местной школе. Если его просили почтить своим присутствием свадьбу в каком-нибудь богатом доме, он милостиво соглашался поскучать часок-другой. Не отказывался он даже от приглашений на представление джатр. И, устроившись в удобном кресле, в течение некоторого времени терпеливо слушал песни, исполнявшиеся по ходу действия. В прошлом году, присутствуя на таком представлении в доме знакомого адвоката, он так восхитился сценой водоноса и подметальщицы, что даже попросил повторить ее.

Жена судьи была дочерью миссионера и любила собирать у себя за чашкой чая дам из миссии. Она основала в своем округе школу для девочек и заботилась о том, чтобы в этом учебном заведении не ощущалось недостатка в ученицах. Видя, как прилежно учатся дочери Пореша-бабу, она всегда хвалила

их, и даже сейчас, когда они уехали в Калькутту, регулярно писала им и на рождество посылала в подарок книги религиозного содержания.

Ярмарка уже открылась. К ее открытию приехали Бародашундори с дочерьми, а также Харан-бабу, Шудхир и Биной. Всех их устроили в правительственных бунгало. Пореш-бабу, не любивший шума и суеты, остался один в Калькутте. Шучорита попыталась было добиться позволения остаться с ним, но Пореш считал, что долг требует принять приглашение судьи, и настоял, чтобы девушка поехала вместе со всеми. Было решено, что спектакль состоится через два дня, после торжественного обеда в доме судьи. На этот вечер должны были приехать комиссар и губернатор провинции с женой; кроме того, судья пригласил немало своих друзей-англичан из Калькутты и ее окрестностей. Приглашения были посланы некоторым «избранным» бенгальским бабу, причем ходили слухи, что для их угощения будет отведена специальная беседка, где будет подаваться чай, приготовленный поваром-брахманом.

За короткое время Харан-бабу сумел завоевать расположение судьи. Англичанин был поражен чистотой речи молодого человека, его познаниями в области христианства и даже спросил, почему он до сих пор не принял эту религию.

В этот вечер, прогуливаясь по набережной, они вели серьезную беседу о деятельности «Брахмо Самаджа» и о том, как лучше подойти к вопросу о реформе индуистской общины. И тут неожиданно со словами: «Good evening, sir!» [1] — перед ними предстал Гора.

Гора еще накануне пытался увидеться с судьей, но быстро убедился, что без взятки слугам преодолеть барьер, отделяющий его от англичанина, невозможно. Не желая поощрять этот позорный обычай, он решил подкараулить судью во время прогулки и поговорить с ним. Ни Харан-бабу, ни Гора и виду не подали, что они знакомы.

Неожиданное появление Горы удивило судью. Он не мог припомнить, чтобы ему встречался где-нибудь этот высокий, широкоплечий, здоровенный бенгалец. Да и цвет кожи у него был необычный для индийца. На нем была рубашка цвета хаки с широкими рукавами, грубое, запылившееся дхоти, в руке он держал бамбуковую трость, чадор был обмотан вокруг головы в виде чалмы.

— Я только что из Чор-Гхошпура,— заявил Гора.

---

[1] Добрый вечер, сэр! *(англ.)*

Судья чуть слышно свистнул сквозь зубы. Еще вчера ему сообщили, что в Гхошпуре появился какой-то неизвестный и что он пытается мешать расследованию, проводимому полицией. Так вот, значит, это кто!

Острым взглядом он смерил Гору с головы до ног и спросил:

— Кто вы такой?

— Я бенгальский брахман.

— О! По всей вероятности, работаете в газете?

— Нет.

— Почему же вы вдруг очутились в Гхошпуре?

— Я знакомился с положением крестьян в окрестных деревнях. В Гхошпуре мы с приятелем решили отдохнуть. Увидев, до чего довела полиция своими притеснениями крестьян, и опасаясь еще худшего произвола в будущем, я решил попросить вас вмешаться.

— Известно ли вам, что крестьяне Гхошпура — настоящие разбойники?

— Нет, они не разбойники. Они смелые и независимые люди и молча сносить несправедливые притеснения не могут.

Судья пришел в ярость. Он решил, что этот юноша принадлежит к так называемым «новым бенгальцам», которым образование окончательно вскружило голову.

— Insufferable! [1] — пробормотал он про себя и добавил строгим тоном: — Вам совершенно неизвестны особые условия, которые существуют здесь...

— Но вам они, по-видимому, известны еще хуже! — прогремел в ответ Гора.

— Вот что,— холодно сказал судья,— предупреждаю, что если вы хотите вмешиваться в гхошпурские дела, то так просто вам это не пройдет.

— Поскольку вы настроены против крестьян и не собираетесь прекратить бесчинства полиции, мне не остается ничего другого, как вернуться в Гхошпур и попытаться убедить людей, что они сами должны бороться с притеснениями.

Судья резко повернулся к Горе.

— Вот как? — закричал он.— Наглец!

Ничего не ответив, Гора медленно пошел прочь.

— Что сталось последнее время с вашими соотечественниками? — с презрением спросил судья, обращаясь к своему спутнику.— Чем вы можете объяснить это, Харан-бабу?

---

[1] Невыносимо! *(англ.)*

— Это только показывает, что образование их недостаточно глубоко,— снисходительно пояснил Харан-бабу.— Никто не заботится об их духовном и нравственном воспитании, и в результате они оказались не в состоянии воспринять все лучшее, что есть в английской культуре. Слепая зубрежка и полное отсутствие моральных основ привели этих неблагодарных к тому, что они не понимают — не могут понять,— что английское правление ниспослано Индии самим провидением.

— Пока они не признают Христа, духовная культура будет недоступна этим людям,— наставительным тоном заметил судья.

— В известном смысле вы правы,— согласился Харан и пустился в умные рассуждения на тему, в чем он согласен и в чем расходится с христианской точкой зрения. Судья тоже увлекся этой беседой и не заметил, как пролетело время. Только когда жена, проезжая мимо, окликнула его: «Гарри, не пора ли домой!» (она уже завезла в бунгало дочерей Пореша-бабу и теперь возвращалась обратно) — он вдруг опомнился и взглянул на часы.

— Вот же черт! Уже двадцать минут девятого! Я очень приятно провел с вами вечер,— сказал он Харану, садясь в коляску и крепко пожимая ему руку.

Вернувшись в бунгало, Харан-бабу подробно рассказал о своей беседе с судьей, но о внезапном появлении Горы не обмолвился ни словом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Сорок семь крестьян были брошены в тюрьму без суда и следствия, просто так, чтобы нагнать страха на всех остальных.

После встречи с судьей Гора отправился на поиски адвоката. Он слышал, что лучший адвокат в этой округе некто Шаткори Халдар, и решил обратиться к нему.

Увидев его, Халдар воскликнул:

— Ба, Гора! Ты что тут делаешь?

Шаткори, как и думал Гора, оказался его старым школьным товарищем.

Гора объяснил, что хотел бы подать прошение судье об освобождении на поруки арестованных в Гхошпуре крестьян.

— А кто выступит в качестве поручителя? — спросил Халдар.

— Я, конечно.

— Разве ты сможешь внести залог за сорок семь человек?

— Если они согласятся отпустить крестьян на поруки, то требуемую сумму я готов внести.

— Для этого понадобится немало денег...

На следующий день в суд было подано прошение об освобождении крестьян на поруки. При первом взгляде на подателя — высокого юношу в пыльной одежде, с чалмой на голове — судья узнал в нем вчерашнего смельчака и без разговоров отказался принять прошение. В результате заключенные, среди которых были четырнадцатилетние мальчишки и восьмидесятилетние старики, должны были оставаться в тюрьме.

Гора попросил Шаткори взять на себя защиту этих несчастных.

— А где ты найдешь свидетелей? — возразил адвокат.— Все они сидят в тюрьме, а остальные так запуганы расследованием, которое велось после нападения на англичанина, что и пикнуть не смеют. Судья дошел до того, что подозревает в заговоре местную интеллигенцию. Если я возьмусь за это дело, он, возможно, станет подозревать и меня. Английские газеты все чаще пишут, что местному населению нельзя давать слишком много воли, иначе беззащитные, беспомощные англичане скоро не смогут жить за чертой города. Хотя пока что именно нам, индийцам, становится невозможно жить в своей собственной стране. Как будто я не знаю, как ужасен произвол, царящий вокруг, однако бороться с ним не в наших силах.

— Как это так не в наших? — вскипел Гора.— Неужели мы...

— Ты все такой же, как в школе,— улыбнулся Шаткори.— Да, не в наших, хотя бы потому, что нам приходится содержать семьи. Если мы лишимся возможности зарабатывать на хлеб, нашим женам и детям придется голодать. Кто станет рисковать жизнью детей, которых в каждой семье немало, ради того, чтобы вытащить кого-то из беды? Если на шее сидят своих десять человек, кому какое дело до десятка чужих?!

— Значит, ты ничего не хочешь сделать для них? — не унимался Гора.— Может быть, ты согласишься написать прошение в Верховный суд?..

— Брось,— нетерпеливо перебил его Шаткори.— Разве ты не понимаешь,— пострадал англичанин! А каждый англичанин представляет здесь своего короля, и нападение на самого захудалого, самого ничтожного из них рассматривается, как бунт против английского владычества. Я не намерен вступать в бой с существующей системой без всякой надежды на успех и навлекать на себя гнев судьи.

На следующий день Гора с утра отправился на станцию, он хотел успеть на поезд, отходивший в половине одиннадцатого в Калькутту, и попытаться найти там адвоката, который согласился бы взять на себя защиту ни в чем не повинных людей. Но по пути на станцию непредвиденное обстоятельство расстроило его планы.

В последний день ярмарки должен был состояться матч в крикет между местной командой и калькуттскими школьниками. Во время тренировки один из приезжих школьников получил сильный удар по ноге. Рядом со стадионом находился пруд; товарищи повели к нему пострадавшего, усадили его на берегу, разорвали на полоски чадор и, намочив в воде, стали бинтовать ногу. В это время откуда ни возьмись появился полицейский и принялся колотить школьников направо и налево, осыпая их площадной бранью. Калькуттцы не знали, что этот пруд принадлежал частному лицу и что пользоваться им запрещено, да если бы они и знали это, не в их обычае было сносить подобные оскорбления! Они были молоды, сильны и на оскорбительную выходку ответили должным образом. На шум драки прибежало еще несколько полицейских. Как раз в этот момент мимо проходил Гора.

Гора хорошо знал этих школьников — он сам не раз устраивал для них состязания в крикет,— и сейчас он со всех ног кинулся им на помощь.

— Негодяи! Не смейте их бить! — закричал он полицейским.

В ответ полицейские с руганью обрушились на него самого, и Гора, вооружившись палкой, кинулся в бой. Собралась толпа; на поле битвы со всех сторон сбежались школьники. Ободренные поддержкой Горы, они скоро обратили полицейских в бегство. Эта баталия доставила зрителям-прохожим немало веселых минут. Стоит ли говорить, однако, что для Горы все это кончилось весьма плачевно.

Часа в четыре дня, когда Биной, Харан и девушки репетировали у себя в бунгало, туда пришли два школьника, знавшие Биноя, и сказали ему, что Гора и несколько их товарищей задержаны полицией и что завтра на утреннем заседании суда будет слушаться их дело.

Гора под арестом! Это известие произвело ужасное впечатление на всех, кроме Харана. Биной немедленно побежал к своему старому школьному товарищу Шаткори Халдару. Вместе они отправились в полицейский участок, где сидел Гора.

Шаткори предложил Горе защищать его на суде и добиться освобождения на поруки, но тот решительно воспротивился.

— Нет, мне не надо адвоката, и я не хочу, чтобы меня брали на поруки,— твердо сказал он.

— Ты слышишь, что он говорит? — Шаткори повернулся к Биною.— Кто поверит, что Гора уже окончил школу? Здравого смысла у него прибавилось немного.

— Я вовсе не желаю, чтобы двери тюрьмы открылись передо мной только потому, что мне посчастливилось родиться в богатой и знатной семье,— сказал Гора.— Законы нашей страны гласят, что обязанность следить за правосудием в стране лежит на ее властелине. Ответственность за каждый несправедливый поступок падает на него. И если при нашем теперешнем правительстве приходится откупаться от тюрьмы, приходится тратить все состояние, чтобы добиться признания своих элементарных прав, то — поверьте — кто-кто, а я не истрачу и четверть пайсы на такое правосудие.

— При мусульманах люди головы закладывали, чтобы дать взятку,— возразил Шаткори.

— То была вина недобросовестных чиновников,— ответил Гора,— а вовсе не правителей — и теперь среди судей есть взяточники. Но при нынешних порядках разорение грозит каждому: истцу и ответчику, преступнику и невинному — всем, кому приходится обращаться за правосудием в суд своей страны. Ну, а в тех случаях, когда истцом является высшая власть, а ответчиком — люди вроде меня, судьи и адвокаты обязательно становятся на сторону власти и, следовательно, все, что я могу сделать, это положиться на волю судьбы. Если суд существует для того, чтобы справедливо решать все дела, то почему тогда интересы государства защищает специально назначенный адвокат? И наоборот, если участие адвоката в разбирательстве дела является непременным условием, то почему не назначается такой же адвокат для защиты интересов противной стороны? Что это — политика или один из приемов борьбы государства со своими подданными?

— Не горячись, Гора,— рассмеялся Шаткори.— Цивилизация обходится нам недешево. Для того, чтобы суд выносил мудрые решения, необходимо иметь мудрые законы, а мудрые законы открывают широкие возможности для торговли ими. Поэтому суды в цивилизованном мире обычно становятся рынками для купли и продажи правосудия. Причем тех, у кого денег мало, неизбежно надувают. Ну-ка, скажи мне, что бы ты предпринял, попади власть в твои руки?

— Если бы в моей стране действовали сверхмудрые законы, в тайну которых не могли бы проникнуть даже умнейшие высокооплачиваемые судьи, то я, по крайней мере, предоставил бы за счет правительства опытных адвокатов и той и другой стороне. И уж не стал бы похваляться превосходством своих судов над могольскими или патанскими, принуждая в то же время своих несчастных подданных нести непосильные расходы, если им хочется добиться справедливости.

— Понятно,— сказал Шаткори.— Но поскольку это благословенное время еще не наступило и власть пока еще не в твоих руках, а наоборот, ты сам находишься перед судом цивилизованного правительства, то приходится тебе или потратить денежки, или согласиться на то, что какой-нибудь приятель-адвокат будет защищать тебя даром. Всякое другое решение не сулит тебе ничего хорошего.

— Что будет, то будет,— решительно сказал Гора,— а я и пальцем не пошевелю, чтобы улучшить свое положение. Пусть мой жребий ничем не отличается от жребия других бедняков этой страны.

Биной принялся уговаривать Гору быть благоразумнее, но тот не слушал его. Он только спросил:

— А ты откуда взялся?

Биной покраснел. Если бы Гора не был в тюрьме, Биной, наверно, объяснил бы ему причину своего появления даже, может быть, с легким вызовом. Но сейчас у него просто не поворачивался язык сказать правду, и он только пробормотал:

— Я потом скажу тебе... сегодня ты...

— С сегодняшнего дня — я гость правительства, оно само печется о моем благополучии, так что вам обо мне беспокоиться незачем.

Биной знал, что переубедить Гору невозможно, и не стал уговаривать его взять защитника. Но он сказал:

— Ты же не сможешь есть здешнюю пищу, я буду присылать тебе еду...

— Биной,— нетерпеливо остановил его Гора,— не трать понапрасну свою энергию. Я не хочу, чтобы мне что-нибудь посылали. Пусть мое положение будет таким же, как всех заключенных.

Биной вернулся в бунгало взволнованный до глубины души. Шучорита сидела одна в своей спальне у открытого окна и ждала его. Она заперлась у себя, не в состоянии видеть кого-либо и слушать пустую болтовню.

Сердце ее сжалось от дурного предчувствия, когда она уви-

дела мрачного Биноя, медленно подходившего к дому. Большим усилием воли Шучорита взяла себя в руки и, схватив первую попавшуюся книгу, вышла в гостиную. Лолита сидела в уголке и молча вышивала, хотя обычно она терпеть не могла заниматься рукоделием. Лабонне с Шотишем решали английский ребус, а Лила следила за ними. Харан-бабу и Бародашундори обсуждали какие-то подробности завтрашнего представления.

Биной рассказал им об утренней стычке Горы с полицией. Шучорита выслушала его, не проронив ни слова. Рукоделие упало с колен Лолиты на пол, и румянец гнева залил ее лицо.

— Не волнуйтесь, Биной-бабу,— успокаивала юношу Бародашундори.— Сегодня вечером я буду у супруги судьи и попрошу ее похлопотать за Гоурмохона-бабу.

— Нет, нет, не делайте этого,— испугался Биной.— Если Гора узнает, он никогда не простит мне.

— Но ведь нужно же что-то предпринять для его защиты,— вмешался Шудхир.

Биной рассказал о своих тщетных попытках взять Гору на поруки и о его решительном отказе от защитника.

— Какое глупое ломанье! — не выдержал Харан-бабу.

До этого дня, как бы Лолита ни относилась к Харану-бабу, она всегда выказывала ему внешнее уважение и никогда не спорила с ним, но сейчас она резко тряхнула головой и сказала:

— Никакое это не ломанье. Гоурмохон-бабу правильно поступает. Зачем же тогда существует судья — чтобы запугивать нас и заставлять защищаться? Мы должны платить налоги, чтобы они получали огромное жалованье, и мы же должны нанимать адвокатов, которые помогали бы нам вырываться из их рук! Нет, уж чем такое правосудие, действительно, кажется, лучше сесть в тюрьму.

Харан-бабу с удивлением взглянул на Лолиту — он привык смотреть на нее, как на ребенка, и никогда не предполагал, что она может так рассуждать. Минуту он стоял пораженный, а потом веско и важно стал отчитывать ее за неуместную вспышку.

— Что ты понимаешь в серьезных делах? Наслышалась всякого вздора от недоучившихся мальчишек, которые вызубрили несколько книжонок и ничего не признают. Они болтают, что им на ум взбредет, а у таких, как ты, голова идет кругом.

Затем Харан-бабу рассказал им о вчерашней встрече Горы с судьей, не преминул он также передать и свой последующий разговор с мистером Браунло. Биной ничего еще не слышал о гхошпурских событиях и потому не на шутку встревожился. Он понимал, что легко судья Гору не отпустит.

Однако своим рассказом Харан-бабу не достиг цели, которую преследовал. Шучориту до глубины души возмутила низость Харана, промолчавшего об этой встрече с Горой. В поступке Харана сказалось его мелкое недоброжелательство по отношению к Горе, и все присутствующие невольно почувствовали к нему легкое презрение. Шучорита не произнесла ни слова. Одно мгновение казалось, что она готова вспылить и разразиться потоком гневных слов, но она сдержалась и, взяв книгу, стала нервно перелистывать ее страницы. И только Лолита вызывающе заявила:

— Для меня безразлично, на чьей стороне Харан-бабу. Одно только я знаю: своим поступком Гоурмохон-бабу доказал, что он действительно благородный человек.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В день приезда губернатора судья явился в суд ровно в половине одиннадцатого, рассчитывая закончить дела пораньше.

Шактори-бабу, защищавший школьников, хотел было воспользоваться случаем, чтобы помочь и своему другу. Видя, как оборачивается дело, он решил, что самое лучшее — сразу признать вину. В своей речи он просил принять во внимание молодость и неопытность его подзащитных и снисходительно отнестись к ним. Судья приговорил школьников к наказанию розгами от пяти до двадцати пяти ударов в зависимости от возраста и степени виновности каждого.

Гора защищался сам. Но только он начал говорить о бесчинствах полиции, как судья резко оборвал его и не позволил продолжать.

По обвинению в сопротивлении действиям полиции при исполнении ею своих обязанностей Гора был приговорен к месяцу строгого тюремного заключения, причем судья заявил, что он должен быть благодарен, что так легко отделался.

Шудхир и Биной присутствовали на суде, но Биной не решался взглянуть на Гору. Чувствуя, что задыхается, он поспешно покинул зал. Шудхир уговаривал его вернуться в бунгало, принять ванну и поесть, но Биной ничего не хотел слушать. Выйдя за ворота судебного двора, он сел прямо на землю у подножья дерева.

— Возвращайся один,— сказал он Шудхиру,— я скоро приду.

Сколько времени просидел он так после ухода Шудхира, Биной и сам не знал. Солнце уже перешло зенит, когда рядом с ним вдруг остановилась коляска. Подняв голову, он увидел, что из коляски вышли Шудхир и Шучорита. Биной торопливо встал.

— Поедемте с нами, Биной-бабу,— взволнованным голосом сказала девушка.

Заметив, что эта сцена начинает привлекать внимание прохожих, Биной поспешно согласился. Всю дорогу никто из них не вымолвил ни слова.

Когда они возвратились в бунгало, оказалось, что там тем временем разыгралась настоящая баталия. Лолита решительно заявила, что на вечер к судье она ни за что не поедет, и Бародашундори окончательно растерялась. Харана же бессмысленное упрямство «этой девчонки» привело в совершенное бешенство. Сев на своего любимого конька, он без устали поносил заразу, которая распространилась на всю современную молодежь, не желающую знать никакой дисциплины.

— Вот вам результат встреч бог знает с кем,— говорил он,— и всякой безответственной болтовни.

Биной не успел войти, как Лолита бросилась к нему:

— Простите меня, Биной-бабу. Я перед вами очень виновата. Вы были совершенно правы, когда отказывались участвовать в спектакле, только я не хотела вас понять. Вся беда, что мы не знаем ничего, что делается за стенами нашего дома, и поэтому ничего не понимаем. Вон Пану-бабу утверждает, что власть судьи в Индии — воля провидения. Если это действительно так, то наше непреодолимое желание проклинать эту самую власть, очевидно, тоже не что иное, как воля провидения.

— Лолита, ты...— начал было разгневанный Харан-бабу.

Но девушка, отвернувшись от него, пренебрежительно сказала:

— Не перебивайте меня, пожалуйста. Я ведь не с вами разговариваю. Не слушайте никого,— обратилась она к Биною-бабу.— Сегодня представление ни в коем случае не должно состояться. Ни в коем случае!

Бародашундори поспешила вмешаться.

— Ну и любезна же ты, нечего сказать,— воскликнула она.— Не даешь Биною-бабу принять ванну и поесть. Ведь уже половина второго! Посмотри, как он осунулся.

— Нет, нет! Я не могу есть тут,— ответил Биной.— Ведь это дом судьи, мы здесь его гости.

Бародашундори попробовала уладить дело миром и стала умолять Биноя остаться; заметив, однако, что дочери не поддерживают ее, она рассердилась:

— Да что такое с вами, в самом деле? Шучи, попробуй хоть ты убедить Биноя-бабу. Ведь мы обещали... На спектакль разосланы приглашения. Как-нибудь через это пройти мы должны,— иначе что о нас подумают! Нам нельзя будет и на глаза людям показаться!

Но Шучорита сидела молча, опустив голову.

Биной отправился на пристань и узнал, что пароход в Калькутту отходит через два часа и прибывает туда на следующий день около восьми утра.

Тем временем Харан-бабу окончательно потерял самообладание и что было сил напустился на Биноя и Гору. Шучорита поспешно встала и вышла из комнаты. Через несколько минут к ней вошла Лолита. Шучорита лежала на постели, закрыв лицо руками.

Лолита заперла дверь изнутри, тихонько села рядом с сестрой и стала ласково гладить ее по волосам. Прошло немало времени, прежде чем девушка немного успокоилась. Тогда Лолита осторожно отвела ее руки от лица, прижалась щекой к щеке Шучориты и зашептала ей на ухо:

— Уедем в Калькутту, диди. Не можем же мы сегодня идти на вечер к судье!

Шучорита долго ничего не отвечала. Но когда Лолита еще раз повторила свою просьбу, она приподнялась на постели и сказала:

— Разве это возможно, Лолита! С самого начала я не хотела сюда ехать. Но раз уж отец сказал мне, что я должна, я не могу вернуться, не исполнив его приказания.

— Так ведь отец не знает, что тут произошло,— возразила Лолита.— Если бы он знал, он ни за что не захотел бы, чтобы мы оставались.

— Как мы можем быть в этом уверены, дорогая? — возразила Шучорита.

— Но неужели, диди, ты сможешь пойти туда? Сможешь разряженная стоять на сцене и читать стихи? Нет, я не могла бы слова сказать... хоть бы до крови язык себе искусала.

— Понимаю,— сказала Шучорита.— Но надо уметь переносить любые страдания. Сейчас у нас иного выхода нет. Ты думаешь; я когда-нибудь смогу забыть сегодняшний день?

Лолита, возмущенная неуместной покорностью Шучориты, пошла к матери.

— Что же вы не собираетесь ехать, ма? — обратилась она к Бародашундори.

— Ты, кажется, с ума сошла,— в недоумении сказала мать.— Нас ждут там только к девяти часам вечера.

— Я говорю об отъезде в Калькутту.

— Нет, вы только послушайте эту девчонку! — воскликнула Бародашундори.

Тогда Лолита обернулась к Шудхиру:

— А ты как — тоже остаешься?

Шудхир был очень расстроен тем, что произошло с Горой, но у него не хватало мужества отказаться от соблазна блеснуть своими талантами перед изысканным английским обществом. Из его невнятного бормотания можно было понять, что он весьма сожалеет, но все-таки вынужден остаться.

— Ах, сколько времени ушло на споры,— проговорила Бародашундори.— Всем нам нужно хорошенько отдохнуть, а то вечером на нас смотреть будет страшно. Марш все в постель, и чтобы до половины шестого никто и не думал вставать.

С этими словами она выпроводила дочерей из гостиной. Скоро в доме воцарилась тишина. Спали все, кроме Шучориты и Лолиты, которые так и не легли, а сидели каждая в своей комнате, уставившись в одну точку.

Пароходная сирена уже не раз гудела, призывая пассажиров подняться на борт. Матросы готовились было убрать сходни, когда Биной, стоявший на верхней палубе, увидел закутанную в покрывало женщину, спешившую к пароходу. Одеждой и походкой она напоминала Лолиту, но сначала Биной отказался поверить своим глазам. Однако, когда она подошла к пароходу, сомнения его рассеялись. В первый момент он подумал, что Лолита пришла уговаривать его вернуться, но затем вспомнил, что она тоже отказывалась идти на вечер к судье.

Едва только Лолита поднялась на борт, матросы начали убирать сходни. Встревоженный Биной поспешил ей навстречу.

— Пойдемте на верхнюю палубу,— сказала Лолита.

— Но ведь пароход сейчас отчалит,— в смятении сказал Биной.

— Я знаю,— коротко ответила девушка и, не дожидаясь Биноя, стала подыматься наверх. Пароход, непрерывно гудя, отошел от берега.

Усадив Лолиту в кресло на палубе первого класса, Биной с немым вопросом посмотрел ей в глаза.

— Я еду в Калькутту,— объявила Лолита.— Здесь оставаться я не могла.

— А как остальные отнеслись к этому?

— Пока еще никто не знает,— ответила Лолита.— Я оставила им записку.

Дерзкий поступок Лолиты ошеломил Биноя. С трудом обретя дар речи, он неуверенно начал:

— Но...

Лолита решительно прервала его:

— Какие могут быть «но» сейчас, когда пароход уже отчалил. Не понимаю почему, раз я родилась женщиной, то должна все сносить молча. У нас тоже существуют такие понятия, как справедливость и несправедливость, возможное и невозможное. Так знайте же, мне легче было бы покончить с собой, чем участвовать в сегодняшнем спектакле.

Биной понимал, что теперь уж ничего не поделаешь и что сейчас бесполезно терзать себя мыслями, хорошо она поступила или плохо.

После непродолжительного молчания Лолита заговорила снова:

— Я была очень несправедлива к вашему другу, Биной-бабу. Сама не знаю почему, но с первого раза, когда я увидела Гоурмохона-бабу и услышала его речи, я почувствовала к нему неприязнь. Меня возмущало, что он говорил так властно, а вы во всем с ним соглашались и только поддакивали. Я не терплю принуждения — ни словом, ни делом. Но теперь я вижу, что Гоурмохон-бабу умеет принуждать не только других, но и себя, а это — истинная сила воли. Таких людей мне еще не приходилось встречать...

Лолита говорила без умолку. Но к этому ее побуждало не столько раскаяние в том, что она ложно судила Гору, сколько сомнение, закравшееся ей в душу, едва она поднялась на пароход,— сомнение в том, правильно ли она поступила. До сих пор она как-то не задумывалась над тем, что путешествие на пароходе в обществе одного только Биноя не совсем удобно для девушки. Но, твердо зная, что показывать смущение нельзя ни в коем случае, а то окончательно пропадешь со стыда, она храбро болтала, не замолкая ни на минуту. Биной же, наоборот, молчал как убитый. Горькое унижение, выпавшее по воле судьи на долю Горы, стыд за себя, за то, что он собирался выступить в спектакле в доме этого самого судьи, и вдобавок ко всему неловкое положение, в которое неожиданно поставила его Лолита, окончательно лишили его дара речи.

Случись это в прежние дни, он был бы возмущен безрассудным поведением девушки, но сейчас осуждать ее он не мог,

К удивлению смелостью Лолиты в душе Биноя примешивалось чувство восхищения ею и тайная радость от того, что из всех только он и Лолита выразили хотя бы слабый протест против оскорбления, нанесенного Горе.

И еще он думал о том, что для него самого этот поступок не может иметь особенно неприятных последствий, но Лолите, безусловно, придется долго расплачиваться за него.

Как странно — ведь до сих пор он считал, что Лолита терпеть не может Гору! Чем больше раздумывал он над этим, тем больше восхищался ее абсолютной нетерпимостью к лжи, ее безграничной смелостью, свободной от соображений расчетливого благоразумия, и его уважение к ней все росло.

Он понимал, что Лолита была права, упрекая его в нерешительности и отсутствии собственных убеждений. Он никогда не посмел бы отбросить соображения о том, как отнесутся к его поступку близкие ему люди, и смело пойти путем, который считал правильным,— как это сделала она. Как часто поступал он вопреки своим желаниям из боязни раздражить Гору, из опасения, чтобы друг не счел его слабым, а потом обманывал свою совесть, пытаясь жалкими доводами убедить себя в том, что взгляды Горы — это и его взгляды! Он отчетливо понял, что гордая и независимая в своих суждениях Лолита стоит намного выше его в духовном отношении. Ему было стыдно вспомнить, что раньше он неверно судил о ней и нередко в душе порицал. Ему хотелось попросить у нее прощения, но он не находил слов, чтобы передать ей свои чувства. Нежное лицо Лолиты, озаренное внутренним светом, казалось Бином божественно прекрасным. Его жизнь вдруг наполнилась глубоким смыслом, он впервые понял, как величественно хороша может быть женщина. И перед лицом этой нежной силы без колебаний признал свою мелочность и ничтожность.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В Калькутте Биной сразу же проводил Лолиту домой. До того, как они оказались вместе на пароходе, он не слишком разбирался в своих чувствах к ней. При встречах с этой своенравной девушкой он главным образом старался не допустить, чтобы споры, вспыхивавшие у них по малейшему поводу, оканчивались настоящей ссорой. Шучорита взошла на горизонте его жизни первой вечерней звездой, сияющей чистыми лучами женственности, и наполнила чудесной радостью все его существо.

Но вот рядом с ней загорелась еще одна звезда, и он даже не заметил, как случилось, что, открыв для него этот праздник света, первая звездочка мало-помалу опять скрылась за горизонтом.

С тех пор как взбунтовавшаяся Лолита появилась на пароходе, Биноя не покидала мысль, что они теперь стоят вдвоем, плечом к плечу, против всех остальных; он не мог забыть, что в трудную минуту девушка решилась покинуть близких и присоединиться к нему. Что бы ни побудило ее поступить так, было совершенно очевидно, что отныне она не сможет относиться к нему, как к одному из многих: он — и только он один — оказался рядом с ней, когда она нуждалась в поддержке. Все ее родные были далеко, лишь он был близко, и ощущение этой близости заставляло вздрагивать его сердце подобно тому, как вспыхивают трепещущие зарницы в надвигающихся грозовых тучах.

Лолита ушла к себе в каюту, однако Биной чувствовал, что все равно не заснет. Он снял туфли и стал молча ходить взад и вперед по палубе перед ее дверью. Трудно было предположить, что Лолите грозит какая-нибудь опасность на пароходе. Но слишком уж заманчивы были обязанности, которые возлагало на Биноя неожиданно обрушившееся на него, никогда прежде не испытанное чувство ответственности, и он ни за что в жизни не отказался бы от этого ненужного ночного бдения.

Невыразимая глубина чувствовалась во мраке ночи; безоблачное небо было усеяно звездами; частые густые деревья по берегам реки поддерживали его как темный монолитный цоколь. Внизу стремительно несся молчаливый поток величественной реки, и центром этого спящего мира была для Биноя она — Лолита. Ничего не случилось,— Лолита доверила Биною свой безмятежный сон, только и всего. Но Биной принял это доверие, как драгоценнейший из даров, и нес почетную вахту. Ни отца, ни матери, ни сестер — никого нет подле нее, но Лолита — прекрасная Лолита — не побоялась лечь на незнакомое ложе и спокойно уснула. Дыхание мерно вздымает грудь в такт ритму поэмы ее сна. Ни один локон не выбился из искусной прически. Обе руки — такие нежные в своей женственной мягкости — покоятся на одеяле; угомонились наконец изящные резвые ножки,— словно завершив блистательную каденцию праздничной мелодии, замерли они сейчас... Вот какая картина рисовалась Биною.

Как жемчужина в своей раковине, лежала Лолита, окутанная безмолвной тьмой, укрытая звездным покрывалом. И ему казалось, что этот сон, этот совершенный в своей красоте покой,— единственное, что имеет значение в этом мире в эту ночь.

— Я не сплю, я не сплю,— повторял юноша. Эти слова рвались из тайников его вдруг возмужавшего сердца, победно неслись ввысь, растворялись в безмолвном покое, царившем в обители недремлющего владыки неба...

Но была и еще одна мысль, которая не давала ему покоя во мраке безлунной ночи: «А Гора эту ночь проводит в тюрьме!» До сих пор он делил с Горой все его радости и печали. Впервые это было не так. Биной понимал, что для такого сильного человека, как Гора, заключение в тюрьме не представляет ничего страшного; но с начала и до конца этой истории, имевшей большое значение для его друга, Биной не принимал в ней никакого участия и был далек от Горы. Когда разделившиеся потоки их жизней сольются вновь — можно ли будет заполнить пустоту, образовавшуюся вследствие этой разлуки? Не положит ли она конец их редкой дружбе, такой безупречной и бескорыстной! Так, в одну и ту же ночь ему было дано ощутить полноту счастья и тоскливую безысходность. Биной стоял неподвижно, пристально вглядываясь в темноту и словно ощущая близкое дыхание разрушительного и созидающего начал жизни.

Если бы Биной лишь по чистой случайности не участвовал в путешествии, предпринятом Горой, и только поэтому не смог разделить злоключений, выпавших на его долю, их дружба, возможно, и не пострадала бы. Но паломничество Горы, так же как и участие в спектакле Биноя, не было случайностью. Поток жизни Биноя вырвался из русла их прежней дружбы. И разрыв поэтому стал неизбежен. Но другого выхода не было! Что делать, Биной уже не считал единственно правильным путем для себя — путь Горы.

Но неужели столь длительная привязанность погибнет только оттого, что разошлись их пути? Эта мысль заставила Биноя содрогнуться. Он знал, что Гора все, что бы он ни делал, подчиняет намеченной цели. Великий Гора! Человек с несокрушимой волей, которую он сумел сделать законом для всех. Он победоносно пойдет вперед, покоряя сердца людей,— ведь недаром всевышний одарил его царственным величием!

Когда извозчик остановился у дома Пореша-бабу и Лолита вышла из коляски, Биной увидел, что она дрожит и что ей стоит больших усилий взять себя в руки. По правде сказать, она до сих пор еще не отдавала себе ясного отчета в том, насколько серьезно преступление против законов приличия, так опрометчиво совершенное ею. Она знала, что отец никогда не будет ее бранить, и больше всего остального боялась именно его молчания. Биной терялся в догадках, как ему поступить. Опасаясь,

что его присутствие только усугубляет ее беспокойство, он нерешительно сказал Лолите:

— Пожалуй, лучше будет мне уйти?

— Нет, нет! — поспешно ответила девушка.— Зайдемте вместе к отцу.

В душе Биной был несказанно рад такой настойчивой просьбе. Значит, его долг по отношению к Лолите не ограничивался тем, что он доставил ее домой. Значит, благодаря этому неожиданному происшествию, его судьба окажется теперь странно связанной с ее судьбой. Он чувствовал, что должен твердо — тверже, чем прежде,— стоять за нее. Мысль о том, что Лолита ищет его поддержки, взволновала Биноя до глубины души; у него было чувство, будто она схватила его за руку, прося о помощи. Если Пореш-бабу будет сердиться на Лолиту за ее необдуманный и неприличный с точки зрения общественной морали поступок и начнет ее бранить, он возьмет всю вину на себя, надежным заслоном встанет между Лолитой и отцом и, не дрогнув, примет все упреки.

Но Биной неверно понял, что таилось за просьбой Лолиты. Она не любила ничего скрывать и теперь хотела, чтобы Порешбабу знал во всех подробностях, что с ней произошло. Она готова была принять любое наказание, которое отец пожелал бы наложить на нее.

С самого утра Лолита сердилась на Биноя. Она сознавала, что он не давал ей повода к этому, но, как ни странно, это сознание не уменьшало, а, наоборот, увеличивало ее досаду. На пароходе у Лолиты было совсем иное настроение.

С детских лет у нее нередко бывали приступы раздражения, за которыми следовали самые нелепые выходки; но на этот раз дело обстояло гораздо серьезнее. Оттого, что в этой истории оказался замешан Биной, Лолита испытывала тайную радость, вроде той, что доставляет людям запретное удовольствие.

Принять покровительство человека постороннего, разделить его общество, и притом без всякой «охраны» в лице родных или близких,— все это создавало опасное положение, и ей было о чем тревожиться. Но врожденная деликатность Биноя придала этому приключению оттенок чистоты и невинности, и она с особенным удовольствием отметила его удивительную внутреннюю скромность. Ей казалось, что она видит совсем не того Биноя, который бывал у них дома, делил с ними игры и забавы, болтал без умолку, весело шутил, смеялся и умел поддерживать приятельские отношения даже со слугами. Под предлогом заботы о ней Биной мог вести себя на пароходе гораздо свободнее,— но,

стараясь держаться подчеркнуто на расстоянии, он сделался еще ближе сердцу Лолиты.

Всю ночь одолеваемая разными мыслями, Лолита ворочалась на своей койке и не могла заснуть. Наконец ей показалось, что начало светать. Осторожно приоткрыв дверь, она выглянула наружу. Напоенная росой предрассветная мгла еще лежала над чистым речным простором и окутывала прибрежные леса; дул свежий утренний ветерок, и по воде бежала рябь; из машинного отделения доносился шум — начинался трудовой день.

Выйдя из каюты, Лолита тотчас увидела Биноя. Он заснул в кресле на палубе, уткнувшись в теплый плащ. Сердце Лолиты дрогнуло. Значит, всю ночь Биной охранял ее сон! Так близко, и так далеко... Лолита быстро скользнула обратно в каюту и, остановившись на пороге, снова посмотрела на Биноя, мирно спавшего на фоне сумрачного речного пейзажа, и ей показалось, что среди звезд, оберегающих покой земли, самым ярким светом горит его звезда. И пока она смотрела так на него, нежность затопила ее сердце и на глаза навернулись слезы.

Ей казалось, что бог, молиться которому научил ее отец, явился ей, что он простирает к ней руки, благословляя ее. И в ту священную минуту, когда на берегу, под сенью дремлющих деревьев, впервые обнялись разгорающаяся заря и уходящий сумрак, в огромном звездном чертоге вселенной прозвучал первый аккорд божественной ви́ны, и в ее мелодии слышались безмерная радость и великое страдание.

В это мгновение Биной во сне пошевелился. Лолита тотчас спряталась в каюте и, заперев дверь, улеглась. Руки и ноги у нее совсем окоченели, и она долго не могла унять взволнованное сердце.

Постепенно мрак рассеялся, и пароход поплыл дальше. Биной проснулся от пароходного гудка, но остался лежать в кресле и, устремив взор на восток, ждал, когда блеснет первый луч восходящего солнца. Вдруг он заметил, что на палубу вышла Лолита и стала у перил. Он поспешно приподнялся и собрался было скрыться в своей каюте, но она окликнула его и поздоровалась.

— Боюсь, что вы плохо спали эту ночь,— сказала она.

— Да нет, что вы, наоборот...— смущенно ответил юноша.

Из-за горизонта показался краешек солнца, брызнули яркие лучи и зажгли золотые искры в капельках росы, осыпавших листья растущих по берегу бамбуков. Никогда в жизни ни Лолите, ни Биною не приходилось видеть такого восхода. Никогда еще не затрагивала их так сильно красота нарождающего-

ся дня. Сегодня они впервые почувствовали, что небо, словно открытое око, смотрит вниз, безмолвно радуясь каждому новому проявлению мироздания. Все чувства их были обострены до предела, им казалось, что в этот момент они соприкоснулись с великой тайной вселенной. И поэтому ни один из них не мог вымолвить ни слова.

Пароход прибыл в Калькутту. Наняв экипаж, Биной усадил Лолиту, а сам сел на козлы с возницей.

Пока они ехали по улицам утреннего города, ветер настроения Лолиты неизвестно почему изменил направление и подул в обратную сторону. Теперь ее угнетала мысль, что в трудную минуту жизни на пароходе с ней оказался Биной, что он имел такое близкое отношение ко всей этой истории, что он, словно опекун, вез ее домой. Она не могла примириться с тем, что силой обстоятельств Биной получил какую-то власть над ней. Лолита и сама не отдавала себе отчета в том, почему так переменилось ее настроение. Почему мелодия прошлой ночи, столкнувшись с повседневностью, вдруг оборвалась на такой резкой ноте. И когда у дверей дома Биной смущенно спросил, не уйти ли ему, она рассердилась еще больше.

«Он, кажется, воображает,— думала она,— что я боюсь показаться на глаза отцу с ним вместе!» Лолита хотела как можно яснее дать понять ему, что она ни капельки не стыдится своего поступка и готова все рассказать отцу. Поэтому в ее планы отнюдь не входило потихоньку распрощаться с Биноем у дверей, как будто она и вправду была виновата. Лолита хотела сохранить свои отношения с Биноем по-прежнему простыми и ясными, какими они были раньше, и вовсе не была намерена унизить себя в его глазах и допустить, чтобы фантазии и колебания прошлой ночи все изменили между ними.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Увидев Биноя и Лолиту, Шотиш со всех ног кинулся к ним и, схватив обоих за руки, забросал вопросами:

— А Шучорита? Где она? Разве она не приехала?

Биной обшарил карманы, посмотрел по сторонам и воскликнул:

— Действительно, куда же она делась? Потерялась, наверно.

— Будет вам,— закричал Шотиш, подталкивая Биноя.— Скажи ты, Лолита, где она?

— Шучорита приедет завтра,— бросила на ходу Лолита, направляясь прямо к комнате Пореша-бабу.

Но Шотиш тянул их в другую сторону.

— Пошли, посмотрите, кто к нам приехал.

— Не приставай! — воскликнула девушка, вырывая руку.— Мне нужно к отцу.

— А отец ушел,— сообщил Шотиш,— и вернется не скоро.

При этом известии молодые люди почувствовали некоторое облегчение.

— Ну, так кто же приехал? — спросила Лолита.

— Не скажу,— ответил Шотиш.— Ну-ка, Биной-бабу, угадайте, кто приехал? Никогда не угадаете. Ни за что на свете!

Биной стал перечислять самые невероятные и нелепые имена. Сперва он назвал Сирадж-уд-доулу, затем раджу Нобокришно и, наконец, Нондокумара. После каждого имени Шотиш пронзительным голосом выкрикивал «нет» и доказывал, что присутствие в доме подобных гостей совершенно невозможно. Биной вынужден был сдаться, смиренно заметив, что он совсем не подумал о том, как трудно было бы добраться до их дома такому гостю, как Сирадж-уд-доула.

— Во всяком случае,— заключил он,— пусть сначала твоя сестра сходит и посмотрит, в чем дело, а в случае необходимости позовите и меня.

— Да нет же,— упорствовал Шотиш,— пошли все вместе.

— Куда же идти? — спросила Лолита.

— На самый верх.

В одном уголке крыши была пристроена небольшая комнатка. С южной стороны к ней примыкал навес, защищавший ее от солнца и дождя. Послушно следуя за Шотишем, Биной и Лолита пришли туда и увидели пожилую женщину в очках, которая сидела под навесом на небольшой циновке и читала «Рамаяну» Криттибаша. Одна дужка ее очков была сломана и заменена веревочкой. На вид женщине было лет сорок пять. Спереди надо лбом волосы ее уже начали редеть, но лицо было свежее и гладкое, как спелый плод. Между бровей виднелся несмываемый знак касты. Украшений, однако, на ней не было, и одежда была вдовьей.

Увидев Лолиту, женщина сняла очки и, отложив книгу в сторону, стала взволнованно всматриваться в ее лицо. Но, заметив Биноя, который шел позади, она натянула на голову край сари и направилась было в комнату. Однако Шотиш успел схватить ее за руку.

— Ну зачем ты убегаешь, тетя? — воскликнул он,— это же наша Лолита, а это Биной-бабу. Старшая сестра приедет завтра.

Такой краткой рекомендации оказалось достаточно. Без сомнения, все сведения о Биное-бабу были сообщены еще раньше, потому что, если уж Шотиш дорывался до интересовавшей его темы, остановить его, прежде чем он не выболтает все до конца, было невозможно.

Лолита стояла в молчаливом изумлении, не понимая, что за «тетя» появилась у Шотиша. Но когда Биной низко склонился и взял прах от ног пожилой женщины, девушка тотчас последовала его примеру.

Затем тетя принесла из комнаты большую циновку и, расстелив ее, пригласила:

— Садись, сын мой, и ты, дитя мое, сядь!

Когда Биной и Лолита уселись, она села сама, а Шотиш примостился возле нее. Крепко обняв его правой рукой, она сказала:

— Вы меня, наверное, не знаете, но я — тетя Шотиша, его мать приходилась мне родной сестрой.

И не столько эти простые слова, как что-то в ее лице и тоне сказало им о горькой, слезами омытой жизни, прожитой этой женщиной. Поэтому когда она, прижав мальчика к груди, произнесла: «Я — тетя Шотиша»,— Биной в душе почувствовал к ней глубокое сострадание.

— Нет, не годится, чтобы Шотиш захватывал на вас исключительные права,— заявил он,— иначе я, несмотря на долгую дружбу, поссорюсь с ним. И так он зовет меня не дада, а Биной-бабу, а теперь, если он у меня еще и тетю оттягает, это будет уже слишком.

Для Биноя не составляло большого труда очаровать кого угодно. Тетя и оглянуться не успела, как этот вежливый юноша занял в ее сердце место рядом с Шотишем.

— А где твоя мать, дитя мое? — обратилась она к Биною.

— Родную мать я потерял очень давно,— ответил он,— и все-таки не имею права сказать, что у меня нет матери,— и тут, при мысли об Анондомойи и о том, чем была она для него, глаза Биноя увлажнились.

Между Биноем и тетушкой завязалась такая оживленная беседа, что, слушая их, никто бы не сказал, что они только что познакомились. Шотиш тоже время от времени вставлял совершенно неожиданные замечания. Только Лолита сидела молча. Она всегда была сдержанна с чужими, и ей требовалось немало

времени, чтобы побороть первую неловкость. К тому же сейчас на душе у нее было неспокойно. Ей не понравилось, что Биной так непринужденно болтает с незнакомой женщиной. В душе осуждала она его еще и за то, что он недостаточно серьезно относится к ее делам, словно его нисколько не беспокоит затруднительное положение, в котором она очутилась. Однако, заметь она, что Биной удрученно молчит, вряд ли он многим больше выиграл бы в ее глазах. Тогда Лолита, разумеется, тоже рассердилась бы на него за то, что он, видите ли, вообразил себя ответственным за ее поступок, касавшийся, в конце концов, только их с отцом. На деле же все сводилось к тому, что то, что вчера вечером звучало как музыка, сегодня днем резало ухо. Поэтому Лолита и возмущалась так Биноем, поэтому, что бы он ни делал и как бы ни вел себя, все было не по ней. Одному только богу известно, как тут исправить дело.

Увы, разве можно обвинять в непоследовательности женщин, живущих одними чувствами. Когда любовь стоит на прочной основе, движения сердца так просты и чудесны, что разуму остается только смиренно склониться перед ним. Но едва в этой основе появится хотя бы маленькая трещина, и рассудок начинает посылать тревожные сигналы. Тогда напрасно гадать, чем вызваны неожиданные ссоры и примирения, смех и слезы.

Нельзя сказать, чтобы и у Биноя на сердце было спокойно. Если бы все было как прежде, он, не медля ни минуты, отправился бы к Анондомойи. Кто, кроме Биноя, мог сообщить матери о том, что Гора попал в тюрьму? Да и кто, кроме него, сумел бы ее утешить? Эта горестная мысль рождала в глубине души гнетущую боль. Но он не мог бросить Лолиту и уйти. Биной убеждал себя, что он — единственный защитник девушки перед лицом всего мира и что, лишь выполнив свой долг перед Порешем-бабу, он сможет уйти. Убедить себя в этом оказалось совсем нетрудно. На возражения у него не хватало сил. Он действительно тревожился за Гору и Анондомойи, но близость Лолиты наполняла его душу таким ликованием, что он чувствовал себя самым гордым, самым свободным в мире человеком, и все переживания прятались где-то глубоко на самом дне его сердца. Он не осмеливался смотреть на Лолиту. Но то и дело его глаза сами собой обращались в ее сторону. И когда взгляд ловил край ее одежды или руку, неподвижно лежавшую на коленях, волнение мгновенно охватывало его вновь.

Время шло, а Пореш-бабу все не возвращался.

Желание Биноя подняться и уйти становилось все настой-

чивее. Чтобы заглушить это желание, он деятельно поддерживал разговор с тетей и Шотишем. Но терпение Лолиты наконец истощилось.

— Чего вы, собственно, дожидаетесь? — оборвала она его на полуслове.— Кто знает, когда еще вернется отец. Почему вы не идете к матери Гоурмохона-бабу?

Биной вздрогнул. Ему были хорошо знакомы эти гневные нотки в голосе девушки. Посмотрев на Лолиту, он вскочил со стремительностью выпущенной из лука стрелы. Действительно, чего он тут ждет? Он вовсе не воображал, что его присутствие здесь в такой момент так уж необходимо. Откровенно говоря, если бы не настойчивая просьба Лолиты, он распрощался бы еще у порога. Но дождаться, чтобы она задала ему такой вопрос!..

Биной так поспешно поднялся со своего места, что Лолита вздрогнула и удивленно посмотрела на него. Его обычная жизнерадостная улыбка угасла, как угасает свет, когда задуют лампу. Такого несчастного, такого обиженного лица Лолита еще никогда не видела у Биноя, и острое раскаяние, как удар хлыста, обожгло ее. Шотиш тотчас же вскочил и, повиснув на руке Биноя, принялся его упрашивать:

— Сядьте, Биной-бабу, не уходите! Позавтракайте сегодня с нами. Тетя, уговорите Биноя-бабу! Зачем только ты велела ему уходить, Лолита-диди! — повернулся мальчик к сестре.

— Нет, Шотиш, в следующий раз, если тетя меня пригласит, я обязательно поем у вас, а сегодня уже поздно,— ответил Биной.

В его голосе слышались слезы, даже тетя не могла не заметить этого. Робко переводя взгляд с Биноя на Лолиту, она поняла, что судьба уже затеяла с ними свою капризную игру.

Вскоре под каким-то предлогом Лолита поднялась и ушла к себе. Который уж раз она вот так сама доводила себя до слез!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Биной, снедаемый стыдом и угрызениями совести, сразу же отправился к Анондомойи. Почему он так долго не шел к матери? Как мог он вообразить, что Лолита нуждается в нем? Бог справедливо наказал его за то, что он, приехав в Калькутту, не бросил все дела и не побежал прямо к Анондомойи. И поделом ему, что именно из уст Лолиты ему пришлось в конце

концов услышать: «Почему вы не идете к матери Гоурмохонабабу?» Как могло случиться, что мысль о матери Горы тревожила Лолиту больше, чем его — Биноя? Ведь для Лолиты Анондомойи была всего лишь матерью Горы, для Биноя же она была подлинным воплощением всех матерей мира.

Анондомойи только что приняла ванну. Постелив циновку, она сидела в своей комнате на полу, погруженная в глубокую задумчивость, когда быстрыми шагами вошел Биной и, бросившись к ее ногам, воскликнул:

— Ма!

— Биной! — промолвила Анондомойи, гладя его склоненную голову.

Ну, у кого еще, кроме матери, мог быть такой голос! Звук его подействовал на Биноя, как ласковое прикосновение. С трудом сдерживая себя, он спокойно сказал:

— Я давно должен был быть здесь, ма...

— Я все знаю,— ответила Анондомойи.

— Уже! — воскликнул пораженный Биной.

Как выяснилось, Гора еще в полиции написал ей письмо, которое переслал через адвоката и в котором сообщал, что, по всей вероятности, попадет в тюрьму. Письмо кончалось так:

«Тюрьма твоему Горе никакого вреда не принесет, его лишь волнует мысль, что все это может причинить боль тебе. Твое же горе будет ему тягчайшим наказанием, какого не в силах придумать ни один судья. Но, ма, не думай только о своем сыне! Ведь и многие другие сыновья своих матерей безвинно томятся в тюрьмах, и я хочу быть таким же, как они, и разделить с ними их лишения. Ты не должна печалиться, ма, если моему желанию суждено исполниться. Не знаю, помнишь ли ты, как однажды, в голодный год, я оставил на столе в комнате, выходившей окном на улицу, свой кошелек и на пять минут вышел. Вернувшись, я обнаружил, что кошелек исчез. Там были восемьдесят пять рупий, которые я скопил из своей стипендии и на которые собирался купить тебе серебряную чашу для омовения ног. Узнав, что деньги украдены, я страшно разозлился. Но тут всевышний послал мне прозрение, и я сказал себе: «Я дарю эти деньги голодающему, который взял их». И не успел я сказать это, как сейчас же перестал сожалеть о них и успокоился. И теперь я тоже говорю себе: «Я иду в тюрьму добровольно, в моей душе нет ни печали, ни гнева. Некоторое время она будет мне пристанищем». Правда, в тюрьме скверная еда, другие неудобства. Но ведь во время своих недавних странствий я пользовался

гостеприимством самых различных людей, и не во всех домах получал то, к чему привык; иногда мне приходилось мириться с отсутствием самого необходимого. К тому же лишения, которые испытываешь по доброй воле, очень скоро перестают быть лишениями. О насилии над моей волей не может быть и речи, уверяю тебя,— я вполне согласен сесть в тюрьму, я даже доволен этим.

Дома, ни в чем не испытывая недостатка, мы в силу привычки перестаем замечать, какое это наслаждение беспрепятственно пользоваться воздухом и светом, и забываем о великом множестве людей, которые справедливо или несправедливо лишены свободы и подвергаются всяческим унижениям, которые лишены даже этого удовольствия, дарованного всем людям без исключения. Обычно мы не думаем об этих людях и считаем, что у нас с ними нет ничего общего. Так вот я хочу, чтобы меня заклеймили одним с ними клеймом. Я не желаю сидеть в безопасности, примазавшись к сытому самодовольному большинству, скрывающему свое ничтожество под маской благопристойности.

Ма, познакомившись с миром поближе, я многое узнал. Тех, кто довольствуется ролью судей, в большинстве случаев можно только жалеть. Узники несут наказание за грехи тех, кто судит других, вместо того чтобы судить себя. Преступление слагается из многих проступков разных людей, но кару за него несет почему-то кто-то один, именуемый преступником. Где, когда и как искупят свой грех все свободные, сытые, власть имущие,— нам знать не дано. Что же касается меня, то мне отвратительна их самодовольная благопристойность, и я предпочитаю носить на груди клеймо, выжженное человеческой подлостью. Так благослови же меня, ма, и не плачь обо мне. Всю свою жизнь Кришна носил на груди след от удара ноги Бхригу. И чем больше пинков рассыпает направо и налево высокомерие, тем отчетливее выступает этот след на груди божества. Если Кришна носит его, как украшение, так чего же беспокоиться обо мне? О чем сожалеть, ма?»

Получив это письмо, Анондомойи попробовала уговорить Мохима съездить к Горе. Но тот заявил: «Не забывай, что я служу, и хозяин ни за что не отпустит меня». Затем Мохим обрушился на Гору с упреками за неосмотрительность и легкомыслие.

— Из-за него и я, чего доброго, вылечу со службы,— заключил он.

Анондомойи, болезненно воспринимавшая всякие объясне-

ния с мужем насчет Горы, решила пока не говорить Кришнодоялу о случившемся. Она знала, что отцовских чувств Кришнодоял к нему не питает, а скорее прячет в душе некоторую неприязнь. Гора встал между супругами, как горный хребет Виндхья. По одну сторону этого хребта оказался Кришнодоял со своим правоверием и обрядами, по другую — Анондомойи со своим непутевым Горой. Казалось, что между этими двумя людьми, которые одни в целом мире знали историю Горы, не осталось ничего общего. Любовь к Горе стала для Анондомойи поистине счастьем, ее сокровищем — это сокровище она не делила ни с кем. Она старалась, насколько было в ее силах, облегчить положение Горы в семье, где его только терпели. Она жила в постоянном страхе, как бы кто не сказал: «Если бы не Гора, этого не случилось бы!», или: «Видишь, какие сплетни про нас пустили, и все из-за твоего Горы», или: «Вон какой урон мы понесли по милости твоего Горы». Она чувствовала, что вся ответственность за Гору лежит на ней одной. И надо же было так случиться, чтобы этот ее драгоценный Гора уродился не в меру строптивым! Как трудно было усмотреть за ним, чтобы он никому не мешал. День и ночь во враждебно настроенной семье она не спускала с него глаз, пока этот непоседа Гора не стал взрослым юношей. Сколько выслушала она упреков, не сказав ни слова в ответ, сколько вынесла горя, разделить которое ей было не с кем!

После ухода Мохима Анондомойи долго молча сидела у окна. Она видела, как, бормоча священные заклинания, возвратился домой после утреннего омовения Кришнодоял; его лоб, руки и грудь еще были перепачканы священной глиной Ганги. Подойти к нему сейчас, после такого очищения, никто не имел права. Запрет, запрет,— всюду одни лишь запреты!

Она со вздохом поднялась и пошла в комнату к Мохиму. Он сидел на полу, просматривая газету, в то время как слуга натирал его маслом перед утренним омовением.

— Мохим, найди кого-нибудь, кто согласился бы сопровождать меня. Я хочу поехать к Горе,— попросила Анондомойи.— Он, кажется, твердо решил сесть в тюрьму. Но ведь должны же мне разрешить свидание с ним, пока он находится в предварительном заключении?

При всей своей внешней грубоватости Мохим искренне любил Гору. Хоть он и раскричался, что «такому мерзавцу только в тюрьме и место, и просто удивительно, что он туда раньше не попал», однако, не мешкая ни минуты, позвал своего верного слугу Гхошала и, дав ему денег на судебные издержки,

сказал, чтобы тот сразу же отправлялся в путь, добавив, что он и сам тоже поедет к брату, если отпустит хозяин и разрешит жена.

Анондомойи знала Мохима: увидев, что Гора попал в беду, он никогда не сумел бы равнодушно отойти в сторону. Убедившись, что теперь он сделает то немногое, что можно сделать, она вернулась к себе. Она отлично понимала: в этой ортодоксальной семье не найдется никого, кто согласился бы отвезти ее, хозяйку дома, к Горе в место заключения, где она рискует стать объектом нескромных взглядов и пересудов толпы. Поэтому она не стала настаивать, только плотно сжала губы, и тень безмолвной печали затаилась в глубине ее глаз. Лочмия начала жалобно причитать, но Анондомойи выбранила ее и отослала вон из комнаты. Она привыкла молча переносить невзгоды. И радости и несчастья она встречала с неизменным спокойствием, и только всевышний знал, что творится у нее на душе.

Биной никак не мог придумать, что бы сказать Анондомойи в утешение, и потому смолк после первых же слов. Но ей и не нужны были ничьи утешения. Она не любила и избегала говорить о несчастьях, помочь которым было нельзя. Поэтому она тоже не стала возвращаться к прежнему разговору и только сказала:

— Омовения ты, надо думать, еще не совершил, Биной,— пойди, да поскорее возвращайся, уже поздно.

Совершив омовение, Биной принялся за еду. Место Горы рядом с ним оставалось незанятым, и это острой болью отозвалось в сердце Анондомойи. Она представила, что Гора сейчас вынужден есть грубую тюремную пищу, вдвойне горькую от унизительных тюремных правил. Представив себе это, Анондомойи почувствовала, что больше не может сдерживаться, и, воспользовавшись каким-то предлогом, поспешила выйти из комнаты.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Когда Пореш-бабу, возвратившись домой, неожиданно нашел там Лолиту, он сразу понял, что его взбалмошная дочь выкинула что-то из ряда вон выходящее. В ответ на его вопросительный взгляд Лолита заявила:

— Я вернулась, отец. Я не могла там больше оставаться.

На вопрос о том, что же все-таки произошло, Лолита ответила:

— Судья посадил в тюрьму Гоурмохона-бабу.

Сначала Пореш никак не мог понять, каким образом Гора оказался замешанным в эту историю, но, узнав от Лолиты обо всем случившемся, он глубоко задумался и долгое время сидел молча. Первая мысль его была о матери Горы. Он размышлял над тем, что, если бы судья взял на себя труд подумать, как много невинных людей страдает за осужденного, может быть, тогда осудить человека для него стало бы не таким легким делом. Приговорить Гору к сроку, какой обычно дают за воровство! Только совершенным притуплением чувства справедливости можно объяснить подобную дикость! Что может быть страшнее тирании, думал Пореш, и какие угрожающие размеры она приняла при дружной поддержке общества и государства. Все это отчетливо встало в его сознании, пока он слушал историю ареста Горы.

Видя, что отец задумчиво молчит, Лолита осмелела:

— Ведь правда же, это ужасно, отец?

— Мы не знаем, насколько виноват Гора,— с обычным спокойствием ответил Пореш-бабу.— Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что если даже под влиянием своих убеждений он и совершил поступок, недопустимый с точки зрения представителей закона, то уж по одному характеру своему он не способен на то, что по-английски называется преступлением. Но что поделаешь, дитя мое. Чувство справедливости в наше время еще не поднялось на должную высоту. До сих пор еще за самый обыкновенный проступок порой наказывают так же, как за тяжкое преступление, и оба виновных в одной и той же тюрьме отбывают одно и то же наказание. И нельзя обвинять кого-то одного за то, что так получается: это общий всечеловеческий грех...— Неожиданно прервав мысль на полуслове, Пореш-бабу спросил Лолиту: — С кем же ты приехала?

Девушка выпрямилась и развязнее, чем обычно, ответила:

— С Биноем-бабу.

Но за всей ее развязностью чувствовалась крайняя беспомощность. Не так-то легко было ей спокойно и просто сказать, что она приехала с Биноем-бабу. Она смутилась, и краска стыда залила ей лицо, к еще большему ее смущению.

Эту непослушную, капризную дочь Пореш-бабу любил больше других своих детей. Он ценил в ней прямоту, которую, кстати сказать, остальные члены семьи крайне не одобряли. Недостатки Лолиты были в достаточной мере очевидны, и он прекрасно понимал, как сильно мешают они окружающим оценить в ней это драгоценное качество. Потому-то он и подхо-

дил так бережно к воспитанию дочери: он сознавал, что с ее упрямством следует бороться, но боялся, как бы не уничтожить в ней попутно и внутреннего благородства.

Все, знавшие двух других его дочерей, безоговорочно признавали их красоту: у них была светлая кожа и правильные черты лица. Лолита была смуглее своих сестер, относительно же привлекательности ее лица, отличавшегося большим своеобразием, мнения расходились. Поэтому Бародашундори и высказывала неоднократно мужу опасения, что трудно будет найти подходящего жениха для Лолиты. Но не нежность кожи и не правильность черт видел в лице дочери Пореш-бабу, а красоту духовную, которую оно отражало: твердость характера, ясность ума, независимость — качества, которые привлекают лишь немногих избранных, остальных же обычно отпугивают. Предчувствуя, что успеху Лолиты в обществе всегда будет мешать ее искренность, отец относился к ней с какой-то мучительной нежностью и, помня о том, что никогда никто, кроме него, не простит ей ее ошибок, был к ней тем более снисходителен.

Когда Пореш-бабу услышал, что Лолита неожиданно приехала вдвоем с Биноем, он тотчас же подумал, что за этот незначительный проступок общество накажет ее сурово, как настоящую грешницу. Лолита вдруг прервала его мысли:

— Я виновата, отец, но, видишь ли, мне стало ясно, что отношение судьи к нашему народу таково, что его гостеприимство и покровительственное отношение к нашей семье не делает нам чести. Разве могла я после этого оставаться его гостьей?

Порешу-бабу нелегко было ответить на этот вопрос. Вместо ответа он только легонько потрепал Лолиту по волосам.

Под вечер, когда Пореш гулял перед домом, раздумывая о случившемся, к нему подошел Биной и поклонился. Они долго беседовали о происшествии с Горой и о том, что оно может повлечь за собой, но Пореш-бабу ни словом не обмолвился о поездке Лолиты и Биноя на пароходе. Сумерки опустились на землю, и Пореш сказал:

— Ну, что ж, Биной, пойдем в комнаты.

Но Биной отказался, сославшись на то, что ему нужно домой.

Пореш-бабу не стал настаивать на приглашении, и Биной, кинув украдкой взгляд на веранду второго этажа, медленно пошел прочь.

Лолита сверху видела юношу и, когда отец вернулся домой один, решила, что, может быть, Биной придет попозже. Но он так и не пришел. Тогда она рассеянно полистала лежавшие на

столе книжки и журналы и направилась было к двери. Порешбабу окликнул ее и, остановив взгляд, полный любви, на расстроенном личике дочери, проговорил:

— Лолита, спой-ка мне что-нибудь.

И с этими словами передвинул лампу так, чтобы свет не бил ей в лицо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На следующий день возвратились домой Бародашундори и все остальные. Харан-бабу, до крайности разъяренный поведением Лолиты, не заходя домой, отправился вместе со всеми к Порешу-бабу.

Бародашундори, с трудом сдерживая возмущение, сразу же пошла к себе, не удостоив Лолиту взглядом. Лабонне и Лила были тоже очень сердиты на сестру: без Лолиты и Биноя вся программа вообще и их выступление в частности выглядели так жалко, что они не знали, куда глаза девать от стыда. Что же касается Шучориты, то она, не разделяя ни гнева и воинственного пыла Харана-бабу, ни слезливой досады Бародашундори, ни стыда и уныния сестер, просто погрузилась в ледяное молчание и продолжала исполнять свои обязанности совершенно машинально. Когда она с отсутствующим видом вошла вслед за всеми в комнату, казалось, что это идет заводная кукла.

Шудхир, терзаемый раскаянием, простился с ними еще у дверей. Лабонне долго безуспешно упрашивала его остаться и в конце концов даже объявила, что между ними все кончено.

— Произошла очень серьезная неприятность,— с этими словами Харан вошел к Порешу-бабу.

Лолита была в соседней комнате. Услышав голос Харана, она сейчас же вошла к ним и, вцепившись в спинку отцовского кресла, устремила пристальный взгляд на Харана-бабу.

— Я уже все слышал от самой Лолиты,— ответил Порешбабу молодому человеку,— полагаю, что вопрос исчерпан и больше говорить тут не о чем.

Спокойную сдержанность Пореша Харан принимал за признак слабохарактерности и потому с оттенком превосходства заметил:

— Разумеется, вопрос о данном инциденте исчерпан, но его первопричина, заключающаяся в неисправимости характера, остается, и тут поговорить есть о чем. Лолита никогда не решилась бы на такой поступок, если бы не то, что вы постоянно потакаете ей во всем. Какое зло вы ей этим причинили, станет

вам очевидно, едва вы узнаете все подробности этой постыдной истории.

Пореш-бабу, почуяв за спинкой своего кресла признаки собирающейся бури, взял Лолиту за руку и, притянув к себе, с улыбкой обратился к Харану-бабу:

— Когда-нибудь вы поймете, Пану-бабу, что, для того чтобы воспитывать детей, нужна любовь.

Лолита наклонилась и, обняв отца, шепнула ему на ухо:

— Твоя ванна стынет, отец. Иди купайся.

— Я скоро пойду,— проговорил Пореш, намекая на присутствие Харана,— ведь еще не так поздно.

— Ты не беспокойся,— ласково настаивала Лолита.— Иди купайся, а мы в твое отсутствие займем Пану-бабу.

Когда Пореш-бабу покинул комнату, Лолита решительно уселась в его кресло и в упор посмотрела на Харана.

— Вы, что же, полагаете, что имеете право делать в этом доме замечания всем и каждому? — проговорила она.

Шучорита хорошо знала характер Лолиты. В другое время, увидев выражение, появившееся на ее лице, она поспешила бы принять меры предосторожности, но на этот раз она безучастно села в кресло у окна и равнодушно уставилась в открытую книгу. Шучорита давно взяла за правило всегда держать себя в руках, а то, что ей пришлось вытерпеть в течение последних нескольких дней, заставило ее еще больше замкнуться в себе. Но сегодня молчание стало для нее почти невыносимым, так что, когда Лолита взялась за Харана-бабу, Шучорита в душе это только приветствовала, как желанную разрядку.

— Вы, очевидно, воображаете, что обязанности отца по отношению к нам известны вам лучше, чем ему самому? — не унималась Лолита.— Вы что, предполагаете стать наставником для всего «Брахмо Самаджа»?

От такой дерзости Харан-бабу даже растерялся. Он было приготовился сделать девушке строгое внушение, но она не дала ему говорить.

— До сих пор мы терпели ваш снисходительно-покровительственный тон, но имейте в виду, если вы собираетесь заноситься и перед отцом, то этого в нашем доме не потерпит никто, включая слуг.

— Лолита, ты...— выговорил с трудом Харан-бабу, но девушка не дала ему продолжать.

— Помолчите, пожалуйста! — сказала она.— Довольно мы вас слушали, так что раз в жизни выслушайте и вы меня. А если не хотите слушать меня, то же самое вам скажет Шучорита.

Знайте же: отец как человек намного выше вас, какого бы высокого мнения вы сами о себе ни были. Мы хотели бы, чтобы вы поняли это совершенно отчетливо. А теперь я готова выслушать ваши советы, если угодно.

Харан-бабу почернел от злости.

— Шучорита! — крикнул он, вскакивая с кресла.

Девушка подняла голову.

— Ты допускаешь, чтобы Лолита оскорбляла меня в твоем присутствии!

— Она и не думала вас оскорблять,— медленно возразила Шучорита,— она всего-навсего добивалась от вас должного уважения к отцу. Мы не знаем никого, кто более заслуживал бы уважения, чем наш отец, уверяю вас.

Один миг казалось, что Харан-бабу уйдет, однако он остался и теперь сидел с чрезвычайно торжественным выражением лица. Чем яснее делалось ему, что его престиж в этом доме слабеет, тем яростнее он боролся, чтобы сохранить его, забыв о том, что если опора непрочна, то чем крепче за нее держаться, тем скорее она рухнет.

Видя, что Харан-бабу сердито молчит, Лолита отошла к Шучорите и, сев рядом, принялась как ни в чем не бывало болтать.

А тут в комнату вбежал Шотиш и, схватив Шучориту за руку, стал звать ее:

— Пойдем, диди, ну пойдем же...

— Куда? — удивилась девушка.

— Пойдем, я тебе что-то покажу,— настаивал Шотиш.— Лолита, ты ведь ей ничего не рассказывала?

— Нет, не рассказывала,— успокоила его сестра.

Дело в том, что Шотиш просил Лолиту ничего не говорить Шучорите о тете, и Лолита сдержала обещание.

Но Шучорита посчитала неудобным покинуть гостя.

— Я приду попозже, болтунишка,— улыбнулась она,— как только отец вернется.

Шотиш забеспокоился. Он обычно проявлял невероятную изобретательность, когда дело касалось того, чтобы улизнуть от Харана-бабу. Однако, изрядно его побаиваясь, Шотиш не стал в присутствии Харана настаивать на своем. Что же касается Харана, то, за исключением периодически повторяющихся попыток перевоспитать мальчика, никакого интереса к Шотишу он не проявлял.

Шотиш терпеливо ждал, но лишь только Пореш-бабу по-

явился, он сразу же утащил за собой из комнаты обеих сестер.

— Мне не хотелось бы больше откладывать нашу помолвку с Шучоритой,— сказал Харан.— Давайте назначим ее на будущее воскресенье.

— Лично я не возражаю,— ответил Пореш-бабу.— Все дело в том, согласна ли Шучорита.

— Так ведь ее согласие уже получено,— настаивал Харан.

— Ну что ж, тогда пусть будет по-вашему,— согласился Пореш-бабу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

С того самого дня, как Биной вернулся от Лолиты, его ни на минуту не покидали сомнения; они словно шипы впились в его мозг и не давали ему покоя.

«Ведь я даже не знаю,— мысленно рассуждал он,— хочет ли кто-нибудь в доме Пореша-бабу, чтобы я бывал у них, и все-таки упрямо хожу туда. Может быть, не следует этого делать; может быть, их раздражают мои неуместные посещения. Мне неизвестны их привычки, и я не имею никакого представления, как нужно держать себя у них. Возможно, я, дурень, сую свой нос туда, куда могут заглядывать лишь самые близкие люди».

Размышляя над всем этим, он вдруг подумал, что, вероятно, Лолита заметила в выражении его лица нечто такое, что показалось ей оскорбительным. До сих пор Биной отчетливо не представлял себе, какие чувства питает он к Лолите. Но теперь, когда все стало ясным, он окончательно растерялся. Он без конца раздумывал над тем, какое влияние все это окажет на его жизнь, как отнесется к этому общество, не сочтут ли его чувство неуважением к Лолите и предательством по отношению к Порешу-бабу. Вероятно, он был слишком назойлив, поэтому Лолита и рассердилась на него. Думая о событиях последних дней, он от стыда готов был провалиться сквозь землю.

Пустота собственного жилища действовала на него угнетающе, но он никак не мог набраться храбрости и пойти к Порешу-бабу. И вот как-то утром он отправился к Анондомойи.

— Ма,— сказал он ей.— Мне бы хотелось пожить у тебя некоторое время.

Помимо всего прочего, он рассчитывал, что его присутствие облегчит Анондомойи вынужденную разлуку с Горой. Анондомойи поняла это и была глубоко тронута его заботой. Она ничего не ответила и только ласково положила руку ему на плечо.

Не успел Биной переселиться, как у него появилось вдруг множество капризов. Он то и дело шутя попрекал Анондомойи, что о нем никто не заботится. Все это для того, чтобы отвлечь ее, да и себя тоже, от черных мыслей. В сумерки, когда тоска одолевает с особенной настойчивостью, он надоедал Анондомойи до тех пор, пока она не бросала всю домашнюю работу. Тогда, расстелив на веранде циновку, он усаживался рядом с ней и заставлял ее рассказывать о своем детстве, о жизни в отцовском доме, о том, как до замужества она жила у деда и была любимицей всех его учеников, так что ее рано овдовевшая мать вечно беспокоилась, как бы не избаловали вконец ее сиротку-дочку.

— Я даже не могу себе представить, ма, неужели было такое время, когда ты не была нашей матерью? — говорил Биной.— Я уверен, что и ученики у деда в школе относились к тебе, как к своей маленькой матери, и что на самом деле это ты воспитывала своего деда — знаменитого учителя.

Однажды вечером Биной сидел на циновке около Анондомойи, положив голову ей на колени.

— Ма,— сказал он внезапно,— я бы с удовольствием вернул всевышнему все свои знания, только бы мне снова, как маленькому, спрятаться у тебя на коленях. Чтоб была у меня только ты, ты одна, и больше никого!

В его голосе слышалась такая усталость, такая глубокая тоска, что Анондомойи не только удивилась, но и сильно встревожилась. Она наклонилась к нему и стала тихонько гладить его по голове. Они долго сидели молча. Наконец Анондомойи спросила:

— В семье Пореша-бабу все в порядке, Бину?

Биной вздрогнул от неожиданности и смутился.

«От матери ничего не скроешь,— подумал он.— Она всех насквозь видит!» И не совсем уверенно ответил:

— Да, они все здоровы.

— Мне бы очень хотелось познакомиться с девочками Пореша-бабу,— продолжала Анондомойи.— Ведь сначала Гора был о них не особенно высокого мнения, и если они все-таки сумели его приручить, значит, они должны быть не такие, как все.

— Я тоже давно мечтал,— оживился Биной,— познакомить тебя с ними, но боялся, что Гора будет против, и потому молчал.

— Как зовут старшую? — спросила Анондомойи.

Последовало еще несколько вопросов и несколько ответов, но когда таким образом дошла очередь до Лолиты, Биной стал вдруг отвечать очень уклончиво. Анондомойи, однако, не захотела оставить его в покое.

— Я слышала, что Лолита большая умница? — продолжала расспрашивать она.

— Кто тебе это сказал? — полюбопытствовал юноша.

— Да ты сам.

Было время, когда имя Лолиты не вызывало особого волнения в сердце Биноя, и он совершенно забыл, что тогда, в период «свободомыслия», он нередко с восторгом рассказывал о недюжинном уме девушки.

Анондомойи, как опытный навигатор, обходя подводные скалы, повела разговор так умело, что от нее не смогла укрыться ни одна существенная подробность его знакомства с Лолитой. Биной проговорился даже о том, как потрясена была Лолита внезапным арестом Горы и как это привело к тому, что она решилась вдвоем с ним — с Биноем — бежать на пароходе. Возбужденный рассказом, Биной совершенно забыл про свою усталость и прежнюю тоску. Какое счастье было вот так свободно, без малейшего смущения, поговорить о такой замечательной девушке.

Когда наконец их позвали ужинать и беседа оборвалась, Биной вдруг словно пробудился ото сна: он понял, что поведал Анондомойи свои самые сокровенные мысли. Она так хорошо выслушала и поняла его, что юноша не испытывал ни малейшего стыда или неловкости за свой рассказ. До сих пор в его жизни не было ничего, что нужно было бы скрывать от матери,— он привык делиться с ней даже самыми пустяками. Но с тех пор как он стал бывать в семье Пореша-бабу, им овладела какая-то скованность, и это ужасно мучило его. Теперь, излив Анондомойи — этому чуткому, внимательному слушателю — все свои горести, Биной почувствовал большое облегчение. Не расскажи он той, которую считал матерью, о своих новых переживаниях, чистота его чувства пострадала бы — в этом он был уверен.

Ночью Анондомойи долго не спала, раздумывая над тем, что услышала. Она чувствовала, что клубок жизни Горы запутывается еще больше, и в то же время надеялась, что концы его можно найти именно в доме Пореша-бабу. И Анондомойи дала себе слово во что бы то ни стало познакомиться с девушками.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Мохим и все члены его семьи смотрели на брак Шошимукхи с Биноем как на дело решенное. Шошимукхи стала даже прятаться от него, что было ново. С ее же матерью Локхимони Биной, можно сказать, почти не был знаком. Не то чтобы Локхи-

мони была застенчива, но она казалась чрезвычайно необщительной. Дверь ее комнаты всегда была закрыта. Все свое имущество, за исключением мужа, она держала под замком. Да и супруг пользовался у Локхимони далеко не такой полной свободой, как ему хотелось бы. Согласно строгому режиму, установленному опекой, круг его знакомых и сфера действий были строго ограничены. Локхимони, мать Шошимукхи, держала свой маленький мирок в железных руках, так что постороннему проникнуть туда было так же трудно, как своему — вырваться оттуда. Даже Гору она допускала на свою половину скрепя сердце. Никаких разногласий между органами управления в этом государстве быть не могло: законы писала Локхимони, она же творила правосудие — от первой инстанции и до Верховного суда,— таким образом, между законодательной и исполнительной властью противоречий не существовало.

По тому, как держался Мохим в обществе, он легко сходил за человека с твердым характером, но в царстве Локхимони этому характеру развернуться было решительно негде, даже в пустяках.

Локхимони наблюдала за Биноем через парду и дала ему свою оценку, оказавшуюся положительной. Мохим, знавший Биноя с детства, привык смотреть на него просто как на приятеля Горы, и Локхимони первая обратила его внимание на Биноя, как на возможного жениха, причем среди прочих его достоинств ее особенно прельщало то, что Бином, по всей вероятности, не станет настаивать на приданом.

Теперь Мохим совершенно извелся, потому что хотя Бином и поселился в доме Анондомойи, заводить с ним разговор о свадьбе было явно неудобно, так как в настоящее время он был слишком расстроен историей с Горой.

Но, когда пришло воскресенье, потерявшая терпение повелительница взяла дело в свои руки. Она ворвалась к благодушествовавшему по случаю праздника Мохиму и, сунув ему в руки коробочку с папом, погнала его к Бипою, который в это время читал Анондомойи новый номер журнала Бонкима «Бонгодаршон».

Угостив Биноя паном, Мохим начал с того, что осудил неискоренимое безрассудство Горы. Затем, подсчитывая, сколько времени осталось до его выхода из тюрьмы, он непароком — и совершенно естественно — вспомнил, что огрохайон уже на исходе. После чего, не мешкая, приступил к делу.

— Слушай, Бипой,— сказал он,— насчет этой твоей фантазии, будто в огрохайоне нельзя венчаться,— ведь это же ерунда!

Я тебе говорю, что если ко всем нашим уставам да запретам каждый начнет добавлять еще какие-то свои семейные приметы, так у нас в Индии свадеб вообще никогда не будет.

Анондомойи, видя растерянность Биноя, пришла к нему на помощь:

— Биной знает Шошимукхи с пеленок, и, конечно, ему трудно представить ее своей женой. Вот он и выдумал про огрохайон,— сказала она.

— Так он бы так и сказал с самого начала,— проговорил Мохим.

— Даже в своих собственных чувствах порой бывает трудно разобраться,— ответила Анондомойи.— И что тебе не терпится, Мохим? Мало, что ли, ей женихов? Вот погоди, вернется Гора, он знает много хороших молодых людей; он сумеет выдать Шоши за кого-нибудь подходящего.

— Гм...— Лицо у Мохима вытянулось. Помолчав немного, он произнес: — Если бы ты, мать, не совала нам палки в колеса, Биной никогда и слова бы не сказал.

Биной хотел было в запальчивости возразить что-то, но Анондомойи опередила его:

— Ты не так далек от истины, Мохим,— сказала она.— Я просто не могла поощрять Биноя в этой затее. Он еще молод и, пожалуй, необдуманно мог бы решиться на этот брак, но только ничего хорошего из этого никогда не получилось бы.

Таким образом, защищая Биноя, Анондомойи приняла на себя весь гнев Мохима, и Биной оказался совершенно посрамленным в своем малодушии. Он хотел было поправить дело и сказать, что, собственно, и сам не слишком-то настроен жениться, но Мохим не стал дожидаться — он выскочил из комнаты, причем выражение лица его явно говорило: «Да, мачеха — это тебе не мать».

Анондомойи знала, что Мохим всегда держит наготове этот попрек. Она знала, что общество, не задумываясь, возлагает всю вину за семейные распри на плечи мачехи. Но не в ее правилах было сообразовывать свои поступки с тем, что о ней могут подумать люди. С того дня, когда она взяла на руки Гору, она порвала со всеми традициями и условностями, то есть вступила на путь, сделавший ее постоянной мишенью для нападок общества. Но Анондомойи, сама постоянно упрекавшая себя за то, что ей приходится скрывать правду, стала нечувствительной к чужим колкостям. Когда ее называли христианкой, она, прижимая Гору к груди, говорила только: «А что тут плохого?» Так, шаг за шагом, она совершенно перестала считаться с мнением окру-

жающих и теперь слушалась только голоса своего сердца. Поэтому никакой упрек Мохима, высказанный или невысказанный, не мог помешать ей поступить так, как она считала правильным.

— Бину,— сказала вдруг Анондомойи,— ты ведь, кажется, давным-давно не был у Пореша-бабу.

— Да нет, ма, не так уж давно,— ответил Биной.

— Во всяком случае, ты ни разу не зашел к ним после той поездки на пароходе.

По правде говоря, времени с тех пор прошло не так уж много. Но Биной-то не забыл, что как раз перед этим он так зачастил в дом к Порешу, что почти перестал бывать у Анондомойи. С этой точки зрения замечание было справедливо: он, действительно, не был там давно — для себя, конечно.

Биной стал молча вытягивать нитку из края своего дхоти, но как раз в это время в комнату вошел слуга и доложил о приходе каких-то женщин. Биной хотел было поскорее уйти, чтобы не помешать, но пока они стояли, гадая, кто бы это мог быть, в комнату вошли Шучорита и Лолита. Теперь отступать было уже поздно, и Биной остался, не в силах, однако, нарушить смущенного молчания.

Обе девушки, приветствуя Анондомойи, взяли прах от ее ног. Лолита вообще не обратила внимания на Биноя. Шучорита же поклонилась и спросила, как он поживает. Затем, обращаясь к Анондомойи, пояснила ей:

— Мы из дома Пореша-бабу.

Анондомойи ласково пригласила их сесть, сказав:

— Вам не нужно представляться мне, милые мои. Хотя я никогда не видела вас, но для меня вы как родные.

Очень скоро девушки почувствовали себя у Анондомойи как дома. Шучорита попробовала вовлечь в разговор и Биноя, молча сидевшего в стороне от всех.

— Вы что-то давно у нас не были,— сказала она.

— Боялся исчерпать ваше гостеприимство,— ответил Биной, глядя на Лолиту.

— Разве вам неизвестно, что добрые чувства неисчерпаемы? — спросила с улыбкой Шучорита.

— Это-то он очень хорошо понимает,— засмеялась Анондомойи.— Если бы вы только знали, как он мне целыми днями покоя не дает своими капризами.— И она с нежностью посмотрела на Биноя.

— Это бог в моем лице испытывает терпение, которым он наградил тебя,— ответил Биной.

Шучорита легонько подтолкнула Лолиту:

— Слышишь, Лолита! Надо полагать, что нас тоже подвергли испытанию и забраковали в конце концов.

Заметив, что Лолита ничего не ответила, Анондомойи рассмеялась.

— На этот раз,— сказала она,— Бину занимается испытанием своего собственного терпения. Вы и не представляете себе, как он очарован вами, по вечерам он только о вас и говорил. Достаточно назвать имя Пореша-бабу, чтобы вызвать у него восторг.

С этими словами она взглянула на Лолиту, которая прилагала все усилия, чтобы сохранить невозмутимый вид, что ей, в общем, удалось, если бы не предательский румянец.

— Он со многими перессорился из-за вашего отца,— продолжала Анондомойи.— Правоверные знакомые стали называть его брахмаистом, а некоторые начали даже поговаривать о том, что ему не место среди членов касты. Нечего так смущаться, Бину,— я правду говорю! Ничего постыдного в этом нет. Как по-твоему, дитя мое? — На этот раз Лолита смотрела прямо на нее, но, когда Анондомойи обратилась к ней, она опять потупилась и за нее ответила Шучорита.

— Мы хорошо знаем дружеское расположение к нам Биноя-бабу,— сказала она.— Только тут дело не столько в наших заслугах, сколько в его добром сердце.

— А вот здесь я с вами не согласна,— улыбнулась Анондомойи.— Я знаю Биноя с самого раннего детства, и за все это время он ни с кем не мог подружиться, кроме моего Горы. Я замечала, что даже с людьми своего круга он сходится очень трудно. Но, познакомившись с вами, он совершенно отбился от нас. Я хотела уж поссориться с вами из-за него, но теперь вижу, что и меня постигла его участь — вы хоть кого можете очаровать!

С этими словами Анондомойи коснулась подбородка Шучориты, затем Лолиты и поцеловала кончики своих пальцев. Шучорита заметила, что Биной окончательно смутился, и, сжалившись над ним, сообщила:

— Отец тоже приехал, Биной-бабу. Он беседует внизу с Кришнодоялом-бабу.

Биной воспользовался этим известием, чтобы поскорее уйти, оставив женщин одних.

Тогда Анондомойи принялась рассказывать о необыкновенной дружбе Биноя и Горы, и от нее не укрылся напряженный интерес, с каким отнеслись к ее рассказу обе слушательницы. В целом мире не было для Анондомойи ничего дороже этих двух мальчиков, которым она отдала всю свою материнскую любовь.

Они были поистине ее творением и в то же время предметом обожания. В этом отношении она была похожа на девушек, которые лепят себе божков из глины и потом им же и поклоняются.

В ее устах рассказ о двух этих кумирах звучал так трогательно, так выразительно, что Шучорита и Лолита слушали и не могли наслушаться. Они всегда высоко ставили Биноя и Гору. Но теперь, посмотрев на них через призму материнской любви, они словно по-новому увидели их.

С той минуты, когда Лолита познакомилась с Анондомойи, гнев ее против судьи разгорелся с новой силой, но в ответ на ядовитое замечание девушки Анондомойи только улыбнулась.

— Одному богу известно, как мне тяжело сознавать, что Гора сейчас в тюрьме. Но я не сержусь на этого англичанина,— сказала она.— Я ведь знаю Гору: если он уверен в своей правоте, то никакие законы не смогут его остановить. Гора выполнил свой долг. Власти выполняют свой. Тем, кто должен при этом пострадать, остается только терпеть. Прочти письмо моего Горы, дорогая, и ты увидишь, что испытаний он не боится и ни против кого не чувствует мелочных обид. Он взвесил все возможные последствия своего поступка.

Она достала письмо Горы из шкатулки, где его бережно хранила, и передала Шучорите.

— Пожалуйста, прочитай вслух, дорогая,— попросила она.— Мне хочется послушать еще раз.

Удивительное письмо Горы было прочитано, и все трое некоторое время молчали. Анондомойи смахнула слезинки. В этих слезах была не только боль материнского сердца, но и счастье и гордость за сына. Вот он какой, ее Гора! Такой не станет кланяться, не запросит у судьи пощады. То, что он сделал, он сделал с открытыми глазами, заранее зная, какие тяжкие лишения сулит ему тюрьма. Он никого не станет упрекать в том, что ему приходится страдать. А если Гора стерпит все, не дрогнув, то и у нее, его матери, хватит сил снести свое горе!

Лолита с восхищением смотрела на Анондомойи. Она, воспитанная в принципах «Брахмо Самаджа», не питала особенного уважения к женщинам, не следующим новому учению, погрязшим, как она считала, в суевериях ортодоксального индуизма. С детства Лолита помнила, что, когда Бародашундори хотела ее как следует отругать за какой-нибудь проступок, она обычно говорила, что «так поступают одни индуисты!», после чего Лолита чувствовала себя должным образом пристыженной. Сейчас, слушая Анондомойи, она не переставала изумляться. Какая сила

духа и в то же время сколько спокойствия, необыкновенного здравого смысла в этой женщине! Лолита вспомнила, как невоздержанна порой бывает она сама, и почувствовала себя рядом с Анондомойи совершенно ничтожной.

Сегодня Лолита в своем возбуждении не хотела ни говорить с Биноем, ни даже смотреть на него. Но когда она увидела перед собой спокойное лицо Анондомойи, излучающее ласку и понимание, в душе ее воцарился мир, и все вдруг стало простым и ясным.

— Теперь, когда я увидела вас,— обратилась она к Анондомойи,— я поняла, откуда у Горы столько мужества.

— Боюсь, что ты здесь несколько ошибаешься,— ответила с улыбкой Анондомойи.— Если бы Гора был таким, как все, откуда я взяла бы силы? Разве смогла бы я так легко перенести несчастье, случившееся с ним?

Чтобы понять странное возбуждение Лолиты, необходимо вернуться немного назад.

Вот уже несколько дней первой мыслью Лолиты при пробуждении было: «Биной-бабу не придет». И тем не менее весь день потом она не могла подавить в себе надежду, что он все-таки придет. То и дело ей начинало казаться, что Биной уже пришел, только, наверное, вместо того чтобы подняться наверх, разговаривает с отцом внизу. И когда эта мысль овладевала ею, она начинала слоняться из комнаты в комнату. Когда же наступал вечер и потом приходило время ложиться спать, она не знала, куда деваться от своих мыслей,— и то вдруг слезы подступали к глазам, то она сердилась неизвестно на кого, скорее всего на себя. «Да что же это такое? — думала она.— Что со мной будет? Как найти выход из этого положения?»

Лолита знала, что Биной был правоверным индуистом, поэтому брак с ним был совершенно немыслим. И при всем этом не владеть собой! Какой стыд! Она видела, что не безразлична Биною, и именно потому, что знала об этом, ей так трудно было теперь заставить молчать свое сердце. Именно поэтому она и ждала Биноя и в то же время боялась его прихода.

Промучившись так несколько дней, Лолита в это утро почувствовала, что дальше так продолжаться не может, и решила, что если она не находит себе места только потому, что не видит Биноя, значит, нужно его увидеть. Может быть, это приведет ее в равновесие?

Утром она зазвала к себе в комнату Шотиша.

— Ты что, поссорился с Биноем-бабу? — спросила она.

Шотиш стал с жаром отрицать это, хотя, с тех пор как у

мальчика появилась его маши, дружба с Биноем действительно отошла на второй план.

— Хорош же тогда твой друг! — продолжала девушка.— Ты только и знаешь, что твердишь «Биной-бабу» да «Биной-бабу», а он и знать тебя не хочет.

— Вот и неправда! — запротестовал Шотиш.— И ничего ты не понимаешь! Очень даже хочет!

Обычно Шотиш для поддержания своего престижа довольствовался голословными утверждениями; однако в данном случае он почувствовал, что необходимо какое-то вещественное доказательство. Поэтому он тут же помчался домой к Биною, но вскоре вернулся и сообщил:

— А его и дома-то нет вовсе, потому он к нам и не приходит!

— А почему он раньше не мог прийти? — не отставала Лолита.

— Потому что его уже давно там нет,— сказал Шотиш.

Услышав это, Лолита пошла к Шучорите и сказала:

— Как ты думаешь, диди, милая, не следует ли нам сходить к матери Гоурмохона-бабу?

— Но мы же с ней незнакомы,— возразила Шучорита.

— Вот еще,— воскликнула Лолита.— Ведь отец Горы и наш отец — старые друзья.

Шучорита совсем упустила это из виду.

— А верно ведь,— сказала она и тут же сама загорелась: — Ты пойди спроси у отца.

Но от этого Лолита наотрез отказалась, так что Шучорите в конце концов пришлось идти самой.

— Конечно,— сразу же согласился Пореш-бабу,— жаль, что мы раньше об этом не подумали.

Решено было, что после завтрака они пойдут туда. Но тут Лолита снова передумала. В ней заговорило вдруг уязвленное самолюбие, и неизвестно откуда взявшаяся робость поколебала ее решимость.

— Диди,— тихо проговорила она, входя к сестре,— отправляйся одна с отцом, я не пойду.

— Как же так? — воскликнула Шучорита.— Как же я пойду одна с отцом? Ну, дорогая моя, ну красавица моя! Пойдем, не упрямься!

После длительных уговоров Лолита наконец сдалась. Но не означало ли это, что она признает победу за Биноем? Ведь он, по-видимому, прекрасно обходился без нее! А она возьмет и побежит за ним! Чем бесславней казалась ей собственная капи-

туляция, тем больше злилась она на Биноя. Она всячески старалась заставить себя поверить, что пошла к Анондомойи вовсе не потому, что надеялась встретить там Биноя. И чтобы окончательно убедить себя в этом, она, войдя в комнату, даже не взглянула на Биноя, не ответила на его поклон, не сказала ему ни слова.

Биной, со своей стороны, решил, что Лолита догадалась о его тайном чувстве и своим пренебрежением подчеркивает, что возмущена такой дерзостью. Заподозрить, что Лолита может питать к нему нежные чувства,— нет, для этого Биною не хватало самонадеянности.

Вскоре Биной вернулся и, робко остановившись у двери, сказал, что Пореш-бабу просил передать, что собирается уходить домой. При этом он спрятался за створкой двери так, чтобы Лолита не могла его видеть.

— Как же так! — воскликнула Анондомойи.— Неужели он думает, что я его отпущу, не угостив? Погоди минуточку, Биной. Ты посиди здесь, я сейчас. Что ж ты стоишь в дверях? Проходи!

Биной вошел и уселся в углу подальше от Лолиты. Но Лолита уже успела овладеть собой и теперь свободно, без тени прежней застенчивости обратилась к нему:

— А знаете, Биной-бабу, ваш друг Шотиш сегодня утром бегал к вам домой, чтобы выяснить, не забыли ли вы его окончательно.

Биной в изумлении поднял глаза, словно его слуха коснулся небесный голос, и тут же смутился, сообразив, сколь неприкрыто его удивление. Обычная находчивость совершенно изменила ему.

— Значит, Шотиш приходил ко мне? А меня не было дома,— наконец вымолвил он и весь, до кончиков ушей, залился краской.

Однако эти несколько незначительных слов, сказанных Лолитой, преисполнили его ликованием. Сразу же рассеялись сомнения, окутывавшие до сих пор весь его мир каким-то кошмаром. Ему казалось, что все его желания исполнились и больше ему ничего не надо. «Я спасен, спасен! — ликовало его сердце.— Лолита не сомневается во мне! Лолита не сердится!»

Разделявший их барьер очень скоро рухнул.

Шучорита со смехом говорила:

— Кажется, Биной-бабу принял нас сначала за какого-то когтистого, бодучего или кусачего зверя. Или, может быть, вы подумали, что мы явились, чтобы совершить вооруженное нападение?

— Молчанье почему-то всегда принимается за признание собственной вины,— ответил Биной.— Увы, выигрывает в этом мире тот, кто нападает первым, но уж от вас-то, диди, я такого не ожидал. Спрятаться самой в свою скорлупку, а потом отчитывать других за то, что они держатся вдалеке!

Сегодня Биной впервые назвал Шучориту «диди», подчеркнув таким образом, что относится к ней, как к сестре. Ей было приятно это обращение, потому что в ее представлении доверие и симпатия, которые они почувствовали друг к другу с первого знакомства, приняли теперь определенную дружескую форму.

Было уже почти темно, когда Пореш-бабу и его дочери ушли домой.

— Ма,— сказал Биной Анондомойи,— сегодня я не позволю тебе больше ничем заниматься. Давай пойдем наверх.

Биной не мог сдержать своего возбуждения. Приведя Анондомойи на веранду, он усадил ее на циновку, которую сам расстелил на полу.

— Ну, так в чем же дело, Бину? — сказала Анондомойи.— Что ты мне хочешь сказать?

— Ничего, ма, ровно ничего. Я хочу, чтобы говорила ты.

Дело в том, что Биною не терпелось узнать, какое впечатление произвели на Анондомойи дочери Пореша-бабу.

— Ах, вот оно что! — воскликнула Анондомойи.— И ради этого ты заставил меня бросить всю работу. А я-то думала, что ты хочешь сообщить мне что-то важное.

— Если бы я не привел тебя сюда, ты не увидела бы такого чудесного заката,— ответил молодой человек.

Декабрьское солнце и правда садилось за крышами Калькутты, но оно, казалось, было объято унынием: не искрилось и не сверкало, а словно меркло над горизонтом в дымном мареве столицы. Но сегодня для Биноя даже этот тусклый закат так и играл волшебными красками. И ему казалось, что весь мир сомкнулся вокруг него, а небо, приблизившись, ласково и нежно баюкает его.

— Обе девочки очаровательны,— сказала Анондомойи.

Но Биною этого показалось мало, и он сделал все, чтобы продлить разговор. Он старательно припоминал различные подробности своего знакомства с семьей Пореша-бабу. Все эти эпизоды сами по себе были в достаточной степени незначительными, но волнение Биноя и живой интерес Анондомойи, тишина, окружавшая их, и сгущающиеся тени осеннего вечера придавали каждой мелочи в этой семейной хронике какой-то особенный, глубокий смысл.

Неожиданно Анондомойи сказала со вздохом:

— Как бы мне хотелось, чтобы Гора женился на Шучорите!

Биной выпрямился.

— Я и сам об этом часто думал, ма! — сказал он.— Шучорита прямо создана для Горы!

— Но разве это возможно? — задумчиво произнесла Анондомойи.

— А почему бы и нет? — воскликнул Биной.— Я далеко не уверен, что Гора равнодушен к Шучорите.

От внимания Анондомойи не укрылось, что в последнее время Гора поддался какому-то увлечению, а по отдельным замечаниям Биноя ей нетрудно было догадаться, что увлечен он не кем иным, как Шучоритой. После короткого молчания она сказала:

— Но разве Шучорита согласится выйти замуж за правоверного индуиста?

— Я бы поставил вопрос иначе,— сказал Биной.— Позволят ли Горе жениться на девушке из «Брахмо Самаджа»? Разве ты не будешь возражать?

— Нет, конечно,— ответила Анондомойи.

— Правда? — воскликнул Биной.

— Уверяю тебя,— повторила Анондомойи,— против чего, собственно, мне возражать? Ведь брак — это союз двух сердец; так не все ли равно, какие молитвы читаются при заключении этого союза.

Тяжелый груз свалился с сердца Биноя.

— Мне странно слышать от тебя такие речи, ма,— горячо сказал он.— Откуда у тебя такой либерализм?

— От Горы, конечно,— ответила со смехом Анондомойи.

— Но Гора же учит как раз обратному,— возразил Биной.

— Мало ли чему он учит,— сказала Анондомойи.— Все равно, тем, что я сумела понять, я обязана только Горе. Разве поняла бы я без него, что настоящее — это сам человек, а все то, что заставляет людей делиться на разные лагери и ссориться, надуманно и ложно. Какая, в конце концов, разница, правоверный ли ты, индуист, или брахмаист, или еще кто-нибудь? Человеческое сердце вне касты. Всевышний затем и дал его людям, что только оно помогает им соединиться воедино, затем, что только сердцем люди могут познать Его. Как же можем мы забывать об этом и оставлять на произвол вероучений и разных обрядов дело объединения людей?

Биной, взяв прах от ног Анондомойи, почтительно склонился перед ней.

— Как радостно мне слышать все это, ма,— сказал он.— Как много дал мне этот день, проведенный с тобой!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

С появлением Хоримохини, тетки Шучориты, в доме Пореша-бабу поселилась тревога.

Но прежде чем объяснять, почему так случилось, стоит, пожалуй, изложить вкратце ее же словами то, что она рассказала о себе Шучорите.

«Была я двумя годами старше твоей матери. Казалось, нет предела любви и заботы, которыми нас окружали в отцовском доме, потому что, кроме нас, в семье детей не было, и все дядюшки так любили нас, что готовы были на руках носить.

Когда мне исполнилось восемь, меня отдали замуж в знатную семью Рай Чоудхури из Пальши; семья была столь же богата, сколь и именита. Но участь моя оказалась нелегкой. Свекор с отцом рассорились из-за свадебных подарков, и семья мужа долго не могла простить мне оскорбления, которое, как они считали, нанесли им в доме моего отца. «Вот приведет наш мальчик в дом новую жену! Посмотрим тогда, каково будет этой девчонке!» — не раз приходилось мне слышать, и в этих словах сквозила смутная угроза. Видя, как мне тяжело живется, отец поклялся, что ни за что не выдаст вторую дочь за сына богатых родителей. Поэтому для твоей матери и не стали искать выгодной партии.

Семья мужа была большая, и мне с девяти лет приходилось помогать на кухне, где готовили на шестьдесят, а то и на все семьдесят человек. Мне не разрешалось завтракать, пока все не наедятся, так что для меня порой оставались одни лишь объедки — чаще всего рис с горохом или просто один рис.

Обычно мне не удавалось поесть до двух часов, а то и до самого вечера, и, бывало, не успею я проглотить последний кусок, как надо уже готовить вечернюю трапезу. Так что ужинала я сама не раньше одиннадцати. У меня не было даже своей собственной постели. Где на женской половине оказывалось свободное местечко, там я и засыпала, а иной раз приходилось укладываться прямо на голом полу. В общем, относились ко мне с таким пренебрежением, что это не замедлило отразиться на поведении мужа, и он долгое время не хотел меня знать.

Когда мне исполнилось семнадцать лет, у меня родилась дочь Монорома. После этого мое положение в семье еще более ухудшилось из-за того, что родила я всего лишь девчонку. И все-таки, несмотря на все обиды, дочка стала для меня настоящим утешением. Никем в семье — даже собственным отцом — не любимая, Монорома была мне дороже жизни, и я неустанно заботилась о ней.

Три года спустя я родила сына, и моя жизнь сразу изменилась к лучшему, потому что я наконец заняла по праву принадлежавшее мне место хозяйки дома. Свекрови своей я не знала, свекор же умер через два года после рождения Мономы. После его смерти мой муж и его братья затеяли тяжбу из-за наследства. В конце концов они разделились, но только после того, как судебный процесс поглотил значительную часть состояния.

Когда пришло время выдавать Монорому замуж, я так испугалась, что она уедет далеко и я потеряю ее из виду, что выдала ее за человека, жившего в деревне Шимул, в пяти-шести крошах от Пальши. Жених был на редкость хорош собой — прямо настоящий Картика. У него были правильные черты лица и светлая кожа. И происходил он тоже из довольно зажиточной семьи.

Прежде чем злая судьба вновь настигла меня, провидение все-таки дало мне изведать и короткое счастье, как мне тогда казалось, с лихвой искупившее все горести и обиды, которые мне раньше пришлось пережить. Под конец я заслужила уважение и любовь мужа, так что теперь он никогда не предпринимал ничего, не спросив прежде моего совета. Увы, счастье не может быть вечным! Вскоре у нас вспыхнула эпидемия холеры и в течение нескольких дней унесла одного за другим моих мужа и сына. Меня же всевышний оставил в живых; наверное, он хотел показать мне, что человек может перенести даже такое несчастье, какое и представить себе немыслимо.

С течением времени я лучше узнала своего зятя. Кто бы мог подумать, что под красивой внешностью скрывалось такое чудовище! Дочь раньше никогда не говорила мне о том, что он попал в дурную компанию и начал пьянствовать, поэтому, когда он иногда являлся ко мне клянчить деньги, я скорее радовалась, так как в этом мире мне больше не для кого было беречь свое добро. Вскоре, однако, дочь стала запрещать мне давать ему деньги. «Ты его только портишь,— предостерегала она.— Ведь совершенно неизвестно, на что он швыряет их». А я воображала, что Монорома просто боится, как бы его семья не

стала косо на него смотреть, узнав, что он занимает деньги у родственников жены. И вот по собственной глупости я тайно от моей девочки продолжала давать деньги ее мужу и таким образом подталкивала его к гибели. Когда Монорома узнала об этом, она пришла ко мне вся в слезах и рассказала, как низко он пал. Я была в полном отчаянии. И подумать только, что сбил его с толку своим примером и погубил младший брат моего мужа!

Когда я перестала давать деньги и он заподозрил, что это дело рук его жены, он перестал заботиться о соблюдении приличий. Он стал так плохо обращаться с моей девочкой, так издевался над ней, даже при посторонних, что я не выдержала и снова тайком от нее стала давать ему деньги. Я понимала, что толкаю его в пропасть. А что я могла сделать? Ведь я же знала, как он терзает мою Монорому! Наконец пришел день — ох, как хорошо я помню этот день! Был конец магха. Теплая пора наступила в тот год необычно рано, и мы не переставали удивляться тому, что манговые деревья в нашем саду уже покрылись цветами.

В полдень у моих дверей остановились носилки. Из них вышла улыбающаяся Монорома и взяла прах от моих ног.

— Ну что, Мону, какие у вас новости? — спросила я.

— А разве нельзя прийти к матери просто так, без всяких новостей? — ответила она, продолжая улыбаться.

Свекровь моей дочери была неплохая женщина. Она прислала мне такое сообщение: «Монорома ждет ребенка, и, по-моему, пока он не родится, Мону лучше всего быть у своей матери». Я, конечно, была вполне с ней согласна и не стала доискиваться других причин. Мне тогда и в голову не пришло, что зять, не считаясь с положением Монороми, опять стал бить ее, и его мать, замирая от страха перед последствиями, отослала ее ко мне. Так Мону со своей свекровью скрыли все от меня. Когда я предлагала натереть ее маслом или помочь выкупаться, она под разными предлогами уклонялась от этого: моя Мону не желала, чтобы даже я — мать — видела на ее теле следы побоев.

Несколько раз являлся зять и шумел, требуя, чтобы жена возвращалась домой, понимая, что, пока она у меня, денег не очень-то выманишь. Но мало-помалу и это перестало быть для него помехой, и он опять стал приставать ко мне, требуя денег даже при Монороме. Сама Мону была тверда и запретила мне даже слушать его. Но я, глупая, опасаясь, что он

еще больше обозлится на Мону, такой твердости в себе не находила.

— Ма,— сказала в конце концов Монорома,— отдай мне на хранение свои наличные деньги.— И она отобрала у меня шкатулку и ключи. Когда зять убедился, что теперь с меня больше ничего не возьмешь и что Мону не поддается на уговоры, он заявил, что забирает ее домой.

— Дай ты ему, сколько ему нужно, дорогая моя,— стала я упрашивать Монорому,— пусть бы он только ушел, а то кто его знает, на что он способен!

Но моя нежная Монорома умела быть непреклонной.

— Ни за что,— сказала она,— денег ему давать нельзя ни в коем случае.

Однажды зять пришел с налитыми кровью глазами и заявил:

— Завтра после обеда я присылаю носилки. Если не отпустите жену,— потом пожалеете!

Когда на следующий день у дверей появились носилки, я сказала Монороме:

— Теперь тебе оставаться просто опасно. Поезжай, доченька, а через неделю я пришлю кого-нибудь за тобой.

Но Монорома ответила:

— Можно мне побыть у тебя еще немного, ма? Сегодня я просто не могу ехать туда. Скажи им, чтобы приходили через несколько дней.

— Дорогая моя, если я отошлю носилки,— отвечала я ей,— то справимся ли мы с твоим буяном-мужем? Нет, Мону, лучше поезжай.

— Только не сегодня, ма,— молила она,— свекор сейчас в Калькутте, он должен приехать в середине будущего месяца,— тогда я и вернусь домой.

Но я все-таки настаивала, что это небезопасно, и в конце концов Монорома пошла собираться. Я же занялась приготовлением угощения для слуг и носильщиков, и занялась так усердно, что перед расставаньем нам даже не удалось побыть с ней вместе, я даже не приласкала ее, не одела своими руками, не накормила самым любимым кушаньем!

Уже перед тем как сесть в носилки, Монорома взяла прах от моих ног и сказала:

— Прощай, ма.

Тогда я не поняла, что она прощается навсегда! До сих пор сердце у меня разрывается при мысли, что она не хотела идти, а я сама заставила ее.

Той же ночью у Мономы случился выкидыш, и она умерла. Прежде чем я об этом узнала, ее тело успели тайно предать сожжению.

Тебе не понять безысходного горя, такого горя, которого за всю жизнь не выплачешь. Но, хотя со смертью Мономы для меня, казалось бы, кончилось все, беды мои, однако, далеко еще не кончились.

Сразу после смерти мужа и сына у братьев мужа разгорелись глаза на мое состояние. Они знали, что после моей смерти оно все равно перейдет к ним. Но им не хотелось ждать. И в этом их трудно винить. Как можно ожидать, чтобы люди, не знающие границ своим желаниям, мирились с человеком, которому ничего в жизни не нужно, но который тем не менее стоит на их пути к наслаждениям.

Пока была жива Монорома, я ни в чем не уступала деверям и, как могла, отстаивала свои права на наследство. Я решила, что оставлю ей все, что сумею скопить. Но девери не хотели примириться с тем, что я берегу деньги для дочери. Им казалось, что этим я обкрадываю их. Моим помощником и союзником в делах был преданный служащий мужа, Нилоканто. Он даже слышать не хотел, когда я начинала разговор о том, чтобы ради сохранения мира отдать им часть состояния.

— Хотел бы я посмотреть, кто посмеет лишить нас наших законных прав,— говорил он, бывало.

Моя дочь умерла как раз в разгар этой борьбы за мои права. На следующий день после ее смерти ко мне пришел младший деверь и посоветовал отречься от имущества и уйти от мира.

— Сестра,— сказал он,— видно, всевышнему неугодно, чтобы ты жила в миру. Шла бы ты в какую-нибудь святую обитель да посвятила бы остаток дней служению богу. А мы бы о тебе позаботились.

Я послала за своим духовником и спросила его:

— Скажи, святой отец, как уйти мне от нестерпимого горя, свалившегося на меня. Я не нахожу себе места, я будто в огненном кольце; я нигде не вижу пути к избавлению от страданий, куда ни повернись.

Гуру привел меня в наш храм и, указывая на изображение Кришны, сказал:

— Вот твой муж, твой сын, твоя дочь, все, что у тебя есть дорогого. Служи ему и молись, и сбудутся желания твои, и заполнится пустота в сердце твоем.

Но как я могла служить ему, если он не нуждался во мне и не принимал моих услуг?

И вот я стала дни и ночи проводить в храме, стараясь, чтобы все помыслы мои были о боге.

Я призвала Нилоканто и сказала ему:

— Нилу-дада, все свои доходы и имущество я решила отдать деверям, с тем чтобы они выплачивали мне небольшое ежемесячное пособие.

Но Нилоканто сказал:

— Нет, так нельзя! Ты женщина, и не тебе заниматься денежными делами.

— Но к чему мне теперь имущество? — спросила я.

— Как так «к чему»? — воскликнул Нилоканто.— Зачем отказываться от своих законных прав? Не надо терять голову, госпожа!

Для Нилоканто ничего, кроме законных прав, на свете не существовало. Но я оказалась в безвыходном положении. Мирские дела мне стали горше яда. И в то же время, как могла я огорчить старого Нилоканто, своего единственного верного друга? Ведь ему пришлось приложить столько усилий, прежде чем он сумел отстоять мои права!

И вот наконец, тайком от Нилоканто, я подписала какую-то бумагу. Я даже толком не поняла, что в ней говорилось, но, поскольку мне ничего не было нужно, я не боялась, что меня обманут.

Я думала, что все, принадлежавшее когда-то моему свекру, следует передать его детям.

Когда бумага была заверена, я призвала Нилоканто и сказала ему:

— Не сердись, Нилу-дада, я отказалась от имущества письменно. Мне оно больше не нужно.

— Что? — закричал в панике Нилоканто.— Что ты наделала?!

Когда он прочел копию документа и убедился, что я на самом деле отреклась от всех своих прав, его возмущение не имело границ: ведь после смерти своего господина он всю жизнь посвятил защите моих интересов! Все его помыслы, все усилия были направлены к этому. Он не знал другого удовольствия, кроме как таскаться по адвокатским конторам и копаться в законах. У него даже не оставалось времени на свои дела. Увидев же, как от одного росчерка пера глупой женщины все труды его пошли прахом, он не смог сдержаться.

— Ах так! — воскликнул он.— Ну тогда с меня довольно ваших дел. Я ухожу!

Чтобы Нилу-дада рассердился и ушел от меня вот так, в

гневе — нет, это был уже предел моих несчастий! Я крикнула ему вслед:

— Не сердись на меня, дада!

Я упрашивала его:

— Я дам тебе пятьсот рупий, которые у меня еще остались. В тот день, когда жена твоего сына войдет в ваш дом, ты передашь ей мое благословение и на эти деньги купишь для нее украшений.

— На что мне деньги,— ответил Нилоканто,— когда все состояние моего хозяина пошло прахом! Какая мне радость от этих пятисот рупий. Пропади они пропадом!

И с этими словами последний истинный друг моего мужа покинул меня.

Я искала прибежища в храме. Но мои девери не давали мне проходу, настаивая, чтобы я отправлялась в какую-нибудь святую обитель да молилась бы там богу.

— У меня есть своя святая обитель — это дом, который я унаследовала от своего мужа. У меня есть бог, которому я могу молиться,— это бог нашего семейного очага, ему молились наши предки,— отвечала я им.

Но то, что я все-таки занимаю место в доме, раздражало братьев мужа сверх всякой меры. Постепенно они свезли свою мебель в наш дом и поделили между собой комнаты.

И наконец они сказали мне:

— Забирай с собой бога нашего семейного очага, против этого мы не возражаем.

Когда же все-таки я продолжала колебаться, они заявили:

— А на что ты, интересно, собираешься жить?

— Мне вполне хватит пособия, которое вы обещали мне выплачивать,— ответила я.

Но они сделали вид, что не понимают.

— То есть, как это? — возразили мне.— Ни о каком пособии и речи не было.

Теперь мне уже не оставалось ничего, как покинуть дом своего мужа, где я прожила ровно тридцать четыре года. Я отправилась на поиски Нилу-дады, но вскоре узнала, что он уехал во Вриндаван.

Вместе с другими паломниками из нашей деревни я отправилась в Бенарес. Но даже там моя грешная душа не обрела покоя. Каждый день я молилась: «О господи, замени мне мужа и детей!» Но, увы! Он не внял моим молитвам, и на сердце у меня так и не становилось легче, и слезы по-прежнему не иссякали. Боже мой, до чего же тяжела жизнь!

С той поры, как восьмилетней девочкой меня выдали замуж, мне ни разу не удалось побывать в отчем доме. Как я ни просилась, чтобы меня отпустили домой на свадьбу твоей матери, ничего из этого не вышло. Из письма отца я узнала о вашем рождении и вскоре после этого о смерти сестры. Но до сегодняшнего дня богу не было угодно, чтобы я прижала вас, моих сироток, моих дорогих детей, к своей груди.

Когда, вдоволь настранствовавшись по святым местам, я поняла, что все равно не могу отрешиться от земных привязанностей, что сердцу моему нужно кого-то любить, я принялась разыскивать вас».

Хоримохини ласково посмотрела на Шучориту. «Говорят, Пореш-бабу порвал с индуистами. Но что мне до этого? Разве не были мы с вашей матерью родными сестрами?

Наконец я разузнала, где вы живете, и пришла сюда из Бенареса с одной своей знакомой. Я слышала, что Пореш-бабу не чтит наших богов, но достаточно взглянуть на его лицо, чтобы понять, что боги чтят его. Бога не проведешь одними молитвами. Это-то я прекрасно знаю. И мне хотелось бы понять, как Пореш-бабу заслужил его милость.

Как бы то ни было, дитя мое, выходит, что не пришло еще мне время уходить от мира. Я еще не готова к тому, чтобы жить отшельницей. Когда будет на то воля господня, я уйду отсюда и поселюсь вдали от всех. А пока что мне даже страшно подумать, как это я буду жить вдали от вас, мои новообретенные дети».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Пореш-бабу дал приют Хоримохини в отсутствие Бародашундори и поселил ее в дальней комнатке на самом верху, где она могла бы жить, как ей хочется, и беспрепятственно выполнять обряды, предписанные ее кастой.

Но когда Бародашундори возвратилась и увидела, что ее хозяйские обязанности усложняются благодаря этой неожиданной гостье, она пришла в страшное негодование, которое и высказала Порешу-бабу в доходчивых выражениях, заявив, что от нее слишком многого хотят. На это Пореш-бабу ответил:

— У тебя на плечах целая семья, и ты ничего, справляешься, так неужели же одна несчастная вдова окажется для тебя непомерной обузой?

Бародашундори смотрела на Пореша как на человека, не обладающего ни здравым смыслом, ни житейским опытом. Она была уверена, что раз он не имеет понятия о хозяйственных

делах, всякий его самостоятельный шаг в этой области обязательно будет неудачен. Однако она знала также, что если ему что-нибудь взбредет на ум, то сердись не сердись, плачь не плачь, но с места его не сдвинешь, он будет стоять на своем как истукан, ну что с таким человеком поделаешь? И какая женщина может с ним ладить, если в случае надобности с ним и не поссоришься-то толком? Она видела, что придется признать себя побежденной.

Шучорита была почти ровесницей Мономы, и Хоримохини даже стало казаться, что и в лице у них есть что-то общее; даже характерами они были похожи: обе спокойные, но твердые. Всякий раз, когда Хоримохини случалось взглянуть на девушку со спины, сердце ее замирало.

Однажды вечером, когда Хоримохини сидела одна в темноте и беззвучно плакала, к ней зашла Шучорита, и Хоримохини, прижимая племянницу к своей груди, с закрытыми глазами зашептала:

— Она вернулась! Вернулась ко мне! Она не хотела уходить, а я сама отослала ее. И нет для меня в этой жизни достойной кары. Но, может, я все-таки отстрадала свое и теперь она снова вернулась ко мне. Вот она, с той же улыбкой на лице! О моя маленькая, моя жемчужина, сокровище мое! — И она гладила лицо и руки Шучориты и целовала ее, обливая слезами.

Тогда Шучорита тоже не выдержала и голосом, прерывающимся от рыданий, сказала:

— Тетя, я тоже давно уже не видела материнской ласки. Но сегодня я снова нашла свою мать. Сколько раз в минуты отчаяния, когда мне казалось, что горе иссушило мне душу, и я не могла даже молиться, я звала свою мать. И вот теперь она услышала мой зов и пришла ко мне.

— Не говори, не говори так, дитя мое! — отвечала Хоримохини.— От твоих слов мне делается так радостно, что даже страшно. О господи, неужели ты отнимешь у меня и это? Я думала, что больше не привяжусь уже ни к кому, я старалась обратить свое сердце в камень, и не смогла! — потому что слаб человек. Смилуйся же надо мной, господи, не наказывай меня больше! О Радхарани, уйди, оставь меня, не прикасайся ко мне! О всемогущий Кришна! Мой Джибоннатх, мой Гопал, мой Нильмони! Какое новое испытание уготовил ты мне?

— Не гони меня, тетя,— проговорила Шучорита.— Что бы ты ни сказала, я тебя никогда не покину, я всегда буду с тобой.

И она, как ребенок, прильнула к груди Хоримохини.

За эти несколько дней между ними возникли близкие род-

ственные отношения, которые не измеришь временем, и это, казалось, приводило Бародашундори в еще большее раздражение.

— Вы только посмотрите на нее! — говорила она о Шучорите,— будто она от нас никогда не видела ни заботы, ни ласки! Интересно, где эта тетка раньше была? Воспитывать ее с ранних лет нам пришлось, а теперь только от нее и слышишь: «Тетя да тетя!» И сколько раз говорила я мужу, что эта Шучорита, которую все превозносят до небес, еще себя покажет. Мы столько для нее сделали, а она хоть бы спасибо сказала!

Бародашундори прекрасно понимала, что сочувствия у Пореша не встретит. Мало того, она не сомневалась, что, проявив неприязнь к Хоримохини, она только уронит себя в его глазах, и это еще бо́льше выводило ее из себя и придавало решимости во что бы то ни стало — и что бы там ни говорил Пореш — доказать, что всякий здравомыслящий человек должен обязательно встать на ее сторону. И вот она начала рассказывать о Хоримохини каждому встречному члену «Брахмо Самаджа», без различия пола, возраста и положения в обществе, чтобы убедить их в своей правоте. Не было конца ее жалобам на то, как вредно отражается на детях постоянное присутствие в доме несчастной суеверной старухи, которая к тому же поклоняется идолам.

Но Бародашундори не ограничивалась тем, что изливала свое скрытое раздражение посторонним — она и дома начала чинить Хоримохини всякие неудобства. Слуга, принадлежащий к соответствующей касте и специально приставленный к Хоримохини, чтобы носить ей воду для приготовления пищи, отзывался для какой-нибудь другой работы всякий раз, когда она нуждалась в его услугах. Если же об этом говорили Бародашундори, она отвечала:

— В чем дело? Что такое? Так ведь есть же еще Рамдин! — прекрасно понимая, что Хоримохини не может принять воду из рук Рамдина, принадлежавшего к одной из низших каст. А когда ей указывали на это, она обычно возражала: — Если уж она из такой высокой касты, то незачем ей было селиться в доме брахмаистов. Мы не можем разрешить у себя соблюдение этих дурацких кастовых различий, и я лично никогда этого не позволю.

В подобных случаях сознание долга вырастало у нее до невероятных размеров.

— Что-то в «Брахмо Самадже» начинают слишком индифферентно относиться к вопросам общественной жизни. Видно, поэтому его деятельность уже не приносит былых результатов,— говорила она и тут же начинала доказывать, что лично она, Ба-

родашундори, пока у нее есть еще силы, никогда не согласится с таким положением вещей. Нет, нет и нет! Если ее не так поймут — ну что ж, ничего не поделаешь. Если даже родные пойдут против нее, она и это снесет! И в заключение она не забывала напомнить слушателям, что все святые, которые хоть чего-нибудь стоили, подвергались в свое время гонениям и немало вытерпели.

Но все эти неудобства, казалось, ничуть не трогали Хоримохини. Она скорее даже радовалась им, всегда считая, что это дает ей возможность лишний раз пострадать за свой грех. Невзгоды, которые ей приходилось терпеть в результате добровольно возложенной на себя епитимьи, вполне отвечали строю ее измученной души. Казалось, чем горше было страдание, тем радостней ей было от мысли, что она находит в себе силы превозмочь его.

Когда Хоримохини увидела, что из-за воды для ее стряпни в доме начался разлад, она совсем прекратила готовить и стала питаться фруктами и молоком, которые предварительно клала на алтарь, где стоял ее божок. Все это очень огорчало Шучориту, но Хоримохини, как могла, утешала ее:

— Для меня так даже лучше, дорогая,— говорила она.— По крайней мере, я учусь воздержанию, и это радует, а не печалит меня.

— Тетя,— спрашивала девушка,— а если бы я перестала принимать воду и пищу из рук людей низшей касты, ты разрешила бы мне прислуживать тебе?

— Нет, моя дорогая,— отвечала Хоримохини,— тебя воспитали в определенных правилах, и я не хочу, чтобы из-за меня ты их нарушала. Ты со мной, я могу обнять тебя — с меня достаточно и этого. Пореш-бабу стал для тебя отцом — твоим гуру. Живи же так, как он научил, и бог не оставит тебя.

Мелких выпадов и придирок Бародашундори Хоримохини, казалось, просто не замечала, и, когда по утрам Пореш-бабу заходил к ней справиться, как она себя чувствует и всем ли довольна, Хоримохини неизменно отвечала:

— Благодарю вас, мне очень хорошо здесь.

Однако Шучорита о выходках Бародашундори не забывала ни на минуту и очень из-за них страдала. Но не в ее характере было жаловаться, поэтому она стала тщательно следить за собой, чтобы не выказать как-нибудь своего неудовольствия Бародашундори в присутствии Пореша-бабу. Она молча терпела и никак не проявляла своего возмущения.

Но все это привело к тому, что Шучорита еще больше сбли-

зилась со своей теткой и мало-помалу, несмотря на все протесты Хоримохини, стала делать для нее все необходимое сама. В конце концов, увидев, как беспокоится за нее племянница, Хоримохини решила снова готовить себе горячую еду, после чего Шучорита твердо заявила:

— Я буду вести себя так, как ты скажешь, тетя, но ты непременно должна разрешить мне носить тебе воду. Даже и не думай отказываться.

— Ты не обижайся, дорогая,— отвечала Хоримохини,— но ведь эта вода предназначается также и для моего бога.

— Неужели, тетя, твой бог тоже считается с кастами? Разве и он может осквернить, как всякий правоверный?

В конце концов любовь Шучориты сломила сопротивление Хоримохини, и она стала покорно пользоваться услугами племянницы. Вслед за сестрой и Шотиш воспылал желанием питаться в комнате у тети, и вскоре дело дошло до того, что в одном из уголков дома Пореша-бабу образовалась отдельная маленькая семья — так сказать, государство в государстве,— причем единственным связующим звеном между этими двумя государствами была Лолита. Остальным дочерям Бародашундори строго-настрого запретила близко подходить к той части дома, где жила Хоримохини. Запретить же что-нибудь Лолите она просто не решалась.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Бародашундори довольно часто приглашала к себе приятельниц-брахмаисток. Иногда они собирались на плоской крыше, на которую выходила комната Хоримохини. В таких случаях Хоримохини по простоте душевной тоже радушно встречала гостей; те же даже не пытались скрывать своего пренебрежения. Если Бародашундори позволяла себе пройтись в ее присутствии насчет нравов и обычаев правоверных индуистов, то кто-нибудь обязательно ей поддакивал, остальные же ограничивались тем, что выразительно косились на Хоримохини.

Шучорите, проводившей у Хоримохини все время, приходилось сносить все это молча. Ей оставалось только всячески показывать своим поведением, что подобные разговоры задевают и ее, так как она разделяет взгляды тетки. Когда подавали угощение, Шучорита от всего отказывалась, говоря:

— Спасибо, я этого не ем.

— Что такое? Ты хочешь сказать, что не можешь есть с нами?

И когда Шучорита подтверждала, что действительно предпочла бы не есть, Бародашундори, переходя на саркастический тон, поясняла подругам:

— А вы знаете, наша Шучорита скоро будет такой правоверной, что ей к нам и прикоснуться будет нельзя.

— Что? Шучорита сделалась правоверной?! Бывают же чудеса на свете! — дружно откликались гостьи.

Тогда огорченная Хоримохини начинала уговаривать девушку:

— Нет, Радхарани, так нельзя, милая, пойди лучше поешь.

Ей тяжело было, что из-за нее Шучорите приходится выслушивать такие колкости. Но Шучорита оставалась непоколебимой.

Как-то раз одна из этих брахмаисток, любопытства ради, собралась было войти в комнату Хоримохини, не снимая туфель, но Шучорита преградила ей дорогу со словами:

— Не входите сюда, пожалуйста.

— В чем дело? Почему?

— В этой комнате обитает бог семейного очага моей тети.

— Ах, идол! Так вы, значит, поклоняетесь идолам?

— Конечно, милая, а как же иначе? — ответила Хоримохини.

— Неужели вы верите в идолов?

— Верю ли? Где же такой недостойной взять веру? Будь у меня вера, она спасла бы меня.

Лолита, которая оказалась поблизости, вспыхнув, резко обратилась к спрашивавшей:

— А вы верите в того, кому молитесь?

— Что за глупый вопрос! Конечно, верю.

Лолита презрительно тряхнула головой.

— Вы не только не верите,— сказала она,— но даже не отдаете себе отчета в своем неверии.

Так произошло окончательное отчуждение Шучориты от тех, кто прежде был ей близок, несмотря на все старания Хоримохини удержать ее от поступков, которые могли бы раздражить Бародашундори.

Прежде Харан и Бародашундори не очень-то долюбливали друг друга, теперь они пришли к полному взаимопониманию и объединились против всех остальных.

— Как бы там ни говорили,— не без удовольствия отмечала Бародашундори,— но если кто-то еще старается сохранить в чистоте идеалы «Брахмо Самаджа», так это Пану-бабу.

Харан же, в свою очередь, всех и каждого оповещал о том, что Бародашундори являет собой блистательный пример брахмаистки, самозабвенно и неустанно пекущейся о доброй славе общины. В этих славословиях безошибочно угадывался камешек в огород Пореша-бабу.

Однажды Харан в присутствии Пореша-бабу спросил Шучориту:

— Говорят, что ты теперь ешь только остатки жертвоприношений идолу, якобы ниспосланные тебе его милостью? Это правда?

Шучорита вспыхнула, но сделала вид, что пропустила вопрос мимо ушей, и усердно занялась чернильницей и перьями, лежавшими на столе. Пореш-бабу, бросив сочувственный взгляд в ее сторону, ответил Харану:

— Все, что бы мы ни ели, Пану-бабу, ниспослано божьей милостью.

— Но Шучорита, кажется, решила отказаться от нашего бога! — воскликнул Харан-бабу.

— Если даже допустить, что это так, едва ли следует приставать к ней с этим.

— Неужели, видя, как человека уносит потоком, не стóит попытаться вытащить его на берег? — удивился Харан.

— Забрасывать комьями глины или вытаскивать на берег — это отнюдь не одно и то же. Но беспокоиться, Пану-бабу, вам не о чем. Я знаю Шучориту с малых лет, и если бы она сорвалась в воду, я первый заметил бы это и, поверьте, не остался бы равнодушным.

— Поскольку Шучорита здесь, то пусть ответит нам сама. Я слышал, что она отказывается есть со всеми. Спросите ее, так это или не так?

Шучорита оставила в покое чернильницу, на которой без нужды сосредоточила все свое внимание, и сказала:

— Отцу известно, что я действительно перестала принимать пищу, к которой прикасается неизвестно кто. И если он согласен мириться с этим, с меня достаточно. Если же кто-то из вас недоволен, что ж, можете называть меня как угодно, но зачем надоедать отцу. Разве вы не знаете, как снисходителен он ко всем нам? Почему бы не платить ему той же монетой?

Харан растерялся от такой речи. «Шучорита научилась огрызаться!» — подумал он не без удивления.

Пореш-бабу был человек миролюбивый. Он не любил пересудов — ни в отношении себя, ни в отношении других. Он прожил жизнь тихо, не добиваясь высоких постов в «Брахмо Самад-

же». Харан объяснял это равнодушным отношением к делу и даже не раз корил его за это. Но в ответ Пореш-бабу говорил только:

— Бог создал два типа людей: активных и пассивных. Я отношусь ко второй категории. Но и такие, как я, нужны богу и служат ему, выполняя посильный труд. И надо ли браться за то, что делать мы не в состоянии? Кому и что это даст? Лет мне немало, и на что я способен — установлено давным-давно. Лучше бросьте понукать меня — ничего вы этим не добьетесь.

Однако Харан льстил себе мыслью, что он может разжечь и вдохновить даже самых неподатливых. Он был твердо убежден, что обладает неотразимой силой побуждать к действиям инертных и к раскаянию падших,— одним словом, что никому долго не устоять перед его несокрушимой, твердолобой целеустремленностью. Он пришел к заключению, что все изменения в лучшую сторону, которые ему приходилось замечать в отдельных членах «Брахмо Самаджа», следует относить преимущественно на его счет.

Он ни на минуту не сомневался, что его благотворное влияние незаметно распространяется на окружающих, и, если при нем кто-нибудь начинал особенно хвалить Шучориту, он просто сиял от самодовольства. Он полагал, что своим примером и дружескими советами сформирует характер Шучориты, и начинал уже надеяться, что вся ее жизнь станет одним из величайших его достижений, делающих ему большую честь.

Его горделивая вера в себя не пошатнулась даже теперь, после того как Шучорита так некстати ударилась в правоверие, поскольку всю ответственность за это плачевное событие он возложил на Пореша-бабу.

Харан и раньше не мог чистосердечно примкнуть к общему хору, славящему достоинства Пореша-бабу; сейчас он начинал подумывать, что недалек тот день, когда и остальные оценят его проницательность, и в душе поздравлял себя с этим.

Харан-бабу мог простить людям все или почти все, но если кто-то из тех, кого он наставлял на путь истинный, выказывал желание идти своим путем, руководствуясь своими взглядами, он считал такое поведение непростительным. Выпустить свою жертву без боя он просто не мог, и чем очевиднее становилось, что его советы не действуют, тем упорнее наседал он на отступника. Как механизм, у которого еще не кончился завод, он не мог остановиться и продолжал назойливо жужжать одно и то же, не замечая, что его не хотят слушать, не видя, что игра уже проиграна.

Эта его особенность доставляла Шучорите немало неприятных минут,— не из-за себя, а из-за Пореша-бабу. Пореш-бабу сделался предметом обсуждения в «Брахмо Самадже» — нужно было найти способ пресечь это.

Не менее трудным был вопрос с Хоримохини. С каждым днем делалось очевиднее, что, несмотря на все ее старания держаться как можно незаметнее, она все чаще становится причиной раздоров в семье. Обиды, выпадавшие на долю Хоримохини, очень тревожили Шучориту. Она просто не видела выхода из создавшегося положения.

Ко всему этому Бародашундори не переставала надоедать Порешу-бабу, чтобы он поторапливался с замужеством Шучориты.

— Раз уж она решила своевольничать, мы не можем больше брать на себя ответственность за нее,— настаивала Барода.— И если ее свадьба будет опять отложена, я заберу с собой девочек и уеду куда-нибудь,— совершенно ни к чему им иметь все время перед глазами дурной пример. Ты еще пожалеешь, что так ее распустил, помяни мое слово! Посмотри на Лолиту — разве она была такой раньше? А теперь она делает все, что ей вздумается. И не слушает никого. Как по-твоему — чья это работа? Возьми хотя бы эту последнюю историю, когда я чуть не умерла со стыда. Может, по-твоему, Шучорита и здесь ни при чем? Я прежде никогда не жаловалась, хоть и знала, что ты любил ее больше своих дочерей, но имей в виду — дальше так продолжаться не может!

Не поведение Шучориты, а разлад в семье заставил призадуматься Пореша-бабу. Он нисколько не сомневался в том, что если Бародашундори вбила себе что-то в голову, то она гору свернет, а своего добьется. Увидев же, что ее старания не дают желаемых результатов, она просто-напросто удвоит их. Он считал, что при сложившихся обстоятельствах для самой Шучориты, пожалуй, лучше будет насколько возможно ускорить свадьбу. Поэтому он сказал Бародашундори:

— Если Пану-бабу сумеет уговорить Шучориту назначить определенный день, то я, со своей стороны, никаких препятствий чинить не стану.

— В конце концов, сколько раз можно спрашивать ее согласия! — воскликнула Бародашундори.— Ты просто удивляешь меня! Что еще за церемонии! Интересно, где она найдет другого такого жениха? Ты можешь на меня сердиться сколько угодно, но я все равно скажу, что твоя Шучорита недостойна Пану-бабу!

— Для меня не совсем ясно, как Шучорита относится к Пану-бабу,— заметил Пореш,— поэтому, пока они сами этот вопрос между собой не уладят, вмешиваться я не буду.

— Ах, тебе не совсем ясно! — снова налетела на него Бародашундори.— Наконец-то ты сознался в этом! Не так-то легко раскусить эту девчонку! Она совсем не такая, какой кажется. За это я ручаюсь.

Сразу после этого разговора Бародашундори послала за Хараном-бабу.

И вот в газете появилась статья об оскудении веры в «Брахмо Самадже». Намек на семью Пореша-бабу был так прозрачен, что, хотя имен в статье не упоминалось, всем было очевидно, о ком идет речь. По стилю нетрудно было догадаться и о том, кто ее автор.

Шучорита с трудом заставила себя дочитать статью до конца и была теперь занята тем, что рвала газету на мелкие кусочки.

Судя по тому, как тщательно она это делала, можно было подумать, что она не успокоится, пока не расчленит ее на атомы. Как раз в это время в комнату вошел Харан и, придвинув кресло, сел рядом с ней. Но Шучорита даже не взглянула на него, так поглощена была она своим занятием.

— Шучорита,— начал Харан,— мне надо серьезно с тобой поговорить. Так что выслушай меня внимательно.

Но Шучорита по-прежнему изничтожала газету. Когда рвать руками стало невозможно, она взяла ножницы и начала стричь ими остающиеся кусочки. Она еще не кончила свое занятие, как вошла Лолита. Харан повернулся к ней.

— Лолита,— сказал он,— мне нужно кое о чем поговорить с Шучоритой.

Девушка направилась было к двери, но Шучорита поймала ее за край сари.

— Но ведь Пану-бабу хочет сказать тебе что-то важное,— запротестовала Лолита.

Шучорита, не обращая внимания на ее протесты, усадила Лолиту рядом с собой.

Что касается Харана, то он органически был не способен понимать намеки и потому, не тратя времени по-пустому, сразу же перешел к делу.

— Я считаю, что нашу свадьбу откладывать больше нельзя. Я уже переговорил с Порешем-бабу, и он сказал, что, как только ты дашь свое согласие, можно будет назначить день. Поэтому я решил, что через воскресенье...

Но Шучорита, даже не дав Харану договорить начатую фразу, сказала: «Нет!»

Это «нет» прозвучало так выразительно и категорично, что Харан растерялся. Он всегда считал Шучориту образцом послушания и потому даже представить себе не мог, что она способна одним словом оборвать его еще не высказанное предложение.

— Нет?! — сердито переспросил он.— То есть что значит «нет»? Ты хочешь опять отложить свадьбу?

— Нет! — только и ответила Шучорита.

— Так о чем же ты? — Харан даже задохнулся.

— Я не согласна выходить за вас замуж,— сказала Шучорита, низко опустив голову.

— Ты не согласна? То есть как это не согласна? — повторил он в совершенном недоумении.

— Пану-бабу, вероятно, разучился понимать бенгальский язык,— колко заметила Лолита.

Харан бросил на нее уничтожающий взгляд.

— Мне легче согласиться с тем, что я перестал понимать родной язык,— сказал он,— чем признаться, что я, оказывается, все время неправильно понимал слова той, которая никогда не видела от меня ничего, кроме уважения.

— Чтобы понять человека, нужно время,— заметила Лолита,— возможно, это относится и к вам.

— От начала и до конца,— сказал Харан,— слова у меня не расходились с делом, и я считаю себя вправе заявить, что неправильно истолковывать свои слова я не давал повода никому. Пусть Шучорита сама скажет, так это или не так?

Лолита хотела было что-то ответить, но Шучорита остановила ее:

— Вы совершенно правы, Харан-бабу, я не виню вас ни в чем.

— Если ты не винишь меня,— воскликнул Харан,— тогда почему же ты так низко поступаешь со мной?

— Вы имеете полное право называть мое поведение низким,—твердо сказала Шучорита,— но поступить иначе я не могла, потому что...

За дверью послышался голос:

— Диди, можно войти?

На лице Шучориты отразилось невероятное облегчение, и она сразу же отозвалась:

— Ах, это вы, Биной-бабу? Входите, входите, пожалуйста!

— Вы ошиблись, диди, это не Биной-бабу, а всего лишь

Биной. Не смущайте меня таким официальным обращением.— С этими словами Биной вошел в комнату. Увидев Харана и заметив неудовольствие на его лице, он шутливым тоном добавил: — Ага, я вижу, вы недовольны мной, потому что я так давно не заходил.

Харан сделал попытку ответить в том же шутливом тоне.

— Вообще-то, конечно, это достаточный повод для недовольства,— начал он, но тут же сорвался: — Однако боюсь, что сейчас вы пришли несколько некстати,— у нас с Шучоритой серьезный разговор.

— Вот ведь! — сказал Биной, поспешно вскакивая.— Никогда не угадаешь подходящего момента. Собственно, потому-то так и трудно бывает отважиться зайти.

Он уже собрался уходить, но тут вмешалась Шучорита.

— И не думайте уходить, Биной-бабу! — воскликнула она.— Наш разговор уже окончен. Садитесь.

Биною было очевидно, что своим приходом он вызволил Шучориту из какого-то затруднительного положения. Поэтому он снова сел с беспечным видом и сказал:

— Не умею отказываться от любезных приглашений. Раз предлагают сесть, я тотчас же соглашаюсь — уж таков мой характер. Потому прошу вас, диди: будьте осторожны, когда говорите со мной — помните, что я все принимаю за чистую монету.

Харану волей-неволей пришлось замолчать. Но вид его красноречивее слов говорил, что он отнюдь не считает разговор законченным и что не такой он человек, чтобы уйти, прежде чем заставит выслушать себя до конца.

Лишь только Лолита услышала за дверью голос Биноя, ее охватило страшное волнение, и как она ни старалась сохранить спокойствие, это ей не удалось. В результате, когда Биной вошел в комнату, заговорить с ним непринужденно, как со старым знакомым, она просто не смогла, поскольку все ее внимание было сосредоточено на том, куда ей следует смотреть и куда девать руки. Она, пожалуй, вышла бы из комнаты, но Шучорита все еще удерживала ее за край сари.

Биной, со своей стороны, тоже старался делать вид, что его слова относятся только к Шучорите, так как при всей своей находчивости он не решался обратиться прямо к Лолите. Свое смущение он пытался замаскировать излишней болтливостью.

Однако вновь обретенная робость Лолиты и Биноя не укрылась от Харана. Видя, что Лолита, которая только что так дерзила ему, с появлением Биноя вдруг удивительно поскромнела,

он вспыхнул от досады. Его возмущение против Пореша-бабу только возросло при виде нового доказательства тех зол, которые он навлек на свою семью, разрешая дочерям заводить знакомства вне «Брахмо Самаджа». Мысль, что когда-нибудь Пореш-бабу еще горько пожалеет о своем легкомыслии, всецело завладела им.

Когда стало очевидно, что Харан уходить не собирается, Шучорита, повернувшись к Биною, сказала:

— Вы давно не виделись с тетей, она о вас часто спрашивает. Не хотите ли пройти к ней?

— Только, пожалуйста, не думайте, что я не вспомнил бы о тете без вашего напоминания,— проговорил Биной, поднимаясь с кресла,— я как раз хотел о ней спросить.

Когда Шучорита с Биноем ушли, Лолита тоже поднялась и сказала:

— Полагаю, Пану-бабу, что мне вы ничего особенного сказать не имеете?

— Нет,— ответил Харан,— поскольку ты, кажется, нужнее не здесь, то я тебя задерживать не стану.

Лолита поняла, на что он намекает, и, желая показать, как мало она задета его замечанием, сказала:

— Биной-бабу так давно не был у нас, что я действительно должна пойти поболтать с ним. А пока что, если у вас есть желание почитать свое произведение... Ах да, я забыла, что диди только что изорвала вашу газету на мелкие кусочки... тем не менее, если вы в состоянии читать что-нибудь помимо своих статей, то можете посмотреть вот это.— И с этими словами девушка достала из стола бережно сложенные статьи Горы и, положив их перед Хараном, быстро вышла из комнаты.

Хоримохини была очень рада приходу Биноя, и не только потому, что сразу прониклась симпатией к юноше, а потому, что он был совсем не похож на остальных посетителей, с которыми ей приходилось встречаться в доме Пореша-бабу и которые нисколько не скрывали, что видят в ней существо совсем иного порядка. Это все были коренные калькуттцы, получившие английское и бенгальское образование и, следовательно, стоявшие неизмеримо выше ее и подавлявшие ее своим высокомерием, так что в их присутствии Хоримохини невольно съеживалась и замыкалась в себе. В Биное же она чувствовала поддержку. Правда, и Биной был калькуттец; слышала она и о том, что он немало преуспел в науках, и тем не менее он ни разу не был непочтителен с ней; напротив, ничего, кроме любви и уважения, она от него не видала. Именно поэтому она так быстро при-

вязалась к нему, словно к родному. Ей казалось, что Биной, как щит, прикроет ее от людской злобы. В этом доме она была беззащитна и невольно тянулась к дружески расположенному человеку.

Лолита ни за что не решилась бы пойти к Хоримохини сразу вслед за Биноем, если бы Харан своей неуместной шуткой не задел ее самолюбия. Теперь же она не только пошла к Хоримохини, но, придя, не задумываясь вступила с Биноем в непринужденный разговор — настолько непринужденный, что обрывки их смеха долетали до сидевшего внизу всеми покинутого Харана и изрядно действовали ему на нервы.

Скоро Харану надоело сидеть в одиночестве, и он решил подлечить свои душевные раны беседой с Бародашундори. Когда он разыскал ее и поведал, что Шучорита отказывается выходить за него замуж, негодование Бародашундори перешло все границы.

— Будет вам церемониться с ней, Пану-бабу,— заявила она.— Эта девчонка уже не раз и не два давала вам свое согласие. Собственно, все в «Брахмо Самадже» считают, что эта свадьба — вопрос решенный. А сегодня она вдруг головой мотнула, и все идет кувырком. Нет, этого ни в коем случае нельзя допускать. Не отступайтесь, Пану-бабу, стойте твердо на своем, и тогда посмотрим, что она сможет сделать.

Призывать Харана-бабу к твердости не было нужды. Он и так все время упорно повторял про себя:

«Из принципа я должен довести до конца дело. Может, мне лично не так уж и трудно отказаться от Шучориты, но нельзя забывать, что речь идет о чести «Брахмо Самаджа».

Биной, чтобы окончательно закрепить дружбу с Хоримохини, попросил, чтобы она угостила его. Хоримохини радостно встрепенулась, тотчас захлопотала и вскоре осторожно поставила перед Биноем поднос, на котором разместились: моченый горошек, творог, масло, сахар, банан и чашка молока.

— Я думал, что застану тетушку врасплох, попросив есть в столь неурочное время,— рассмеялся Биной,— но, оказывается, не тут-то было! — Он уже собирался с преувеличенным аппетитом приняться за еду, когда неожиданно в комнату вошла Бародашундори. При ее появлении Биной склонился в приветственном поклоне, насколько позволила ему стоявшая перед ним тарелка, и сказал:

— Как это я не видел вас внизу? Я ведь там тоже был.

Оставив без внимания как его слова, так и поклон, Бародашундори обратилась к Шучорите:

— Ах, так вот вы где, милейшая! Я так и знала. Бедный Харан-бабу ждет ее все утро, как какой-нибудь проситель, а она здесь веселится. Я воспитывала всех вас с детских лет и не думала никогда, что вы окажетесь на это способной! Хотелось бы мне знать, кто ее подучивает! И подумать только, что все это происходит в нашей семье! Какими глазами мы теперь будем смотреть на наших друзей в «Брахмо Самадже»! Все, чему учили вас столько лет, в одно мгновенье полетело вверх тормашками. Что же это такое, в самом деле?!

Хоримохини страшно разволновалась.

— А я и не знала, Шучи, что тебя ждут внизу. Не нужно было мне тебя задерживать! Ступай туда скорее, дорогая. И как же это я сама не догадалась,— говорила она Шучорите.

Лолита собралась было возразить, что Хоримохини тут ни при чем, но Шучорита, крепко сжав ей руку, сделала знак, чтобы она молчала, и, не говоря ни слова, вышла из комнаты.

Мы уже рассказывали, как Биной проложил себе путь к сердцу Бародашундори. Она была уверена, что недалек тот день, когда под благотворным влиянием их семьи он вступит в «Брахмо Самадж». И мысль, что он будет творением ее рук, наполняла Бароду особой гордостью. Сказать правду, она даже хвасталась — и не раз — этим подвигом перед своими приятельницами. Тем горше было ей увидеть, как этот самый Биной прочно обосновался в стане врага, да еще в союзе с ее родной дочерью Лолитой, которая тоже стала проявлять явные признаки неповиновения.

— Лолита,— резко сказала она,— тебе здесь что-нибудь нужно?

— Да, Биной-бабу пришел, поэтому я...

— Пусть Биноя-бабу занимают те, к кому он пришел, а ты ступай вниз и займись делом,— перебила ее Бародашундори.

Лолита тотчас же решила, что Харан позволил себе недопустимые намеки насчет нее и Биноя, и от этого настроение у нее сразу же стало воинственным; поэтому фразу, начатую столь робко, она закончила с излишним жаром:

— Биной-бабу давно не был у нас, я поговорю с ним, а потом приду.

По ее тону Бародашундори поняла, что Лолита отказывается подчиняться, и, опасаясь, что еще, не дай бог, в присутствии Хоримохини придется расписываться в поражении, она, не говоря больше ни слова, вышла из комнаты, сделав вид, что не заметила Биноя.

Матери-то Лолита объявила о своем намерении поговорить

с Биноем, но как только Барода ушла, намерение это так и осталось намерением. Некоторое время все напряженно молчали, затем Лолита ушла в свою комнату и там заперлась.

Биной прекрасно понимал положение Хоримохини в этом доме. Умело направляя разговор, он скоро узнал всю историю жизни этой женщины.

— Милый мой,— заключила Хоримохини,— сам посуди, разве место таким несчастным, как я, в миру? Лучше бы мне отправиться в какую-нибудь святую обитель и посвятить себя служению богу. Денег у меня немного осталось, я бы на них и жила пока что, а потом, даже если бы и зажилась на этом свете, можно было бы пойти в кухарки к кому-нибудь. В Бенаресе многие так устраиваются. Но я, великая грешница, никак не могу решиться на это. Стоит мне остаться одной, как все мое горе снова встает передо мной и не дает мне думать даже о боге. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Радхарани и Шотиш для меня словно плот для утопающего. Одна мысль, что придется покинуть их, душит меня. День и ночь живу я в страхе, что должна буду уйти от них. Зачем тогда, всех потеряв, я смогла так скоро привязаться к ним? Я не стыжусь признаться тебе, что только с тех пор, как нашла их, я могу от всего сердца молиться богу. Уйдут они из моей жизни, и не останется у меня бога — только каменный идол, и больше ничего.— И она утерла слезы краем сари.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Шучорита сошла вниз и, остановившись перед Хараном, спросила:

— Вы что-то хотели мне сказать?

— Присядь,— ответил он.

Девушка упрямо продолжала стоять.

— Шучорита, ты обидела меня...

— Вы тоже меня обидели.

— Почему? Ведь слово, которое я тебе дал, до сих пор...— Харан хотел было продолжать, но Шучорита перебила его.

— Да разве в словах дело? — сказала она.— Неужели вы заставите меня поступать против воли из-за какого-то слова? А разве правда не важнее всех лживых слов? Неужели только потому, что я много раз делала одну и ту же ошибку, эту ошибку уж не исправить? Теперь, когда я поняла, что заблуждалась, я чувствую себя обязанной отказаться от своего прежнего обещания,— поступить иначе было бы нечестно с моей стороны.

Харан никак не мог понять, откуда такая перемена. Он и мысли не допускал — для этого ему не хватало ни ума, ни скромности,— что сам своей назойливостью довел Шучориту до того, что даже обычные спокойствие и кротость изменили ей. В душе он был твердо убежден, что виноваты во всем Биной и Гора.

— Ну, так что же это за ошибка, которую ты вдруг обнаружила? — спросил он.

— Надо ли спрашивать об этом,— возразила Шучорита,— неужели недостаточно того, что я отказываюсь от своего обещания.

— Но ведь нам, несомненно, придется давать какое-то объяснение членам «Брахмо Самаджа». Что ты скажешь им, что скажу я?

— Я лично ничего не скажу,— ответила Шучорита.— Если же вам обязательно что-то говорить, можете сказать, что Шучорита еще молода, глупа, непостоянна... что угодно. Нам же с вами говорить больше не о чем.

— Нет, так это не может кончиться,— воскликнул Харан.— Если Пореш-бабу...

Как раз в этот момент сам Пореш-бабу вошел в комнату.

— В чем дело, Пану-бабу? — спросил он.— Что вы хотите мне сказать?

Шучорита направилась было к выходу, но Харан остановил ее:

— Подожди, Шучорита, давай-ка обсудим этот вопрос в присутствии Пореша-бабу.

Девушка повернулась и остановилась на месте, Харан же сказал:

— Пореш-бабу, сегодня, спустя столько времени, Шучорита вдруг заявила, что она не согласна на брак со мной! Разве имела она право шутить делом такой важности? И не думаете ли вы, что часть ответственности за эту скверную историю ложится и на вас?

Пореш-бабу погладил Шучориту по голове.

— Тебе, дитя, незачем здесь оставаться, иди к себе,— ласково сказал он.

От этих простых, но теплых слов слезы брызнули из глаз Шучориты, и она поспешно вышла из комнаты. Пореш-бабу вернулся к прерванному разговору.

— Я с самого начала боялся, что Шучорита дала согласие выйти за вас замуж, не разобравшись как следует в своих чув-

ствах,— сказал он.— Именно поэтому я и не решался удовлетворить вашу просьбу относительно официальной помолвки.

— А не кажется ли вам,— возразил Харан,— что, может быть, раньше, давая согласие, Шучорита прекрасно разбиралась в своих чувствах и что именно отказ ее вызван тем, что она в своих чувствах запуталась?

— Оба предположения одинаково возможны,— согласился Пореш-бабу,— но при таких обстоятельствах о свадьбе, конечно, не может быть и речи.

— И вы не хотели бы посоветовать Шучорите ради ее собственного же блага?..

— Кому-кому, а вам следовало бы знать, что все мои советы Шучорите направлены исключительно на ее благо.

— Если бы это было так,— возразил Харан,— Шучорита никогда не позволила бы себе того, что она сделала. Все, что творится за последнее время в вашей семье, я вам прямо говорю — результат вашей неосмотрительности.

— Здесь вы правы,— усмехнулся Пореш-бабу.— Кому же, как не мне, нести ответственность за то, что делается в моей семье?

— Так помяните мое слово, когда-нибудь вы еще раскаетесь.

— Раскаяние — это от бога. Я боюсь не раскаяния, Пану-бабу, я боюсь совершить неправильный поступок,— ответил Пореш-бабу.

Тут вошла Шучорита. Подойдя к Порешу-бабу, она взяла его за руку и сказала:

— Отец, уже время идти на молитву.

— Пану-бабу, может быть, вы подождете меня? — спросил Пореш.

Коротко буркнув «нет», Харан наконец удалился.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Шучориту пугала борьба как с самой собой, так и со всеми окружающими, которая, по-видимому, предстояла ей. Она решительно не могла представить себе, к чему приведет ее чувство к Горе, которое, незаметно набирая силу, после ареста молодого человека заявило о себе решительно и властно. Она ни с кем не могла поделиться своим секретом, она боялась признаться в своем чувстве даже себе.

У нее почти не бывало возможности побыть одной, чтобы покончить как-то с этим внутренним разладом, хотя бы путем

компромисса, потому что Харан умудрился напустить на нее чуть ли не весь «Брахмо Самадж». Было похоже, что его стараниями какой-нибудь пасквиль вот-вот появится в газете.

А тут еще тетя... С ней тоже надо было что-то предпринимать, и решение откладывать было нельзя, иначе дело могло кончиться плохо. Шучорита поняла, что в ее жизни наступил крутой поворот, что миновали дни, когда можно было идти привычным путем, когда мысли сами бежали по знакомому руслу.

В это тяжелое время единственной ее опорой был Порешбабу. И не потому, что она обращалась к нему за советом или наставлениями — было много такого в ее мыслях, в чем она не могла открыться даже ему, было и такое, о чем говорить с ним ей было просто стыдно. Но ей было важно знать, что он тут, что он с ней. Он был ее тихим прибежищем, от него она видела неусыпную отеческую заботу и нежную, совсем материнскую, ласку.

Наступила осень. Теперь Пореш-бабу не ходил вечерами в сад для молитвы, а молился в маленькой комнатке, находившейся в западном крыле дома. Там он усаживался на коврике перед отворенной дверью, и лучи заходящего солнца падали на его спокойное лицо, обрамленное седыми волосами. И тогда молча, неслышными шагами приходила Шучорита и садилась рядом с ним. Ей казалось, что можно смирить свое беспокойное, наболевшее сердце, окунув его в эти тихие глубины общения с богом. Нередко, открыв глаза после молитвы, Пореш находил рядом с собой дочь — воплощение преданной ученицы, которая, затаив дыхание, сидела подле него. И таким невыразимо милым и лучезарным бывало ее лицо в эти минуты, что он мог только безмолвно благословлять ее от всего сердца.

Всю свою жизнь Пореш-бабу стремился к внутренней гармонии, и потому мысли его всегда были о возвышенном и истинно прекрасном, повседневная же жизнь заботила его мало. Сам обретя таким образом свободу, он не считал себя вправе навязывать другим свои взгляды и верования. От природы он был одарен верой в добро и безграничной терпимостью и нередко навлекал на себя этим порицание наиболее ревностных членов «Брахмо Самаджа». Но хотя их порицания и задевали Порешабабу, его душевного равновесия они никогда не нарушали. Он часто повторял про себя: «Что мне суд людской, когда надо мной бог!»

Чтобы приблизиться к этому незыблемому душевному покою, Шучорита последнее время стала под разными предло-

гами постоянно забегать в комнату Пореша. Когда внутренний и внешний разлад доводил ее — неопытную девочку — до отчаяния, сердце подсказывало, что она сможет обрести мир, склонившись к ногам отца.

Сначала она надеялась, что стоит только набраться терпения и выждать время, и враждебные силы сами собой рассеются. Но этого не случилось, и сейчас ей предстояло принять какое-то решение и отважиться вступить на новый, неведомый путь.

Когда Бародашундори убедилась, что никакими попреками Шучориту с толку не собьешь и что перетянуть на свою сторону Пореша-бабу надежд тоже нет никаких, она весь свой гнев с удвоенной силой обратила против Хоримохини. Одна мысль о том, что «эта особа» находится у нее в доме, выводила ее из себя.

В годовщину смерти своего отца Бародашундори пригласила Биноя. Предполагалось, что друзья и родные соберутся вечером, чтобы присутствовать на поминальном обряде. Теперь же она с Шучоритой и дочерьми занимались украшением комнаты, в которой должна была состояться церемония.

И вдруг в разгар этой работы Бародашундори увидела Биноя, который поднимался по лестнице к Хоримохини, и поскольку малейший пустяк приобретает огромное значение, когда на душе неспокойно, то, естественно, минуту спустя ей стало казаться совершенно невыносимым, что Биной пошел наверх. Не в силах дальше заниматься делом, она отправилась вслед за Биноем и застала его сидящим на циновке и непринужденно беседующим с Хоримохини.

— Послушайте,— выпалила Бародашундори,— я не против того, чтобы вы жили у нас, пожалуйста, живите сколько вам угодно, и я все для вас сделаю и даже с удовольствием, но только имейте в виду раз и навсегда, что разрешить вам держать здесь своих идолов мы не можем!

Всю свою жизнь Хоримохини прожила в деревне, и в ее представлении «Брахмо Самадж» был всего-навсего какой-то христианской сектой. Поэтому единственно, что ее интересовало в связи с этим Обществом вначале — это разрешается ли правоверным общаться с его членами. Мысль, что им тоже может быть неприятно общение с ней, не сразу пришла ей в голову, но, понемногу осознав это, она стала задумываться, что же делать при создавшемся положении. Выпад Бародашундори показал ей, что теперь уже долго думать не приходится и что нужно немедленно принимать решение.

Сперва она решила поселиться где-нибудь в Калькутте, чтобы иметь возможность время от времени видеться со своими любимыми Шучоритой и Шотишем. Но тут же подумала, что прожить в Калькутте, где все так дорого, на ее скромные средства вряд ли можно.

После того, как налетевшая внезапным ураганом Бародашундори удалилась, Биной некоторое время сидел молча, опустив голову. Первой нарушила молчание Хоримохини.

— Мне бы сходить к святым местам,— сказала она.— Сможет ли кто-нибудь из вас пойти со мной, сынок?

— Я был бы только рад сопровождать вас,— ответил Биной.— Но ведь раньше чем через несколько дней выйти нам не удастся. Пожили бы вы пока у моей матери.

— Ты не знаешь, дитя мое,— говорила Хоримохини, вытирая слезы,— какая я обуза. Господь взвалил на мои плечи такое тяжкое бремя, что я всем стала в тягость. Еще когда я увидела, что даже в доме собственного мужа всем я мешаю, нужно бы мне это понять. Только туго дается мне понимание. Старалась я заполнить пустоту в сердце, скиталась повсюду, но куда бы я ни подавалась, мое горе всюду следовало за мной по пятам. Нет, сын мой, хватит с меня этого. Зачем я снова буду вторгаться в чей-то дом. Уж лучше я пойду искать приюта у ног того, на ком тяжелым бременем лежат страдания всего мира. У меня нет больше сил бороться...

— Нет, тетя, не говорите так,— сказал Биной.— Мою мать нельзя ни с кем сравнивать. Разве может человек, жизнью своей доказавший любовь к богу и сумевший встать выше всех тягот мира, отказаться принять бремя чужого горя? Такова моя мать, таков и Пореш-бабу. Нет, нет, я даже и слушать не хочу. Сначала я отведу вас в свою святую обитель, а уж потом поеду с вами в вашу.

— Но ведь нужно предупредить...— начала было Хоримохини.

— Мы приедем и тем самым предупредим,— перебил ее Биной.— Это самое лучшее предупреждение.

— Тогда завтра утром...— начала опять Хоримохини.

— Почему завтра утром, когда можно сегодня вечером,— снова перебил ее Биной.

В этот момент за Биноем пришла Шучорита.

— Биной-бабу,— обратилась она к нему,— мать прислала сказать, что скоро начнется богослужение.

— Боюсь, что я не смогу на нем присутствовать. Мне нужно переговорить кое о чем с тетей,— ответил Биной.

В действительности же после всего случившегося ему просто не хотелось принимать приглашение Бародашундори. Все это начало казаться ему сплошным издевательством.

Но Хоримохини очень забеспокоилась и начала уговаривать его идти.

— Мы ведь и потом можем поговорить. Вот кончится служба, ты и приходи ко мне,— говорила она.

— Я думаю, что лучше бы вам сходить,— прибавила от себя Шучорита.

Биной понял, что его отсутствие на богослужении лишь ускорит взрыв, который давно назревал в этой семье. И он прошел в комнату, предназначавшуюся для церемонии. Но это мало что изменило.

После богослужения всех пригласили к столу. Биной начал отказываться:

— У меня сегодня что-то пропал аппетит.

— При чем тут аппетит,— ехидно заметила Бародашундори,— когда вы просто успели наесться всяких лакомств наверху.

— Да,— сознался со смехом Биной.— Таков удел всех обжор: не устояв перед тем, что есть, они теряют то, что будет.

С этими словами он встал из-за стола.

— Надо полагать, опять наверх? — спросила Бародашундори.

— Да,— коротко ответил Биной и пошел из комнаты.

Проходя мимо стоявшей в дверях Шучориты, он шепнул ей:

— Диди, зайдите на минутку к тете. Ей нужно срочно видеть вас.

Лолита обносила угощениями гостей. Когда она подошла к Харану, тот неизвестно почему счел нужным сообщить ей:

— А Биноя-то-бабу здесь нет, он наверх пошел.

Лолита остановилась перед ним, посмотрела прямо ему в глаза и холодно ответила:

— Знаю. Но он не уйдет, не попрощавшись со мной. К тому же я и сама пойду наверх, как только освобожусь.

Жгучая злоба снедала Харана. Сегодня ему положительно не везло: он даже не сумел смутить Лолиту! От Харана не ускользнуло и то, что Биной, уходя, шепнул несколько слов Шучорите, и то, что она вскоре после этого последовала за ним. Сам он сегодня неоднократно пытался заговорить с ней, и

оттого, что она на глазах у всех собравшихся старательно отклоняла его попытки, он чувствовал себя посрамленным, и это приводило его в бешенство.

Поднявшись наверх, Шучорита увидела, что Хоримохини уже собрала все свои пожитки и теперь сидит с таким видом, словно с минуты на минуту собирается уехать.

Шучорита спросила ее, в чем дело, но в ответ Хоримохини только расплакалась.

— Где Шотиш? — проговорила она, наконец.— Попроси его зайти ко мне на минутку.

Шучорита растерянно взглянула на Биноя.

— Тете оставаться здесь во всех отношениях неудобно,— пояснил Биной,— вот я и увожу ее к ма.

— А оттуда я думаю пойти странствовать по святым местам,— добавила Хоримохини.— Нельзя таким, как я, у людей жить. Зачем я их стеснять буду?

Шучорита и сама все эти дни думала об этом. И она тоже пришла к выводу, что оставаться в этом доме дольше будет для ее тетки только унизительно. Не зная, что ответить, она молча села рядом с Хоримохини.

Уже стемнело, но огня еще не зажигали. В мутном небе чуть заметно мерцали звезды, и в полумраке не видно было, кто из сидящих в комнате плачет.

Вдруг с лестницы донесся звонкий голос Шотиша:

— Тетя, тетя!

Хоримохини поспешно встала.

— Иди, дорогой мой, иди сюда!

— Тетя,— сказала Шучорита.— Не уходите сегодня, на ночь глядя. Утро вечера мудреней! И потом, как же вы уйдете, не простившись с отцом? Он ведь очень огорчится.

Биной, возбужденный оскорблением, которое нанесла Бародашундори тетке, и не подумал об этом. Он решил, что Хоримохини нельзя больше ни на одну ночь оставаться под этой крышей. Ему хотелось доказать Бароде, что она жестоко ошибается, если думает, что Хоримохини безропотно стерпит все потому, что ей некуда деться. Поэтому он не хотел откладывать отъезд ни на минуту. Но, услышав слова Шучориты, Биной вдруг сообразил, что не одна Барода живет в этом доме и что, помня причиненные ею обиды, нельзя забывать и сердечного отношения гостеприимного хозяина.

— Что верно, то верно! — сказал он.— Нельзя уезжать, не простившись с Порешем-бабу!

Тут в комнату с криком влетел Шотиш,

— Тетя, тетя, вы слышали, русские собираются напасть на Индию! Вот-то будет здорово!

— А па чьей ты будешь стороне? — спросил Биной.

— Я? На русской, конечно,— ответил Шотиш.

— Ну, тогда им нечего бояться,— улыбнулся Биной.

Увидев, что кризис миновал и что Биной снова стал самим собой, Шучорита выскользнула из комнаты и пошла вниз.

Она знала, что Пореш-бабу имел обыкновение читать перед сном. Сколько раз девушка приходила к нему в этот час, усаживалась рядом, и он читал ей вслух.

Так и сегодня Пореш-бабу сидел один в своей маленькой комнатке и при свете лампы читал Эмерсона. Вошла Шучорита, тихонько пододвинула стул и села рядом. Отложив книгу, Пореш-бабу посмотрел на нее. Но у Шучориты не хватало духу начать разговор, ради которого она пришла. Она почувствовала, что не может говорить с ним об обыденных вещах.

— Отец, почитай мне немножко! — только и сказала она.

Было уже десять часов, когда Пореш-бабу кончил читать и объяснять ей прочитанное. Но Шучорита, боясь испортить сон отцу, так и не решилась начать разговор на неприятные темы. Она уже собиралась идти к себе в комнату, когда Пореш-бабу ласково окликнул ее:

— Радха!

Она подошла к нему.

— Ты ведь хотела поговорить со мной относительно тети?

Шучориту поразило, что Пореш-бабу сумел разгадать ее мысли.

— Да, отец. Только сегодня мне не хочется тебя беспокоить. Может, поговорим об этом завтра утром?

Но Пореш-бабу усадил ее и сказал:

— Ты думаешь, я не видел, что твоей тете тяжело живется здесь? Я только не ожидал, что ее верования и обычаи могут настолько возмутить твою мать. Но раз уж она воспринимает все это так болезненно, то, конечно, для твоей тети не могла не создаться у нас очень неприятная обстановка.

— Тетя уже решила уехать.

— Я так и знал, что она уедет,— сказал Пореш-бабу.— Но знаю я и то, что вы с Шотишем, как ее единственные родственники, ни в коем случае не допустите, чтобы она вновь осталась без крова. Вот уже несколько дней я думаю, как помочь делу.

Шучорита даже не догадывалась, что Пореш-бабу был в курсе домашних событий и что все это время он пытался найти

выход из создавшегося положения. Она всеми силами старалась скрыть от него происходящее из страха огорчить и разволновать его. Поэтому его слова растрогали ее до слез.

— Я уже придумал, где ее лучше поселить,— продолжал Пореш-бабу.

— Боюсь только, что... ведь она...— залепетала Шучорита.

— Не сможет платить за квартиру, ты хочешь сказать? А зачем ей это? Надо полагать, что ты с нее денег не станешь требовать.

Шучорита смотрела на Пореша-бабу в немом удивлении. Он с улыбкой продолжал:

— Разреши ей жить в своем доме, вот ей и не придется платить.

Это показалось Шучорите еще более загадочным, но Пореш-бабу ласково объяснил ей:

— Разве ты не знаешь, что в Калькутте у вас есть два дома? Один твой, другой — Шотиша. После вашего отца остались кое-какие деньги. Они были у меня. Я стал пускать их в оборот, и они приносили прибыль. Когда накопилась достаточная сумма, я приобрел в Калькутте два дома и сдал их внаем,— накопились доходы и с них. Недавно жильцы из твоего дома съехали, и поскольку сейчас он стоит пустой, ничто не будет стеснять там твою тетю.

— Но разве сможет она жить там одна? — спросила Шучорита.

— Зачем же ей жить одной, пока у нее есть ты — ее родная племянница? — сказал Пореш-бабу.

— Вот об этом как раз я и хотела с тобой поговорить,— сказала Шучорита.— Тетя твердо решила уехать отсюда, и я просто не знаю, как же я отпущу ее одну? Я пришла спросить тебя: как ты скажешь, так я и сделаю.

— Знаешь переулок, который проходит за нашим домом,— сказал Пореш-бабу,— вот там и стоит твой дом — он третий от угла. Его даже видно с нашей веранды. Если ты там поселишься, то тебе и скучать не придется, ты сможешь с нами видеться не меньше, чем теперь.

У Шучориты словно гора с плеч свалилась. Мысль о том, что ей придется покинуть дом Пореша и расстаться с ним, казалась ей невыносимой, хотя было ясно, что чувство долга очень скоро вынудит ее сделать это.

Молча, потому что сердце ее было переполнено, сидела Шучорита около Пореша-бабу, который тоже углубился в свои мысли. Шучорита была его ученицей, его дочерью и его другом.

Она стала неотъемлемой частицей его жизни. Без нее даже общение с богом не давало ему полного удовлетворения. В те дни, когда Шучорита приходила и молилась вместе с ним, ему казалось, что молитва больше утоляет душу. Окружая ее заботливой лаской, он старался направить ее мысли ввысь, к богу, и невольно его собственные мысли и поступки становились чище и возвышеннее. Никто никогда не смотрел на него с таким обожанием, с такой кротостью, как Шучорита. Как цветы тянутся к солнцу, так и вся ее душа тянулась к нему и расцветала. Такая преданность не может остаться без ответа, она обязательно заставит сердце открыться и пролить свои дары, как облако, чреватое дождем.

И что может быть лучше, чем возможность постоянно отдавать истинное и прекрасное тому, чье сердце готово принять ваш дар? Эту редкую возможность Шучорита и предоставила Порешу. Потому-то он так и привязался к ней. Теперь настало время порывать узы, связывавшие их внешне. Дерево взрастило плод, питая его своими соками. Плод созрел, и настал срок ему отпадать. Порешу-бабу было очень грустно, но он таил свою грусть глубоко в сердце.

С некоторых пор он стал замечать, что желание — пока еще неясное — самостоятельно распоряжаться своей жизнью начинает пробуждаться в Шучорите. Он не сомневался, что она накопила для предстоящего жизненного пути хороший багаж, и с этим багажом ей надлежит сейчас шагать по свету, чтобы познать его радости и горести, победы и поражения. «Ступай, дочь моя! — говорил он в душе.— Разве можешь ты вечно жить моими наставлениями? Даже своим неустанным попечением не должен я мешать твоему «я». Скоро ты по воле господа оторвешься от меня и познаешь жизнь, и *он* приведет тебя через всякие испытания к конечной цели. И обретешь ты в *нем* счастье свое». Так Пореш мысленно вручал богу, как священную жертву, свою любовно взлелеянную Шучориту.

Раздражаться на Бародашундори Пореш-бабу себе не разрешал, не допускал он в сердце своем и досады из-за раздоров, возникших вдруг в его семье. Он прекрасно сознавал, что старому узкому каналу не сдержать паводка и единственно, что можно сделать в таком случае, это дать воде выход на просторы полей. Он видел, как неожиданные события, центром которых оказалась Шучорита, нарушают привычную жизнь их семьи с ее сложившимися традициями и правилами, и понимал, что мир можно восстановить, только освободив девушку от всех пут и дав ей возможность самой найти свое место в жизни. Поэтому

он уже давно начал исподволь приготовления к тому, чтобы она могла спокойно и безболезненно встать на самостоятельный путь.

Долго сидели они молча. Наконец пробило одиннадцать. Тогда Пореш-бабу поднялся, взял Шучориту за руку и повел ее на веранду. На прояснившемся ночном небе сияли звезды. Было очень тихо. Стоя рядом с Шучоритой, он молился: «Избавь нас, всевышний, от всякой неправды и да озарит нашу жизнь свет истины!»

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Когда на следующее утро Хоримохини при прощании с Порешем-бабу припала к его стопам в знак почтения к старшему, он поспешно подобрал ноги.

— Пожалуйста, не надо! — воскликнул он в сильном смущении.

— Я перед вами в неоплатном долгу,— со слезами на глазах сказала Хоримохини.— И мне ни в этой жизни, ни в будущей не отблагодарить вас. Вы поддержали меня, несчастную, и теперь я снова могу жить дальше. Никто другой — сколько бы ни старался — не смог бы сделать этого. Видно, любит вас бог, если даже мне вы сумели помочь.

Пореш-бабу совсем растерялся.

— Да что я особенного сделал,— пробормотал он.— Это все Радхарани...

Но Хоримохини не дала ему кончить.

— Знаю, знаю. А Радхарани-то кто воспитал,— сказала она.— Во всем, что она ни делает, есть и ваша рука. Когда у нее умерла мать, а потом вскоре и отец, я подумала: не миновать ей горькой доли. Но откуда ж мне было знать, что бог не оставит ее в горестях? А когда после стольких скитаний я пришла наконец сюда и повстречалась с вами, я поняла, что бог даже и надо мной может сжалиться.

В эту минуту вошел Биной и объявил,

— Тетя, мать приехала за вами.

— Где она? — воскликнула Шучорита, возбужденно вскочив с места.

— Сидит внизу с Бародашундори,— ответил Биной, и Шучорита поспешно убежала вниз.

— Разрешите, я сейчас пойду и присмотрю, чтобы все в вашем доме было в порядке,— сказал Пореш, обращаясь к Хоримохини.

Биной проводил его изумленным взглядом.

— А я и не знал, тетя, что у вас есть дом,— сказал он.

— Я и сама до сегодняшнего дня не знала, сынок,— ответила Хоримохини.— Один только Пореш-бабу знал. Кажется, это дом нашей Радхарани.

И Хоримохини рассказала обо всем Биною.

— А я-то думал, наконец и Биной кому-то пригодится,— сказал он.— Но, видно, рассчитывать на это не приходится. До сих пор я даже для ма ничего не сумел сделать, вместо этого она все время что-то делает для меня. Хотел тете помочь, отплатить за ее доброту, и тоже не удалось. Видно, так уж у меня на роду написано — принимать, но не давать.

Вскоре в комнату в сопровождении Лолиты и Шучориты вошла Анондомойи.

Хоримохини поднялась ей навстречу.

— Уж если господь посылает милости, то не скупится — наконец-то мне удается и с тобой всласть поговорить, диди.— С этими словами она взяла Анондомойи за руку и усадила рядом с собой.— Знаешь, диди,— продолжала она,— Биной только и говорит о тебе.

— Это за ним с детства водится,— улыбнулась Анондомойи.— Стоит только ему увлечься чем-нибудь, и он будет болтать об этом без умолку. Скоро дойдет очередь и до тети, можешь быть уверена.

— Совершенно верно! — воскликнул Биной.— Так что предупреждаю заранее. Слишком долго пришлось мне обходиться без тети, должен же я наверстать упущенное.

— Наш Биной,— сказала Анондомойи, с многозначительной улыбкой взглянув на Лолиту,— умеет не только добиваться своего, но и беречь то, чего добился. Уж я-то знаю, как он всех вас ценит. Как будто в вашей семье он нашел то, к чему стремился всю жизнь. И я несказанно рада, что он с вами познакомился. С тех пор как он начал у вас бывать, он прямо-таки другим человеком стал — да он и сам это прекрасно сознает.

Лолита хотела было что-то ответить, но никак не могла подобрать нужных слов и так смутилась, что Шучорите пришлось прийти к ней на помощь.

— Биной умеет в каждом человеке увидеть хорошее,— сказала она,— поэтому и друзья охотно открывают ему свои лучшие стороны. Это скорее всего его собственная заслуга.

— Ма,— вмешался в разговор Биной,— твой Биной не настолько интересен всему миру, чтобы заслужить такое широкое обсуждение. Сколько раз собирался я открыть тебе глаза на

это, да все тщеславие не позволяло. Но теперь я чувствую, что дольше тянуть с разоблачением нельзя. Давай-ка, ма, переменим тему разговора.

В это время, прижимая к груди щенка, свое новейшее приобретение, прибежал Шотиш. Увидев, что он притащил, Хоримохини в ужасе отпрянула назад и принялась умолять его:

— Шотиш, миленький, унеси отсюда эту собаку, ну будь хорошим мальчиком.

— Он же не укусит тебя, тетя. Он даже не пойдет в твою комнату. Он будет сидеть тихонько, ты только погладь его.

Однако Хоримохини все пятилась от нечистого животного, продолжая уговаривать Шотиша:

— Нет, нет, милый! Унеси его бога ради!

Анондомойи привлекла к себе Шотиша, не выпускавшего щенка, и взяла собачонку к себе на колени.

— Так, значит, ты, Шотиш, друг нашего Биноя? — спросила она.

Шотиш находил вполне естественным, что его называют другом Биноя, и потому не задумываясь ответил «да!» и уставился во все глаза на Анондомойи, которая объяснила ему, что она мать Биноя. Он даже забыл о щенке, который тем временем забавлялся, пытаясь укусить браслет Анондомойи.

— Ну-ка, болтунишка,— строго сказала Шотишу Шучорита,— а кто будет приветствовать мать Биноя? — после чего смущенный Шотиш кое-как поклонился.

В это время на сцене появилась Бародашундори и, даже не взглянув на Хоримохини, обратилась к Анондомойи:

— Не могу ли я вас чем-нибудь угостить?

— Благодарю вас,— ответила та,— дело не в том, что я привередлива, только лучше в другой раз. Вот вернется Гора, и тогда, если позволите, мы с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством.

Дело в том, что в отсутствие Горы Анондомойи не хотела делать ничего такого, что противоречило бы его желаниям.

Бародашундори посмотрела на Биноя.

— Вот как, и Биной-бабу здесь! Я и не знала, что вы тоже пришли.

— А я как раз собирался нагрянуть к вам в комнату.

— Вчера вы исчезли, хоть и были приглашены. Как насчет того, чтобы позавтракать у нас сегодня, без предварительного приглашения?

— Звучит тем более заманчиво,— ответил Биной,— что наградные получать всегда веселее, чем ежемесячное жалованье.

Хоримохини была поражена этим разговором. Биной, оказывается, запросто ест в этом доме, а главное, Анондомойи, по-видимому, не придает никакого значения кастовым различиям! Это ей уж совсем не понравилось.

Когда наконец Бародашундори ушла, Хоримохини робко спросила Анондомойи:

— Диди, а разве твой муж...

— Мой муж правоверный индуист... — ответила Анондомойи.

Хоримохини была так очевидно озадачена, что Анондомойи пришлось объяснить:

— Сестра, я соблюдала законы общины до тех пор, пока она была для меня превыше всего. Но однажды я получила знамение от самого господа и мне стало ясно, что он не хочет, чтобы я продолжала соблюдать их. И раз он сам почел за благо лишить меня касты, то я перестала бояться того, что скажут обо мне люди.

— Ну, а как же твой муж? — спросила ничего не понимавшая Хоримохини.

— Мужу это не нравится,— просто отвечала Анондомойи.

— А дети?

— И дети недовольны. Но разве жизнь дана мне только для того, чтобы ублажать мужа и детей? Этого, сестра, так просто не объяснишь. Поймет лишь тот, кому ведомо все.— И с этими словами она молитвенно сложила руки.

Хоримохини подумала, что, наверное, какая-нибудь миссионерка соблазнила Анондомойи христианским учением, и невольно съежилась от этой страшной мысли.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Шучорита была совершенно спокойна, зная, что она и брат будут жить недалеко от отца, под его постоянным присмотром. Но, когда все в новом доме было готово и пришло время переезжать, сердце девушки тоскливо сжалось. Она не думала сейчас о расстоянии, которое будет разделять их. Ей было больно от сознания того, что настала пора разорвать какие-то узы, до сих пор тесно связывавшие их жизни. И этот разрыв она ощущала как частичное отмирание чего-то в себе самой. Место, которое принадлежало ей в этой семье, дела, которыми она занималась, даже отношения, которые установились между нею и прислугой,— все это было дорого и близко ей.

Когда стало известно, что Шучорита владеет некоторым

имуществом и готовится вступить в самостоятельную жизнь, Бародашундори стала повторять всем и каждому, что она очень этому рада, что это, наконец, освобождает ее от обязанностей, которые она столь ревностно исполняла в течение многих лет, и она может теперь быть совершенно спокойной. Однако тщеславие ее было сильно задето. Она не могла простить Шучорите намерения отделиться и жить самостоятельно. Все это время Бародашундори чувствовала трогательную жалость к самой себе за то, что несет тяжкое бремя забот о несчастной девушке, которой некуда деться. Но когда бремя вдруг перестало давить на ее плечи, она почему-то не почувствовала ни малейшего облегчения. Она уже заранее обвиняла Шучориту в том, что та, получив самостоятельность и независимость, не преминет возгордиться.

Все эти дни Бародашундори старалась держаться от Шучориты на почтительном расстоянии, не прибегала к ее услугам в домашних делах и была с ней подчеркнуто вежлива.

Мысль о скорой разлуке не давала Шучорите покоя. Под разными предлогами крутилась она около Бародашундори, стремясь помочь ей по хозяйству, но Барода и близко не подпускала ее к уборке, всем своим видом показывая, что эта низкая работа не для нее.

А Шучорита страдала. Ей было особенно горько видеть, что та, которую она звала матерью, в доме которой она выросла, так холодна с ней в эти дни.

Лабонне, Лолита и Лила не отходили от Шучориты. Они с увлечением помогали ей устраиваться на новом месте, но оживление их было напускным — в душе они были очень огорчены предстоящей разлукой с сестрой.

Все эти годы Шучорита, пользуясь каждым удобным случаем, оказывала Порешу-бабу всевозможные мелкие услуги: расставляла в вазах цветы, разбирала книги и бумаги, проветривала одежду и каждый раз, когда его ванна бывала готова, приходила напоминать ему об этом. Ни Пореш-бабу, ни сама Шучорита этим мелочам особого значения не придавали. Но теперь, когда время быстро близилось к расставанию, у обоих скребло на сердце при мысли, что этих незатейливых услуг, которые с тем же успехом мог оказать кто-нибудь другой и без которых в конце концов можно было прекрасно обойтись, она ему уже больше оказывать не сможет. Теперь всякий раз, как Шучорита забегала в комнату Пореша-бабу, все, что бы она ни сделала там, казалось обоим важным и значительным. И от того, что у него было тяжело на сердце, он нет-нет да вздыхал,

и от того, что сердце ее болезненно сжималось, глаза ее нет-нет да наполнялись слезами.

Наконец наступил назначенный день. Переезд должен был состояться после обеда. Когда утром Пореш-бабу пошел к себе молиться, он увидел, что комната его уже украшена цветами и что в углу сидит Шучорита и ждет его. Лабонне и Лила задумали помолиться все вместе в это утро, но Лолита отговорила их, зная, как дороги для Шучориты эти часы совместной с отцом молитвы и как нуждается она в его благословении, особенно сегодня. Лолита не хотела, чтобы кто-то своим присутствием помешал им в такую минуту.

Когда к концу молитвы из глаз Шучориты потекли слезы, Пореш-бабу сказал ей:

— Не оглядывайся назад, дитя мое! Смело, без колебаний смотри судьбе в глаза. Радуясь, иди навстречу жизни. И что бы ни случилось с тобой, умей во всем найти хорошее. Положись на волю божью, надейся на него одного, и тогда, несмотря на все потери и все ошибки, ты сумеешь выйти на путь истины. Но только помни, богу ты должна отдавать все свои помыслы безраздельно, иначе трудно придется тебе. Да будет господь милостив к тебе, чтобы ты впредь легко обошлась без нашей скромной помощи.

Выйдя из комнаты, они увидели дожидавшегося их Харана. Шучорита, не хотевшая омрачать этот день недобрыми чувствами, приветливо поздоровалась с ним.

Харан-бабу тотчас же выпрямился в своем кресле и изрек:

— Шучорита, этот день, когда ты отступаешь от истины, которой столько времени следовала,— черный день для всех нас.

Шучорита не ответила, но гармония мира и печали, царившая до этой минуты в ее сердце, была нарушена.

— Только собственная совесть может подсказать человеку, отступает ли он или, наоборот, делает шаг вперед. Судить со стороны — в большинстве случаев напрасный труд,— сказал Пореш-бабу.

— Не хотите ли вы этим сказать,— спросил Харан,— что не испытываете опасений за будущее и не видите повода к раскаянию за прошедшее?

— Я, Пану-бабу, всегда гоню от себя прочь мнимые страхи, которые являются не чем иным, как плодом воображения. Что же касается поводов к раскаянию, то я узнаю о них, только когда раскаяние придет.

— А то, что ваша дочь Лолита одна с Биноем-бабу приехала на пароходе, это что, тоже плод воображения?

Шучорита вспыхнула, в то время как Пореш-бабу спокойно ответил:

— Вы, Пану-бабу, очевидно, чем-то сильно возбуждены, и было бы несправедливо по отношению к вам заставлять вас в таком состоянии обсуждать подобные вопросы.

Харан-бабу тряхнул головой.

— Я никогда ничего не обсуждаю в возбужденном состоянии,— сказал он.— Я всегда отвечаю за свои слова, так что обо мне вам беспокоиться нечего. Все, что я сказал, я сказал не от себя лично, а как представитель «Брахмо Самаджа», и говорю потому, что не считаю себя вправе молчать. Если бы вы не были ослеплены, уже из одного того, что Лолита рискнула поехать на пароходе вдвоем с Биноем-бабу, вы должны были бы заключить, что вашу семью начало относить в сторону от надежного причала. Здесь вопрос не только в том, что у вас появится повод к раскаянию,— это еще и дискредитирует «Брахмо Самадж».

— Если вы задались целью порицать, то поверхностного взгляда, конечно, вполне достаточно, но если вы хотите дать событию правильную оценку, то для этого нужно вникнуть в дело глубже. Всякий свершившийся факт сам по себе вовсе не доказывает чьей-то виновности.

— Факты сами собой не свершаются,— ответил Харан.— Видно, в вашей семье не все благополучно, потому такие явления и стали возможными. Вы напустили к себе в дом людей, нам абсолютно чуждых, которые всячески стараются сбить всех вас с твердых устоев. Неужели вы сами не видите, куда они успели уже вас завести?

— Боюсь, Пану-бабу, что мы с вами видим вещи по-разному.— В голосе Пореша-бабу зазвучало раздражение.

— То есть, может быть, вы отказываетесь видеть, но вот вам беспристрастный свидетель — Шучорита. Пусть она скажет нам, ограничены ли отношения Лолиты и Биноя чисто внешними рамками или они пустили глубокие корни? Нет, Шучорита, прежде чем уходить, ответь-ка на мой вопрос. Дело ведь далеко не шуточное.

— Возможно,— сказала сухо Шучорита,— но вас оно не касается.

— Если бы оно меня не касалось, то я не только говорить, но и думать о нем не стал бы,— сказал Харан-бабу.— Вполне возможно, что мнение «Брахмо Самаджа» вас нисколько не тревожит, но поскольку вы являетесь его членами, ему волей-неволей приходится спрашивать с вас.

В комнату вихрем ворвалась Лолита.

— Если «Брахмо Самадж» назначил судьей вас, то нам в этом Обществе вообще делать нечего.

— Ты очень кстати пришла, Лолита,— сказал Харан, поднимаясь с кресла.— Я считаю, что обвинение, выдвинутое против тебя, должно рассматриваться в твоем присутствии.

Теперь Шучорита по-настоящему рассердилась.

— Знаете что, Харан-бабу,— крикнула она, сверкнув глазами,— вы можете, если хотите, устраивать судебные процессы у себя, но никто вам не позволит оскорблять людей в их собственном доме! Кто вам дал на это право? Идем, Лолита!

Лолита не тронулась с места.

— Нет, диди, я не побегу. Я готова выслушать все, что имеет сказать мне Пану-бабу. Итак, я вас слушаю!

Поскольку Харан-бабу молчал, не зная, с чего начать, заговорил Пореш-бабу.

— Лолита, дорогая моя,— сказал он,— сегодня Шучорита уходит от нас. Давайте же не будем в этот день ссориться. Пану-бабу, какие бы ошибки ни допустили мы в прошлом, сегодня не время укорять нас в них.

Харану ничего не оставалось, как замолчать. Странно, чем яснее Шучорита показывала, что не желает иметь с ним ничего общего, тем упорнее добивался он ее. Нет, от своих надежд Харан даже теперь отнюдь не отказался; потому-то он и лез на стену из-за предстоящего переезда Шучориты на новую квартиру вместе с теткой-индуисткой, зная, что там его усилия будут бесплодны.

Итак, сегодня он пришел во всеоружии, готовый к бою, готовый добиться решения тут же и во что бы то ни стало. Он был уверен, что его слова будут бить прямым попаданием в цель. Он совершенно не предполагал, что Шучорита и Лолита придут тоже не безоружными и на удар сумеют ответить ударом. Но как бы он ни был разочарован таким поворотом дела, духом Харан-бабу отнюдь не пал. «Истина — иными словами сам Харан — неминуемо восторжествует». Это был издавна его девиз! Но, конечно, победа сама в руки не дается... И Харан-бабу стал готовиться к дальнейшей борьбе.

Шучорита тем временем пошла к тетке.

— Тетя, ты не сердись,— сказала она,— сегодня я пообедаю вместе со всеми.

На это Хоримохини ничего не ответила. Она думала, что Шучорита окончательно перешла в истинную веру; более того, она считала, что теперь, получив материальную независимость

и переехав в отдельный дом, они заживут наконец по-своему. И ей вовсе не понравилось, что Шучорита опять решила взяться за старое. Потому-то она и не ответила девушке.

Шучорита догадалась, что у нее на уме, и сказала:

— Уверяю тебя, тетя, что твой бог не будет в претензии. Я получила сегодня указание свыше есть вместе со всеми. Если я ослушаюсь, господь разгневается, а его гнев для меня страшнее, чем твой.

Этого Хоримохини уже никак не понимала. Пока ей приходилось терпеть нападки и оскорбления Бароды, Шучорита делила с ней все обиды и вела себя как настоящая индуистка. Теперь же, когда настал час освобождения, она, вместо того чтобы радоваться, бог знает что выдумала. Было очевидно, что Хоримохини не постигла всей глубины души своей племянницы — да и не по плечу, вероятно, ей это было.

Запретить обедать со всеми она ей не запретила, но осталась недовольна. «И откуда только у нее это пристрастие к погапой еде? — ворчала Хоримохини про себя.— А еще родилась в семье брахмана».

И, помолчав немного, добавила вслух:

— Я тебе только вот что скажу: насчет того, чтобы есть с ними,— делай как знаешь, но, по крайней мере, не принимай воду, которую приносит водонос Рамдин.

— Но почему, тетя? — воскликнула Шучорита.— Ведь это тот же самый Рамдин, который каждое утро приносит тебе молоко от своей коровы и сам ее к тому же и доит.

Хоримохини даже глаза выпучила от изумления:

— Ты меня просто удивляешь! Сравнила молоко с водой! Ну и ну!

— Ладно, тетя,— рассмеялась Шучорита.— Сегодня я не буду пить воду из рук Рамдина. Но только имей в виду, лучше не запрещай этого Шотишу, а то он сделает как раз наоборот.

— Так то Шотиш...— протянула Хоримохини.

В конце концов сильный пол на то и силен, чтобы нарушать правила дисциплины, хотя бы даже индуистские.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Харан вступил на путь войны.

Прошло почти полмесяца с тех пор, как Лолита приехала с Биноем на пароходе. Кое-кому уже стало известно об этом, со временем, несомненно, узнали бы и многие другие, но за по-

следние два дня сенсационная новость распространилась по городу, как огонь в сухой соломе.

Харан многим разъяснил, сколь необходимо пресекать подобного рода распущенность в отдельных членах Общества в целях поддержания морального уровня брахмаистской семьи на должной высоте. Трудности это не представляло, потому что всегда приятно живо откликнуться на призыв заклеймить кого-то позором и соответствующим образом наказать чужие прегрешения. Большинство видных членов «Брахмо Самаджа», отбросив ложную скромность, с завидным энтузиазмом объединились вокруг Харана-бабу для выполнения этой тягостной обязанности. Эти столпы Общества, не считаясь с расходами на извозчиков, стали разъезжать из дома в дом, трубя об опасности, грозящей «Брахмо Самаджу», если такого рода явления не будут пресечены в корне.

В добавление ко всему из уст в уста передавалась весть о том, что Шучорита не только ударилась в правоверие, но к тому же еще поселилась с теткой-индусткой и целые дни проводит в исступленных молитвах перед идолом.

А тем временем, не успела Шучорита переехать в свой дом, как в душе Лолиты началась жестокая борьба. Каждый вечер, ложась спать, она говорила себе «не сдамся» и каждое утро, проснувшись, повторяла «ни за что не сдамся». Потому что дело дошло до того, что все ее мысли были заняты исключительно Биноем. Стоило ей услышать его голос внизу, как сердце ее начинало учащенно биться. Стоило ему не зайти к ним день-другой, и ее уже одолевало чувство оскорбленной гордости. В таких случаях она под разными предлогами засылала Шотиша к Биною и, когда тот возвращался, старательно выпытывала у него, о чем они разговаривали, что делает Биной и так далее.

И чем больше это наваждение овладевало Лолитой, тем страшней ей становилось при мысли о неизбежном поражении. Временами она начинала даже сердиться на Пореша-бабу за то, что тот не пресек их дружбы с Биноем и Горой.

Во всяком случае, теперь, более чем когда-либо, она была исполнена решимости бороться до конца, погибнуть, но не сдаться. В голове девушки возникали различные планы дальнейшего существования. Она даже стала подумывать, не последовать ли ей славному примеру героинь некоторых европейских романов, всю жизнь свою отдавших служению ближнему.

Как-то раз она пришла к Порешу-бабу и спросила:

— Скажи, отец, разве нельзя мне заняться преподаванием в какой-нибудь женской школе?

Пореш-бабу посмотрел в лицо дочери. Измученные сердечной болью, глаза молили о помощи.

— Отчего бы нет,— ответил ласково Пореш.— Только вот есть ли у нас подходящая школа?

В те времена подходящих школ было немного, потому что, хотя женские начальные школы и существовали, девушки из хороших семейств неохотно шли преподавать туда.

— А разве таких школ нет? — спросила Лолита, и в голосе ее зазвучало отчаяние.

— Насколько мне известно, нет,— пришлось признаться Порешу-бабу.

— Хорошо, а нельзя ли тогда самим открыть школу? — не унималась Лолита.

— Для этого потребуется много денег,— сказал Пореш-бабу,— и к тому же содействие многих людей.

Лолита раньше думала, что главная трудность состоит в том, чтобы пробудить в людях желание сделать доброе дело, она не представляла, сколько препятствий лежит на пути к осуществлению такого желания. Она молча сидела некоторое время, затем поднялась и вышла из комнаты, предоставив Порешу-бабу размышлять о причинах душевной тоски у любимой дочери.

Вдруг он вспомнил намеки Харана насчет Биноя. «Неужели я тогда действительно поступил необдуманно?» — с тяжелым вздохом спросил он себя.

Будь это любая другая из его дочерей, причин для особого беспокойства не было бы, но цельная, искренняя Лолита слишком серьезно относилась к жизни — даже радости ее и печали никогда не бывали половинчатыми.

Как же она будет жить дальше, преследуемая незаслуженными упреками и оскорблениями? Плыть вперед, не видя перед собой ни проблеска, ни просвета? Разве могла она отдаться на волю волн?

В полдень того же дня Лолита отправилась к Шучорите. Обставлен дом был более чем скромно. В большой комнате на полу лежала грубая деревенская циновка. По одну сторону ее была постель Хоримохини, по другую — Шучориты. Поскольку тетка отказывалась спать на кровати, Шучорита, следуя ее примеру, тоже устроила себе постель на полу в той же комнате. На стене висел портрет Пореша-бабу. В соседней комнате, поменьше, стояла кровать Шотиша, на небольшом столе у стены в беспорядке были разбросаны книги, тетради, чернильница,

перья, грифельная доска. Шотиш был сейчас в школе, и в доме царила тишина.

Хоримохини как раз укладывалась поспать после обеда. Шучорита с распущенными по плечам волосами сидела погруженная в чтение на своей постели, положив книгу на колени поверх подушки. Еще несколько книг лежало перед ней. Это были сборники статей Горы.

Увидев Лолиту, Шучорита смутилась и захлопнула было книгу, но тут же, устыдившись, снова открыла ее.

— Проходи, проходи, моя милая,— сказала Хоримохини, сев на постели.— Разве я не вижу, как Шучорита по вас по всех скучает. Как загрустит, так за эти книги берется. Я только подумала: хорошо бы, кто-нибудь из вас зашел, а ты уже тут как тут. Долго будешь жить, дочка.

Лолита, не тратя лишних слов, сразу же заговорила о том, что ее больше всего интересовало:

— Диди, как ты смотришь на то, чтобы открыть школу для девочек нашего квартала?

Хоримохини даже рот разинула от изумления:

— Подумать только! Да на что тебе школа?

— Как же мы ее откроем? — спросила Шучорита.— Кто поможет нам? Ты говорила с отцом?

— Ведь мы же с тобой можем преподавать,— ответила Лолита.— Может быть, и Лабонне согласится.

— Дело не только в преподавании,— возразила Шучорита.— Нужно разработать особые правила, найти помещение, набрать учениц, достать деньги. Что можем тут сделать мы с тобой?

— Не говори так, диди! — воскликнула Лолита.— Неужели из-за того, что мы родились девчонками, мы должны попусту тратить свои силы, запершись в четырех стенах? Разве мы совсем уж ни на что не годны?

Боль, прозвучавшая в ее словах, нашла отклик в сердце Шучориты. Она серьезно задумалась над предложением Лолиты.

— Ведь по соседству сколько угодно девочек,— продолжала Лолита,— их родители будут только рады, если мы предложим учить их бесплатно. Что же касается помещения, то для начала нам хватит места хотя бы тут, у тебя,— ведь учениц у нас будет не бог весть сколько. Так что вопрос денег тоже не так уж страшен.

Хоримохини не на шутку всполошилась при мысли, что какие-то неизвестные соседские девочки набьются к ним в дом и будут учиться. Все ее старания были направлены на то, чтобы

вести праведную жизнь, выполнять религиозные обряды так, как это предписано священным писанием, и всеми силами стараться не осквернить. Поскольку угроза осквернения становилась вполне реальной, Хоримохини начала громко выражать протест.

— Тебе нечего бояться, тетя,— успокаивала ее Шучорита.— Если нам вообще удастся набрать учениц, то мы прекрасно сможем заниматься с ними внизу, мы не будем пускать их наверх, беспокоить тебя. Что ж, Лолита, если найдутся ученицы — я согласна,— повернулась она к сестре.

— Во всяком случае, я считаю, что попытаться стоит,— сказала Лолита.

Хоримохини продолжала понемногу ворчать:

— И что это вы во всем хотите подражать христианам, дорогие мои. Отроду не слыхала, чтобы девушка из хорошей индуистской семьи шла в учительницы.

Когда Шучорита жила у Пореша-бабу, вместе с сестрами она частенько выходила на крышу поболтать с девушками из соседних домов. Одно обстоятельство, однако, серьезно мешало дальнейшему развитию их дружбы — соседки донимали сестер расспросами, почему они до сих пор не вышли замуж. Поэтому Лолита по возможности избегала этих бесед.

Лабонне же, наоборот, была горячей сторонницей такого времяпрепровождения. Когда дело касалось чужих семейных историй, ее любопытство не знало границ. Ежедневные «журфиксы» на крыше, куда они выходили расчесывать волосы, пользовались большим успехом, и во время них самые разнообразные новости летели от соседки к соседке по беспроволочному телеграфу.

Потому Лолита и возложила на Лабонне обязанность подобрать учениц для своей предполагаемой школы, и когда предложение было обнародовано с высоты крыши, многие девушки проявили к нему горячий интерес. Лолита тем временем принялась с энтузиазмом мести, мыть и украшать помещение.

Но комната оставалась пустой. Главы семейств были до глубины души возмущены этой попыткой заманить их дочерей в брахмаистский дом под предлогом обучения. Они даже сочли своим долгом строжайше запретить своим дочерям всякие дальнейшие сношения с дочерьми Пореша-бабу. Таким образом, девочки не только лишились теперь удовольствия прогуливаться по вечерам на крыше, но должны были еще и выслушивать немало нелестных слов о своих подругах-брахмаистках.

Теперь бедная Лабонне, выходя на крышу с гребенкой в

руках, видела на крышах соседних домов одних только взрослых. Представительниц младшего поколения не наблюдалось, и привычных приветствий тоже слышно не было.

Но и это не остановило Лолиту.

«Ведь многие девочки из бедных брахмаистских семей не могут учиться в платных школах,— решила она,— мы принесем большую пользу, если возьмемся их учить».

И, призвав на помощь Шудхира, она отправилась на поиски новых учениц.

Дочери Пореша-бабу слыли чрезвычайно образованными девушками. И хотя эта слава была в значительной мере преувеличена, многие родители очень обрадовались, услышав, что Лолита и Шучорита собираются учить их детей, да еще бесплатно. Уже через несколько дней в школе Лолиты насчитывалось шесть учениц, и она была так поглощена обсуждением с Порешем-бабу всяких административных вопросов, что на свои собственные дела у нее не оставалось ни минуты. У нее даже возник однажды с Лабонне горячий спор относительно того, какими книгами наградить учениц в конце года, когда пройдут экзамены, и кто будет экзаменовать их. Хотя Лабонне с Хараном в восторге друг от друга никогда не были, Лабонне твердо верила в его ученость и нимало не сомневалась в том, что если бы Харан согласился помочь им в школьных делах как учитель или экзаменатор, то слава школы значительно возросла бы. Но Лолита от этого наотрез отказалась. Ей было думать противно, что Харан может принять какое-нибудь участие в их работе.

Однако уже через несколько дней группа учениц начала таять, и вскоре настал день, когда школа совсем опустела. Сидя в пустом классе, Лолита каждый раз вздрагивала при звуке шагов, все еще надеясь, что это идет одна из ее учениц. Но никто не шел. Просидев таким образом до двух часов, Лолита наконец решила: что-то, вероятно, случилось. И она отправилась на дом к одной из учениц, жившей поблизости.

— Мама не пускает,— сказала девочка, едва сдерживая слезы.

— В доме от этого одни нелады,— объяснила мать.

Однако осталось неясным, что же, собственно, не ладится. Лолита была чуткой девушкой и не любила настаивать или добиваться исчерпывающего ответа, поэтому она сказала только:

— Ну раз нелады, то ничего не поделаешь.

В следующем доме Лолита услышала другое объяснение. «Шучорита стала правоверной,— заявили ей сплеча,— кастовые

обряды соблюдает и клапяется идолам, которых держат в доме».

— Если вы возражаете только против этого, то можно заниматься у нас,— сказала девушка.

Но поскольку и это не помогло, Лолита почувствовала, что тут кроется что-то еще. Поэтому, не заходя больше ни к кому, она пошла домой и послала за Шудхиром.

— Скажи мне, Шудхир, что же, в конце концов, случилось? — спросила она его.

— Пану-бабу ополчился против вашей школы,— ответил Шудхир.

— Почему? — спросила Лолита.— Неужели потому, что в доме у диди поклоняются идолу?

— Не только поэтому...— начал было Шудхир, но осекся.

— Так в чем же дело? — нетерпеливо воскликнула Лолита.— Скажи мне!

— Это длинная история,— попробовал отвертеться Шудхир.

— Что-нибудь касающееся меня?

Ответа не последовало. Краска залила лицо девушки.

— Ах вот оно что — меня наказывают за поездку на пароходе! Значит, в нашем «Самадже» искупление грехов исключается — так, что ли? Значит, теперь меня в нашем Обществе к добрым делам больше не подпустят? И таким путем вы собираетесь морально возвысить меня, а заодно и «Самадж»?

Пытаясь как-то сгладить углы, Шудхир сказал:

— Дело обстоит не совсем так. Чего они действительно боятся, это как бы Биной-бабу со своим приятелем не вмешались мало-помалу в ваши школьные дела.

Но Лолита только еще больше рассердилась.

— Боятся? — воскликнула она.— Не пугаться нужно, а радоваться этому. Интересно, могли бы они предложить нам в помощь кого-нибудь, кто располагал бы хотя бы половиной знаний Биноя-бабу?

— Тоже верно...— пробормотал сбитый с толку Шудхир,— но ведь Биной-бабу...

— Не брахмаист? Это я и сама знаю. И поэтому «Брахмо Самадж» преследует и травит его! По-моему, таким Обществом гордиться нечего.

Шучорита сразу поняла истинную причину бегства учениц из школы. Не говоря ни слова, она вышла из класса и поднялась наверх к Шотишу, чтобы позаниматься с ним и проверить его знания перед надвигающимися экзаменами.

Там, после разговора с Шудхиром, Лолита и нашла ее.

— Ты слышала, что произошло? — спросила она.

— Слышать не слышала, но и без этого все поняла,— ответила Шучорита.

— Неужели мы должны молча все это терпеть?

Шучорита взяла Лолиту за руку:

— Мы будем молча терпеть, что бы ни случилось,— ведь в терпении нет ничего позорного. Разве ты не видишь, как спокойно сносит все отец?

— Но мне часто кажется, диди,— возразила Лолита,— что безропотно терпеть зло — значит поощрять его. Гораздо более верное средство против зла — борьба.

— И как же ты собираешься бороться? — спросила Шучорита.

— Я об этом еще не думала,— ответила Лолита.— Я даже не знаю своих сил, но что-то делать, несомненно, надо. Тех, кто способен из-за угла наносить удары нам — совсем еще девчонкам, иначе, как трусами, не назовешь, что бы они сами о себе ни воображали. Пусть они делают что угодно, я ни за что не отступлю перед ними, ни за что! — И Лолита даже топнула ногой.

Шучорита не отвечала и только молча гладила ее руку. Потом, немного погодя, она сказала:

— Лолита, миленькая, давай узнаем, что думает по этому поводу отец.

— Я как раз собираюсь к нему,— ответила Лолита, поднимаясь.

Подходя к дому, Лолита увидела, как из дверей понуро вышел Биной. Заметив ее, он на минуту остановился, словно в нерешительности — заговорить с ней или нет, но тут же взял себя в руки, слегка поклонился и пошел прочь, не взглянув на нее.

Словно раскаленная стрела вонзилась в сердце Лолиты. Она быстрыми шагами вошла в дом и отправилась прямо в комнату матери. Бародашундори сидела за столом, раскрыв узкую длинную тетрадь, и, по-видимому, была погружена в какие-то сложные хозяйственные расчеты.

Бародашундори с первого же взгляда поняла, что выражение лица дочери не сулит ничего хорошего, и сразу же снова занялась своими подсчетами, причем вид у нее был такой озабоченный, словно все благосостояние семьи зависело от того, сойдется ли итог.

Лолита придвинула стул к столу и села. Но ее мать так и не оторвалась от тетрадки. Наконец Лолита окликнула ее:

— Ма!

— Погоди минутку, девочка,— недовольно отозвалась Бародашундори,— разве ты не видишь, что я...— И она еще ниже склонилась над цифрами.

— Я не буду тебе долго надоедать,— сказала Лолита.— Я хочу знать только одну вещь: Биной-бабу был здесь?

Не поднимая глаз от тетрадки, Бародашундори ответила:

— Да.

— Что ты ему сказала?

— Ну, об этом долго рассказывать!

— Я только хочу знать, говорили вы обо мне или нет? — не отставала Лолита.

Видя, что деваться некуда, Барода бросила перо и, посмотрев на дочь, сказала:

— Да, дитя мое, говорили. Разве я не вижу, как далеко все это зашло. Все в «Самадже» говорят об этом. Так что мне пришлось предупредить его.

От стыда Лолита покраснела до корней волос.

— Отец запретил Биною-бабу бывать у нас? — спросила она.

— Разве станет твой отец беспокоиться о таких вещах? Если бы он хоть немного подумал, ничего этого не случилось бы.

— А Пану-бабу можно бывать у нас по-старому? — продолжала допрос Лолита.

— Ну, что ты говоришь?! — изумилась Бародашундори.— С какой стати нам отказывать от дома Пану-бабу?

— А с какой стати отказывать Биною-бабу?

Бародашундори снова придвинула к себе тетрадь и сказала:

— Тебя не переговоришь, не мешай мне теперь. Мне столько еще надо сделать.

Среди дня, воспользовавшись тем, что Лолита ушла к Шучорите на занятия, Барода пригласила Биноя и высказала ему все, что думала. Она рассчитывала, что Лолита никогда не узнает об этом, и теперь, увидев, что ее хитрость оказалась разгаданной, она очень расстроилась. Ей было очевидно, что миром это дело не кончится и что еще худшие неприятности ждут ее впереди. Однако весь свой гнев она обратила на своего безответственного супруга. «Какая мука для женщины,— думала она,— вести дом, когда рядом с ней находится такая бестолочь!»

Лолита удалилась, унося в сердце бурю. Спустившись вниз, она застала Пореша-бабу за писанием писем. Не тратя лишних слов, она в упор спросила его:

— Отец, разве Биной-бабу недостоин нашего общества?

Пореш-бабу сразу догадался, в чем дело. Он не мог не заметить возбуждения, охватившего в последнее время «Брахмо Самадж», и знал, что атаки будут направлены против его семьи. Он уже много думал над этим. Не подозревай он о чувстве Лолиты к Биною, он не стал бы и слушать, что болтают досужие языки. Но что, если Лолита полюбила Биноя? В чем тогда состоит его долг по отношению к ним? — снова и снова спрашивал он себя.

В его семье назревал кризис — впервые с тех пор, как он открыто порвал с индуизмом, чтобы вступить в «Брахмо Самадж». И хотя, с одной стороны, опасения и мрачные предчувствия и одолевали его, встрепенувшаяся совесть напоминала, что, подобно тому как в свое время, отрекаясь от веры отцов, он следовал одному лишь зову господнему, так и теперь, в этот час испытаний, ему надлежит поставить истину превыше всех общественных условностей и соображений благоразумия и только так он выйдет в конце концов победителем.

Поэтому в ответ на вопрос Лолиты Пореш-бабу сказал:

— О Биное я могу сказать только хорошее. Человек он прекрасный и не только умен, но и в высшей степени порядочен.

— За последние несколько дней мать Гоурмохона-бабу уже дважды была у нас,— сказала Лолита после короткого молчания.— Что, если мы с Шучоритой сходим к ней сегодня с ответным визитом?

Пореш-бабу не смог сразу ответить, так как знал, что теперь, когда почти каждый шаг его семьи не остается незамеченным, такой визит подольет лишь масла в огонь. Но поскольку сам он не видел тут ничего предосудительного, он просто не мог отказать дочери.

— Хорошо, ступайте,— сказал он.— Не будь я так занят, я бы тоже пошел с вами.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Биною и не снилось, что его посещения дома Пореша-бабу, где он столь беспечно проводил время в качестве гостя и друга, могут вызвать такой взрыв общественного негодования. На первых порах, когда он только начал бывать там, он немного стеснялся и, не зная, как следует себя вести, держался связанно и настороженно. Но постепенно робость прошла, и уж ничто не мешало ему чувствовать себя свободно. Услышав впервые, что

его поведение сделало Лолиту предметом кривотолков среди членов «Брахмо Самаджа», он был потрясен до глубины души. Больше всего Биноя приводило в отчаяние то, что его чувства к Лолите — как он сам прекрасно сознавал — далеко не исчерпывались просто дружбой, а при теперешнем положении дел, когда одна часть общества так резко противостоит другой, вынашивать подобные чувства ему казалось преступным. Он часто думал, что, строго говоря, назвать его близким другом этой семьи нельзя, что в одном отношении, во всяком случае, он обманывает окружающих, и знал, что если бы они догадались о его истинных чувствах, он сгорел бы со стыда.

И вот в один прекрасный день он получил записку от Бародашундори, в которой она убедительно просила его зайти к ней около полудня.

Когда он пришел, Бародашундори спросила его:

— Ведь вы индуист, Биной-бабу? — И когда он ответил утвердительно, задала следующий вопрос: — И вы не предполагаете порвать с индуизмом?

Узнав, что делать этого он не собирается, Бародашундори сказала:

— Так что же вы...

На этот недосказанный вопрос Биной не мог дать никакого определенного ответа. Он сидел, глядя в сторону, с таким чувством, будто его наконец уличили в преступлении: оказывается, то, чем он не делился ни с луной, ни с солнцем, что скрывал даже от воздуха, было известно здесь всем. Его сверлила мысль, что думает об этом Пореш-бабу, что думает об этом Лолита, что думает о нем Шучорита. По недосмотру кого-то из ангелов он попал ненадолго в этот рай, но прошло немного времени, и вот его уже изгоняют оттуда и он бежит прочь, низко опустив голову.

Когда, выходя из дома Пореша-бабу, он увидел Лолиту, у него на миг зародилась мысль признаться ей в своем великом прегрешении и окончательно зачеркнуть их былую дружбу, но как это сделать, он не знал, а поэтому слегка поклонился и, не глядя на нее, пошел прочь.

Еще совсем недавно Биной в семье Пореша-бабу был чужим. И вот он снова оказался им. Чужой! Но какая разница! Почему так пусто стало все вокруг? Кажется, жизнь его ничем не изменилась, по-прежнему были у него его Гора и его Анондомойи. Но сейчас он чувствовал себя, как рыба, которую выбросили на берег — и куда ни глянь, нигде нет спасения. Повсюду в этом шумном многолюдном городе ему мерещились ту-

манные картины гибели, нависшей над ним. Его самого удивляла эта безжизненная пустота, объявшая вселенную, и он то и дело спрашивал равнодушное небо, почему так случилось и почему и когда это стало возможным.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его:

— Биной-бабу! Биной-бабу!

И, оглянувшись, увидел бежавшего за ним Шотиша.

— Братишка ты мой! В чем дело, дружок? — воскликнул он, поймав мальчика в свои объятия. Слезы комом подступили к горлу Биноя. Раньше он и не догадывался, как дорога ему дружба с этим шалуном.

— Отчего же вы к нам не заходите? — спросил Шотиш.— Завтра Лабонне и Лолита придут к нам обедать, и тетя послала меня пригласить вас.

Из этого Биной понял, что тетя пока что ничего не знает, поэтому он сказал:

— Шотиш-бабу, передай от меня поклон тете и скажи, что я не смогу прийти.

Вцепившись в руку Биноя, Шотиш начал уговаривать:

— Почему не сможете? Вы должны прийти. Мы хотим, чтобы вы непременно были.

У Шотиша была особая причина так горячо упрашивать Биноя. В школе им задавали сочинение на тему «Любовь к животным», и он получил за него хорошую отметку, так что теперь ему не терпелось показать свой труд Биною. Он знал, что его друг умен и образован, и потому решил, что человек с таким тонким вкусом, как Биной, сумеет оценить по достоинству его произведение. И если, например, удастся добиться от Биноя признания, что сочинение действительно написано отлично, тогда заносчивую Лилу, если она посмеет непочтительно отозваться о его талантах, можно будет просто не замечать. Шотиш сам уговорил тетю пригласить Биноя-бабу, потому что ему хотелось, чтобы Биной вынес оценку его сочинению в присутствии сестер.

Услышав, что Биной никак не может воспользоваться приглашением, он очень расстроился, так что Биной обнял его и сказал:

— Знаешь что, Шотиш, пойдем ко мне.

Поскольку сочинение находилось в кармане, отказаться от приглашения мальчик был не в силах.

Сознавая, что он совершает преступление, тратя драгоценные часы, которые следовало посвятить подготовке к экзаменам, Шотиш, снедаемый жаждой литературной славы, пошел к Биною.

Биною никак не хотелось отпускать юного приятеля. Он не только прослушал сочинение, но и похвалил его, что, с точки зрения беспристрастной критики, было уже лишним. Не довольствуясь этим, он послал на базар за лакомствами и совершенно закормил ими своего гостя. Затем он проводил его почти до самых дверей дома Пореша-бабу и, прощаясь с ним, сказал в каком-то нелепом замешательстве:

— Ну, Шотиш, мне пора...

Но мальчик схватил Бипоя за руку, стараясь втащить в дом.

— Нет, нет, пойдемте к нам,— говорил он.

Сегодня, однако, уговоры не принесли желаемых плодов.

Как во сне, побрел Бипой к дому Анондомойи. Не найдя ее, он поднялся на крышу и вошел в опустевшую комнату, где обычно спал Гора. Сколько радостных дней и безмятежных ночей провели они в этой комнате во времена своей мальчишеской дружбы! Сколько было веселых бесед, сколько планов, сколько споров! Сколько горячих ссор и шумных примирений! Биною хотелось вернуться в мир прошлого, забыв о настоящем. Но на пути к этому миру стояли новые друзья и не пускали его. До сих пор Бипой не мог ясно себе представить, в какой момент переместился центр его жизни, когда именно изменился ее курс. Теперь, когда он понял все до конца, ему стало жутко.

Анондомойи развесила на крыше белье. Придя снимать его под вечер, она очень удивилась, увидев в комнате Горы Бипоя. Она поспешно подошла к нему и, положив руку на плечо, спросила:

— Что с тобой, Биной? Что случилось? Почему ты такой бледный?

— Ма,— сказал Бипой, поднимаясь,— Гора сердился, когда я зачастил к Порешу-бабу. Тогда мне казалось, что он несправедлив ко мне. Но дело оказалось не в его несправедливости, а в моей глупости.

— Я вовсе не утверждаю, что ты у нас на редкость умен,— улыбнулась Анондомойи.— Но расскажи, в чем же заключается твоя глупость на этот раз?

— Я ни на минуту не задумывался над тем, что мы и они — это два совершенно разных мира. Мне просто казалось, что дружить с ними, брать с них пример приятно и полезно, потому-то меня и влекло к ним. Но мне никогда и в голову не приходило, что следует о чем-то беспокоиться.

— Судя по твоему рассказу,— перебила его Анондомойи,— и мне бы не пришло...

— Ты не понимаешь, ма,— сказал Биной,— из-за меня вокруг них в «Самадже» поднялась целая буря. Пошли такие сплетни, что я к ним никогда больше...

Но Анондомойи не дала ему кончить:

— Гора любил повторять нечто, на мой взгляд, очень правильное. Он говорил: нет хуже, когда снаружи все гладко, а внутри таится зло. И если у них в «Самадже» буря, то, по-моему, тебе тут горевать нечего. Вот увидишь — это только к лучшему. Все обойдется! Важно, чтобы ты сам ни в чем не мог упрекнуть себя.

Что касается Биноя, то как раз в этом и была загвоздка. Он отнюдь не был уверен в безупречности своего поведения. Поскольку Лолита принадлежала совершенно к другому обществу и брак с ней был невозможен, то и любовь к ней казалась ему греховной страстью. И теперь его мучила мысль, что наступила пора неизбежной расплаты.

— Эх! — воскликнул вдруг Биной.— Женился бы я лучше на Шошимукхи! Меня следует держать на привязи, чтобы я знал, где мое настоящее место, да так держать, чтобы я не сорвался.

— То есть,— рассмеялась Анондомойи,— ты хочешь сделать из Шоши не хозяйку дома, а цепь. Ничего себе, завидная участь!

В это время вошел слуга и доложил о приходе дочерей Пореша-бабу. Сердце Биноя учащенно забилось, он не сомневался, что они пришли к Анондомойи пожаловаться на него и попросить передать ему, чтобы впредь он был осмотрительнее.

— Ну, я пошел, ма,— сказал он, поспешно вставая.

Но Анондомойи взяла его за руку.

— Не уходи совсем, Биной. Подожди внизу.

«Зачем это они? — думал Биной, спускаясь вниз по лестнице.— Что произошло, того уж не поправишь, а теперь я скорее умру, чем пойду туда... Огонь возмездия подобен костру, пылающему и после того, как грешник давно испепелен».

Только он хотел войти в кабинет Горы на нижнем этаже, как в противоположном конце коридора появился возвращавшийся со службы Мохим, который на ходу расстегивал на толстом животе пуговицы чапкана.

— А-а, Биной! — воскликнул Мохим, беря его за руку.— Ты-то мне и нужен!

И он повел Биноя в комнату Горы, усадил на стул, сел сам и угостил его паном из металлической коробочки, которую всегда носил при себе.

— Принеси-ка табаку! — грозно крикнул он слуге и затем сразу приступил к делу.— Значит, тот вопрос у нас решен, так что теперь...

Он сразу заметил, что Биной настроен куда более миролюбиво, чем прежде. Собственно, особого энтузиазма он и сейчас не проявил, но уклоняться от объяснения не стал и, когда Мохим заговорил о том, что пора назначить определенный день, ответил:

— Вот вернется Гора, тогда и сговоримся насчет дня.

— Ну, это теперь уже недолго,— довольным тоном сказал Мохим и добавил: — Как насчет того, чтобы закусить, а, Биной? Что-то ты сегодня скверно выглядишь, смотри не захворай.

Биною удалось отвертеться от угощения, и Мохим пошел утолять муки голода к себе. Биной же взял со стола Горы первую попавшуюся книгу, перелистал несколько страниц, затем отбросил ее и принялся шагать из угла в угол, пока не пришел слуга и не сказал, что его зовут наверх.

— Кого зовут? — переспросил Биной.

— Вас,— ответил слуга.

— Они все еще наверху?

— Да.

Биной отправился наверх вслед за слугой с видом студента, идущего на экзамен. В дверях он замешкался, но тут его окликнула Шучорита своим обычным дружеским и ласковым голосом:

— Входите же, Биной-бабу! — И, услышав этот голос, он почувствовал себя так, словно его нежданно-негаданно озолотили.

Вид Биноя поразил девушек. Пережитое потрясение успело сказаться на нем: всегда веселое, смеющееся лицо его вдруг лишилось всех красок, словно цветущее поле после опустошительного набега саранчи. При взгляде на Биноя Лолита почувствовала боль и сострадание, но вместе с тем она не могла скрыть и внутренней радости, охватившей ее.

В другое время Лолите трудно было бы заговорить сразу с Биноем, но сегодня она обратилась к нему, едва он вошел в комнату:

— Нам нужно кое о чем посоветоваться с вами, Биной-бабу.

При этих словах на Биноя нахлынул восторг. Он радостно встрепенулся, и сразу же его угрюмое бледное лицо просветлело.

— Мы с сестрами втроем,— продолжала Лолита,— хотим открыть небольшую женскую школу.

— Господи! — воскликнул с жаром Биной.— Да я сам всю жизнь мечтал о том же!

— Вам придется помочь нам,— сказала Лолита.

— Все, что в моих силах! Скажите только, что мне нужно делать?

— Мы — брахмаисты, поэтому индуисты к нам относятся с недоверием. Вот здесь вам и придется помочь нам.

— Ни о чем не беспокойтесь,— просиял Биной.— Это я устрою.

— Уж это он, несомненно, устроит,— вступила в разговор Анондомойи.— Если нужно перетянуть кого-нибудь на свою сторону, лучше Биноя не найти — перед его красноречием и обаянием никто не устоит.

Лолита продолжала:

— Вам придется помочь нам написать школьный устав, распределить часы занятий, решить, какие предметы преподавать, сколько классов организовать, и вообще во всяких таких вещах.

Хотя все это не составило бы для Биноя никакого труда, он почувствовал себя смущенным: неужели Лолита не догадывается, что Бародашундори запретила ему всякое общение со своими дочерьми и что в «Брахмо Самадже» против них поднялась буря негодования? Перед ним встал мучительный вопрос: не будет ли нечестно с его стороны, если он примет ее предложение, не повредит ли это ей? Вместе с тем разве мог он найти в себе силы отказать Лолите в просьбе помочь ей в добром деле?

В свою очередь, изумлена была и Шучорита. Ей никогда и не снилось, что Лолита может сразу обратиться к Биною с подобной просьбой. Мало у нее и без этого осложнений из-за Биноя? Шучориту пугало, что Лолита, зная обо всем, все же решилась самовольно сделать этот шаг. Она понимала, что в душе Лолиты родился протест. Но хорошо ли с ее стороны продолжать запутывать бедного и без того запутавшегося Биноя? Поэтому она сказала с некоторой тревогой:

— Не мешало бы сначала посоветоваться об этом с отцом. Так что, Биной-бабу, не радуйтесь преждевременно своему назначению на пост инспектора женской школы.

Из этого Биною стало ясно, что Шучорита старается тактично сдержать Лолиту. И вновь недоумение и страх поднялись в его душе.

Поскольку было очевидно, что Шучорита в курсе семейных осложнений, он не мог себе представить, чтобы и Лолита не знала о них. Но тогда почему же Лолита... Для него это была загадка.

— Конечно, надо поговорить с отцом,— сказала Лолита.— Теперь, когда Биной-бабу согласился помочь нам, мы все расскажем ему. Он не станет возражать, в этом я уверена. Мы и его заставим помогать нашей школе. Вас мы тоже не оставим в покое,— добавила она, повернувшись к Анондомойи.

— Я буду подметать в классах,— засмеялась Анондомойи.— Едва ли я еще на что-нибудь способна.

— Этого больше чем достаточно,— воскликнул Биной.— Чистота, по крайней мере, в нашей школе будет обеспечена.

После ухода Шучориты и Лолиты Биной отправился погулять в Иден-Гарден. Тем временем к Анондомойи поднялся Мохим.

— Биной, как видно, стал сговорчивее,— начал он.— Теперь хорошо бы поскорее обделать дело, а то кто его знает, вдруг опять передумает.

— Что такое? — воскликнула в изумлении Анондомойи.— С каких это пор Биной опять согласен? Он мне об этом ничего не говорил.

— Да вот только что он сам об этом мне сказал,— ответил Мохим.— Говорит, что, как только вернется Гора, можно будет и день назначить.

Анондомойи покачала головой.

— Нет, Мохим. Ты что-то не так понял. Уверяю тебя.

— Может, конечно, я и туп,— в сердцах ответил Мохим,— но я все-таки вышел из того возраста, когда не понимают простую человеческую речь — это уж будь покойна!

— Дитя мое,— сказала Анондомойи,— ты, конечно, рассердишься на меня за мои слова, но я уверена, что ничего, кроме беды, ты себе этим не наживешь.

— Если ты станешь вмешиваться,— холодно проговорил он,— беды, конечно, не миновать.

— Я все снесу, Мохим, что бы ни говорили ты и твоя семья. Но я не могу дать своего согласия на то, что неминуемо кончится бедой. Это ведь я вам же на пользу говорю.

— Предоставь уж нам самим решать, что нам на пользу и что нет,— сказал Мохим довольно резко.— Тогда тебе, по крайней мере, не придется выслушивать жалоб. Может, это как раз и было бы для всех нас к лучшему. Забудь о том, что нам полезно и что нет, до тех пор пока Шошимукхи не будет замужем!

В ответ Анондомойи только тяжело вздохнула. Мохим достал из кармана коробочку, вынул из нее сверточек пана, запихнул его в рот и выбежал вон.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

— Мы брахмаисты,— сказала Лолита, входя в комнату Пореша-бабу,— поэтому ни одна девочка из правоверной индуистской семьи не хочет учиться у нас. Вот я и подумала, что было бы очень полезно привлечь к нашему делу кого-нибудь из индуистов. Что ты скажешь на это, отец?

— Где же вы найдете индуиста, который согласился бы на это?

Лолита специально подготовилась к этому разговору с отцом, зная, как трудно ей будет назвать имя Биноя. Однако сейчас она почувствовала внезапную робость. Все же, сделав над собой большое усилие, она сказала:

— Разве это так уж трудно? Есть много подходящих людей. Вот хотя бы Биной-бабу... или...

Произносить это «или» не было решительно никаких оснований, оно было совершенно излишним, и ее фраза так и осталась незаконченной.

— Биной?! — воскликнул Пореш-бабу.— Но с какой стати Биной согласится?

Эти слова задели самолюбие Лолиты. Как так, с какой стати! Как будто отец не знал, что кто-кто, а Лолита сумеет уговорить Биноя.

Но она только сказала:

— Не вижу, почему бы ему не согласиться.

Пореш-бабу помолчал.

— Тщательно взвесив все привходящие обстоятельства, он не согласится ни за что.

Лолита густо покраснела и, потупившись, стала бренчать ключами, связка которых была прикреплена к краю ее сари. Пореш очень огорчился при виде ее расстроенного личика, но как утешить ее, он не знал.

Так прошло некоторое время. Затем девушка медленно подняла голову.

— Значит, отец, с нашей школой ничего не выйдет?

— Я предвижу, что вы столкнетесь с массой всяких затруднений,— ответил Пореш-бабу.— Сама попытка создать школу

обязательно вызовет осуждение и злобные выпады по вашему адресу.

Ничего не могло быть горше для Лолиты, чем необходимость смириться перед такой несправедливостью и уступить победу Харану. Если бы не отец, она ни за что не отступила бы. Неприятности ее не страшили, но несправедливость возмущала до глубины души. Она молча поднялась и вышла из комнаты.

Вернувшись к себе, Лолита нашла на столе письмо. По почерку она догадалась, что оно от школьной подруги Шойлобалы, живущей теперь с мужем в Банкипуре.

Шойлобала, между прочим, писала:

«Я была весьма огорчена дошедшими до меня слухами о всех вас и давно собиралась написать тебе и узнать, в чем дело, но все как-то не было времени. Однако позавчера я получила письмо от одного человека (не буду называть его имени), из которого узнала ошеломляющую новость, касающуюся тебя лично. Я никогда не допустила бы мысли, что это возможно, но человеку, написавшему мне, трудно не верить. Неужели правда, что ты собираешься замуж за какого-то молодого индуиста? Если да...» и т. д.

Лолиту даже затрясло от гнева. Не теряя ни секунды, она тут же села писать ответ:

«Мне кажется весьма странным, что ты решила справиться у меня, правда ли то, что тебе сообщили. Неужели ты так мало доверяешь людям, что тебе потребовалось проверять сообщение одного из членов «Брахмо Самаджа»?! Ты пишешь далее, что тебя совершенно ошеломило известие о том, что я собираюсь выйти замуж за какого-то молодого индуиста. Позволь возразить тебе на это, что и в «Брахмо Самадже» есть всем известные благочестивые молодые люди, одна мысль о браке с которыми приводит меня в ужас, тогда как я знаю нескольких юношей-индуистов, выйти замуж за которых было бы великой честью для любой девушки из «Брахмо Самаджа». Это все, что я хотела написать тебе по этому поводу».

После ухода Лолиты Пореш не мог заставить себя взяться за работу. Долго сидел он молча, погруженный в раздумье. Затем он поднялся и пошел к Шучорите. Шучориту очень встревожил его расстроенный, огорченный вид. Она прекрасно знала, что послужило причиной его беспокойства, потому что ее собственные мысли вот уже несколько дней только этим были заняты.

Пореш-бабу прошел с Шучоритой в ее скромную комнатку, опустился на стул и сказал:

— Ну, дорогая, пришло время серьезно подумать о Лолите.

Шучорита посмотрела на него глазами, полными сочувствия.

— Я знаю, отец.

— Меня ничуть не беспокоят сплетни о ней, меня волнует другое... Неужели Лолита...

Видя нерешительность Пореша, Шучорита поняла, что должна сказать ему без утайки все, что думала по этому поводу сама.

— Лолита всегда делилась со мной всеми своими мыслями, но с некоторых пор я замечаю, что она стала гораздо более скрытной. Я очень хорошо понимаю...

— В душе у Лолиты творится что-то такое,— перебил ее Пореш-бабу,— в чем она не хочет признаться даже себе самой. Я думаю и не могу придумать, как тут поступить. Скажи мне... ты не думаешь, что с моей стороны было ошибкой позволить Биною запросто бывать у нас и так часто видеться с ней?

— Отец, ты же знаешь, что поведение Биноя было безупречным,— сказала Шучорита.— Это честный человек, я искренне считаю, что очень немногие среди наших знакомых могут сравниться с ним в благородстве.

— Ты права, Радха, совершенно права! — горячо воскликнул Пореш-бабу, словно ему открылась вдруг какая-то истина.— Внутренние достоинства человека — вот все, что должно иметь для нас значение. Господь помогает нам увидеть человеческую душу. Мы только должны благодарить бога за то, что Биной оказался таким хорошим человеком и что мы не ошиблись в нем.— И он облегченно вздохнул, как человек, который чуть было не совершил ошибки, но вовремя спохватился.

Пореш-бабу не мог обидеть своего бога. Он твердо верил, что весами, на которых всевышний взвешивает людские дела, служит ему вечная истина. А так как сам Пореш никогда не пользовался фальшивыми гирями, изготовленными его единоверцами, то и себя упрекнуть ему было не в чем. Он лишь удивился самому себе, что не сразу понял такую простую вещь и столько времени мучился зря. Положив руку на голову Шучорите, он сказал:

— Сегодня, дорогая, урок мне преподала ты.

— Нет, нет, что ты, отец! — возразила девушка, быстрым движением касаясь его ног.

— Сектантство приводит к тому, что люди перестают понимать одну простую и несомненную истину, а именно, что человек — это прежде всего человек; оно, как водоворот, затягивает

людей, и мало-помалу искусственные, ими самими созданные различия между религиями брахмаистов и индуистов начинают заслонять саму истину. Вот в таком водовороте ложных понятий и представлений кружился и я все это время.

Помолчав немного, Пореш продолжал:

— Лолита никак не может расстаться с мыслью о женской школе. Она просила меня разрешить ей обратиться за помощью к Биною.

— Нет, отец,— воскликнула Шучорита.— Подожди немного.

Перед мысленным взором Пореша вновь появилось огорченное личико Лолиты в тот момент, когда она уходила из его комнаты, и сердце у него защемило. Он сознавал, что его смелая, пылкая дочь не столько возмущена несправедливым отношением к ней Общества, сколько тем, что ей не дают бороться против этой несправедливости, причем не дает именно он, ее отец. Ему не терпелось сказать ей, что он передумал, поэтому он спросил:

— Почему же, Радха, почему ты считаешь, что надо подождать?

— Ма будет очень недовольна,— ответила Шучорита.

Пореш-бабу почувствовал, что она права, но прежде чем он успел что-нибудь сказать, в комнату ворвался Шотиш и, подбежав к Шучорите, стал что-то шептать ей на ухо.

— Нет, болтунишка, только не сейчас,— сказала она.— Завтра.

— Но ведь завтра мне идти в школу,— огорчился мальчик.

— В чем дело, Шотиш? Чего ты хочешь? — ласково спросил Пореш-бабу.

— Он...— начала было Шучорита, но Шотиш тотчас же закрыл ей рот ладонью.

— Нет, нет, не говори, диди, не говори! — умолял он.

— Зачем же Шучорита будет говорить, если это секрет? — улыбнулся Пореш.

— Видишь ли, отец, ему самому очень хочется, чтобы ты узнал этот секрет.

— Вот и нет! Вот и нет! — запротестовал мальчик, убегая.

Дело в том, что мальчик хотел показать Шучорите сочинение, столь расхваленное Биноем. Излишне добавлять, что Шучорита сразу догадалась о причине, побудившей Шотиша поднять этот вопрос в присутствии Пореша. Бедный Шотиш и не подозревал, что предмет самых его сокровенных мыслей может с такой легкостью стать достоянием других.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Спустя четыре дня Харан-бабу явился к Бародашундори с письмом в руке. Он уже оставил всякую надежду повлиять как-нибудь на Пореша-бабу.

— С самого начала я пытался предостеречь вас,— сказал Харан-бабу, вручая Бародашундори письмо, которое Лолита отправила Шойлобале,— и даже вызвал этим неприязнь всей вашей семьи. Но из этого письма вы поймете, как далеко зашло дело.

Прочитав письмо, Бародашундори воскликнула:

— Но как же я могла предвидеть все это, скажите, пожалуйста! У меня и в мыслях не было, что этим может кончиться. Но имейте в виду, вы очень заблуждаетесь, если хотите возложить ответственность за все это на меня. Вы все общими усилиями вскружили голову Шучорите, восхваляя ее без меры: «Ну разве найдется во всем «Брахмо Самадже» кто-нибудь равный ей!» Вот теперь сами и распутывайте, что ваша несравненная девица натворила. Это она привела в наш дом Биноя с Гоурмохоном, и хотя я приложила все старания к тому, чтобы перетянуть Биноя на нашу сторону, откуда ни возьмись явилась эта «тетя» со своим идолом и все испортила. Теперь Биной, лишь меня завидит, бежит без оглядки. Во всем, что сейчас происходит, виновата ваша Шучорита. Я давно знала, что она за человек, только никому не говорила. Я к ней относилась так, что никто и не догадывался, что она не моя родная дочь,— и вот награда! И совершенно напрасно было показывать мне это письмо. Делайте, что хотите!

Харан-бабу великодушно просил извинения за то, что невольно позволил себе упрекнуть в чем-то Бародашундори, и чистосердечно признался, что в свое время он неправильно понимал ее. В конце концов был призван Пореш-бабу.

— На, полюбуйся! — И Бародашундори швырнула на стол письмо.

Пореш-бабу дважды внимательно прочитал письмо с начала до конца.

— В чем же, собственно, дело? — спокойно спросил он.

— Как в чем дело! — вскипела жена.— Или тебе этого мало? До чего можно дойти таким образом! Ты разрешил, чтобы в твоем доме поклонялись идолу и придерживались кастовых предрассудков, ты все разрешаешь, все... Не хватает только, чтобы ты отдал свою дочь замуж в индуистский дом. А потом тебя

охватит раскаяние и ты сам вернешься к правоверному индуизму. Но только предупреждаю...

— Можешь не предупреждать,— улыбнулся Пореш.— Пока еще необходимости в этом нет. Но вот что я хочу знать: с чего вы вдруг взяли, что Лолита собирается выходить замуж за индуиста? В этом письме нет ничего такого, что подтверждало бы это. Я, во всяком случае, ничего не заметил.

— Я просто не знаю, что еще нужно сделать, чтобы ты прозрел! — воскликнула Барода.— Если бы ты с самого начала не был слеп, ничего подобного не произошло бы. Ну, скажи, можно ли выразиться яснее, чем в этом письме!

— Мне кажется,— вступил в разговор Харан-бабу,— следует показать это письмо Лолите и спросить ее, что она имела в виду. Если разрешите, я сделаю это сам...

Но в это мгновение в комнату, как ураган, влетела Лолита.

— Посмотри, отец. Это члены «Брахмо Самаджа» посылают такие анонимные письма.

Пореш прочитал письмо, полученное Лолитой. Считая, что вопрос брака Лолиты с Биноем втайне решен, автор письма не поскупился на всякого рода оскорбления и советы. Он приписывал также Биною разные дурные намерения, утверждал, что ему скоро надоест жена-брахмаистка и что, бросив ее, он женится вторично на какой-нибудь правоверной индуистке.

Харан взял письмо из рук Пореша и, прочитав его, вернул Лолите.

— Тебя рассердило это письмо, Лолита,— сказал он.— Но не ты ли сама дала повод для него? Скажи нам, как могла ты своей рукой написать вот это?

В первое мгновение Лолита не нашлась, что ответить.

— Так это вы переписываетесь с Шойло относительно меня?! — произнесла она наконец.

— Помня о своем долге по отношению к «Брахмо Самаджу»,— Харан уклонился от прямого ответа,— Шойло вынуждена была переслать твое письмо мне.

— Скажите же раз и навсегда, что угодно «Брахмо Самаджу»? — спросила Лолита, гордо выпрямившись.

— Я, кажется, единственный человек во всем «Брахмо Самадже», который не верит в сплетни о тебе и Биное-бабу, однако мне хочется из твоих собственных уст услышать решительное опровержение.

Глаза Лолиты загорелись гневом. Дрожащими руками она сжимала спинку стула.

— А, собственно, почему вы этому не верите? — спросила она.

— Ты слишком взволнована сейчас, Лолита,— сказал Пореш-бабу, кладя ей руку на плечо.— Мы поговорим об этом после...

— Раз уж мы начали этот разговор, так давайте продолжим его. Замалчивание ни к чему хорошему не приведет, Пореш-бабу! — вмешался Харан.

Услышав это, Лолита окончательно возмутилась:

— Отец никогда ничего не замалчивает. Он ведь не вы! Знайте, что правды он не боится, она для него дороже «Брахмо Самаджа». Что же касается меня, то я не считаю для себя брак с Биноем-бабу чем-то невозможным или оскорбительным!

— Разве он решил вступить в «Брахмо Самадж»? — спросил Харан.

— Никто ничего не решал. И я вообще не вижу, зачем это нужно.

До сих пор Бародашундори хранила молчание. В душе она мечтала, чтобы Харан-бабу одержал верх в этом споре и Порешу пришлось бы признать свою вину и раскаяться. Но дольше удерживаться она не могла.

— С ума ты сошла, что ли, Лолита? — воскликнула она.— Что ты говоришь?!

— Нет, ма,— ответила Лолита,— я не сошла с ума. Я отвечаю за каждое свое слово. Я не потерплю, чтобы меня опекали все, кому не лень. Я хочу быть свободной от «Самаджа», от Харана-бабу и от всех ему подобных.

— Под свободой ты, очевидно, подразумеваешь отсутствие всяких сдерживающих начал? — ехидно спросил Харан-бабу.

— Нет,— ответила Лолита,— я подразумеваю под ней свободу от подлых нападок, от рабского преклонения перед ложью. Почему «Брахмо Самадж» считает возможным мешать мне делать то, в чем сама я не вижу ничего дурного, ничего, противоречащего моей религии? Почему он становится на моей дороге?

— Вот видите, Пореш-бабу,— вызывающе заявил Харан.— Я всегда знал, что в конце концов произойдет что-нибудь подобное. Как я ни старался предостеречь вас, мои усилия оказались тщетными.

— Вот что, Харан-бабу,— сказала Лолита.— Позвольте и мне предостеречь вас: не заноситесь настолько, чтобы поучать людей, которые во всех отношениях стоят выше вас.— И с этими словами она быстро вышла из комнаты.

— Что же это такое творится? — воскликнула Бародашундори.— Давайте подумаем, что нам остается делать?

— Нам остается исполнять свой долг,— ответил Порешбабу.— Но когда страсти кипят, очень трудно решить, в чем именно он состоит. Извините меня, но сейчас я не в состоянии обсуждать этот вопрос. Мне нужно побыть одному.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Когда Шучорита услышала о том, что произошло, она решила, что Лолита своей выходкой сильно осложнила и без того запутанное положение. Некоторое время она сидела молча, а затем, обняв сестру, сказала:

— Знаешь, дорогая, все это меня очень пугает.

— Пугает? Почему?

— «Брахмо Самадж» взбудоражен до предела,— сказала Шучорита,— предположим, однако, на минуту, что Биной-бабу вовсе и не думает...

— Он подумает,— твердо ответила Лолита, но невольно потупилась при этом.

— Ты же знаешь, Пану-бабу уверял мать, что Биной никогда не согласится жениться на тебе, если ради этого ему придется порвать со своей общиной. Отчего ты не подумала о всех препятствиях, которые стоят перед вами, прежде чем сказать это Пану-бабу!

— Не воображай, пожалуйста, что я жалею об этом,— вскипела Лолита.— Если Пану-бабу и все его приспешники решили, что достаточно загнать меня, как дикого зверя, на край бездны, и я тут же дамся им в руки, то они жестоко ошиблись. Они не знают, что я предпочту прыгнуть в эту бездну, чем оказаться во власти гавкающей своры их гончих.

— Давай посоветуемся с отцом,— предложила Шучорита.

— Могу тебя заверить, что отец ни за что не примет сторону преследователей. Он никогда не стеснял нашу свободу и никогда не сердился, если мы в чем-нибудь не соглашались с ним. Разве когда-нибудь пользовался он авторитетом «Брахмо Самаджа», чтобы заставить нас замолчать? Как часто ма сердилась на него за это, но отец боялся одного, как бы мы не потеряли смелости мыслить самостоятельно. Так неужели ты думаешь, что, воспитав нас в таком духе, он возьмет и отдаст меня в руки всех этих тюремных надзирателей из «Самаджа» вроде Пану-бабу!

— Хорошо, допустим, отец не станет препятствовать,— сказала Шучорита.— Но, скажи, как ты намерена поступить в дальнейшем?

— Если вы все предпочтете не вмешиваться, я сама...

— Нет, нет! — встрепенулась Шучорита— Только не ты, дорогая. Я уже придумала, что надо делать.

В тот же вечер Шучорита собралась пойти поговорить с отцом, но он сам пришел к ней. У него вошло в привычку каждый вечер выходить в эту пору в сад и гулять там в одиночестве, погрузившись в свои думы. Ему казалось, что в этот час, когда над землей царят прозрачные сумерки, его душа очищается от темных пятен, оставленных дневными заботами, и на нее снова нисходят мир и тишина, без которых он не мыслил ночного отдыха. Сегодня, однако, он пожертвовал своей вечерней прогулкой и душевным покоем, который она приносила ему. При виде его измученного, осунувшегося лица сердце Шучориты болезненно сжалось: так смотрит нежная мать на ребенка, разметавшегося в жару и забытьи, вместо того чтобы весело шалить и резвиться со своими сверстниками.

— Ты, наверно, уже обо всем слышала, Радха? — мягко спросил Пореш.

— Да, отец, я все знаю,— ответила Шучорита.— Но скажи мне, чего ты боишься? Почему ты так встревожен?

— Я не боюсь. Меня тревожит лишь одно: сможет ли Лолита выдержать натиск той бури, которую сама вызвала? Часто в минуты возбуждения в нас слишком громко говорит самолюбие и молчит разум, но когда потом нам приходится пожинать один за другим плоды своих поступков, не у всех находятся силы вынести это. Достаточно ли хорошо взвесила Лолита все последствия, когда решила поступить так, как поступила?

— Одно я могу сказать тебе с уверенностью — никакие гонения со стороны «Самаджа» не сломят Лолиту.

— Я хочу быть уверенным,— ответил Пореш,— что Лолита не затеяла всего этого сгоряча.

— Нет, отец,— промолвила Шучорита, опустив глаза,— будь это так, я бы никогда и слушать ее не стала. Просто, получив неожиданный удар, она сказала то, о чем уже давно и серьезно думала. И не такая она, чтобы ее можно было сейчас остановить или помешать ей. И потом, отец, ведь Биной-бабу очень хороший человек.

— Да, но согласится ли он вступить в «Брахмо Самадж»?

— Этого я не могу сказать с уверенностью. Отец, а может быть, нам сходить к матери Горы-бабу. Как ты считаешь?

— Я уже и сам думал об этом. Мне кажется, было бы хорошо, если бы ты навестила ее.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Каждое утро Биной заходил к себе домой. Поднявшись сегодня в свою комнату, он обнаружил на столе письмо. Письмо было без подписи. Неизвестный автор убедительно советовал Биною воздержаться от брака с Лолитой и предупреждал, что, женившись на ней, он не только навлечет на себя всякие беды, но сделает несчастной и саму Лолиту. В последних строках письма грубо говорилось о том, что если юноша все же отважится взять Лолиту в жены, то ему не мешает помнить о том, что у девушки слабые легкие и врачи опасаются чахотки.

Прочитав письмо, Биной совершенно растерялся. Он никогда не предполагал, что кто-то был способен на такую откровенную ложь. Ведь все и так должны были понимать, что принадлежность к разным религиозным обществам делала их брак невозможным. Потому-то он и считал предосудительной свою любовь к Лолите. Из письма же явствовало, что их брак считается делом решенным, и при мысли о том, как чернят в связи с этим Лолиту в «Брахмо Самадже», у него стало нехорошо на душе. Его смущала — нет даже больше — стыдила мысль, что имя Лолиты, склоняя на все лады, ставят рядом с его именем. Он представлял, как должна упрекать себя Лолита за прежние приятельские отношения с ним, как проклинает она день их первой встречи; по всей вероятности, она никогда больше не захочет видеть его.

Но разве можно постичь человеческое сердце! Осыпая себя горькими упреками, Биной не мог не ощущать, как неудержимо растет в его сердце светлое, радостное чувство, сметая прочь стыд и боль, причиненные оскорблениями, наполняя всего его горячей нежностью. Чтобы не отдаться целиком во власть этого чувства, он начал быстро шагать взад и вперед по веранде. Но, казалось, сегодня само утро было пронизано неясной тревогой, так что даже крики уличных торговцев будили в нем беспокойство и нетерпение. Может быть, поток клеветы, хлынувший на Лолиту, подхватил ее и принес в надежную гавань его сердца. Воображение невольно рисовало ему ее образ — бурное течение уносило Лолиту все дальше и дальше от «Брахмо Самаджа», прямо к нему. «Лолита принадлежит мне, только мне!» — пела его душа. Никогда раньше не осмелился бы он произнести эти слова. Но сегодня, когда оказалось, что его заветное желание перестало быть тайной для других, Биной уже не мог больше сдерживаться.

Расхаживая в волнении по веранде, он внезапно увидел Ха-

рана-бабу и догадался, что тот направляется к нему. И сразу же ему стало ясно, с какой провокационной целью было состряпано это анонимное письмо.

Обычная уверенность в себе сегодня изменила Биною. Он предложил стул Харану-бабу и вопросительно посмотрел на него.

— Биной-бабу, вы ведь индуист? — начал Харан-бабу.

— Да, я индуист,— ответил Биной.

— Вы не должны сердиться на меня за то, что я спрашиваю. Как часто в своем ослеплении мы теряем способность тщательно взвешивать обстоятельства какого-нибудь дела... или рискуем причинить своим поведением много всяких бед обществу. В таких случаях мы должны быть только благодарны тому, кто укажет нам, к чему могут привести наши поступки, и даст искренний совет, когда следует остановиться.

— Такое длинное предисловие совершенно излишне,— попытался отшутиться Биной.— Я не имею обыкновения сердиться, когда мне задают щекотливые вопросы, и веду себя по отношению к спрашивающему вполне корректно. Если вы хотите спросить меня о чем-то, можете сделать это совершенно безбоязненно.

— Я вовсе не хочу обвинять вас в том, что вы умышленно совершили скверный поступок,— примирительным тоном сказал Харан.— Стоит ли говорить, что опрометчивость бывает чревата иногда губительными последствиями.

— Может быть, мы оставим то, о чем говорить не стоит,— сказал Биной, начиная раздражаться,— и будем говорить по существу?

— Если вы правоверный индуист и не собираетесь порывать с индуистской общиной, то имеете ли вы право постоянно бывать в доме Пореша-бабу, давая тем самым повод для сплетен о его дочерях?

Лицо Биноя стало серьезным.

— Вот что, Пану-бабу,— сказал он, помолчав.— Я не могу брать на себя ответственность за то, что почему-то может взбрести в голову членам какого-то Общества. Тут ведь дело главным образом во внутренних качествах этих самых господ. И если в вашем «Самадже» возможны пересуды — и тем более грязные — по адресу дочерей Пореша-бабу, то стыдно должно быть не этим девушкам, а вашему «Брахмо Самаджу».

— Позвольте мне задать вам один вопрос,— не унимался Харан,— разве община не имеет права обсудить поступок своего члена — молоденькой девушки, которая решилась одна, без

позволения матери, поехать на пароходе в обществе постороннего мужчины?

— Если вы находите возможным проводить параллель между случайными поступками людей и греховностью их натур, то я, право, не понимаю, зачем вам понадобилось отрекаться от индуистской общины и вступать в «Брахмо Самадж»,— ответил Биной.— Но как бы то ни было, Пану-бабу, я не вижу нужды обсуждать все это с вами. Предоставьте мне самому решить, что я должен делать. Боюсь, что вы мне в этом ничем помочь не сможете.

— Мне остается сказать вам совсем немного,— сказал Харан,— всего лишь одну вещь: держитесь подальше от семьи Пореша-бабу, с вашей стороны будет очень дурно, если вы не послушаете моего совета. Вы и ваш друг своими посещениями уже доставили им немало неприятностей. Вы даже не сознаете, как велик вред, принесенный вами этой семье.

Когда Харан-бабу ушел и Биной остался один, тягостные сомнения овладели им. С каким радушием Пореш-бабу — благородный и доверчивый — ввел их обоих в свой дом... И если случалось, что Биной переступал в этом доме границы, поставленные гостеприимством, то это никогда не отражалось на ласковом и внимательном отношении к нему Пореша-бабу. В доме брахмаиста Биной нашел приют, какого не находил до тех пор нигде. Новое знакомство удивительно благотворно повлияло на него, благодаря ему вся жизнь, казалось, обрела новый смысл. Так неужели же в той самой семье, где он видел столько теплоты и радости, Биной оставит теперь о себе недобрую память! Из-за него тень ляжет на хорошую репутацию дочерей Пореша-бабу! Он — вина тому, что под угрозой оказалось все будущее Лолиты. Что он мог сделать, чтобы искупить свою вину? Увы! То, что именуется «обществом», воздвигло на пути к достижению истины непреодолимое препятствие. Ведь никаких действительных преград к союзу Биноя и Лолиты не было! Бог — тот бог, перед которым открыты сердца их обоих,— знает, с какой радостью пожертвовал бы Биной жизнью ради счастья и блага Лолиты! Разве не сам *он* зажег первую искру чувства в сердце Биноя... По-видимому, в *его* вечных законах не нашлось никаких указаний насчет недопустимости этого... И разве бог «Брахмо Самаджа», которому поклоняются люди вроде Пану-бабу, и бог Биноя — два разных существа? Разве бог «Брахмо Самаджа» не является повелителем человеческих сердец? На пути к их браку, подобно алчному, оскалившему зубы чудовищу, стояло страшное препятствие. Но не совершит ли он непростительного

греха, послушавшись голоса общества, воздвигнувшего это препятствие, а не *того,* чьи заповеди говорят о милосердии и понимании...

Но, увы, вполне возможно, что Лолите именно это препятствие покажется непреодолимым. К тому же Лолита... как знать, какое чувство испытывает она? Сколько сомнений! И как их разрешить?

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

В то самое время, когда Харан-бабу был у Биноя, к Анондомойи пришел Обинаш. Он принес известие о том, что брак Лолиты и Биноя решен окончательно.

— Этого не может быть,— возразила Анондомойи.

— Почему не может? Разве так уж невероятно, чтобы Биной решился на это!

— Этого я не знаю,— ответила Анондомойи.— Но я твердо уверена, что, решившись на такой важный шаг, Биной никогда не скрыл бы этого от меня.

Обинаш, однако, продолжал настаивать, говоря, что слышал он эту новость от члена «Брахмо Самаджа» и что она абсолютно достоверна. Он добавил, что давно знал, как плачевно для Биноя все это кончится, и даже предупреждал об этом Гору. После чего Обинаш отправился вниз к Мохиму и с большим удовольствием повторил новость ему.

Когда появился Биной, Анондомойи по его лицу догадалась, что он чем-то очень сильно встревожен. После обеда она увела его в свою комнату и сказала:

— А теперь, Биной, расскажи, что с тобой случилось.

— Вот, ма, прочти,— ответил Биной, протягивая ей письмо.

И когда Анондомойи кончила читать, он продолжал:

— Сегодня утром ко мне приходил Пану-бабу и наговорил массу неприятностей.

— По какому поводу?

— Он сказал, что мое поведение было причиной сплетен, которые ходят в «Самадже» о дочерях Пореша-бабу.

— Я слышала, что вопрос твоей женитьбы на Лолите уже решен. Какая же тут может быть причина для сплетен?

— Если бы этот брак был возможен, тогда, конечно, причины для сплетен не было бы. Но распространять подобные слухи, зная, что наш брак невозможен, по меньшей мере низко, и это особенно подло в отношении Лолиты.

— Если бы у тебя хватило мужества, Бину,— сказала Анон-

домойи,— ты легко мог бы оградить Лолиту от всех этих сплетен.

— Каким образом, ма? — удивленно спросил Биной.

— То есть как каким образом? Женись на ней!

— Что ты говоришь, ма! Боюсь, что ты меня несколько переоцениваешь. Неужели ты воображаешь, что стоит мне сказать: «Я женюсь»,— и все моментально встанет на свое место, будто все только и ждут моего знака.

— Я просто не вижу, о чем тут так много разговаривать. Все, что в твоих силах, сделать ты обязан. А ты, безусловно, можешь сказать, что жениться ты готов.

— А не оскорбит ли Лолиту это неосуществимое предложение?

— Но почему же оно неосуществимо? Уж если все вокруг заговорили о вашем браке, значит, по общему мнению, он вполне возможен. Уверяю тебя, что твои колебания и нерешительность совершенно излишни.

— А как же Гора, ма? Ведь нужно и о нем подумать.

— Нет, сын мой,— твердо сказала Анондомойи,— в этом деле оглядываться на Гору не следует. Я знаю, что он рассердится, и мне вовсе не хочется, чтобы он сердился на тебя. Но что поделаешь? Если Лолита для тебя что-нибудь значит, ты не допустишь, чтобы злые языки «Брахмо Самаджа» без конца сплетничали о ней.

Но все это было далеко не так просто! С тех пор как Гора был заключен в тюрьму, любовь к нему Биноя неизмеримо возросла, и он просто не представлял себе, что сможет нанести другу такой тяжелый удар. Еще больше тревожил Биноя вопрос принадлежности его и Лолиты к разным общинам. В мыслях очень просто бывает пренебречь законами своего общества, но сколько больших и малых препятствий встает на пути, когда доходит до дела! Страх перед неизвестным, боязнь непривычного невольно заставляют мешкать и оглядываться назад.

— Чем больше я узнаю тебя, ма, тем больше удивляюсь! — воскликнул Биной.— Какая у тебя светлая голова! Для тебя, кажется, не существует преград, ты будто не ходишь, а летаешь. Разве бог дал тебе крылья?

— Да, бог не ставит преград на моем пути,— улыбнулась Анондомойи.— Он сделал все в жизни понятным для меня.

— А у меня вот,— вздохнул Биной,— язык хорошо подвешен, а мысли не всегда за ним поспевают. Ведь сколько я учился, читал, рассуждал, спорил — и теперь вдруг обнаруживаю, что как был, так и остался совершенным глупцом!

В это время вошел Мохим и стал так грубо и оскорбительно расспрашивать Биноя о его отношениях с Лолитой, что тот окончательно растерялся. Большим усилием воли ему удалось взять себя в руки. Едва владея собой, он сидел молча, опустив глаза, пока наконец, обругав всех и вся, Мохим не ушел, заявив на прощание:

— Семейство Пореша-бабу бесстыдно завлекло Биноя в западню и приготовило ему погибель. И Биной по своей глупости попался. Хотел бы я посмотреть, как бы они окрутили Гору! Этот так легко в руки не дастся!

Подавленный упреками, сыпавшимися со всех сторон, Биной сидел в молчаливом отчаянии. Анондомойи внимательно смотрела на него.

— Ты знаешь, что тебе надо делать, Бину? — сказала она вдруг.

Он поднял голову, посмотрел ей в глаза.

— Сходи к Порешу-бабу. Поговори с ним, и тебе станет ясно, как следует поступить.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

— А я как раз собиралась к вам! — удивленно воскликнула Шучорита, увидев входящую Анондомойи.

— Как жаль, что я этого не знала,— улыбнулась Анондомойи.— Но почему ты хотела навестить меня, я догадываюсь. Меня привело к тебе то же дело. Лишь только я обо всем узнала, как сразу же поспешила сюда. Мне кажется, нам надо поговорить с тобой.

Шучорита поразилась, услыхав, что Анондомойи уже обо всем знает.

— Я всегда смотрела на Биноя, как на родного сына,— продолжала Анондомойи, и Шучорита внимательно слушала ее.— Ты не поверишь, как часто в душе я благословляла вас, зная, как хорошо ему с вами, как высоко ставит он всех вас! Так неужели же я могла оставаться спокойной, когда на вас обрушились всякие неприятности. Не знаю, в состоянии ли я чем-нибудь помочь вам, но я так разволновалась, что прямо-таки не могла сидеть дома. Скажи мне, дорогая, есть ли вина Биноя в том, что произошло?

— Нет, нет, его вины нет никакой. Виновата во всем Лолита. Биной-бабу и думать не мог, что сестра может явиться на пароход, не сказав никому ни слова. Но, конечно, все сейчас

болтают, что они заранее договорились. А Лолита так горда, что не желает ни опровергать этого, ни объяснять истинную причину случившегося.

— Но ведь нужно что-то сделать,— сказала Анондомойи.— С тех пор как до Биноя дошли все эти разговоры, он совершенно лишился покоя. Виновником всех бед он считает себя одного.

Шучорита зарделась и, чуть потупившись, спросила:

— И вы думаете, что Биной-бабу...

— Выслушай меня, дитя мое,— перебила Анондомойи, увидев, что Шучоритой овладела мучительная нерешительность.— Биной сделает для Лолиты все — в этом ты можешь быть совершенно уверена. Я знаю его с малых лет. Если он к кому-нибудь привязывается, то отдает свое сердце без остатка. Поэтому я вечно и была в страхе, как бы он не отдал его тому, кто этого недостоин.

Шучорита облегченно вздохнула.

— Относительно согласия Лолиты вы можете не беспокоиться,— сказала она.— Я хорошо знаю ее сердце. Но разве решится Биной-бабу порвать со своей общиной?

— Думаю, что община сама порвет с ним,— ответила Анондомойи,— и ему нет нужды предпринимать что-либо в этом отношении.

— Но я не понимаю... Вы хотите сказать, что Биной, оставаясь индуистом, может жениться на девушке из брахмаистской семьи?

— Если сам он готов поступить так, я не вижу, почему против этого может возражать ваша община.

— У меня как-то не укладывается в голове, что это возможно,— в замешательстве сказала Шучорита.

— Мне же это кажется проще простого,— ответила Анондомойи.— Вот тебе пример: я не могу соблюдать обычаев, которые приняты в моем доме, по этой причине многие даже называют меня христианкой. Во время каких-нибудь особых церемоний я нарочно держусь в стороне. Тебе может показаться это смешным, дорогая, но я хочу, чтобы ты знала — никто, даже Гора, не пьет в моей комнате воды. Но разве это означает, что дом, в котором я живу,— не мой дом и что община индуистов — не моя община... С этим я согласиться не могу. Я продолжаю оставаться в своем доме, в своей общине, покорно выслушивая все упреки... и, право, это не так уж тяжело. Ну, а если передо мной возникнут непреодолимые препятствия, я пойду по пути, который мне укажет господь. Но до конца дней своих я буду

всегда говорить только то, что думаю, и это уж не моя забота, хотят мириться со мной или нет.

— Но как же...— по-прежнему растерянно проговорила Шучорита.— Я хочу сказать, что члены «Брахмо Самаджа» придерживаются других взглядов... и если Биной...

— Он придерживается точно таких же взглядов,— прервала ее Анондомойи.— Во взглядах «Брахмо Самаджа» нет ничего из ряда вон выходящего. Биной не раз читал мне статьи, которые появляются в ваших газетах. И большой разницы в наших взглядах я не вижу.

— Диди! — окликнула в этот момент Шучориту вошедшая в комнату Лолита. Увидев Анондомойи, она смутилась и покраснела. По лицу сестры девушка догадалась, что разговор шел о ней. Она охотно убежала бы, но пути к отступлению были отрезаны.

— Иди сюда, Лолита, иди, милая! — сказала Анондомойи, беря ее за руку и усаживая рядом с собой, так, словно Лолита была очень близка и дорога ей.

— Видишь ли, дорогая,— продолжала Анондомойи начатый разговор с Шучоритой,— очень трудно гармонично сочетать добро и зло, и все же в мире существует это сочетание, и не всегда в таких случаях зло одерживает верх над добром, бывает и наоборот. А раз возможно это, то почему же не возможен союз двух людей, которые только чуть-чуть расходятся в убеждениях? Неужели только единство взглядов важно для подлинного союза сердец?

Шучорита сидела, опустив голову.

— Неужели этот ваш «Брахмо Самадж» может воспротивиться, если два человека пожелают соединить свои жизни? Неужели члены вашего Общества, выискивая в своих законах какие-то мелкие придирки, сочтут возможным разлучить тех, чьи сердца соединил сам господь? Неужели, дочь моя, во всем мире нет такой общины, где не обращали бы внимания на мелкие расхождения во взглядах людей и считались бы только с тем, что действительно имеет значение? Разве люди существуют для того, чтобы идти против своего бога? И разве то, что называется Обществом, создано для того, чтобы помогать им в этом?

Только ли желание сокрушить все преграды на пути к браку Биноя и Лолиты заставляло Анондомойи говорить с таким воодушевлением? Не думала ли она, что ее страстная речь поможет рассеять последние остатки сомнений и в сердце Шучориты? А она не могла допустить, чтобы Шучорита продолжала

сомневаться. Если Шучорита будет по-прежнему считать, что Биной не может жениться на Лолите, не вступив в «Брахмо Самадж», то рухнет и та надежда, которую Анондомойи вынашивала все эти тревожные дни. Не далее как сегодня Биной спросил ее:

— Ма, неужели мне придется стать членом «Брахмо Самаджа»? Должен ли я согласиться и на это?

И она ответила:

— Нет, нет, я не думаю, чтобы это было нужно.

— Хорошо, а если они будут настаивать? — продолжал спрашивать Биной.

И тогда, помолчав немного, она ответила:

— Нет, настояниям здесь места быть не может.

Но Шучорита, по-видимому, была другого мнения, и Анондомойи поняла это по ее молчанию.

«Только любовь к Горе помогла мне освободиться от всех предрассудков общества,— думала Анондомойи.— Но разве сердце Шучориты не тянется к Горе? Очевидно, нет, иначе она никогда не стала бы задумываться о таких пустяках».

Анондомойи стало грустно. Через несколько дней Гора должен был выйти из заключения. И в душе она надеялась, что счастье уже ждет его. Она чувствовала, что настало время подрезать крылья Горе, а то неизвестно, в какую еще беду может он попасть. Но пленить и удержать Гору было под силу далеко не каждой девушке. К тому же нельзя было допустить, чтобы он женился на индуистке. Именно поэтому Анондомойи решительно отклоняла все предложения родителей, у которых дочери были на выданье. Гора упорно твердил, что никогда не женится. И все поражались тому, что она, его мать, никогда не протестовала против такого решения. Заметив по некоторым признакам, что решимость сына несколько ослабела, она очень обрадовалась. Вот почему молчаливое несогласие Шучориты явилось для нее настоящим ударом. Но Анондомойи была не из тех, кто легко сдает свои позиции.

«Ничего, дальше видно будет!» — решила она про себя.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

— Я вовсе не хочу, Биной,— сказал Пореш-бабу,— чтобы ты совершал какие-нибудь безрассудные поступки, желая помочь Лолите выпутаться из неприятного положения. Сплетням в «Самадже» особого значения придавать не стоит. Пройдет день-дру-

гой, и то, вокруг чего сегодня поднялся такой шум, преспокойно забудется.

Биной пришел, преисполненный решимости выполнить свой долг по отношению к Лолите. Он знал, что, с точки зрения общества, брак этот крайне нежелателен и — что еще гораздо более важно — Гора придет в ярость, узнав о нем. Но, повинуясь зову долга, Биной гнал от себя все неприятные мысли. И теперь, когда Пореш-бабу захотел освободить его от необходимости выполнить веление долга, Биной почувствовал, что вовсе не желает воспользоваться этой возможностью.

— Я никогда не смогу отплатить за ту ласку, которую я видел у вас. Мне невыносимо больно думать, что из-за меня вашей семье пришлось испытать хотя бы малейшую неприятность.

— Ты меня не так понял, Биной,— возразил Пореш-бабу.— Лично я очень польщен и тронут твоим отношением к нам, но должен сказать тебе, что, предлагая жениться на Лолите для того, чтобы доказать, насколько ты уважаешь нас, ты доказываешь, в первую очередь, что не слишком уважаешь ее чувства. Вот почему я и старался объяснить тебе, что трудности эти не так уж велики, чтобы из-за них идти на какие-то жертвы.

Итак, Биной был свободен от чувства ответственности. Но душа его не спешила вырваться на волю, подобно птице, перед которой открывают дверцу клетки. Ее не манило прежнее гнездо. Разве так просто было ему убедить себя в несостоятельности препятствий, стоявших на пути к исполнению долга, и отмести их? А теперь нужно было оставить то, что завоевано в смертельной схватке, то, о чем душа только робко мечтала, страшась и пугаясь собственных мыслей! Чувство долга, приведшее его сюда, говорило: «Ну что ж, все в порядке, теперь ты можешь со спокойной совестью уйти». Сердце же отвечало: «Если хочешь — уходи, а я остаюсь».

Прямота, с которой Пореш-бабу вел разговор, была настолько подкупающей, что Биною не оставалось ничего, кроме признания:

— Не думайте, что только чувство долга привело меня к вам,— сказал он.— Если вы дадите согласие, для меня это будет такое счастье, такая радость... Только я боюсь, что...

— Этого ты можешь не бояться,— твердо сказал правдолюбивый Пореш-бабу,— я слышал от Шучориты, что Лолита к тебе неравнодушна.

Бурная радость вспыхнула в сердце Биноя. Лолита поведала свою заветную тайну Шучорите! Когда, в каких выражениях

сделала она это? Он испытывал дивное блаженство при мысли о том, что был предметом задушевной беседы двух подруг.

— Если вы считаете меня достойным, для меня не может быть большего счастья,— повторил он.

— Подожди минутку, я должен посоветоваться с женой,— сказал Пореш-бабу.

Когда он спросил мнение Бародашундори, она немедленно ответила:

— Но Биной должен будет вступить в «Брахмо Самадж».

— Само собой разумеется,— сказал Пореш.

— Нужно обусловить это первым долгом. Позови сюда Биноя.

— Значит, нужно назначить день, когда состоится церемония вашего вступления в члены Общества,— безо всяких обиняков объявила Бародашундори Биною.

— Разве это необходимо? — нерешительно спросил Биной.

— Необходимо? А вы как думали? — возмутилась Бародашундори.— Ведь вы же, кажется, собираетесь жениться на девушке из «Брахмо Самаджа»?

Биной стоял молча, опустив голову. «Значит, Пореш-бабу не допускает и мысли, что я могу не захотеть вступить в члены «Брахмо Самаджа»,— думал он.

— Я уважаю религиозное учение «Брахмо Самаджа» и до сих пор никогда не поступал вразрез с его принципами,— чуть слышно прошептал Биной.— Но разве так уж обязательно мне вступать в члены Общества?

— Но если у вас нет расхождений во взглядах с брахмаистами,— ответила Барода,— то что вам мешает стать одним из них?

— Я не могу отречься от индуизма.

— В таком случае вы не имели права и начинать этот разговор. Вы что, из милости решили жениться на моей дочери?

Биной страшно растерялся. Он понял, что его предложение и в самом деле показалось оскорбительным родителям Лолиты.

Закон о гражданском браке был принят всего лишь год тому назад, и тогда и он и Гора рьяно выступали в газетах против него. Как же он мог теперь публично заявить, что не считает больше себя индуистом, и согласиться на этот самый гражданский брак?

И в то же время он видел, что, оставаясь индуистом, он не может рассчитывать получить согласие Пореша-бабу. С тяжелым вздохом Биной поднялся и низко поклонился обоим.

— Простите меня,— сказал он.— Я не скажу больше ниче-

го, чтобы не усугубить своей вины перед вами,— и вышел из комнаты.

Спускаясь по лестнице, Биной увидел Лолиту, которая сидела на веранде одна за столиком и писала письмо. Она услышала шаги и подняла голову. На одно мгновение глаза их встретились, и он прочел в ее взгляде смятение. Они были знакомы уже не первый день, они и прежде не раз так же встречались глазами, но сегодня впервые ему почудилась в ее взгляде какая-то тайна. Эта тайна, поверенная одной лишь Шучорите, пряталась в темных глазах Лолиты и наполняла ее взгляд нежностью, готовой излиться освежающим крупным дождем. Она же, встретив его ответный мимолетный взгляд, всем сердцем вдруг ощутила острую душевную боль, которую он испытывал. Не сказав ни слова, Биной поклонился Лолите, медленно спустился по лестнице и вышел.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Первыми, кого встретил Гора, выйдя из тюремных ворот, были ожидавшие его Пореш-бабу и Биной.

Один месяц не такой уж большой срок. Пока длился его поход, Гора был дольше разлучен с родными и друзьями, и все же, когда после месяца, проведенного в тюремном одиночестве, он вышел на волю и увидел Пореша и Биноя, ему показалось, что он вновь родился в знакомом мире, среди старых друзей. Он склонился перед Порешем-бабу, лицо которого, освещенное первыми лучами утреннего солнца, так и светилось покоем и лаской, и взял прах от его ног так радостно и почтительно, как никогда прежде. Они обнялись.

Затем Гора схватил Биноя за руку.

— Биной,— со смехом сказал он,— с самого детства мы всегда учились вместе в одной школе, но тут я тебя обставил и этот курс обучения прошел без тебя.

Но Биною было не до смеха. Гора, встретившийся в тюрьме с тяжелыми испытаниями, о которых Биной не имел понятия, и стойко перенесший их, был ему ближе, чем когда-либо. Охваченный глубоким волнением, он продолжал молчать, пока Гора не обратился к нему с вопросом:

— Как чувствует себя мать?

— Она здорова,— ответил Биной.

— Пойдем, милый,— сказал Пореш.— Нас ждет экипаж.

Но лишь только они хотели усесться, как откуда ни возьмись примчался запыхавшийся Обинаш и с ним еще несколько

студентов. При виде Обинаша Гора хотел было побыстрее забраться в пролетку, но тот успел преградить ему дорогу, умоляя подождать минутку.

И в эту минуту студенты грянули хором:

Утро пришло, нет ночи боле,
Пали, пали оковы неволи...

Лицо Горы побагровело.

— Замолчите! — крикнул он громовым голосом.

Удивленные студенты смолкли, а Гора продолжал:

— Что все это значит, Обинаш?

Обинаш, не отвечая, достал пышную гирлянду из цветов жасмина, завернутую в банановые листья, а один из студентов — совсем еще мальчик — начал высоким голосом читать, как заведенная шарманка, написанное золотыми буквами приветствие по случаю освобождения Горы из тюрьмы.

Гора решительно отстранил гирлянду, протянутую Обинашем.

— Это что еще за представление? — спросил он, едва сдерживая гнев.— Вы что, весь этот месяц только и делали, что готовились напялить на меня посреди дороги костюм клоуна из вашей бродячей труппы?

Что правда, то правда, Обинаш давно вынашивал план встречи Горы. Он рассчитывал на большую сенсацию. Во времена, о которых мы говорим, инциденты такого рода были еще внове. Обинаш не рассказал о своей идее даже Биною, не желая ни с кем делиться лаврами, которые должны были достаться ему, как организатору этого редкого зрелища. Он даже подготовил заметку для газеты, в которой оставалось уточнить лишь две-три детали.

— Ты несправедлив к нам,— сказал он Горе, обиженный таким приемом.— Весь месяц, что ты был в тюрьме, мы разделяли с тобой страдания. Наши сердца тлели на медленном огне, от которого обуглились даже наши ребра.

— Ты ошибаешься, Обинаш,— возразил Гора.— Присмотрись внимательно, и ты увидишь, что огонь еще и не занялся и что ваши ребра находятся в полном порядке.

— Правители нашей страны пытались унизить тебя,— не унимался Обинаш,— но сегодня от лица народа Индии мы возлагаем эту гирлянду почета...

— Это уж слишком! — воскликнул Гора и, отстранив Обинаша и его спутников, обратился к Порешу: — Садитесь, Пореш-бабу!

Очутившись наконец в экипаже, Пореш-бабу облегченно вздохнул. Гора и Биной не замедлили последовать его примеру.

Путь до Калькутты Гора проделал на пароходе и на следующее утро был уже дома. У дверей его ждала толпа восторженных почитателей. С большим трудом освободившись от них, он прошел в комнату Анондомойи. Она еще рано утром совершила омовение и сидела, поджидая сына. Когда вошедший Гора, почтительно склонившись, коснулся ее ног, она не смогла дольше удерживать столько времени копившиеся слезы.

Вскоре, после омовения в Ганге, вернулся Кришнодоял, и Гора пошел к нему, но отцу он поклонился издали и не коснулся его ног. Да и сам Кришнодоял предусмотрительно сел подальше от него.

— Я хочу совершить обряд покаяния, отец,— сказал Гора.

— Не вижу в этом никакой необходимости,— ответил Кришнодоял.

— Я легко переносил в тюрьме все лишения и трудности, но уберечься от осквернения не мог, и мысль об этом не перестает угнетать меня. Потому-то я и считаю, что мне необходимо совершить торжественный обряд покаяния.

— Нет, нет,— забеспокоился Кришнодоял.— Ты преувеличиваешь. Это совершенно лишнее. Своего согласия дать я не могу.

— Хорошо,— сказал Гора,— но позволь мне хотя бы спросить мнение пандитов на этот счет.

— И пандитов спрашивать незачем,— возразил Кришнодоял.— Я могу уверить тебя, что в твоем случае обряд очищения вовсе не обязателен.

Гора никогда не мог понять, почему Кришнодоял, такой щепетильный в исполнении обрядов и соблюдения чистоты, не хочет признать за ним права строго следовать законам религии и, более того, решительно препятствует этому.

За обедом Анондомойи хотела посадить Биноя рядом с Горой, но тот воспротивился.

— Посади Биноя подальше, ма,— попросил он.

— Почему? Биной-то чем провинился?! — удивилась Анондомойи.

— Биной не провинился ни в чем. Дело во мне — я считаю себя оскверненным.

— Ну и пусть, Биной не обращает внимания на это.

— Это уж его дело, зато я сам обращаю, и большое...

Когда после обеда друзья отправились в скромную комнатку на верхнем этаже, оба не знали, с чего начать разговор. Би-

ной не мог представить себе, как он расскажет Горе о том, что занимало его мысли весь этот месяц. Горе же очень хотелось расспросить друга о семье Пореша-бабу, но он ждал, чтобы Биной сам заговорил об этом. Гора, конечно, спросил Пореша-бабу, как поживают его дочери, но то была всего лишь дань вежливости. А ему не терпелось узнать о них гораздо больше, чем то, что все они чувствуют себя хорошо.

В это время, с трудом одолев лестницу, в комнату вошел запыхавшийся Мохим и уселся рядом с молодыми людьми. Отдышавшись немного, он сказал:

— Ну вот, Биной, до сих пор мы ждали Гору. Но теперь никаких оснований для отсрочки больше нет. Давай назначим день. Что ты скажешь, Гора? Ты же знаешь, о чем я говорю?

Гора только рассмеялся в ответ, и Мохим продолжал:

— Тебе смешно! Наверное, думаешь — вот ведь какой у меня дада: если уж что задумал, так не отступится. Беда в том, что это касается будущего моей дочери — насколько я теперь понял, это не какой-то там отвлеченный вопрос, а вполне реальный, и так просто от него не отмахнешься. Так что смеяться нечего, а надо думать, как это все решить окончательно.

— Так ведь человек, от которого зависит окончательное решение, находится перед тобой?

— О, господи,— воскликнул Мохим,— интересно, что может решить такой нерешительный человек! Раз уж ты вернулся, вся ответственность возлагается на тебя.

Биной сидел серьезный, молчаливый. Он даже не пытался, как обычно, перевести разговор в шутку, и Гора, поняв, что здесь что-то не так, сказал:

— Я могу взять на себя приглашение гостей, готов заказать свадебный пир, согласен даже прислуживать за столом, но принять всю ответственность за то, что Биной женится на твоей дочери, я, знаешь ли, все-таки откажусь. Я мало знаком с божеством, по чьей воле совершаются все эти дела, стараюсь не попадаться ему на глаза и всегда поклоняюсь ему издалека.

— Не воображай, пожалуйста, что, если ты стараешься не попадаться ему на глаза, он тебя пощадит,— возразил Мохим.— Как знать, когда ему придет в голову заняться тобой. Я не знаю, что он там надумал относительно тебя, но вот с Биноем натворил такого, что не разберешься. Только я предупреждаю, как бы не пришлось тебе, Гора, пожалеть, что ты не вмешался в это дело и предоставил все на волю такого легкомысленного божества...

— Ладно, пусть уж я лучше буду жалеть о том, что отка-

зался взяться не за свое дело, а то как бы мне не пришлось еще больше пожалеть, взявшись за него. Предпочитаю избежать такой участи.

— Неужели же ты будешь спокойно смотреть, как сын брахмана, забыв о фамильной чести, о своей касте, о правилах приличия, готовится совершить недостойный поступок? — настаивал Мохим.— Ты готов голодать и терпеть всякие лишения, чтобы сохранять в чистоте индуизм, а твой лучший друг собирается тем временем отречься от своей касты и жениться на девушке из брахмаистской семьи? Интересно, как ты будешь смотреть людям в глаза, если это случится? Ты, Биной, наверное, рассердишься на меня, но у многих чешутся языки сказать обо всем этом Горе за твоей спиной. Я же сказал ему это при тебе, считая, что так лучше для всех. Если слух ложный, скажи об этом прямо, и делу конец, если же правильный — то нужно решить, что же делать.

С этими словами Мохим ушел, Биной же остался сидеть, так и не проронив ни слова.

— Так в чем же дело, Биной? — спросил Гора, повернувшись к нему.

— Объяснить, что произошло, в нескольких словах очень трудно,— сказал Биной,— я хотел рассказать тебе все по порядку, но, как видно, в этом мире ничто не делается так, как нам хочется. События сначала двигаются тихо, незаметно, словно тигр, который бесшумно подкрадывается к своей жертве, а в следующий момент ты уже оказываешься в их власти. Так и слухи — сперва они тлеют себе потихоньку, как слабый огонек, а когда вырвутся наружу яростным пламенем, то их уже не загасить. Поэтому иногда мне приходит на ум, что человек сможет достигнуть духовного освобождения, лишь совершенно отказавшись от всякой деятельности.

— Какая же это свобода, если от всякой деятельности откажешься один только ты? — рассмеялся Гора.— Как сможешь ты пребывать в состоянии покоя, если вместе с тобой не остановит своего развития и вселенная? Ведь этим ты достигнешь как раз обратных результатов. Бездельничая в то время, как весь мир работает, ты обязательно прогадаешь. Лучше уж смотреть в оба, как бы тебя не обогнали, пока ты один топчешься на месте.

— Это верно,— согласился Биной.— Со мной именно так всегда и бывает. Вот и на этот раз события меня обогнали. Я никогда не могу предугадать, какой они ход примут, а потом приходится за это расплачиваться. Можно, конечно, тешить себя

мыслью, как хорошо было бы, если бы эти неприятности тебя не коснулись, но вряд ли это может помочь избежать их.

— Мне довольно трудно судить, поскольку я не знаю даже, о чем идет речь,— заметил Гора.

— Неумолимым ходом событий,— собравшись с духом, начал Биной,— я оказался поставленным перед необходимостью жениться на Лолите, ибо в противном случае она до конца своих дней останется мишенью для незаслуженных нападок и оскорблений со стороны членов «Брахмо Самаджа».

— Мне бы хотелось узнать поподробнее, что это были за события? — прервал его Гора.

— Об этом долго рассказывать,— уклонился Биной от прямого ответа.— Постепенно я все объясню, а пока довольствуйся тем, что я тебе сказал.

— Хорошо, довольствуюсь! Но я хочу сказать одно: если ход событий действительно неотвратим, то столь же неотвратимы и его печальные последствия. Если в «Самадже» считают, что Лолита заслужила оскорбительное отношение с их стороны, то помочь тут ничем нельзя.

— Но ведь я же имею возможность помочь этому! — воскликнул Биной.

— Если это действительно так, прекрасно,— сказал Гора,— но одних твоих слов, как бы красноречивы они ни были, тут недостаточно! Ведь если человек впадает в нищету, у него тоже есть возможность вырваться из нее. Он, скажем, может пойти грабить или даже убивать. Но разве это выход? Ты утверждаешь, что, женившись на Лолите, ты выполнишь свой долг по отношению к ней, а уверен ли ты, что это и есть самый главный твой долг? Разве у тебя нет обязанностей по отношению к обществу?

Биной не сказал ему, что именно сознание общественного долга заставило его отказаться от женитьбы на брахмаистке. Вместо этого он стал горячась отстаивать свою точку зрения.

— Мне кажется, что по этому вопросу мы с тобой никогда не договоримся,— заявил он.— Я вовсе не хочу сказать, что чувство к какому-нибудь человеку может заслонить от меня долг по отношению к обществу. Я только говорю, что есть нечто, стоящее выше, чем общество и люди, и это нечто — истина; ею-то и следует руководствоваться в своих поступках. Я согласен, что долг по отношению к отдельному лицу не должен стоять на первом месте, но это относится и к обществу, потому что нет у человека долга выше, чем бороться за истину и ограждать ее от всего.

— Я не понимаю истины, которая отрицает личность и общество и выше всего ставит себя! — воскликнул Гора.

— А я понимаю,— разгорячившись, настаивал Биной.— Не личность и общество над истиной, а, наоборот, истина над ними. Если признать высшим смыслом то, к чему стремится наше общество, то оно заслуживает проклятья. И если общество будет препятствовать мне выполнить то, что справедливо и правильно с точки зрения высшей истины, то моя первейшая обязанность по отношению к этому обществу и будет состоять в том, чтобы не считаться с его несостоятельными претензиями. Поскольку в моем намерении жениться на Лолите нет ничего дурного, поскольку фактически я обязан сделать это, то уклониться от брака с ней только потому, что обществу данный поступок неугоден,— будет с моей стороны насмешкой над истиной.

— Разве ты один решаешь, как правильно поступить в данном случае? Подумал ли ты, в какое положение ставишь этим браком своих будущих детей?

— Становясь на такую точку зрения, ты только узакониваешь социальную несправедливость,— возразил Биной,— зачем же ты тогда порицаешь конторского служащего, который терпеливо сносит оскорбления и попреки хозяина-англичанина? Ведь он тоже думает о своих детях!

Биной никогда не заходил так далеко в своих спорах с Горой. Еще совсем недавно душа его содрогалась при одной мысли о возможности разрыва с индуистской общиной. Он никогда не позволил бы даже мысли об этом закрасться ему в голову. Если бы не этот спор с Горой, дело приняло бы совсем другой оборот. Биной никогда не поступил бы вразрез со своими раз и навсегда установившимися понятиями. Но в ходе спора его увлечение, к которому примешивалось теперь чувство долга, выросло и окрепло.

Спор с Горой был очень горяч. Как всегда в такого рода дискуссиях, Гора не прибегал к логическим доводам, а лишь с величайшей — нечасто свойственной людям — страстностью отстаивал свое мнение. Так и сегодня он не щадил усилий, чтобы в пух и прах разбить Биноя, но скоро понял, что это не так-то просто.. До сих пор каждый защищал в споре свою теоретически обоснованную точку зрения, и Биной обычно терпел поражение. Но сегодня столкнулись не два мнения, а два человека, и Гора уже не мог найти нужных слов, чтобы отражать сыпавшиеся на него словесные стрелы, они вонзались ему прямо в чуткое, наболевшее сердце.

— Я не собираюсь препираться с тобой,— сказал в конце

концов Гора.— Словами тут делу не поможешь, правильное решение может подсказать только сердце. Но то, что ты хочешь жениться на брахмаистке и тем самым порвать связи со своим народом, лично мне очень тяжело и больно. Очевидно, ты способен на это. Я же никогда бы не мог — в этом, по всей вероятности, и заключается вся разница между нами, а вовсе не в знаниях и не в способностях. Нас влекут к себе и волнуют совсем разные вещи. Вряд ли ты испытываешь какое-то чувство к индуистской общине, раз уж ты готов нанести ей такой удар. Для меня же в ней сосредоточивается вся жизнь. Мне нужна моя Индия. В чем бы ты ни обвинял ее, как бы ни ругал, именно она нужна мне. Дороже и выше ее для меня никого нет на свете — и не будет! И я никогда не сделаю ничего, что могло бы хоть на волосок отделить меня от нее.

И прежде чем Биной успел что-либо возразить, Гора продолжал:

— Нет, Биной, ты напрасно со мной споришь. Я хочу стоять у позорного столба рядом с той самой Индией, которую все обливают презрением, от которой отвернулся весь мир,— с моей Индией, раздираемой кастовыми перегородками, предрассудками, идолопоклонством! И знай, что, отказываясь от нее, ты отказываешься и от меня!

Гора вскочил, вышел из комнаты и принялся шагать взад и вперед по крыше. Биной сидел молча. Вошел слуга и доложил, что на улице собрались какие-то люди и что они хотят видеть Гору. Обрадовавшись предлогу уйти, Гора поспешил вниз.

В толпе, собравшейся около дома, он заметил Обинаша. Гора был уверен, что Обинаш рассердился на него за вчерашнее, но по его виду этого отнюдь не было заметно. Больше того, он сразу же стал в чрезвычайно высокопарных выражениях рассказывать о том, как Гора отказался принять гирлянду, которую хотели возложить на него.

— Мое преклонение перед Гоурмохоном-бабу неизмеримо возросло,— говорил он.— Я давно знал, что он необыкновенный человек, но вчера я убедился в том, что он велик! Мы хотели воздать ему почести, но он отклонил их, проявив редкую в наши дни и достойную восхищения скромность. Что еще можно добавить к этому?

Услышав это, Гора очень смутился, и страшное раздражение против Обинаша вновь овладело им.

— Послушай, Обинаш,— нетерпеливо сказал он,— неужели ты не понимаешь, что такие почести оскорбительны для человеческого достоинства. Вы хотите заставить меня кривляться

вместе с вами на улице, и вам в голову не приходит, что именно скромность никогда не позволит мне этого! Неужели, по-вашему, величие проявляется в этом? Вы что — решили организовать бродячую труппу и ходить по улицам, собирая подачки? Очевидно, настоящая работа вас нимало не прельщает! Так вот, если ты хочешь работать вместе со мной — прекрасно, хочешь бороться против меня — тоже хорошо! Об одном только прошу: не кричите при каждом удобном и неудобном случае «браво!».

Благоговение Обинаша возрастало с каждой минутой. Он обернулся с сияющей улыбкой к толпе, приглашая присутствующих отметить все благородство слов Горы.

— Какой замечательный пример самоотречения во славу нашей бессмертной родины подал ты нам сейчас! — воскликнул он.— Если ты прикажешь нам пожертвовать жизнью ради нее, мы готовы!

И с этими словами он хотел прикоснуться к ногам Горы, но Гора с раздражением отодвинулся от него.

— Гоурмохон-бабу,— продолжал Обинаш,— вы можете не принимать от нас почестей, но вы не можете отказаться почтить своим присутствием ужин, который мы собираемся устроить в вашу честь. Уж на это вам обязательно придется согласиться.

— Я не смогу есть за одним столом с вами, пока не совершу обряда покаяния.

Покаяние! Глаза Обинаша засверкали.

— Никто из нас не подумал бы об этом! — вскричал он.— Но Гоурмохон-бабу никогда не уклоняется от обрядов, предписываемых индуистским учением!

Все сошлись на том, что лучше и не придумать, чем устроить празднество в день, когда состоится обряд покаяния. На церемонию решили пригласить нескольких выдающихся пандитов, чтобы на примере Гоурмохона-бабу они могли убедиться, что даже в наши дни живы еще заветы индуизма!

Был обсужден также вопрос, когда и где состоится торжество, и когда Гора сказал, что по некоторым причинам он не может предложить для этого свой дом, один из его почитателей — владелец большого дома с садом на берегу Ганги — предложил устроить все у него. Расходы договорились разложить на всех поровну.

Перед тем как уйти, Обинаш еще раз обратился к собравшимся с вдохновенным словом.

— Пусть Гоурмохон сердится на меня,— отчаянно жестикулируя, говорил он,— но когда сердце переполнено, молчать невозможно! Для защиты вед в прошлом на нашу священную

землю нисходили боги. И сегодня, чтобы спасти индуизм, бог явился к нам. Только в нашей стране есть шесть времен года, и только в нашей стране рождались некогда — и будут рождаться впредь — боги. Мы счастливы, увидев подтверждение этому сегодня! Воскликнем же, братья: «Слава Гоурмохону!»

Раздались приветственные возгласы. Подогретая красноречием Обинаша, толпа начала кричать. Гора в полном смятении обратился в бегство.

Сегодня, в первый день освобождения из тюрьмы, он чувствовал себя страшно разбитым. Пока Гора сидел в тюрьме, он не раз мечтал о том, как с новым подъемом возьмется за работу, отдаст все свои силы родине, и вот сегодня его неотступно тревожил один и тот же вопрос.

«Где же ты, моя родина? — спрашивал он себя.— Неужели я один вижу и понимаю тебя? Человек, с которым меня связывает дружба с раннего детства, с которым я делился всеми своими мыслями и планами, ради приглянувшейся ему девушки готов в один миг безжалостно порвать с прошлым своей страны и ее будущим. А все эти так называемые мои последователи после того, как я столько раз объяснял им, в чем заключаются мои взгляды, вдруг решают, что я — бог, рожденный только для того, чтобы спасти индуизм! Для них я всего лишь ходячая шастра! Но где же Индия? — мучительно думал Гора.— Шесть времен года! Да, в Индии шесть времен года! Но если они помогают вызревать плодам, вроде Обинаша, мы ничего не потеряли бы, будь у нас несколькими временами года меньше».

В этот момент вошел слуга и доложил, что Анондомойи зовет его. Гора вздрогнул.

«Мать зовет»,— повторил про себя он. И эти слова приобрели для него вдруг новый, глубокий смысл. «Что бы там ни было, но у меня есть мать! — думал он.— И она зовет меня! Она примирит меня со всеми, не допустит разрыва ни с кем. Я знаю, те, кто с ней, в ее комнате,— мои истинные друзья. Я слышал ее голос в тюрьме, она являлась моему мысленному взору там. А сейчас она зовет меня, и я пойду к ней и увижу ее наяву».

Думая так, Гора взглянул в окно на холодное, ясное небо, и такими мелкими и незначительными показались ему вдруг его размолвки с Биноем и Обинашем. В полуденном солнечном сиянии ему казалось, что Индия простирает к нему руки. Он видел ее реки и горные цепи, протянувшиеся к океану, ее многочисленные города. И лившийся откуда-то чистый ослепительный свет ярко озарял ее всю. У Горы перехватило дыхание, слезы восторга подступили к глазам, и от уныния в душе не осталось

и следа. Теперь он был снова готов с радостью отдать всего себя той бесконечной работе, которая принесет плоды лишь в далеком будущем. Но юноша уже не сожалел о том, что не увидит великой Индии, представшей его взору в эти сокровенные минуты.

«Меня призывает мать,— повторял Гора.— Я иду к *ней*, дарующей людям пищу и правящей миром, к *той*, что находится бесконечно далеко от меня во времени и которую я вижу повсюду, к *той*, что стоит выше смерти и присутствует во всех проявлениях жизни, к *той*, что освещает чудесным светом великого Будущего несчастное, убогое настоящее. Я иду в недосягаемую даль, которая вместе с тем совсем рядом,— меня призывает мать!»

Горе казалось, что его радость разделяют и Биной и Обинаш — словно не было сегодняшних размолвок, словно все мелкие раздоры потонули в единой гармонии.

Гора вошел в комнату Анондомойи с преображенным, светящимся счастьем лицом. Чье-то чудесное присутствие, казалось, наполняло радостью все вокруг. В первое мгновение он не узнал ту, которая сидела рядом с его матерью. Это была Шучорита — она поднялась и поклонилась ему.

— Так это были вы! — воскликнул Гора.— Садитесь, пожалуйста!

Эти простые слова Гора произнес так, будто приход девушки был необыкновенным, значительным событием.

Когда-то Гора решил, что ему не следует больше встречаться с Шучоритой. Во время своих странствий, пока он был занят делами и преодолевал всякие трудности, ему удавалось не думать о ней. Но когда он находился в тюрьме, мысли о ней постоянно преследовали его. В свое время Гора не задумывался над тем, что Индию населяют также и женщины. И когда благодаря Шучорите он впервые познал сию непреложную истину, замечательное это открытие совершенно потрясло его мужественное сердце.

Стоило солнечному свету и вольному ветерку проникнуть в темницу, наполняя тоской душу, внешний мир переставал казаться ему его личным полем деятельности, местом, где обитают лишь представители сильной половины рода человеческого, и тотчас же в видениях ему являлись прекрасные лица двух богинь, царивших над этим миром. Они рисовались ему на нежной лазури спокойного неба, озаренные то солнечными, то лунными и звездными лучами и, казалось, сияли неземным светом — одно из них, светившееся материнской любовью, было знакомо ему

с младенческих лет, другое же — красивое и нежное — он узнал совсем недавно.

В тюрьме, томясь от скуки и раздражения, Гора не мог отогнать от себя воспоминания об этом прекрасном лице. Радостное волнение, которое он испытывал при виде его, раздвигало стены темницы, и лишения тюремной жизни начинали казаться ему нереальным, ничего не значащим сном. Взволнованное сердце юноши словно излучало невидимые волны, которые беспрепятственно проходили сквозь все преграды и, растворившись в небесной голубизне, витали по всей вселенной.

Весь этот месяц Гора убеждал себя, что смешно бояться образа, созданного фантазией, ибо страшны людям только реальные вещи, поэтому он не препятствовал своим мыслям устремляться навстречу чудесному видению.

Когда же он вышел из тюрьмы и увидел Пореша-бабу, его сердце наполнилось радостью. В первый момент Гора даже не понял, что эта радость вызвана не столько встречей с Порешем-бабу, сколько тем, что она всколыхнула волшебное чувство, которое неизменно вызывал в нем так часто являвшийся ему в заточении чудесный образ. Но постепенно, уже на пароходе ему стало ясно, что при всех своих достоинствах Пореш-бабу не мог бы пробудить в нем столь сильного чувства, и Гора решил, что пора взять себя в руки.

«Я не поддамся!» — внушал он себе.

На пароходе же он принял решение уехать куда-нибудь подальше и не дать сковать свою волю даже самым прекрасным цепям.

Именно в таком состоянии духа он и заспорил с Биноем. Его спор с другом при первой же встрече после разлуки никогда не перешел бы в столь бурную стычку, если бы Гора не спорил в данном случае прежде всего с самим собой, мучительно пытаясь разобраться в своих собственных сомнениях, в своих собственных мыслях и чувствах. Он так страстно возражал Биною, потому что это было совершенно необходимо ему, Горе. И Биною, в ком сегодняшние бурные наскоки Горы вызвали не менее бурную реакцию, который мысленно в пух и прах разбил все его доводы и всем своим существом возмутился против них, считая их проявлением глупейшего фанатизма, и в голову не приходило, что Гора никогда не говорил бы с ним так резко, если бы эта резкость не была направлена против него самого.

После разговора о Биноем Гора решил, что нельзя так просто покинуть поле битвы. «Если, испугавшись за себя, я решу отступиться от Биноя, он окончательно погибнет»,— думал он.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Глубокая задумчивость овладела Горой. Все это время он не думал о Шучорите, как о живом человеке,— она была мечтой, созданной его воображением. Ее образ являлся для него олицетворением индийской женщины, воплощением чистоты, святости и красоты семейного очага. Он испытал огромное счастье, когда рядом со своей матерью увидел живое воплощение богини процветания Лакшми — той, которая одаряет лаской детей, ухаживает за больными, утешает страждущих, дает познать великое чувство любви самым ничтожным, той, которая никогда не покинет даже самого убогого из нас в несчастье и горе и никогда не презирает нас, той, которая, сама достойная поклонения, с преданностью относится к самому недостойному. Ему казалось, что это прикосновение ее искусных, прекрасных рук освящает все дела людей и что сама она, неистощимая в терпении, всепрощающая в любви, была послана всевышним на землю как вечный дар.

«А мы не обратили внимания на этот драгоценный дар,— думал он.— Отодвинули его в тень, забыли о нем — это ли не признак нашего внутреннего убожества? Ведь она и есть то, что мы называем родиной. Это она восседает на столепестковом лотосе в сердце Индии, а мы только ее слуги. Бедствия страны — бесчестье для нее. И нам, мужчинам, должно быть очень стыдно со спокойным безразличием взирать на это бесчестье».

Гора сам удивился своим мыслям. Он даже не подозревал, насколько неполно было его представление об Индии, пока он не замечал ее женщин. И так же неполно было его представление о долге в отношении своей страны, пока женщины оставались для него чем-то неясным, расплывчатым и нереальным. Казалось, что в его понимании долга была твердость, но не было жизни, как в человеческом теле, сильном, мускулистом, но лишенном нервов. И ему вдруг стало ясно, что чем решительнее будут мужчины отстранять от себя женщин, чем меньше места отводить им в своей жизни, тем слабее будут становиться они сами.

Поэтому слова Горы «так это были вы!» — не являлись обычной вежливой фразой. Его слова содержали в себе удивление и вновь обретенную радость жизни.

Пребывание в тюрьме наложило свой отпечаток даже на внешний облик Горы. Он заметно похудел; тюремная пища была так противна ему, что целый месяц он почти голодал. Он

побледнел, а коротко подстриженные волосы еще сильнее подчеркивали худобу лица.

Увидев, как похудел Гора, Шучорита почувствовала, что в душе ее подымается глубокое уважение к нему, и в то же время сердце ее сжалось от боли. Ей захотелось склониться перед ним и взять прах от его ног. Гора показался ей факелом, горящим чистым и ярким пламенем. Благоговение и сострадание переполнили ее грудь, так что она не могла произнести ни слова.

— Вот теперь я поняла, Гора,— нарушила молчание Анондомойи,— что за счастье иметь дочь! Если бы ты знал, каким утешением была для меня Шучорита в твое отсутствие! До тех пор пока я не знала ее, я и не подозревала, что в каждом несчастье есть и своя светлая сторона — потому что только тогда мы познаем все истинно хорошее и великое. Наша беда в том, что мы не всегда знаем, где и какое утешение в горе уготовил нам всевышний. Ты смущаешься, дитя мое,— она обратилась к Шучорите,— но я не могу не рассказать, сколько счастья ты принесла мне в это тяжелое время.

Взглядом, полным признательности, посмотрел Гора на смутившуюся девушку.

— В печальные дни она приходила разделить твои страдания,— сказал он матери.— Теперь же, когда к тебе вернулась радость, она снова пришла, чтобы умножить ее. Так поступают только истинные бескорыстные друзья, люди с большим сердцем.

— Когда попадается вор, диди,— заговорил Биной, заметив растерянность Шучориты,— его бьют все, кому не лень. И раз уж сегодня ты попалась нам в руки, приходится и тебе пожинать плоды своих дел. Теперь тебе не убежать. Я ведь тебя давно знаю, но до сих пор никому ничего не выболтал. Правда, в душе я был уверен, что в один прекрасный день все раскроется.

— Ну еще бы, конечно, ты молчал! — со смехом сказала Анондомойи.— Ты же молчалив от природы! С первого дня знакомства,— обратилась она к Шучорите,— он без удержу поет вам всем хвалебные гимны!

— Слушай и запоминай, диди,— проговорил Биной.— Вот тебе свидетельство того, что я умею ценить хорошее в людях и отнюдь не лишен чувства благодарности.

— Ну, а теперь вы поете хвалебные гимны самому себе,— воскликнула девушка.

— Нет, от меня о всех моих достоинствах вы никогда не узнаете,— ответил Биной.— За этим вам следует обратиться к

ма. Она вам такого наскажет, что ушам не поверите. Я и сам поражаюсь, когда слушаю ее. Кажется, готов умереть молодым, если она пообещает написать мою биографию!

— Вы послушайте только, что говорит этот мальчишка! — воскликнула Анондомойи.

— Твои родители, Биной, дали тебе имя как раз под стать характеру,— промолвил Гора.

— Они молили о скромности, наверное, только потому, что не ожидали от меня иных достоинств, не то быть бы мне посмешищем для всех.

Так была преодолена неловкость первой встречи.

— Заходите к нам как-нибудь,— сказала Шучорита Биною на прощание.

Биноя Шучорита пригласила, но Гору пригласить не решилась, а тот, не поняв настоящей причины, слегка обиделся. Раньше его ничуть не огорчало то, что Биной очень легко сходился с людьми и находил свое место в любом обществе, тогда как сам он этого не умел; сегодня же он почувствовал, что это существенный недостаток его характера.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Биной понимал, что Шучорита позвала его для того, чтобы поговорить о возможности его женитьбы на Лолите. По-видимому, несмотря на то, что он принял окончательное решение и объявил о нем, вопрос этот по-прежнему висел в воздухе. Было похоже, что ни одна сторона не собиралась выпускать Биноя из рук, покуда он был жив!

До сих пор юношу больше всего беспокоило, как он сообщит эту новость Горе. Думая о Горе, он представлял себе не просто друга детства. Гора олицетворял для него определенные идеалы, определенные убеждения, он был его опорой в жизни. Их постоянное общение было привычным и в то же время служило постоянным источником радости для Биноя, а всякое разногласие с Горой было для него равносильно внутреннему разладу.

Но неизбежное свершилось, и первое смущение, вызванное внезапным разговором, исчезло. Биной воспрянул духом, рассказав Горе о своих отношениях с Лолитой. Ожидание операции всегда страшнее самой операции; стоит вскрыть нарыв, и пациент, несмотря на боль, начинает чувствовать облегчение и понимает, что на самом деле все совсем не так страшно, как казалось.

Раньше у Биноя не хватало решимости спорить даже с самим собой, но, раз поспорив с Горой, он теперь постоянно думал, что мог бы возразить приятелю в том или другом случае. Он в два счета мысленно разбивал любые доводы Горы. Если бы только ему удалось толком обсудить все с Горой, поговорить по душам, поспорить — пусть даже поссориться,— он мог бы все-таки сделать для себя какой-то определенный вывод. Но было очевидно, что Гора доводить до конца начатое объяснение не собирается. Биноя это возмущало.

«Гора не желает понять,— думал он.— Но и объяснять он тоже ничего не желает. Он просто хочет силой заставить меня подчиниться. Сила! Разве я могу когда-нибудь склониться перед силой! Но, будь что будет, правда на моей стороне!» И только он произнес мысленно слово «правда», как оно целиком завладело его сердцем. Чтобы устоять против Горы, ему нужно было заручиться поддержкой надежнейшего союзника, и, решив, что таким союзником и опорой может быть для него только правда, он настойчиво стал повторять про себя это слово. Придя к убеждению, что он нашел прибежище в правде, Биной проникся к себе глубоким уважением и потому, направляясь к дому Шучориты, шел, высоко подняв голову. Склонность ли к правде вселяла в него такую уверенность в себе или склонность еще к чему-то, определить Биною в его теперешнем состоянии было довольно трудно...

Хоримохини хлопотала на кухне, когда пришел Биной. Заглянув к ней и сделав заявку на обед, достойный брахмана, он прошел наверх.

Шучорита что-то шила. Не отрывая глаз от работы, она сразу же заговорила о том, что было у нее на уме.

— Как по-вашему, Биной-бабу,— сказала она,— нужно ли считаться с внешними препятствиями при отсутствии внутренних?

В разговоре с Горой Биной стоял на одной точке зрения, теперь же, в разговоре с Шучоритой, он переключился на диаметрально противоположную. Кто бы мог подумать, что у него был с Горой горячий спор на эту тему?

— Но не преуменьшаете ли вы значения внешних препятствий? — спросил Биной.

— На это есть причины, Биной-бабу,— пояснила Шучорита.— Ведь препятствия, которые ставит наше Общество, трудно назвать чисто внешними, поскольку наша община основана на религиозных принципах, тогда как община, к которой принадлежите вы, связана главным образом узами общественных от-

ношений. Вот почему для вас выйти из членов общины не было бы столь большой потерей, как для Лолиты.

Затем последовала дискуссия на тему о том, должно или нет личные религиозные убеждения ограничивать рамками какой бы то ни было общины.

В разгар этой дискуссии в комнату вошел Шотиш с письмом и газетой в руках. При виде Биноя он очень обрадовался и сразу же настроился на праздничный лад. Немедленно между Шотишем и его другом завязался оживленный разговор. Шучорита же взялась за брахмаистскую газету и приложенное к ней письмо, которые прислала ей Лолита. В этой газете внимание Шучориты привлекла заметка, в которой сообщалось, что некой весьма известной брахмаистской семье угрожала недавно опасность выдать одну из своих девиц замуж за индуиста. Однако угроза эта теперь отпала сама собой ввиду того, что жених вдруг заартачился. Взяв это сообщение в основу своего повествования, автор далее проводил сравнение между достойной сожаления слабостью брахмаистского семейства и силой убеждения молодого индуиста, причем сравнение это было далеко не в пользу брахмаистского семейства.

Шучорита решила про себя, что брак Лолиты с Биноем нужно устроить во что бы то ни стало, но, понимая, что одними разговорами от этого молодого человека ничего не добьешься, она отправила Лолите записку с просьбой прийти немедленно, ни словом не упомянув, что Биной уже у нее.

Поскольку нет такого календаря, который по мере надобности обращал бы будни в праздник, Шотишу все-таки пришлось собираться в школу. Шучорита тоже поднялась и, извинившись, попросила Биноя подождать, пока она примет ванну.

Когда Биной остался один в комнате, возбуждение от спора мало-помалу улеглось, сознание своей молодости, своей мужественности овладело им. Было около девяти часов. Прохожих в переулке — почти ни души. Только маленькие часы на письменном столе Шучориты своим тиканьем нарушали тишину. Атмосфера комнаты начала постепенно оказывать свое действие на ход мыслей Биноя. Казалось, будто вся обстановка стала вдруг знакомой до мельчайших подробностей. Строгий порядок на столе, вышитые чехлы на креслах, шкура антилопы на полу, несколько картин на стенах, небольшая полка с книгами в красных переплетах — все это глубоко трогало Биноя. Ему казалось, что комната полна какой-то волшебной тайны. Казалось, она до сих пор хранила нежные, робкие отзвуки секретов, которыми шепотом обменивались здесь девушки в тиши полудня.

Биной попытался представить себе, кто, где и как сидел во время этого разговора. Сколько мыслей, сколько образов навеяли на него слова Пореша-бабу: «Я слышал от Шучориты, что Лолита к тебе неравнодушна». Что-то сладостное и волнующее, как песня странствующего певца, коснулось его сердца, и из самых дальних тайников души поднялось такое замечательное, непостижимое чувство, что, не будучи ни поэтом, ни художником, Биной буквально изнемогал от невозможности передать его. Ему казалось, что сделай он что-то, и все будет хорошо, и в то же время ощущал в себе полную неспособность к действию. Будто легкая завеса отделяла его от того, что было совсем рядом, и делала это близкое непостижимым; однако найти в себе силы сорвать эту завесу он не мог.

В дверях появилась Хоримохини и спросила, не надо ли ему воды. Когда Биной ответил отрицательно, она вошла и села.

Пока Хоримохини жила в семье Пореша-бабу, она была искренне расположена к Биною. Но стоило ей переехать на новую квартиру и почувствовать себя дома, как все приятели Шучориты сделались ей до крайности неприятны. Она пришла к заключению, что во всех Шучоритиных погрешностях против правил поведения следует винить исключительно ее друзей. Хотя Хоримохини знала, что Биной не брахмаист, она прекрасно видела, что в индуистской вере он не слишком крепок, так что теперь она не очень-то стремилась приглашать этого сына брахмана к трапезе, освященной у алтаря.

— Ведь ты же, дорогой мой, сын брахмана. А вечернюю молитву ты разве не читаешь? — спросила она как будто между прочим Биноя.

— Тетя,— сказал Биной, оправдываясь,— мне столько в жизни пришлось долбить наизусть, что я забыл все подходящие молитвы.

— Пореш-бабу тоже немало учился,— ответила Хоримохини,— и хоть он и другой веры, а молится же как-то и утром и вечером.

— Но, тетя,— повинился Биной,— чтобы такого достичь, мало заучить наизусть несколько текстов. Если я когда-нибудь стану таким, как Пореш-бабу, я тоже буду молиться утром и вечером.

— А пока что следовал бы хоть заветам предков,— сказала Хоримохини раздраженно.— А то получается ни то ни се. Потвоему, хорошо это? Ведь должен же человек во что-то верить. А ты и от старого отстал, и к новому не пристал! Разве так можно?

На этом месте речь ее была прервана появлением Лолиты, которая, увидев Биноя, пришла в полное смятение.

— А где диди? — спросила она Хоримохини.

— Радхарани пошла купаться,— ответила Хоримохини, и Лолита, словно ее приход нужно было как-то объяснить, залепетала:

— Это Шучорита меня позвала.

— Ну так посиди пока,— сказала Хоримохини,— она сейчас придет.

Лолиту Хоримохини тоже не очень жаловала, потому что теперь ей хотелось вырвать Шучориту из прежнего окружения и окончательно прибрать к рукам. На остальных дочерей Пореша-бабу обижаться ей не приходилось, но Лолитину манеру поминутно забегать, чтобы поболтать с Шучоритой, Хоримохини очень и очень не одобряла. Иной раз, чтобы прекратить их разговоры, она поручала Шучорите какую-нибудь работу, а то начинала сетовать, что занятия Шучориты идут уже не так успешно, как прежде. Это, однако, нисколько не мешало ей ставить Шучорите на вид каждый раз, как та все-таки садилась за книги, что для молодых девушек ученье не только не нужно, но даже вредно. А было все дело в том, что, чувствуя свое бессилие перед Шучоритой, она винила в этом попеременно то ее знакомых, то науки.

Нельзя сказать, чтобы Хоримохини доставляло большое удовольствие сидеть с Лолитой и Биноем, но она была на них сердита и потому не уходила. Она чувствовала, что их связывают какие-то таинственные отношения, и потому решила про себя:

«Не знаю, как уж там в вашем кругу принято, но у себя в доме я никакого бесстыдства, никаких таких христианских штучек не допущу».

Но и Лолиту мучил дух противоречия. Вчера она собиралась с Шучоритой к Анондомойи, но, когда дошло до дела, почувствовала, что не сможет заставить себя пойти. Несмотря на все свое уважение к Горе, Лолита питала к нему острую неприязнь — ей никак не удавалось освободиться от чувства, что сам Гора относится к ней сугубо отрицательно. Она ощущала это настолько отчетливо, что с самого того дня, когда Гора вышел на свободу, изменились и ее чувства к Биною. Еще совсем недавно она немало гордилась своим влиянием на Биноя; теперь, при мысли о том, что он никак не может вырваться из-под опеки Горы, его слабохарактерность возмущала ее до глубины души.

Биной же, напротив, увидев входящую в комнату Лолиту, пришел в страшное волнение. Он никак не мог заставить себя сохранять непринужденность манер в ее присутствии, так как, с тех пор как сплетники стали ставить рядом их имена, мысли его при ее появлении начинали метаться из стороны в сторону, как магнитная стрелка перед бурей.

Лолита не на шутку рассердилась на Шучориту, застав у нее Биноя. Она поняла, что ее пригласили сюда выяснять отношения, а также в надежде, что она сумеет вновь завоевать расположение заупрямившегося Биноя. Поэтому она сказала, обращаясь к Хоримохини:

— Скажите диди, что у меня нет сейчас времени и что я зайду в другой раз,— и поспешно вышла из комнаты, даже не взглянув на Биноя.

Теперь, поскольку Хоримохини больше незачем было оставаться в комнате, она тоже встала и пошла по своим хозяйственным делам.

Биною и раньше приходилось видеть на лице Лолиты выражение, словно она едва сдерживает рвущийся наружу огонь. Но это было давно. С тех пор он успел успокоиться, уверенный, что черные дни, когда Лолита в любую минуту готова была разить его огненными стрелами гнева, навсегда миновали. И вдруг сегодня он увидел, что она опять извлекла это старое оружие из своего арсенала и что на нем нет и тени ржавчины. Тяжело, когда на вас сердятся, но сносить презрение такому человеку, как Биной, было еще тяжелее. Ему вспомнилось, с каким отвращением смотрела она на него, когда считала его всего лишь спутником планеты «Гора». И он мучился мыслью, что Лолите его колебания не могут не казаться трусостью. Биною представлялось невыносимым, что сомнения, в основе которых лежит чувство долга, Лолита принимает за малодушие, а сказать что-нибудь в свое оправдание она ему, конечно, не даст. И это было для Биноя жесточайшим наказанием, потому что он знал, что говорит хорошо и убедительно, ловко манипулирует словами, и что его способности отстаивать в споре любое положение можно только позавидовать. Но Лолита, открывая против него враждебные действия, никогда не давала ему высказаться. Не представилось такой возможности ему и сегодня.

Заметив брошенную газету, Биной в раздражении схватил ее и вдруг увидел место, отчеркнутое карандашом. Он прочел заметку и тотчас же понял, что речь идет о нем и о Лолите. Биной отчетливо представил себе, что Лолита, вероятно, постоянно подвергается такого рода оскорблениям со стороны чле-

нов «Самаджа». Не мудрено, что такая гордая девушка, как Лолита, не может испытывать по отношению к нему ничего, кроме презрения, если он, вместо того чтобы защищать ее как-то, занялся детальным разбором различий, существующих между разными общинами. Ему стало стыдно, когда он попробовал сравнить себя с ней — самолюбивой и смелой, и вспомнил ее бесстрашное, пренебрежительное отношение к общественному мнению.

Когда Шучорита, приняв ванну, накормив завтраком и отправив в школу Шотиша, вернулась в комнату, она застала Биноя в таком понуром и подавленном состоянии, что возобновлять прежний разговор она не решилась. Садясь за стол, Биной не прополоскал рот, как того требовал обычай.

— Вот что, Биной,— сказала недовольно Хоримохини.— Раз ты не придерживаешься индуистских обычаев, отчего бы тебе не стать брахмаистом?

— Как только я окончательно уверюсь, что индуизм — это только свод правил о том, что можно и чего нельзя есть, к чему можно прикасаться и к чему нет, и многих других бессмысленных обычаев и запретов,— ответил Биной, слегка обидевшись,— я немедленно перейду если не в брахмаизм, то в христианство, мусульманство — во что угодно... но пока что я в индуизме до такой степени еще не отчаялся.

От Шучориты Биной ушел в подавленном состоянии; ему казалось, что удары сыплются на него со всех сторон, а кругом пустота и укрыться негде. Он разошелся с Горой, оттолкнул от себя Лолиту, и даже его горячая дружба с Хоримохини стала заметно охладевать. В ответ на нежность, которую питала к нему Бародашундори, и доброту Пореша-бабу, и теперь еще ласкового с ним несмотря ни на что, он перевернул в их доме все вверх дном, и теперь уж ему там не было места.

Биной нуждался в искреннем расположении тех, кого любил, и делал все, чтобы заслужить эту любовь. Как же могло случиться, что именно он, Биной, оказался вдруг за пределами привычного круга симпатии? Вот он вышел из дома Шучориты и не знает, куда ему идти! Было время, когда он без раздумий направился бы к Горе, но теперь сделать это не так-то просто. Что он скажет Горе? А молчать в присутствии друга слишком тяжело. И к Порешу-бабу пойти он тоже не мог.

Биной медленно шел по дороге, понурив голову, и неотступно думал над тем, почему он оказался в таком нелепом положении.

Погруженный в свои мысли, он вышел к пруду Хедуа и

сел на берегу в тени под деревом. Все трудности, с которыми сталкивала его жизнь, он обязательно обсуждал с Горой. Он не принимал ни одного решения, не посоветовавшись предварительно и не поспорив с ним. Сегодня это было невозможно — думать и принимать решения он должен был сам.

Биной не страдал отсутствием способностей к самоанализу. Он не мог оправдывать себя, сваливая вину на объективные причины. И потому после некоторого раздумья пришел к выводу, что во всем виноват он один.

«Нет на земле такого ловкача,— мысленно рассуждал он,— который мог бы купить вещь, ничего не заплатив за нее. Если хочешь выбрать одно, поступись другим. Я же нахожусь в положении человека, который не хочет упустить ничего и потому теряет все. Хорошо тому, кто сумел решительно и бесповоротно выбрать свой жизненный путь. Несчастный же, который мечется по нескольким дорогам, не в силах отказаться ни от одной из них, только лишает себя возможности достичь желаемой цели. Кто он, если не жалкий бездомный пес!»

Трудно определить болезнь, но, даже установив диагноз, нелегко бороться с ней. Биной был способен остро мыслить, но не умел действовать. Вот почему до сих пор он во всем опирался на друга, более волевого, чем он сам. Наконец-то теперь, в самую критическую минуту своей жизни, он вдруг понял, что в мелочах безвольные люди могут прибегать к чужой помощи, но на крутых поворотах жизни им приходится рассчитывать только на свои силы.

Когда солнечные лучи начали подбираться поближе, разгоняя тень, в которой он сидел, Биной поднялся и снова вышел на дорогу, но не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал голос Шотиша: «Биной-бабу, Биной-бабу!» И через секунду маленький друг уже крепко держал его за руку. Была пятница, и Шотиш шел домой из школы, чтобы не возвращаться туда до понедельника.

— Пойдемте к нам, Биной-бабу, ну пойдемте! — упрашивал он.

— Как же я могу? — спросил Биной.

— Но почему же не можете? — не отставал Шотиш.

— Вряд ли у вас очень обрадуются, если я так зачащу.

Но Шотиш не удостоил этот довод ни малейшим вниманием и только сказал:

— Нет, пошли!

Шотиш и не подозревал, как запутались и осложнились за последнее время отношения Биноя и его родных, и поэтому

искренняя привязанность, которую мальчик питал к нему, особенно трогала юношу. Из всех обитателей дома, еще так недавно казавшегося ему земным раем, Шотиш один сохранил ясные, ничем не омраченные дружеские чувства к Биною. Он один с прежней доверчивостью смотрел на Биноя сейчас, когда все, казалось, рушилось вокруг него, и только одному Шотишу не было никакого дела до всех выпадов и обвинений общества.

— Пошли, брат,— сказал Биной, обняв мальчика.— Я провожу тебя до дому.

Обняв Шотиша, Биной словно ощутил всю сладость любви и ласки, которой Шучорита и Лолита окружали мальчика с самого детства.

Биной с наслаждением слушал мальчика, который всю дорогу без умолку болтал о каких-то посторонних пустяках. И в этом общении с чистой детской душой Биной смог на некоторое время забыть о своих собственных запутанных делах.

Дорога к дому Шучориты шла мимо дома Пореша-бабу. С улицы была видна гостиная Пореша во втором этаже. Когда они приблизились к дому, Биной не удержался и бросил взгляд на окно. Он увидел сидящего за столом Пореша-бабу. Разобрать, разговаривает он с кем-нибудь или нет, было нельзя, но было видно, что рядом с его креслом на низенькой плетеной табуретке, спиной к улице, сидит в позе примерной ученицы Лолита.

Возбуждение, в котором Лолита покинула дом Шучориты, не прошло ей даром. Она долго не находила себе места и наконец, не видя другого способа успокоить расходившиеся нервы, тихонько вошла в комнату отца. Таким миром и покоем веяло от Пореша-бабу, что нетерпеливая Лолита нередко приходила молча посидеть возле него, когда раздражение и беспокойство овладевали ею.

— В чем дело, Лолита? — спросил ее Пореш-бабу.

— Ни в чем, отец,— ответила она.— Просто у тебя тут так хорошо и прохладно.

Пореш-бабу прекрасно понимал, что сегодня она пришла к нему с разбитым сердцем; у него и самого на душе было тяжело. Он повел разговор о том и о сем, стараясь развеселить ее и понемногу отвлечь от черных мыслей.

Вот этой-то задушевной беседы отца с дочерью и был свидетелем Биной. Он невольно остановился, не отводя глаз от окна, и совершенно пропустил мимо ушей то, что говорил Шотиш. А тот как раз поставил на обсуждение чрезвычайно сложный вопрос из области военной тактики. Его интересовало в принципе, нельзя ли между своей и вражеской армиями распо-

ложить отряд дрессированных тигров и тем самым обеспечить победу? До этого момента вопросы и ответы следовали один за другим бесперебойно, и при этой неожиданной осечке Шотиш поднял глаза, чтобы узнать, в чем дело. Проследив взгляд Биноя, он увидел Лолиту и закричал:

— Лолита-диди, Лолита-диди, посмотри, я по дороге из школы встретил Биноя-бабу и привел его к нам!

Увидев, как вскочила со стула Лолита, как повернулся к окну Пореш-бабу, Биной отчаянно смутился, понимая, что причиной общего замешательства был он. Но делать было нечего. Простившись кое-как с Шотишем, он вошел в дом.

Когда он поднялся на второй этаж, Лолиты в гостиной уже не было. Чувствуя себя преступником, ворвавшимся к ним в дом и нарушившим их покой, он робко опустился на стул.

Как только с обычными вежливыми вопросами о здоровье и так далее было покончено, Биной сразу перешел к делу.

— Поскольку я не слишком ревностно соблюдаю правила и обряды, предписываемые индуистской религией, и, откровенно говоря, чуть ли не ежедневно нарушаю их, я считаю своим долгом вступить в «Брахмо Самадж». И мне очень хотелось бы, чтобы именно вы ввели меня в ваше Общество.

Еще за четверть часа до этого у Биноя не было ни ясного желания, ни решимости сделать это. Пореш-бабу был настолько удивлен, что некоторое время молчал.

— Но обдумал ли ты всесторонне этот вопрос? — наконец спросил он.

— В данном случае обдумывать, собственно, нечего,— ответил Биной.— Вопрос, по-моему, заключается в том — правилен ли этот поступок? Ответ на него может быть только один. С моим образованием невозможно искренне воспринимать религию, сущность которой фактически сводится к тому, чтобы как-нибудь, не дай бог, не нарушить определенных правил и честно соблюдать определенные обряды. Я не могу не видеть несоответствия на каждом шагу. Пока я связан с людьми, ревностно относящимися к индуизму, я неизбежно буду оскорблять их религиозные чувства, что с моей стороны очень нехорошо. Даже отбросив в сторону остальные соображения, я считаю, что должен все это в корне изменить, иначе я потеряю всякое уважение к себе.

Для Пореша-бабу столь многословное объяснение было совершенно необязательным. Нужно оно было самому Биною, чтобы укрепить его решимость. Теперь его просто распирало от гордости при мысли о том, что он оказался в самой гуще

борьбы добра и зла, из которой — встав на сторону добра — он непременно должен выйти победителем. На карту сейчас было поставлено его человеческое достоинство.

— А совпадают ли твои взгляды в вопросах веры со взглядами «Брахмо Самаджа»? — спросил Пореш-бабу.

— Скажу вам откровенно,— ответил Биной после короткого раздумья.— Было время, когда я считал себя человеком религиозным. Я даже со многими ссорился по этому поводу, но теперь я убедился, что в вопросах веры я совершенный профан. И понял я это, познакомившись с вами. В моей жизни пока что еще не было случая, чтобы я почувствовал настоящую потребность в религии; не веря по-настоящему в ее необходимость, я до сих пор довольствовался принятой у нас религией и, давая волю воображению, упражнялся в софистике. Я никогда не ощущал потребности задуматься над тем, какая же религия истинна? И, собственно, интересовала меня не религия, а споры о ней. Чем труднее давалась победа в споре, тем больше я гордился такой победой. Я и теперь не могу с уверенностью сказать, станет ли для меня религия до конца истинной и необходимой. Несомненно одно: при благоприятных условиях и имея перед собой достойный пример, я со временем смогу разрешить для себя этот вопрос. И уж, во всяком случае, избавлюсь от унижения нести перед собой, как победное знамя, то, что в действительности противно моему здравому смыслу.

По мере того как он излагал Порешу-бабу свою точку зрения, доводы в защиту его теперешнего душевного состояния оформлялись, и скоро он заговорил с таким жаром, словно давно уже пришел к этому решению, заранее взвесив все «за» и «против».

Тем не менее Пореш-бабу настаивал, чтобы он повременил с окончательным решением,— и это дало Биною повод предположить, что Пореш-бабу, по-видимому, недооценивает твердости его намерений. Подобное предположение лишь придало ему упорства, и он опять стал твердить, что уверен в себе и что решение его непоколебимо. Ни тот, ни другой в течение всего разговора ни словом не обмолвился ни о Лолите, ни о возможной свадьбе.

В это время в комнату якобы по какому-то хозяйственному делу вошла Бародашундори. Покончив со своим делом, она собралась уже было уходить, так и не обратив на Биноя никакого внимания. Биной был уверен, что Пореш-бабу непременно окликнет жену и сообщит ей последние новости. Но Пореш-бабу не сказал ни слова, считая, что говорить об этом еще не время. Он хотел сохранить пока что все в тайне. Однако по-

скольку Бародашундори откровенно игнорировала его, Биной просто не мог выдержать такого отношения с ее стороны. Он догнал ее и в поклоне, коснувшись ее ног, сказал:

— Я пришел сообщить вам, что хочу вступить в «Брахмо Самадж». Я знаю, что недостоин, но надеюсь, что вы поможете мне подняться на должную высоту.

Выслушав его, пораженная Бародашундори медленно вернулась в комнату и села, вопросительно глядя на Пореша.

— Биной просит, чтобы я ввел его в члены «Брахмо Самаджа»,— пояснил Пореш-бабу.

При этих словах сердце Бароды наполнилось гордостью победителя, но почему-то была в ее гордости и какая-то червоточина. Ей давно хотелось раз и навсегда проучить Порешабабу. Не раз заявляла она с уверенностью прорицательницы, что ее супруг когда-нибудь еще пожалеет о своем поведении. Раздраженная непоколебимым спокойствием, с каким он наблюдал бушевавшие вокруг него в Обществе страсти, она ждала возмездия, и теперь, когда, казалось, все должно наконец кончиться ко всеобщему удовольствию, Бародашундори не чувствовала безоблачной радости.

— Если бы вы сделали это сообщение несколькими днями раньше,— проговорила она напыщенно,— то вы могли бы нас избавить от многих неприятностей и унижений.

— Наши затруднения и унижения тут ни при чем,— заметил Пореш.— Биной желает вступить в члены «Самаджа», только и всего.

— И это все, чего он желает? — удивилась Бародашундори.

— Видит бог, я знаю, что причина всех ваших неприятностей и унижений кроется во мне! — воскликнул Биной.

— Вот что я тебе скажу, Биной,— сказал Пореш-бабу.— Подожди со вступлением в Общество, пока ты не уяснишь себе как следует, что это даст тебе. Я ведь не раз говорил, чтобы ты не предпринимал никаких шагов, чреватых серьезными последствиями, только потому, что считаешь себя обязанным помочь нам выпутаться из щекотливого положения.

— Это, безусловно, верно,— вступила Бародашундори.— Но лично я считаю, что он не имеет права сидеть сложа руки, после того как запутал нас всех.

— Но если начать метаться, вместо того чтобы сидеть сложа руки,— возразил ей Пореш-бабу,— то можно запутаться еще больше. И к чему говорить, что нужно что-то делать! Часто в жизни бывает так, что как раз лучше всего ничего не делать.

— Ну, конечно,— обиделась Бародашундори,— я дура и

ничего не понимаю. Но я была бы вам обязана, если бы вы сказали мне, на чем вы в конце концов остановились. Мне некогда — у меня работа стоит.

— Я бы хотел, чтобы церемония принятия меня в члены состоялась в воскресенье, то есть послезавтра,— сказал Биной,— так что, если Пореш-бабу...

— Нет,— перебил его Пореш-бабу,— я не хочу принимать в этом никакого участия, поскольку это может быть в какой-то мере выгодно моей семье. Тебе придется обратиться непосредственно в «Брахмо Самадж».

Это обескуражило Биноя. Он пока что не чувствовал ни малейшего желания обращаться с просьбой о приеме его в Общество официальным путем, тем более что именно из «Брахмо Самаджа» и пошла сплетня о нем и Лолите. Как он напишет такое прошение? В каких выражениях? Как будет смотреть в глаза людям, после того как оно будет напечатано в брахмаистских газетах? Его письмо прочтет Гора, прочтет Анондомойи. К письму не будет дано никаких объяснений, и читатели-индуисты узнают только, что Биной вдруг ни с того ни с сего загорелся желанием вступить в «Брахмо Самадж». А ведь это далеко еще не все! И если газета умолчит об остальном, то Биной пропадет со стыда!

Видя, что Биной молчит, Бародашундори испугалась.

— Ах, я и забыла, он ведь не знает никого, кроме нас, в «Брахмо Самадже»,— сказала она.— Но ничего, мы сами все устроим. Я сию же минуту пошлю за Пану-бабу. Времени терять нельзя. Ведь воскресенье уже на носу!

Только она кончила говорить, как мимо комнаты, по дороге наверх, прошел Шудхир, и Бародашундори крикнула ему:

— Шудхир, в воскресенье Биной вступает в наш «Самадж»!

Шудхир чрезвычайно обрадовался. Биной ему всегда очень нравился, и мысль видеть его в «Брахмо Самадже» была ему очень приятна. Ему казалось нелепым, что человек, умеющий так великолепно писать по-английски, такой умный и хорошо образованный, не вступает в «Брахмо Самадж». Теперь, когда подтвердилось его убеждение, что человек, подобный Биною, не может найти счастье помимо «Брахмо Самаджа», сердце Шудхира наполнилось гордостью.

— Но удастся ли все подготовить к воскресенью? — сказал он.— Ведь многих не успеют оповестить.

Дело в том, что Шудхиру хотелось, чтобы о вступлении Биноя знали все и вся и восприняли бы это как поучительный пример.

— Нет, нет,— воскликнула Бародашундори,— к воскресенью можно прекрасно управиться. Сбегай, Шудхир, за Пану-бабу.

Несчастный, на чьем примере восторженный Шудхир собирался доказывать всем неодолимую силу идей «Брахмо Самаджа», чувствовал себя очень плохо. То, что на словах представлялось чем-то не столь существенным, на деле поставило его в крайне неловкое положение.

Как только собрались посылать за Пану-бабу, Биной поднялся, чтобы уйти, но Бародашундори, не хотевшая выпустить жертву из рук, стала удерживать его, убеждая, что Пану-бабу не заставит себя долго ждать.

— Нет, извините меня, не сегодня,— сказал Биной виновато.

«Только бы вздохнуть, только бы вырваться отсюда и обдумать все толком»,— думал он.

Когда он встал, чтобы уходить, поднялся и Пореш-бабу и, положив руку на плечо Биною, сказал:

— Не делай ничего впопыхах, Биной. Успокойся и подумай хорошенько, прежде чем окончательно решаться на этот шаг. Ведь он изменит всю твою жизнь, не делай его, не разобравшись как следует в своих мыслях.

На что окончательно выведенная мужем из терпения Бародашундори возразила:

— Люди, которые берутся за что-нибудь, заранее не подумав, которые сидят сложа руки, пока не попадут сами и других не втянут в хорошенькую переделку, обычно, увидев, что деваться некуда, говорят: «Сядьте да подумайте!» Ты можешь тут сидеть и думать, сколько твоей душе угодно, а до нас тебе и дела нет, хоть умри!

Шудхир вышел из дому вместе с Биноем. Его распирало от нетерпенья, как лакомку, которому хочется отведать изысканных блюд, не дожидаясь пира. Ему хотелось тотчас же отвести Биноя к своим друзьям, сообщить им благую весть и тут же предаться ликованию, но неумеренный восторг Шудхира повергал Биноя все в большее уныние. Когда Шудхир предложил ему немедленно пойти к Пану-бабу, Биной, оставив его слова без внимания, вырвал руку и пошел прочь.

Пройдя несколько шагов, он встретил Обинаша, который вместе с несколькими приятелями несся куда-то как угорелый. Однако, увидев Биноя, все они остановились.

— Вот и Биной-бабу, как нельзя кстати,— воскликнул Обинаш.— Пошли с нами, Биной-бабу.

— Куда? — спросил Биной.

— Да в сад в Кашипуре, конечно,— ответил Обинаш.— Чтобы подготовить все к церемонии покаяния для Гоурмохона-бабу.

— Нет,— отказался Биной,— у меня сейчас нет времени.

— То есть как это? — воскликнул Обинаш.— Вы понимаете ли, какое это будет важное событие? Гоурмохон-бабу не стал бы заниматься пустяками. Пришло время индуистам показать свою силу! О покаянии Гоурмохона-бабу заговорит весь народ! Мы пригласим известных пандитов и именитых брахманов со всей страны, так что событие это отразится буквально на всей индуистской общине. Люди увидят, что мы еще живы, они поймут, что истинный идуизм и не думает умирать!

Кое-как избавившись от Обинаша, Биной пошел своей дорогой.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Когда в ответ на приглашение Бародашундори явился Харан-бабу и узнал, в чем дело, он принял глубокомысленный вид и некоторое время важно хранил молчание.

— Я полагаю, что этот вопрос мы должны будем обсудить вместе с Лолитой,— сказал он наконец.

Как только пришла Лолита, Харан-бабу с подчеркнутой торжественностью сказал:

— Лолита, в твоей жизни наступил очень ответственный момент. С одной стороны — твоя религия, с другой — твое чувство. Тебе нужно сделать выбор между ними.

Он остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова на Лолиту, уверенный, что пред лицом столь пламенного благочестия, блистательный пример которого являл собой он сам, должны трепетать малодушные и пасовать лицемерные,— «Брахмо Самадж» имел все основания гордиться Хараном-бабу.

Но Лолита продолжала молчать, и он заговорил снова:

— Ты, без сомнения, уже слышала, что Биной-бабу, видя положение, в каком ты очутилась, или по какой-то другой причине, выразил согласие вступить в нашу общину.

Это было новостью для Лолиты, но она никак не реагировала на его слова и продолжала сидеть неподвижно, словно каменное изваяние; только глаза ее заблестели.

— Пореш-бабу, конечно, очень обрадован такой любезностью со стороны Биноя,— продолжал Харан-бабу,— но только

ты одна можешь решить, действительно ли нам следует радоваться этому. Вот почему я обращаюсь к тебе с просьбой от лица «Брахмо Самаджа»: забудь на время о своем безрассудном увлечении, обрати все свои мысли к богу и, заглянув в свое сердце, спроси его — есть ли истинная причина радоваться этому событию?

Так как Лолита продолжала молчать, Харан-бабу, уверенный в том, что слова его производят на нее громадное впечатление, и воодушевляясь все больше и больше, продолжал.

— Вступление в число членов «Самаджа»! — воскликнул он.— Нужно ли говорить, какое огромное значение для человека имеет этот священный обряд! И вдруг этот обряд будет осквернен! Ради чьего-то счастья, удобства, любовного увлечения мы должны будем почтительно расступиться перед лицемерием, допустить, чтобы ложь проникла в «Брахмо Самадж»! Так скажи же мне, Лолита, неужели ты согласишься, чтобы этот прискорбнейший случай в истории «Брахмо Самаджа» был навеки связан с твоим именем?

Но Лолита и на это не ответила ни слова и лишь судорожно сжала ручки своего кресла.

— Я не раз наблюдал, как невероятно ослабляют волю человека его чувства и привязанности. Я знаю, что человеческие слабости следует прощать. Но посуди сама, можно ли простить хоть на миг слабость человека, которая является причиной гибели не только его самого, но и подрубает под самый корень опору жизни сотен других людей? Дал ли нам всевышний право прощать такие слабости?

— Нет, нет, Пану-бабу,— воскликнула Лолита, вскакивая с кресла.— Ради бога, не прощайте нас! Мы так привыкли к вашим нападкам, что самая мысль о том, что вы хотите простить нас, была бы для нас просто невыносимой! — И она выбежала из комнаты.

Слова Харана-бабу сильно встревожили Бародашундори, так как упустить Биноя она не хотела ни в коем случае, но все уговоры ни к чему не привели, и в конце концов она простилась с Хараном очень раздосадованная. Не сумев склонить на свою сторону ни Пореша, ни Харана, она оказалась в весьма затруднительном положении. Совершенно непостижимо, чтобы она, Барода, могла так ошибиться. Ее мнение о Харане-бабу претерпело очередное изменение.

Что же касается Биноя, то сначала, пока процедура вступления в число членов «Самаджа» рисовалась ему весьма смутно, он с большим воодушевлением говорил о своей решимости. Од-

нако, узнав, что ему придется писать официальное заявление, которое будет обсуждать в числе других и Харан-бабу, он пришел в ужас — шум, поднятый вокруг этого, страшил его. Он не знал, куда ему пойти и с кем посоветоваться, так как не решался говорить об этом даже с Анондомойи. Бесцельно бродить по улицам ему совсем не хотелось, и в конце концов он отправился домой, поднялся в свою комнату и повалился на постель.

Наступили сумерки. Слуга принес лампу. Биной хотел было отослать его обратно, но в это время снизу донесся голос Шотиша, звавшего: «Биной-бабу, Биной-бабу!»

Услышав этот зов, Биной почувствовал такое же облегчение, как путник в пустыне, наконец утоливший жажду. Шотиш был единственным человеком, который мог утешить его сейчас. Апатию Биноя как рукою сняло.

— Ты что, Шотиш? — крикнул он в ответ, вскочил с постели и, не надевая туфель, бросился вниз по лестнице.

Но внизу, в маленьком дворике, его ждал не только Шотиш, рядом с ним стояла Бародашундори. Неразрешимые вопросы снова вставали перед ним, борьба еще не кончилась. Биной проводил Шотиша и Бародашундори наверх.

— Шотиш! — приказала Барода.— Пойди посиди на веранде.

Биною стало жаль своего маленького друга, который должен был в тоскливом одиночестве дожидаться конца их разговора. Он усадил его в соседней комнате, зажег свет и принес ему книжки с картинками.

— Ты ведь никого не знаешь в «Брахмо Самадже», Биной,— начала Бародашундори.— Так ты вот что сделай — напиши письмо и дай его мне, а я завтра же утром сама схожу к секретарю и договорюсь, чтобы они все подготовили к воскресенью. Тебе самому ни о чем не придется беспокоиться.

Биной так растерялся, что не нашелся, что ответить. Он покорно написал письмо и отдал его Бародашундори. Он понимал, что во что бы то ни стало должен прийти к определенному решению, должен отрезать все пути к отступлению, чтобы положить конец своим колебаниям и сомнениям.

По ходу разговора Бародашундори упомянула вскользь и возможность его брака с Лолитой.

Когда она ушла, Биной почувствовал, что в душе его подымается отвращение; не радовала даже мысль о Лолите. Ему вдруг стало казаться, что это по ее настоянию Бародашундори проявила не совсем приличную торопливость. Потеряв уважение к самому себе, он невольно стал хуже думать и о других.

Бародашундори, со своей стороны, думала о том, как обрадует она Лолиту, вернувшись домой. Ведь ясно же, что дочь ее любит Биноя, именно поэтому в «Самадже» и поднялся такой шум из-за их брака. Во всем происшедшем она обвиняла кого угодно, только не себя. Вот уже несколько дней, как она почти не разговаривала с Лолитой. Но сейчас, поскольку ее стараниями выход был найден, Бароде не терпелось поскорее сообщить своей своенравной дочери замечательную новость и помириться с ней. Пореш чуть было все не испортил, да и Лолита сама доказала, что обращаться с Биноем она совершенно не умеет. Не помог ничем и Пану-бабу. Лишь одна Бародашундори сумела разрубить гордиев узел! Да, да! Одной женщине удалось сделать то, что оказалось не под силу нескольким мужчинам.

Дома она узнала, что Лолите немного нездоровится и что она рано легла спать.

«Сейчас я тебя вылечу»,— усмехнулась про себя Барода.

С лампой в руке она вошла в неосвещенную спальню дочери. Та еще не ложилась и сидела, откинувшись на спинку кресла. Увидев мать, Лолита тотчас же встала.

— Куда ты ходила, ма? — спросила она. В голосе Лолиты слышались резкие нотки. Ей уже сказали, что Барода с Шотишем отправились к Биною.

— Я ходила к Биною,— ответила Бародашундори.

— Зачем?

«Зачем, зачем... что она воображает, что я ей зла хочу, что ли? — сердито подумала Бародашундори.— Неблагодарная девчонка!»

— Вот зачем! — воскликнула она, протянув Лолите письмо Биноя.

Прочитав его, Лолита залилась краской, которая становилась все гуще по мере того, как Бародашундори, желая подчеркнуть свой успех, рассказывала, чего ей стоило получить у Биноя это письмо; она с гордостью дала понять, что никому другому не удалось бы довести дела до успешного конца.

Лолита бросилась в кресло, закрыв лицо руками, и Бародашундори, решив, что дочь стыдится обнаружить при ней свою радость, вышла из комнаты.

Когда на следующее утро Барода вошла за письмом, чтобы отнести его в «Брахмо Самадж», она обнаружила, что кто-то разорвал его в мелкие клочки.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Под вечер, лишь только Шучорита собралась пойти проведать Пореша-бабу, вошел слуга и доложил о приходе какого-то господина.

— Кто это? Биной-бабу? — спросила она.

— Нет, этот очень светлый и высокий.

Шучорита вздрогнула.

— Проводи его наверх,— сказала она слуге.

До этой минуты Шучорита не задумывалась, во что и как она одета, но сейчас, взглянув на себя в зеркало, осталась недовольна своим видом. Но переодеваться было уже некогда, и, наскоро поправив волосы и сари, она вышла в гостиную. Сердце ее стучало. Она совсем забыла, что на столе лежат сборники статей Горы. Возле этого стола как раз и сидел Гора, стопка книг покоилась прямо перед ним, и ни прикрыть, ни убрать их уже не было никакой возможности.

— Тетя давно хотела познакомиться с вами,— сказала Шучорита,— я пойду скажу ей, что вы здесь.— И она поспешно вышла из комнаты, не решаясь остаться с глазу на глаз с Горой.

Через несколько минут она привела Хоримохини. Та много слышала от Биноя о Горе, о его жизни, о том, как непоколебим он в своих убеждениях и вере. Иногда под вечер она даже просила Шучориту почитать ей его статьи. Нельзя сказать, чтобы она хорошо понимала, что он хочет сказать, но, во всяком случае, ей было ясно, что Гора выступает в защиту шастр и соблюдения установившихся обычаев и против распущенности современного общества. Она заочно восхищалась Горой, ибо ей представлялось замечательным и весьма похвальным то обстоятельство, что молодой человек, получивший английское образование, остался настоящим ревнителем старой веры. Биной, с которым она познакомилась в семье брахмаиста, на первых порах совершенно очаровал ее, но мало-помалу — особенно после того, как они переселились в свой дом — она стала с горечью замечать, что он отнюдь не лишен недостатков, и часто незаслуженно упрекала его именно потому, что столь безудержно восхищалась им вначале. Оттого-то она и ждала с таким нетерпением встречи с Горой.

Хоримохини была совершенно потрясена, увидев его. Да, это действительно был брахман! Словно священный огонь, словно лучезарное воплощение самого Шивы, предстал он перед ней! Она преисполнилась почтением к нему и, когда он встал, чтобы коснуться ее ног, в смущении отступила назад.

— Я много слышала о тебе, сын мой,— промолвила она наконец.— Так вот ты какой, Гоур! И впрямь Светлый! Совсем как поется в молитве:

...Кто сделал светлым тело Горы,
умастив его сандалом и лунным нектаром?

Теперь, когда я сама убедилась в этом, мне странно, как они осмелились отправить тебя в тюрьму.

— Если бы вы были судьей,— засмеялся Гора,— в тюрьмах, наверное, обитали бы только крысы да летучие мыши.

— Нет, дорогой, разве так уж мало на свете воров и жуликов? Неужели у судьи не было глаз? Ведь стоит только взглянуть на тебя, и сразу станет ясно, что ты не простой смертный, а избранник божий. Разве нужно бросать людей в тюрьмы только для того, чтобы они не пустовали? О, господи, где же правосудие?!

— Судьи потому и сидят, уткнувшись в своды законов, чтобы не поднять глаз на подсудимого и не увидеть на его лице отблеск величия божьего,— сказал Гора.— Иначе разве полез бы им кусок в горло? Разве могли бы они спать спокойно, приговаривая людей к телесным наказаниям, к заключению, к ссылке на острова, к повешению?

— Когда выдается свободная минутка, я всегда прошу Радхарани почитать мне твои статьи. Все мечтала, что наступит день, когда я из твоих собственных уст услышу то, что в них написано. Я — бедная глупая женщина и в придачу очень несчастливая. Не все, что ты пишешь, мне понятно, не все по душе, но я твердо верю, что смогу многому научиться у тебя.

Гора скромно промолчал в ответ.

— Я не отпущу тебя, прежде чем ты не отведаешь моего угощения. Давно уж не приходилось мне принимать у себя сына брахмана. На этот раз угощение будет скромным, но ты еще придешь к нам, и тогда уж я угощу тебя на славу.

Лишь только Хоримохини вышла из комнаты, сильнейшее волнение охватило Шучориту.

— Биной сегодня был у вас? — внезапно спросил ее Гора.

— Да.

— Я не видел его после этого, но, зачем он приходил, знаю.

Шучорита молчала.

— Вы хотите заставить Биноя жениться по правилам вашего «Брахмо Самаджа»,— продолжал он.— Вы считаете, что это честно?

Его слова задели Шучориту и помогли освободиться от смущения и нерешительности.

— *А вы хотите,— сказала она, взглянув Горе прямо в* лицо,— чтобы я начала бранить свадебные обряды нашего «Брахмо Самаджа»?

— Вы можете быть уверены,— ответил Гора,— что я не жду от вас ничего мелкого и недостойного. Я никогда не поставлю вас на одну доску с рядовым членом какого-нибудь религиозного общества. Я совершенно убежден, что вы не принадлежите к числу тех, которые все силы свои отдают на то, чтобы привлечь в свою общину возможно большее количество членов. Мне хотелось бы, чтобы вы правильно понимали и правильно оценивали бы свои действия, не полагаясь на мнение других. Вы должны уяснить себе, что вы не просто член какой-нибудь определенной общины.

Призвав на помощь все свои душевные силы, Шучорита возразила:

— А разве вы сами не являетесь членом определенной общины?

— Нет,— ответил Гора,— я индуист. Индуизм — это не община. Индуисты — это нация. И нация эта настолько велика, что нельзя подводить под одно определение всех людей, входящих в ее состав. Ведь океан и его волны это далеко не одно и то же — то же самое можно сказать об индуистах и различных религиозных обществах.

— Почему же тогда так силен общинный дух среди индуистов?

— А почему человек обороняется, когда его бьют? Потому, что в нем есть жизнь. Один лишь камень бесчувствен к ударам.

— Но что же мне делать,— спросила Шучорита,— если то, что я считаю сущностью религии, вызывает бурный протест со стороны индуистов? Скажите мне — что?

— Вот что я отвечу вам на это,— сказал Гора,— если вы, считая, что исполняете свой долг, оскорбляете огромную нацию, именуемую Индией, то, мне кажется, вам следует призадуматься — не допустили ли вы тут какой-то ошибки, не ослеплены ли вы чем-нибудь, все ли тщательно взвесили? Разве можно насильно навязывать кому-то убеждения только потому, что вы привыкли принимать на веру все, что проповедует ваша община, или не берете на себя труда задуматься, правильно ли это? Когда крыса прогрызает обшивку корабля, она руководствуется исключительно своими желаниями и интересами. Она не видит, что, добившись для себя маленького преимущества, может при-

нести всем остальным огромный вред. Вот и вам следует подумать — действуете ли вы только в интересах своей общины или всего человечества. Представляете ли вы себе человечество? Знаете ли вы, как разнообразны потребности людей, их характеры, склонности? На просторах вселенной каждый занимает свое место — одни расположились на склонах гор, другие — на берегу моря, третьи — на краю пустыни, и в то же время никто не стоит на одном месте, в движении находятся все. А вы хотите заставить всех жить по законам одной лишь вашей общины! Хотите закрыть на все глаза и думать, что все люди одинаковы, что самой природой они только для того и предназначены, чтобы стать членами общины, известной под именем «Брахмо Самадж». Если вы так считаете, то, скажите на милость, чем отличается ваша психология от психологии государств-хищников, которые, гордясь своей силой, отрицают огромную роль в развитии всего человечества того факта, что каждый народ индивидуален, что он имеет свои особые, неповторимые черты, и полагают, что оказывают великое благо людям, стремясь покорить все народы мира и обратить их в своих рабов.

На какое-то мгновение Шучорита забыла о том, что Гора убеждает ее в чем-то. Его выразительный низкий сильный голос волновал ее до глубины души. Она не думала больше о возражениях, мысли, которые он высказывал, находили живой отклик в ее сердце.

— Не ваш «Самадж» создал двести миллионов индийцев,— продолжал Гора.— Так кто же дал вам право подгонять всю огромную Индию под один шаблон? Как вы можете взять на себя ответственность установить, какой путь должны избрать эти миллионы? Какую веру они должны исповедовать? Что сделает их могущественными и независимыми? И когда на вашем пути к осуществлению этой невыполнимой задачи встречаются препятствия, в вас подымается гнев против своей страны, и чем труднее препятствия, тем сильнее вы злитесь и ненавидите тех, кого хотите облагодетельствовать. А между тем вы считаете, что молитесь тому самому богу, который создал людей разными и вовсе не хочет, чтобы различия между ними исчезли. Если вы действительно чтите его, то почему же вы не хотите следовать его заветам? Неужели гордыня завела вас так далеко, что вы предпочитаете жить своим умом и решениями общины, не считаясь с тем, что завещал *он?*

Когда Гора заметил, что Шучорита молча слушает его и даже не пытается возражать, сердце его исполнилось сострадания к ней, и он продолжал уже более мягко:

— Вам, может быть, мои слова кажутся слишком резкими, но прошу вас, не относитесь ко мне враждебно только потому, что я принадлежу к другой общине. Поверьте, если бы я видел в вас противника, я не произнес бы ни слова. Но мне больно видеть, как ваш свободный от природы ум и широта мысли стискиваются рамками вашего Общества.

Шучорита покраснела.

— Нет, нет, не думайте обо мне, продолжайте, я стараюсь понять вас,— прошептала она.

— Мне осталось сказать совсем немного. Поймите Индию своим ясным умом и полюбите ее сердцем. Если вы будете рассматривать народ Индии только с точки зрения «Брахмо Самаджа», вы никогда не поймете его до конца, научитесь презирать и совершите гигантскую ошибку. Нам не дано взглянуть на него оттуда, откуда его можно увидеть во всей полноте. Бог создал людей разными: они по-разному думают, по-разному живут, различна их вера, неодинаковы и обычаи, но всем им присуще единое — человеческое. У всех людей есть что-то общее, присущее одновременно и мне и моей Индии. Если мы сможем понять, что же это, собственно, такое, нам удастся раздвинуть окружающие нас барьеры мелочности и ограниченности, и нашему взору предстанет нечто удивительное и великое и поведает нам тайну веропочитания древних. И мы увидим, что под неостывшим пеплом еще теплится жертвенный огонь, зажженный в древние времена, и поймем, что настанет день, когда этот огонь вырвется на свободу, сметая преграды места и времени, и ярким пламенем возгорится над миром. Допустить хотя бы на мгновение мысль, что великие дела и думы индийского народа в прошлом не существовали, что все они плод воображения — значит, надругаться над истиной. На это способны только атеисты!

Шучорита слушала, не перебивая, с опущенной головой. Когда же он замолчал, она подняла на него глаза.

— Но что мне делать? — спросила она.

— Я все сказал вам,— ответил Гора,— есть только одна вещь, которую я хочу добавить. Поймите, что индуизм стремится, подобно матери, принять в свои объятия людей самых различных убеждений. Иными словами, индуизм считает, что человек — это прежде всего человек, а не член какой-то определенной общины. Мудрые и глупые равны перед индуизмом, и он признает, что мудрость может проявляться в самых разнообразных аспектах. Христианская религия отрицает это. Она утверждает, что есть только их вера или же вечный мрак,— ничего

другого для нее не существует. И те из нас, которые учились среди христиан, готовы стыдиться религиозной свободы и веротерпимости, отличающей нас, индуистов. Мы перестаем понимать, что именно широта религиозных взглядов индуистов может привести в конце концов человечество к единой религии. Пока мы не найдем в себе силы вырваться из водоворота христианского учения, мы не сможем понять все величие и истинную сущность индуизма!

Шучорита не только слушала Гору, она как бы зримо ощущала то, о чем он говорил. Силой слова он заставлял и ее видеть картины далекого будущего, рисовавшегося ему. Забыв свое смущение, забыв себя, смотрела она на сияющее, одухотворенное лицо Горы, и ей казалось, что она видит в его глазах отблеск той чудесной силы, которая одна способна претворить в действительность великие идеи на земле. Шучорите не раз приходилось слушать, как рассуждают о принципах истины ученые и умные люди — члены «Самаджа». Но слова Горы отнюдь не были обычными доводами в споре — они были откровением! Она чувствовала, как он подчиняет себе ее волю, мысли, движения. Словно сам Индра-громовержец явился ей — его глубокий сильный голос заставлял трепетать ее сердце, и быстрые вспышки молний огненной змейкой пробегали по ее жилам. Она уже не в силах была разобраться, в чем она не согласна с Горой и в чем их взгляды совпадают.

В эту минуту в комнату вошел Шотиш. Он побаивался Горы, поэтому обошел его стороной и, подойдя вплотную к Шучорите, шепнул ей на ухо:

— Пану-бабу пришел.

Шучорита вздрогнула, как от удара. Нужно было во что бы то ни стало отклонить визит Харана, избавиться от него, помешать ему войти... Надеясь, что Гора не расслышал, что шептал ей Шотиш, она вскочила в полном смятении, быстро сбежала вниз по лестнице и остановилась перед Хараном-бабу.

— Я прошу вас извинить меня, но сегодня мне неудобно разговаривать с вами,— проговорила она.

— Почему же неудобно? — осведомился Харан.

— Если вы завтра утром зайдете к отцу,— сказала Шучорита, не отвечая на его вопрос,— то найдете меня там.

— У тебя, как видно, сегодня гости? — настаивал он.

Шучорита постаралась избежать ответа и на этот вопрос.

— Пожалуйста, извините меня,— сказала она,— но сегодня у меня нет времени.

— Однако с улицы я слышал голос Гоурмохона-бабу. Он здесь?

Не ответить на этот вопрос Шучорита уже не могла.

— Да, здесь,— промолвила она, покраснев.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Харан.— Мне как раз нужно поговорить с ним. Если у тебя есть какое-нибудь неотложное дело, занимайся им, пожалуйста, а я тем временем побеседую с Гоурмохоном-бабу.

И, не дожидаясь разрешения, он стал подниматься по лестнице. Шучорита последовала за ним и, не глядя на стоящего рядом Харана-бабу, сказала Горе:

— Тетя готовит вам угощение, сейчас я схожу посмотрю, как у нее там подвигаются дела.

С этими словами она поспешно вышла из комнаты, а Харан-бабу с важным видом уселся на стул.

— Вы что-то плохо выглядите,— начал он.

— Это правда,— подтвердил Гора,— недавно я прошел специальный курс для похудания.

— И то верно,— продолжал Харан, стараясь заставить свой голос звучать как можно ласковее,— вам, наверно, было очень тяжело.

— Не так тяжело, как этого хотели бы некоторые,— саркастическим тоном заметил Гора.

— Я хотел поговорить с вами о Биное-бабу,— переменил тему разговора Харан.— Вам, вероятно, известно, что на это воскресенье намечена церемония вступления его в члены «Брахмо Самаджа».

— Нет, мне это неизвестно,— ответил Гора.

— Но вы одобряете этот шаг?

— Биной не спрашивал меня, одобряю я его или нет.

— Но вы считаете,— настаивал Харан-бабу,— что Биной-бабу духовно подготовился к этому шагу?

— Раз уж он согласился проделать все нужные обряды, то ваш вопрос мне кажется совершенно излишним.

— Ослепленные страстью, мы часто не отдаем себе отчета в том, во что верим и во что не верим. Вы ведь знаете человеческую натуру.

— Нет. Я не занимаюсь бесполезными рассуждениями о человеческой натуре.

— Несмотря на то, что мои убеждения и убеждения моей общины не совпадают с вашими, я отношусь к вам с величайшим уважением. Я совершенно уверен, что никакие соблазны

не могли бы заставить вас изменить свою религию — пусть ложную. Но...

— Конечно, для Биноя будет тяжелым ударом лишиться даже той крупицы уважения, которое вы еще продолжаете питать ко мне,— с иронией перебил его Гора.— В мире неизбежно приходится решать, что хорошо и что дурно, но если вы собираетесь определять относительную ценность человеческих поступков, взяв за мерило свое уважение или отсутствие такового, то не ждите, что ваше мнение разделят все остальные.

— Хорошо, пусть этот вопрос останется открытым — в конце концов это не так важно. Но я хочу спросить вас — намерены ли вы воспрепятствовать желанию Биноя жениться на дочери Пореша-бабу?

— Харан-бабу,— побагровев, сказал Гора.— Неужели вы думаете, что я буду обсуждать с вами дела Биноя? Вы столько говорите об особенностях человеческого характера, и уж вам-то следовало бы помнить, что Биной мой друг, а не ваш.

— Я говорю об этом только потому, что это дело непосредственно касается «Брахмо Самаджа», в противном случае...

— Ну, а я не имею никакого отношения к «Брахмо Самаджу», и меня ничуть не трогает ваша озабоченность на этот счет.

В это время вернулась Шучорита, и Харан-бабу, повернувшись к ней, сказал:

— Шучорита, мне нужно поговорить с тобой по очень серьезному делу.

На самом деле в этом не было никакой необходимости, просто Харан-бабу хотел дать понять Горе, насколько близки его отношения с Шучоритой. Но она не ответила ему. Да и Гора не шелохнулся, всем своим видом показывая, что вовсе не собирается уйти и предоставить Харану-бабу возможность поговорить с Шучоритой наедине.

— Шучорита,— снова сказал Харан.— Выйдем в ту комнату, мне нужно кое-что сказать тебе.

Не обращая никакого внимания на его слова, Шучорита обратилась к Горе:

— Как чувствует себя ваша мать?

— Я никогда не видел, чтобы она чувствовала себя плохо.

— Да, я заметила, что бодрость и хорошее расположение духа — естественное ее состояние.

Гора вспомнил, как часто она навещала Анондомойи, пока он был в тюрьме.

Харан-бабу тем временем взял со стола одну из книг и, увидев на титульном листе имя автора, стал просматривать ее.

Шучорита смутилась и покраснела, а Гора, зная, что это за книга, смеялся в душе.

— Гоурмохон-бабу,— поинтересовался Харан,— это, надо полагать, ваши юношеские опыты?

— Я до сих пор еще не вышел из юношеского возраста,— улыбнулся Гора.— Знаете, у некоторых разновидностей животных юность проходит моментально, у других же затягивается надолго.

— Гоурмохон-бабу,— сказала Шучорита,— угощение готово. Пройдите, пожалуйста, в ту комнату. Тетя не выйдет, пока здесь Пану-бабу, и, наверное, она уже ждет вас.

Последние слова ее были рассчитаны на то, чтобы досадить Харану. Сегодня ей столько пришлось вытерпеть от него, что она никак не могла удержаться и не отплатить ему хоть немного.

Гора встал, но Харан и тут не пожелал признать себя побежденным.

— Я подожду,— заявил он.

— Зачем же вам ждать напрасно,— возразила Шучорита.— Ведь уже поздно.

Но Харан-бабу не двинулся с места, и Шучорита вышла вместе с Горой из комнаты.

Встретившись здесь с Горой и увидев, какие отношения существуют между ним и Шучоритой, Харан-бабу вновь почувствовал боевой задор. Разве допустимо, чтобы она так легко ускользнула из лап «Брахмо Самаджа»? Неужели не найдется никого, кто бы мог удержать ее? Какие-то меры нужно принять!

Харан-бабу придвинул к себе листок бумаги и принялся писать Шучорите письмо.

У Харана были свои навязчивые идеи. В частности, он твердо верил, что если в борьбе за правое дело он возьмется распекать кого-то, то его горячие слова не могут не пронять виновного. Ему и в голову не приходило, что слова — это далеко еще не все и что приходится считаться и с таким немаловажным фактором, как сердце.

Когда после продолжительной беседы с Хоримохини Гора снова вошел в комнату Шучориты за своей тростью, уже смеркалось. На столе горела лампа, Харана-бабу в комнате не было, но на столе, на самом видном месте, лежало письмо, адресованное Шучорите.

При виде этого письма у Горы неприятно заныло сердце — он сразу же понял, от кого оно. Гора знал, что Харан-бабу домогался руки Шучориты, о том же, что домогательства его были

отклонены, он не слышал. Еще когда Шотиш прошептал на ухо Шучорите о приходе Харана-бабу, а она, забеспокоившись, быстро сошла вниз и через несколько минут привела его наверх, Горе стало не по себе. Позднее, когда Шучорита пригласила его в другую комнату и оставила Харана в одиночестве, он увидел в этом только подтверждение близких отношений, существовавших между ними, хотя и счел такой поступок крайне невежливым. И теперь, когда он увидел на столе письмо, неприятное чувство вновь овладело им. Ведь письмо всегда хранит какой-то секрет. Сообщая одно лишь имя и скрывая содержание, запечатанные письма обладают неприятным свойством раздражать людей.

— Я зайду завтра,— проговорил Гора, посмотрев в лицо Шучориты.

— Приходите,— ответила она, опустив глаза.

Гора уже сделал шаг к дверям, но вдруг остановился и воскликнул:

— Ваше место в солнечной системе Индии! Вы принадлежите моей родине, и разве можно допустить, чтобы вы были сметены в пустоту хвостом какой-то кометы. Только убедившись, что вы заняли в этой системе подобающее вам место, я отойду в сторону. Вам внушили, что, заняв его, вы заставите отступиться от вас ваших единоверцев, но поймите, что истинная вера не может быть достоянием какой-то горстки людей. Истинная вера бесчисленными нитями связывает между собой всех тех, кто окружает вас; ее нельзя ограничить тесными рамками замкнутого круга верующих, так же как нельзя пересадить дерево, которое вы хотите сохранить сильным и жизнеспособным, из сада в цветочный горшок. И если вы хотите, чтобы ваша вера стала близка и нужна всем, вы прежде всего должны занять место в сердце народа Индии, которое было предопределено вам задолго до вашего появления на свет. Никогда не говорите о народе: «Я чужая ему и он чужд мне!» Помните, что в этом случае от вашей веры, от вашей внутренней силы не останется и следа. Уверяю вас, если убеждения могут увлечь вас в сторону от места, занять которое повелел вам сам господь, то, значит, этим убеждениям никогда не суждено восторжествовать где бы то ни было. Итак, завтра я приду снова.

С этими словами Гора вышел, но еще долго после его ухода воздух в комнате был словно наэлектризован, и Шучорита продолжала сидеть неподвижно в своем кресле.

— Послушай, ма,— говорил Биной Анондомойи,— сказать по совести, мне всякий раз становилось немного стыдно, когда я должен был кланяться идолу. Мне, правда, удавалось скрывать это чувство. Я даже написал несколько великолепных статей в защиту идолопоклонства. Но должен тебе сказать совершенно искренне: кланяться-то я кланялся, но мозг мой восставал против этого.

— Очень уж у тебя все получается сложно. Ты не умеешь ничего принять целиком и страшно любишь копаться во всяких мелочах. Оттого ты такой и привередливый.

— Что ж, это правда,— ответил Биной.— У меня ведь достаточно сообразительности, чтобы при помощи тонких аргументов доказывать даже то, во что я и сам не верю, обманывая и себя и других. Взять хотя бы все эти споры о религии, которые я вел последнее время — отстаивал-то я вовсе не принципы религии, а точку зрения индуистской общины — вот и все!

— Именно так и бывает, когда у человека нет истинной веры,— заметила Анондомойи.— Тогда религия становится всего-навсего предметом тщеславия, так же как родовитость, почет или деньги.

— Правильно,— согласился Биной.— О религии, как таковой, мы вовсе и не думаем — просто лезем на стену из-за нее, потому что это наша религия. То же самое делал и я, только до конца обмануть себя мне не удавалось. И иногда мне было ужасно стыдно прикидываться верующим, когда веры никакой давно уже не было.

— Ты что думаешь, я всего этого не понимала? — воскликнула Анондомойи.— Ведь у вас вечно все не как у людей: и мысли и чувства — все преувеличенное. Не удивительно, что в мозгах у вас образовалась пустота, и для того, чтобы заполнить ее, приходится запихивать туда все что попало. Верили бы вы попросту — и ничего этого не понадобилось бы.

— Вот я и пришел спросить тебя,— продолжал Биной,— хорошо ли притворяться, что веришь во что-то, когда на самом деле это не так?

— Вы только его послушайте! Неужели об этом еще нужно спрашивать?

— Ма,— внезапно сказал Биной,— завтра состоится официальная церемония приема меня в члены «Брахмо Самаджа».

— Что это значит, Биной? — вскричала пораженная Анондомойи.— Неужели это обязательно?

— Но я же как раз и старался растолковать тебе, почему это обязательно,— укоризненно сказал Биной.

— Разве твоя вера не позволяет тебе оставаться дольше в нашей общине? — спросила Анондомойи.

— Если я останусь, мне придется кривить душой.

— А у тебя нет смелости остаться и не кривить душой? — настаивала Анондомойи.— Спокойно переносить неизбежные нападки?

— Но, ма, раз я не разделяю убеждений правоверных индуистов...

— Но ведь в индуистской общине уживается триста тридцать миллионов человек, так почему же ты не сможешь остаться в ней?

— Но не могу же я из кожи лезть вон, доказывая, что я правоверный индуист, если члены общины будут настаивать, что это не так.

— Члены нашей общины называют меня христианкой,— сказала Анондомойи,— я никогда не сажусь за один стол с ними во время праздничных трапез, но я не вижу, почему я должна покорно соглашаться с их мнением о себе. Я считаю, что долг повелевает мне оставаться тем, кто я есть, и что с моей стороны было бы неправильно порвать с общиной.

Биной собрался было возразить, но Анондомойи не дала ему говорить и продолжала:

— Обойдись без возражений, Биной! Об этом не спорят. Неужели ты думал, что сумеешь провести меня? Я прекрасно вижу, что под предлогом спора со мной ты упорно стараешься обмануть самого себя. Но не пытайся хитрить в таком большом и серьезном деле.

— Но, ма,— промолвил Биной, опустив голову,— я уже написал письмо, в котором дал слово, что в воскресенье вступлю в члены.

— Но это невозможно,— нахмурившись, сказала Анондомойи.— Если ты объяснишь все толком Порешу-бабу, он ни за что не станет настаивать на этом.

— Пореш-бабу вовсе не в восторге от моего решения,— ответил Биной,— он даже не хочет принимать участия в церемонии.

— Ну, значит, тогда и волноваться нечего,— с облегчением сказала Анондомойи.

— Нет, ма, раз я дал слово, отступать нельзя. Это невозможно.

— Ты говорил об этом Горе? — спросила она.

— Я еще не видел его, после того как решился.

— А разве его нет дома сейчас?

— Нет, мне сказали, что он ушел к Шучорите.

— Так ведь он был у нее только вчера,— удивилась Анондомойи.

— Пошел и сегодня.

В это время с улицы донесся говор и звуки шагов, и во двор внесли носилки. Биной решил, что это явилась в гости какая-нибудь родственница Анондомойи, и вышел из комнаты.

Но это оказалась Лолита; она вошла и низко поклонилась Анондомойи. Ее появление было совершенно неожиданным, и Анондомойи, с удивлением взглянув на нее, сразу же догадалась, что Лолиту привели сюда неприятности, обрушившиеся на нее в связи с предстоящей церемонией вступления Биноя в члены их общины.

Чтобы помочь ей начать разговор, Анондомойи мягко сказала:

— Я так рада, дорогая, что ты пришла. Только что здесь был Биной. Он говорил, что завтра вступает в члены вашего «Самаджа».

— Но зачем он это делает? — с раздражением спросила Лолита.— Что заставляет его?

— Разве нет никаких причин, толкающих его на это? — с удивлением спросила Анондомойи.

— Я, по крайней мере, таких причин не знаю.

Не понимая, что хочет сказать этим Лолита, Анондомойи молча смотрела на нее.

— Ведь это оскорбительно для него самого вдруг взять и ни с того ни с сего вступить в члены «Брахмо Самаджа»,— промолвила Лолита, не глядя на Анондомойи.— Ради чего Биной собирается это сделать?

«Ради чего! Разве она не знает? Не радуется этому?» — подумала Анондомойи и вслух сказала:

— Церемония вступления назначена на завтра. Биной считает, что раз уж он твердо обещал, отступать сейчас поздно.

— Разве можно в таких вопросах говорить о каких-то твердых обещаниях? — воскликнула девушка, устремив на Анондомойи горящий взгляд.— Если оказывается необходимым изменить свое решение, то его нужно менять — вот и все!

— Дитя мое,— сказала Анондомойи,— пусть тебя не смущают мои слова. Я буду говорить с тобой совершенно откровенно. Из нашего разговора с Биноем я поняла, что, каковы бы ни были его религиозные убеждения, ему не следует покидать свою

общину, он не должен делать этого. И я вижу, что он и сам это понимает, что бы там он ни говорил. Но ведь ты же, милая, не можешь не знать, почему он решился на это. Он считает, что, оставаясь индуистом, он не сможет жениться на тебе. Так скажи же мне откровенно, без всякого смущения — так ли это?

— Я ничего не утаю от вас, ма,— ответила Лолита, глядя Анондомойи прямо в глаза.— Я говорю то, что думаю. Мне самой такие понятия чужды. Я долго думала и пришла к убеждению, что человеку вовсе не нужно отказываться от своей веры, от своих взглядов и от своей общины, если он решил соединить свою жизнь с человеком, исповедующим другую религию. Ведь иначе индуисты не могли бы дружить с христианами и вообще каждую общину нужно было бы отгораживать от остальных высокой стеной.

Лицо Анондомойи просияло.

— Как я рада услышать это от тебя,— воскликнула она.— Как раз то же самое думаю и я сама. Если люди несходны внешностью, характером, своими внутренними качествами, то считается, что это ничуть не мешает их союзу! Так почему должны мешать ему их убеждения и религия? Я так счастлива. Ведь я сильно беспокоилась за Биноя. Я знаю, что он отдал вам всю душу, и ему было бы страшно тяжело огорчить кого-то из вас. Один только господь знает, как мучилась я, стараясь удержать Биноя от этого шага. Но ведь какой счастливчик! Шутка сказать, так легко выпутаться из такого трудного положения! Но позволь мне задать тебе один вопрос — ты разговаривала об этом с Порешем-бабу?

— Нет еще,— смущенно ответила Лолита.— Но я знаю, он все поймет.

— В этом я ничуть не сомневаюсь,— заметила Анондомойи.— От кого бы ты в противном случае унаследовала свой светлый ум и силу воли? Сейчас я позову Биноя, вы сами должны обсудить это и что-то решить. Но перед этим я хочу тебе сказать одну вещь. Я знаю Биноя с детства и могу тебя смело заверить: он стоит того, чтобы из-за него перенести столько горя. Я часто думала, что та, кому достанется Биной, будет счастливицей. Я присматривалась к некоторым девушкам, но мне все казалось, что они недостаточно хороши для него. Теперь я вижу, что и ему выпало немалое счастье.

Анондомойи поцеловала Лолиту и вышла позвать Биноя. Она тактично оставила их в обществе одной Лочмии, а сама ушла, сказав, что пойдет приготовить угощение Лолите.

Сегодня оба они сразу побороли свое смущение. Внезапно

обрушившиеся на них трудности, необходимость преодолеть их помогли им понять и оценить всю глубину и серьезность своей любви. Тревога, неуверенность и иные чувства больше не разделяли их пестрой завесой. Торжественно, молчаливо, без колебаний признали они, что сердца их бьются в унисон и что потоки их жизней готовы слиться воедино, как Ганга и Джамуна. Биной и Лолита сознавали, что их сблизила не община, не общие взгляды, их союз родился совершенно естественно, и они знали, что в основе его лежит истинная глубокая вера, которая стоит выше мелких разногласий и придирок ученых пандитов.

Глаза Лолиты сияли.

— Я не перенесла бы, если бы ради меня вы совершили поступок, оскорбляющий ваше достоинство. Я хочу, чтобы вы, безо всяких колебаний, оставались тем, кто вы есть.

— Но и вы не должны порывать со своим прежним миром,— сказал Биной.— Для чего существуют на земле различия, если любовь не в состоянии мириться с ними?

Они говорили долго, совершенно забыв о том, что он — индуист, а она — брахмаистка, и сознание духовной человеческой общности согревало их ровным мягким светом, подобным немигающему пламени светильника.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Солнце только что зашло. Окончив молитву, Пореш-бабу в задумчивости сидел на веранде перед своей комнатой.

Неожиданно в дверях показались Лолита и Биной. Низко склонившись перед ним, оба коснулись его ног.

Их появление немного удивило Пореша.

— Пойдемте в дом,— пригласил он, так как на веранде стояло только одно его кресло.

— Нет, нет, не вставайте,— ответил Биной, усаживаясь прямо на пол. Рядом с ним у ног Пореша села и Лолита.

— Мы пришли просить вашего благословения,— сказал молодой человек.— Других обрядов для вступления в жизнь нам не надо.— И когда Пореш-бабу с недоумением посмотрел на него, продолжал: — Я не хочу давать обществу никаких обетов, которые связали бы меня по рукам и ногам. Ваше благословение и будет той скромной церемонией, которая навеки соединит наши жизни истинными узами. Мы благоговейно кладем наши

сердца к вашим ногам и знаем, что вместе с вашим благословением получим и счастье, которое господу угодно даровать нам.

— Так, значит, Биной, ты не станешь брахмаистом? — спросил Пореш-бабу после некоторого молчания.

— Нет,— ответил Биной.

— Ты хочешь остаться правоверным индуистом?

— Да.

Пореш-бабу перевел взгляд на Лолиту, и она, догадавшись, о чем он думает, сказала:

— Отец, я считаю, что моя вера — это мое личное дело. Пусть из-за этого у меня будут трудности в жизни, пусть даже неприятности, но я никогда не поверю, чтобы религия могла встать между мной и людьми, которые не сходятся со мной во взглядах и придерживаются других обычаев. Раньше мне казалось,— продолжала девушка, видя, что отец по-прежнему молчит,— что в мире только и существует один «Брахмо Самадж», все, что находилось за его пределами, терялось для меня во мраке. Я считала, что отойти от «Самаджа» — значит отойти от истины. Но теперь я освободилась от этого заблуждения.

Пореш-бабу грустно улыбнулся.

— Я не сумею объяснить тебе, отец, какая огромная перемена произошла во мне. В «Брахмо Самадже» я встречала многих людей, с которыми у меня не было ничего общего, кроме религиозных убеждений. И мне кажется глупым утверждать, что все те, кто состоит со мной вместе в «Самадже»,— обязательно близкие мне люди, а всех-всех остальных я должна чуждаться.

— Довольно трудно рассуждать трезво, когда человек взбудоражен мотивами личного порядка,— промолвил Пореш-бабу, погладив по спине свою непокорную дочь.— Общество необходимо для сохранения преемственности поколений, и эта необходимость естественна и закономерна. Подумала ли ты о том, что на твоей общине лежит бремя забот о счастье твоего будущего потомства?

— Но ведь есть еще и индуистская община,— вмешался Биной.

— А если она не возьмет на себя ответственности за вас, если она не признает вас?

Биной вспомнил слова Анондомойи.

— Тогда мы должны будем заставить ее взять на себя эту ответственность. Общество индуистов всегда брало под свою защиту молодые религиозные общины, со временем оно может

превратиться в сообщество людей самых разнообразных религиозных направлений.

— Слова одно, а вот когда доходит до дела, все оказывается иным,— возразил Пореш-бабу.— В противном случае неужели кто-нибудь решился бы добровольно оставить свою старую общину? Если общество стремится опутать религиозное чувство человека цепями бессмысленных обрядов и приковать его навечно к одному месту, то получается, что члены его обречены на роль вечных марионеток.

— Но если индуизму свойственна такая узость,— ответил Биной,— наше дело попытаться вывести его из этого состояния. Никто не станет разрушать хороший каменный дом ради того, чтобы впустить в него побольше света и воздуха, если для этого достаточно шире распахнуть двери и окна.

— Отец,— вступила в разговор Лолита,— все, о чем вы говорите, мне не очень понятно. Лично я никогда бы не взяла на себя ответственности в таком деле, как усовершенствование какой бы то ни было религиозной общины. Но со всех сторон меня окружает такая несправедливость, что я просто задыхаюсь, и я не вижу основания, почему я должна молча мириться с этим. Мне не совсем ясно, что я должна делать и чего не должна, но терпеть это я просто не могу.

— А не разумнее ли было бы подождать немного? — ласково спросил Пореш-бабу.— Сейчас ты слишком взволнована.

— Я не против того, чтобы подождать,— ответила девушка.— Но я уверена, что ложь и несправедливые притеснения будут расти чем дальше, тем больше, и очень боюсь, что у меня не хватит сил сдержаться и я натворю что-нибудь такое, что огорчит тебя. Пусть тебе не кажется, что я не думала над всем этим. Я размышляла долго и поняла, что со своими взглядами и образованием вне «Брахмо Самаджа» я обязательно столкнусь с большими трудностями и испытаниями. Но в моей душе нет робости, наоборот, я испытываю радость, чувствую прилив новых сил! Единственно, о чем я беспокоюсь, отец, это как бы не огорчить тебя.— И Лолита нежно дотронулась до ноги Пореша-бабу.

— Видишь ли, дорогая моя, если бы я полагался только на свой ум,— улыбнулся Пореш,— я огорчался бы всякий раз, когда что-нибудь противоречит моим желаниям и убеждениям. Я не думаю, чтобы потрясение, которое пришлось вам испытать, принесло бы вам вред. В свое время я тоже восстал против всех и вся и покинул дом, ни на минуту не задумываясь над

тем, чем это мне грозит. Во всех сложностях, через которые проходит теперь общество, чувствуется рука всевышнего. И разве мне дано знать, что именно желает он создать из этого очищающего хаоса? Что такое для него «Брахмо Самадж» и что такое индуизм? Он видит прежде всего человека.

Пореш-бабу закрыл глаза, как бы погрузившись в уединение своего сердца.

— Послушай, Биной,— заговорил он опять, после некоторого молчания,— ты сам знаешь, что общественное устройство в нашей стране тесно переплетено с религией и, следовательно, ни одна общественная церемония не обходится без религиозного обряда. Ты, конечно, отдаешь себе отчет в том, что для тебя будет невозможно ввести в круг своего общества человека, не придерживающегося ваших религиозных воззрений.

Лолита не поняла до конца смысла этих слов, ибо она никогда не знала, в чем именно заключается разница между «Брахмо Самаджем» и другими религиозными общинами. Она считала, что между обрядами и обычаями разных общин существенной разницы нет. Ей казалось, что расхождение между общинами так же неощутимо, как различия между ее семьей и Биноем. Она даже не подозревала, что существуют какие-то особые препятствия, которые могли бы помешать их свадьбе по обрядам правоверных индуистов.

— Вы имеете в виду, что во время свадебной церемонии нам придется кланяться изваянию божества? — спросил Биной.

— Да,— ответил Пореш-бабу, взглянув на дочь.— Сможет ли Лолита согласиться с этим?

Биной тоже посмотрел на Лолиту и увидел по ее лицу, что при мысли об этом все в ней возмутилось.

Чувство увлекло Лолиту в области, до той поры неведомые ей, и ловушки подстерегали ее здесь на каждом шагу. Жалость охватила Биноя, но вместе с ней пришла и твердая решимость защитить девушку. Ему столь же невыносимо было бы наблюдать, как смертоносные стрелы останавливают ее неукротимый порыв к победе, как и видеть это благородное создание сломленным и побежденным.

Некоторое время Лолита сидела, опустив голову. Затем она подняла на Биноя свои выразительные нежные глаза.

— Вы и в самом деле искренне, всем сердцем почитаете идолов? — спросила она.

— Нет, нет,— без малейшего колебания ответил Биной.— Идол для меня не бог, а всего лишь символ индуизма.

— Но нужно ли проявлять внешние знаки почтения перед

тем, кого вы в душе считаете всего лишь символом? — спросила она.

— Я не допущу поклонения идолу на нашей свадебной церемонии,— твердо заявил Биной, обращаясь к Порешу.

— Ты не продумал всего этого как следует, Биной,— сказал Пореш, вставая.— Ведь этот серьезный шаг касается не только вас. Нельзя забывать, что брак не только личное, но и общественное дело. Мой совет тебе — подожди несколько дней, подумай. Не спеши с решением.

И Пореш ушел в сад и стал гулять там взад и вперед по дорожке.

Лолита тоже направилась было к выходу, но внезапно остановилась и сказала, обращаясь к Биною:

— Если в нашем желании нет ничего плохого, неужели мы отступим с позором только потому, что оно не совпадает с правилами какой-то общины? У меня это не укладывается в голове. Выходит, что лицемерие общество терпит, а справедливость порицает.

Биной медленно подошел к Лолите и, глядя прямо ей в глаза, сказал:

— Я не боюсь никакой общины. Если мы соединимся и приютом нашим будет истина, можно ли во всем мире найти общину выше этой.

И в эту минуту в комнату ворвалась Бародашундори.

— Биной, я слышала, что ты решил не вступать в члены «Брахмо Самаджа»! Это правда? — повышенным тоном спросила она.

— Я отказываюсь от церемонии в общине,— ответил Биной,— но я согласен принять наставление какого-нибудь почтенного гуру.

— Что значит весь этот обман и интриги?! — накинулась на него Бародашундори вне себя от ярости.— Зачем же ты два дня притворялся и уверял, что готов к церемонии? Обманывал меня и всех в «Брахмо Самадже»? А ты подумал о том, что губишь Лолиту?

— Но ведь далеко не все в «Брахмо Самадже» согласны с тем, чтобы Биной сделался его членом,— возразила девушка.— Ты же читала газету. Зачем вообще вступать при таких обстоятельствах?

— Да, но без этого о свадьбе не может быть и речи,— сказала Бародашундори.

— Почему, собственно, не может? — спросила Лолита.

— Вы, что же, собираетесь устроить свадьбу по индуистскому обряду?

— Вполне возможно,— ответил Биной,— я сделаю все, чтобы устранить любые препятствия, которые могут встретиться.

Бародашундори онемела. Когда же оцепенение прошло, она резко сказала:

— Уходи отсюда, Биной! Ступай прочь из нашего дома! И чтобы я больше никогда тебя здесь не видала!

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ

Шучорита была уверена, что сегодня Гора придет. С самого раннего утра ее охватило волнение. Но, радуясь предстоящей встрече, она в то же время испытывала неясный страх; укоренившиеся с детства понятия и привычки на каждом шагу сталкивались с идеями Горы, звавшего ее к новой жизни, и это волновало и тревожило ее.

Вчера, например, увидев, как благоговейно склонился Гора перед идолом, стоявшим в комнате тетки, она была по-настоящему потрясена. И напрасно утешала она себя, говоря: «Ну и что ж из того, что он поклонился идолу. Ничего не поделаешь — такова уж его вера»,— воспоминание об этом продолжало мучить ее.

Всякий раз, замечая в поведении Горы что-нибудь резко противоречащее ее собственным религиозным взглядам, она невольно замирала от страха. Неужели господь так и не дарует ей душевного покоя?

Желая показать хороший пример Шучорите, гордившейся своими современными взглядами, Хоримохини и на этот раз повела Гору в свою молельню. И он снова в почтении склонился перед изваянием.

Как только он спустился в комнату Шучориты, она спросила его:

— Неужели вы действительно верите в идолов?

— Да, я действительно верю,— ответил Гора неестественным, напряженным голосом.

Шучорита опустила голову и ничего не сказала. Кроткая, безмолвная печаль девушки поразила Гору.

— Выслушайте меня,— поспешно проговорил он.— Признаюсь вам: я и сам не знаю — верю ли я в идолов или нет, но я, во всяком случае, уважаю религию народа моей страны. Религиозные обряды, складывавшиеся в течение тысячелетий, не

могут не вызывать у меня чувства благоговения. Я не способен, подобно христианским миссионерам, относиться к ним с презрительной враждебностью.

Шучорита смотрела на него, о чем-то сосредоточенно думая.

— Я знаю,— продолжал он,— что вам трудно до конца понять меня, потому что вы воспитывались в узких понятиях вашей общины и потеряли способность беспристрастно относиться к таким вещам. Когда вы смотрите в комнате у своей тети на изваяние бога, вы видите только камень, я же вижу любящее, исполненное веры и благоговения женское сердце. И могу ли я при этом сердиться или пренебрежительно посмеиваться? Неужели вы считаете, что божество, воплощающее ее сердце,— всего лишь каменный идол?

— Разве вся суть в самом поклонении? Разве для нас не должно иметь значения, чему именно мы поклоняемся? — в свою очередь, спросила Шучорита.

— Иными словами,— проговорил взволнованно Гора,— вы считаете, что поклоняться какому-то вещественному предмету как божеству недопустимо? Но разве вещь определяется только с точки зрения времени и пространства? Вспомните, что, когда вы мысленно повторяете какой-нибудь текст из священного писания, вы испытываете в душе благоговение. Так неужели же, если этот самый текст будет написан на бумаге, вы станете определять его величие числом букв и величиной страниц, на которых он написан? Идея, воплотившаяся в жизнь, всегда неизмеримо мельче, чем ваше представление о ней. Для вашей тети этот маленький идол представляет нечто воистину безграничное, куда большее, чем все необъятное небо, вмещающее луну, солнце и звезды. Вы называете безграничным то, что не ограничено размерами, то, что можно представить себе только зажмурившись. Не знаю, удовлетворяет ли это вас. Всевышнего же вы можете лицезреть и в таком маленьком предмете, как этот идол, и притом широко открыв глаза. Если бы это было не так, могла ли бы ваша тетя так держаться за него, когда в мире для нее уже не осталось никаких радостей? Неужели же великая пустота ее сердца могла быть заполнена крошечным камушком? Ведь это же не игра. Пустота человеческого сердца может быть заполнена только чувством, не имеющим предела.

Шучорите было не под силу возражать против таких неоспоримых доводов, в то же время безоговорочно согласиться с ними она тоже не могла. Какая-то смутная, непонятная тревога охватывала ее душу.

Споря, Гора никогда не чувствовал жалости к противнику,

напротив, он отличался неумолимой жестокостью хищного зверя. Однако безмолвное признание Шучоритой своего поражения смутило его, и он продолжал уже более мягко:

— Я не хотел нападать на ваши религиозные взгляды. Я хотел только сказать, что тот, кого вы так пренебрежительно называете «идолом», просто недоступен вашему пониманию. пока вы представляете его только зрительно. Лишь люди невозмутимого духа, те, кто находит в нем успокоение встревоженному сердцу, прибежище в трудную минуту, знают, смертен он или вечен, ограничен в пространстве или неизмерим. Поверьте мне, ни один верующий в нашей стране не молится вещественному предмету. Молясь ему, они видят мысленным взором того, кто безграничен и велик, и в этом находят счастье.

— Но ведь так самозабвенно молятся далеко не все,— сказала Шучорита.

— А какое имеет значение, чему поклоняются те, у кого нет истинной веры? Чему поклоняются те брахмаисты, в сердце которых веры нет? Все их молитвы теряются в бездонной пустоте, нет, хуже... Это гораздо более страшно, чем пустота. Их бог — община, а жрец — тщеславие. Разве вы никогда не замечали, как чтут в вашей общине это кровожадное божество?

Не отвечая на его вопрос, Шучорита спросила сама:

— Все, что вы говорите о религии, вы говорите на основании собственного опыта?

— Иными словами,— засмеялся Гора,— вы хотите знать, нуждался ли я когда-нибудь в боге? Нет, боюсь, что все мои помыслы были направлены в другую сторону.

Он сказал это вовсе не для того, чтобы обрадовать девушку, однако у нее словно отлегло от сердца. Ей было почему-то приятно узнать, что Гора не так уж компетентен на этот счет.

— Я не претендую на право поучать других в вопросах религии,— продолжал Гора.— Но для меня невыносимо, когда брахмаисты смеются над тем, чему поклоняется мой родной народ. Вы считаете их невеждами и идолопоклонниками. Мне же хочется крикнуть им: «Нет, вы не невежды и не идолопоклонники, вы мудры и истинно благочестивы!»» Когда я подчеркиваю свою набожность, я всего лишь хочу заставить народ Индии осознать все величие основ нашей религии и всю глубину нашего религиозного чувства. Я хочу научить его гордиться сокровищами, которыми он обладает. Я не могу допустить, чтобы народ Индии терпеливо сносил унижения, я не позволю ему оставаться слепым к истине, носителем которой он является, и пренебрегать своими достоинствами. Я полон решимости сде-

лать это. Вот почему я и пришел к вам. С тех пор как я познакомился с вами, ни днем, ни ночью меня не оставляет мысль, которая раньше никогда не приходила мне в голову. Я все время думаю о том, что Индия никогда не проявит себя до конца, пока ей служат одни лишь мужчины. По-настоящему она покажет себя только в тот день, когда ее душа откроется и нашим женщинам. Во мне горит желание взглянуть на свою страну, стоя рядом с вами, увидеть ее одними с вами глазами. Я как мужчина могу только работать и, если понадобится, умереть за мою Индию, но кто, кроме вас, женщин, сумеет зажечь перед ней великий светильник любви? Служение Индии лишится всей своей красоты, если вы останетесь в стороне!

Увы! Где была она, эта Индия? Как далеко от нее находилась Шучорита? Откуда явился этот преданный Индии фанатик, забывший о себе аскет? Почему, растолкав всех вокруг, он подошел и встал рядом с ней? Почему, без колебаний, отметая в сторону все препятствия, он именно ей сказал: «Но без тебя все это напрасно. Я пришел за тобой. Пока ты находишься вдалеке, жертва не будет полной»?

Шучорита и сама не могла понять, почему от этих слов по ее щекам медленно поползли слезы.

Гора смотрел на нее, и ему казалось, что она похожа на чистый и нежный цветок, взбрызнутый росой. Глаза Шучориты были полны слез, но она не опускала их. В них не было ни тени смущения, ни тени робости, и, встретив ее взгляд, юноша дрогнул, подобно тому как содрогается во время землетрясения мраморный дворец. С громадным усилием он овладел собой и отвернулся к окну. Было уже совсем темно. Там, где узкий переулок упирался в улицу, виднелся кусочек неба, черного, как уголь, усеянного яркими звездами. Этот клочок неба и несколько звезд увлекли мысли Горы далеко-далеко прочь от будничных забот, от повседневных дел этого привычного мира. Тысячелетия бесстрастно наблюдали они, как возвышаются и сходят на нет династии царей, равнодушно внимали мольбам и стонам людей. Но сейчас, когда из бездонных глубин жизни к ним долетел зов одного человеческого сердца, обращенный к другому, когда их коснулось дыхание безмолвной тревоги затерянной во вселенной земли, казалось, дрогнули и далекие звезды, и далекое небо.

В эту минуту экипажи и люди, двигавшиеся по улице оживленной Калькутты, показались Горе нереальными, как тени на экране кинематографа. Шумы города не достигали его ушей. Он смотрел в глубь собственного сердца — там было спокойно,

темно и тихо, как в ночном небе, и там сияли нежные глаза, полные слез, и звали его из ниоткуда в никуда...

Гора вздрогнул, услышав голос Хоримохини, которая хотела угостить его чем-то.

— Только не сегодня,— поспешно ответил он,— извините меня, я должен уйти.— И, не дожидаясь ответа, он быстро вышел.

Хоримохини удивленно посмотрела на Шучориту, но та тоже направилась к двери, оставив Хоримохини качать головой в полном недоумении.

Вскоре пришел Пореш-бабу. Не найдя Шучориты в ее комнате, он отправился к Хоримохини и спросил, где она.

— Откуда я знаю,— раздраженно ответила та.— Она долго разговаривала с Гоурмохоном-бабу в гостиной, а теперь, верно, одна бродит по крыше.

— По крыше? В такой холод?! — удивился Пореш-бабу.

— Пусть немного прохладится. Теперешним девушкам холод не вредит.

У Хоримохини сегодня было прескверное настроение. Рассердившись, она даже не позвала Шучориту ужинать, а та тоже забыла о времени.

Шучорита очень встревожилась, увидев на крыше самого Пореша-бабу.

— Пойдем, отец, вниз. Ты простудишься,— позвала она его.

Когда, войдя в освещенную комнату, Шучорита взглянула на Пореша, его измученный вид потряс ее. Все эти годы он был отцом и наставником рано осиротевшей девочки, и вот сегодня ее чуть не увлекли прочь от него, чуть не разорвали все узы, которые связывали их с самого ее детства! Шучорита чувствовала, что никогда не простит себе этого.

Пореш устало опустился на стул, а она, чтобы не показать ему своих слез, встала за его спиной и принялась нежно перебирать его седые волосы.

— Биной отказался вступить в «Брахмо Самадж»,— сказал Пореш.

Шучорита молчала.

— Я не очень огорчен,— продолжал Пореш.— У меня еще раньше были свои сомнения на этот счет. Но из слов Лолиты я заключаю, что она не видит в этом никакого препятствия к своему браку с ним.

— Нет! — с силой сказала Шучорита.— Нет, отец! Этого никогда не должно быть! Ни за что!

Столь бурное проявление чувств было так несвойственно Шучорите, что Пореш невольно удивился:

— Чего никогда не должно быть?

— По какому же обряду они вступят в брак, если Биной не станет брахмаистом?

— По индуистскому.

— Нет, нет! — воскликнула Шучорита, отрицательно тряхнув головой.— Как ты можешь говорить это? Ты и мысли такой допускать не должен! Чтобы после всего Лолита на своей свадьбе кланялась идолу! Я не согласна! Нет, нет!

Уж не потому ли, что всеми мыслями Шучориты завладел Гора, она и восприняла так болезненно известие о том, что свадебная церемония состоится по индуистскому обряду? Своей вспышкой она как бы давала понять Порешу, что она по-прежнему с ним, словно хотела сказать ему: «Я никогда не оставлю тебя. Никто не заставит меня разорвать нити, которыми я связана с твоей общиной, с твоими взглядами, с твоим учением!»

— Биной согласен, чтобы свадьба была без идолопоклоннических обрядов,— сказал Пореш и, когда Шучорита вышла из-за стула и села против него, продолжал: — Что ты скажешь на это?

Шучорита ответила не сразу.

— Но ведь это значит, что Лолита должна выйти из нашей общины!

— Я много думал над этим. Знаешь, Радхарани, когда человек вступает в конфликт с обществом, нужно принимать во внимание два момента: на чьей стороне правда и кто сильнее. Нет никакого сомнения, что общество всегда сильнее, и восставшему, конечно, приходится страдать. Но Лолита не раз говорила мне, что она не только согласна перенести любые невзгоды, но даже рада будет им. Если это правда, я не вижу в ее замужестве ничего плохого и не знаю, вправе ли я помешать ему.

— Но как же все это будет, отец? — спросила Шучорита.

— Я знаю,— ответил он,— что впереди нас ждет много неприятностей, но поскольку в браке Лолиты с Биноем ничего дурного нет, то я, право, не вижу, почему я должен считаться с препятствиями, которые будет ставить на их пути община. Совершенно неправильно, чтобы из уважения к своей общине человек становился узким и ограниченным в своих взглядах и поступках. Напротив, из уважения к нему община должна более широко смотреть на вещи. Поэтому-то я и не могу осуждать тех, кто, сознавая, что их поступки принесут им неприятности, идет на это.

— Больше всего неприятностей придется испытать тебе, отец.

— Об этом не стоит думать.

— Ты уже дал согласие?

— Пока нет, но я дам его. Кто, кроме меня, благословит Лолиту в путь, который она избрала? Кто, кроме господа, может помочь ей?

После того как Пореш-бабу ушел, Шучорита долго сидела в каком-то оцепенении. Она знала, как сильно любит Пореш Лолиту, и ей легко было представить себе, что он должен был пережить, прежде чем решиться позволить любимой дочери сойти с проторенной тропы и шагнуть в неизвестность. И все же, несмотря ни на что, он — очень немолодой человек — готов был помочь ей восстать против всех и не обнаруживал при этом почти никаких признаков тревоги. Он избегал проявлять свои душевные силы, но в минуты кризиса оказывалось, что запас их поистине неисчерпаем!

В другое время ее никогда не поразила бы так эта внутренняя твердость; ведь как-никак она знала его с самого раннего детства. Но сегодня, потрясенная откровениями Горы, она отчетливо поняла, насколько противоположны характеры этих двух людей. Как неукротима сила воли Горы! Как безжалостно он мог все смести со своего пути и подавить чужую волю. Быть с ним заодно — значило беспрекословно подчиняться ему во всем. Сегодня Шучорита подчинила ему свою волю, и в самом унижении этом видела счастье; она чувствовала, что, принося в жертву свою гордость, она обретает нечто неизмеримо большее. Но сейчас, когда ее отец, задумчиво опустив голову, переступил порог освещенной комнаты и исчез во тьме, она не могла не сравнивать его с Горой — сильным, целеустремленным, в расцвете юности,— и невольно испытала желание сложить к ногам Пореша цветы преданности своего любящего сердца. Долго сидела она, уронив на колени руки, безмолвная и неподвижная, как изваяние.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

С самого утра комната Горы стала ареной бурных споров. Раньше всех, посасывая трубку, пришел Мохим.

— Ну что ж, Биной, кажется, наконец разорвал свои цепи? — спросил он Гору.

Не сразу поняв, что имеет в виду брат, Гора вопросительно посмотрел на него.

— Никакого смысла обманывать меня больше нет! Дела твоего приятеля ни для кого не секрет — все кричат об этом. На, посмотри! — И Мохим протянул Горе бенгальскую газету. В ней на самом видном месте была напечатана очень резкая статья по поводу предстоящей церемонии вступления Биноя в члены «Брахмо Самаджа». Грубо и нагло автор писал, что в то время, когда Гора находился в тюрьме, некий видный член «Брахмо Самаджа», имеющий дочерей на выданье, тайно подговорил слабохарактерного юношу порвать со своей древней индуистской общиной, чтобы получить возможность жениться на девушке из брахмаистской семьи.

Когда Гора заявил, что ему ничего об этом не известно, Мохим сначала не поверил, а потом начал возмущаться подлостью Биноя.

— Еще когда он сначала дал слово, а потом стал увиливать от женитьбы на Шошимукхи, мы должны были понять, что он покатился по скользкой дорожке,— волновался Мохим.

Затем прибежал запыхавшийся Обинаш.

— Гоурмохон-бабу, что же это творится? Ведь никому и в голову прийти не могло! Подумать только, Биной-бабу...

Он не смог договорить. Возможность на чем свет стоит ругать Биноя доставляла ему истинное наслаждение, и он даже не мог притвориться, что огорчен происшедшим.

Очень скоро у Горы собрался весь цвет его партии, и вокруг поступка Биноя закипел жаркий спор. Большинство сходилось на том, что удивляться тут нечему: все они неоднократно замечали, что он человек слабый и неустойчивый — по-настоящему, всем сердцем, он никогда не принадлежал к их партии. Многие утверждали, что им просто невыносимо было видеть, как Биной с самого начала пытался стать вровень с Гоурмохоном-бабу. В то время как все остальные почтительно сохраняли подобающую дистанцию между собой и Гоурмохоном-бабу, Биной постоянно навязывался ему, прямо-таки из кожи лез, чтобы показать, что он не такой, как все, и ему под стать только дружба с самим Горой. Всем приходилось мириться с таким надменным отношением Биноя, поскольку он пользовался исключительным расположением Горы, и вот вам налицо печальные последствия...

— Конечно, может, мы не так образованны, как Биной,— говорили они,— и не так умны, как он. Но зато мы никогда не изменяем своим принципам! У нас что она уме, то и на языке! Мы не способны сегодня поступать так, а завтра этак... Называйте это глупостью, тупостью или вообще как хотите.

Гора сидел молча, не принимая никакого участия в разговоре.

Позднее, когда все уже разошлись, Гора вдруг увидел, что по лестнице, минуя его комнату, подымается Биной, и, выскочив в коридор, позвал его:

— Биной, ты, кажется, решил порвать со мной? Может быть, я как-нибудь нечаянно тебя обидел? — сказал Гора, как только они вошли в комнату.

Заранее настроив себя на мысль, что ссоры сегодня не избежать, Биной вошел в комнату в весьма воинственном настроении, но, увидев, как мрачен Гора, уловив нотку обиды в его голосе, он почувствовал, что всю его решительность как рукой сняло.

— Гора, я не хочу, чтобы ты превратно понял меня! В жизни неизбежны всякие перемены, неизбежно приходится многим жертвовать, но это еще не причина, чтобы я мог пожертвовать нашей дружбой.

Некоторое время Гора молчал.

— Ты стал членом «Брахмо Самаджа»? — спросил он наконец.

— Нет, и не стану. Но я считаю, что это вообще большого значения не имеет.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что теперь мне кажется несущественным вопрос, стану ли я брахмаистом или нет.

— Тогда позволь спросить — теперь ты считаешь так, ну, а как ты считал прежде?

Тон Горы заставил Биноя насторожиться.

— Раньше меня охватывало бешенство, когда я слышал, что кто-то собирается стать брахмаистом,— ответил он,— и я благочестиво надеялся, что этого человека постигнет достойная кара. Но теперь со мной этого не бывает. Я пришел к заключению, что против мнения можно бороться только мнением, против довода — доводом, и что возмущаться кем-то потому, что его убеждения не сходятся с твоими, просто дико.

— Значит, ты теперь будешь спокойно относиться к тому, что индуист становится брахмаистом,— заметил Гора,— но если ты узнаешь, что брахмаист хочет совершить покаяние и стать индуистом, ты будешь возмущен до глубины души — в этом только и разница между твоей прежней точкой зрения и теперешней.

— Ты говоришь это просто потому, что очень раздражен, а вовсе не потому, что действительно так думаешь.

— Я говорю так потому, что уважаю тебя,— продолжал Гора,— это совершенно естественно и неизбежно. Будь я на твоем месте, я поступил бы точно так же. Если бы мы могли менять свои религиозные взгляды, как хамелеон меняет цвет кожи, тогда другое дело, но это слишком серьезный вопрос, чтобы подходить к нему так легко. Ведь если бы не существовало никаких препятствий, если бы не было угрозы того или иного наказания, человеку вовсе не нужно было бы напрягать все свои умственные способности, разрешая столь серьезный вопрос, как перемена религии. Человек должен подвергнуться какому-то испытанию, чтобы понять, действительно ли он нашел ту истину, которую искал. И должен быть готов к любым последствиям, даже к возмездию. Жемчужина истины не предлагается даром.

Теперь уже спор разгорелся вовсю. Слова летали словно стрелы и, сталкиваясь, высекали искру.

После долгой словесной битвы Биной наконец встал и сказал:

— Наши с тобой характеры, Гора, абсолютно не сходятся. До сих пор эта разница не проявлялась резко, потому что каждый раз, когда я был не согласен с тобой, я старался подавить это чувство, зная твою нетерпимость, зная, что ты готов разить направо и налево всех, кто расходится с тобой во взглядах. Поэтому, только ради того, чтобы уберечь дружбу с тобой, я вечно должен был насиловать себя. Теперь я наконец понял, что ничего хорошего это не принесло и не могло принести.

— Но скажи мне откровенно, что ты думаешь делать дальше? — спросил Гора.

— Теперь я стою на собственных ногах,— ответил Биной.— Мне не нужно больше думать о том, как бы умилостивить общество, которое представляется мне чудовищем, требующим ежедневных человеческих жертв. Какова бы ни была моя дальнейшая судьба, я не собираюсь больше ходить с петлей его предписаний и запретов на шее.

— Уж не собираешься ли ты, как юный брахман из «Махабхараты», убить соломинкой демона-людоеда? — с издевкой в голосе спросил Гора.

— Не знаю, удастся ли мне убить его соломинкой или нет,— ответил Биной,— но я решительно отказываюсь признать за ним право хватать меня и рвать на части, даже если ему удалось вцепиться в меня.

— Ты говоришь такими аллегориями, что тебя трудно понять! — воскликнул Гора.

— Не понять тебе трудно, а согласиться с тем, что я прав. Ты знаешь не хуже меня, как бессмысленны оковы, при помощи которых общество хочет стеснить нашу волю в таких вопросах, как: что употреблять в пищу, к чему прикасаться, на чем сидеть и так далее, тогда как именно вера предоставляет человеку полную свободу. Но ты оправдываешь эту власть общества, потому что сам по природе властен. Так запомни, пожалуйста, что я не потерплю ничьей тирании. Я признаю требования общины к себе только до тех пор, пока она признает за мной право предъявлять требования и к ней. Если же община не желает видеть во мне живое существо и хочет превратить меня в заводную куклу, то и я перестану приносить ей цветы и елей и буду считать ее бездушным механизмом.

— Короче говоря, ты станешь брахмаистом?

— Нет.

— Но ты женишься на Лолите?

— Да.

— По обряду правоверного индуизма?

— Да.

— И Пореш-бабу согласен на это?

— Вот его письмо,— сказал Биной, протягивая его Горе.

Гора дважды внимательно перечитал письмо Пореша. Заканчивалось оно так:

«Я не скажу, хорошо ли это или плохо с моей точки зрения, не собираюсь говорить и о том, какие радости и горести сулит вам этот шаг. Вы оба знаете мои взгляды, мои религиозные убеждения, знаете общину, членом которой я состою. Знаешь ты, Биной, и то, в каком духе воспитывалась Лолита и какое образование она получила. Вы оба тщательно взвесили все обстоятельства, прежде чем избрали этот путь, и ничего нового я сказать вам не могу. Но не думайте, что я бросил руль, потому что не знал, что сказать вам, потому что так и не смог прийти ни к какому решению. Я очень много думал над этим и понял, что, поскольку к тебе, Биной, я испытываю чувство глубокого уважения, я не вижу, почему ваш брак может быть нежелателен с точки зрения религии, и, следовательно, считаю, что вы не обязаны отступать перед препятствиями, которые воздвигает на вашем пути община. В связи с этим я хочу сказать только — раз уж вы собираетесь нарушить законы своих общин, вы должны духовно стать выше их. Вы должны показать, что в вашей любви, в вашем союзе, таится не только сила, готовая отрицать и разрушать, но и созидательное, умиротворяющее начало. Нельзя, решив столь смело и порывисто этот

вопрос, успокоиться — от вас потребуется немало героизма и в дальнейшем, когда наступят будни вашей жизни,— в противном случае вас ждет печальный конец. Ведь для того чтобы подняться над обыденностью и заурядностью жизни, у вас не будет помощи общества; вы должны будете сделать это сами, своими силами, и если не сумеете, то неминуемо окажетесь ниже толпы. Ваше будущее с его радостями и печалями вызывает у меня много опасений. Но эти опасения не дают мне права мешать вам, ибо только те, кто достаточно смел, чтобы на собственном опыте решать задачи, которые ставит перед нами жизнь, поднимают общество на высшую ступень. Те же, кто просто живет по раз и навсегда установленным правилам, не способствуют развитию общества, а лишь поддерживают его. Поэтому я не стану мешать вам своими страхами и тревогами. Не обращайте внимания ни на какие препятствия, следуйте по тому пути, который вы считаете правильным, и да поможет вам господь! Всевышний никогда не налагает оковы на волю *своих* созданий — постоянными переменами он будит в нас стремление к чему-то новому. И вы, как его помощники в этом, яркими факелами зажгли свои жизни и вступили на трудный, тернистый путь. Да укажет вам дорогу *тот*, кто предначертанным путем ведет весь мир. Я не могу убеждать вас идти тем путем, который избрал я сам. Когда я был молод, как вы, я тоже однажды оттолкнул свою ладью от берега и направил ее навстречу буре, не слушая ничьих предостережений. И никогда не раскаивался в этом. А впрочем, что из того, если бы и пришлось раскаяться? Человек может ошибаться, терпеть неудачи, страдать, но он не может стоять на месте; ради того, что он считает своим долгом, он должен быть готов пожертвовать собой. Только благодаря тому, что поток вечно несет вперед свои воды, и сохраняется чистота священной реки общества. В своем движении вперед поток неизбежно подмывает берега, от этого возможны обвалы, но, преградив путь реке плотиной, чтобы избежать их, мы только превратим ее в тинистый, застоявшийся пруд. Это я знаю твердо, поэтому я отступаю в сторону — пусть сила, которая заставляет вас идти против законов общества, которая увлекает вас прочь от легкого счастья и спокойной жизни, ведет вас! Я склоняюсь перед ней с чувством благоговения и молю, чтобы она вознаградила вас за всю ту клевету и оскорбления, которыми будут осыпать вас, за разлуку с теми, кто дорог вашему сердцу. Пусть ваша жертва не пропадет даром! Пусть *тот*, кто призвал вас на трудный путь, поможет вам достигнуть цели!»

Гора долго молчал.

— Гора, ты должен дать свое согласие,— сказал Биной.— Встань на ту же точку зрения, что и Пореш-бабу.

— Пореш-бабу может дать согласие, он находится в потоке, который размывает берега. Я же — не могу, потому что тот поток, в котором нахожусь я, укрепляет берег. Неисчислимые реликвии прошлых веков стоят на нашем берегу, и мы не может бросить их на произвол разрушительных сил природы. Ругайте нас, делайте с нами что угодно, но мы оденем наш берег в камень. Для нас это место священно, и хотя река год из года покрывала его наносным илом, мы не позволим крестьянам возделывать эти земли. Пусть это приносит нам убытки. На этом берегу нам жить, а не пахать. И нас ничуть не смущают нападки ученых-земледельцев, упрекающих нас в том, что мы избрали для своей цели слишком твердую почву.

— Короче говоря, ты не согласен на наш брак?

— Конечно, нет.

— Следовательно...— начал Биной, но Гора не дал ему договорить.

— Следовательно, я порываю со всеми вами,— сказал он.

— А если бы я был одним из твоих приятелей-мусульман?

— Это совсем другое дело. Когда от дерева отламывается ветка, ей уж никогда не прирасти снова. Но дерево всегда остается опорой лианы, даже поваленная бурей на землю, она может снова подняться и обвиться вокруг него. Но если родное становится чужим, нужно рвать с ним окончательно. Другого выбора нет. Потому-то так суровы правила общества и его запреты.

— Потому-то и нельзя допускать, чтобы окончательный разрыв был возможен из-за пустяков,— ответил Биной.— Может быть, потому так и крепки кости рук и редки их переломы, что не так-то просто эти переломы срастаются... Ты не задумывался над тем, как трудно человеку спокойно жить и работать в обществе, которое при малейшем ударе получает неизлечимые травмы?

— Это не моя забота,— возразил Гора.— Все эти вопросы решает общество, причем настолько вдумчиво и всесторонне, что мне не приходится ломать над этим голову. Как-никак эти вопросы существовали тысячелетия до моего рождения, а общество, как видишь, и не думает распадаться. Ведь не задумываюсь же я над тем, как движется земля вокруг солнца — по прямой или извилистой линии, сбивается ли она с пути или

нет — и пока что никаких неудобств от этого не испытываю. Точно так же отношусь я и к своей общине.

— Знаешь, Гора,— засмеялся Биной,— я столько раз говорил то же самое, и вот сейчас мне приходится выслушивать все это от тебя. Это, конечно, наказание свыше за мои прежние разглагольствования. Но какая польза спорить? Я теперь ясно увидел то, чего не замечал раньше. Я понял, что жизнь человека подобна полноводной реке. По неведомым законам она вдруг сама сворачивает в сторону и силой своего течения прокладывает новое русло там, где никогда не текла раньше. Все эти внезапные повороты и новые непредвиденные русла — не что иное, как воля всевышнего. Река жизни — не искусственный канал, ее не заставишь течь в установленном направлении. И если это понять ясно, то никакие словесные ухищрения в заблуждение ввести не смогут.

— Когда мотылек летит на огонь, он, наверное, пользуется точно такими же доводами,— сказал Гора,— но сегодня я не буду понапрасну тратить время, разубеждая тебя.

— Вот и хорошо,— сказал Биной, поднимаясь со стула.— Тогда я пойду на минутку к матери.

Не успел он выйти, как в комнату медленно вошел Мохим, жуя, как обычно, бетель.

— Ну как, видно, ничего не вышло? — спросил он Гору.— И не выйдет? Ведь я предупреждал тебя, говорил — смотри в оба: он мне уже давно не внушал доверия! Но ты разве будешь меня слушать! Вот если бы тогда поднажать да женить его на Шошимукхи, не о чем было бы и разговаривать теперь. Но ведь никому до этого дела нет. Кто стал бы меня слушать? Если человек сам не понимает, хоть лоб расшиби, ничего ему не докажешь. Вот и дождались, что такой малый, как Биной, ушел из общины. А жаль, жаль!

Гора не отвечал.

— Значит, судя по всему, обратно его уж не заполучишь? — продолжал Мохим.— И ведь подумать, сколько времени он нам голову морочил со свадьбой. Теперь с этим делом мешкать больше нельзя, сам знаешь, как у нас в обществе, попадись только им в лапы — пропал! Есть у меня один жених на примете — да ты не бойся, тебе сватовством заниматься не придется. Я уже сам все устроил.

— Кто же этот жених? — спросил Гора.

— Да этот — твой Обинаш.

— И он согласился?

— Еще бы! Это тебе не Биной! — воскликнул Мохим.—

Нет, что ни говори, но, оказывается, из всей твоей группы только один Обинаш по-настоящему предан тебе. Он прямо заплясал от радости, услышав, что есть возможность породниться с тобой. Это, говорит, для меня счастье и большая честь. Заговорил я о приданом, а он уши зажал и слышать ничего не хочет. Тогда я сказал, что улажу все с его отцом. Но, скажу я тебе, отец совсем не похож на сына, не стал затыкать уши. Наоборот, сам повел такой разговор, что мне было впору затыкать уши. К тому же я заметил, что сынок во всем беспрекословно слушается отца, чуть ли не молится на него. Так что от его посредничества толку не будет. Чтобы закончить дело, придется продать облигации, иначе ничего не получится. Но ты все-таки скажи Обинашу несколько слов. Если он услышит, что ты тоже одобряешь...

— Все равно ни рупии не скинет,— прервал его Гора.

— Это верно,— подтвердил Мохим.— Если сыновье почтение к тому же и выгодно, то его уж ничем не поколеблешь.

— Значит, дело решено бесповоротно? — спросил Гора.

— Бесповоротно.

— И день назначен?

— А то как же! В день январского полнолуния. Не так долго и ждать. Его отец сказал, что можно обойтись без драгоценных камней, но нужны тяжелые золотые украшения. Надо будет посоветоваться с ювелиром, как увеличить вес золота, не увеличивая цену.

— Но к чему такая спешка? — спросил Гора.— Ведь опасности, что Обинаш в скором времени вступит в «Брахмо Самадж», нет.

— Это верно, но ты не заметил, что отец что-то начал сдавать? Врачей не слушает, все будто назло делает. Саньяси, с которым он недавно подружился, велит ему совершать омовение три раза в день, а сверх того заставляет делать такие упражнения по системе йога, после которых у отца зрачки, дыхание, внутренности — все становится не как у людей. Хорошо бы устроить свадьбу Шоши, пока он еще жив. Я бы вздохнул свободно, если бы смог закончить это дело, прежде чем сбережения отца попадут в руки Онкаранондо Свами. Я вчера только разговаривал с отцом и вижу, что трудностей не оберешься. Кажется, придется поманить этого проклятого саньяси гашишем, прибрать его к рукам и заставить помогать нам. Не то, будь уверен, отцовскими денежками попользуются не те, у кого семья на руках и кому они нужны больше всего. Ведь в чем беда-то: отец жениха пристает, требуя денег, а собственный

отец, едва услышит о том, что нужно давать деньги, погружается в созерцание. Что мне, повесить на шею свою одиннадцатилетнюю дочь и утопиться, что ли?

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

— Радхарани, почему ты не ужинала вчера вечером? — спросила Хоримохини.

— Как так? Я поела,— удивилась Шучорита.

— Что же ты ела? — сказала Хоримохини, указывая на тарелки.— Все как было, так и осталось.

Тут только Шучорита поняла, что вчера она даже и не вспомнила об ужине.

— Это нехорошо,— сердито продолжала Хоримохини.— Насколько я знаю Пореша-бабу, он очень не одобряет, когда люди впадают в крайности. Сам-то он уж на что спокойный, увидишь его — и на душе благодать. Что бы он сказал, если бы узнал, как ты себя ведешь?

Шучорите было нетрудно догадаться, на что намекает Хоримохини, и в первое мгновение она почувствовала замешательство. Ей никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может увидеть в ее дружбе с Горой обычные отношения между мужчиной и женщиной и найти в этом повод для косых взглядов и сплетен. Потому-то она и смутилась сначала. Но в следующую же секунду выпрямилась, отложила рукоделие и смело посмотрела в лицо тетке. Она решила раз и навсегда, что не даст никому повода подумать, что она стыдится своих отношений с Горой.

— Ты же знаешь, тетя, что вчера у нас был Гоурмохон-бабу. Я так с ним заговорилась, что забыла об ужине. Тебе бы тоже было интересно послушать, о чем он мне рассказывал.

Но слушать Гору вовсе не представлялось Хоримохини таким уж заманчивым. Она любила благочестивые беседы. Горины же рассуждения насчет веры не шли, по ее мнению, от чистого сердца и никакой радости ей не доставляли. Впечатление было, что Гора в каждом собеседнике видит человека, несогласного с ним, и считает своим долгом переубедить его. Ну хорошо, сокрушая своими доводами несогласных, он заставлял их признать свою правоту; а что он мог сказать тем, кто и не думал оспаривать его мнения? Хоримохини была совершенно равнодушна к тому, что волновало Гору. Ее ничуть не трогало, что брахмаисты хотят жить согласно своим убеждениям и пред-

почитают не смешиваться с индуистами,— лишь бы это расхождение во взглядах не грозило ее отношениям с близкими людьми, а до остального ей не было никакого дела. Поэтому разговоры с Горой не представляли для нее никакого интереса. Когда же она поняла, что Шучорита все больше и больше подпадает под влияние Горы, эти разговоры стали ей просто неприятны. В материальном отношении Шучорита была совершенно независима от нее; так же самостоятельна была она и в своих мнениях, вопросах веры, поведении, и Хоримохини никак не удавалось хоть в чем-то заставить ее беспрекословно подчиняться себе. А ведь на склоне лет Радхарани была ее единственной опорой! Поэтому стоило Хоримохини подумать, что кто-то, кроме Пореша-бабу, пробует повлиять на Шучориту, как она начинала тревожиться. Старой женщине казалось, что Гора неискренен, что просто он хочет хитростью завладеть сердцем Шучориты. Хоримохини даже подозревала его в том, что главной его целью было прибрать к рукам состояние племянницы. Одним словом, Гора был первым врагом Хоримохини, и она решила сделать все возможное, чтобы расстроить его планы.

Гора не обещал, что придет сегодня, и, собственно говоря, никаких особых причин приходить ему не было. Но нерешительность отнюдь не была свойственна его натуре: если он принимался за что-нибудь, то не задумывался над последствиями, не знал колебаний, а устремлялся к цели прямо, словно стрела.

Когда рано утром Гора пришел к Шучорите, Хоримохини была на молитве. Шучорита же приводила в порядок стол и разбирала книги, тетради, бумаги и не особенно удивилась сообщению Шотиша о приходе Гоур-бабу. Она была уверена, что Гора обязательно придет.

— Итак, Биной все-таки порвал с нами,— сказал он, опустившись на стул.

— Как порвал? — спросила Шучорита.— Ведь он же не вступил в «Брахмо Самадж».

— Он был бы ближе нам, если бы вступил в «Брахмо Самадж». Нам больнее всего именно то, что он продолжает цепляться за индуизм. Было бы лучше, если бы он совсем оставил нашу общину.

— Но почему вы придаете общине такое исключительное значение? — спросила задетая за живое Шучорита.— Разве естественна для вас слепая преданность? Или, может быть, вы только заставляете себя так относиться к ней?

— При нынешних обстоятельствах такое отношение к об-

щине совершенно естественно для меня. Когда почва у вас под ногами начинает колебаться, приходится вырабатывать цепкую, твердую походку. Мы кругом наталкиваемся на противодействие, поэтому, конечно, в наших словах и делах проявляется известная крайность. Это вполне закономерно.

— А почему вы считаете, что противодействие, которое вы видите вокруг, с начала и до конца несправедливо и ненужно? — спросила Шучорита.— Если община становится препятствием на пути к прогрессу, она обязательно подвергается нападкам.

— Прогресс подобен волнам в реке, которые подмывают берег,— возразил Гора.— Но я не считаю, что у берега нет способа помешать этому. Не думайте, что я совсем уж не задумываюсь над тем, что хорошо и что плохо в нашем обществе. Разобраться в этом настолько легко, что в наши дни судьями стали даже шестнадцатилетние подростки. Гораздо труднее почитать и любить все это.

— Но разве почтение и любовь обязательно приводят к познанию истины? — спросила Шучорита.— Разве любовь свободна от ошибок? Скажите мне, неужели вы оправдываете идолопоклонство? Неужели вы в самом деле искренне верите в идолов?

Некоторое время Гора молчал.

— Я постараюсь чистосердечно объяснить вам свою точку зрения,— начал он.— Сначала я искренне верил во все это и не считал своим долгом осуждать идолопоклонство только потому, что оно не принято в Европе, и потому, что против него можно выдвинуть несколько дешевых возражений. Сам я специально никогда не занимался религиозными вопросами, но я не собираюсь бессмысленно твердить, что культ формы и идолопоклонство — одно и то же или что всякое богопочитание не сводится в конце концов к поклонению изваянию божества. В искусстве, литературе, даже истории и других науках находится место воображению, и я никогда не соглашусь с тем, что только религия не имеет на него права. Именно в религии полностью раскрывается все совершенство духовных сил человека. И неужели вам не кажется, что наша попытка сочетать воедино воображение, познание и любовь, нашедшая выражение в культе изваяний божества, не открывает человеку гораздо более значительную истину, чем все, что делается в других странах?

— Но ведь и в Греции и Риме тоже поклонялись статуям богов,— возразила Шучорита.

— В этих странах статуи нужны были не столько для выражения религиозных чувств, сколько для поклонения красоте, тогда как у нас, в Индии, воображение тесно переплетено с нашей философией и нашей верой. Возьмите наших Радху и Кришну, Шиву и Дургу — дело совсем не в том, что именно они были в течение многих веков объектами поклонения нашего народа, а в том, что в них нашла выражение древняя философия нашей расы. Именно на этих образах выросло богопочитание Рампрошада и Чойтонно. Разве в истории Греции и Рима вы найдете примеры столь глубокого благочестия?

— Но неужели вы не допускаете, что с течением времени меняются и религия и общество? — спросила Шучорита.

— Как могу я не допускать этого! — воскликнул Гора.— Но изменения эти должны быть обоснованными. Ведь и человек тоже меняется. Ребенок постепенно вырастает в мужчину, однако ж человек не может внезапно стать кошкой или собакой. Перемены в жизни Индии должны совершаться именно своим, индийским, путем, если же они вдруг начнут повторять факты английской истории, то ничего, кроме нелепости и абсурда, из этого не выйдет. Я готов отдать свою жизнь, чтобы доказать всем, что все могущество нашей родины, ее величие заключается в ней самой. Неужели вы не понимаете этого?

— Нет, я понимаю,— ответила Шучорита.— Только раньше я никогда не слышала ничего подобного и не задумывалась над этим. Знаете, когда попадаешь в новое место, нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке. Так теперь и со мной. Может быть, это потому, что я женщина и недостаточно умна, чтобы разобраться во всем этом.

— Нет, нет! — воскликнул Гора.— Очень многие мужчины, из тех, с кем я без конца разговаривал на эти темы, были убеждены, что великолепно во всем разбираются, но, уверяю вас, ни один из них не был способен видеть то, что увидели вы. Я с первого же раза почувствовал, что вы на редкость проницательны и умны. Вот почему я стал так часто приходить к вам и поверять вам свои сокровенные мысли. Я, ни на минуту не задумываясь, открыл вам все надежды моей жизни.

— Мне очень неловко, когда вы так говорите,— смущенно сказала Шучорита.— Я не могу понять, какие надежды вы возлагаете на меня, на что я способна и что должна буду делать; не знаю, смогу ли я выразить чувства, вдруг овладевшие мной. Одного я боюсь — вдруг когда-нибудь вы увидите, что совершили ошибку, поверив в меня?

— Здесь не может быть ошибки! — прогремел Гора.—

Я покажу вам, какая громадная сила заложена в вас. Не беспокойтесь — я беру на себя заботу помочь вам проявить свои способности. Доверьтесь мне!

Шучорита не отвечала, но ее молчание красноречивее слов говорило о том, что она вполне готова довериться. Молчал и Гора. В комнате воцарилась тишина. С улицы доносились возгласы старьевщика, но мало-помалу звон медной посуды, которую он продавал, затих, и его голос замер вдали.

Окончив свою молитву, Хоримохини отправилась на кухню. Ей и в голову не пришло, что в комнате Шучориты, откуда не слышно было ни звука, кто-то есть. Но, заглянув мимоходом к племяннице, она увидела Шучориту и Гору, погруженных в безмолвную задумчивость, и от возмущения даже вздрогнула, словно молния ударила ей в сердце. Немного овладев собой, она подошла к двери и позвала:

— Радхарани!

Шучорита встала и подошла к ней.

— Сегодня у меня постный день,— сказала Хоримохини ласково,— и что-то ослабела я. Пожалуйста, пойди на кухню и разведи огонь, а я пока посижу с Гоурмохоном-бабу.

Шучорита прекрасно поняла замысел тетки и пошла в кухню сильно обеспокоенная. Тем временем Гора почтительно склонился перед Хоримохини и взял прах от ее ног. Она опустилась на стул и сидела некоторое время, поджав губы.

— Ты ведь не брахмаист? — спросила она наконец.

— Нет,— ответил Гора.

— Ты уважаешь нашу индуистскую общину?

— Конечно, уважаю.

— Так почему же ты так ведешь себя? — выпалила она вдруг.

Не понимая, в чем его обвиняют, Гора молча устремил на Хоримохини вопросительный взгляд.

— Радхарани уже не маленькая,— продолжала Хоримохини,— вы с ней не родственники, о чем это у вас могут быть такие разговоры? Она девушка, у нее по дому работы много, и незачем ей вовсе столько времени на пустую болтовню тратить. Ты — человек развитой, тебя вон как все хвалят! Так скажи же на милость, где это у нас видано, чтобы девушки так себя вели? Или, может, священное писание это одобряет?

Гора был совершенно потрясен таким оборотом дела. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то может косо смотреть на его отношения с Шучоритой.

— Я не видел в этом ничего особенного,— попытался оправдаться он.— Ведь она член «Брахмо Самаджа», и я знал, что она свободно встречается со всеми.

— Хорошо, пусть Шучорита член «Брахмо Самаджа», а это что, по-твоему, хорошо? — воскликнула Хоримохини.— Вот ты своими речами людей будоражишь, к истине призываешь, а как ты думаешь, смогут они тебя уважать, если увидят, как ты ведешь себя? Вчера ты с ней до поздней ночи разговаривал — и все тебе мало. Сегодня опять пришел с самого утра. Она ни в кладовую не заглянула, ни в кухню, не подумала даже о том, что сегодня я пощусь и нужно помочь мне хоть немного. Этому, что ли, ты ее учишь? В вашей семье тоже есть девушки. Так, может, ты и их отрываешь от домашних дел и читаешь им свои наставления? Что-то я этого не думаю, а если бы кто-нибудь еще этим занялся, тебе бы это не понравилось.

Гора не находил ответа.

— Я как-то не задумывался над этим,— заметил он,— ведь она воспитывалась именно в таком духе.

— Про воспитание ты лучше помолчи! — закричала Хоримохини.— Пока Радхарани со мной и я жива, я этого не допущу! Я уже кое в чем вернула ее на истинный путь. Мы еще когда у Пореша-бабу жили, сплетни пошли, что она, как повелась со мной, так и стала правоверной индуисткой. А только мы сюда переехали, как пошли эти споры бесконечные с вашим Биноем, и опять все вверх дном! Он, кажется, на брахмаистке собирается жениться? Ну что ж — воля его! Не успела я от Биноя избавиться, еще один повадился ходить — Харан-бабу какой-то! Он только на порог, а я с ней сразу наверх, в свою комнату. Так он ничего и не добился. Ну, думала я, не пропали даром мои старания: образумилась немного. Сначала, когда мы поселились здесь, она ела, не обращая внимания на то, кто прикасался к пище, но сейчас я вижу, что с этими глупостями покончено. Вчера сама приготовила рис, сама принесла его из кухни. Запретила слуге приносить воду. И теперь я молю тебя: не отнимай ее у меня! Все, кто был у меня в этом мире,— умерли. Осталась только одна она. Да и у нее, кроме меня, родных-то никого нет. Не трогай ты ее! Ведь у них в семье есть еще девушки — Лабонне, Лила. Они тоже умные да образованные. Если тебе нужно им что-нибудь сказать, иди да говори, никто тебе и слова не скажет.

Гора сидел совершенно ошеломленный.

— Ты сам посуди,— продолжала Хоримохини, помолчав

немного,— ведь ей уж замуж пора, года-то подошли. Неужели ты думаешь, что она всю жизнь будет в девушках сидеть? Женщине нужен свой дом.

Гора был вполне с этим согласен. Его взгляды на роль женщины ничем не отличались от взглядов Хоримохини, но он никогда, даже в мыслях, не относил их к Шучорите. Воображение отказывалось представить ему Шучориту, хлопочущую по хозяйству в доме мужа. Ему казалось, что она всегда будет жить, как сейчас.

— А вы уже думали о замужестве своей племянницы? — спросил он.

— Кто-то ведь должен об этом подумать,— ответила Хоримохини,— если я не позабочусь, так кто же еще?

— Но разве можно будет выдать ее замуж за кого-нибудь из правоверных индуистов?

— Нужно попытаться,— сказала Хоримохини.— Если ничего не случится и все пойдет гладко, думаю, что сумею это сделать. Про себя-то я уже все решила. Но пока она в таком настроении, у меня не хватает смелости предпринять что-нибудь. Однако за последние два дня я замечаю, она стала податливее; буду надеяться, что дело выйдет.

Гора чувствовал, что не следует больше расспрашивать Хоримохини о ее планах, но удержаться не мог.

— И у вас уже есть жених на примете? — спросил он.

— А как же,— ответила Хоримохини,— прекрасный человек — Койлаш, мой младший деверь. Недавно у него умерла жена. И он как раз ищет себе подходящую девушку постарше, а то такой бы не засиделся. Лучшего жениха не придумаешь.

Чем глубже впивался острый шип в его сердце, тем больше вопросов относительно жениха задавал Гора Хоримохини.

Выяснилось, что из всех братьев мужа Хоримохини Койлаш самый образованный, чем он был обязан исключительно самому себе. Хоримохини не могла объяснить, чему именно он учился, но, как бы то ни было, в семье он слыл ученым. Однажды он послал в почтовое управление жалобу на деревенского почтмейстера и так ловко все описал по-английски, что какой-то большой господин из управления сам приезжал проводить расследование. Вся деревня была поражена талантом Койлаша. Однако, несмотря на такую ученость, благочестие его не уменьшилось ни на йоту, так же как и приверженность старым обычаям.

Выслушав всю историю Койлаша, Гора встал, поклонился

Хоримохини и молча вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он увидел Шучориту, которая что-то делала в кухне, находившейся на другом конце двора. Услышав его шаги, Шучорита подошла к двери, но Гора поспешно вышел на улицу, не оборачиваясь, и она, тяжело вздохнув, вернулась к своим делам.

Выходя из переулка, Гора повстречался с Хараном-бабу.

— В такой ранний час! — усмехнулся Харан.

Гора ничего не ответил, но Харан, кивнув в сторону дома Шучориты, продолжал:

— Что, у них были? Шучорита дома?

— Да,— ответил Гора и торопливо зашагал прочь.

Войдя в дом, Харан-бабу через открытую дверь кухни сразу же увидел Шучориту. Путь к бегству для девушки был отрезан. Не было поблизости и тетки.

— Я только что повстречался с Гоурмохоном-бабу,— заметил Харан.— Он, наверное, был здесь?

Не отвечая ни слова, Шучорита начала энергично переставлять горшки исковородки, всем своим видом показывая, что страшно занята и что ей буквально дохнуть некогда, не то что разговаривать. Но это нисколько не смутило Харана-бабу. Он остановился в дверях и вступил с ней в разговор, несмотря на то, что Хоримохини уже несколько раз предостерегающе кашлянула, остановившись на лестнице за его спиной. Хоримохини, конечно, и сама могла бы подойти к Харану-бабу, но она отлично понимала, что стоит ей хоть раз показаться ему, и потом уж ни ей, ни Шучорите не будет покоя от этого чрезмерно напористого молодого человека. Поэтому, едва завидев Харана-бабу, Хоримохини сразу же опускала на лицо покрывало с поспешностью, достойной молоденькой новобрачной.

— Шучорита, отдаешь ли ты себе отчет в том, что ты делаешь? К чему идешь? — разглагольствовал Харан-бабу.— Ты, я полагаю, знаешь, что Лолита с Биноем вступают в брак по индуистскому обряду? Ты знаешь, кто в этом виноват?

Не дождавшись от Шучориты никакого ответа, Харан-бабу понизил голос и торжественно заявил:

— Виновата ты!

Харан-бабу предполагал, что Шучорита дрогнет пред лицом столь тяжкого обвинения, но, увидев, что она по-прежнему занимается своим делом, не обращая на него никакого внимания, он вложил в свой голос еще больше торжественности и, грозя пальцем, продолжал:

— Я повторяю, Шучорита: виновата ты! Можешь ли ты сказать, положа руку на сердце, что не провинилась ни в чем перед «Брахмо Самаджем»?

Шучорита молча поставила на огонь сковородку с маслом, которое начало громко шипеть и брызгать во все стороны.

— Это ты ввела в дом Биноя-бабу и Гоурмохона-бабу, это ты превозносила до небес их достоинства, так что они стали теперь для вас дороже, чем самые уважаемые старые друзья из «Брахмо Самаджа»! Теперь ты видишь, к чему это привело. Разве я не предостерегал с самого начала? И вот что получилось! Кто теперь остановит Лолиту? Ты, наверное, думаешь, что на этом кончатся все невзгоды? Нет! Я пришел предостеречь тебя: теперь твоя очередь. Ты, конечно, теперь раскаиваешься, видя беду, которая постигла Лолиту, но помни — недалек тот день, когда и ты скатишься так низко, что тебе уже ничто не поможет. Но еще не поздно, одумайся, Шучорита! Вспомни, какие радужные надежды связывали нас когда-то, каким светлым казался нам наш долг перед жизнью, как широко расстилалось перед нами будущее «Брахмо Самаджа»! Вспомни все те великие решения, которые мы принимали вместе, как заботливо подготавливались к предстоящему нам длинному жизненному пути! И ты думаешь, что все это исчезло? Нет, нет! Оглянись! Ты увидишь, что нивы наших надежд цветут по-прежнему. Вернись, Шучорита!

Овощи в кипящем масле начали отчаянно брызгаться, и Шучорита, умело действуя лопаточкой, стала переворачивать их. Харан-бабу умолк, чтобы посмотреть, какое действие произвел его призыв к покаянию. Но Шучорита отставила с огня сковородку, повернулась и, глядя Харану прямо в глаза, сказала твердо:

— Я индуистка.

— Ты индуистка?! — повторил захваченный врасплох Харан-бабу.

— Да, я индуистка,— повторила Шучорита и, снова поставив сковородку на огонь, принялась быстро мешать овощи.

— Очевидно, Гоурмохон-бабу с утра до вечера наставляет тебя в индуистской вере? — резко спросил Харан, несколько оправившись от первого потрясения.

— Да, я от него приняла посвящение,— ответила девушка, не поворачивая головы.— Он мой гуру.

До сих пор Харан-бабу полагал, что духовным наставником Шучориты является он сам. Ему не было бы так тяжело, если бы она сказала, что любит Гору, но услышать из ее уст,

что Гора похитил у него право быть ее гуру, было для него равносильно удару ножом в самое сердце.

— И ты воображаешь, что раз уж твой наставник такая заметная фигура, то индуистская община должна будет принять тебя?

— Меня это не интересует, я в таких делах мало разбираюсь. Я знаю одно: я — индуистка.

— А тебе известно, что уже одного того факта, что ты так долго оставалась незамужней, достаточно, чтобы индуистская община отвергла тебя?

— Не тревожьте себя зря на этот счет. Запомните, я — индуистка.

— Значит, у ног своего нового наставника ты забыла даже религиозные наставления, полученные от Пореша-бабу! — вскричал Харан-бабу.

— Господь моего сердца знает, во что я верю и чему поклоняюсь, и обсуждать свои взгляды с кем бы то ни было я не собираюсь,— сказала Шучорита.— Но прошу вас запомнить раз и навсегда, что я — индуистка!

— А я тебе говорю,— закричал потерявший самообладание Харан-бабу,— что, будь ты хоть самой что ни на есть правоверной индуисткой, ничего ты этим не добьешься! Гоурмохон-бабу — это тебе не Биной. Не надейся, что ты его поймаешь, хоть до хрипоты кричи, что ты — индуистка! Чего проще играть в наставники, а вот насчет того, что он сделает тебя хозяйкой в своем доме, ты и не мечтай!

Забыв на минуту о своей стряпне, Шучорита резко повернулась к Харану.

— Что вы сказали?!

— Я сказал, что Гоурмохон-бабу никогда и не подумает на тебе жениться.

— Жениться? — В глазах Шучориты загорелся опасный огонек.— Разве я вам не говорила, что он мой гуру?!

— Это-то ты мне говорила. Но мы умеем читать и между строк!

— Уходите отсюда сейчас же! — крикнула Шучорита.— Вы не смеете оскорблять меня! И запомните — с сегодняшнего дня я больше никогда не покажусь вам.

— Не покажешься? А еще бы ты показалась! Ведь ты теперь затворница! Правоверная индуистка! «Невидимая даже солнцу»! Чаша грехов Пореша-бабу теперь полна до краев. Пусть он на старости лет пожинает, что посеял, а я больше вас знать не хочу.

Шучорита громко захлопнула дверь кухни, потом бросилась на пол и заткнула рот краем сари, с трудом заглушая рыдания, тогда как Харан-бабу с почерневшим от злости лицом выскочил на улицу.

Хоримохини слышала весь разговор от начала до конца. То, что сегодня сказала сама Шучорита, превзошло все ее самые смелые мечты, и сердце ее переполнилось радостью.

«А почему бы и нет? — восклицала она про себя.— Я ли не молилась всевышнему! Неужели эти молитвы могли быть не услышаны? — И она тотчас же отправилась в молельню. Распростершись перед изваянием своего бога, Хоримохини дала обет отныне увеличить количество приношений. До сих пор ее молитвы отличались спокойствием и сосредоточенной печалью, но сегодня, увидев, что сбываются ее эгоистические надежды, она молилась пылко, нетерпеливо и в высшей степени настойчиво.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Еще ни с кем и никогда не разговаривал Гора так, как с Шучоритой. До сих пор он лишь высказывал слушателям свои мнения, давал распоряжения, произносил перед ними речи. Шучорите же он открыл свою душу. И радость, которую он испытал при этом, не только вдохнула новую силу в его мысли и решения, она одухотворила их. Ему казалось, что жизнь его приобрела какую-то особенную красоту, что сам господь благословил его самоотречение и аскетизм, покропив их божественным нектаром. Весь во власти этого радостного чувства, Гора день за днем приходил к Шучорите, нисколько не задумываясь о последствиях своего поведения, пока сегодня разговор с Хоримохини не напомнил ему, что в свое время он беспощадно высмеивал и упрекал Биноя за столь же слепое увлечение. Он даже испугался, поняв, что помимо своей воли сам оказался в положении Биноя. Гора призвал на помощь все свое мужество, как это делает слепой, натолкнувшийся на что-то в незнакомом месте и замерший в страхе. Ведь он неоднократно утверждал, что только благодаря самоограничению и неукоснительному выполнению древних законов Индии удавалось в течение многих столетий выстоять в борьбе против вражеских сил, в то время как многие могущественные нации исчезли бесследно. Он не допускал никаких послаблений в этом отношении, он говорил, что можно разграбить богатства страны, но что душа ее, защищенная этими суровыми законами, останется непри-

косновенной и ни один тиран не сумеет даже приблизиться к ней. «Пока мы порабощены другим народом, мы должны неукоснительно соблюдать свои законы,— призывал Гора.— Теперь не время разбирать, что в них хорошо, что плохо. Когда тонущий человек в надежде спастись хватается за первый попавшийся предмет, он не рассуждает, красив ли этот предмет или безобразен». Все это Гора повторял и не раз и не два. Во все это он верил и сейчас с такой же силой, как прежде. Поэтому, когда Хоримохини разбранила его, он испытал боль вроде той, что испытывает благородный слон, когда его колют анкушем.

Подходя к дому, Гора увидел Мохима, который сидел на скамейке без рубашки и блаженно курил. Сегодня контора не работала и он был свободен. Он вошел в дом вслед за Горой и сказал ему:

— Послушай, Гора, мне нужно с тобой поговорить. Ты на меня не сердись,— продолжал он, когда они вошли в его комнату и уселись там,— но я хочу задать тебе один вопрос — уж не заразился ли и ты той же болезнью, что и Биной? Что-то ты очень уж зачастил туда и подружился с ними.

— Не бойся,— ответил, покраснев, Гора.

— Как знать, как знать! Положение вещей мне что-то не очень нравится. Ты думаешь: проглотишь кусочек — и домой? Не тут-то было! Внутри-то этого кусочка — крючок! На примере своего друга можешь убедиться. Постой, куда же ты? Я еще самого главного не сказал. Говорят, что женитьба Биноя на этой брахмаистке — дело решенное. Но я заранее предупреждаю тебя, что после этого у нас с ним не может быть ничего общего.

— Само собой разумеется.

— Могут быть неприятности, если мать заупрямится. Мы люди семейные, и без того сколько трудностей нужно одолеть, пока отдашь замуж да переженишь детей, а если вдобавок у нас тут «Брахмо Самадж» обоснуется, лучше мне совсем отсюда ноги уносить, да поживее.

— Нет, этого не будет,— заверил Гора.

— Дело с замужеством Шоши более или менее улажено,— продолжал Мохим.— Но свекор будущий ни за что не удовлетворится, если в придачу к невесте не получит еще и хороший куш золота. Он, видно, хорошо знает, что человек относится к скоропортящимся товарам, а золото сохраняется куда дольше. Его главным образом интересует не пилюля, а то, чем ее запивают. Просто стыдно называть его свекром, так

он нагло требует денежки! Эта свадьба вскочит мне в хорошую монету — зато я получил неплохой урок, пригодится, когда буду женить сына. Эх, родиться бы мне снова! Вот было бы дело. Тогда бы я устроил свадьбу по всем правилам и отца своего заставил бы быть посредником. Будь уверен, уж тогда бы я извлек все выгоды из того, что родился мужчиной. Разорить дотла отца невесты — вот поступок, достойный мужчины! Да, что бы ты там ни говорил, а меня не особенно прельщает перспектива днем и ночью воспевать победу индуизма. Голос что-то не звучит. Моему Тинкоре сейчас всего четырнадцать месяцев — жене потребовалось много времени, чтобы исправить ошибку, которую она совершила, родив первой дочь. Как бы там ни было, Гора, ты уж в союзе со своими приятелями поддержите как-нибудь индуизм, пока мой сын не подрастет настолько, чтобы жениться, а там — пусть вся страна станет мусульманской, или христианской, или еще какой-нибудь — мне до этого нет дела!

Гора встал.

— Так вот я и говорю,— продолжал Мохим,— незачем приглашать Биноя на свадьбу Шоши. Слишком глупо давать повод к новым неприятностям. Ты уж предупреди как-нибудь мать.

Придя в комнату матери, Гора увидел, что Анондомойи сидит у стола и, надев очки, подводит какие-то счета. Увидев сына, она сняла очки и закрыла тетрадь.

— Садись! — сказала она.

Гора сел.

— Мне нужно кое о чем посоветоваться с тобой,— продолжала Анондомойи после того, как Гора сел.— Ты, конечно, знаешь о предстоящей свадьбе Биноя?

Гора молчал.

— Его дядя очень рассердился. Никто из родных на свадьбу ни приедет. Сомневаюсь, чтобы свадьбу можно было устроить в доме Пореша-бабу, так что все эти заботы свалятся на самого Биноя. Вот я и думаю: не использовать ли нам для этой цели второй этаж дома с северной стороны, нижний этаж занят, а верхний до сих пор без жильцов. Мне кажется, это было бы очень удобно.

— Что ж тут удобного?

— Кто же, кроме меня, присмотрит за всеми приготовлениями? Ведь ему самому все это будет не под силу. А если устроить свадьбу у нас, я очень просто смогу все это сделать.

— Это невозможно, ма,— решительно сказал Гора.

— Почему? Я уже получила согласие хозяина дома.

— Нет, ма,— продолжал Гора.— Не надо устраивать свадьбу здесь. Уверяю тебя, что это лишнее, послушай меня.

— Но почему? Ведь Биной женится не по брахмаистскому обряду.

— Бесполезно спорить на этот счет. Общество такими доводами не убедишь. Биной волен делать все, что ему угодно, но мы согласиться на этот брак не можем. В Калькутте много других домов. В конце концов, у него есть свой дом.

Анондомойи и сама знала, что в Калькутте есть много мест, где можно устроить свадьбу, но она не могла примириться с мыслью, что несчастному Биною, отвергнутому родными и друзьями, придется для этой цели довольствоваться наемным помещением. Поэтому-то ей и пришло в голову воспользоваться пустующей квартирой в их доме. Если бы Анондомойи не предвидела взрыва возмущения со стороны общества, она с большой радостью устроила бы все это у себя.

— Если тебе так неприятна эта мысль,— со вздохом сказала она,— придется, очевидно, снять какой-нибудь другой дом. Но мне это будет очень трудно. Впрочем, что толку говорить, раз это неосуществимо.

— Но, ма, ты вообще не должна присутствовать на этой свадьбе,— возразил Гора.

— Что ты говоришь, Гора?! — воскликнула Анондомойи.— Если я не пойду на свадьбу нашего Биноя, то кто же пойдет, хотела бы я знать?

— Нет, это невозможно, ма,— настаивал Гора.

— Ты можешь расходиться с Биноем во взглядах, Гора, но разве это причина, чтобы вы стали врагами?

— Ты несправедлива, ма! — горячо воскликнул он.— Мне очень тяжело оттого, что я не смогу разделить радость Биноя на его свадьбе. Кому, как не тебе, знать, как искренне я люблю его. Но ведь вопрос тут совсем в другом — вражда и дружба не имеют к этому никакого отношения. Биной принял решение, отлично сознавая, каковы будут последствия. Не мы отвернулись от него, он сам отверг нас, и он великолепно отдавал себе отчет в том, что его ждет.

— Да, Гора. Биной знал, что ты не захочешь принимать никакого участия в его свадьбе. Все это так. Но знал он также и то, что я никогда не отступлюсь от него в такую важную для него минуту. Я могу с уверенностью сказать: если бы Биной знал, что я не дам благословения его невесте, он скорее бы умер,

чем согласился на этот брак. Разве я не знаю своего Биноя? — закончила Анондомойи, смахнув слезу.

Тяжесть на сердце, которую уже давно испытывал Гора при мысли о Биное, увеличивалась с каждой минутой. Но он все же возразил:

— Но ведь ты же член общины, ма. У тебя есть обязательства по отношению к ней. Разве можно забывать об этом?

— Как будто ты не знаешь, Гора, что я уже давно не имею ничего общего с общиной! — воскликнула Анондомойи.— Потому-то меня и ненавидят там, потому-то и я предпочитаю держаться в стороне.

— Эти твои слова, ма, огорчают меня больше, чем что бы то ни было.

Анондомойи словно обняла Гору нежным взглядом своих наполненных слезами глаз.

— Милый мой мальчик,— сказала она.— Господь свидетель, что, как мне ни жаль, я не могу избавить тебя от этого огорчения.

— Тогда мне остается одно,— сказал Гора, вставая,— я пойду к Биною и скажу ему, чтобы он постарался устроить свою свадьбу так, чтобы это не испортило еще больше твоих отношений с общиной. Иначе это будет очень нехорошо и эгоистично с его стороны.

— Ладно,— улыбнулась Анондомойи,— делай как знаешь. Поди и скажи ему, а я посмотрю, что из этого выйдет.

После того как Гора ушел, Анондомойи долго сидела в раздумье, затем медленно поднялась и пошла в комнаты мужа.

Был одиннадцатый день лунного месяца — день воздержания и поста. В комнатах Кришнодояла не было никаких признаков приготовления пищи. Сам он сидел на полу на шкуре антилопы и читал новый бенгальский перевод религиозной книги индуистов.

При появлении жены он очень встревожился, но она остановилась на почтительном расстоянии от него и, усевшись на пороге комнаты, сказала:

— Послушай, мне кажется, что мы совершаем большой грех.

Кришнодоял уже давно отстранился от всех мирских дел — и хороших и греховных, они нимало не трогали его, поэтому он равнодушно спросил:

— Какой именно?

— Оставлять Гору в неведении больше нельзя ни одного дня. Ведь в конце концов положение все более и более запутывается.

Когда Гора заговорил о необходимости покаяния и очищения, эта же мысль возникла и у Кришнодояла, но затем, увлеченный детальным изучением системы йога, он уже не нашел времени как следует подумать об этом.

— Переговоры о свадьбе Шошимукхи подходят к концу,— продолжала Анондомойи.— Она, вероятно, состоится где-то в феврале. До сих пор, если у нас в доме происходили религиозные церемонии, мне всегда удавалось под каким-нибудь предлогом удалиться из дому, взяв с собой Гору. Но ведь особенно важных церемоний у нас еще никогда не бывало. Я просто не знаю, как быть со свадьбой Шоши? С каждым днем наш грех усугубляется. Вечером и утром молю я у бога прощения; прошу его наказать меня по заслугам. Но меня неотступно тревожит мысль, что скрывать дольше мы не сможем и что для Горы это будет страшным потрясением и несчастьем. Прошу тебя, разреши мне рассказать ему все, без утайки, а там пусть меня постигнет кара, уготованная мне судьбой.

Зачем понадобилось Индре мешать Кришнодоялу в тот момент, когда, сурово умерщвляя плоть, он стремился прийти к торжеству духа? За последнее время он добился серьезных успехов! Он проделывал невероятные вещи с дыханием и, постепенно сокращая количество пищи, довел себя до того, что желудок его чуть ли не касался позвоночника. И именно в это время на него обрушилась такая беда.

— Ты что, с ума сошла?! — воскликнул Кришнодоял.— Если об этом узнают, у меня будут очень большие неприятности! Могут отобрать пенсию, вполне возможно, что придется иметь дело с полицией. Что сделано, то сделано. Старайся, чтобы законы по возможности соблюдались, а если их и нарушат, тоже большого греха не будет.

Кришнодоял решил, что после его смерти они могут делать, что хотят, лишь бы сейчас оставили в покое. Кроме того, он знал, что если он не будет ни во что вмешиваться и закроет глаза на то, что творится вокруг, то в конце концов все как-нибудь утрясется.

Не зная, как же ей поступить, Анондомойи встала и несколько секунд с тоской смотрела на него.

— Какой у тебя больной вид,— сказала она.— Посмотри на свое тело...

— Тело! — повторил Кришнодоял с пренебрежительной

усмешкой. Его совершенно очевидно раздражила глупость жены. Так и не разрешив больного вопроса, он снова уселся на шкуре антилопы и погрузился в изучение знаменитого трактата.

А в это время Мохим сидел в другой комнате и вел с саньяси серьезную беседу на тему о том, что является высшим предопределением человека, и о других не менее высоких материях. Возможно ли спасение души для семейного человека вопрошал он с таким смирением и тревогой во взоре, словно от ответа на этот вопрос зависела вся его жизнь. Саньяси пытался утешить Мохима, говоря, что, хотя спасение души для семейного человека и невозможно, но райские обители вполне ему доступны. Впрочем, это сообщение мало успокаивало Мохима. Зачем ему райские обители. Он жаждет спасения. Вот только бы выдать замуж дочь, а там он посвятит свою жизнь служению саньяси и спасению души! Никто не сможет удержать его от этого. Но вот выдать дочь замуж — это нелегкое дело. Если бы только гуру сжалился и помог ему!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Сейчас, задним числом, Горе казалось, что в своих отношениях с Шучоритой он не проявил необходимой сдержанности, и решил впредь быть осмотрительнее. Он чувствовал, что, поддавшись ее очарованию, ослабил требования к себе и стал забывать свои обязанности по отношению к общине.

Окончив утреннюю молитву, он вошел в свою комнату и увидел, что там его ожидает Пореш-бабу. Радостное волнение невольно охватило Гору. Он не мог не ощущать особой дружественности отношений, существовавших между ним и Порешем-бабу. Гора низко поклонился гостю.

— Ты, конечно, слышал о предстоящей свадьбе Биноя? — спросил Пореш.

— Слышал,— подтвердил Гора.

— Он решил, что свадьба будет не по обряду «Брахмо Самаджа».

— Тогда ему вообще незачем жениться.

Пореш усмехнулся, но не стал вступать в спор.

— От нашего «Самаджа» на свадьбе не будет никого. Говорят, что не приедет никто и из родственников Биноя. Со стороны моей дочери буду только я. Со стороны Биноя, вероятно, не будет никого, кроме тебя. Вот почему я и принел посоветоваться с тобой.

— Но какой смысл советоваться об этом со мной? — покачав головой, сказал Гора.— Я не хочу иметь ничего общего с этим делом.

— Не хочешь? — Пореш удивленно посмотрел на юношу.

В первый момент, увидев, как удивился Пореш-бабу, Гора почувствовал смущение. И именно от этого он тут же сказал еще более твердо:

— Это же совершенно невозможно для меня.

— Я знаю, что ты его друг,— возразил Пореш-бабу,— а ему сейчас друг нужен, как никогда.

— Да, я его друг, но я имею обязательства не только по отношению к нему, и некоторые мои обязательства гораздо важнее.

— Скажи мне, Гора,— спросил Пореш,— ты считаешь, что в поведении Биноя было что-то нехорошее, несправедливое?

— Смотря о какой справедливости идет речь. Если вы говорите о вечной справедливости — это одно, если же речь идет о справедливости на земле, то она заключается в законах общества, и мы не можем пренебрегать ими, чтобы не вызывать распада этого общества.

— Но ведь законов бесчисленное множество, и можно ли утверждать, что каждый из них справедлив?

Вопрос Пореша-бабу попал в цель, Гора встрепенулся, мысли его пришли в движение, и очень скоро он уже твердо знал, что ему надо делать. Он больше не испытывал никаких колебаний и решил высказать откровенно все, что было у него на сердце. Его соображения сводились к следующему: если мы не признаем полностью всех законов общества, мы тем самым ставим препятствия на пути к достижению чрезвычайно важной внутренней цели, ради которой и существует общество и которая скрыта от взоров большинства. Потому-то нам и нужна власть правил и обычаев: повинуясь им без рассуждения, мы проявляем уважение к обществу.

Пореш-бабу внимательно выслушал Гору, и когда тот, немного сконфуженный собственной самоуверенностью, кончил, сказал:

— В общем, я с тобой согласен. Верно то, что господь предопределяет каждому обществу особую цель и что эта цель понятна далеко не всем. Но главная задача человека должна состоять в том, чтобы уяснить себе эту цель, а вовсе не в том, чтобы беспрекословно, бездумно следовать законам общества.

— А я считаю,— возразил Гора,— что только в том случае, если мы будем свято исполнять его законы, откроется нам

и истинное назначение нашего общества. Вступая же в противоречия с обществом, мы будем не только препятствовать его развитию, но и поймем его неправильно.

— Истина познается только в противоречиях и в преодолении препятствий. Совершенно неверно утверждение, что несколько мудрецов когда-то в древности познали истину и раз и навсегда установили ее. Истину нужно открывать снова и снова — она познается каждым поколением в борьбе и трудностях,— сказал Пореш.— Как бы то ни было, сейчас мне не хочется спорить на эту тему. Я уважаю свободу личности, мне кажется, что только в столкновениях свободных личностей может решиться вопрос, где вечная истина, а где преходящая фантазия. И только решив этот вопрос или хотя бы сделав все, чтобы решить его, мы можем быть уверены, что содействуем процветанию общества.

Пореш встал. Поднялся со стула и Гора.

— Я считал, что из уважения к «Брахмо Самаджу» мне следует держаться несколько в стороне от этой свадьбы и что тебе, как другу Биноя, легче будет устроить все. В таких делах у друзей есть преимущество перед родственниками: они могут не считаться с противодействием общества. Но раз и ты считаешь своим долгом отречься от Биноя, очевидно, мне придется взять всю ответственность на себя и одному заняться этим делом.

Гора и не подозревал, сколько горькой истины таилось в этом слове «одному». Он не знал, что Бародашундори противится браку, что собственные дочери Пореша восстановлены против него. Опасаясь недовольства Хоримохини, он даже с Шучоритой не мог посоветоваться, как лучше устроить свадьбу. Все члены «Брахмо Самаджа» относились к нему крайне враждебно. Что же касается дяди Биноя, то он прислал Порешу несколько оскорбительных писем, в которых называл его интриганом и ловцом женихов.

Уходя, Пореш-бабу встретился в дверях с Обинашем и еще несколькими товарищами Горы, которые тотчас же начали посмеиваться над Порешем-бабу и острить на его счет.

— Если вы не способны уважать того, кто действительно этого достоин,— воскликнул Гора,— так не смейте хоть глумиться над ним!

Горе снова пришлось окунуться в привычные дела его группы. Но какими неинтересными и незначительными казались они ему сейчас! Разве это настоящее дело? В нем же нет жизни! Никогда раньше Гора не сознавал с такой ясностью,

что вся эта писанина, болтовня, организационная работа не только не приносит никому никакой пользы, а, наоборот, лишает его возможности заниматься настоящим делом. Все это больше не прельщало его. Его тянуло к новому просторному руслу, в которое он мог бы направить полноводную, взволнованную от избытка сил, реку своей жизни.

Между тем приготовления к церемонии покаяния шли своим чередом, и это несколько подбадривало Гору. Покаянием он хотел не только очиститься от тюремной скверны, но и полностью освободиться от всего, что тяготило и омрачало его в последнее время. Он хотел возродиться духом и телом, чтобы с новыми силами взяться за свою работу. Было получено разрешение, назначен день, разосланы приглашения знаменитым профессорам и пандитам Восточной и Западной Бенгалии. Те из последователей Горы, которые были побогаче, собрали между собой деньги. Все члены его партии верили, что наконец-то после долгого затишья в стране затевается нечто настоящее. Обинаш тайно совещался со своими приятелями, как бы уговорить пандитов, чтобы во время раздачи священных трав, риса, цветов, сандала и других атрибутов церемонии они преподнесли Горе титул «Светоча индуизма». Было решено, что Гора получит сандаловую шкатулку и в ней приличествующие случаю санскритские стихи, отпечатанные золотыми буквами на пергаменте и скрепленные подписями брахманов-пандитов. Старейшие и самые уважаемые профессора вручат ему, как символ благословения самой Индии, «Ригведу» Макса Мюллера в дорогом сафьяновом переплете.

Они полагали, что это удивительно красивая форма признания заслуг Горы, который сейчас, когда индуизм находился в упадке, сделал все, чтобы сохранить заветы древней ведической религии.

Так, ежедневно, без ведома Гоурмохона-бабу совещались его последователи, стремясь сделать предстоящую церемонию возможно более приятным и назидательным зрелищем.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Хоромохини получила письмо от своего деверя Койлаша.

«Благословением ваших милостивых стоп,— писал он,— у нас все благополучно. Надеюсь, что и вы подадите нам добрую весть о себе и тем самым рассеете наши тревоги».

Писал он это, нисколько не смущаясь тем, что с самого

отъезда Хоримохини из их дома никто ни разу не потрудился узнать, как ей живется. Пересказав все новости о Кхуди, Потоле, Бходжхори и прочих, в заключение Койлаш попросил: «Сообщите подробно о невесте, которую, как писали в последнем письме, вы присмотрели для меня. Вы говорите, что ей лет двенадцать — тринадцать, но что она — крупная девушка и выглядит гораздо старше. Это меня устраивает, только вы хорошенько разузнайте, как записано за ней состояние — только пожизненно или с правами наследства, а я, со своей стороны, посоветуюсь со старшими братьями. Думаю, что они возражать не станут. Рад слышать, что невеста — ревностная индуистка, но нужно постараться как-нибудь скрыть, что она так долго жила в брахмаистской семье. Так что никому больше не говорите об этом. На ближайшее лунное затмение назначено празднество омовения в Ганге, и если я сумею попасть в Калькутту, то обязательно заеду взглянуть на невесту».

До сих пор Хоримохини кое-как мирилась с Калькуттой, но стоило зародиться надежде снова попасть в мужнин дом, как ее охватило нетерпенье. С каждым днем изгнание становилось все невыносимей, и, будь ее воля, она бы немедля поговорила с Шучоритой и постаралась назначить день свадьбы! Но она боялась особенно торопиться, потому что чем ближе узнавала она Шучориту, тем яснее ей становилось, что она ее совсем не понимает.

Хоримохини, однако, стала выжидать случая и начала смотреть за Шучоритой еще строже, чем прежде. Она не спускала с племянницы глаз, даже молитвы заканчивала теперь раньше.

Со своей стороны, Шучорита, после того как Гора внезапно перестал бывать у них, поняла, что здесь не обошлось без участия Хоримохини, но утешалась тем, что он все-таки по-прежнему ее гуру.

Часто отсутствующий наставник приобретает гораздо большую силу, чем тот, которого мы видим постоянно. Потому что тогда мысль, не находя выхода, начинает восполняться изнутри. Если бы Гора был тут же рядом с ней, Шучорита спорила бы с ним и возражала бы ему, теперь же она читала его статьи и безоговорочно принимала их. Когда же ей попадалось что-нибудь непонятное, она говорила себе: «Если бы только он пришел и объяснил, я бы обязательно поняла».

Но желание увидеть его одухотворенное лицо, услышать его громовой голос было столь неодолимо, что понемногу она стала по-настоящему чахнуть. Иной раз Шучорита с болью в сердце начинала думать о том, что на свете есть много людей,

которые могут в любой момент беспрепятственно видеть Гору и даже не понимают своего счастья.

Однажды днем пришла Лолита и бросилась Шучорите на шею со словами:

— Ну вот, все и хорошо, Шучи-диди!

— Что хорошо, Лолита? — спросила Шучорита.

— Все решено!

— Когда же?

— В понедельник.

— Где?

— Сама не знаю,— тряхнула головой Лолита.— Знает отец.

— Ты счастлива, сестра? — спросила Шучорита, обняв Лолиту.

— А почему бы мне не быть счастливой?! — воскликнула Лолита.

— Теперь, когда ты добилась всего, чего хотела,— ответила Шучорита,— когда тебе больше не с кем ссориться, я боялась, что ты потеряешь интерес.

— Почему? — рассмеялась Лолита.— Разве мало людей, с которыми можно ссориться? Теперь, по крайней мере, их не нужно будет искать где-то вне дома.

— Ах, вот оно что! — воскликнула Шучорита, шутливо потрепав ее по щеке.— У тебя, оказывается, все обдумано заранее. Вот я скажу Биною. Время еще есть. Надо его, бедного, предупредить.

— Поздно предупреждать твоего бедного! — воскликнула Лолита.— Нет ему спасенья! Несчастья, которое было ему на роду написано, теперь не миновать. Остается только рыдать и биться головой об стену.

— Ты даже не представляешь себе, как я рада за тебя, Лолита,— сказала Шучорита, вдруг посерьезнев.— Я только молюсь о том, чтобы ты оказалась достойной такого мужа, как Биной.

— Ах вот как! А не следует ли кое-кому постараться быть достойным такой жены, как я? Ты поговори как-нибудь с ним, послушай, что он скажет,— сама пожалеешь, что была так слепа и не сумела оценить любовь такого большого, такого удивительного человека.

— Ну хорошо, теперь, по крайней мере, нашелся ценитель,— сказала Шучорита,— и плакать больше не о чем, потому что он получил то, что хотел, и по той цене, которую готов

был заплатить. Теперь тебе уже не нужна будет любовь таких скромных, незаметных людей, как мы.

— Как это не нужна? Еще как нужна! — И Лолита так сильно ущипнула Шучориту за щеку, что та даже вскрикнула.— Твоя любовь мне всегда нужна,— лукаво добавила она,— и ты не имеешь права тайком от меня отдавать ее кому-то другому.

— И не отдам, никому не отдам! — воскликнула Шучорита, прижимаясь щекой к Лолитиной щеке.

— Никому? — спросила Лолита.— Правда, никому? Ты уверена?

В ответ Шучорита лишь покачала головой.

— Послушай, Шучи-диди,— сказала Лолита, чуть-чуть отстранившись,— ты ведь сама знаешь, дорогая, я не перенесу, если ты отдашь свою любовь кому-то другому. До сих пор я молчала, но сегодня хочу высказаться. Когда Гоурмохон-бабу ходил к нам... Нет, нет, диди, не красней, если уж я решилась сегодня, то все равно скажу все до конца. Хоть я никогда ничего от тебя не скрывала, но об этом, сама не знаю почему, говорить открыто не могла, и это мне было больно. Но теперь, когда я ухожу от вас, я не могу больше об этом молчать. Когда Гоурмохон-бабу только начал бывать у нас, я, помню, очень сердилась. Почему я сердилась? Ты тогда думала, что я ничего не понимаю — правда? Я заметила, что при мне ты даже никогда не произносила его имени, и от этого я злилась еще больше. Мне было невыносимо думать, что настанет время, когда ты будешь любить его больше, чем меня... Нет, сестра, дай мне договорить — ты даже не знаешь, как я от этого страдала! Ты и теперь не будешь говорить со мной о нем. Но я больше за это не сержусь. Как бы я была счастлива, сестра, если бы ты и...

— Лолита! Умоляю тебя, не говори таких вещей. От твоих слов мне хочется провалиться сквозь землю.

— Почему же нет, сестра, разве он...— начала было Лолита. Но Шучорита снова в сильном волнении перебила ее:

— Нет, нет, нет! Ты с ума сошла — что ты говоришь! Об этом и подумать нельзя.

Робость Шучориты рассердила Лолиту.

— Но, диди, ведь это уже слишком. Я внимательно наблюдала и могу тебя заверить...

Но Шучорита не дала ей договорить. Она вырвалась из рук Лолиты и выбежала из комнаты. Лолита побежала вслед за ней.

— Хорошо, я больше не буду говорить об этом,— пообещала она.

— Никогда, никогда не говори об этом,— умоляла Шучорита.

— Такого серьезного обещания дать я не могу,— ответила Лолита.— Придет время сказать — скажу, а нет, так нет. Это я, во всяком случае, тебе обещаю.

Последние дни Хоримохини неотступно следила за Шучоритой. Она буквально ходила за ней по пятам, так что не заметить этого было невозможно. И такая подозрительность и слежка стали для Шучориты просто невыносимы. Она раздражалась, но не могла сказать тетке ни слова. Сегодня после ухода Лолиты Шучорита в полном изнеможении села за стол и, закрыв лицо руками, заплакала. Пришел слуга и принес лампу, но она велела унести ее. Было время вечерней молитвы, и Хоримохини была у себя, но, увидев, что Лолита ушла, она, не окончив молитвы, спустилась вниз и вошла в комнату племянницы.

— Радхарани! — позвала она.

Шучорита поспешно встала, украдкой вытирая слезы.

— Что это значит? — спросила Хоримохини. И, не получив ответа, повторила злым голосом: — Я не понимаю, что означают все эти глупости?

— Тетя,— всхлипнула Шучорита,— зачем ты день и ночь следишь за мной?

— А ты сама не знаешь? Ты не ешь, плачешь — отчего бы это? Ты думаешь, я маленькая — ничего не понимаю.

— Уверяю тебя, тетя, что ты ничего не понимаешь. Ты так ужасно заблуждаешься, что для меня это с каждой минутой становится невыносимее.

— Ну что ж,— ответила Хоримохини,— если я заблуждаюсь, будь добра, объясни мне...

— Хорошо, я объясню,— сказала Шучорита, делая отчаянные усилия, чтобы побороть стыдливость.— Я узнала от своего гуру нечто совершенно для меня новое. Нужно много духовных сил, чтобы осознать это полностью, а их-то мне и не хватает, мне трудно вести постоянную борьбу с собой. Но ты, тетя, совершенно неправильно понимаешь наши отношения. Ты оскорбила его и прогнала. Все, что ты говорила ему,— неправда. И все, что ты думаешь обо мне,— несправедливо. Ты поступила

нехорошо. Не в твоих силах унизить такого человека, как он, но почему ты тиранишь меня? Что я сделала?

Рыдания подступили ей к горлу, и она поспешно вышла из комнаты.

Хоримохини была ошеломлена.

«Ну дела,— подумала она про себя,— в жизни таких разговоров слышать не приходилось».

Тем не менее она дала Шучорите время немного успокоиться, прежде чем позвала ее ужинать.

— Послушай, Радхарани,— сказала она, как только Шучорита села за стол.— Я не маленькая. Меня с детства воспитали, как у вас принято говорить, в индуизме, и я немало слышала всяких мнений о нем. Ты же ничего об этом не знаешь и не понимаешь, что Гоурмохон просто морочит тебе голову, называясь твоим гуру. Я кое-что слышала из того, что он говорил. В его словах нет ничего такого, чему нас с детства учили. Он сам выдумал себе какое-то писание. Мне-то нетрудно разобраться, у меня ведь есть свой гуру. И мой тебе совет, Радхарани, держись-ка ты подальше от всего этого. Когда придет время, мой гуру займется тобой и наставит тебя в истинной вере — он у меня человек серьезный. И не бойся, я введу тебя в индуистскую общину. Не беда, что ты жила в брахмаистской семье. Кто узнает об этом? Правда, ты уже перестарок... но будто нет девушек, которые развиваются раньше времени. Да и кто в твой гороскоп смотреть станет! С деньгами все можно устроить. Я сама видела, как один парень из рыбаков за небольшие деньги превратился в писца. Я введу тебя в дом таких почтенных брахманов, что никто и слова не посмеет сказать. Господи, да вся община у них из рук смотрит. Так что не придется тебе больше убиваться и лить слезы о своем гуру.

Когда Хоримохини завела это тщательно продуманное вступление, у Шучориты пропал всякий аппетит, ей казалось, что она не сможет проглотить ни кусочка. Но силой воли она заставляла себя есть, так как знала, что в противном случае ей придется выслушать еще более отвратительную лекцию.

Наконец Хоримохини заметила, что ее слова не производят на Шучориту должного впечатления.

«Совершенно не понимаю таких людей,— подумала она про себя.— То кричит до хрипоты, что она индуистка, а когда подвернулся такой случай, она и слушать не хочет... Ведь тут можно будет обойтись без покаяния, никто объяснений у нее спрашивать не станет. Придется только кое-кому немного сунуть, и она запросто войдет в правоверную общину. Ну, а если

уж ей и это не нравится, то как она может вообще называть себя правоверной индуисткой?»

Хоримохини не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что Гора — самый настоящий проходимец. И, размышляя над тем, что могло толкнуть его на такую нехорошую дорогу, она пришла к выводу, что причина крылась в красоте Шучориты и в ее богатстве. Чем скорее она сумеет спасти Шучи вместе с ее акциями и водворить в надежную цитадель, то есть в дом, принадлежавший когда-то покойному мужу Хоримохини, тем будет лучше для всех. Но для этого нужно уломать Шучориту, иначе ничего не получится. И Хоримохини принялась за работу. День и ночь твердила она Шучорите о своем бывшем доме, приводила всевозможные примеры необыкновенного авторитета, которым пользуется мужнина родня, рассказывала о самых невероятных поступках, которые сходили им с рук, о том, как ни в чем не повинные люди, осмелившиеся пойти против них, подвергались ужасным несчастьям, а те, кто пользовался их расположением, могли играючи есть кур, приготовленных мусульманами, и позволять себе многие другие вольности, а община смотрела на это сквозь пальцы... Все это она рассказывала длинно и подробно, приводя для пущей убедительности имена и полные адреса.

Бародашундори гордилась своей прямолинейностью, поэтому она не стала скрывать от Шучориты, что желает видеть ее в своем доме как можно реже. Каждый раз, когда она испытывала потребность облить кого-нибудь грязью, она неизменно подчеркивала эту свою истинно брахмаистскую добродетель. Поэтому она весьма недвусмысленно дала понять Шучорите, что ей не приходится рассчитывать на гостеприимство в прежнем доме, и Шучорита прекрасно понимала, что если она зачастит к ним, то это будет стоить Порешу-бабу тишины и покоя. Поэтому без особой нужды она туда не ходила. Зная это, Пореш-бабу ежедневно сам навещал Шучориту.

Последние несколько дней, занятый делами и одолеваемый заботами, он не мог вырваться к ней. И каждый день, несмотря на состояние растерянности и смятения, в котором она находилась, Шучорита ждала его. Она была убеждена, что никогда и ни за что не порвется ее духовная связь с Порешем-бабу, без которой ни один из них не мог быть счастлив, и тем не менее сознавала, что за последнее время появились какие-то ниточки, тянувшие ее прочь от него. Это обстоятельство огорчало ее и не

давало покоя. А тут еще Хоримохини с каждым днем все больше отравляла ей жизнь. И вот сегодня Шучорита, рискуя навлечь на себя гнев Бародашундори, отправилась в дом к Порешу.

Солнце уже садилось, и от высокого трехэтажного дома, стоявшего с западной стороны, протянулась длинная тень. В тени медленно прогуливался взад и вперед Пореш-бабу, один, в задумчивости низко опустив голову.

— Как ты себя чувствуешь, отец? — спросила Шучорита, подходя к нему и стараясь идти с ним в ногу.

Пореш-бабу вздрогнул, когда его мысли так внезапно прервали, остановился на миг на месте и затем, посмотрев на Шучориту, ответил:

— Спасибо, Радха, хорошо.

Они стали прохаживаться вместе.

— В понедельник Лолита выходит замуж,— заметил Пореш-бабу.

Шучорита собиралась спросить, почему он не позвал ее помочь в приготовлениях к свадьбе или хотя бы посоветоваться, но теперь не решилась этого сделать, чувствуя, что причина до некоторой степени кроется в ней самой — в другое время она не стала бы дожидаться, когда ее позовут.

Но Пореш-бабу сам заговорил о том, что так беспокоило Шучориту.

— На этот раз я не мог спросить твоего совета, Радха,— сказал он.

— Почему, отец? — спросила Шучорита.

Не отвечая на этот вопрос, Пореш-бабу продолжал пристально всматриваться ей в лицо, так что Шучорита наконец не выдержала.

— Ты думал, что во мне произошла какая-то перемена? — прошептала она, отводя взгляд чуть в сторону.

— Да,— подтвердил Пореш.— И поэтому решил не ставить тебя в затруднительное положение своими просьбами.

— Отец,— начала Шучорита,— я давно хотела обо всем рассказать, но последнее время не видела тебя. Поэтому и пришла сегодня. Я не знаю, сумею ли объяснить все как следует, и потому боюсь, вдруг ты меня не поймешь.

— Я знаю, что о таких вещах говорить не так-то просто. Твоими мыслями завладело нечто из области чувств, и хотя ты ощущаешь это нечто, но выразить словами свои чувства не можешь.

— Да, это именно так! — воскликнула Шучорита с облегчением.— Но как мне объяснить тебе, насколько сильно это чувство? Словно я переродилась, словно стала смотреть на мир новыми глазами. Я никогда раньше не видела себя так, как вижу теперь. До сих пор я не ощущала связи ни с прошлым, ни с будущим своей страны, но сейчас я так отчетливо всем сердцем почувствовала все величие и правду этой связи, что я только и думаю об этом. Послушай, отец, я не кривлю душой, когда говорю, что я индуистка, хотя прежде никогда не решилась бы признать это. Теперь я громко, не задумываясь, говорю: да, я индуистка! И делаю это признание с радостью.

— А всесторонне ли ты обдумала этот вопрос, взвесила ли все «за» и «против»?

— Разве хватило бы у меня одной ума обдумать его всесторонне? Могу сказать только, что я много читала по этому вопросу, много раз его обсуждала. Пока я не научилась смотреть на вещи в их истинном соотношении, пока я стремилась преувеличить значение частностей, я ненавидела индуизм в целом.

Услышав такие речи, Пореш-бабу удивился. Он ясно видел, что в мыслях Шучориты произошел какой-то перелом и, поскольку ей казалось, что она поняла какую-то правду, никакие сомнения больше не тревожили ее. Она не производила впечатления человека, подхваченного потоком смутных ощущений, в которых он, в своем ослеплении, не способен разобраться.

— Отец,— продолжала Шучорита,— почему я должна говорить, что я — ненужный человек, отрезанный от своей родины и касты? Почему я не могу смело заявить, что я индуистка?

— Иными словами,— улыбнулся Пореш,— ты хочешь, чтобы я ответил тебе, почему я не называю себя индуистом? Собственно говоря, никаких серьезных причин для этого, пожалуй, и нет. Разве что индуистская община отказывается признавать меня таковым. Ну и еще то, что люди с моими взглядами на религию не называют себя индуистами. Но, повторяю,— продолжал Пореш, заметив, что Шучорита молчит,— это все несерьезные доводы, это, так сказать, причины внешнего порядка. Подобные препятствия можно и не принимать во внимание. Но есть одно существенное затруднение и внутреннего характера. Путь в индуистскую общину открыт не для всех, по крайней мере, прямой дороги туда нет, хотя окольные пути, вероятно, имеются. Одним словом, эта община не для любого и

каждого. Она лишь для тех, кто волею судеб родится индуистом.

— Так ведь это можно сказать про любую общину?! — воскликнула Шучорита.

— Нет, ни про одну мало-мальски значительную общину этого не скажешь,— ответил Пореш-бабу.— Двери мусульманства широко открыты для желающих; принимает всех в свое лоно и католицизм. То же можно сказать и о других христианских церквах. Захоти я, например, стать англичанином, в этом тоже не было бы ничего невозможного: если бы я прожил достаточно долго в Англии и следовал обычаям страны — англичане приняли бы меня в свое общество и для этого мне не пришлось бы даже принимать христианство. Абхиманью легко проник в стан врага, но не мог выбраться оттуда. Про индуизм можно сказать как раз обратное. Вход в эту общину наглухо закрыт, зато выходов имеются тысячи.

— И все же, отец,— возразила Шучорита,— индуизм за эти века не распался, индуистская община все еще живет.

— Распад общества бывает заметен не сразу,— ответил Пореш-бабу.— В старое время существовали кое-какие входы в индуистскую общину, вступить в нее могли даже неарийцы, чем наша страна могла справедливо гордиться. Даже при мусульманском правлении по всей стране было сильно влияние индуистских раджей и заминдаров, которые при помощи всяких запретов и карательных мер удерживали в общине тех, кто хотел из нее выйти. Сейчас, при английском владычестве, когда закон ограждает права всех без исключения, уже нет прежних возможностей закрыть выход из общины искусственными мерами. Вот почему с некоторых пор индуистов в Индии становится меньше, а мусульман — больше. Если так пойдет дальше, то мусульмане окажутся в большинстве, и тогда нашу страну не назовешь уже Индостаном.

— Но, отец,— воскликнула в отчаянии Шучорита,— разве не должны мы сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить этого? Неужели и мы оставим индуизм и тем самым ускорим его гибель? Ведь как раз сейчас и нужно как можно крепче держаться за него!

Пореш-бабу ласково похлопал дочь по плечу.

— Разве можем мы, даже при самом большом желании, сохранить кому-то жизнь тем, что будем крепко держаться за него? Развитие общества происходит по определенным законам, и общество, естественно, отказывается от тех, кто отвергает их. Ортодоксальная индуистская община оскорбляет людей и

отворачивается от них. И потому-то с каждым днем ей становится все труднее и труднее защищать себя. В наши дни уже не спрячешься за ширмой — дороги в мир открыты на все четыре стороны, и со всех концов земли к нам прибывают все новые и новые люди. Мы уже больше не можем возводить стены из томов шастр и вед, чтобы отгородиться от всех и вся. Если индуизм и теперь не найдет в себе силы побороть эту изнурительную болезнь, то в конце концов соприкосновение индуизма с внешним миром кончится полным крахом индуизма.

— Я ничего этого не понимаю,— с болью в голосе проговорила Шучорита.— Но если правда, что в наши дни все отступаются от индуизма, то я, по крайней мере, не оставлю его в такую минуту. И раз мы родились в это неудачное время, мы тем более должны держаться своей общины в трудный для нее час.

— Дитя мое,— сказал Пореш-бабу,— я не хочу оспаривать мыслей, зародившихся в твоей головке. Ищи успокоения в молитве и, вынося решение о чем бы то ни было, всегда прислушивайся к голосу правды, которую ты носишь в себе, и к идеям добра, которые ты так хорошо чувствуешь, и тогда все тебе станет ясно. И никогда не позволяй себе даже в мыслях поставить ниже своей страны *того*, чье величие несравненно, потому что это не принесет ничего хорошего ни тебе, ни стране. Так, по крайней мере, думаю я и потому хочу посвятить *ему* безраздельно все свои помыслы и устремления. Только тогда смогу я быть честным по отношению к своей стране, по отношению к людям.

На этом месте его прервал слуга, вручивший ему письмо.

— У меня нет с собой очков, да и темно уже,— сказал Пореш-бабу,— так что, будь добра, прочти мне.

Шучорита взяла письмо и прочитала его вслух. Оно было из комитета «Брахмо Самаджа». Внизу стояли подписи многих видных членов Общества. Смысл письма сводился к тому, что, поскольку Пореш разрешил своей дочери сочетаться браком не по брахмаистским обрядам и сам собирается присутствовать на этой свадьбе, «Брахмо Самадж» не может согласиться с тем, чтобы он оставался его членом. Если же он имеет что-нибудь сказать в свое оправдание, то пусть напишет объяснительное письмо, которое должно быть вручено комитету не позже следующего воскресенья, когда окончательное решение по его делу будет принято путем простого голосования.

Пореш-бабу положил письмо в карман, а Шучорита нежно взяла его руку, и они опять начали молча ходить взад и вперед

по дорожкам сада. Постепенно вечерние сумерки сгустились, и в их переулке зажгли фонарь.

— Отец,— ласково сказала девушка,— уж и на молитву пора. Сегодня я буду молиться вместе с тобой.— И с этими словами она отвела его в уединенную молельню, где уже был постлан коврик и горела свеча. В этот вечер безмолвная молитва Пореша-бабу продолжалась дольше обычного. Наконец он прочитал вслух небольшую мантру и встал. Переступив порог, Пореш-бабу увидел Лолиту и Биноя, которые молча сидели у дверей молельни. Они низко склонились перед ним. Он же положил им на головы руки, благословляя их.

— Завтра я приду к тебе, дитя мое,— сказал он Шучорите,— а сейчас мне нужно кончить кое-какие дела.— И он ушел к себе в кабинет.

По лицу Шучориты текли слезы. Безмолвно стояла она в темноте веранды. Долго молчали и Лолита с Биноем.

Когда Шучорита собралась наконец уходить, к ней подошел Биной.

— А ты, диди, разве не благословишь нас? — спросил он ласково, в низком поклоне склоняясь перед ней. И один бог знает, что, задыхаясь от слез, прошептала Шучорита в ответ.

Придя к себе, Пореш-бабу сел писать ответ комитету «Брахмо Самаджа». Он написал:

«Все заботы в связи со свадьбой Лолиты мне придется взять на себя. Если на этом основании вы сочтете необходимым исключить меня, я приму это, как должное, и буду молиться только об одном — чтобы господь дал мне приют у своих ног, после того как от меня отвернутся все общины».

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Шучорите очень хотелось пересказать Горе все, что она услышала от Пореша. Неужели Гора не задумывался над тем, что Индия, которую он старался показать ей, которую хотел заставить ее любить всем сердцем, стоит пред лицом разрушения, что гибель уже нависла над ней?

До сих пор Индия умудрялась держаться силой своих внутренних устоев, так что индийцам не приходилось особенно тревожиться. Но не пора ли покончить с этой беспечностью? Имеем ли мы право сидеть дома сложа руки, по-прежнему уповая на нерушимость этих древних устоев?

«Тут должна быть доля и моего труда,— думала Шучо-

рита.— В чем же он состоит?» Ей казалось, что в такое время Гора должен быть рядом, чтобы распоряжаться ею и указывать путь. Если бы только он устранил с ее пути все препятствия, вразумил ее и указал принадлежащее ей по праву место, она бы доказала, насколько выше она стоит всех сплетен и клеветы, которые обрушило на нее общество.

Гордость переполняла ее, и она спрашивала себя, почему Гора не испытал ее, почему не возложил на нее осуществление какой-нибудь невероятно трудной задачи? Смог ли бы хоть один из его последователей пожертвовать всем с той же легкостью, как она, Шучорита? Неужели ему не нужна такая готовность и самопожертвование? Разве не наносится ущерб родине тем, что она — Шучорита — до сих пор бездействует, скованная общественным мнением? Она не допускала мысли, что он может так пренебречь ею.

«Не может же Гора так просто оставить меня,— говорила она себе.— Он должен прийти, он должен испытать меня. Он должен окончательно преодолеть смущение и робость, ведь как бы ни был он велик и силен, он нуждается во мне. Он сам говорил мне это! Как же он может забыть теперь обо всем из-за какой-то пустой болтовни?»

Тут к Шучорите прибежал Шотиш.

— Диди! — сказал он, остановившись около нее.

— Что, болтунишка? — спросила Шучорита, обняв мальчика.

— В понедельник у Лолиты свадьба,— ответил Шотиш,— и я на несколько дней перееду к Биною-бабу. Он сам меня пригласил.

— А ты спросил тетю?

— Да, но она рассердилась на меня и сказала, что ничего не знает, и послала меня спросить тебя — говорит, как она скажет, так и делай. Диди, разреши мне! Не думай, я заниматься не брошу. Я буду каждый день учить уроки, и Биной-бабу поможет мне.

— Да, но ты же будешь всем мешать, когда в доме идут такие приготовления.

— Нет, нет, диди, обещаю, что я никому нисколечко не помешаю.

— А собачонку свою ты тоже собираешься взять с собой?

— Да, Биной-бабу велел обязательно взять ее. Он даже ей специальное приглашение прислал — на красной бумаге. Там сказано, что ее просят быть на свадебном обеде со всем своим семейством.

— А кто же это семейство?

— Ну как же, Биной-бабу говорит, что я, конечно,— нетерпеливо затараторил Шотиш.— И еще, диди, он велел принести нашу музыкальную шкатулку. Дай мне ее, я не сломаю.

— Я бы только спасибо сказала, если бы ты ее сломал. Хоть на время избавилась бы от нее, и то хорошо! Так, значит, вот зачем твой друг пригласил тебя! Оказывается, ему просто нужна была твоя музыкальная шкатулка, чтобы не нанимать на свадьбу оркестра!

Шотиш пришел в страшное негодование.

— Нет!! Совсем нет! Биной-бабу сказал, что он хочет, чтобы я был его шафером. Что должен делать шафер, диди?

— Он должен поститься весь день.

Мальчик не поверил. Тогда Шучорита привлекла его к себе.

— Хорошо, болтунишка, скажи мне, кем ты будешь, когда вырастешь?

На этот вопрос у Шотиша ответ был готов, так как, поскольку, по его наблюдениям, их школьный учитель являл собой образец неограниченной власти и необыкновенной учености, он решил, что обязательно станет учителем, когда вырастет.

— Только работать много придется,— сказала Шучорита, после того как Шотиш известил ее о своем намерении.— Как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой объединиться и работать вместе? Трудиться придется, не жалея сил, если мы хотим возвеличить нашу страну. Впрочем, разве ее нужно возвеличивать? Где еще есть такая великая страна, как наша? Мы должны подняться сами, чтобы стать достойными ее! Знаешь ли ты это? Понятно ли это тебе?

Шотиш был не из тех, кто легко признает, что чего-то не понял. Поэтому он твердо ответил:

— Да!

— Знаешь ли ты, как велика наша страна и наш народ? — продолжала его сестра.— Как бы тебе это объяснить? Это удивительная страна! Сколько тысячелетий тому назад господь решил сделать ее первой страной в мире! Сколько людей из разных стран стекалось сюда, чтобы помочь осуществлению божьей воли. Сколько великих людей родилось на нашей земле, сколько великих сражений разыгралось здесь, сколько великих истин было высказано, сколько наблюдалось примеров великого подвижничества! Сколько было создано религиозных учений! В какие только тайны не проникали наши мудрецы! Вот

наша Индия! Запомни, дорогой, Индия — это великая страна. Никогда не забывай ее и не пренебрегай ею. Когда-нибудь ты поймешь то, что я тебе говорю сегодня. Я думаю, ты и теперь кое-что понимаешь. Ты должен осознать, что родился в этой великой стране, и отдавать все свои силы служению ей!

Немного помолчав, Шотиш спросил:

— Диди, а ты что будешь делать?

— Я тоже буду трудиться ей на благо. Ты мне поможешь?

— Да, конечно,— сказал Шотиш, гордо выпятив грудь.

Дома Шучорите не с кем было поделиться чувствами, переполнявшими ее сердце. Вот она и излила их бурным потоком своему маленькому брату. С детьми его возраста обычно не говорят таким языком, каким говорила она, но Шучориту это нисколько не смутило. Воодушевленная своим новым познанием, она считала, что нужно лишь объяснить как следует все то, что поняла она сама, и все — старые и малые, каждый насколько сам это сумеет, так или иначе поймут ее. И ей казалось невозможным умалчивать о чем-то или приспосабливаться к чужому пониманию, потому что так можно было исказить истину.

Воображение у Шотиша разыгралось.

— Когда я вырасту большой и у меня будет много, много денег...

— Нет, нет, нет! — перебила его Шучорита.— Не говори о деньгах! Нам с тобой, болтунишка, не нужны деньги. Дело, которому мы себя посвятили, потребует от нас преданности, самой жизни нашей!

В эту минуту в комнату вошла Анондомойи. Кровь прихлынула к сердцу Шучориты. Она наклонилась и взяла прах от ног Анондомойи. Шотиш последовал ее примеру, но сделал он это нехотя, так как низкий поклон почему-то ему никогда не удавался.

Анондомойи привлекла к себе мальчика, поцеловала в голову.

— Я пришла посоветоваться с тобой,— обратилась она к Шучорите.— Потому что больше пойти мне не к кому. Биной заявил, что свадьба должна быть у него в доме. Но я не согласилась. Что он, наваб какой-то, чтобы вся свадебная церемония — включая выдачу невесты — происходила в его собственном доме? Нет, это недопустимо, а потому я подыскала дом, неподалеку от вас. Я прямо оттуда. Ты уговори, пожалуйста, Пореша-бабу.

— Отец согласится,— заверила ее Шучорита.

— Но и тебе, дорогая, тоже придется сходить туда. Свадьба назначена на понедельник, и за эти несколько дней нам нужно успеть привести там все в порядок. Времени остается не так много. Я бы управилась и сама, но знаю, что Биною будет очень обидно, если ты не придешь помочь. Сам попросить тебя он не решается. Собственно, он даже твоего имени не упоминает, и отсюда я заключаю, что это его, видимо, очень тревожит. И, пожалуйста, не старайся держаться в стороне — этим ты и Лолиту обидишь.

— Вы сможете присутствовать на свадьбе? — воскликнула Шучорита.

— То есть, что значит «присутствовать»? Разве я чужая, чтобы только присутствовать? Это же свадьба Биноя! И я должна все для него сделать. Но я предупредила Биноя, что в этой свадьбе я ему никто, я со стороны невесты, он возьмет Лолиту из моего дома.

Сердце Анондомойи было переполнено жалостью к Лолите из-за того, что родная мать отвернулась от нее в такой час. Именно поэтому она так старалась, чтобы в день своей свадьбы Лолита не чувствовала недостатка в заботе и ласке. Анондомойи решила, что сама займет место матери Лолиты, своими руками оденет ее к свадьбе, сама встретит жениха и доглядит за тем, чтобы как следует встретили всех немногочисленных приглашенных, если они все-таки придут. И она твердо решила привести новую квартиру в такой порядок, чтобы Лолита сразу же почувствовала себя дома.

— А у вас не выйдет из-за этого неприятностей? — спросила Шучорита.

— Очень может быть, но что из того? — ответила Анондомойи, вспомнив, как неистовствовал по этому поводу Мохим.— Даже если и будут маленькие недоразумения, самое главное суметь промолчать — тогда все скоро уляжется.

Шучорита предполагала, что Горы на свадьбе не будет, и ей не терпелось узнать, не пытался ли он помешать матери принимать в ней участие. Но она не решилась спросить сама, а Анондомойи о Горе не обмолвилась ни словом.

Хоримохини слышала, как пришла Анондомойи, но она сначала не спеша кончила свою работу и только тогда вышла к ней.

— Как поживаешь, сестра? — спросила она.— Что-то ты давно не показываешься и не даешь о себе знать?

Не отвечая на упрек, Анондомойи сказала:

— Я пришла за твоей племянницей.

И она объяснила цель своего посещения. Хоримохини надулась и некоторое время недовольно молчала.

— Я не могу ввязываться в это дело,— сказала она наконец.

— Нет, сестра, я и не прошу тебя,— сказала Анондомойи.— А за Шучориту не волнуйся. Она будет все время со мной.

— Тогда выслушай меня! — воскликнула вдруг Хоримохини.— Радхарани все время твердит, что она индуистка, и, надо сказать, сейчас она и рассуждать и поступать стала, как правоверная индуистка. Но если она хочет войти в индуистскую общину, ей следует быть поосторожнее. Разговоров и так не оберешься. Ну, это я еще как-нибудь улажу. Но пока что ей хоть некоторое время нужно вести себя с оглядкой. Люди прежде всего спросят, почему она до сих пор не замужем? Пожалуй, и это можно кое-как замять. Постараться, так и хороший жених найдется. Но если она опять примется за старое, так ведь ее не остановишь. Ты ведь выросла в индуистской семье, сама должна, кажется, понимать! И как у тебя духу хватило звать ее? Ну, скажи, будь у тебя дочь, смогла бы ты послать ее на эту свадьбу? Небось подумала бы, как ее замуж потом выдавать-то будешь?

Пораженная Анондомойи могла только молча смотреть на Шучориту, лицо которой пылало от стыда.

— Да я нисколько не настаиваю,— проговорила наконец Анондомойи,— и, если Шучорита возражает, то я...

— Тогда я уж и вовсе не понимаю, что у тебя в голове,— воскликнула Хоримохини.— Ведь твой собственный сын ей тут индуизм проповедовал, а ты вдруг такое предлагаешь! С луны ты, что ли, свалилась!

Куда девалась прежняя Хоримохини, которая в доме Пореша-бабу всегда старалась держаться как можно незаметнее, словно чувствовала себя в чем-то виноватой, которой достаточно было заметить в вас хоть искру симпатии к себе, чтобы она тотчас горячо привязывалась к вам? Теперь она дралась за свои права, как тигрица. Все время ее мучили подозрения. Ей казалось, что все вокруг только и думают о том, как бы отнять у нее Шучориту. Она никак не могла разобраться, кто же — друг и кто — враг, потому-то она так и разволновалась сегодня. Душа ее больше не находила успокоения в молитвах, и бог, к которому она обратилась, когда весь мир ее рухнул, больше не помогал ей. Когда-то она была вполне земным человеком. По-

том, после того как на нее обрушились одно несчастье за другим, она решила, что ей уже больше ничего не нужно — ни денег, ни дома, ни родных. Но стоило сердечной ране немного затянуться, и жизнь со всеми ее соблазнами снова заявила на Хоримохини свои права, и в ее изголодавшейся душе опять пробудились после долгого сна прежние желания и надежды. Она очень быстро возвращалась к тому, от чего столько времени отрекалась, и стала теперь куда жаднее к жизни, чем была в прежние дни.

Перемена, происшедшая с Хоримохини в столь короткий срок и сквозившая теперь буквально во всем — в ее лице, в глазах, в каждом жесте, в словах и поведении,— страшно поразила Анондомойи, и ее нежное сердце наполнилось мучительным беспокойством за Шучориту. Если бы только Анондомойи знала об этой скрытой опасности, она никогда бы не пришла звать Шучориту на свадьбу. Теперь же надо было думать, как лучше выйти из создавшегося положения.

Как только Хоримохини исподтишка подковырнула Гору, Шучорита, опустив голову и не проронив ни слова, вышла из комнаты.

— Не бойся, сестра,— сказала Анондомойи.— Я сначала не подумала обо всем этом. Но теперь я не буду больше ее уговаривать, и ты ей тоже ничего не говори. Ее воспитали в определенных понятиях, и, если ты начнешь слишком уж ее прижимать, она может и не выдержать.

— Ты думаешь, я сама этого не понимаю? Нет, я еще из ума не выжила. Пусть она сама тебе скажет, стесняла я ее когда-нибудь или нет! Она до сих пор делала, что хотела, я ей слова не сказала. Я всегда говорю: лишь бы она жила! Больше мне ничего не нужно. Горькая моя судьба! Я ночей не сплю, все думаю — как бы чего не случилось.

Когда Анондомойи собралась уходить, Шучорита вышла из своей комнаты и поклонилась ей. Анондомойи ласково погладила ее по голове.

— Я приду, дорогая, и расскажу тебе обо всем, так что ты не унывай. С божьей помощью все обойдется по-хорошему.

Шучорита ничего не ответила.

На следующий день, рано утром, Анондомойи, взяв с собой Лочмию, отправилась очищать дом от многодневной пыли, и только они устроили на полу настоящий потоп, как в дверях появилась Шучорита. Увидев ее, Анондомойи отбросила метлу и щетку, подошла и нежно прижала девушку к груди. А затем принялась усердно мыть, скрести и оттирать все в доме.

Денег Пореш-бабу дал Шучорите на расходы достаточно, и, исходя из этой суммы, они с Анондомойи составили список необходимых покупок, который без конца изменяли и дополняли.

Немного погодя приехали и сам Пореш-бабу с Лолитой, которая больше не могла оставаться дома, так как теперь никто из домочадцев не осмеливался даже разговаривать с ней, и их молчание она болезненно чувствовала на каждом шагу. Когда же в довершение ко всему друзья Бародашундори валом повалили к ней, чтобы выразить свое соболезнование, Пореш почел за лучшее вообще увести дочь из дому. В час прощанья Лолита пошла поклониться матери, и после ее ухода Бародашундори продолжала сидеть отвернувшись, и на глазах ее были слезы. Лабонне и Лила в душе были порядком взволнованы замужеством сестры и, будь их воля, сами с восторгом приняли бы участие в свадебных хлопотах. Но, когда Лолита пришла к ним проститься, сестры вспомнили о своем суровом долге перед «Брахмо Самаджем» и придали лицам непреклонное выражение. У порога Лолита заметила Шудхира, но за его спиной толпилось несколько брахмаистов, внимательно наблюдавших за всем происходящим, так что ей не удалось обмолвиться с ним ни словом.

Сев в экипаж, Лолита заметила в углу на сиденье какой-то сверток. Она развернула его и увидела серебряную вазу для цветов, на которой было выгравировано по-английски: «Да благословит господь счастливую чету». К вазе была привязана карточка с инициалами Шудхира. Лолита твердо решила не позволять себе плакать сегодня. Но, получив в час прощания с отчим домом этот единственный знак внимания от друга детства, не смогла удержаться, и слезы градом покатились у нее по щекам. Пореш-бабу, сидя тихонько в углу, тоже утирал глаза.

— Входи, входи, дорогая моя! — закричала Анондомойи с таким видом, будто все время караулила ее появление, и, взяв Лолиту за обе руки, ввела ее в комнату.

— Лолита навсегда покинула наш дом,— сказал Пореш-бабу, когда по его просьбе вызвали Шучориту, и голос его дрогнул.

— Здесь она не будет чувствовать недостатка в ласке и заботе, отец,— ответила Шучорита, взяв его за руку.

Когда Пореш собрался уходить, Анондомойи, натянув край сари на голову, подошла к нему и поклонилась. Смущенный Пореш тоже ответил ей поклоном.

— Не беспокойтесь за Лолиту,— сказала Анондомойи.— Тот, кому вы ее вручаете, никогда ничем не огорчит ее. У меня никогда не было дочери, и мне всю жизнь недоставало ее, но я всегда надеялась, что дочерью мне станет жена Биноя. Господь наконец услышал мою молитву и послал мне такую замечательную дочку, о какой я даже и мечтать не могла.

С самого того дня, как начались волнения в связи с замужеством Лолиты, Пореш-бабу впервые почувствовал какое-то облегчение и увидел в жизни какой-то просвет. По крайней мере, он узнал, что есть в мире уголок, где он может отдохнуть душой.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

После того, как Гора вышел из тюрьмы, к нему повалили посетители, но их лесть и восторги доводили его до того, что он едва сидел дома. В конце концов, чтобы избежать самых назойливых из них, он снова пустился странствовать по окрестным деревням.

Наспех позавтракав, он ранним утром уходил из дома и возвращался только поздно ночью. На поезде он доезжал до какой-нибудь станции недалеко от Калькутты и оттуда пешком отправлялся в близлежащие деревни; заходил в дома маслоделов, гончаров, рыбаков и людей других низших каст. Они не понимали, зачем этот светлокожий высокий брахман ходит из дома в дом и расспрашивает об их горестях и радостях, и, сказать правду, часто встречали его приход с недоверием. Но Гора, не обращая внимания на косые, подозрительные взгляды, по-прежнему заходил то в одну, то в другую хижину, и его не останавливали даже неприветливые замечания, которые ему приходилось иногда выслушивать.

Чем ближе он знакомился с жизнью этих бедняков, тем неотступнее преследовала его одна мысль. Он видел, что в деревне общинные узы были намного крепче, чем среди интеллигенции. Зоркое око общины день и ночь следило за тем, как едят, лежат, сидят обитатели каждого дома, соблюдают ли они религиозные обряды. Люди простодушно верили в необходимость соблюдения обрядов, никаких сомнений на этот счет у них никогда не возникало. Но эта слепая вера в незыблемость традиций и власть общины отнюдь не придавала им сил в борьбе с тяготами повседневной жизни. Сомнительно, чтобы где-нибудь еще в мире можно было встретить существа столь

запуганные, беспомощные, не умеющие думать о своем благе, как индийские крестьяне. Единственный путь к облегчению своей участи они видели в неукоснительном соблюдении законов индуизма, и если им пытались указать иной путь, они просто не понимали, о чем им говорят. Вся жизнь их обусловливалась запретами — запретами, грозившими всевозможными карами, установленными суровыми правилами общины. Казалось, будто их с ног до головы опутывает сеть разнообразных наказаний, грозящих за нарушение правил, которые на каждом шагу предписывали или запрещали что-нибудь. Но эта сеть была похожа на тенета ростовщика. Крестьяне смотрели на общину, как на безжалостного заимодавца, а не как на милостивого повелителя, среди них не было единства, которое помогло бы им стоять рядом, плечо к плечу, и в горе и в радости. Гора не мог не видеть, что, пользуясь оружием традиций и обычаев, один человек сосет кровь другого и безжалостно душит его. Сколько раз он наблюдал, какими жестокими становились эти люди, лишь только дело касалось соблюдения установленных общиной обрядов. У одного из этих бедняков долгое время болел отец. Лечение, питание больного, уход за ним окончательно разорили беднягу, но никто и пальцем о палец не ударил, чтобы помочь ему. Более того, односельчане уверяли, что этот неизлечимый недуг является наказанием, посланным свыше за какой-то тайный грех, и настаивали, чтобы больной совершил обряд покаяния, требовавший новых расходов. Всем было известно, что человек этот нищ, беспомощен, но жалости он ни в ком не вызывал. И так было повсюду и во всем. Для детей похороны родителей были гораздо большим несчастьем, чем сама их смерть, подобно тому как расследование преступления полицией было для деревни большим несчастьем, чем само преступление. Ссылки на бедность, на невозможность выполнения обрядов во внимание не принимались; безжалостные требования общины должны были быть выполнены полностью. Родственники жениха пускались на любые хитрости, чтобы только сделать бремя расходов отца невесты окончательно невыносимым, ни капли сострадания к несчастному ни у кого не было. Гора видел, что общество не помогает человеку в нужде, не старается ободрить его в несчастье, оно лишь угрожало ему, втаптывало в грязь и унижало его.

Гора забывал об этом в обществе просвещенных людей, среди которых он привык жить, ибо это общество испытывало на себе действие внешних сил, помогающих людям объединиться ради общего блага; там стремились сохранить единство,

и приходилось думать лишь о том, чтобы их совместные усилия не вылились в слепое подражание кому бы то ни было и не оказались бесплодными.

Но в застывшей в летаргическом сне деревне, на которую удары извне не оказывали непосредственного действия, Гора увидел ничем не прикрытую, позорную слабость своей страны.

Юноша нигде не находил и следа той религии, которая стремлением помочь, любовью, состраданием, самопожертвованием и уважением к человеку даровала бы людям силы, жизнь, счастье. Традиции, старинные обычаи только разобщали людей, старательно отделяя их друг от друга; они изгоняли из обихода людей даже любовь и не давали простора уму; они только ставили препятствия человеку на каждом шагу. Здесь, в этих деревнях, Гора воочию убедился, как жестоки и пагубны последствия этого слепого рабства — он не мог не видеть, что они проявлялись буквально во всем, отражаясь на здоровье людей, их умственной деятельности, нравственности, труде, и не мог заставить себя и дальше верить в иллюзию, созданную собственным воображением. Прежде всего Гора увидел, что среди низших каст в деревне вследствие недостатка женщин или по какой-то другой причине получить девушку в жены можно было лишь за очень большой выкуп, поэтому многие мужчины до преклонного возраста, а кое-кто и пожизненно были обречены на безбрачие. И вместе с тем вдовам строго-настрого запрещалось выходить вторично замуж. В результате здоровье многих людей подрывалось и не было человека, который на себе не испытывал бы всего вреда и неудобства этого закона. Проклятие тяготело над всеми без исключения, и в то же время никто не видел способа избавиться от него. И тот самый Гора, который в просвещенном обществе не допускал ни малейшего отклонения от обычаев, здесь, в деревне, решительно вступил в борьбу с ними. Ему удавалось иногда убедить в правильности своих доводов деревенских жрецов, но на простых людей общины влиять он не умел.

— Все это хорошо,— недовольно говорили они,— вот когда вдовы брахманов начнут выходить замуж, тогда и мы будем поступать так же.

Им казалось, что Гора презирает их, как людей низших каст, и проповедует свои идеи только для того, чтобы заставить их придерживаться подобающих им низких обычаев; за это они сердились на него.

Скитаясь по деревням, Гора заметил, что у мусульман есть нечто такое, что помогает им сплотиться. Он заметил, что в любом несчастье мусульмане крепко держатся друг за друга, что совершенно несвойственно индуистам, и часто размышлял над причинами столь резкого различия между двумя общинами, живущими бок о бок. Он никак не хотел согласиться с ответом на этот вопрос, который напрашивался сам собой. Ему слишком тяжело было признать, что мусульман объединяют не обычаи, а религия. С одной стороны, обычаи, исполнения которых требовала их община, не были столь бессмысленными, и с другой — религия сближала и объединяла их. Мусульмане объединялись на положительной, а не на отрицательной основе, они не были чьими-то должниками, наоборот, им принадлежало что-то ценное, ради чего они готовы были по первому зову встать плечо к плечу и без колебаний пожертвовать своей жизнью.

В просвещенном обществе Гора писал, спорил, выступал с речами, для того чтобы убеждать других. Для него было естественным рисовать все в розовом свете, власть его воображения оживляла слова, которые должны были помочь ему перетянуть кого-то на свою сторону. Он давал утонченные объяснения самым простым вещам и создавал в лунном свете своих эмоций чарующую картину того, что на самом деле было всего лишь грудой жалких обломков. Видя, что в Индии существует группа людей, которые отвернулись от страны и видят в ней только плохое, Гора, движимый страстной любовью к родине, старался окутать ее недостатки блестящим покрывалом своих чувств и скрыть их от оскорбительных и холодных взглядов этих людей. Иначе он не мог. Все в Индии хорошо. Он не просто доказывал это, как защитник на суде, не убеждал, что недостаток может обернуться добродетелью, если на него посмотреть с другой точки зрения, нет, он всей душой верил в то, что говорил. Даже там, где отступали все, он оставался стоять, гордо держа в крепких руках победное знамя своей веры. Его девизом было: «Сперва мы вернем уважение народа к своей родине, все остальное — потом!»

Но во время странствий по деревням, где он не был окружен слушателями, где ему нечего было доказывать, где не нужно было призывать на помощь все свои силы, чтобы повергнуть в прах всех этих высокомерных и ненавидящих, он не мог больше скрывать от себя истину. Именно сила любви к родине и заставила его с такой отчетливостью увидеть всю правду о ней.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

В камзоле туссорского шелка, подпоясанный шарфом, с парусиновым чемоданом в руке, Койлаш предстал перед Хоримохини и взял прах от ее ног. Ему было лет тридцать пять. Это был низкорослый человек с тяжелым лицом, туго обтянутым кожей. Уже несколько дней бритва не касалась его подбородка, который теперь напоминал скошенное поле.

— Это кто же приехал? Ну, садись, садись! — обрадовалась Хоримохини, увидев после долгой разлуки родственника мужа.

Она поспешно постелила циновку и спросила, не принести ли воды.

— Спасибо, не надо,— важно ответил он и прибавил: — А выглядишь ты слава богу!

— Да где уж там! — воскликнула недовольным тоном Хоримохини, воспринявшая этот комплимент как личное оскорбление, и стала перечислять свои многочисленные недуги.— Хотя бы умереть поскорее, чем так-то мучиться.

Койлаш возразил против такого небрежения к жизни и, в подтверждение того, что их семья надеется, что Хоримохини будет жить еще долго, хотя уже и нет в живых его старшего брата, сказал:

— Нет, не говори так! Вот видишь, если бы не ты, так я бы в Калькутту не попал, а так у меня хоть крыша над головой есть.

Койлаш пересказал от начала до конца все новости о родных и соседях, а потом вдруг осмотрелся по сторонам и спросил:

— Так, значит, это ее дом?

— Да! — ответила Хоримохини.

— Как видно, капитальный,— заметил Койлаш.

— А как же! Капитальный, конечно! — раззадоривала его Хоримохини.

Койлаш отметил, что стропила сделаны из прочного материала и даже на двери и окна пошел хороший лес, а не какое-нибудь манговое дерево. Он поинтересовался также кладкой стен: в полтора или два кирпича. Спросил, сколько всего комнат — наверху и внизу. И результатами осмотра, кажется, остался весьма доволен. Ему трудно было определить, во сколько обошлась постройка дома, так как в строительных материалах он смыслил мало и точных цен не знал. Шевеля пальцами ног, Койлаш погрузился в подсчеты и пришел к заключению, что

дом должен был стоить что-нибудь от десяти до пятнадцати тысяч рупий, однако вслух этого предположения высказывать не стал.

— Как думаешь, невестка, тысяч семь-восемь стоит? А? — спросил он Хоримохини.

— Да ты что это говоришь! — воскликнула Хоримохини, недоумевая пред лицом такого невежества.— Тысяч семь-восемь! Вот еще! Никак не меньше двадцати.

С большим вниманием начал Койлаш рассматривать все, что попадало в поле его зрения. Он наслаждался при мысли о том, что стоит ему только кивнуть, и он тотчас же станет полновластным хозяином этого заботливо построенного дома со всеми его балками, окнами и дверьми из дорогого тика.

— Все это очень хорошо. А как невеста?

— Ее неожиданно пригласили к тетке, и она пробудет там дня три-четыре,— торопливо ответила Хоримохини.

— Тогда как же мне посмотреть ее? У меня дома тяжба, нужно завтра же ехать.

— Тяжба твоя подождет. Нельзя тебе уехать, не покончив с этим делом.

Койлаш подумал, помолчал и, наконец, пришел к выводу: «За отсутствием одной из сторон тяжба, наверное, будет решена не в мою пользу. А, да ладно! Ну-ка посмотрим еще раз, как меня собираются компенсировать за убытки».

Вдруг через отворенную дверь он увидел в углу комнаты Хоримохини, где она обычно молилась, небольшую лужицу. В этой комнате не было стока для воды, но тем не менее Хоримохини ежедневно мыла и скребла свою молельню, почему вода и скапливалась в углу. При виде этой лужицы Койлаш не на шутку огорчился.

— А вот это уж нехорошо, невестка,— сказал он.

— Что нехорошо? В чем дело? — спросила Хоримохини.

— Да вон вода скопилась. Этого никак нельзя допускать.

— А что поделаешь, деверь?

— Нет, нет, так нельзя. Эдак и пол, пожалуй, сгниет. Послушай, невестка, нельзя в этой комнате воду зря лить.

После этого Хоримохини молчала, пока Койлаш не поинтересовался внешностью Шучориты.

— Я тебе одно скажу: в вашем доме таких невест еще не было. Да ты сам увидишь.

— Ну уж! — запротестовал Койлаш.— Наша средняя невестка...

— Нашел с кем сравнивать! Где вашей невестке до нее!

И что ты там ни говори, а твоя младшая невестка покрасивее будет средней невестки.

Надо сказать, что жена среднего брата благосклонностью Хоримохини не пользовалась.

Койлаша не особенно интересовало сравнение красот средней и младшей невесток. Дав волю воображению, он уже нарисовал в уме девушку неземной красоты с миндалевидными глазами, прямым носом и волосами до пят.

Из всех этих разговоров Хоримохини поняла, что основания надеяться у нее есть, и не маленькие. Она даже подумала, что, в конце концов, недостатки, которые, без сомнения, могут найти в невесте члены общины, не будут в данном случае иметь решающего значения.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ

Биной знал, что Гора теперь уходит из дома очень рано, поэтому в понедельник он отправился к нему, едва забрезжил рассвет, и прямо поднялся в спальню. Не найдя его там, Биной спросил слугу и узнал, что Гора в молельне. Это его несколько удивило. Подойдя к дверям молельни, Биной увидел Гору. Он сидел погруженный в молитву. На нем было шелковое дхоти, шелковый чадор прикрывал плечи, оставляя большую часть тела обнаженной, отчего было видно, как светла его кожа. Обнаружив, что Гора молится, Биной удивился еще больше.

Заслышав шаги, Гора обернулся и, увидев Биноя, испуганно воскликнул:

— Не входи сюда!

— Не бойся, не войду,— ответил Биной.— Но мне нужно поговорить с тобой.

Гора вышел, переменил одежду и увел Биноя наверх.

— Итак, брат Гора, сегодня — понедельник,— сказал Биной, когда они уселись в комнате Горы.

— Ты прав, сегодня — понедельник,— со смехом ответил Гора.— Календарь как будто не ошибается, а уж ты-то и подавно не перепутаешь, какой сегодня день. То, что это не вторник, сомнению не подлежит.

— Я знаю, что вряд ли ты придешь ко мне,— неуверенно сказал Биной,— но я не могу сделать такой шаг, не поговорив с тобой еще раз. Вот я и поднялся ни свет ни заря и явился к тебе.

Гора все сидел молча, и Биной продолжал:

— Гора, ты не сможешь прийти ко мне на свадьбу? Это окончательно?

— Да, Биной, не смогу,— ответил Гора.

Биной молчал.

— А какая беда в том, что я не могу прийти? — улыбкой скрывая тяжесть, переполнявшую его сердце, сказал Гора.— Ты победил. Тебе удалось перетянуть на свою сторону мать. Я не смог удержать ее, как ни старался. Приходится признать, что даже в битве за мать я потерпел от тебя поражение. Одна за другой крепости сдаются, и как бы мне скоро не остаться в одиночестве...

— Не сердись на меня, Гора. Ведь я очень уговаривал ее не приходить на мою свадьбу! А она ответила: «Вот что, Бину! Те, кто не хочет быть на твоей свадьбе, не придут, даже если ты пригласишь их, а те, кто хочет быть, придут, если бы ты и запретил им это. Поэтому не волнуйся и не трать слов попусту». Вот ты говоришь, что потерпел поражение от меня — согласись, что поражение-то было совсем не от меня, а от твоей матери. И что это далеко не первый раз с тобой случается! Но и то сказать — у кого еще есть такая мать!

Хотя Гора сделал все возможное, чтобы удержать Анондомойи, в глубине души он вовсе не был огорчен тем, что, невзирая на его возмущенные протесты и недовольство, она все-таки пошла на свадьбу. Он даже был рад этому. Ему было отрадно сознавать, что, как бы велика ни была пропасть, разделявшая их с Биноем, частица нежного, любящего сердца его матери всегда будет принадлежать его другу. Их пути могли разойтись, но он знал, что, пока священные узы материнской любви соединяют их, ничто и никогда не сможет нарушить их дружбы.

— Я пойду, Гора! — сказал Биной.— Если уж ты никак не можешь прийти, не приходи. Но не таи в душе обиды против меня. Я уверен, что, если ты поймешь, какой великий смысл и значение обретает моя жизнь благодаря этому браку, ты никогда не лишишь нас своей дружбы.

С этими словами он встал.

— Посиди, Биной,— поспешно проговорил Гора.— Ведь торжественное событие произойдет только вечером. Куда же ты так спешишь?

Биной тотчас же сел, тронутый неожиданной просьбой, высказанной мягко и ласково.

И сразу же между ними завязался искренний, задушевный разговор, как будто и не было позади стольких дней разлуки.

Мягкие нотки, звучавшие в голосе Горы, затронули ответные струны в сердце Биноя, и ему захотелось высказать все, что накопилось за это время в его душе. Он рассказывал о всяких мелочах, таких пустых и неважных на первый взгляд, которые, однако, приобретали в его пересказе особую прелесть, словно старые стихи, положенные на музыку. С каким жаром и вдохновением поведал он Горе о том, что ему пришлось пережить и перечувствовать за это время. Как замечательно, чудесно было все то, что случилось с ним. Всем ли дано изведать неописуемое счастье, которое переполняло душу Биноя? И у всех ли есть силы удержать это счастье? Нет, он твердо знал, что пережить такие высокие чувства дано далеко не всем людям. соединяющим свои жизни. Он настойчиво подчеркивал, что их отношения нельзя сравнивать с тем, что испытывают другие люди. Весьма сомнительно, что кто-то еще познал всю глубину любви так, как познал ее Биной. Если бы познать ее было уделом каждого, жизнь на земле не могла бы оставаться такой, как сейчас, она расцвела бы, подобно тому как ярко одеваются новыми листьями и цветами леса от первого дыхания весны. Люди не жили бы, как теперь, скучно и нудно, тратя свое время на сон и на еду, и вся сила и красота, заложенные в них от природы, воплотились бы в чудесное разнообразие форм и красок. Любовь была бы подобна волшебной палочке, и никто не смог бы остаться бесчувственным к ее прикосновению. Она придавала бы замечательные качества самым заурядным людям. И человек, хотя бы раз вкусивший ее, неминуемо постигал бы, в чем заключается смысл жизни.

— Гора,— в экстазе говорил Биной.— Я понял, что только настоящая любовь способна в один миг пробудить все душевные силы человека. Неважно, что́ причина тому, но такая любовь — большая редкость, и поэтому очень многие из нас никогда не могут до конца познать себя. Очень часто мы не имеем никакого представления о возможностях, которые таятся в нас, и даже не можем проявить те таланты, которые в нас заложены. Потому-то так безрадостна жизнь и так недостает людям веселья. Вот почему лишь некоторые, вроде тебя, понимают, что каждому человеку дана великая душа, а заурядный человек не в состоянии понять это.

Поток восторженных речей Биноя был прерван громким зевком, донесшимся из комнаты Мохима. Слышно было, как он встал и отправился умываться. Биной попрощался с Горой и вышел.

Гора поднялся на крышу, посмотрел на восток, где полыхала заря, и тяжело вздохнул. Долго ходил он по крыше взад и вперед. Обычная поездка по деревням была на сегодня отменена.

В это утро Гора чувствовал на сердце тоску и пустоту, которую он не мог заполнить ничем. Ему страстно хотелось, чтобы яркий прекрасный свет озарил его жизнь и дело, которому он посвятил себя. Он словно простирал руки к небу и требовал: «Света! Яркого света!» Казалось, в его распоряжении было все: брильянты, золото, серебро. Не составляло труда достать и железные доспехи и щит. Но где была она — ласковая, лучезарная заря, дарующая надежду и утешение? Незачем умножать богатства, которыми мы владеем, нужно лишь, чтобы что-то заставило эти богатства открыться взору людей во всей их красе и блеске.

Теперь уже Гора не мог, как прежде, смеяться над Биноем, утверждавшим, что, когда наступает замечательный миг и любовь вспыхивает одновременно в сердцах мужчины и женщины, чудесный свет озаряет их жизнь. В душе Гора признавал, что это не обычное единение душ, а нечто такое, без чего жизнь не может быть по-настоящему полна, от соприкосновения с чем все приобретает какую-то особую ценность. Любовь помогает мечте воплотиться и вдыхает новую душу в плоть. Она не только делает человека вдвое сильнее и умнее, но и пробуждает в нем новый интерес к жизни.

И вот сегодня, в день, когда Биной по собственной воле становился изгнанником общества, в сердце Горы вдруг зазвучала мелодия той самой песни, которую пело сердце Биноя. Уже давно ушел Биной, а чудесная мелодия не желала затихать. Подобно тому как с плеском смешивают свои струи две реки, устремляющиеся к океану, так и любовь, переполнявшая сердце Биноя, соединилась в страстном гимне с потоком любви, изливавшимся из сердца Горы. Чувство, которое Гора старался заглушить в себе, подавить, скрыть от самого себя, не признать, вышло из берегов и решительно заявило о себе. У Горы не было больше сил отвергать его, как чуждое ему, или презирать, как недостойное.

Так прошло много часов, и, когда день стал растворяться в сумерках, Гора достал чадор, набросил его на плечи и вышел на улицу.

«Я должен взять то, что принадлежит мне,— сказал он себе.— Иначе моя жизнь в этом мире будет неполной, бесполезной».

Он ни на минуту не сомневался в том, что она, Шучорита, ждет его знака. Сегодня, сейчас он позовет ее.

Гора быстро шел по шумным улицам многолюдной Калькутты. Он не замечал, когда его толкали. Его душа словно покинула тело и устремилась куда-то вдаль, вперед...

Подойдя к дому Шучориты, он остановился и внезапно задумался. Сколько раз он приходил сюда, и дверь всегда бывала открытой настежь, но сегодня... Гора толкнул ее — оказалось, что дверь заперта изнутри. Он постоял в раздумье, затем постучал.

На пороге появился слуга. Узнав в неясных сумерках Гору, он, не ожидая вопроса, сообщил, что молодой госпожи нет дома.

— Где же она? — спросил Гора.

Слуга объяснил, что она уже дня три тому назад переселилась в другой дом, помогает приготовить все к свадьбе Лолиты.

Пока Гора стоял и думал, не пойти ли ему на свадьбу Биноя, из дома вышел какой-то незнакомый бабу.

— Что вам угодно, господин? — спросил он.

Смерив его взглядом с головы до ног, Гора ответил:

— Ничего, спасибо!

— А то зайдите, посидим, покурим,— пригласил его Койлаш.

Койлаш истосковался по собеседникам. Хоть бы кто-нибудь зашел поболтать — и то легче бы было. Днем он еще кое-как убивал время, стоя с трубкой в руке на углу переулка и наблюдая прохожих, но по вечерам умирал со скуки. Все темы для разговоров с Хоримохини были давно исчерпаны, да и круг их был чрезвычайно ограничен. Поэтому Койлаш обосновался в небольшой комнатке на первом этаже около входа, там он курил свою трубку, вступая время от времени в разговоры со слугой, чтобы как-то скоротать время.

— Нет, спасибо, я сейчас не могу,— ответил Гора, и не успел Койлаш открыть рот, чтобы повторить просьбу, как молодой человек оказался уже в конце переулка.

Гора был твердо убежден, что он родился для того, чтобы выполнить какую-то особенную миссию, предопределенную ему тем, от кого зависели судьбы его родины, и, однажды уверовав в это, он теперь считал, что большинство событий его жизни были не случайны и отнюдь не являлись результатом его личного желания. Поэтому он всегда искал какой-то особый смысл даже в самых незначительных обстоятельствах своей жизни.

Сегодня, когда, повинуясь непреодолимому желанию, он отправился к Шучорите и сначала нашел ее дверь запертой, а затем услышал, что ее нет дома, он решил, что неспроста что-то мешает его надеждам сбыться. Тот, кто руководил его поступками, дал понять, что он недоволен Горой. Очевидно, в этой жизни двери дома Шучориты были перед ним закрыты. Шучорита не для него! Человек, подобный Горе, не имеет права поддаваться своим желаниям, в его жизни нет места личным радостям и горестям. Он индийский брахман, его дело молиться господу за свою великую родину, его долг — самоотречение во имя благополучия Индии. Страстная любовь, привязанности — не его удел.

«Господь наглядно показал мне, что такое любовь,— говорил себе Гора.— Теперь я знаю, что в ней нет ясности и покоя, что она жгучая и терпкая, как вино. Она будоражит душу и порождает иллюзии. Но я — саньяси, в моем сознании ей нет места».

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ

Шучорита, которую столько времени тиранила Хоримохини, за эти несколько дней, проведенных с Анондомойи, почувствовала такое облегчение, какого не испытывала никогда в жизни. Она очень привязалась к Анондомойи, и ей с трудом верилось, что когда-то она не знала эту женщину и была далека от нее. Анондомойи каким-то образом прекрасно понимала все ее мысли и порой без слов приносила ей глубокое успокоение. Никогда прежде Шучорита не произносила так от души слово «мать». И она не упускала случая лишний раз произнести его, хотя бы и без большой надобности.

Когда все приготовления к свадьбе Лолиты были закончены и Шучорита в полном изнеможении свалилась на постель, у нее на уме была только одна мысль — как она теперь расстанется с Анондомойи? Она начала тихонько повторять про себя: «Ма, ма!» И от этого сердце ее так переполнилось, что из глаз брызнули слезы, но тут возле нее появилась Анондомойи. Она откинула кисейный полог от москитов и присела на кровать.

— Ты звала меня? — спросила Анондомойи, погладив Шучориту по голове.

Когда Шучорита поняла, что говорила вслух, она не смогла ответить на вопрос, а только уткнулась лицом в колени Анон-

домойи и разрыдалась. Анондомойи продолжала молча гладить ее по голове. В эту ночь они спали вместе.

Анондомойи не хотелось возвращаться домой сразу же после свадьбы Биноя.

— Они оба ничего еще не смыслят в житейских делах,— сказала она.— Как же я уйду, не наладив им хоть немного хозяйство?

— Ма,— обратилась к ней Шучорита,— тогда и я останусь с тобой на эти несколько дней.

— Правда, ма! — оживилась Лолита.— Пусть Шучи-диди побудет с нами несколько дней.

Услышав эти слова, Шотиш подбежал к Шучорите, обнял ее и заплясал от радости.

— И я, и я тоже останусь, диди! — кричал он.

— Тебе же нужно учиться, болтунишка,— возразила Шучорита.

— Меня будет учить Биной-бабу.

— Биной-бабу сейчас не сможет заниматься с тобой.

— Почему же не смогу? — донесся голос Биноя из соседней комнаты.— Неужели ты думаешь, что я за сутки умудрился забыть все, что учил когда-то, просиживая за книгами ночи напролет.

— А разрешит ли твоя тетя? — спросила Анондомойи Шучориту.

— Я пошлю ей записку.

— Нет, не стоит, лучше я сама напишу ей.

Анондомойи знала, что, если Шучорита сама выразит желание остаться, Хоримохини непременно обидится, если же попросит ее об этом она, Анондомойи, то весь гнев Хоримохини обрушится на нее, а не на Шучориту.

В письме Анондомойи сообщала, что она должна задержаться на некоторое время у Биноя, чтобы наладить хозяйство молодых, и если Хоримохини согласится, чтобы Шучорита побыла с ней еще несколько дней, то это значительно облегчит ее задачу.

Письмо Анондомойи не только рассердило Хоримохини, но и пробудило в ней подозрения. Она подумала, что теперь, когда ей удалось в корне пресечь посещения Горы, его мать стала всячески стараться заманить Шучориту в силки. Все это представилось ей не чем иным, как сговором между матерью и сыном. Теперь Хоримохини припомнила, как еще в самом начале ей не понравился образ мыслей Анондомойи.

У Хоримохини гора свалилась бы с плеч, если бы ей

удалось благополучно пристроить Шучориту в знаменитую семью Раев. Да и сколько можно заставлять Койлаша ждать? Бедняга прокоптил все стены в доме, день и ночь куря свою трубку.

На следующий день утром после получения письма Хоримохини, захватив слугу, сама отправилась в паланкине в дом Биноя. Там она застала Шучориту, Лолиту и Анондомойи, собравшихся в нижней комнате и занятых приготовлением обеда. Сверху, сотрясая окрестности, доносился громкий голос Шотиша, заучивавшего написание английских слов и их бенгальские значения. Дома никто никогда не подозревал, что у него такой необычайной мощи голос. Но здесь, чтобы доказать всем, как ревностно он относится к приготовлению уроков, ему приходилось налегать на него.

Анондомойи тепло встретила Хоримохини, но та, не обращая внимания на любезный прием, без всяких церемоний заявила:

— Я приехала забрать Радхарани домой.

— Вот и прекрасно, но сейчас присядь хоть на минуточку,— пригласила Анондомойи.

— Нет, спасибо,— ответила Хоримохини,— мне еще обряды совершать надо. Я и утренней-то молитвы толком не закончила. Я не могу задерживаться.

Шучорита резала тыкву, не вступая в разговор, пока тетка не обратилась непосредственно к ней.

— Ты слышала? — сказала Хоримохини.— Собирайся!

Лолита и Анондомойи сидели, не говоря ни слова. Шучорита отложила работу и встала.

— Пошли, тетя,— сказала она и направилась с ней к выходу, но по дороге, взяв Хоримохини за руку и заведя ее в другую комнату, сказала твердым голосом: — Раз уж ты приехала за мной, я не стану позорить тебя при всех. Я поеду с тобой домой, но сегодня же к полудню вернусь сюда.

— Это что еще за разговоры! — возмутилась Хоримохини.— Ты еще скажи, что навсегда останешься здесь?

— Навсегда остаться здесь я не могу,— ответила Шучорита.— Потому-то я и хочу побыть с Лолитой как можно дольше сейчас, пока у меня есть возможность.

От этих слов Хоримохини пришла в ярость, но, рассудив, что для препирательств момент сейчас неподходящий, сочла за лучшее промолчать.

— Ма,— сказала Шучорита, улыбнувшись Анондомойи.— Я съезжу ненадолго домой и сейчас же вернусь.

Анондомойи не стала ни о чем спрашивать и лишь проговорила:

— Хорошо, моя милая.

— Я вернусь к полудню,— шепнула Шучорита Лолите.

Девушка подошла к паланкину.

— А Шотиш? — Она вопросительно взглянула на тетку.

— Нет, Шотиш пусть остается,— ответила Хоримохини, решив, что Шотиш чудный мальчик на расстоянии и лучше его держать подальше от дома.

Когда они благополучно уселись в паланкин, Хоримохини попробовала завести разговор на волнующую ее тему.

— Ну вот Лолиту и выдали замуж. И слава богу! Порешу-бабу, по крайней мере, можно об одной дочери больше не беспокоиться.

После этого вступления она долго распространялась на тему о том, какая это тяжелая обуза иметь в доме незамужнюю дочь и сколько хлопот доставляет она своим родителям.

— Что тебе сказать,— продолжала она.— И у меня нет другой заботы. Об одном только и думаю, даже когда на молитву встану, эта мысль меня не оставляет. Правду тебе говорю, я и молиться-то теперь с прежним усердием не могу. Я что говорю: все ты у меня взял, господи, так за что же ты еще новое ярмо на меня надеваешь?

Как теперь выяснилось, для Хоримохини замужество Шучориты было не только житейской заботой, но и помехой на пути к спасению души. Но даже услышав о таких серьезных осложнениях, Шучорита не проронила ни слова. Тетка не сумела понять, что же, собственно, думает Шучорита, и, руководствуясь пословицей «молчание — знак согласия», истолковала поведение своей жертвы в благоприятную для себя сторону, решив, что она, по-видимому, смягчается. Не преминула она намекнуть и на то, какая это сложная задача распахнуть дверь в индуистское общество для девушки вроде Шучориты и как ловко справилась с ней Хоримохини. Теперь, даже если Шучориту будут приглашать в самые знатные дома, ее будут сажать за стол вместе со всеми и никто даже пикнуть не посмеет.

Лекция как раз достигла этого пункта, когда паланкин донесли до дома. Поднимаясь наверх, Шучорита заметила в маленькой комнатке у входной двери незнакомого человека, которого слуга натирал маслом перед омовением. Увидев Шучориту, гость этот нимало не смутился, а, напротив, с нескрываемым любопытством стал рассматривать ее.

Наверху Хоримохини сообщила Шучорите, что человек

этот — ее деверь, который приехал погостить, и, исходя из всего вышесказанного, Шучорита сразу поняла, что все это значит. Хоримохини всячески пыталась убедить племянницу, что очень невежливо будет с ее стороны бросить гостя и уехать сегодня днем, но Шучорита только отчаянно замотала головой и сказала:

— Нет, тетя, я должна ехать.

— Ну, хорошо, останься на сегодня, а завтра поедешь.

— Я выкупаюсь и сразу же пойду обедать к отцу, а оттуда к Лолите,— стояла на своем Шучорита.

— Ведь приехали нарочно, чтобы посмотреть на тебя,— сболтнула Хоримохини.

— Для чего ему это? — спросила Шучорита, краснея.

— Вы ее только послушайте! — воскликнула Хоримохини.— Разве теперь делаются такие дела без смотрин? В мое время не так было. Твой дядя меня до свадьбы не видел.

И, сделав такой прозрачный намек, Хоримохини торопливо начала припоминать дальнейшие подробности сватовства. Она описала, как старый служащий знаменитого рода Раев по имени Онатхбондху и старая горничная, которую звали Тхакурдаши, а с ними двое привратников в чалмах и с посохами в руках явились накануне свадьбы в дом ее отца посмотреть невесту, как в тот день волновались ее родители и как все в доме сбились с ног, чтобы принять по-хорошему этих посланцев семьи Раев и не ударить лицом в грязь. В заключение, тяжело вздохнув, она сказала, что теперь уже времена не те.

— Ну что тебе стоит,— уговаривала Хоримохини,— посидишь с ним пять минут, вот и все.

— Нет! — твердо сказала Шучорита.

Это «нет» было произнесено так решительно, что Хоримохини даже растерялась.

— Ну, хорошо, хорошо. Нет так нет,— поспешно согласилась она.— Можно обойтись и без этого. Но только Койлаш — молодой человек, современный, образованный и, как все вы, ни с чем не желает считаться. Он объявил, что хочет видеть невесту своими глазами. Ведь ты же всюду бываешь. Вот я и пообещала ему устроить как-нибудь вашу встречу. Ну, а раз ты так стесняешься, что ж поделаешь, можно обойтись и без этого.

И она принялась рассказывать о том, какое удивительное образование получил Койлаш, как одним росчерком пера он сумел так насолить деревенскому почтмейстеру, что тот не скоро это забудет, и о том, как никто во всей округе никогда не начинает тяжбы, не посоветовавшись предварительно с Койлашем. Всем-то он всегда все разъяснит. А уж о характере деверя

и говорить не приходится! Он не пожелал жениться вторично после смерти жены, несмотря на настойчивые уговоры родных и друзей, а предпочел следовать указаниям своего гуру. Чего Хоримохини стоило уговорить его! Он и слушать ее сначала не хотел. Ведь какая семья! Как уважает ее община!

Шучорита, однако, оказалась совершенно равнодушной и к семье, и к ее авторитету. Она даже недвусмысленно дала понять, что как-нибудь перенесет, если в индуистской общине вообще не найдется для нее места. Она, глупая, совершенно не поняла, что если после всех стараний тетки Койлаш наконец дал согласие жениться на ней, то для нее это большая честь. Она, кажется, даже сочла это за оскорбление! Хоримохини была до глубины души возмущена капризами и своеволием современной молодежи.

И тут ее недовольство перекинулось на Гору. Тоже еще! Ходит, похваляется, что уж такой примерный индуист, что дальше некуда, а кто его в общине-то знает? Кто его почитает, интересно знать? И кто за него вступится, когда община решит покарать его, если он женится на богатой брахмаистке, польстившись на ее денежки? Все эти денежки уйдут на то, чтобы замазать его дружкам рты...

— Зачем ты так говоришь, тетя? — попробовала остановить ее Шучорита.— Ты же знаешь, что все это неправда.

— Когда человек доживет до моих лет,— ухмыльнулась Хоримохини,— его уж не проведешь! У меня есть глаза и уши. Я все вижу, все слышу, все понимаю и только дивлюсь да помалкиваю.

Затем она высказала свое непоколебимое убеждение, что Гора в сговоре с матерью и отнюдь не из высоких побуждений замыслил заполучить Шучориту в жены и что тем оно, вероятно, и кончится, если она, Хоримохини, с помощью семьи Раев не сумеет вызволить Шучориту из беды.

Это было уже слишком даже для терпеливой Шучориты.

— Не забывай, что ты говоришь о людях, которые пользуются моим уважением! — воскликнула девушка.— И раз ты не в состоянии понять мои отношения с ними, то мне остается только одно — уйти отсюда. Когда ты образумишься и мы сможем снова жить с тобой вдвоем, я вернусь.

— Если Гоурмохон тебе не нравится и ты не собираешься выходить за него замуж, то чем же Койлаш тебе не хорош? — проговорила Хоримохини.— Ведь не собираешься же ты весь век в девках сидеть?

— А почему бы и нет? — воскликнула Шучорита.— Я никогда не выйду замуж.

Хоримохини вытаращила глаза.

— Что же, ты до самой старости...

— Да, до самой смерти! — сказала Шучорита.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

То обстоятельство, что он не застал дома Шучориту в тот момент, когда ему так страстно хотелось увидеть ее, направило мысли Горы по другому руслу. Ему казалось, что он подпал под обаяние Шучориты только потому, что позволил себе излишне часто видеться с ее семьей и, сам того не замечая, безнадежно запутался. В своем высокомерии он преступил дозволенные границы, нарушил обычаи своей страны. Вопрос был не только в том, что, преступая эти границы, человек сознательно или бессознательно вредил себе, он утрачивал также способность делать добро другому. Близкие отношения с людьми, частое общение с ними неизменно приводили к тому, что чрезмерно обострялись многие чувства, заставляя забывать о вере и благоразумии.

Открыть эту истину Горе помогло не только близкое знакомство с девушками-брахмаистками; даже прежде, встречаясь с простым деревенским людом, он не раз чувствовал, как увлекает его водоворот жизни. Он постоянно испытывал чувство жалости к людям и невольно начинал думать, что тот или иной обычай вреден, неправилен и что нужно ему положить конец. Но разве сострадание не мешает человеку трезво судить о том, что хорошо, а что плохо? Чем сильнее говорит в нас жалость, тем скорее теряем мы способность видеть вечную и неизменную истину,— подобно тому как дым закрывает от нашего взора огонь костра, так и жалость затемняет свет истины.

Гора часто повторял себе, что именно поэтому в Индии истари придерживались правила — тот, на ком лежит забота о всеобщем благе, должен держаться обособленно. Мнение, что монарх может хорошо править своими подданными, лишь находясь в тесном общении с ними, не имеет под собой никакого основания. Мудрый монарх только проигрывает от общения со своими подданными. Вот почему и сами подданные добровольно окружают монарха ореолом. Они прекрасно понимают, что стоит только ему опуститься до дружбы с ними, и всякая необходимость в нем сразу же отпадет.

Брахман тоже должен стоять вдали от всех, одинокий и

невозмутимый. Ведь он заботится о счастье всех и поэтому не может общаться со всеми.

«Я и есть такой брахман Индии»,— говорил себе Гора. Общающихся с кем попало, погрязших в спекуляциях, алчности и прочих низостях брахманов он не считал настоящими, плоть от плоти Индии святыми людьми. По его мнению, они стояли даже ниже шудр, ибо шудра рожден и живет в скверне, брахман же, забывший о святости, не брахман, а смердящий труп. Именно по вине таких брахманов Индия и влачила сейчас столь жалкое существование.

С нынешнего дня Гора решил неукоснительно соблюдать все правила живительного учения брахманов.

«Я должен оставаться совершенно незапятнанным,— говорил он себе.— Я занимаю в жизни не такое место, как все; я могу обойтись без друзей, я не принадлежу к распространенной породе людей, которым близость женщины доставляет высшее наслаждение, а общение с темным, простым народом для меня совершенно непозволительно, ибо эти люди должны взирать на брахмана так, как взирает земля на далекое небо в ожидании дождя. Кто же спасет этот народ, если я буду слишком близок к нему?»

До сих пор юноша не уделял молитве слишком много внимания. Но сейчас, когда сердце его охватила тревога и обычная выдержка изменила ему, когда дело его вдруг потеряло всякий смысл и печаль объяла его жизнь, он решил обратиться к молитве. Он садился перед изваянием божества и пытался сосредоточиться, однако вызвать в себе религиозный экстаз ему не удавалось. Путем логических рассуждений он объяснял природу бога, но для того, чтобы по-настоящему понять его, требовалась какая-то риторическая фигура. Но риторическая фигура не наполняет сердца благоговением, и метафизические рассуждения не заменяют молитвы. Очень скоро Гора заметил, что настоящие благоговение и вдохновенный восторг он испытывает отнюдь не в храме, пытаясь отдаться молитве, а в пылу спора.

И все же Гора не сдавался. Он стал неукоснительно каждый день молиться и исполнять все религиозные обряды, предписывавшиеся священными законами. Он убеждал себя, что там, где недостает чувства единения со всеми, единство нужно поддерживать только с помощью обрядов и правил.

Каждый раз, когда Гора отправлялся в деревню, он заходил в храм и, сидя там, погруженный в глубокое созерцание, говорил себе: «Именно здесь мое настоящее место. С одной сто-

роны — бог, с другой — молящиеся, а между ними — брахман, объединяющий их, подобно тому как соединяет берега реки мост».

Постепенно Гора пришел к заключению, что брахман вовсе и не должен быть набожным. Набожность — это отличительная черта простого народа, и мост, соединяющий религиозных фанатиков с предметом их поклонения,— это мост мудрости, который не только соединяет, но и устанавливает границу между ними. Если бы молящегося и его божество не разделяла бездна чистого знания, все его представления о божестве были бы извращены. Потому-то брахману и не дано впадать в религиозный экстаз. Его дело сидеть в гордом одиночестве на вершине познаний и, строго соблюдая все правила, оберегать веру во всей ее чистоте и непорочности на радость толпе. Подобно тому как брахману нет покоя в мирской жизни, ему неведома и самозабвенная радость молитвы. В этом и есть величие брахмана. В мирских делах для брахмана главное — выполнение всех правил и воздержание, в религиозных — знание.

И раз сердцу удалось на какой-то срок одержать над ним верх, Гора решил наказать его. Мятежному сердцу грозило изгнание. Но кто мог исполнить эту угрозу?

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Приготовления к церемонии покаяния Горы в саду на берегу Ганги шли своим чередом. Обинашу было только досадно, что избранное для церемонии место было не в центре Калькутты и, следовательно, она не сможет привлечь столько народу, сколько ему хотелось бы. Он прекрасно понимал, что самому Горе покаяние не очень нужно, нужно оно было народу Индии, на который такое зрелище должно было морально воздействовать. И ради этого, конечно, следовало провести церемонию на глазах у толпы.

Но Гора не согласился,— он хотел, чтобы во время церемонии пылал жертвенный огонь и читались веды, что было не совсем удобно в центре людной Калькутты. Для этого более подходило уединенное место в лесу или на берегу Ганги. Там при свете священного пламени, под пение ведических гимнов Гора мог взывать к древней Индии,— той, к словам которой прислушивался весь мир,— и, очистившись от грехов и совершив омовение, принять от нее посвящение в новую жизнь. О «моральном воздействии» Гора вовсе не тревожился,

Не зная, как еще удовлетворить свою потребность в глас-

ности, Обинаш прибегнул к помощи прессы. Ничего не сказав Горе, он во всех газетах опубликовал сообщение о предстоящем покаянии. Но и на этом он не успокоился и написал несколько длинных передовиц, в которых подчеркивал, что благородного и непорочного брахмана вроде Горы, конечно, не может коснуться никакая скверна и что он совершает покаяние за всю страну, взяв на себя грехи так низко павшей в наши дни Индии. «Подобно тому как наша погрязшая в прегрешениях страна томится в оковах иноземцев,— писал Обинаш,— Гоурмохон-бабу на себе испытал, что значит быть закованным в кандалы. Он взял на себя муки родины и вызвался искупить покаянием ее грехи. Поэтому вы, братья бенгальцы, и ты, несчастный двухсотпятидесятимиллионный народ Индии...» и так далее.

Прочитав эти словоизлияния, Гора впал в ярость. Но удержать Обинаша было невозможно. Гневные тирады Горы не производили на него никакого впечатления. Сказать правду, Обинаша они даже радовали.

— Наш наставник витает в мире высоких чувств,— говорил он,— и ничего не понимает в делах житейских. Его можно сравнить с небожителем Нарадой, который своей игрой на вине покорил Вишну и заставил его сотворить священную Гангу. Но принудить ее омывать наш бренный мир и оживить прах сыновей Сагары смог лишь живший на земле царь Бхагиратха, а вовсе не жители неба. Это два совершенно разных дела.

Выходки Обинаша приводили Гору в бешенство, но Обинаш лишь посмеивался про себя, и только его почтение к учителю неуклонно росло.

«Обликом наш наставник,— говорил он себе,— настоящий Шива, но душой совершенный ребенок: в мирских делах ничего не смыслит, совершенно непрактичен, моментально вспыхивает и так же быстро отходит».

Стараниями Обинаша вокруг предстоящего посвящения Горы был поднят большой шум, и число людей, которые приходили посмотреть на Гору и поговорить с ним, достигло невероятной цифры. Каждый день приносил ему столько писем, что он не успевал прочитывать их. Всеобщее обсуждение его покаяния умаляло, по мнению Горы, всю торжественность этого обряда и превращало его в заурядное публичное зрелище. Но это был порок века, бороться с которым было трудно.

Последнее время Кришнодоял даже не касался газет, но людская молва проникла и в его убежище; прихлебатели, раздуваясь от гордости, сообщили ему, что его достойный сын

Гора готовится торжественно совершить покаяние, и выразили надежду, что юноша пойдет по святым стопам своего отца и со временем станет таким же великим человеком.

Трудно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как Кришнодоял последний раз заходил в комнату Горы. Сегодня, однако, сняв свои шелковые одежды, он надел обыкновенное платье и пошел к сыну, но не застал его.

Слуга доложил Кришнодоялу, что Гора находится в комнате жреца.

— Господи боже мой! Что ему там нужно?

Узнав, что Гора молится, Кришнодоял встревожился еще больше и поспешил в молельню. Там он нашел Гору, который сидел перед алтарем, погруженный в молитву.

— Гора! — позвал Кришнодоял с порога.

Удивленный появлением отца, Гора встал. В своих покоях Кришнодоял установил изваяние собственной божественной покровительницы и молился отдельно от всех. Все семейство поклонялось богу Вишну, но сам он почитал богиню Шакти и уже давно не участвовал в семейных богослужениях.

— Пойди-ка сюда! — позвал он.

Гора вышел из молельни.

— Что все это значит? — воскликнул Кришнодоял.— Что ты там делаешь? Ведь для этого есть специальный брахман,— продолжал он, видя, что Гора молчит.— Все необходимые обряды за всех в доме он регулярно выполняет. Так тебе-то что еще нужно?

— Ничего плохого в этом нет, насколько я понимаю.

— Ничего плохого! Ты так думаешь? А не кажется ли тебе, что нечего вмешиваться не в свое дело, раз у тебя и права на это нет. Это грех! Понимаешь? И грех этот ложится не только на тебя, но и на всех в доме.

— Если говорить об искренности в вопросах веры,— возразил Гора,— то, по всей вероятности, очень немногие имеют право совершать богослужение. Но неужели ты хочешь сказать, что я не имею права делать то, что делает наш жрец Рамхори?

Кришнодоял не сразу нашелся, что ответить.

— Видишь ли,— сказал он после некоторого молчания,— ежедневные обряды и молитвы — это кастовая обязанность Рамхори. Бог снисходительно смотрит на то, что их каста приняла на себя эту обязанность. Если же мы сами за это возьмемся, то нам придется отстранить их, а что будет с общиной? У тебя нет никакой причины отстранять его, и я не вижу, зачем тебе понадобилось входить в его комнату.

Раз уж сам Кришнодоял говорил, что даже такой праведный брахман, как Гора, не должен входить в молельню, значит, он имел для этого основания, и поэтому Гора не стал возражать.

— И вот еще что, Гора,— продолжал Кришнодоял,— я слышал, что ты как будто созвал всех пандитов на церемонию своего покаяния. Это правда?

— Да,— признался Гора.

— Пока я жив, этого не будет! — горячо воскликнул Кришнодоял.

— Но почему? — спросил возмущенный до глубины души Гора.

— Как почему? Разве я тебе не говорил, что ты не должен принимать участия в такой церемонии.

— Да, ты это говорил,— подтвердил Гора,— но не объяснил причины.

— И не вижу никакой необходимости объяснять,— ответил Кришнодоял.— Ты должен с почтением относиться к тому, что говорят тебе старшие и наставники. Без их разрешения ты не можешь участвовать ни в одной религиозной церемонии. Тебе, надо полагать, известно, что подобные церемонии связаны с памятью предков?

— Да, но в чем же тут препятствие для меня? — удивился Гора.

— Для тебя это совершенно исключено,— сердито сказал Кришнодоял,— я не допущу, чтобы ты принимал в них участие.

— Вот что,— жестко и холодно ответил Гора,— это мое личное дело. Я хочу очиститься от скверны и с этой целью устраиваю обряд покаяния, и я совершенно не понимаю, почему ты так волнуешься из-за этого и протестуешь.

— Послушай, Гора,— не выдержал Кришнодоял.— Было бы очень хорошо, если бы ты не пускался в спор по всякому поводу. О таких вещах не спорят. Есть много такого, что тебе понять еще не под силу. Позволь мне сказать тебе еще раз — ты глубоко заблуждаешься, если считаешь, что стал уже настоящим индуистом. Это не в твоей власти. Каждая капля твоей крови, каждая клеточка твоего тела восстает против этого. Даже при самом большом желании нельзя вдруг стать индуистом. Для этого нужно совершать праведные поступки из рождения в рождение.

— Я не знаю, как уж там из рождения в рождение,— вспыхнул Гора,— но разве я не могу претендовать на права, которые дает мне кровь нашего рода?

— Опять ты споришь! — воскликнул Кришнодоял.— И тебе не стыдно прямо в глаза противоречить мне? Называешь себя индуистом, а сам никак не бросишь эти английские повадки. Слушай, что тебе говорят, и немедленно прекрати все это.

Гора стоял молча, опустив голову.

— Но если я не совершу покаяния,— сказал он,— я не смогу есть со всеми вместе на свадьбе Шошимукхи.

— И великолепно! Что в этом плохого? — воодушевился Кришнодоял.— Тебя посадят отдельно.

— Значит, и в общине я должен держаться отдельно от всех?

— Это было бы очень хорошо,— согласился Кришнодоял, но, заметив, что его воодушевление несколько удивляет Гору, добавил: — Не обращай внимания на эти мелочи. Я ведь тоже никогда не ем вместе со всеми, даже когда бываю среди приглашенных. А какие у меня связи с общиной? Если ты хочешь вести праведный образ жизни, тебе лучше всего вступить на такой же путь. Я уверен, что для тебя это будет наивысшим благом.

В полдень Кришнодоял послал за Обинашем и сказал ему:

— Что это вы там замышляете? Зачем вам понадобилось ставить Гору в такое затруднительное положение?

— Как это так замышляем? Ваш Гора сам любого поставит в затруднительное положение. Его не очень-то поставишь.

— Ну, так вот что,— твердо сказал Кришнодоял,— предупреждаю, что этой церемонии не бывать. Я никогда не соглашусь на это. Чтобы сейчас же вся подготовка к ней была прекращена!

Обинаш был удивлен упорством старика. Но он знал немало примеров в истории, когда отцы великих людей совершенно не понимали своих сыновей, и решил, что Кришнодоял тоже принадлежит к числу таких отцов. Он подумал, что для старика было бы куда полезнее поучиться у своего сына, вместо того чтобы проводить все время в обществе всяких шарлатанов. Но Обинаш был тонким дипломатом. Он не стал понапрасну тратить слов, понимая, что спорами ничего не добьешься и что шансы на «моральное воздействие» слишком незначительны.

— Очень хорошо, господин, если вы не согласны, мы, конечно, не пойдем против вашей воли,— сказал он.— Но ведь все уже готово, приглашения разосланы, и отменить церемонию сейчас нельзя. Я думаю, мы вот как сделаем: пусть церемония покаяния в этот день все-таки состоится, только без уча-

стия Горы. Ведь чего-чего, а грехов у нас в стране хоть отбавляй.

Заверение Обинаша успокоило Кришнодояла.

Гора никогда особенно не прислушивался к словам Кришнодояла, решил он не подчиняться ему и на этот раз. Он не считал себя обязанным следовать советам родителей в делах, относившихся к высшей сфере жизни. Однако последний разговор оставил у него неприятный осадок. У него родилось смутное подозрение, что в словах Кришнодояла есть какая-то скрытая правда. Это подозрение давило его, как непонятный кошмарный сон, от которого никак не можешь проснуться. Ему казалось, что его стремятся столкнуть с намеченного пути, вытеснить отовсюду. Гора вдруг ясно почувствовал свое одиночество. Перед ним лежало обширное поле деятельности, необъятна была и сама работа, но рядом с ним не было абсолютно никого!

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Обряд покаяния был назначен на следующий день, заранее было решено, что Гора еще с вечера пойдет в сад, но только он собрался уходить, как неожиданно явилась Хоримохини.

— А-а, вы пришли? — удивился он, не особенно обрадованный ее приходом.— А мне как раз надо уходить. Матери тоже уже несколько дней нет дома. Если вы хотите видеть ее, то...

— Нет, спасибо,— ответила Хоримохини,— я пришла к тебе. Придется тебе присесть на минутку. Я долго не задержу.

Гора сел, и Хоримохини тотчас же заговорила о Шучорите. Она пояснила, что все, что Гора преподал своей ученице, пошло ей на пользу, настолько, что она теперь даже не от каждого примет воду и вообще образумилась.

— Господи! — воскликнула Хоримохини.— Ты и представить себе не можешь, сколько мне с ней было хлопот. Никогда не забуду, что ты наставил ее на истинный путь. Да вознесет тебя господь над людьми, да пошлет тебе невесту хорошую, достойную твоего славного рода, да пребудет во благоденствии дом твой и да дарует тебе всевышний богатство, продление рода и счастье!

Затем Хоримохини сказала, что Шучорита уже не девочка и что ее нужно выдавать замуж без дальнейшего промедления.

Выросла бы она в правоверной индуистской семье, так давно бы уже стала матерью семейства. Гора, конечно, согласится с ней, что дольше тянуть с замужеством становится просто неприлично. Хоримохини, которой вопрос замужества племянницы стоил многих мучительных тревог, удалось наконец с большим трудом и после долгих уговоров и униженных просьб добиться, чтобы ее деверь Койлаш приехал в Калькутту. Божьей милостью преодолены все трудности, которых она так опасалась. Все улажено. Жених не требует приданого и готов смотреть сквозь пальцы на ее прошлое. Все это Хоримохини, благодаря своей ловкости, удалось уладить, и вдруг именно теперь — смешно сказать — Шучорита заупрямилась! Что у нее на уме, Хоримохини просто представить себе не может. Одному богу известно, что это — то ли чье-то чужое влияние, то ли, может, понравился ей кто-то другой...

— Но,— продолжала она,— скажу тебе прямо, она не достойна тебя. Если выдать ее замуж в деревню, никто о ней и знать ничего не будет, и все как-нибудь благополучно сойдет. Но ведь ты же в городе живешь, и если женишься на ней, как же ты потом будешь людям в глаза смотреть?

— О чем вы говорите? — рассердился Гора.— Откуда вы взяли, что я собираюсь жениться на ней?

— Да как тебе сказать,— извиняющимся тоном сказала Хоримохини.— В газетах напечатали. Я со стыда чуть не умерла, как услышала.

Гора понял, что или Харан, или кто-нибудь из его приспешников вынесли все на страницы газет.

— Это ложь! — крикнул он, сжимая кулаки.

— Сама знаю,— сказала Хоримохини, напуганная громовым раскатом, прозвучавшим в его голосе.— Я должна тебя кое о чем попросить, а ты согласись. Сходи к Радхарани не откладывая.

— Зачем?

— Объясни ей все толком.

Гора ухватился было за это предложение и хотел уже идти к Шучорите. Сердце говорило: «Иди, взгляни на нее в последний раз. Завтра покаянье, и после этого ты начнешь жизнь аскета. В твоем распоряжении только сегодняшний вечер, какие-то несколько коротких минут ты сможешь побыть с ней. В этом нет никакого греха, а если и есть, то завтра все равно и этот грех сгорит в пламени жертвенного костра».

— Что я должен объяснить ей? — спросил Гора после короткого молчания.

— Только то, что, по обычаям индуистов, взрослая девушка, вроде Шучориты, должна без промедлений выходить замуж и что заполучить в мужья такого человека, как Койлаш,— это нежданное счастье для девушки, находящейся в ее положении.

Будто стрела вонзилась в сердце Горы. Он вспомнил человека, которого видел в дверях дома Шучориты, и вздрогнул, как от укуса скорпиона. Одна мысль о том, что Шучорита достанется этому человеку, была невыносима ему. Все его существо возмутилось против этого, и он в душе воскликнул: «Нет, не бывать этому!»

Ни с кем никогда не может быть у нее такой близости. Никому никогда еще не открывалась вся глубина ее прекрасной души, ясности ума, тонкости чувств, и никогда никому больше не откроется. Как это было чудесно! Как удивительно! Искра божья, обитающая в самых сокровенных тайниках души, пробившаяся наружу! Часто ли выпадает на долю человеку такое, и многим ли посчастливилось в жизни стать свидетелями подобного чуда? Шучорита принадлежит тому, на чью долю выпало великое счастье заглянуть ей в самую душу, кто почувствовал искру божью, таящуюся в ней! Как же может она принадлежать кому-то другому?

— Неужели Радхарани так и оставаться на всю жизнь незамужней? Разве это возможно?! — воскликнула Хоримохини.

В этом тоже была своя правда. Завтра Гора собирается совершить обряд покаяния. После этого он должен стать чистым и непорочным брахманом. А Шучорита, значит, остается навек в девушках? Кто имеет право предъявлять к ней требование обречь себя на это пожизненно? Что может быть тяжелее для женщины?

Хоримохини продолжала тараторить что-то, но Гора не слушал ее.

«Отец так настойчиво запрещал мне совершать этот обряд. Неужели его запрет ничего не стоит,— размышлял он.— Может быть, то, что я рисую себе как свое предназначение, всего-навсего плод моей фантазии, и я вовсе не рожден для подвига. Может быть, я только искалечу себя, пытаясь тащить на своих плечах эту мною же самим придуманную ношу, и, изнывая под тяжестью ее, так и не сумею выполнить ничего из того, что мне действительно предназначено в жизни? Я чувствую, что страсть овладела моим сердцем. Как мне вырваться из ее плена? Отец каким-то образом угадал, что в глубине души я не брахман и не аскет. Потому так неумолим его запрет. Я пойду к нему. Се-

годня, сию же минуту спрошу его, что такое он нашел во мне, почему сказал, что путь к покаянию, закрыт для меня. Я найду выход, если только сумею добиться от него объяснения! Найду!»

— Подождите меня немного. Я сейчас вернусь,— сказал Гора Хоримохини и поспешно направился в покои отца. Ему казалось, что Кришнодоял знает что-то такое, что может дать ему немедленное освобождение.

Но двери комнаты, где отец совершал богослужение, оказались закрытыми. Гора постучал. Никто не откликнулся. Изнутри доносился запах благовоний — это Кришнодоял с одним из своих саньяси усваивал какой-то сложный прием системы йога, требующий большого напряжения сил; в таких случаях он всегда запирал двери, чтобы ему не мешали. Сегодня всю ночь никому и ни под каким предлогом не разрешалось входить к нему.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

«Нет, не завтра, а сегодня началось мое покаяние,— воскликнул в душе Гора.— Ни за что не разгорится завтра в моей душе такое пламя, как пылает сейчас.

Господь затем и пробудил во мне это страстное желание, что на пороге новой жизни я должен принести великую жертву. Иначе отчего бы так странно все сложилось? Логически моя дружба с ними — вещь совершенно невероятная, сближение людей, противоположных по убеждениям, при обычных обстоятельствах случается в этом мире нечасто. Кроме того, кто бы мог подумать, что столь непреодолимое влечение может вспыхнуть в сердце такого невозмутимого человека, как я? И что это чувство вспыхнет с такой силой именно сегодня. До сих пор я слишком легко расставался с тем, что отдавал родине. Да и не приходилось мне отдавать ничего такого, с чем трудно было бы расстаться. Раньше я не понимал, почему это люди скупятся, когда им нужно отказаться от чего-то ради своей страны. Но великому делу легкая жертва не нужна. Нужно страдание! И родиться для новой жизни я смогу лишь после того, как мое сердце будет пронзено насквозь. Завтра утром члены моей общины станут свидетелями обряда моего покаяния, а сейчас, накануне, всевышний пришел и постучался в двери моего сердца. Разве смогу я принять очищение, если я не покаюсь в глубине души моей? Лишь вручив богу то, с чем мне труднее всего расстаться, я буду поистине нищ и достоин прощения — и лишь тогда я действительно стану брахманом!»

Как только Гора вернулся, Хоримохини сказала ему:

— Ну, пожалуйста, пойдем со мной! Последний раз! Ведь если ты придешь и скажешь одно только слово — все сразу будет хорошо.

— Зачем мне идти? — возразил Гора.— Какое имею я к ней отношение? Абсолютно никакого!

— Но она же верит в тебя, как в бога, почитает, как своего гуру,— ответила Хоримохини.

От этих слов сердце Горы затрепетало, но он снова возразил:

— Не вижу, зачем мне идти. Едва ли я когда-нибудь еще встречусь с ней.

— Что верно, то верно.— Хоримохини даже улыбнулась от удовольствия.— Нехорошо слишком часто встречаться с такой взрослой девушкой. Однако я все-таки не отстану от тебя, пока не добьюсь своего. Ты можешь отказать мне в любой другой раз, когда я позову тебя, но только не сегодня.

Но Гора только качал головой: нет, нет и нет, больше никогда! Все кончено! Жертва принесена! И он не может позволить себе ничем запятнать ее. Он не пойдет к Шучорите.

Когда Хоримохини поняла, что переубедить его невозможно, она попросила:

— Если уж ты никак не можешь пойти, то, будь добр, напиши ей.

Гора опять покачал головой: нет, это невозможно. Он не может писать ей.

— Ну хорошо,— сказала Хоримохини.— Напиши тогда хоть две строчки, для меня. Ты знаешь все шастры. Я пришла к тебе за наставлением.

— За каким наставлением?

— Разве не первый долг девушки из индуистского дома выйти в свой срок замуж и приняться за выполнение домашних обязанностей?

Гора ответил не сразу.

— Послушайте,— наконец сказал он,— не впутывайте меня в эти дела. Я не пандит, чтобы давать наставления.

— Скажи мне прямо, чего ты, собственно, хочешь? — довольно резко выкрикнула Хоримохини.— Сначала сам заварил кашу, а как расхлебывать, так ты в кусты! Что это значит? Видно, не хочется тебе, чтобы сомнения Радхарани кончились.

В другое время Гора вспылил бы от этих слов, он просто не снес бы такого обвинения, при всей его справедливости. Но

сегодня началось его покаяние, и он не имел права сердиться. Кроме того, в глубине души он понимал, что Хоримохини говорит правду. Он был достаточно жесток, чтобы порвать узы, связывавшие его с Шучоритой, но одну тоненькую, незримую нить он все-таки хотел оставить. Он даже теперь еще не мог навсегда отказаться от Шучориты.

Но нет, он не допустит и тени скаредности со своей стороны! Нельзя, отдавая богу одной рукой, припрятывать что-то другой.

Он достал листок бумаги и четким, размашистым почерком написал:

«Святая цель жизни женщины — семья. Алтарь ее бога — домашний очаг. Брак — не удовлетворение прихотей, а содействие процветанию. Мир может быть исполнен радости, и он может быть исполнен печали — добродетельная, чистая женщина примет его таким, каков он есть! Посвятив себя семье, она выполнит свой главный долг, поставленный перед ней богом!»

— Неплохо было бы, если бы ты написал что-нибудь похвальное и о нашем Койлаше.

— Нет, я не знаю его,— возразил Гора,— и не могу ничего писать о нем.

Хоримохини бережно сложила бумажку, завязала ее в уголок сари и отправилась домой.

Шучорита вместе с Анондомойи все еще жила в доме Лолиты, и Хоримохини сочла неудобным разговаривать там, опасаясь, что Лолита с Анондомойи начнут отговаривать Шучориту и опять собьют ее с толку. Поэтому она послала Шучорите записку с просьбой прийти домой на следующий день к обеду, чтобы обсудить одно очень важное дело. Она обещала, что отпустит ее обратно к Лолите в тот же день.

На следующее утро Шучорита явилась, настроенная очень решительно. Она не сомневалась, что тетка обязательно заведет разговор о замужестве, и приготовилась сопротивляться. Она решила раз и навсегда покончить с этой историей, твердо сказав «нет».

Когда обед был съеден, Хоримохини сообщила ей:

— А я вчера вечером ходила к твоему гуру.

Шучорита испугалась: неужели тетка опять вела о ней разговоры и осыпáла Гору упреками.

— Не бойся, Радхарани,— успокоила ее Хоримохини,— я ходила к нему вовсе не для того, чтобы ссориться. Сидела я одна, сидела и надумала, дай, думаю, зайду к нему, по крайней мере, хоть хорошие речи послушаю. Поговорили мы о том, о

сем. Потом речь о тебе зашла, и сразу я заметила, что тут наши с ним мнения сходятся. Он тоже считает, что нехорошо, когда девушки долго замуж не выходят. Он даже говорит, что в шастрах прямо сказано, что это грех. Такое, может быть, и допускается в европейских семьях, но не в индуистских. Поговорила я с ним откровенно и о Койлаше. Оказывается, Гора и на это дело смотрит разумно.

Шучорита была готова умереть со стыда, а Хоримохини продолжала свое:

— Ты ведь почитаешь его своим гуру, значит, должна слушаться его советов.

Шучорита молчала, Хоримохини же не унималась:

— Я ему сказала: пожалуйста, приди, убеди ее сам! Меня-то она не слушает. Но он говорит: нет, мне больше не следует встречаться с ней, наша индуистская община не позволяет этого. Тогда я спрашиваю, что же теперь делать? А он тогда взял и написал что-то собственной рукой и велел тебе передать. Вот, посмотри.— И она, неторопливо развязав уголок сари, вынула листок бумаги, развернула его, разгладила и положила перед Шучоритой.

Читая, Шучорита чуть не задохнулась; потом долго сидела, не шевелясь, неподвижно, как деревянная кукла.

В содержании записки не было ничего нового для нее, ничего противоречащего здравому смыслу; Шучорита и сама была согласна с высказанным в ней мнением. Но почему, почему эта записка была прислана специально ей через Хоримохини? В этом она видела какой-то мучительный смысл, мучительный во многих отношениях. Почему Гора прислал ей этот наказ именно сегодня? Конечно, настанет время, когда и Шучорите придется выйти замуж. Но почему Гора так с этим спешит? Разве его долг по отношению к ней выполнен до конца? Может быть, она помешала его планам? Встала на пути к тому, что он считал целью своей жизни? Разве Горе больше нечего дать ей, и неужели он больше ничего не ждет от нее? Нет, она, по крайней мере, не хочет так думать, она, во всяком случае, все еще чего-то ждет. Шучорита изо всех сил старалась побороть мучительную боль в сердце, но боль не проходила.

Хоримохини дала Шучорите достаточно времени на раздумье. Она даже, как обычно, поспала немного, а когда проснулась и пришла к племяннице, то застала ее все в той же позе.

— Скажи мне, о чем ты все думаешь, Радха? О чем здесь раздумывать? Или Гоурмохон-бабу написал что-нибудь не так?

— Нет, он все написал правильно,— кротко ответила Шучорита.

— Так зачем же тогда откладывать? — воскликнула Хоримохини, приободрившись.

— Я не собираюсь ничего откладывать,— сказала Шучорита.— Сейчас я схожу ненадолго к отцу.

— Послушай, Радха,— заволновалась Хоримохини,— твой отец никогда не захочет, чтобы ты вышла замуж за индуиста. Но твой гуру, он...

— Тетя,— воскликнула в раздражении Шучорита.— Почему ты без конца говоришь об одном и том же? Я иду к отцу не для того, чтобы разговаривать с ним о своей свадьбе. Я иду к нему просто так.

Только в обществе Пореша-бабу могла теперь Шучорита найти утешение. Она застала отца за укладкой чемодана.

— В чем дело? — спросила Шучорита.

— Да вот собираюсь для разнообразия в Симлу, побродить по горам,— усмехнулся Пореш.— Завтра отправлюсь утренним поездом.

За его смешком крылась целая драма, и это не могла не заметить Шучорита. Дома жена и дочери, вне дома все его знакомые не давали ему ни минуты покоя. Ему нужно было уехать на некоторое время куда-нибудь подальше, чтобы дать утихнуть буре, бушевавшей вокруг него. Шучорите было больно смотреть, как он сам укладывает вещи к предстоящему путешествию. Ей было трудно представить себе, что никто из членов его семьи, никто из живущих с ним под одной крышей не удосужился прийти помочь ему. Поэтому, отстранив Пореша-бабу, она прежде всего выкинула все из чемодана, а затем, уже тщательно сложив каждый предмет одежды в отдельности, старательно уложила все обратно. Его любимые книги она упаковала так, что им не была страшна никакая тряска. Не отрываясь от работы, Шучорита тихо спросила Пореша-бабу:

— Ты один едешь, отец?

— Мне это совсем не трудно, Радха,— заверил ее Пореш-бабу, заметив печаль, сквозившую в ее вопросе.

— Нет, отец, я поеду с тобой,— сказала Шучорита.

Пореш-бабу заглянул Шучорите в лицо, и она поспешно добавила:

— Обещаю, что я тебе не буду мешать.

— Зачем ты так говоришь? — спросил Пореш-бабу.— Разве ты когда-нибудь мне мешала, дитя мое?

— Я без тебя просто не могу,— торопливо продолжала Шучорита.— Я многого не понимаю и буду блуждать впотьмах, если ты не объяснишь мне. Ты учил меня полагаться на собственный разум, но у меня нет этого разума, нет сил постичь все это. Возьми меня с собой, отец!

С этими словами она повернулась к Порешу-бабу спиной и, низко склонившись над чемоданом, стала перекладывать вещи. По ее лицу текли слезы.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Гора вручил Хоримохини исписанный листок с таким чувством, словно с этим письмом обрывалась последняя связь между ним и Шучоритой. Но подписать документ еще не значит выкинуть из головы всякую мысль о деле. Сердце его восставало против этой сделки, и, хотя сам Гора силой воли заставил себя подписать документ, вышедшее из повиновения сердце отказывалось скрепить его своей подписью. А вышло сердце из повиновения настолько, что Гора чуть было тут же не побежал к Шучорите. Но как раз в этот момент часы на соседней церкви пробили десять, и он вдруг сообразил, что в такой поздний час с визитами никто не ходит. После этого он лег, но так и не уснул и все слушал, как часы отбивают час за часом. В этот вечер он так и не пошел в Бали, где находился сад, сообщив, что придет туда утром.

Наутро Гора отправился в сад, но куда девались крепость духа и ясность мыслей, с которыми он собирался приступить к обряду покаяния?

Многие пандиты уже собрались, других еще ожидали. Гора почтительно приветствовал гостей, а те, в свою очередь, восхваляли его наперебой, называя светочем древнего благочестия.

Постепенно сад наполнился шумной толпой. Гора не присел ни на минуту, присматривая за всем. Но даже в этом шуме и суете одна мысль неотступно преследовала его. Ему казалось, что какой-то голос, поднимаясь из самой глубины сердца, все время нашептывает: «Ты виноват, ты виноват, ты виноват». Сейчас было не время разбираться, в чем же, собственно, заключается его вина, но заставить замолчать сердце он не мог.

В самый разгар приготовлений к церемонии покаяния какой-то недоброжелатель, проникший в тайники его сердца, злорадствовал: «А вина-то налицо». И вина эта заключалась не в погрешностях против законов и обычаев, не в нарушении шастр, не в каком-нибудь преступлении против веры — это было зло,

свершившееся в нем самом. Вот почему душа Горы восставала против всех этих приготовлений к предстоящей церемонии.

Приближалось время начинать. Место богослужения было устроено под навесом, укрепленным на бамбуковых шестах. Но когда Гора, успевший совершить омовение в Ганге, уже начал переодеваться, в толпе вдруг произошло какое-то движение. Замешательство быстро распространялось. Наконец к Горе подошел с опечаленным лицом Обинаш и сказал:

— Из дому только что сообщили, что Кришнодоял-бабу серьезно заболел. Он прислал за тобой экипаж и просит, чтобы ты немедленно возвращался домой.

Гора поспешно направился к выходу. Обинаш собрался ехать с ним, но Гора сказал:

— Нет, нет. Оставайся тут за распорядителя. Неудобно и тебе уходить.

Когда Гора вошел в комнату Кришнодояла, тот лежал на постели, а Анондомойи осторожно растирала ему ноги. Гора переводил встревоженный взгляд с одного на другого, пока Кришнодоял не сделал ему знак сесть на стул, очевидно заранее для него приготовленный.

Гора сел.

— Не лучше ему? — спросил он мать.

— Сейчас немного лучше,— ответила Анондомойи,— мы послали за английским доктором.

Здесь были еще Шошимукхи и слуга. Кришнодоял знаком отослал их из комнаты.

Убедившись, что в комнате больше нет посторонних, он молча посмотрел в глаза Анондомойи и затем, повернувшись к Горе, сказал слабым голосом:

— Мой час пробил. И то, что я так долго от тебя скрывал, я открою тебе сейчас. Иначе мне не будет покоя.

Побледневший Гора сидел не шевелясь, не произнося ни слова. Долгое время все молчали.

— Гора,— снова заговорил Кришнодоял,— в то время я с полным безразличием относился к нашей общине, потому и совершил такую огромную ошибку, а когда дело было сделано, исправить уже ничего было нельзя.— И он опять умолк. Гора тоже сидел молча, ни о чем не спрашивая.

— Я думал,— продолжал Кришнодоял,— что мне никогда не придется говорить тебе об этом и что все так и будет продолжаться. Но теперь я вижу, что это невозможно — ведь нельзя же, чтобы ты принимал участие в погребальном обряде, когда я умру.

По-видимому, самая мысль о такой возможности приводила Кришнодояла в ужас.

Гора почувствовал, что он больше не может терпеть, что ему нужно немедленно знать, в чем же, наконец, дело. Он вопросительно посмотрел на Анондомойи и сказал:

— Расскажи, ма, что все это значит? Разве я не имею права принимать участие в погребальном обряде?

До сих пор Анондомойи сидела понурившись и словно оцепенев, но, услышав вопрос Горы, она подняла голову и твердо посмотрела ему в глаза.

— Нет, родной, не имеешь.

— Я, значит, не его сын? — спросил Гора, вздрогнув от неожиданности.

— Нет,— ответила Анондомойи.

И тогда неотвратимо последовал второй вопрос:

— Ма, так и ты мне не родная мать?

У Анондомойи разрывалось сердце, но она ответила бесстрастным, недрогнувшим голосом:

— Гора, родной. Ты мое единственное дитя. Я бездетная женщина. Но если бы я выносила тебя, ты не мог бы мне быть дороже.

Гора снова перевел взгляд на Кришнодояла.

— Откуда же вы тогда меня взяли?

— Это было во время восстания,— начал Кришнодоял.— Когда мы жили в Итаве. Твоя мать, боясь попасть в руки сипаев, прибежала ночью к нам в дом, мы ее приютили. Твой отец погиб в сражении накануне. Его звали...

— Не к чему называть имя! — закричал Гора.— Я не хочу знать его имени!

Кришнодоял смолк, удивленный вспышкой Горы. Немного погодя он добавил:

— Он был ирландцем. Твоя мать умерла в ту самую ночь, когда ты появился на свет. С тех пор ты воспитывался в нашей семье.

В одно мгновение вся жизнь Горы обратилась каким-то странным сном. Основа, на которой покоилось его существование с самого детства, вдруг рассыпалась в прах, и он больше не понимал, где он и кто он. То, что он считал своим прошлым, утратило реальность, светлое же будущее, которого он так долго, с таким нетерпением ждал,— исчезло без следа. Он показался себе капелькой росы на листе лотоса, которая появляется на миг, чтобы снова уйти в небытие.

У него нет ни матери, ни отца! Нет ни рода, ни племени! Нет даже бога! Куда ни повернись, везде одно сплошное «нет»! За что же ухватиться? За какую взяться работу? С чего начинать строить жизнь заново? К чему стремиться? Где взять, как накопить материалы для новой постройки? Заблудившись в этой враждебной пустоте, Гора молчал. И такое выражение было на его лице, что и окружающие не могли больше проронить ни слова.

В это время с домашним доктором-бенгальцем явился врач-англичанин. Он посмотрел на Гору с не меньшим интересом, чем на больного. И про себя удивился, что это за странный человек такой, потому что на лбу Горы так и остался священный знак, сделанный глиной из Ганги, и одет он все еще был в шелковое одеяние, в которое его обрядили после омовения. Рубашки на нем не было, и из-под накинутой на плечи ткани виднелось мощное тело.

Раньше при виде англичанина Гора непременно почувствовал бы невольную неприязнь, сегодня же он с интересом разглядывал доктора, пока тот осматривал больного.

«Значит, получается, что этот человек здесь мне ближе всех?» — спрашивал он себя снова и снова.

Закончив осмотр и опросив больного, доктор сказал:

— Ну что ж, никаких угрожающих симптомов я пока что не вижу. Пульс не внушает опасений, органических отклонений тоже не наблюдается. При известной осторожности можно рассчитывать, что припадок не повторится.

Когда доктор попрощался и ушел, Гора, не говоря ни слова, поднялся и направился к двери, но в этот момент вбежала Анондомойи, которая перед приходом доктора вышла в соседнюю комнату.

— Гора, родной, не сердись на меня, не разбивай мое сердце,— воскликнула она, хватая Гору за руку.

— Зачем ты так долго от меня скрывала? — спросил Гора.— Почему было не сказать раньше?

— Мальчик мой! — заговорила Анондомойи, с готовностью взваливая всю вину на себя.— Из страха лишиться тебя взяла я на душу этот грех. И если в конце концов этим кончится, если ты сегодня уйдешь от меня, мне некого будет винить, кроме себя, но только для меня это будет конец всему, драгоценный мой!

— Ма! — Это было первое, что Гора сказал ей в ответ, но когда Анондомойи услышала это единственное слово, слезы, которые она до этого сдерживала, хлынули потоком.

— Мне сейчас нужно сходить к Порешу-бабу, ма,— сказал Гора.

У Анондомойи отлегло от сердца.

— Ну, конечно, сходи, родной,— сказала она.

Кришнодоял же весьма огорчился тем обстоятельством, что открыл Горе его тайну, поскольку безвременная кончина, как выяснилось, ему отнюдь не грозила.

— Послушай-ка, Гора, пожалуй, не стоит никому обо всем этом рассказывать. Будь только осторожней, а в остальном держись по-прежнему, никто ничего и не узнает.

Не ответив, Гора вышел. Ему было легко от сознания, что он ничем не связан с Кришнодоялом.

Мохим не мог не пойти в контору без предупреждения. Послав за докторами и отдав кое-какие распоряжения относительно ухода за больным, он пошел к начальнику и отпросился. На обратном пути Мохим встретил Гору, когда тот уже выходил из дому.

— Ты куда? — спросил Мохим.

— Все благополучно. Был доктор, говорит, ничего опасного.

— Слава тебе господи! — с облегчением проговорил Мохим.— Ведь послезавтра свадьба Шошимукхи. Так что, Гора, ты бы помог немного. И знаешь что, предупреди-ка Биноя, чтобы он как-нибудь не зашел в этот день. Обинаш ведь ревностный индуист, и он заранее просил, чтобы такой публики на свадьбе не было. И вот что я еще хочу тебе сказать, брат. Я пригласил одного англичанина, своего главного начальника по службе, так ты смотри, не того... а то еще выгонишь его, не дай бог — с тебя всё станется. От тебя ведь многого не требуют — просто поклонишься да скажешь: «Good evening, sir!» Вот и все. Против этого в ваших шастрах ведь ничего не сказано. Если хочешь, можешь для верности посоветоваться с пандитами. Пора тебе понять, что они — господствующая нация, и тебя не убудет, если ты перед ними слегка свое достоинство попридержишь.

Не ответив Мохиму, Гора ушел.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Как раз в тот момент, когда Шучорита, пряча слезы, наклонилась над чемоданом, в комнату вошел слуга и доложил Порешу о приходе Гоурмохона-бабу.

Только она успела утереть слезы и отложить работу, как в дверях появился Гора.

Глина Ганги все еще виднелась на его лбу, и он по-прежнему был в шелковых одеждах. Он просто-напросто забыл в своей решимости, что никто в таком виде визитов не делает. Шучорита невольно вспомнила, как Гора был одет, когда впервые появился в их доме. Она знала, что в тот день он пришел к ним в полном боевом снаряжении. Неужели он и сегодня счел нужным облачиться в боевые доспехи?

Войдя, Гора низко склонился перед Порешем и взял прах от его ног. Пореш-бабу смущенно отстранился и, подняв Гору, воскликнул:

— Что ты, что ты, сын мой, сядь, прошу тебя!

— Пореш-бабу, никакие узы меня больше не связывают!— воскликнул Гора.

— То есть...— изумился Пореш-бабу.

— Я не индуист!

— Не индуист?!

— Да, я не индуист,— продолжал Гора.— Сегодня я узнал, что меня подобрали во время восстания — мой отец был ирландец. Сегодня передо мной закрылись двери всех храмов от края до края Индии. Теперь во всей стране ни на одном индуистском празднестве для меня не найдется места.

Пореш-бабу и Шучорита были ошеломлены, они не находили, что сказать.

— Сегодня я стал свободен, Пореш-бабу,— воскликнул Гора.— Мне можно больше не бояться быть осквернённым или отвергнутым. Мне больше не нужно на каждом шагу смотреть под ноги, чтобы сохранить свою чистоту.

Шучорита долгим взглядом посмотрела в озаренное лицо Горы, а он продолжал:

— Пореш-бабу, до сих пор я неустанно старался слить свою жизнь с жизнью Индии. На каждом шагу мне встречались препятствия, но денно и нощно всю жизнь старался я возвести эти препятствия в культ и поклонялся им. И поскольку все мои силы уходили на то, чтобы твердо обосновать такое поклонение, меня не хватало больше ни на что — это была моя единственная работа. Потому-то каждый раз, как мне случалось встретиться лицом к лицу с настоящей Индией, я отворачивался в страхе. Создав в своем негибком, некритическом уме какую-то несуществующую Индию, я боролся со всем, что видел вокруг себя; спрятавшись за неприступной стеной, старался уберечь свою веру в целости и сохранности. Сегодня эта стена в мгновение ока рассыпалась в прах, а я, получив безграничную свободу, очутился вдруг перед лицом безграничной истины. Все,

что есть в Индии хорошего и дурного, все ее радости и горести, ее мудрость и все ее нелепости стали понятны и близки моему сердцу. Теперь я поистине имею право служить ей, потому что мне открылось настоящее поле деятельности,— сейчас это уже не плод моего воображения, это настоящее поприще для работы на благо Индии, на благо трехсот миллионов ее детей!

Недавнее потрясение заставляло Гору говорить с таким подъемом, таким энтузиазмом, что волнение передалось и Порешу-бабу. Он встал со стула и теперь слушал стоя.

— Вы ведь понимаете меня? — продолжал Гора.— Я пытаюсь сказать, что стал наконец тем, кем непрестанно стремился стать всегда и не мог. Сегодня я действительно стал индийцем. В моей душе нет больше места противоречиям, существующим между индуистами, мусульманами, христианами. Отныне каждая каста Индии — моя каста и хлеб всего народа — мой хлеб. Знаете, что я вам скажу: мне приходилось много блуждать по Бенгалии и пользоваться гостеприимством самых нищих деревенских семей — не думайте, что я выступал с проповедью только перед городской публикой,— но далеко не со всеми я мог сесть рядом, как с равными. И все это время я таскал за собой невидимую пропасть, которая отделяла меня от людей и которую я никак не мог переступить. Постепенно в моем мозгу образовалась какая-то пустота, хотя я всячески старался не замечать ее. Я пытался прихорошить эту пустоту всевозможными побрякушками, потому что, любя Индию больше жизни, я не допускал никакой критики в отношении той части ее, которая была мне знакома. И вот теперь, когда я освободился от бесплодной обязанности выдумывать всякие никчемные украшения, я, Пореш-бабу, почувствовал, что снова живу.

— Когда мы обретаем нечто истинное,— сказал Пореш-бабу,— нас радует в нем все — даже самая его неполнота и несовершенство, и у нас никогда не бывает потребности украшать его фальшивыми драгоценностями.

— Знаете, Пореш-бабу,— сказал Гора,— прошлым вечером я молил бога, чтобы он позволил мне вступить сегодня в новую жизнь! Я просил, чтобы все ложное и скверное, что опутывало мою жизнь с самого детства, отошло от меня навсегда, чтобы я мог возродиться. По-видимому, господь по-своему истолковал мою молитву — он поразил меня неожиданностью, с какой открыл мне всю правду. Я и мечтать не мог, что он так начисто сотрет с меня сегодня всю скверну. Я стал так чист, что могу, не боясь осквернения, войти даже в дом чандала. Пореш-бабу, сегодня утром с сердцем, совершенно открытым, я пал ниц у

ног моей Индии — только теперь я наконец окончательно понял, что такое материнское лоно.

— Гора,— сказал Пореш-бабу,— веди нас, чтобы и мы могли разделить с тобой данное нам от рождения право покоиться на материнском лоне.

— А вы знаете,— спросил Гора,— почему, обретя свободу, я прежде всего пришел к вам?

— Почему? — спросил Пореш-бабу.

— Вы знаете, где ключ к этой свободе! Потому-то вам всегда будет тесно в любой общине. Возьмите меня в свои ученики, Пореш-бабу! Укажите мне путь к такому богу, который принадлежит всем: индуистам, мусульманам, христианам, брахмаистам,— всем без исключения, двери храма которого никогда не закрываются ни перед кем. Я хочу, чтобы он был не просто богом индуистов, но богом самой Индии!

Лицо Пореша-бабу засветилось тихим благоговением, и он молча опустил глаза.

Тогда Гора повернулся к Шучорите, неподвижно сидевшей на стуле.

— Шучорита,— сказал он с улыбкой.— Отныне я уже не ваш гуру. Но молю вас об одном — возьмите меня за руку и отведите к своему настоящему гуру.

И он протянул ей правую руку. Шучорита встала, вложила свою руку в его, и они вместе склонились перед Порешем-бабу в глубоком поклоне.

ЭПИЛОГ

Когда в тот вечер Гора вернулся домой, Анондомойи тихонько сидела на веранде перед своей комнатой. Он подошел к ней и опустился к ее ногам. Анондомойи подняла его голову и поцеловала.

— Ты моя мать! — воскликнул Гора.— Мать, в поисках которой я скитался повсюду, а она, оказывается, все время ждала меня дома. Ты не знаешь каст, ты не знаешь ненависти, для тебя все равны — только ты олицетворяешь для нас счастье! Индия — это ты!

— Ма,— попросил он немного погодя,— позови, пожалуйста, Лочмию, пусть она принесет мне стакан воды.

И тогда ласково, голосом, в котором еще слышались слезы, Анондомойи прошептала:

— Гора, давай я пошлю за Биноем!

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Большинство переводов произведений Р. Тагора, вошедших в настоящий том, даются по изд.: Рабиндранат Тагор, Собр. соч. в 12-ти томах, «Художественная литература», М. 1961—1965. Переводы из поэтических сборников «Крупицы», «Письмена» и «Искры» даются по изд.: Рабиндранат Тагор, Искры, «Художественная литература», М. 1970. Некоторые стихи печатаются по сборнику: Рабиндранат Тагор, Лирика, Гослитиздат, М. 1957.

Стр. 36. *...небесная река — Ганга...*— по индийской мифологии — часть Ганги, протекающая на небесах.

Стр. 39. *Вриндаван* — роща на берегу Джамуны, где, по преданию, жил среди пастухов бог Кришна (одно из воплощений Вишну).

Стр. 42. *Амрита* — нектар, напиток богов. *Гаур* — название государства, находившегося на территории нынешней Бенгалии. *Магадха, Кошала, Канчи* — древние индийские государства. *Калидаса* (IV—V вв.) — знаменитый индийский драматург и поэт. *Шрути.*— Так называются произведения индийской литературы, якобы сообщенные непосредственно самими богами. *Шмрити.*— Так называются произведения индийской литературы, переданные по традиции (в отличие от шрути). *Пураны* — памятники древнеиндийской литературы, посвященные богам Шиве, Вишну и Индре. *Анусвара, висарга* — знаки санскритского алфавита.

Стр. 45. *Шива* — один из трех главных богов индийского пантеона, бог разрушения (и созидания). Изображается с третьим глазом на лбу. *Пуруша* — в индийской религиозной философии — олицетворение души в виде маленького человечка, также мировая душа. *Пракрити* — первичная материальная субстанция, проявляющая заложенную в ней энергию в соединении с пурушей.

Стр. 47. *Лакшми* — богиня счастья и богатства. По преданию, вышла из молочного океана. Изображается с цветком лотоса в руке и стоящей на столепестковом лотосе, который является символом богини.

Стр. 50. *Якши* — мифические существа, составляющие свиту бога богатства Куберы. Охранители его сокровищ.

Стр. 53. *Урваши* (санскр. «желание») — небесная дева, апсара, необыкновенной красоты. Своим танцем, напоминающим игру морских волн, очаровывает даже отшельников.

Стр. 57. *Мантры* — молитвы, заклинания. *Бойшакх* — месяц бенгальского календаря, апрель — май. В этом месяце стоит сильная жара, нередки пыльные бури.

Стр. 58. *Калиюга.*— Согласно индийской мифологии, время представляет собой цикл из четырех повторяющихся эпох-юг. Калиюга — последняя из них, век зла и раздора. Предполагается, что мы живем в Калиюгу.

Стр. 69. *Брахман* — представитель высшей, жреческой касты.

Стр. 70. *Холи* — праздник в честь весны. Отмечается накануне весеннего равноденствия. *«Агомони»* — приветственная песнь в честь богини Дурги, супруги бога Шивы. *Биджойа* — последний день праздника Дурги, когда, по преданию, она уходит из дома родителей и возвращается к Шиве.

Стр. 71. *Остад-джи.*— Остад — мастер, наставник, джи — уважительное прибавление к званию или имени. *Имонколлян* — одна из традиционных индийских мелодий, грустная, протяжная мелодия.

Стр. 72. *Пан* — жвачка, приготовляемая из семян арековой пальмы, бетеля, негашеной извести и различных специй.

Стр. 74. *Бокул* — тропическое вечнозеленое дерево с цветами, распускающимися в пору дождей. У цветов бокула — сильный, опьяняющий аромат. *Ви́на* — индийский струнный инструмент. *Камадева* — бог любви в индийской мифологии. Изображается вооруженным луком из сахарного тростника и пятью цветочными стрелами.

Стр. 75. *Мадхоби* — вьющийся жасмин. *Мадана* — одно из имен Камадевы. *Испепелив Камадеву, что ты содеял, // О Шива?* — В индийской мифологии рассказывается о том, как однажды Камадева нарушил подвижничество Шивы и тот испепелил его взглядом третьего глаза. Однако затем, повинуясь просьбам богов, Шива воскресил бога любви. *Рати* — супруга Камадевы. *Фальгун* — месяц бенгальского календаря, февраль — март. Начало весны.

Стр. 76. *Веды* — древнейшие памятники индийской литературы, связанные с религией и философией.

Стр. 79. *Гхат* — ступенчатый спуск к реке. *Кадамба* — большое вечнозеленое дерево с оранжевыми цветами.

Стр. 85. *Сарасвати* — богиня, покровительница науки и искусства.

Стр. 99. *В кроваво-красной приходи одежде, // Как ты пришла невестою тогда...*— Невесты в Бенгалии обычно одеваются в красный цвет, который считается благоприятным.

Стр. 100. *Срабон* — месяц бенгальского календаря, июль — август. В этом месяце идут сильные дожди.

Стр. 101. *Онтохпур* — женская половина дома.

Стр. 106. *Семь Мудрецов.*— В древних индийских священных книгах говорится о семи великих мудрецах, сыновьях Брахмы, которые стали звездами Большой Медведицы. Возможно, эта легенда навеяна созвучием между словами «ркша» — медведь (санскр.) и «рши» — мудрец-подвижник.

Стр. 107. *Рудра* («Наводящий ужас», «Грозный») — одно из имен бога Шивы, вооруженного громовой стрелой.

Стр. 113. *Мойна* — птица семейства скворцовых, легко приручается.

Стр. 115. *Пальмира* — вееролистная пальма.

Стр. 116. *Ашшин* — месяц бенгальского календаря, конец осени, которая считается в Бенгалии лучшим временем года. Сентябрь — октябрь.

Стр. 117. *Парул* — невысокое дерево, цветущее белыми цветами.

Стр. 129. *Чампа* (чампак) — дерево, цветущее красивыми золотистыми цветами.

Стр. 130. *Майя* — призрачная сила, которая якобы управляет миром, приобретающим благодаря ей призрачный, нереальный характер. Иллюзия, заблуждение.

Стр. 132. *Ráху* — по индийской мифологии, демон, заглатывающий луну (этим объясняются лунные затмения).

Стр. 136. *Мохуа* — дерево с пахучими цветами, из которых приготовляют крепкое вино. *Полаш* — небольшое дерево (кустарник) семейства бобовых. Растет обычно в сухих, неувлажненных местах. Цветы — ярко-красного цвета. *Ашок* — красивое дерево с мелкими цветами красноватых оттенков. Ашок считается священным, и в религиозные праздники из его цветов сплетают гирлянды. *Малоти* — разновидность жасмина. *Моллика* — арабский жасмин.

Стр. 137. *Ашарх* — месяц бенгальского календаря, июнь — июль. *Тамал* — большое дерево, растущее обычно по склонам гор и на берегах рек.

Стр. 138. *Джам* — дерево со съедобными темно-фиолетовыми плодами.

Стр. 139. *Магх* — месяц бенгальского календаря, январь — февраль.

Стр. 142. *Джуй* — разновидность жасмина. *Шефали* (шиули) — кустарник с мелкими ароматными цветами, которые распускаются ночью, а утром опадают. *Нагкешор* — белый (иногда красноватый) цветок, похожий по форме на голову змеи.

Стр. 143. *Чойтро* — месяц бенгальского календаря, конец весны, март — апрель.

Стр. 144. *Бокша* — концентрационный лагерь, куда были заключены участники национально-освободительного движения. Они поздравили Тагора с семидесятилетием. Поэт ответил стихотворением «Узникам Бокши»,

которое было перехвачено колониальными властями. *Дурга* — одно из имен супруги бога Шивы. Культ ее очень распространен в Бенгалии.

Стр. 146. *Саньяси* — аскет, отшельник.

Стр. 151. *Пусть Бенгалии земля: воды, воздух и поля...* — 16 октября 1905 г. англо-индийское правительство ввело в действие закон о разделе Бенгалии. В этот день Тагор возглавил демонстрацию протеста в Калькутте и написал песню: «Пусть Бенгалии земля: воды, воздух и поля...» — которая приобрела большую популярность среди патриотических кругов Индии.

Стр. 154. *Мриданг* — сигарообразный барабан.

Стр. 155. *Домору* — бубен удлиненной формы, расширяющийся к концам.

Стр. 156. *Копаи* — речушка, протекающая около Шантиникетона, где находится основанный Тагором университет. *Джхау* — высокое хвойное дерево. *Раджбонши* — земледельческая каста.

Стр. 157. *Санталы* — индийское племя, живущее к северо-западу от Калькутты. Девушки-санталки славятся своей красотой.

Стр. 159. *Кхоаи* (букв.— «разрушенная земля») — местность около Шантиникетона, где много красной глины и красного гравия. *Махишасура* — демон, упоминаемый в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», по индийской мифологии, убитый богиней Дургой.

Стр. 160. *Маратхи* — народность, проживающая в штатах Бомбей, Мадхия-Прадеш, Мадхия-Бхарат. Маратхи славились своей воинственностью. *Шаловые деревья* — высокие величественные деревья.

Стр. 161. *Ганеша* — бог мудрости, «устранитель препятствий».

Стр. 163. *Падишах Акбар* — (1542—1605) — император из династии Великих Моголов. *Зонт царя* — символ самодержавной власти. *Рамананда* (XIV в.) — индийский религиозный реформатор, основатель секты, которая отвергала кастовое деление. *Тхакур* — обычно брахман (который считает, что он земной бог). Здесь — бог. *Гуру* — духовный наставник (с а н с к р.)

Стр. 164. *Дхрува* — Полярная звезда, являющаяся для индийцев символом правдолюбия, стойкости, верности. *Чандалы* — каста неприкасаемых, занимающаяся самой «низкой» работой: сожжением трупов, уборкой мест общественного пользования.

Стр. 165. *Ньяяк* — последователь индийской философии ньяя, возникшей около I в. н. э.

Стр. 171. *Ракшас* — злой дух, демон. *Шадхок* — жрец, священнослужитель.

Стр. 178. *Чадор* — накидка, шарф.

Стр. 183. *Священный шнур* — шнур, который носят представители трех высших каст.

Стр. 184. *Яма* — бог смерти. *Как привиденья в ночь женитьбы*

Шивы...— Шива считается покровителем духов и привидений, обитающих на площадке для сожжения трупов. Эти духи и привидения сопровождали его и во время женитьбы.

Стр. 186. *Ютха* — разновидность жасмина.

Стр. 187. *Шондеш* — сладкое молочное кушанье.

Стр. 188. *Сирис* (альбиция) — высокое дерево семейства бобовых, подсемейства мимозовых, с белыми цветами.

Стр. 189. *Чамели* — разновидность цветов.

Стр. 196. *Ситара* — индийский струнный инструмент. *Рудрани* — одно из имен супруги Шивы.

Стр. 199. *Канчон* — небольшое дерево с золотистыми цветами. *Курчи* — дикорастущий кустарник с белыми цветами, которые, по преданию, богиня Сарасвати дарила Шиве.

Стр. 201. *Гандхарва Читрараtха — колесничий, // Что Арджуну, сражаясь, победил...*— Читрараtха — повелитель гандхарвов, мифических полулюдей-полулошадей. Арджуна — смелый воин, герой «Махабхараты».

Стр. 205. *Вайтарани* — мифологическая река, через которую якобы переправляются в ад. Она полна крови, грязи и нечистот.

Стр. 210. *Пакур* (ашот) — большое мелколистное дерево.

Стр. 211. *Ана* — мелкая индийская монета.

Стр. 215. *Санай* — флейта.

Стр. 222. *Ним* (маргоза) — большое величественное дерево.

РАССКАЗЫ

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ БЕРЕГ ГАНГИ

Стр. 239. *Кочу* — растение, клубни которого идут на приготовление пищи. *Рам* (Рама) — герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Почитается как седьмое воплощение бога Вишну.

Стр. 240. *Намаболи* — кусок материи с начертанными на нем именами богов.

Стр. 241. *Аштавакра* (букв.— «восьмигорбый») — легендарный мудрец. Находясь в утробе матери, Аштавакра услыхал, что отец неправильно читает шастры, и заявил об этом при учениках отца. Отец проклял его за это, пожелав ему родиться с восемью горбами.

Стр. 242. *Синдур* — специальная краска ярко-красного цвета, которой замужние женщины красят пробор в волосах; жрецы в храме ставят ею священный знак — тику. *Огрохайон* — месяц бенгальского календаря (ноябрь — декабрь).

Стр. 243. *«Бхагавата» («Бхагавата-пурана»)* — самая популярная из

пуран — памятников древнеиндийской литературы, посвященных божествам Вишну и Шиве. В отличие от вед, чтение пуран разрешалось женщинам и представителям «низших каст». *«Бхагавадгита»* — религиозно-философская часть древнеиндийского эпоса «Махабхараты», построенная в форме беседы между Арджуной и Кришной.

Стр. 244. *Чхатим* (шайтан-дерево) — вечнозеленое дерево с грубой серой корой, с белыми или зеленоватыми цветами.

Стр. 245. *Кришна* — восьмое воплощение бога Вишну. Жизнь Кришны среди пастушеских племен и его любовь к пастушке Радхе — любимая тема индийской литературы. *Пробху* — господин; здесь: почтительное обращение к старшему.

СОСТЯЗАНИЕ

Стр. 249. *Радха.*— См. прим. к стр. 245.

Стр. 250. *Сита* — супруга Рамы (см. прим. к стр. 239).

Стр. 252. *Говардхана* — мифическая гора.

Стр. 255. *Великие раджи приносят коня в жертву огню.*— Речь идет об обряде заклания коня (ашвамедха). Собираясь на завоевание соседних государств, царь отправлял жеребца на целый год бродить по воле. Затем все места, где проходил жеребец, присоединялись насильственно или добровольно.

КАБУЛИВАЛА

Стр. 256. *Кабуливала* — здесь: афганец.

Стр. 257. *«Агдум-багдум»* — детская игра-скороговорка. *Абдур Рахман* — эмир Афганистана с 1880 по 1901 г.

Стр. 260. *Кайласа* — название одной из горных вершин Гималаев, где, по преданию, живет бог Шива со своей супругой.

СВЕТ И ТЕНИ

Стр. 266. *Наиб* — управляющий имением.

Стр. 267. *...подняв над головой значки для «и», «ой» и «р».*— Буквы «и» и «ой» бенгальского алфавита имеют надстрочные знаки, буква «р» в ряде случаев пишется над другими буквами. *«Котхамала»* — сборник басен, написанный Ишшорчондро Биддашагором (1820—1891) по мотивам басен Эзопа. *«Акхенмончжори»* — книга для начального чтения, составленная Ишшорчондро Биддашагором.

Стр. 269. *Сер* — мера веса, около 1 кг.

Стр. 272. *Конгресс* — партия Индийский национальный конгресс,

основана в 1885 г. Ныне правящая партия Индии. *«Амрита базар»* (полностью: «Амрита базар патрика») — название газеты.

Стр. 273. *Бёрк* Эдмунд (1729—1797) — британский политический деятель, известный по тем временам оратор. *Шеридан* Ричард Бринсли (1751—1816) — британский драматург, автор «Школы злословия». Выступал с блестящими речами в парламенте.

Стр. 275. *Чапкан* — коричневый китель, надеваемый в торжественных официальных случаях.

Стр. 280. *Тока* — широкополая шляпа из пальмовых листьев.

Стр. 283. *Гупиджонтра* — музыкальный инструмент.

Стр. 284. *«Дхарапат»* — начальная книга по арифметике. *Каширам Даш* — бенгальский поэт XVI в., пересказавший на бенгальском языке «Махабхарату».

ГОЛОДНЫЕ КАМНИ

Стр. 285. *...русские продвинулись далеко вперед...* — Речь идет о вступлении царской армии в 80-х годах XIX в. в Туркмению; в частности, о занятии ею в 1884 г. Мервского оазиса, вызвавшем резкое обострение русско-английских отношений. Конфликт завершился подписанием соглашения о русско-афганской границе в 1895 г. и договором о разделе сфер влияния на Памире.

Стр. 286. *Низам* — титул мусульманских правителей княжества Хайдерабад.

Стр. 290. *«Натх»... «чондро»* («владыка», «луна»).— Бенгальские индуистские имена чаще всего состоят из двух, иногда трех имен, каждое из которых имеет определенное значение.

Стр. 292. *Шах Джахан* (ок. 1592—1666) — император из династии Великих Моголов. В память покойной жены выстроил прославленный мавзолей Тадж Махал.

Стр. 293. *Саранги* — струнный музыкальный инструмент, напоминающий скрипку.

НЕЗНАКОМКА

Стр. 310. *Шимул* — высокое дерево с алыми цветами. Обычно растет возле водоемов.

Стр. 311. *Аннапурна* (букв.— «обильная пища») — одно из имен богини Дурги, супруги Шивы.

Стр. 312. *Ману* — имя четырнадцати мифических прародителей человеческого рода. Первый из них — Сваямбхува — якобы составитель знаменитого Свода законов.

Стр. 323. *Го́ра* (Гоур) — букв.: «светлый», «белый».

Стр. 331. *Брахмаист.*— См. предисловие, стр. 7.

Стр. 333. *...она же не из тех скромниц, которые не позволяют даже солнечным лучам касаться своих нежных ручек.*— Подчиняясь ортодоксальным законам индуизма, индийские женщины на протяжении многих веков вели затворнический образ жизни.

Стр. 336. *Комиссариат* — колониальная администрация области, которой подведомственны несколько дистриктов (округов). Комиссариат существовал во всех крупных провинциях Британской Индии, кроме Мадрасской.

Стр. 341. *Кешоб-бабу* — Кешобчондро Шен (1838—1884), бенгалец, один из лидеров общества «Брахмо Самадж». В начале 60-х годов К. Шен разошелся с другим лидером Общества, Дебендронатхом Тагором (1818—1905) — отцом Р. Тагора — и в 1866 г. основал новую ветвь Общества под названием «Набибидхан Самадж» («Общество новых заповедей»), объединившую более радикально настроенных брахмаистов. Учение Кешобчондро Шена пользовалось особенным успехом среди индийского студенчества. К. Шен был одним из инициаторов издания в 1872 г. англо-индийским правительством Закона о гражданском браке, по которому в Индии впервые вводился гражданский брак и возраст бракосочетающихся устанавливался для мужчин не ниже восемнадцати лет, а для женщин — не ниже четырнадцати. Однако в 1878 г. его дочь, которой еще не исполнилось и четырнадцати лет, вышла замуж за раджу Куч-Бихара (мелкое индийское княжество в Северной Бенгалии). Жениху не было и шестнадцати лет. Это событие оформило давно начавшийся раскол внутри Общества, поскольку часть брахмаистов была недовольна непоследовательностью руководства, в том числе К. Шена, в их отношении к ортодоксальному индуизму. Наиболее радикально настроенные члены Общества, отколовшись от «Набибидхан Самаджа», образовали новую ветвь под названием «Садхаран Брахмо Самадж» («Всеобщее Брахмо Самадж»). В романе речь идет о «Брахмо Самадже» в тот период, когда им руководил К. Шен.

Стр. 343. *Кубера* — в индийской мифологии бог богатства и бог — хранитель Севера. Он почитается также хранителем сокровищ Индры.

Стр. 345. *Вишнуит-саньяси* — аскет, отшельник, поклоняющийся Вишну как высшему божеству. В Бенгалии вишнуизм получил особенно большое распространение благодаря широкому крестьянскому антифеодальному движению и деятельности Чойтонно — выдающегося индусского реформатора XVI в. Проповедь Чойтонно, выдвинувшего в противовес «пути спасения посредством знания» «путь любви к всевышнему», отве-

чала интересам народных масс. Бенгальские вишнуиты избрали в качестве объекта поклонения одно из земных воплощений Вишну — Кришну.

Стр. 346. *Тантры* — ритуальные книги шактизма — религиозной секты индусов, поклоняющихся культу богини Шакти — женской ипостаси многих божеств. Тантризм, будучи связан с народными верованиями на ранних стадиях развития земледелия, в своей жизненной практике широко пользовался алхимией, астрологией, магией. *Сипайское восстание* — индийское национальное восстание 1857—1859 гг., народное восстание против английских колонизаторов, поставившее под угрозу их господство в Индии. *«Кто хочет жить в неволе»* — известное стихотворение Ронголала Бондопадхая (1827—1887), бенгальского поэта, критика, издателя. *«Там, где живут двести миллионов...»* — Первая строка стихотворения «Песнь Индии» (1870) Хемчондро Бондопадхая (1838—1903) — известного бенгальского поэта и публициста.

Стр. 347. *Хориш Мукхерджи* — Хоришчондро Мукхопадхай, оратор и журналист второй половины XIX в., редактор прогрессивной газеты «Хинду пэтриот». *Веданта* (букв.— «конец», «окончание вед») — средневековая идеалистическая философская школа.

Стр. 348. *Тики.*— Ортодоксальные брахманы бреют голову, оставляя на макушке прядь волос (тики), которую они закладывают в пучок.

Стр. 349. *Карма* — букв.: «деяние». Учение о карме лежит в основе индуистской религии. Согласно этому учению, после смерти человека его душа возрождается в низком или более высоком общественном состоянии в зависимости от степени покорности человека велениям предписанной ему дхармы, то есть беспрекословного следования требованиям веры, обычаев, долга.

Стр. 351. *Патаны* — афганские племена, неоднократно вторгавшиеся на территорию Индии. *Моголы* — здесь: мусульманская императорская династия Великих Моголов, установивших свою власть над Индией в начале XVI в.

Стр. 353. *Тривени* — место слияния трех рек: Ганги, Джамуны и Сарасвати, которая якобы течет на небе; почитается священным.

Стр. 356. *Катеху* — экстракт из ост-индской акации того же названия; применяется в медицине, крашении тканей и дублении кож. *Теодор Паркер* (1810—1860) — американский политический деятель и религиозный проповедник, сторонник отмены рабства.

Стр. 360. *Кхуде* — маленькая, крошечная (б е н г.). *Радхарани стала называться теперь Шучоритой...*— Вероятно, по мнению Бародашундори, имя «Шучорита» — древнеиндийского происхождения — обладает тем преимуществом, что оно не связано с индуистской религиозной традицией. *Праздник джамайшошти* — шестой день светлой половины (см. прим. к стр. 687 — «одиннадцатый день лунного месяца») месяца джешто

(май — июнь), день зятя, в его честь принимают подарки и поздравления.

Стр. 363. *...знак касты, поставленный глиной из Ганги.*— Тилак — знак касты или секты. Формы тилака разнообразны. Тилак рисуется на лбу, шее, груди, спине и т. д. В качестве краски пользуются раствором сандалового порошка, простоквашей, глиной, коровьим пометом, пылью из-под ног брахманов и т. д.

Стр. 369. *...из Англии на родину только что возвратилась первая группа юношей-бенгальцев...*— Экзамены на должность чиновника англо-индийской службы происходили не в Индии, а в Англии, с тем чтобы затруднить индийцам поступление на англо-индийскую государственную службу.

Стр. 371. *Мур* Томас (1779—1852) — английский поэт. *Лонгфелло* Генри Уодсуорт (1807—1882) — американский поэт.

Стр. 381. *Абхиманью* — герой древней эпической поэмы «Махабхарата», сын Арджуны и Субхадры. Одна из древних легенд «Махабхараты» рассказывает о том, как Абхиманью, находясь еще в утробе матери, слышал начало ее разговора с отцом о предстоящей великой битве потомков Бхараты. Арджуна раскрыл перед Субхадрой план боя. Но Абхиманью не слышал конца этого разговора. Когда впоследствии он сам принял участие в сражении и проник в стан врага, он не смог найти выхода оттуда и погиб.

Стр. 395. *Джанака, Сита, Рамачандра* — герои древней эпической поэмы «Рамаяна». Сита — супруга Рамы, дочь царя Митхилы — Джанаки. *Парашара* — легендарный мудрец-риши, которому приписывается авторство нескольких гимнов «Ригведы».

Стр. 397. *Бхадро* — месяц бенгальского календаря, август — сентябрь.

Стр. 406. *Кали* (Калипрошонно) *Шингхо* (1840—1870) — автор известного пересказа на бенгали древнеиндийской санскритской поэмы «Махабхарата».

Стр. 434. *Мне не нужны ни войска Кришны, ни его собственная поддержка...*— В эпосе «Махабхарата» рассказывается о том, как Кришна принимал участие в великой битве потомков Бхараты — пандавов и кауравов, выступая на стороне пандавов, в то время как его войско сражалось на стороне кауравов.

Стр. 436. *«Облегченное чтение»* — трехтомный сборник статей, составленный и переведенный с английского Оккойкумаром Дотто (1820—1886), известным бенгальским общественным деятелем, писателем и редактором общественно-литературного журнала «Тоттободхини потрика».

Стр. 456. *Анкуш* — железный крюк, которым погоняют слонов.

Стр. 465. *Драйден* Джон (1631—1700) — английский поэт и драматург.

Стр. 476. *Крош* — мера длины, равная 3,5 км.

Стр. 483. *Джатра* — своеобразное народное представление в Бенгалии без сцены и занавеса с непременным музыкальным сопровождением; чаще всего — на мифологические сюжеты.

Стр. 503. *Сирадж-уд-доулла* (1730—1757) — последний правитель Бенгалии, потерпевший поражение от английских колонизаторов в битве при Плесси 23 июня 1757 г. День этой битвы считается датой основания английского владычества в Индии. *Нобокришно* Деб Бахтадур (1732—1798) — брахман, большой знаток персидского языка, оказавший немалые услуги английской Ост-Индской компании в окончательном покорении Бенгалии. *Нондокумар* Рай (1704—1775) — индийский раджа, вассал правителя Бенгалии Сирадж-уд-доуллы, претендовавший на его место. В 1755 г. казнен по обвинению в деятельности против Ост-Индской компании. *«Рамаяна» Криттибаша* — одна из многочисленных бенгальских переделок знаменитого санскритского эпоса. Ее автор Криттибаш Оджха жил в XV в. Книга эта до сих пор пользуется в Бенгалии большой популярностью.

Стр. 508. *...Кришна носил на груди след от удара ноги Бхригу...*— В одной из древних легенд рассказывается, как великие мудрецы испытывали богов, желая узнать, который из них наивысший. Бхригу — один из великих мудрецов, почитаемый сыном Брахмы или Шивы, нанес ногой удар в грудь спящему Вишну. Вишну не только не обиделся, но даже пожалел ногу, нанесшую ему удар, и сохранил в память об этом знак ноги на груди Кришны — одного из своих земных воплощений.

Стр. 519. *Парда* — здесь: занавес, скрывающий женщину от взоров посторонних мужчин. *...журнал Бонкима «Бонгодоршон».*— «Бонгодоршон» («Зеркало Бенгалии») — литературно-художественный и общественно-политический журнал, основанный в 1872 г. родоначальником бенгальского исторического и социально-бытового романа Бонкимчондро Чоттопаддхаем (1838—1894).

Стр. 523. *...лепят себе божков из глины и потом им же и поклоняются...*— С древнейших времен в Индии сохранились низшие формы культа. В индусском пантеоне свыше трехсот тридцати миллионов богов. Практически каждый индус имеет своего «личного» бога, кроме общих семейных, кастовых и т. д. Эти божества лепятся из глины и устанавливаются в специальных нишах, иногда (у более зажиточных людей) в отдельных комнатах. Отправляясь в паломничество, ортодоксальные индусы надевают на шею небольшие лепные фигурки своих богов.

Стр. 525. *Маши* — родная тетка по линии матери.

Стр. 530. *Картика* — сын Критики, бог войны. Фольклор рисует его юношей с шестью головами, двенадцатью руками и глазами, восседающим на павлине.

Стр. 537. *Джибоннатх, Гопал, Нильмони...*— букв.: «Властелин жизни», «Пастушок», «Голубая жемчужина» — ласкательные имена Кришны в младенческом возрасте. Образ младенца Кришны пользуется особенно большой симпатией народов Индии. Индийские поэты изображают его обыкновенным ребенком, резвым и шаловливым. И этой человечностью в изображении высочайшего божества объясняется глубокая любовь к нему миллионов индийцев.

Стр. 542. *...остатки жертвоприношений идолу...*— Ортодоксальные индусы считают, что боги питаются жертвами, которые поднимаются к ним на небеса с дымом.

Стр. 616. *...на нашу священную землю нисходили боги...*— Индийская мифология хранит множество сказаний о земных воплощениях божеств. Боги якобы нисходили на землю в образе царей, героев, диковинных существ и пр. для искоренения зла.

Стр. 667. *Уж не собираешься ли ты, как юный брахман из «Махабхараты», убить соломинкой демона-людоеда...*— Иронически-шутливая ссылка на одну из легенд «Махабхараты», рассказывающую о том, как младший брат пандавов Бхимасена убил палицей демона Баку.

Стр. 672. *Упражнения по системе йога...*— Йога — одна из древних индийских философских систем. Родоначальником ее считается Патанджали (II в. до н. э.), утверждавший, что освобождение от всякого страдания и несчастья должно быть достигнуто благодаря непосредственному познанию отличия «я» от физического мира, включая тело, ум и свое «я». Но это возможно лишь в том случае, когда функции тела и чувств будут ограничены и подавлены. Для этого система йога указывает восемь средств: воздержание, культура, положение, контроль за дыханием, удаление чувств, внимание, созерцание, сосредоточение.

Стр. 676. *Рампрошад* Шен, «Кобиронджон» (1723—1775) — известный бенгальский поэт вишнуитского направления, автор поэмы «Биддашундор» и песен «Кали-киртон». *Чойтонно* Чайтанья Дев (1485—1533).— См. прим. к стр. 345.

Стр. 687. *...одиннадцатый день лунного месяца...*— Лунными днями исчисляется лунный месяц, равный двадцати восьми дням. Лунный месяц делится на две половины: светлую и темную. Вследствие этого и лунные дни делятся на светлые и темные. В светлую половину месяца луна прибывает, в темную — убывает. Наименования большинства празднеств связаны с указанием лунного дня. В одиннадцатый день лунного месяца мужчины и женщины трех основных каст Индии постятся, отмечая тем самым день появления на свет девы Экадаши, рожденной не женщиной и спасшей богов, как рассказывают легенды, от демона Мрудуманьи.

Стр. 688. *Зачем понадобилось Индре мешать Кришнодоялу в тот мо-*

мент, когда, сурово умерщвляя плоть... — Шутливый намек на одну из древних легенд, рассказывающую, как однажды небожители, обессилевшие в борьбе с демоном Таракой, обратились за помощью к высочайшему божеству (по одним источникам — Индре, по другим — Брахме) и узнали, что Тараку сможет победить лишь не родившийся еще сын Шивы и Парвати — Картика (см. прим. к стр. 530 — «Картика»). Тогда небожители обращаются к богу любви Каме с просьбой вывести Шиву из сосредоточения и внушить ему любовное желание. Кама соглашается помочь небожителям. Он пускает в Шиву цветочную стрелу, за что разгневанный Шива испепеляет его взором.

Стр. 692. *«Ригведа» Макса Мюллера* — первый комментированный перевод сборника древних ведических гимнов Индии, выполненный английским ученым-филологом Максом Мюллером (1823—1900). *Ведическая религия* — религиозные представления древних индийцев, отраженные в литературных памятниках, носящих название «веды». Молитвы и заклинания, собранные в этих книгах, рисуют ведические религиозные представления как фантастическое отражение сил природы в сознании древних индийцев. В сонме своих богов в этот период индийцы еще не выделяют какого-либо высшего бога.

Стр. 697. *...парень из рыбаков... превратился в писца...* — Речь идет о кастовой принадлежности: каста рыбаков (кайварта) — одна из низших каст в кастовой системе Индии, каста писцов (каястха) — одна из высших.

Стр. 706. *Наваб* (слово арабского происхождения) — в XVIII в. титул некоторых владетельных индийских князей, номинальных вассалов могольских императоров (наваб Ауда, наваб Бенгалии и т. д.). Часто употребляется в значении «богатый человек», «вельможа».

Стр. 729. *Шудры* — одно из четырех сословий древней Индии, низшее сословие рабов и слуг.

Стр. 731. *Нарада* — один из великих мудрецов (риши). Нарада изображается старцем с лютней в руках. Предания рассказывают, что искусству пения он обучен Брахмой, творцом вселенной. *Сыновья Сагары.* — В одной из древних легенд рассказывается, как царь Бхагиратха с помощью Нарады умолил Брахму (по другим источникам — Вишну) низвести Гангу, протекавшую в небесах, на землю, чтобы оживить своих предков — шестьдесят тысяч сыновей царя Сагары, сожженных мудрецом Капилой за то, что они ложно обвинили Капилу в похищении жертвенного коня.

А. Ибрагимов, М. Кафитина,
В. Новикова, А. Гнатюк-Данильчук,
А. Чичеров

О РИСУНКАХ Р. ТАГОРА

В возрасте шестидесяти семи лет Тагор бурно увлекся рисованием. Это был внезапный взрыв нового творчества, и произошел он в 1928 году. Сенсация началась через два года в Париже, в «Галери Пингаль»: там мир впервые увидел его акварели. Отзывы французов были восторженные. В 1930 году последовали выставки в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и в Москве.

Весь мир был поражен, что многогранный творческий гений Рабиндраната Тагора скрывал и дар художника. Поражало своеобразие и новизна таланта поэта, который начал рисовать без всякой подготовки, как дети. В Германии больше восхищались его рисунками людей, во Франции — пейзажами и фигурами животных.

Если на Западе слава к Тагору-художнику пришла сразу, то его соотечественники, впервые увидев его произведения на выставках в Калькутте и Бомбее в 1932—1933 годах, были смущены: необычайная новизна этой живописи была слишком неожиданной. Ведь тогда в Индии господствовала школа так называемого Бенгальского Возрождения искусства. Она возникла на рубеже XIX и XX веков и стремилась возродить традиции старой миниатюры и вообще угасшего художественного наследия, культивировала древние литературные сюжеты, эпические и мифологические образы, была проникнута духом национализма и возвеличением великого прошлого Индии. Но при этом художники Бенгальской школы развили мастерство рисунка и цвета на бумаге и тонкость приемов письма.

Ничего подобного не было у Тагора. Смущало его смелое новаторство и оригинальность, в то же время чувствовалась близость к современному искусству Европы и вместе с тем неповторимое своеобразие. Потом и Индия признала его как художника.

Случайные попытки рисовать изредка наблюдались у Тагора и раньше, но об этом знали немногие. Серьезное же творчество в этой области началось, когда он уже был в зените славы, и не только литературной. Вспомним, что он создал мелодии и слова около двух тысяч пятисот песен, необыкновенно популярных в Бенгалии, и сам исполнял их; он оказал неоценимые услуги театру, и не только как драматург, но и как талантливый режиссер и даже актер. Этим видам искусства Тагор отдавался уже более полувека. Но последние двенадцать лет жизни он понемногу оставлял перо и переключил свои силы на графику и живопись. Он успел создать почти три тысячи картин и набросков.

Это была подлинная страсть: начав картину, он не мог ее бросить, работая бурно, редко более часа; это были, по существу, экспромты, каких он создавал до четырех-пяти в день.

«Утро моей жизни было полно песен; пусть закат моих дней будет

полон красок». Уже будучи больным, Тагор говорил, что если бы у него оставались силы, он бы только рисовал.

Его живопись стоит особняком в истории современного индийского и мирового искусства. Конечно, он не был и не мог быть великим художником, не учась живописи и не приобретя мастерства, полагаясь только на интуицию и вдохновение. Но он проявил талант и самобытность в своей живописи.

Большинство его рисунков — это отдельные фигуры людей и животных или небольшие их группы; они напоминают эскизы (рис. 2), которые не могут считаться законченными произведениями, это скорее показ процесса работы художника. Он сам говорил, что его картины не имеют общего ни с какой дисциплиной, традицией и заранее продуманным замыслом.

Живопись Тагора не принадлежит ни к какой школе. Можно сказать, что в ней нет законов, в том числе и в технике письма. В его пейзажах нет перспективы. Он мог достичь характеристики внутренней сущности животного, например, активной свирепости и жадности тигра, без соблюдения внешнего сходства. В его рисунках порой, казалось, преобладало стремление больше выразить самого себя, свои чувства, чем объективный мир. Цвет у Тагора выражал не натуру, а эмоции. Его рисунки очень часто наивны и непосредственны, как детские, но они далеко не ребяческие. Это, можно сказать, утонченно-детское искусство, творчество искушенного в жизни старца, но рисующего из детского побуждения.

Смелость своего вторжения в живопись Тагор объяснял неведением, смелостью сомнамбулы, идущей по опасному пути и не погибающей лишь потому, что она не видит угрожающей опасности.

Не придерживался Тагор и обычной и вообще определенной техники письма. Его картины могут в основном быть названы акварелями, иногда применялась и темпера. До 1929 года он рисовал авторучкой, любой стороной пера, затем — разноцветными чернилами, иногда соком цветочных лепестков, при помощи обрывка тряпочки или кончиком пальца, иногда лопаточкой, а если кистью, то обычно самодельной, или цветными карандашами. Писал он чаще всего по бумаге, иногда по коже. Если лакировал картину, то кокосовым или горчичным маслом. Эта неограниченная свобода приемов и техники письма усиливали впечатление свободы выражения, свежести и энергии его рисунков (рис. 10).

Ранние попытки рисовать были у Тагора почти непроизвольными. Зачеркивая строки текста, он нередко соединял зачеркнутое в непрерывный рисунок, который извивался между строк, как бы украшая их (рис. 1). Невольно увлекаясь, Тагор стал дорисовывать эти линии в более определенные формы. Он говорил, что поддался обаянию линий и, конечно, их ритму. А ритм бросается в глаза в каждом движении его

пера. Иногда он закрашивал бумагу вокруг строк, придавая черному фону форму каких-то фантастических существ. Это была игра в рисование, связанная с текстом, ведущая к рождению картины: игра линий превращалась в более сложные рисунки, уже не связанные с текстом. Процесс, удивительно сходный с рождением книжной иллюстрации-миниатюры на Ближнем Востоке и в самой Индии. Роспись вокруг каждой строки и на полях рукописей постепенно развилась там в тематическую живопись-миниатюру. Вначале она тоже композиционно была связана с текстом и не была самостоятельной картинкой, какой сделалась после.

Тагор непроизвольно прошел этот исторический путь рождения картины-миниатюры в кратчайший срок и по-своему, отнюдь не думая о подобной аналогии. И множество его произведений оставались построенными в своей основе на линейных ритмах. В этом, как и по общему характеру, по духу своей живописи в целом, Тагор всегда оставался сыном своей страны. И хотя для поверхностного взгляда многие его произведения кажутся навеянными какими-то западными произведениями, по своей сути они, безусловно, индийские,— новаторские, но сохраняющие основные национальные качества.

Этого не хватало большинству художников Бенгальского Возрождения. Тщательно изучая старое искусство, его детальные приемы построения композиции и отдельных фигур, многие старые условности и сюжеты, они попадали в плен буквы отживших законов искусства, а не духа их, который надо было воплотить в новые современные формы. Они не стали подлинными новаторами, не смогли должным образом поднять национальное своеобразие на высшую ступень, оставались ограниченными традицией, а не владели ею. Они превратили свое творчество в ремесленничество, оставались скованными в приемах своей живописи, не смогли вдохновиться основными принципами и лучшими достижениями старого искусства. Исключения были редки.

Тагор не изучал специально традиции индийского искусства, но, оставаясь в душе индийцем, сумел свободно воплотить некоторые основные черты и качества родного искусства, хотя и не профессиональным языком, но выразительно.

Он считал, что надо не подражать внешним условностям традиции, но воспринять ее дух, и он мог это сделать, будучи совершенно свободен от оков старого индийского искусства. Он признавал в живописи «бесконечную свободу» выражения и смелый эксперимент. В 1937 году Тагор писал одному из своих корреспондентов, что он с безжалостным произволом вторгался в самодовольный и застойный мир индийского искусства, производя в нем смятение.

Свои наиболее удачные акварели Тагор создал главным образом в первое трехлетие живописного творчества — 1928—1930 годы. После этого он стал больше работать с натуры, набрасывал пейзажи, но поэтичность

и сила выражения стали у него ослабевать, картины становились банальными, хотя появилась большая уверенность кисти.

В 1926 году Тагор путешествовал по Европе, побывав в Италии, Франции, Германии и Англии. Он познакомился там со многими художниками и видел множество картин.

Глубокий интерес Тагора к изобразительному творчеству и понимание его большого значения для всестороннего развития человека заставили его открыть в 1920 году школу искусств в Шантиникетоне («Обители мира»). Его интересовало искусство всех стран. Так, в Японии, например, заехав в Иокогаму для ознакомления с одной частной коллекцией японской и китайской живописи, он так заинтересовался ею, что вместо намеченных двух дней, задержался в Иокогаме для изучения этой коллекции на три месяца!

Естественно, что поэт не мог не обращать внимания и на современное ему западное искусство, как в Европе, так и в США.

И, глядя на некоторые картины Тагора, нельзя отделаться от мысли, что он знал это искусство. Различные искусствоведы ищут влияния на живопись Тагора то немецких экспрессионистов, то П. Клея и норвежца Э. Мункха, то М. Эрнста, Дали, Модильяни или Э. Нольде, называют и других известных художников Запада. Но едва ли Тагор хорошо знал произведения всех этих художников. Уже сам факт такого большого числа «влиявших» на него художников вызывает сомнение. Фактически невозможно установить действительное сходство у Тагора с каким-либо художником Запада или Востока, в том числе и Индии. И лучшим доказательством служит правильное понимание самих картин поэта. В них всегда виден самобытный творческий подход и собственное решение любой темы. Даже в самых незначительных рисунках Тагор проявлял яркое своеобразие. Более того: глубокое проникновение в сущность искусства Тагора показывает, насколько крепко он был связан в своем творчестве с родной почвой. А к современному ему европейскому модернизму он относился отрицательно, называя его бессодержательным. Это вспоминает и член-корреспондент Академии Наук СССР профессор А. А. Сидоров, выступавший на открытии московской выставки Тагора.

О ритме мы уже упоминали. Чувство ритма было воспитано у Тагора с детства. Его поэзия, вокальная музыка, его живопись — все проникнуто ритмом. Свои картины он считал стихосложениями в линиях. И ритмическое мастерство в поэзии помогло Тагору в живописи, как и его музыкальное творчество. Ритм он считал одним из важнейших свойств искусств и их общей основой, превращающей инертный материал в живое творение. Это, по его словам, творческая сила, не зависящая всецело от художника. Он был убежден, что ритм придает реальный смысл даже тому, что само по себе не имеет никакого значения, или совершен-

но бессвязному явлению. Так, аморфная толпа, вдруг начавшая танцевать, превращается ритмом в единство.

А чувство ритма глубоко присуще индийскому народу, его художественному творчеству и в первую очередь танцу — этому любимейшему виду его искусства, распространенному среди индийского народа как нигде в мире. На ритме основана пластика Индии, она придает особую выразительность и очарование позам, жестам, движению фигур, их композиции. Ритм линий в высшей степени характерен для ведущих контурных линий миниатюрной живописи раджпутов и других народов Индии, а также для деревенского искусства бенгальских ремесленников. Ощущение ритма было врожденно у Тагора как индийца, и это было единственным, чему его обучали: ритму в звуках, даже ритму в мыслях, как говорит сам поэт. И хотя он специально не изучал древнее искусство своей страны, великий закон ритма повелевает его искусством. Ритмически выразительная линия имеет ведущее значение в его рисунках: она то льется в певучих изгибах (рис. 12), то создает прямолинейную геометризацию фигур, но она всегда энергична, четко и смело очерчивает контуры, уверенна и свободна. Она способствует динамичности выражения в картинах Тагора, а это качество присуще индийскому искусству с древности. Когда же Тагор передает танец, движение у него приобретает поистине буйный размах.

Но главной идейной основой искусства Индии в целом и Тагора в частности была идея единства. «Красота только средство (искусства.— *С. Т.*), а не его конечная цель и смысл. Подлинный принцип искусства есть принцип единства». На нем построен великолепный синтез индийской архитектуры и скульптуры, где сами формы построек бывают пластичны, где многоликая скульптура, в изобилии приданная архитектуре, представляет единство в многообразии форм. Такова и основная идея философии Упанишад, наиболее близкая Тагору.

Единству в пластике и живописи способствует ритм.

Принцип единства является основой гуманизма, всегда проникавшего индийское искусство и не только связанное с буддизмом, где гуманизм — специфическая черта этой религии, но и с индуизмом, с идеями Упанишад, где великая драма жизни ведет к свету. Философски возвышенный гуманизм окрашивает и все творчество Тагора.

В Индии эмоции, чувства — *«раса»* нередко построены на парах противоположностей, как, например, ярость и мир. Такова замечательная гигантская скульптура из камня (VIII в.) трехликого Шивы — одного из высших божеств индуизма. Один из ликов яростен, почти свиреп, но это ярость разрушения, предшествующая новому творчеству,— космическая драма, длящаяся вечно, и потому лик Шивы веет величием вечности и умиротворенностью. Таковы образы и у Тагора, даже те, которые кажутся кошмарными.

Так удивительно перекликается живопись поэта с древним искусством Индии, хотя внешне она на него кажется совсем непохожей. Но общность основных принципов остается, хотя их воплощение в материале совсем иное.

Эмоциям — раса в древних индийских трактатах придавалось исключительное значение. Через раса, например, любовь, можно познать божество. И индийское искусство в течение веков было проникнуто глубокой эмоциональностью, возьмем ли мы живопись знаменитых пещер Аджанты V—VII веков, раджпутскую миниатюру или средневековую скульптуру. Это врожденное качество индийского народа. То же и у Тагора. Особенно женские образы, они нередко как бы сотканы из одних эмоций. Это придает им удивительную одушевленность, и они глубоко психологичны, необыкновенно привлекательны женственностью. Он создал целую серию прекрасных изображений женщин, то с сосудом в руках, то с ребенком, или женские головы (рис. 11). Большей частью это обобщенные и типичные образы его современниц. И художник заставляет нас лучше понять и полюбить Мать Индии. Эти образы (рис. 5 и 6) отличаются ясностью и в то же время загадочностью. Про них можно было бы сказать то, что сам Тагор говорил о Николае Рерихе: «За ними стоит непознанный автор». Если же в произведении выражено все до конца и нет места творческому воображению зрителя, то это смерть подлинному искусству. С непринужденностью и естественностью, даже при наличии некоторых условностей, с легкостью и свободой и вместе с тем с большой смелостью и уверенностью очерчены ритмично изгибающиеся контуры этих ликов и фигур, как будто работала рука опытного профессионального мастера. Видно, что женские образы чаще всего трогали самого автора. Именно им он посвящал краткие строки стихов: «Вот женщина, вечно мне незнакомая, и все же мне кажется, я знаю ее».

К изображению пожилой женщины с печальным ликом, с головой, закутанной в черное покрывало, он приписал: «Боль утихла, но воспоминание о ней остается. Так тихий закат приходит на смену дню, прошумевшему дождем».

Автопортрет Тагора. Полные жизни, мудрые, проницательные глаза. Лик величественного старца, освещенный солнцем или внутренним светом, как бы прорывается из буро-зеленого хаоса фона. Умный лоб сливается со светом над головой. Тагор — философ, умудренный вековым опытом, полный жизни и глубокой человечности.

Так, начав с игры линий, через детскость, Тагор-художник пришел к своим высшим достижениям.

Тагор признавал связь всех искусств. Для него это было тем более естественно, что его собственная одаренность и творчество были так многогранны.

В индийской эстетике издавна подчеркивалась тесная взаимосвязь всех видов искусств и необходимость их комплексного изучения. Об этом свидетельствует диалог между раджей и мудрецом, приведенный в одном из древних трактатов.

«Раджа. О безгрешный! Будь так добр обучить меня созданию скульптурных изображений.

Мудрец. Тот, кто не знает законов живописи, тот никогда не поймет законов скульптурного изображения.

Раджа. Будь тогда так добр, о мудрец, научить меня законам живописи.

Мудрец. Но понять законы живописи трудно без знаний техники танца.

Раджа. Будь милостив в таком случае наставить меня в искусстве танца.

Мудрец. Это трудно постигнуть без полного знания законов инструментальной музыки.

Раджа. Прошу, научи меня законам инструментальной музыки.

Мудрец. Но законы инструментальной музыки не могут быть изучены без глубокого знания искусства вокальной музыки.

Раджа. Если вокальная музыка является источником и концом всех искусств, открой мне тогда, о мудрец, законы вокальной музыки».

Как мы видели, этой связи способствует ритм, а в высшем смысле она отвечает основной идее единства.

Пейзажи Тагора красочны, поэтичны, цвет в них довольно условен, глубок и колорит уравновешен. Чаще всего они исполнены полунамеками, и формы природы сильно обобщены. Построены пейзажи отнюдь не на линиях, но на красочных пятнах и мазках, неся в себе, как и вся живопись Тагора, богатство ассоциаций. Они сильно декоративны, а контрасты цвета создают некоторый намек на пространственность.

Мы видим за группами деревьев с зелено-черной листвой синеватые горы и желтое небо. Иногда темная чаща ветвей нависает почти над нами,— ниже зеленовато-желтый небосвод, искусственно приближенный к зрителю. На его фоне ряд перспективно уменьшенных деревьев, ниже — лиловато-черная и зеленая земля. Все на одной плоскости, но все же создается некоторое впечатление удаленности.

Много внимания в живописи Тагора уделено различным образам каких-то чудовищ, животных — реальных или полуфантастических, птицам, змеям, ракшасам (извечным врагам светлых гениев), а также башням, скалам и т. п. Весь этот мир, по существу, глубоко индийский. К некоторым подобным сюжетам поэт тоже складывал стихи.

Вот птица на спине быка: «Ты беспечно несешь свой триумф, крылатое изящество, на тяжеловесной бессмысленности высокомерной туши». Вот пара извивающихся кобр, но это не просто ядовитые гады, в них

видна какая-то мудрость (рис. 9). В народном фольклоре и в мифологии Индии змею отведено почетное место. На великом Змее Вечности Ананте или Сеше покоится среди первичных вод творения бессмертный Вишну — вседержитель вселенной. Такой змей представлен в виде священной кобры с семью главами. Космический Змей Сеша «не отдыхает никогда», как пишет великий древний поэт и драматург Индии Калидаса. Народ змей — Наги обитает в чудесном потустороннем мире, в преисподней, где он владеет полным сокровищ дворцом Потала. Главный Наг укрыл будду от страшного ливня, обвив его своими кольцами и простерши над ним свои клобуки. Змеи в представлении индусов также связаны с водной стихией, несущей земле жизнь. Поэтому подобный сюжет не мог быть для Тагора незначительным.

Полна жизни и изящна на одной картине лань. Встав на дыбы, она тянется к листве могучего дерева.

Но ревущий верблюд очерчен твердыми, прямыми белыми линиями, его плоская фигура геометризована. И если в картине с ланью под деревом объемность живо чувствуется, верблюд точно вырезан из доски и выглядит темным силуэтом. Тем не менее активность позы и движения выражены энергично. Голова верблюда с огромной разверстой пастью, как у какого-то пресмыкающегося. Но это не случайная фантазия. Есть у Тагора и более фантастические образы чудовищ. В них можно усмотреть аналогию мифологическому чудовищу древней Индии — «макара», нечто вроде рыбы-дракона, олицетворяющего стихийные творческие силы природы. И главный признак макара — широко разверстая пасть.

Какие-то распластанные фигурки напоминают традиционный образ карлика, попираемого танцующим божеством Шивой Натараджей.

Даже фаллическая символика творческих сил природы («лингам»), игравшая огромную роль в традиционном искусстве Индии, в новой интерпретации встречается у Тагора. Это отзвук тантризма, связанного с почитанием женского творческого начала в природе. В скульптуре Индии отвлеченно трактованный лингам с женщиной (или с Шивой) встречаются постоянно. На фоне низенькой колонны как бы произрастает, появляясь из ее поверхности, лик Шивы или четыре лика с разных сторон. К этому мотиву у Тагора относится упоминавшийся печальный лик женщины в темном платке. И контуры изображения оформлены строго, в виде колонны.

Такова суть живописного творчества Тагора, смысл его наиболее зрелых и значительных картин, выраженный столь самобытно. В любых из них нас привлекает талантливость кисти Тагора, его неизменная искренность, любовь ко всем творениям, теплая человечность и лиризм, свойственные и его поэзии.

С. Тюляев

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Н. Комаров. Рабиндранат Тагор. 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги «Картины и песни» («Чхоби о ган»)

Йог. *Перевод М. Петровых* 35

Из книги «Диезы и бемоли» («Кори о комол»)

Поцелуй. *Перевод Д. Голубкова* 37
Пленный. *Перевод Д. Голубкова* 37

Из книги «Образ любимой» («Маноши»)

Усталость. *Перевод Н. Стефановича* 39

Из книги «Золотая ладья» («Шонар тори»)

Золотая ладья. *Перевод А. Ревича* 40
«Хинг, тинг, чхот» (Сновиденье). *Перевод Г. Ярославцева* . 41
Пробный камень. *Перевод А. Ревича* 46
Две птицы. *Перевод С. Северцева* 48
На качелях. *Перевод А. Ревича* 50

Из книги «Пестрое» («Читра»)

Урваши. *Перевод С. Шервинского* 53

Из книги «Сбор урожая» («Чойтали»)
Перевод В. Тушновой

Жизнь драгоценна 56
Переправа 56
Метафора 57
Чужая одежда 57
Засуха 57
Я плыву по реке 58

Из книги «Крупицы» («Коника»)
Перевод А. Ибрагимова

«Верхушка говорила с похвальбою...» 59
«Напомнила мошне тугой сума многострадальная...» . . . 59
«Керосиновая лампа гордо заявила плошке...» 59
«В расщелине стены, среди ночной прохлады...» 59
«О подлая земля!» — бранился червь в досаде...» 60
«Кем бы, о манго, мечтало ты стать?» — «Хоть на миг...» . . 60
«Самое хорошее все твердит: «О лучшее!..» 60
«Ракета хваталась: «Как я смела!..» 60
«Увидев паденье звезды, рассмеялась лампада...» 60
«Нос издевался над ухом: «Лишенное нюха...» 60
«Стрела говорила тяжелой дубине...» 61
«Высокомерия полна тростинка...» 61
«Кто ты, не раскрывающая рта?..» 61
«Откликается эхо на все, что услышит кругом...» 61
«Величья не достигший человек...» 61
«Не буду вытаскивать грязь...» 61
«Перед ошибками захлопываем дверь...» 61
«Повернетесь вы или свернетесь в клубок...» 62
«Ну и худа ты!» — глумилась дубина над тростью...» . . . 62
«О пыль! Лишая чистоты...» 62
«Сетует милость: «Напрасны благие деяния...» 62
«Спяньем луна затопляет наш мир необъятный...» 62
«Достойный спокойно идет с недостойным бок о бок...» . . 62
«Время сказало: «Я мир созидаю, что полон красы...» . . . 62
«Властитель бескрайней страны говорит: «Я законы издам...» 62
«Туче хвалы возносила пустыня...» 63
«Меня презирают,— туман говорит,— оттого, что я рядом...» 63
«Сказали ладони, что сложены чашей...» 63
«И для чего существуешь ты, море,— без трав и без нив?..» 63
«Хотя с появлением солнца луна...» 63
«Слово промолвило грустно: «О дело!» 63
«Кто, смелый, сумеет продолжить мое начинанье?..» . . . 64
«Ночами: «Вернись, о солнце!» — ты молишь с тоскою
слезною...» 64
«Нашептывал берег, склоняясь к быстрине...» 64
«О плод! О плод! — кричит цветок...» 64
«О, как я прозрачна!» — вода зажурчала в стакане...» . . . 64
«Как мне понять, о море, речь твою?..» 64
«Стрела ликовала: «Вольна я, как птица...» 64
«Проснулся малютка-цветок. И внезапно возник...» 65
«Хвала и хула обратились к поэту...» 65
«Мы с пламенем братья,— похвастался дым от костра...» . . 65
«Кругом разносилось моление флейты...» 65
«Тайком все кусты и деревья собой наполняет ночь...» . . 65
«Сон говорит: «О реальность! Я волен, ничем не стеснен...» 65
«Промолвило солнце, услышав хулу и проклятья...» . . . 66
«Как веко и глаз неразлучны друг с другом...» 66
«Хочешь все поменять, но напрасны старания...» 66
«Смерть угрожает: «Сына я похищу...» 66
«Дождем иссеченный, жасмин простонал: «Погибаю!..» . . 66
«Не ты ли,— спросил я однажды судьбину...» 66
«Земля говорила: «Весь день, дотемна...» 67

«Земля — чаровница. Она уверяла сначала...» 67
«Вселенная так рассуждала. «Поверьте...» 67
«С началом запальчиво спорил конец...» 67
«Ночь целовала уста уходящего дня...» 67
«Нет, ты не пустота, о смерть! Иначе!..» 67
«Хвалился зрением великолепным глаз...» 68
«Я лишь малая капелька света, что еле видна...» 68
«Цветок промолвил...» 68

Из книги «Предания» («Котха»)

Суд. *Перевод С. Липкина* 69

Из книги «Баллады» («Кахини»)

Гибель песни. *Перевод Г. Ярославцева* 70

Из книги «Фантазии» («Колпона»)

Бог любви
До сожжения. *Перевод А. Ревича* 74
После сожжения. *Перевод А. Ревича* 75
Индия-Лакшми. *Перевод Н. Тихонова* 76

Из книги «Мгновение» («Кхоника»)

Пьяный. *Перевод А. Ревича* 77
Мы живем в одной деревне. *Перевод Т. Спендиаровой* . . 78
Два берега. *Перевод М. Ваксмахера* 79

Из книги «Дары» («Нойбеддо»)

«Природой завладеет сегодня покой осенний...» *Перевод Н. Стефановича* 81
«Бьют. угрожают, копья нацеля...» *Перевод Н. Стефановича* 81
«Родину бедную, всеблагой...» *Перевод Н. Стефановича* . . 82
«Мы на задворках далеких где-то...» *Перевод Н. Стефановича* 82
«Лишь вольного утра взор светло-синий...» *Перевод Н. Стефановича* 83
«Где души бестрепетны, где чело...» *Перевод Н. Стефановича* 83
«Люблю, о всевышний, синие дали...» *Перевод Н. Стефановича* 83

Из книги «Ее памяти» («Шорон»)

«Подруга, нет тебя ни дома, ни на гхате...» *Перевод С. Шервинского* 85
«Нисходит полумрак и синим краем сари..» *Перевод С. Шервинского* 85

Из книги «Посвящения» («Утшорго»)

«Я, как безумный, по лесам кружу...» *Перевод В. Марковой* 87
«Та женщина, что мне была мила...» *Перевод Б. Пастернака* 88

Из книги «Паром» («Кхейа»)

Девочка-супруга. *Перевод Г. Ярославцева* 89
Приход. *Перевод Т. Спендиаровой* 91

Из книги «Жертвенные песни» («Гитанджали»)

«Заставь меня головой коснуться...» *Перевод В. Тушновой* 93
«О, помоги расцвесть душе моей...» *Перевод В. Рогова* . . . 93
«Молю, мой страх гони, гони...» *Перевод В. Рогова* 94
«Сегодня душу у меня...» *Перевод В. Рогова* 94

Из книги «Гирлянда песен» («Гитималло»)

«Подошел отдачи первый срок...» *Перевод Т. Спендиаровой* 96
«В одеянье красивом пришел ты...» *Перевод Л. Пеньковского* 96

Из книги «Песни» («Гитали»)

«Облако молвило: «В путь мне пора...» *Перевод В. Микушевича* 97

Из книги «Журавли» («Болака»)

Всеуничтожение. *Перевод А. Ахматовой* 98
Труба. *Перевод А. Ахматовой* 99
Портрет. *Перевод М. Ваксмахера* 101
Подарок. *Перевод М. Петровых* 104
Суд. *Перевод Ф. Мендельсона* 106
Журавли. *Перевод А. Ревича* 108
Новый год. *Перевод А. Ахматовой* 109
«За веком век терпеливо ждали...» *Перевод М. Ваксмахера* 111

Из книги «Беглянка» («Полатока»)

Смуглянка. *Перевод О. Чухонцева* 112
Заблудилась. *Перевод А. Наймана* 114

Из книги «Малыш Бхоланатх» («Шишу Бхоланатх»)

Пальмира. *Перевод Т. Спендиаровой* 115

Воспоминанье. *Перевод В. Левика* 116

Из книги «Вечерние мелодии» («Пуроби»)

Благодарный. *Перевод М. Петровых* 117
Быть может. *Перевод М. Петровых* 118
Встреча. *Перевод В. Потаповой* 118
Утро. *Перевод М. Ваксмахера* 120
Цветок далеких земель. *Перевод М. Ваксмахера* 120

Из книги «Письмена» («Лекхон»)
Перевод С. Липкина

«Мои письмена отцветают мгновенно...» 122
«Не нужно мотыльку считать года...» 122
«Сон — дерево. На дне его дупла...» 122
«Тяжелыми делами груженная ладья...» 122
«Весна свои цветы, свои листы...» 122
«Слова мои в крыльях своих обрели...» 123
«Дерево залюбовалось строгой...» 123
«Избавясь от оков земного сна...» 123
«Бездонный, темный океан ночной...» 123
«Подарок робкий мой надеяться не может...» 123
«На пыльной земле, как ребенок, рисует картины весна...» 123
«Дети возле храма, в день весенний...» 124
«Небо охватило землю светлыми руками...» 124
«Далекое приблизилось. Гляди же...» 124
«Гора, за облака...» 124
«Пуская лодки облаков, природа...» 124

«Хочет бог, чтобы воздвигли храм...» 124
«Когда, цветок напоминая, поблекнет ранняя заря...» . . . 125
«Эта ночь, как невеста в разлуке...» 125
«Подул попутный ветерок...» 125
«Тень сберегла воспоминанье света...» 125
«Я сижу один. Закат погас...» 125
«Перо летуньи выпало, бесславно...» 125
«Опасностями, яростью стихии...» 125
«Все новые пути у солнца неустанного...» 126
«Я господом ценим, когда...» 126
«Тебе я в дар принес...» 126
«Как видно, сбилась ты, весна, с пути прямого...» 126
«Когда для розы вспыхнул солнца свет...» 126
«Следов полета много...» 126
«Листок цветку поведал в роще сонной...» 127
«Горящую средь звездного чертога...» 127
«Хотя густой туман вершину зажал в смертельное кольцо...» 127
«Безмолвно горы смотрят на просторы...» 127
«Ты подарила мне цветок, и в руку...» 127
«Сияет правда ярче всех красот...» 127
«Ограничен пузырь водяной сам собой...» 127
«В светильнике нашей разлуки и ночью и днем...» 128
«Сойдет на землю тьма ночная...» 128
«Прося подаянья, стоит у дверей...» 128
«Флейта смотрит на дорогу, музыканта ожидая...» 128
«Цветку жасмина чужда кручина, что невелик...» 128
«Цветы похожи на слова...» 128
«Вечер покой обретает, себя не виня...» 128
«Свободою любовь единство утвердила...» 129
«Большому дереву дано...» 129
«Ничто так много зла не создает...» 129
«О любовь, если злые обиды прощаешь ты снова и снова...» 129
«Даже в смерти божий мир обретает обновленье...» 129
«Ты видишь, как мечется в мире пустом бессильная новая страсть?..» 129
«Когда все чампы мира шумят всей мощью лиственной...» 129
«Для росинки солнце наших дней...» 130
«Я плату за свои труды беру день изо дня...» 130
«Всегда понятны свету извечной тьмы глаголы...» 130
«Поэту-страннику сказал цветок чужого края...» 130
«Чтобы лотос приласкать в пруду...» 130
«Чем выше ложное и бренное мы ценим...» 130
«Недаром истине мила ее граница...» 130
«В пленительной пляске прекрасного краски...» 130
«Хотя все двери ты запрешь,— уйдет...» 131
«Как поэт, собою недовольный...» 131
«Кораблик мой бумажный, по прихоти игры...» 131
«Чем безутешней жизни внешней утраты, боль обид...» . . 131
«Столепестковый лотос...» 131
«Жасмин, взглянув на солнце в день погожий...» 131
«Цветок увял и так решил: «Беда...» 132
«Шипы — моя вина, прощенья нет вине...» 132
«Для богача дворец — как жадный демон Раху...» 132
«Мечта горы — летать; несбыточен полет...» 132

«Послушай,— утренней звезде...» 132
«Непутевое облако самонадеянно...» 132
«Все звезды я считал, не уставая...» 133
«Ты прав, когда плохое отвергаешь...» 133
«Обычай неба не таков...» 133
«Не тем себя сиянье возвеличило...» 133
«Одно — всегда одно, и больше ничего...» 133
«Различья будешь признавать...» 133
«Только тот, чьи глаза могут розы видеть весной...» . . . 134
«Шел от чужих дверей, познав потери...» 134
«Подвластно дело человеку,— известно мудрецам...» 134
«Мы поняли, что жизни цену лишь смерти придает печать...» 134
«Если самого себя станешь выше головой...» 134
«Любовь он превратил в игру, в торговлю, в шутовство...» 134
«Бессмертье — истина, исполненная света...» 134

Из книги «Мохуа» («Мохуа»)

Мужественная. *Перевод М. Зенкевича* 135
Мохуа. *Перевод М. Зенкевича* 136
Услада взора. *Перевод В. Потаповой* 137
Мечтательница. *Перевод В. Потаповой* 138
Изваянье. *Перевод В. Потаповой* 139

Из книги «Голос леса» («Бонобани»)

Лиана сапфирная. *Перевод С. Шервинского* 141

Из книги «Завершение» («Поришеш»)

Узникам Бокши. *Перевод С. Липкина* 144
Тридцать лет назад. *Перевод С. Липкина* 144
Ожидание. *Перевод В. Микушевича* 146
Удивление. *Перевод А. Ревича* 146
Восток. *Перевод С. Липкина* 147

Из книги «Сад песен» («Гитобитан»)

Из цикла «Моление»

«Мелодию дай, приобщи к песнопенью, учитель...» *Перевод В. Потаповой* 148
«Я коврик мелодии здесь разостлал...» *Перевод В. Потаповой* 148
«Я бесконечен. Своим ты играешь созданьем...» *Перевод В. Потаповой* 149
«Подобно потокам срабона, пусть льется и нощно и денно...» *Перевод В. Потаповой* 149
«Богатству и прислужников гурьбе...» *Перевод В. Потаповой* 149
«Высится, грохочет колесница...» *Перевод В. Потаповой* . . 150
«По ночам под звуки флейты бродят звездные стада...» *Перевод В. Потаповой* 150

Из цикла «Родина»

«О Мать-Бенгалия! Край золотой!..» *Перевод Е. Бируковой* 151
«Пусть Бенгалии земля: воды, воздух и поля...» *Перевод Е. Бируковой* 151

Из цикла «Любовь»

«Будешь, нет ли ты обо мне вспоминать,— даже мысли такой не таю...» *Перевод Ю. Нейман* 152
«Возьми, возьми же меня и сделай своею ви́ной...» *Перевод Ю. Нейман* 152
«Из тьмы я пришел, где шумят дожди. Ты сейчас одна, взаперти...» *Перевод Ю. Нейман* 152
«В ви́не твоей были песни, в корзине моей — цветы...» *Перевод Т. Спендиаровой* 153

Из цикла «Времена года»

«Под обаяньем лунных чар мечты кружат в просторе...» *Перевод М. Петровых* 153
«Приди сюда, вода ключа, приди сюда, плеща, журча...» *Перевод М. Петровых* 153
«Из тучи — грохот барабана, могучий рокот непрестанный...» *Перевод М. Петровых* 154
«Над рощей в огненном цвету проходят тучи синей тенью...» *Перевод М. Петровых* 154
«Во двор сраба́на входят тучи, стремительно темнеет высь...» *Перевод М. Петровых* 154
«О туча, в тайнице укромной несущая мглу и дожди...» *Перевод М. Петровых* 155
«Рухнул грохот огромного до́мору, ночь смятеньем объята...» *Перевод М. Петровых* 155
«Что-то от легких касаний, что-то от смутных слов...» *Перевод М. Петровых* 155

Из книги «Снова» («Пуношчо»)

Копаи. *Перевод Г. Регистана* 156
Кхоаи. *Перевод Е. Винокурова* 159
Флейта. *Перевод Д. Голубкова* 161
Чистый. *Перевод А. Ахматовой* 163
Красильщица. *Перевод А. Ибрагимова* 165
Золото любви. *Перевод А. Ахматовой* 167
Завершение омовения. *Перевод А. Ахматовой* 168
Сын человеческий. *Перевод А. Ахматовой* 170
Паломничество. *Перевод А. Ахматовой* 170

Из книги «Пестрое» («Бичитрито»)

Поражение. *Перевод П. Железнова* 178

Из книги «Последняя октава» («Шеш шонток»)

«Сыплется благостный дождь на равнину!..» *Перевод М. Зенкевича* 180
«При встрече...» *Перевод М. Зенкевича* 181
«Мерцал светильник медный на подставке...» *Перевод М. Зенкевича* 183

Из книги «Дорога» («Битхика»)

Приглашение. *Перевод С. Липкина* 186
Скупая доброта. *Перевод А. Ибрагимова* 189
Деодар. *Перевод А. Наймана* 190
В месяце ашшин. *Перевод А. Ибрагимова* 191

Из книги «Чаща листьев» («Потропут»)

«Неприкасаемые... Не дозволено им и молиться...» *Перевод С. Шервинского* 192
«В тот древний, исступленный век...» *Перевод С. Шервинского* 197

Из книги «Шамоли» («Шамоли»)

Цветок тамаринда. *Перевод С. Кирсанова* 199
Шамоли. *Перевод С. Кирсанова* 202

Из книги «Конечное» («Прантик»)

«Один за другим погасают на сцене огни...» *Перевод С. Шервинского* 204
«В тот день, когда из недр исчезновенья...» *Перевод С. Шервинского* 204

Из книги «Вечерний свет» («Шенджути»)

Новое время. *Перевод Н. Стефановича* 206
О себе. *Перевод Н. Стефановича* 208

Из книги «Небесный светильник» («Акаш продип»)

Невеста. *Перевод С. Липкина* 209
Барабанят в барабаны у запруд. *Перевод Т. Спендиаровой* 210

Из книги «Новорожденный» («Нободжаток»)

Хиндустан. *Перевод А. Сендыка* 213

Из книги «Санай» («Шонай»)

Переезд. *Перевод А. Ревича* 215
Невозможное. *Перевод А. Ревича* 217

Из книги «Прикованный к постели» («Рогошоджай»)

«Когда к выздоровленью наконец...» *Перевод А. Ахматовой* 219
«Когда в сетях невыносимых мук...» *Перевод А. Ахматовой* 219
«Когда тебя во сне моем не вижу...» *Перевод А. Ахматовой* 220

Из книги «Выздоровление» («Арогго»)

«Бьют часы вдалеке...» *Перевод Д. Самойлова* 221
«Одиноко сижу у окна, у края конечного мира...» *Перевод Д. Самойлова* 223
«В сфере необъятного творенья...» *Перевод Д. Самойлова* 223

Из книги «День рождения» («Джонмодине»)

«Слышу: гремит барабан боевой...» *Перевод С. Северцева* . . 225

Из книги «Последние стихи» («Шеш лекха»)

«Океан покоя великого впереди...» *Перевод В. Тушновой* . . 227
«Вот человек великий рождается к жизни новой...» *Перевод В. Тушновой* 227

«Этот день моего рождения станет мне днем разлук...»
Перевод В. Тушновой 228

Из книги «Искры» («Спхулинго»)

Перевод Д. Самойлова

«С зарею с берега ночного...» 229
«Ради пищи на́ поле...» 229
«На небе облака...» 229
«Безмолвно меркнет под землей...» 229
«Цветок красоту свою...» 230
«Царит извечно темнота...» 230
«Я пришел, надеждой себя озарив...» 230
«Иди ко мне,— поэт...» 230
«Купим слова! Купим слова!» — вопят...» 230
«Не всем доступен лотос меж брегами...» 230
«Говорит звезда: «Зажгу свет, замерцаю...» 231
«Туча, созвездья прикрыв...» 231
«Как скопить, что́ взять...» 231
«Поэму пишут ливни летних дней...» 231
«Все загражденья на пути хожденья...» 231
«Чтоб в настоящем свете...» 232
«Смотрит морская волна...» 232
«Звезды что-то шепчут ночью...» 232
«Мятущиеся души берегов — две разделенные пустыни...» 232
«Следя игру земли...» 232
«Ты не справился даже с тем...» 232
«Старых времен перо в руки берем...» 233
«Пускай, купаясь в аромате...» 233
«Радость любви...» 233
«Большое дело само несет...» 233
«Пройдя за много дней по множеству дорог...» 233
«Ветер спросил: «Лотос, скажи...» 234
«Всевышний уважал меня...» 234
«В час радостной встречи...» 234
«Мгновенье улетает...» 234
«Жизнь, которую можно...» 234
«Вход и выход — в те же самые ворота...» 234
«Не удается труженику...» 235
«Корень думает: «Я умен...» 235
«Напрасно нищий по́ миру...» 235
«Войну, где восстает на брата брат...» 235
«С улыбкою рассветная звезда...» 235

РАССКАЗЫ

О чем рассказал берег Ганги. *Перевод А. Коваленко* . . . 239
Состязание. *Перевод В. Дьяконова* 247
Кабуливала. *Перевод Е. Алексеевой* 256
Свет и тени. *Перевод Е. Алексеевой* 263
Голодные камни. *Перевод Е. Алексеевой* 285

Несчастье маленького человека. *Перевод А. Гнатюка-Данильчука* 296
Прощальная ночь. *Перевод В. Лоскутова* 299
Незнакомка. *Перевод И. Товстых* 310

ГОРА. *Перевод Е. Алексеевой, Е. Смирновой, В. Карпушкина* 323

Примечания *А. Ибрагимова, М. Кафтиной, В. Новиковой, А. Гнатюка-Данильчука, А. Чичерова* 751

С. Тюляев. О рисунках Р. Тагора 766

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 184

Рабиндранат Тагор
СТИХОТВОРЕНИЯ. РАССКАЗЫ. ГОРА.

*

Редакторы В. Санович,
Ю. Афанасьева

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Ю. Коннов

Технический редактор
Л. Титова

Корректор Д. Эткина

*

Сдано в набор 1/VIII 1972 г. Подписано в печать 20/XII 1972 г. Бумага типогр. № 1 60×84¹/₁₆. 49 печ. л. 45,72 усл. печ. л. 43,58 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 6 накидок = 44,37 л. Заказ 3143. Тираж 303 000 экз. Цена 2 р. 27 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28